

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



С. Д. Кацнельсон

ИСТОРИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ



Санкт-Петербург
2010



Серия «Лингвистические исследования»

С. Д. Кацнельсон

**ИСТОРИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**



Петербургское лингвистическое общество
Санкт-Петербург
2010

Кацнельсон, С. Д.

К30 Историко-грамматические исследования / под ред. П. А. Клубкова, Д. Д. Пиотровского. — СПб. : Петербургское лингвистическое общество, 2010. — 422 с. — (Лингвистические исследования).

ISBN 978-5-4318-0003-0

Книга представляет собой сборник трудов выдающегося российского лингвиста Соломона Давидовича Кацнельсона, известного своими исследованиями в самых разных областях языкознания — компаративистике и германистике, типологии, синтаксисе и акцентологии, психолингвистике, детской речи. Работы С. Д. Кацнельсона оказали существенное влияние на формирование крупных школ и направлений. Исследования, представленные в сборнике, отражают важнейшие моменты истории отечественной лингвистики XX в., при этом сохраняют и научную актуальность. Тем не менее, они известны лишь довольно узкому кругу специалистов, в основном германистам. Труды эти до сих пор не пересиздавались и имеются далеко не во всех научных библиотеках России. Впервые публикуется глава «Внутренний строй языка», написанная для второго, не осуществленного издания «Историко-грамматических исследований».

Для специалистов по общему и германскому языкознанию.

ББК 81

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 10-04-16111д)*

Предисловие научных редакторов

Соломон Давидович Кацнельсон (1907–1985), выдающийся российский лингвист, известный своими работами в самых разных областях языкознания — компаративистике и германистике, типологии, синтаксисе и акцентологии, психолингвистике, детской речи. Работы С. Д. Кацнельсона, мгновенно попадавшие в научный обиход, оказали существенное влияние как на отдельных специалистов в этих областях, так и на формирование целых школ и направлений. Впечатляющий список трудов ученого продолжает пополняться и после его кончины. Публикация научного наследия С. Д. Кацнельсона уже составила два объемистых тома¹ и еще продолжается.

Издаваемые ныне работы относятся к числу первых публикаций С. Д. Кацнельсона, но, несомненно, представляют не только исторический интерес и сохраняют научную актуальность. Тем не менее, они известны лишь довольно узкому кругу специалистов, в основном, германистам. Труды эти до сих пор не переиздавались и имеются далеко не во всех научных библиотеках России.

Объясняется такое положение обстоятельствами, в которых создавались и издавались эти работы, то есть, в конечном счете, фактами биографии их автора, во многом сходной с биографией людей его поколения и круга.

С. Д. Кацнельсон родился 12 августа 1907 года в Бобруйске; в 1923 г. окончил школу и четыре года работал школьным учителем; в 1928 г. поступил на педагогический факультет II МГУ; работал слесарем в Москве и Магнитогорске; в 1932 г. стал сотрудником Научно-исследовательского института национальностей; в 1934 г. — аспирантом Института языка и мышления (ИЯМ) АН СССР в Ленинграде; в 1935 г. защитил кандидатскую, а в 1939 г. — докторскую диссертацию; в 1940 г. Кацнельсон — доктор филологических наук, профессор, старший научный со-

¹ Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языкознание. Л., 1986; Кацнельсон С. Д. Категории языка и мышления: Из научного наследия. М., 2001 [Список опубликованных трудов на с. 837–845].

трудник ИЯМ; в июле 1941 г. вступил в ряды народного ополчения; был отозван в политуправление Ленинградского фронта, где возглавил издательский отдел, после Победы — в советских войсках в Германии, был корреспондентом газеты «Tägliche Rundschau», корреспондентом и переводчиком на Нюрнбергском процессе. В 1946 г. Кацнельсон возвратился к работе старшего научного сотрудника ИЯМ и профессора Ленинградского университета; в 1950 г. уволен; в течение трех лет работал в Ивановском педагогическом институте. В апреле 1953 г., после смерти Сталина, приглашен в Ленинградский институт иностранных языков, вскоре слившийся с Ленинградским государственным университетом, через год перешел в Институт языкознания АН СССР (в настоящее время Институт лингвистических исследований РАН), где проработал до конца жизни. С 1971 г. заведовал сектором индоевропейских языков, а с 1976 по 1981 — сектором теории грамматики и типологических исследований².

Современникам С. Д. Кацнельсона не нужно объяснять, что на войну он мог пойти только добровольцем (люди с учеными степенями не подлежали призыву). Очевидно для них и то, что научный сотрудник Института языка и мышления в 1930-е годы был, естественно, сотрудником Н. Я. Марра, и, значит, одно это позволяло считать его марристом. Соответственно, увольнение его с работы в 1950-е гг. произошло в связи с «дискуссией» после публикации сталинских статей по вопросам языкознания на фоне развернувшейся в это время кампании по борьбе с космополитизмом.

Все это имеет самое прямое отношение не только к судьбе автора публикуемых книг, но и к самим книгам. Первая, «К генезису номинативного предложения» (М.; Л., 1936) представляет собой текст кандидатской диссертации С. Д. Кацнельсона.

Выносившийся на защиту (22 февраля 1935 г.) текст имел более сложное название: «Супплетивные местоимения в германских языках и генезис номинативного предложения». Связь двух частей темы не выглядит очевидной. В современной синтаксической теории номинативными предложениями чаще всего называют односоставные предложения с единственным главным членом в виде имени существительного в именительном падеже. В данном случае речь идет совсем о другом явлении — о номинативной конструкции предложения, сменившей, по мнению исследователя, эргативную конструкцию. Супплетивные местоимения рассматриваются не сами по себе, а как следы эргативности.

² Изложено в основном по: *Бондарко А. В.* О научном наследии С. Д. Кацнельсона // Кацнельсон С. Д. Категории языка и мышления. Из научного наследия / Языки славянской культуры. М., 2001. С. 9–10.

Впервые предположение об эргативном прошлом индоевропейских языков была выдвинута в рамках академической западноевропейской лингвистики (А. Ф. Потт, Г. Шухардт, К. Уленбек). Материальным подтверждением этой гипотезы были наблюдения над особенностями склонения имен существительных мужского и среднего рода с основой на *-o*. С. Д. Кацнельсон существенно расширяет доказательную базу гипотезы. Опираясь на структурно-типологические зависимости, характерные для современных языков эргативного строя, он выявляет вероятные пережитки эргативности в германских языках. К таким пережиткам он и относит супплетивизм местоимений, а также ряд явлений, связанных с безличными предложениями и с категорией залога³.

Все это давало основания молодому исследователю говорить «о коренном синтаксическом перевороте, сказавшемся на всей сумме морфологических средств <...> и связанном с не менее радикальным переворотом в способе мышления». Этот синтаксический переворот — «Генезис номинативного предложения» — и стал темой докторской диссертации.

Защищенная в 1939 г. диссертация называлась не совсем обычно: «Номинативный строй речи. Ч. I. Атрибутивные и предикативные отношения».

«Работа... вызывает к продолжению, — говорил один из оппонентов И. И. Мещанинов⁴, выступая на защите 19 июня 1939 г. — В заголовке самой диссертации это и отмечено точною оговоркою: “книга первая”. Таким образом, мы вправе ожидать минимум “книгу вторую”, каковая и последует, будем надеяться, в ближайшее время» («Стенограмма», с. 2). И. И. Мещанинов вспомнил «одного давно умершего профессора», автора большой работы, за которую он получил степень магистра. Он упрекал другого ученого, разбившего свою работу на две части и получившего за первую магистра и за вторую — доктора. «С. Д. Кацнельсон идет по пути второго профессора, — сказал И. И. Мещанинов, — с тою лишь разницей, что последующие его, диссертанта, книги вынуждены будут остаться без ученой квалификации соответствующими степенями. <...> С. Д. Кацнельсон следует старой академической традиции, которая открывала и такой путь защиты “части вместо целого”. Сторонником этого пути я лично не являюсь. Впрочем, и здесь есть своя оправдывающая сторона. Едва ли целесообразно ждать завершения всей затронутой сложнейшей тематики. Для этого потребуется длительное время и кропотливая работа...» (там же).

Таким образом, две диссертации и, соответственно, две монографии представляют собой части одного очень широко задуманного труда.

³ Работа вызвала большой интерес и высокую оценку К. Уленбека.

⁴ Два других — В. М. Жирмунский и Л. В. Щерба.

Книга «Историко-грамматические исследования. I. Из истории атрибутивных отношений», написанная на основании докторской диссертации, была опубликована лишь спустя десять лет после защиты, в 1949 году. Сохранились гранки «Предисловия», которое не вошло в это издание. Судя по этому предисловию, книга мыслилась как первая часть исследований «по истории грамматического строя в связи с историей мышления» (с. 3). «Иначе книга могла бы быть озаглавлена «Материалы по истории мышления по данным языка», — писал С. Д. Кацнельсон (там же). Сейчас, по прошествии многих лет, мы видим, что исследования в этой области он проводил всю свою жизнь. Тогда же эти исследования были обозначены как стадияльно-грамматические, со ссылкой на Н. Я. Марра, названного «основателем советского языкознания» (там же).

Можно только порадоваться, что С. Д. Кацнельсон успел защитить «часть вместо целого» незадолго до Второй мировой войны и издать книгу накануне «дискуссии по языкознанию». Последовавшее вскоре «преодоление последствий культа личности в языкознании» не привело, естественно, к реабилитации марризма, приверженность которому декларируется в опубликованном «Введении» к «Историко-грамматическим исследованиям». «Новое учение о языке» в этом «Введении» противопоставляется «реакционному зарубежному языкознанию, отражающему упадок и растряпанность идеологии империалистической буржуазии» (с. 8).

Готовя к публикации две работы С. Д. Кацнельсона, издатели оказались перед проблемой: как поступить с такого рода выражениями, согласующимися с идеологическими установками того времени, но, как и сами установки, абсолютно неприменимыми с точки зрения научной этики сегодняшнего дня. Отказаться от перепечатки «Введения» или подвергнуть его купюрам было бы равносильно обвинению автора в конъюнктурности и солидарности с данными идеологическими установками. Более того, в число этих установок попали бы и научные принципы, которые также формулировались во «Введении». Сами труды в таком случае оказались бы в одном ряду с работами, единственная задача которых состояла в развенчании «буржуазной “науки”⁵» и восхвалении науки марксистской. Клише, которыми изобиловали такие работы, на какое-то время стали частью языка советской науки. Ответственность за пользование этим языком лежит на его носителях, к которым, в большей или меньшей степени, принадлежало все предвоенное поколение советских ученых, боровшихся за право называть свое направление («подлин-

⁵ Кавычки, обычные в такого рода сочинениях, должны были быть одним из инструментов отмежевания от «псевдонауки» Запада.

но) марксистским языкознанием». Однако неверно было бы отождествлять всю науку того времени или даже весь марризм с теми, у кого этот язык был единственным достоянием. Работы последних справедливо забыты, тогда как научная значимость «стадиальной типологии» => «контенсивной типологии» С. Д. Кацнельсона в полной мере сохраняется.

Имеет смысл сказать несколько слов по поводу «марризма» С. Д. Кацнельсона.

Трудно найти в истории отечественной лингвистики имя, более одиозное, чем имя Н. Я. Марра. Официальное признание его яфетической теории состоялось в 1928 году. Инициатором этого признания стал влиятельнейший из советских историков проф. М. Н. Покровский, ставший через год академиком. В «Известиях» была опубликована его статья, посвященная юбилею Марра, в которой, между прочим, было сказано: «...если бы Энгельс еще жил между нами, теорией Марра занимался бы теперь каждый вузовец, потому что она вошла бы в железный инвентарь марксистского понимания человеческой культуры» (Известия ЦИК. 23 мая 1928).

Теорией Марра в 1930–40-х годах действительно занимался «каждый вузовец». Язык, на котором учился говорить вузовец, а затем аспирант С. Д. Кацнельсон, был языком «Нового учения о языке». Однако, в отличие от множества «безъязыких» лингвистов, начетчиков-марристов, он действительно был образованным ученым. Он не только превосходно владел материалом, но и очень хорошо ориентировался в научной традиции. Имеет смысл рассмотреть некоторые стороны лингвистического мировоззрения Кацнельсона в контексте истории науки о языке.

Научная несостоятельность марровского «Нового учения о языке» заключалась не столько в ошибочности общих теоретических установок, сколько в пренебрежении простыми правилами научного лингвистического исследования. Пресловутый четырехэлементный анализ ни в малейшей степени не выводится рациональным образом ни из идеи «единства глоттогонического процесса» и нисколько не компрометирует идею, которую вполне можно сформулировать в терминах исторических универсалий и диахронических констант. Представление о синтаксисе как «основе основ речи», определение морфологии как техники для синтаксиса, подчеркивание роли предложения как активного и руководящего начала в процессе реального развития языка и мышления» («Стенограмма». С. 2) — все это вполне продуктивно, что и показало последующее развитие лингвистики.

Научно актуальными для С. Д. Кацнельсона были отнюдь не только работы Марра. Критика младограмматизма, при всей агрессивности используемой фразеологии, ведется все же на научных основаниях. То же относится и к критике соссюрианства.

Что, собственно, не устраивало С. Д. Кацнельсона в младограмматизме и соссюрской лингвистике, если отвлечься от стилистически неизбежной претензии к «буржуазности»? Много позже С. Д. Кацнельсон критиковал Соссюра за «резкое противопоставление диахронического языкознания синхроническому».⁶ И эта критика не была частью идеологической кампании тех лет, поскольку тут же цитировались «наиболее проникательные последователи де Соссюра» — пражцы, которые в этом вопросе «не следовали за своим учителем».⁷ Солидаризируясь в вопросе об историзме с Г. Паулем и «другими представителями позитивистского языкознания», С. Д. Кацнельсон одновременно отвергает психологизм и атомизм младограмматиков. В психологизме его отталкивало, прежде всего, «стремление объяснять все явления языка и его развитие с позиций индивидуальной психологии» и, как следствие, «отрицание существования языков и диалектов как общественно-исторических образований»,⁸ т. е. лингвистических систем. Отношение же к «атомизму» выражено в ответе на вопрос об отличии системной реконструкции от атомистической:

«Иногда говорят, что и младограмматикам не было полностью чуждо понятие системности, поскольку в их реконструкциях прослеживается понятие «инвентарной системы». Но в том-то и дело, что реконструкция инвентаря элементов в отвлечении от отношений между ними не дает представления о системе как таковой. Выделяя единичные элементы в сравниваемых языках и восстанавливая их предполагаемые архетипы, атомистическая реконструкция не задумывается об отношениях между элементами и условиях их совместимости. Такой подход предполагает, что инвентарь и структура системы совершенно автономны и независимы друг от друга. В действительности, однако, развитие системы затрагивает одновременно как инвентарь, так и отношения между его элементами».⁹

В сущности, если структурализмом называть сосредоточенный интерес к тому, что делает язык системой, к отношениям и значимостям, Кацнельсон оказывается гораздо более последовательным, чем собственно структуралисты. «...Язык в исследованиях де-Соссюра и его сторонников теряет свою целостность и распадается на множество частных систем и системок, лишенных внутренней связи. Каждая частная область

⁶ Кацнельсон С. Д. Вступительная статья // Г. Пауль. Принципы истории языка. М., 1960. С. 14.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 15.

⁹ Кацнельсон С. Д. Сравнительная акцентология германских языков. М.; Л.: Наука, 1966. С. 7.

языка легко превращается у соссюрианцев в «самодовлеющее» и «автономное» царство. Это относится не только к традиционным разделам языкознания, — словарю, морфологии и синтаксису, — реальные связи между которыми остаются книгой за семью печатями для соссюрианцев, но и ко множеству мелких «системок». Так, например, последователи Соссюра говорят о системе падежей, предлогов, залогов, как о замкнутых системах, обрывая при этом те нити, которые ведут от падежей к предлогам и от падежей и предлогов, вместе взятых, к залогам. В результате, синхроническая система языка становится в «социологическом» языкознании чем-то вроде случайной коллекции многих «автономных» систем большего или меньшего охвата. Если романтики видели в строе языка совокупность единичных фактов, одинаково необходимо увязанных с «этническим гением», то для де Соссюра и его последователей строй языка — это простое стечение фактов, в равной степени случайных и внешних для мысли» («Стенограмма». С. 21).

Не будет, видимо, ошибкой предположить, что и «контенсивная типология» С. Д. Кацнельсона, синхронная по своей сути, проистекала из неприятия псевдо-системности атомистических реконструкций, ср. «Младограмматическая реконструкция создает видимость былого единства инвентаря лишь постольку, поскольку вместе с элементами сопоставляемых систем она фактически переносит в восстанавливаемый ею период и присущие позднейшим системам отношения.»¹⁰

Приведем еще несколько высказываний С. Д. Кацнельсона, в которых хорошо видно соотношение марровского и общенаучного начал.

«Принципиальное отличие нового учения о языке от старого в вопросах грамматического исследования наиболее ярко и полно выступает в центральном вопросе всякого грамматического исследования, в вопросе о диалектике формы и содержания в грамматике. Этот вопрос имеет два аспекта — с одной стороны — вопрос о соотношении единичной грамматической формы с ее содержанием, с другой стороны — вопрос о соотношении морфологии и синтаксиса в целом.» («Стенограмма». С. 3).

«Вплоть до XIX в. продолжает существовать убеждение, что грамматика является лишь своеобразным переложением логики... Наблюдавшие в случае пережиточных, несводимых к нормам формально-логического мышления, значения в языке просто не учитывались... объявлялись несущественными для строя языка в целом» («Стенограмма». С. 4)

У Шлегелей, Боппа, Гумбольдта, Шлейхера, Штайнталя «языки располагаются между крайними полюсами китайского языка и санскрита». Заметим, что С. Д. Кацнельсон вполне разделяет убежденность названных классиков в том, что касается обязательности формального выражения

¹⁰ Там же.

категориального значения; порочность же («реакционность», «отсталость» — с. 7) грамматического метода, в частности метода Шлейхера, он видит только в преувеличении роли флексии и недооценки всех прочих средств выражения грамматического значения, таких, как порядок слов или служебные слова, а также в нивелирующем подходе, когда пережиточные категории (род) используются наравне с актуальными (время).

Отсюда неприятие прямого отождествления формы и содержания¹¹, свойственное ранним этапам индоевропеистики, и предпочтение Штейнталю, который задается вопросом, откуда проистекают формальные различия между языками (по Боппу, дело техники) («Стенограмма». С. 8).

В период от младограмматиков до Соссюра, в понимании С. Д. Кацнельсона, «[т]очка зрения абсолютного тождества содержания и формы, характерная для ранней индоевропеистики, переходит... в свою противоположность, в учение об абсолютной произвольности языкового знака». Отсюда и то, что скептицизм в отношении морфологической классификации у Ж. Вандриеса и Э. Сэпира «перерастает в полное отрицание ее». «Вандриес вполне последовательно заявляет, что ни на каком внешнем принципе нельзя построить ни классификацию языков, ни тем более говорить о прогрессе в языке. Исследования перехода от синтеза к анализу полностью подтвердили правомерность такого взгляда» [Ссылка на М. Бреалья и П. Хорна] («Стенограмма». С. 11).

Из «психологизма» Потебни С. Д. Кацнельсон берет «системность синтаксических отношений, где один компонент системы необходимо предполагает все остальные» («Стенограмма». С. 13). Предпочтение Потебни Соссюру объясняется тем, что «система грамматических форм в понимании Потебни не есть нечто внешне увязанное и случайно сосуществующее, как у де Соссюра... Для де Соссюра система языка есть система равновесия, случайно установившаяся, после того как изменение единичных фактов, не связанных между собой, приводит к нарушению старого равновесия. Для Потебни каждая новая ступень в развитии языка есть результат развития всей системы отношений» («Стенограмма». С. 13-14). Грамматическая форма есть значение, а не звук. Поэтому, по Потебне, нельзя из факта падения флексии делать вывод о падении грамматических форм.

В учении Марра для Кацнельсона чрезвычайно важен примат «синтаксиса над морфологией», находящий выражение в выстраивании не-

¹¹ Ср. «Если возникновение флексии приравнивалось к возникновению грамматической формы, то исчезновение флексии означает здесь деградацию и общий упадок в строе языка» (8), что, конечно, не имеет ничего общего с критикой «реакционных теорий прогресса в языке».

пархии языковых уровней: от семантики (через синтаксис и морфологию) к звуковому строю. «В основу стадиальных изысканий должно быть положено не учение о частях речи, а учение о членах предложения. Части речи — это те же члены предложения, но отягощенные рядом дополнительных нагрузок, которые несет с собой флексия» («Стенограмма». С. 17).

«Стадиальность строя речи, для нас, представителей нового учения о языке, не пустая фраза. Задача состоит в том, чтобы наметить... основные этапы развития строя синтаксических отношений. Сложность этой задачи состоит в том, чтобы за многообразием морфологических приемов, за синтаксисом вторичных и несущественных отношений вскрыть закономерную смену существенных отношений, единственно характерных для строя языка» («Стенограмма». С. 18).

Это, в сущности, программа типологических исследований, в которой, кроме того, присутствует идея синтаксических различительных признаков, понимаемых как отношения.

Приведем еще одну длинную цитату из вступительной речи С. Д. Кацнельсона на защите докторской диссертации:

«Мне помнится, я как-то делился с одним весьма авторитетным лингвистом результатами работ, вошедших в состав нынешней диссертации. Собеседник был явно недоволен. “Можно заранее предсказать, что выводы Вашей работы окажутся приложимыми к языкам различного строя. Не возвращает ли нас подобный метод исследования опять к доброй старой философской грамматике XVIII века?” Каюсь, этот упрек до сих пор звучит для меня высшей похвалой. Я действительно мог бы только радоваться, если бы результаты моих работ, по необходимости ограниченных материалами языков специальности, оправдались бы на материале языков разнообразных морфологических структур. Что до сравнения с универсальной грамматикой, то я на это мог бы возразить лишь следующее:

Универсальная грамматика? — Да. Французские языковеды XVII–XVIII вв. ошибались не в том, что исходили из единства мышления людей разных рас и народов, и не в том, что стремились вскрыть в основе доступных им языков одни и те же категории мышления. Они ошибались лишь тогда, когда исторически обусловленную стадию мышления принимали за что-то абсолютное, лежащее в основе всех языков мира, и соответственно рассматривали формы известных им языков как абсолютные языковые формы. Грамматика, которую мы хотим построить, это также универсальная грамматика, или, как любил говорить Н. Я., «в мировом масштабе», эта грамматика основана на тезисе Н. Я. о единстве глоттогонического процесса. Наше отличие от грамматиков XVIII в. состоит, следовательно, не в том, что мы отвергаем принцип универ-

сальности, а что мы отдаем себе отчет в том, что действительные отношения языка и мышления гораздо сложнее, хитрее, чем это казалось тогда. Наше отличие состоит в том, что единство языков мира мы рассматриваем не как готовый и необъяснимый факт, а как результат единого исторического процесса. Философская грамматика? — На этот вопрос мы также отвечаем утвердительно. И здесь мы отличаемся от грамматиков XVIII в. не тем, что отрицаем связь языка с мышлением, а тем, что наше понимание мышления и его истории резко отличается от наивных представлений старой грамматики. Наша задача — создать такую историю языка, которая изображала бы последовательное шествие человеческого познания вперед, последовательное проникновение человеческого познания в объективную сущность вещей в процессе общественно-практической деятельности, в процессе превращения человеком вещей-в-себе в вещи-для-себя. Наша задача состоит в том, чтобы сорвать всяческие мистические покровы, которые набрасывались в разные времена на процесс мышления, и показать, как язык и мышление непосредственно сплетались и вырастали из условий материальной производственной жизни людей. Короче говоря, мы мечтаем о той истории языка, которая, согласно Ленину, должна составить одну из тех областей знания, из коих должна сложиться теория познания и диалектика» («Стенограмма». С. 20–22).

Несмотря на присутствие имен Марра и Ленина, понятно, что дело не в марризме и не в марксизме. Если сводить то и другое исключительно к идеологической стороне, то С. Д. Кацнельсон здесь ни при чем. Единственный вопрос, который остается, касается того, к кому относится множественное число местоимения первого лица — «мы». Иначе говоря, вопрос о числе людей, которые могли бы подписаться под тезисом, выдвинутым С. Д. Кацнельсоном в 1939 г., и тех, для кого, как для С. Д. Кацнельсона, этот тезис остался бы программным до конца жизни.

д. ф. н. Ю. А. Клейнер

к. ф. н. П. А. Клубков,

**К ГЕНЕЗИСУ НОМИНАТИВНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Предисловие

В синтаксисе, учении о «самой существенной части звуковой речи»¹, назревают глубочайшие трансформации и сдвиги, обещающие видоизменить в корне все традиционные взгляды в этой области. Необходимые предпосылки к «переоценке ценностей» созданы отнюдь не теми многочисленными лингвистами, которые изощряются в изобретении все новых и новых, формально безукоризненных, годных для всех времен и языков, дефиниций предложения (А. Marty, J. Ries, H. Dempe, E. Winkler и др.). На бесплодность подобного рода схоластических устремлений уже давно указал А. А. Потебня. «Строго говоря, — отмечал он, — история языка на значительном протяжении времени должна давать целый ряд определений предложения»². Сам Потебня немало сделал для исторического синтаксиса, исследовав строй древнего русского предложения. Эти исследования позволили выделить в развитии предложения две стадии — древнюю и современную, противостоящие одна другой по всей линии синтаксических фактов. При этом, однако, оставалось невыясненным происхождение древнейшего типа предложения, наблюдаемого в индоевропейских языках. Новейшие исследования в области эргативной конструкции С. С. Uhlenbeck'a, Н. Schuchardt'a и др. за рубежом, у нас в Союзе Н. Я. Марра и И. И. Мещанинова позволили предположить, что появлению номинативного строя предложения в индоевропейских языках предшествовал эргативный строй. Таким образом, вчерне намечались по меньшей мере три стадии в развитии предложения: стадия эргативного строя, древний тип номинативного строя и вырастающее из него предложение современного типа.

Настоящая работа посвящена проблеме перехода от эргативного строя к номинативному. Pott и, независимо от него, Uhlenbeck выдвинули гипотезу о происхождении номинативного предложения в индоевропейских языках из предложения типа эргативного на основании некоторых осо-

¹ Марр Н. Я. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком // Языковедение и материализм. Л., 1929. С. 6.

² Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1. Воронеж, 1874. С. 101.

бенностей склонения имен существительных мужского и среднего рода, так называемых основ на *-o*. Эту аргументацию предстояло расширить, исследуя основные категории номинативной структуры с целью выявления всего того, что могло бы свидетельствовать об исчезнувшей архаической структуре. В орбиту проблемы в пределах обследованных германских языков оказались втянутыми супплетивность личных местоимений, безличные глаголы, глагольные залого и причастия. Сумма пережитков эргативного строя в германских языках этим еще не исчерпывается. В последней главе дается перечень ряда других явлений, обнаруживающих непосредственную связь с затронутыми здесь вопросами. Для специального рассмотрения всей совокупности вопросов время, однако, еще не созрело. Слишком нова еще проблема, слишком мало накоплено материала, чтобы можно было претендовать на сколько-нибудь полное освещение этой интереснейшей главы исторического синтаксиса.

Генезис номинативного предложения — тема глоттогоническая. Необходимость разработки основных генетических вопросов осознается сейчас и многими представителями индоевропеистики. Даже такой крайний формалист, как Hermann Hirt, вынужден заявить: «Вполне очевидно, что без глоттогонических гипотез мы не обойдемся и что в этой области мы должны систематически работать»³. Для тех, кто стоит на позициях нового учения о языке, разработанного Н. Я. Марром, необходимость заменить формальный подход новым, дающим материалистическое генетическое обоснование как идеологической, так и формальной стороне языковых явлений, явствует сама собой. Кризис буржуазного языкознания не преодолеть без разрешения основных генетических вопросов, в том числе и вопроса о происхождении несомненных черт родства индоевропейских языков. Вопрос о происхождении номинативного предложения принадлежит к тому кругу вопросов, разрешение которых обещает «подточить... такую громаду, как мнимощельный массив сочиненной особой расовой речи — индоевропейской»⁴. Правда, и в среде самих индоевропейцев растет скептицизм в отношении праязыка. Нередкими становятся такие высказывания, как следующее: «Индоевропейские языки обычно рассматриваются как позднейшие фазы дифференциации первичного языкового единства, как излучения из одного центрального пункта. При этом... спокойно думают о теории родословного дерева, или о теории волн, или о соединении обеих теорий... Однако одинаково можно допустить, что языки, первоначально не находящиеся в непосредственно-генетическом родстве, приблизились друг к другу и путем схож-

³ Idg. Grm. III. С. 166.

⁴ *Март Н. Я.* О слоях различных типологических эпох в языках протоевропейской системы // ИАН. 1927. С. 333.

дения, а также взаимного... нивелирования и ассимиляции превратились в довольно гомогенное единство. Такая возможность не может быть исключена»⁵. И тем не менее, как автор приведенного высказывания, так и другие аналогично рассуждающие индоевропейцы в своем практическом оперировании языковыми фактами, если только они вообще не отказываются от постановки генетических проблем, произвольно исключают вторую, лишь теоретически допускаемую, возможность, продолжая следовать избитыми путями компаративистики. Основным критерием степени древности того или иного явления с этой традиционной точки зрения является сводимость или несводимость элементов сравнения к нормам мифической праязыковой общности. Стадиальность предложения, непосредственно увязанного всеми своими структурными особенностями с данным уровнем мышления, представляет собой гораздо более объективный критерий архаичности того или иного грамматического явления, чем механическое сопоставление морфологических элементов. Пережитки эргативности в каждом из индоевропейских языков уходят своими корнями в гораздо большую глубину, чем предполагаемое в праязыке единство тех или иных, по своему существу увязанных с номинативным предложением, моментов. Это соображение и позволило вести исследование в кругу германских языков, не прибегая к абстракции индоевропейского праязыка, и, более того, в самом кругу германских языков подходить к каждому языку с особым учетом его своеобразия, считая и общегерманские черты приобретением сравнительно поздней эпохи.

Актуальность глоттогонических исследований, ломающих исторические рамки, свойственные буржуазной науке, и выводящих в первобытно-коммунистическую эпоху, не подлежит сомнению. Лишь безнадежно ограниченные люди могут в подобных случаях бросить упрек в академизме и отрыве от современности. Еще Маркс указывал на большое значение исследований в этой области. «Первая реакция против французской революции и связанного с нею просветительства, — писал он, — была естественна: все получало средневековую окраску, все представлялось в романтическом виде, и даже такие люди, как Гримм, не свободны от этого. Вторая же реакция, — и она соответствует социалистическому направлению, хотя эти ученые и не подозревают своей связи с ним, — заключается в том, чтобы заглянуть за средневековье в первобытную эпоху каждого народа»⁶. В настоящее время, когда фашизм стремится осуществить возврат к средневековью во всех сферах общественной жизни

⁵ Royen G. Die nominalen Klassifikationssysteme in den Sprachen der Erde. Wien, 1929. С. 545.

⁶ Письмо К. Маркса к ф. Энгельсу от 25 марта 1868 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XXIV. С. 34.

Германии, исследования древнейших эпох становятся еще более необходимыми. Фашиствующее языкознание, в лице Н. Giintert'a, G. Schmidt-Rohr'a, Fr. Stroh и др., стремится, опираясь на «национальное понимание языка» («*der volkhafte Sprachbegriff*»), обосновать существование и изначальное преимущество немецкого народного духа. Глоттогонические исследования рассеивают всю эту мифологию как дым. И не наша вина, если пережитки эргативного строя в германских языках обнаруживают столь изумительные черты сходства со структурой предложения в языках австралийцев и других культурно отсталых племен. Сопоставление конструкций предложения в языках различных систем вскрывает, при различии морфологического оформления, единообразие их семантического и синтаксического содержания на одной и той же стадии общественного развития, — единообразие, которое покоится на единстве происхождения и исторического развития человеческого мышления.

Исследование генезиса номинативного предложения повелительно диктует выход за пределы индоевропейского круга языков. Необходимость широкого охвата языков различного строя при решении глоттогонических проблем осознается и в среде индоевропейцев. Уже упомянутый G. Royen заявляет: «Все больше и больше начинает крепнуть сознание того, что изучение языков, которое замыкается в некоторой узкой языковой области, не только останется более ограниченным в материале, но и не будет в состоянии исследовательски проникать в глубокие вопросы о причинности и происхождении (*nach Warum und Woher*) языковых фактов. Те языковеды, которые расширили свой кругозор несколько дальше одной лишь области индоевропейских языков, откровенно придерживаются взгляда, что индоевропейстика зашла в тупик из-за того, что занимается сплошь вопросами чисто формалистического порядка»⁷. Однако лишь в новом учении о языке Н. Я. Марра использование языковых фактов в мировой масштабе теряет характер случайных и бездоказательных аналогий, поскольку оно здесь обосновано материалистической теорией единого процесса глоттогонии.

Изложение делится на три части. Первая часть охватывает первые три главы, в которых анализируются пережитки эргативного строя в германских языках. Вторая часть посвящена выяснению сущности эргативной конструкции как стадии в развитии предложения. Сюда относится глава об эргативной конструкции и следующий за ней экскурс об объективном и субъективном в первобытном сознании. Третья часть — заключение — выясняет особенности перехода от одного строя к другому и намечает некоторые перспективы дальнейшего исследования германских языков с этой точки зрения. Экскурсы выделены из основного текста мелким шрифтом.

⁷ Royen G. Die nominalen Klassifikationssysteme in den Sprachen der Erde. S. III.

Работа представляет собой диссертацию на степень кандидата лингвистических наук.

Автор выражает глубокую благодарность акад. И. И. Мещанинову и проф. В. М. Жирмунскому за проявленное ими исключительное внимание к работе и ряд ценных указаний. Автор благодарит также гг. Восстрикова А. И., Дондуа В. Д., Дондуа К. Д., Чатопадая В. и Яковлева Н. Ф. за указания в области языков их специальности.

I. СУППЛЕТИВНОСТЬ ПАДЕЖЕЙ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕННИЙ В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Заслуга первого специального исследования о супплетивах в индоевропейских языках принадлежит одному из корифеев младограмматического направления — Н. Osthoff¹.

Супплетивными группами Osthoff называет неоднородные по своему этимологическому составу морфологические ряды типа лат. *fero* — *tuli* — *latum* в глаголе или *bonus* — *melior* — *optimus* в степенях сравнения, готск. *ik* — *meina*, *mis* в строе личных местоимений, готск. *gagga* — *iddja* в глагольном строе (ср. арг. *gā* — *ēode*, в английском языке замещенное другим супплетивным рядом с аналогичными значениями *I go* — *I went*, ср. также русск. «иду — шел») и т. д.

Особенности супплетивных рядов наглядно выступают при сравнении их с этимологически гомогенными рядами. Собственно, лишь наличие закономерных морфологических рядов и позволяет выделить супплетивные ряды как особую категорию. Так, например, нем. *Vater* — *Mutter*, *Bruder* — *Schwester*, *Sohn* — *Tochter* осознаются как супплетивные группы лишь в сравнении с нем. *Fürst*, *Fürstin*, лат. *deus*, *dea*, *filius*, *filia*; нем. *gut* — *besser*, *best* — лишь в сравнении с последовательными рядами *jung*, *junger*, *jüngst*, *gross*, *grösser*, *grösst* и т. д., супплетивность местоименного ряда *er* — *sie* — *es* лишь в сравнении с артиклем *der*, *die*, *das* или с аналогичным местоименным рядом в другом языке, скажем, с русск. «он, она, оно» и т. д., нем. *eins* — *erster* (русск. «один — первый», «два — второй») лишь в сравнении с *zwei*, *zweiter* и т. д. (русск. «три, третий») и т. д.

¹ Osthoff H. Vom Suppletivwesen der indogermanischen Sprachen. Akademische Rede. Heidelberg, 1899. См. также рецензии: E. Brugmann'a (Zs. f. das Gymnasialwesen. LIV Jg. Berlin, 1900. S. 448–466), W. Streitberg'a (Englische Studien. Bd. XXIX. 1901. S. 73–81) и W. Meyer-Lübke (Berl. philolog. Wochenschrift. XXI Jg. 1901. S. 667–568).

Вне этих взаимоотношений супплетивные ряды растворяются в общей массе этимологически гетерогенных семантических рядов². Это обстоятельство недостаточно учтено Osthoff'ом как при определении понятия супплетивности, так и в терминоведении. Термин «супплетивы» выражает лишь одну сторону явления, общую у супплетивных рядов с другими семантическими группами, а именно: этимологическую разнородность составных элементов ряда. Osthoff говорит о «замещении, взаимопомощи и взаимном восполнении» (eine Stellvertretung, ein gegenseitiges Sichaushelfen und Sicherhelfen)³ элементов, входящих в супплетивный ряд. Утверждая вместе с Н. Paul'ем⁴, что единство супплетивной системы «покоится исключительно на значении, а не на звуке», он в своем термине упускает основную характеристику, *differentia specifica*, супплетивного ряда — его теснейшую взаимосвязь с однозначным морфологическим рядом⁵. С этой стороны удачнее был бы термин *Gruppenanschluss* — примыкание к (формальной) группе; однако, как отмечает Brugmann, и этот термин оказывается чересчур общим, потому что включает в себя и случаи примыкания к данной морфологической системе этимологически гомогенных элементов, ранее стоявших вне системы⁶. Этим же недостатком страдает и предложенный С. С. Uhlenbeck'ом термин «функ-

² «Worin, — спрашивает Brugmann, — unterscheiden sich aber Gruppen wie *Knabe-Mädchen, Mann-Weib* von solchen wie *Morgen-Abend, Sommer-Winter*? Doch nur dadurch, dass in den ersten Fällen bedeutungsanaloge Gruppen mit nur formativer Unterscheidung der Glieder daneben stehen, in den letzteren nicht» (Указ. рец. С. 460).

³ Указ. соч. С. 4. Отсюда и самый термин «супплетивы» (*Suppletivwesen, suppletorische Gruppe*) от лат. *suppleo* — дополняю, прибавляю, замещаю.

⁴ Paul H. *Principien der Sprachgeschichte*. С. 106.

⁵ См. Brugmann. Указ. рец. С. 460; Streitberg. Указ. рец. С. 79–80. Streitberg, однако, заходит слишком далеко, когда принимает недостаток термина за порок самого понятия. «Kein unbefangener, — пишет он, — glaube ich, wird in dem Namen Mutter eine «Ergänzung» des Begriffes Vater finden... Will man hier von einem Suppletivwesen reden, weil sich die Sonderbegriffe unter allgemeinere Kategorien bringen lassen, dann musste man konsequenterweise bei jeder Klassifikation von einem Suppletivwesen sprechen. In Wirklichkeit handelt es sich aber hier... nur um den primitiven Völkern eigenen Mangel an Abstraktionsvermögen, der Unterschied ist nur der, dass hier die individualistische Auffassung auch uns noch mehr oder weniger beherrscht. Osthoff wäre schwerlich dazu gekommen, die stammverschiedenen Femininbildungen (nebst den Deminutiven) zum Suppletivwesen zu rechnen, wenn ihnen nicht die movierten Feminina zur Seite ständen. Aber die Motion ist zweifellos viel jüngeren Datums»... Едва ли, однако, можно согласиться со Streitberg'ом, когда он заявляет, что в супплетивных рядах сохранились черты первобытного единичного восприятия явлений. Какое семантическое различие заключается в нем. *bin* и *was*, кроме формального различия времени? И не сыграло ли здесь решающую роль то обстоятельство, что «рядом стоят» регулярные парадигмы спряжения?

⁶ Brugmann. Указ. рец.

циональное схождение» (funktionelle Konvergenz)⁷. Таким образом, за неимением другого, более четкого и такого же краткого термина, сохраняется в качестве условного предложенный Osthoff'ом термин.

До Osthoff'a супплетивные ряды рассматривались как результат аномалии в языке. Так, Jacob Grimm, совершенно в духе реакционной романтики, видел основу этой аномалии в «органическом» строе первобытного языка, расценивая незакономерный ряд как «формальное достоинство, которое позднейшее развитие языка тщится стереть вновь». «Одним изнашиванием многократно использованной основы положительной степени (в степенях сравнения), — утверждает он, — невозможно удовлетворительно объяснить аномалию; в основе ее должна одновременно лежать более глубокая потребность, существенно связанная с лучшим качеством (Gediegenheit) древних форм языка. Закономерные *gut, guter, gutest, viel, vieler, vielest*, выразили бы степени сравнения с гораздо меньшей силой, равно как обычные степени сравнения современных *gross, grösser, grösst, klein, kleiner, kleinst* не возмещают былой аномалии. Значительным достоинством является иметь в распоряжении языка многообразные корни в определенном чередовании для простых понятий»⁸.

Osthoff отошел от подобных примитивных концепций грехопадения в языке. Как истый младограмматик, он обращается к психологии, после того как обнаружил факты материального разнобоя.

На основании детального разбора он установил, что семантика супплетивных групп относится к кругу повседневных элементарнейших понятий⁹. В области глагольных супплетивных групп это глаголы со значениями: 'есть', 'дать', 'идти', 'приходить', 'бежать', 'брать', 'нести', 'приносить', 'вести', 'сказать', 'говорить', 'бить', 'попадать', 'смотреть', 'видеть', 'быть', 'становиться'¹⁰. В области грамматического рода это прежде всего номенклатура ближайшего родства: 'отец' — 'мать', 'сын' — 'дочь' 'брат' — 'сестра' и др.¹¹ Это также круг названий животных, «имеющих к человеку некое близкое отношение», в первую голову названия домашних животных: 'конь' — 'кобыла', 'баран' — 'овца', 'козел' — 'коза', 'олень' — 'лань', и т. д.¹² В области степеней сравнения сюда относятся соответствующие формы от прилагательных

⁷ См. Royen G. Указ. соч. С. 377.

⁸ Deutsche Grammatik². III. С. 582–583.

⁹ Ср. Grimm J. «Alle solchen (речь идет именно о явлениях супплетивного порядка) Anomalien betreffen Wörter des häufigsten Gebrauchs, Wörter die der ganzen Sprache so unentbehrlich geworden sind, dass sie grossenteils auxilarisch zur Umschreibung untergegangener Flexionen verwendet werden» (Указ. соч. С. 583).

¹⁰ Osthoff H. Указ. соч. С. 7.

¹¹ Указ. соч. С. 15–16.

¹² Указ. соч. С. 19.

‘хороший’, ‘плохой’, ‘большой’, ‘малый’ и др.¹³ Это, наконец, супплетивы личных местоимений и числительных.

В основе этой супплетивности Osthoff видит психологически понятное стремление индивидуализировать, оттенять и выделять предметы, ближе стоящие к человеку¹⁴. Он говорит о двух тенденциях, противоборствующих с самых ранних эпох словотворчества и образования форм: тенденции к обобщению, в области морфологии выражающейся в закономерном использовании определенных форм, и тенденции к обособлению и индивидуализации понятий. Эта последняя тенденция и выражается в области словоизменения и словообразования в супплетивных группах¹⁵.

Osthoff не остановился на признании процесса борьбы двух противоположных тенденций в развитии языка. Он определяет и общее направление этого процесса от господства тенденции к индивидуальному восприятию предметов на ранних ступенях языкового развития до возобладания тенденции к обобщению и образованию понятий в позднейшие эпохи, что является, как замечает он, одновременно и с рычагом логического мышления говорящего человека». Ссылаясь на G. Curtius'a¹⁶ и Steinthal'я¹⁷, он повторяет общераспространенный тезис, что язык развивается от конкретного к абстрактному, от единичного к общему, от индивидуальных представлений к родовым понятиям.

Психологическая трактовка супплетивности у Osthoff'a звучит для нас сейчас во многом неубедительно. Схема семантического развития от конкретного к абстрактному кажется сейчас, в свете достижений нового учения о языке, поверхностной и характеристика первобытного мышления — крайне наивной и упрощенной. Однако при всем этом остается несомненным основной вывод, вытекающий из исследования Osthoff'a: наличие этимологически гетерогенных элементов в исследованных супплетивных рядах свидетельствует о том, что два или несколько значений, представлявшихся различными на ранней ступени развития, сошлись в одну систему, являясь, с точки зрения более поздней эпохи, морфологическими вариантами одного основного значения.

¹³ Указ. соч. С. 20.

¹⁴ «Wie der Mensch mit seinem leiblichen Auge allemal das räumlich zunächstliegende in schärferer Besonderung erschaut, so werden auch mit dem seelischen Auge, dessen Spiegel die Sprache ist, die Dinge der Vorstellungswelt desto schärfer und individueller erfasst, je näher sie dem Empfinden und Denken des Spiechenden treten, je intensiver und lebhafter sie infolge dessen das Gemüt zu ergreifen, das psychische Interesse des einzelnen, d. i. des Menschen — und des Völkerindividuums, zu erregen pflegen». (Указ. соч. С. 42).

¹⁵ Указ. соч. С. 42–43.

¹⁶ Curtius G. Grundzüge der griechischen Etymologie (5-е, unter Mitwirkung von Ernst Windisch umgearbeitete Auflage). Leipzig, 1899. S. 94 слл.

¹⁷ Steinthal. Abriss der Sprachwissenschaft. I. С. 405.

В строе личных местоимений индоевропейских языков, согласно Osthoff'у¹⁸, наблюдается тройкого рода супплетивность: 1) супплетивность падежного строя, когда основе одного или одних падежей противостоит иная основа в других, 2) супплетивность грамматического рода, выражающаяся в этимологическом различии основ родовых местоимений (*geschlechtige Pronomina*), и 3) супплетивность числа, выражающаяся в различии основ единственного и множественного чисел.

Из указанных видов супплетивности нас здесь непосредственно интересует лишь супплетивность падежного строя. Проследим проявления этой супплетивности в германских языках.

В падежной системе 1-го лица мы встречаем как в единственном, так и в множественном числах, а равно и в двойственном, где оно засвидетельствовано, — различие основ прямого и косвенных падежей.

В ед. ч. готск. им. *ik*, — род. *meina*, дат. *mis*, вин. *mik*; дрсев. соответственно *ek* и *mīn*, *mēr*, *mik*; агс. *ic* и *mīn*, *me*, *me(c)*; дрс. *ik* и *mīn*, *mī*, *mik*; дрвн. *ih* и *mīn*, *mir*, *mih*; срвн. *ich* и *mīn*, *mir*, *mich*; нвн. *ich* и *mein(er)*, *mir*, *mich*; англ. *I* и *my*, *me*.

В двойственном числе соответственно в именительном и в косвенных падежах готск. *wit* и *ugkara*, *ugkis*; дрсев. *vit* и *okkar*, *okr*; агс. *wit* и *uncer*, *unc*, *unc(it)*; дрс. *wit* и *unkaro*, *unk*¹⁹.

Во множественном числе готск. *weis* и *unsara*, *uns*, *unsis*; дрсев. *vér*, вин. дат. *oss* (но род. *vár!*); агс. *we* и *ūr* (*úser*, *ússer*), *ús*, *ús(ic)*; дрс. *wī* и *úser*, *ús*; дрвн. *wir* и *unser*, *uns*, *unsih*; срвн. *wir* и *unser*, *uns*, *uns(ich)*; нвн. *wir* и *unser*, *uns*; англ. *we* и *us*.

Дрсев. род. мн. ч. *vár* составляет исключение из закономерно наблюдающейся супплетивности основ прямого и косвенных падежей. Однако есть основания считать это исключение результатом позднейшей аналогизации. Как указывает А. Торп²⁰, форма *var* могла возникнуть вследствие отпадения *r* (← *s*) в силу диссимиляции: **úsar* → *urar* → **úar* → *var* ср. *isarn* → *jarn* 'железо'. Бездоказательным кажется нам предположение Вругманн'а, что перед нами здесь унаследованная из индоевропейского праязыка форма **nar* (связанная с $\sqrt{-ns}$) с позднейшим отпадением *n*- и

¹⁸ Указ. соч. С. 37–40.

¹⁹ В древневерхненемецком основа косв. пад. дв. числа встречается лишь один раз (Otfrid III, 22, 32, *unker zweio*), «also wohl schon der Verdeutlichung durch zweio bedürftig» (*Braune W. Althochdeutsche Grammatik*. С. 203). Н. Paul (Grdr.² С. 468) не находит для форм двойств. числа 1 л. *unc*- и 2 л. *inc*- внегерманских параллелей. W. Streitberg (*Urgermanische Grammatik*. 1896. С. 264) считает *unc* формой индоевропейского корня *n*- с наращением частицы *-ke*. В отношении основы *inc*- он повторяет вывод Paul'я.

²⁰ *Torp A. Beiträge zur Lehre von den geschlechtlosen Pronomen in den indogermanischen Sprachen*. Christiania. 1888. С. 35.

заменой его звуком *v*- из формы именительного падежа²¹. Однако и в том и в другом случае предполагается первичная супплетивность основ прямого и косвенных падежей.

Эти особенности строя местоимений первого лица, резко отличающие язык будней от святого языка идеалистической философии, которая стремится выразить свое трансцендентальное понятие «я», абсолютно тождественное в себе, формально безукоризненной парадигмой²², разделяются в различной степени и другими личными местоимениями.

В падежном строе второго лица супплетивность проявляется лишь в двойственном и множественном числах. Единственное же число проводит последовательно через все падежи одну и ту же основу.

В двойственном числе против основ им. над. готск. **jut*, дрсев. *it*, агс. *git*, дрс. *git* находим основу косвенных готск. *igk-*, дрсев. *yk(k)-*, агс. *inc-*, дрс. *inc*. Основе **ju-t* (где *t* — показатель двойственного числа, как и в дв. ч. 1-го лица *wit*) им. падежа, следовательно, противостоит основа **igq* косвенных падежей, не имеющая внегерманских параллелей в индоевропейских языках.

Во множественном числе взаимоотношения несравненно сложнее. Несколько проще обстоит дело с западногерманскими языками. Здесь основе им. пад. агс. *ge*, *gê*, дрс. *gi*, *ge*, дрвнсрвн. *ir* противостоит в косвенных падежах агс. *eow*, дрс. *euw*, *iuw*, дрвн. *eu*, *iu*. Основы косвенных падежей сравнительно-историческая грамматика²³ рассматривает как производные от прагерманской основы **eww(e)*, восходящей, как и основа прямого падежа, к догерманскому корню **yu* (**iw*). Супплетивность

²¹ Brugmann K. Pronominale Bildungen der indogermanischen Sprachen (Ber. über die Verh. d. Sächs. Akad. Wiss. zu Leipzig, Phil.-hist. Kl. Bd. 60. H. II). С. 12–13.

²² Ср. например, Fichte (Samtliche Werk. VI. С. 297): «Die letzte Festimmung aller endlichen veruünftigen Wesen ist... absolute Einigkeit, stete Identität, völlige Übereinstimmung mit sich selbst, absolute Identität ist die Form des reinen Ich». Печальную несогласованность языка и идеалистической философии отмечает неокантианец Е. Cassirer (Philosophie der symbolischen Formen. Bd. I. Die Sprache): «Der Grundcharakter des reinen Ich besteht darin, dass es im Gegensatz zu allem Objektiven und Dinghaften, absolute Einheit ist. Das Ich, als reine Form des Bewusstseins gefasst, enthält keinerlei Möglichkeit innerer Unterschiede mehr: denn solche Unterschiede gehören nur der Welt der Inhalte an» (с. 224). Однако Cassirer вынужден тут же признать, что не только «мир содержания» но и «мир языковых форм» ничего не хочет знать об этом надуманном абсолюте. Для трансцендентального значения «я», — пишет он, — «besitzt freilich die Sprache keinen adäquaten Ausdruck mehr denn sie bleibt auch in ihrer höchsten Geistigkeit auf die Sphäre der sinnlichen Ausschauung bezogen» (с. 228). Эта «чувственная природа» языка, — продолжает сетовать идеалист, — выражается не только в том, что формально различаются «я», «ты» и «он», как грамматические лица, но и в том, что само первое лицо в прямом падеже отлично от косвенных (с. 224).

²³ Paul H. Grdr.² С. 467–468.

падежных основ, если она здесь наличествует, с этой точки зрения оказывается лишь продуктом поздних стадий развития. Однако в готском и древнесеверном языках супплетивность падежей стоит вне сомнений: основам им. пад. готск. *jus*, дрсев. *ér* в косвенных падежах противостоит готск. *izw-*, дрсев. *yđ(v)-*.

О происхождении основы косвенных падежей в этих языках сравнительно-историческая грамматика не в силах что-либо сказать²⁴.

В целом, следовательно, во втором лице супплетивность падежного строя проходит менее последовательно, чем в первом лице, при этом она совершенно отсутствует у местоимения 2-го лица ед. ч.

В 3-м лице мы сталкиваемся с явлениями иного порядка. На первый взгляд супплетивность падежного строя встречается и здесь. Так, например, в готском в склонении местоимения женск. р. ед. ч. в косвенных падежах выступает основа *i-* (род. *izôš*, дат. *izai*, вин. *ija*) против основы им. пад. *si*. В дрвн. основа им. падежа ж. р. *siu* выступает еще и в винительном (*sia*). Аналогично и в мн. ч. местоимений всех родов (в им. и вин. основа *s-* в то время как в род. и дат. формы производные от основы *i-*). В действительности же расхождение основ порождено здесь скрещением различных местоименных основ: основа указательного местоимения *s-* (готск. *sa* 'этот', *sô* 'эта') неравномерно проникла в склонение личных местоимений. Префигированная в готск. *si* 'она', та же основа, как указывает Meringer²⁵, выступает в качестве суффикса в готск. *i-s* 'он', и вначале является свойственной лишь именительному падежу. В англосаксонском последовательно проводится другая указательная основа, именно *h-*, через все формы. Древнесаксонский выявляет основу *h-* лишь в им. пад. ед. ч. м. р. *hê*, в то время как в им. и вин. падежах множ. числа того же рода, как и в им. вин. ед. ч. ж. р., им. вин. множ. ч. всех родов выступает основа *-s*.

В древнесеверном личные местоимения 3-го лица мужского и женского родов образованы из одной и той же основы с изменением огласовки: *hann* 'он', *hon* 'она'; этимологически эта основа не без сомнений сближается обычно с указательным местоимением, лежащим в основе дрс. *hê* 'он'. Средний род ед. ч., как и все три рода множ. ч., замещаются здесь соответствующими формами указательного местоимения *sá*.

Таким образом, в случае третьего лица можно отметить тенденцию проникновения указательных элементов в парадигму личных местоимений, причем степень проникновения новых элементов, как и самый состав

²⁴ «Die Grundform von got. *izwisan*. *yđr...* ist ganz unklar» (Paul. Ibidem. С. 68); «Ursprung dunkel» (Feist. Et. Wb.² С. 223).

²⁵ Meringer E. Beiträge zur Geschichte der indogermanischen Declination (S.-B. d. Akad. d. Wiss. in Wien, Phil.-Hist. Kl. Bd. CXXV. (1891). С. 32.

их в различных германских языках оказываются различными. Англосаксонский язык дает нам идеал такого развития. Формы всех родов, падежей и чисел личного местоимения 3-го лица предстают здесь как вариации одной и той же основы. Личное местоимение оказывается здесь, таким образом, в роли прилагательного.

Более древнее состояние сигнализируется отмеченной Osthoff'ом²⁶ супплетивностью рода и падежей в строе указательных местоимений. В отличие от немецкого, где одна и та же основа проходит закономерно во всех формах (*der, diu, daz* и т. д.), в готском, древнесеверном и англосаксонском мы находим существенно иной строй. Так, готск. *sa* 'этот' и *sô* 'эта' отличаются по своей основе как от именительного падежа ср. р. ед. ч. *þata* 'это', так и от своих же косвенных падежей, которые образованы от той же основы, что и им. средн. р. (м. р. им. *sa*, род; *þis*, дат. *þamma*, вин. *þana*; ж. р. им. *sô*, род. *þizos*, дат. *þizai*, вин. *þô*; ср. р. им. *þata*, род. *þis*, дат. *þamma*, вин. *þata*; множ. ч. всех родов образовано так же закономерно, как и ср. р. ед. ч.). В мужск. и женск. р. мы здесь встречаем супплетивность основ прямого и косвенных падежей, аналогично тому, что мы раньше встречали в основах личных местоимений 1-го и 2-го лица. Здесь мы встречаем еще то дополнительное обстоятельство, которое, как мы увидим дальше, роднит этот строй с некоторыми особенностями склонения имен существительных в индоевропейских языках²⁷ и проливает свет на генезис падежной супплетивности, а именно: основа косвенных падежей местоимений мужск. и женск. р. совпадает с основой всех падежей ср. р.

Возможно, что особенностями этого строя объясняется в некоторой мере неравномерное распределение указательных частиц в строе личных местоимений третьего лица. Вытеснение и скрещение основ могло, кроме того, иметь место и вследствие движения и распространения различных языковых элементов в путях, прослеживаемых лингвистической географией.

Сейчас можно подвести некоторый итог.

Прежде всего следует отметить, что супплетивность прямого и косвенных падежей ярче всего проявляется в строе личных местоимений 1-го лица, во 2-м лице она проходит менее систематично, и наконец, в личных местоимениях 3-го лица падежная супплетивность едва ли вообще наблюдается²⁸. Таким образом, 1-е и 3-е лицо образуют как бы

²⁶ Указ. соч. С. 38–39.

²⁷ См. ниже с. 72–73.

²⁸ Этим мы вовсе не хотим сказать, что указательная основа *i-* вне скрещенности с другими указательными основами лишена была всякой супплетивности в прошлом. Для Brugmann'a супплетивность этой основы в прошлом стоит вне всяких сомнений:

два полюса, между которыми 2-е лицо занимает срединное положение. Эта полярность 1-го и 3-го лица подтверждается и анализом флексии личных местоимений см. ниже, стр. 29). В основе этой полярности лежат глубокие семантические основания, о которых идет речь в конце настоящей главы. Далее анализ составных элементов личных местоимений 3-го лица обнаруживает сравнительно поздние процессы скрещения указательных основ, идеальным завершением которых является полнейшая унификация парадигмы. Засвидетельствованный в готском, древнесеверном и англосаксонском более древний строй указательных местоимений с супплетивностью падежных и родовых основ указывает на то, что классификация, лежащая в основе падежной супплетивности, в какой-то части перекрывается классификацией по родам.

Согласно общетеоретическим выкладкам Остгофа, как показано выше, основание всех этих супплетивных рядов следует искать в стремлении к индивидуализации, господствовавшем на ранних ступенях истории человеческого сознания. Было бы, однако, неосторожно рассматривать все супплетивные ряды как окаменевшие свидетельства первобытного мышления. Как мы уже видели, некоторые супплетивные группы являются продуктом позднейшего времени, будучи обязаны своим возникновением самым разнообразным факторам и условиям языкового развития. Таким супплетивным рядом сравнительно недавнего происхождения является, например, в нем. языке неопределенное местоимение *man*, употребляемое лишь в именительном пад., в косвенных же падежах замещаемое соответственными формами от *einer*²⁹. Как отмечает Wilmanns, ранее возможно было употребление *man* и в косвенных падежах (ср. например, Notker, Ps. 37, 9) *sô wiget manne file harto, daz imo gescehen ist*. Подобное употребление *man* во всех падежах было связано с недостаточным еще выделением неопределенного местоимения. Хотя единичные примеры указывают на употребление *man* в качестве неопр. местоим. и в дрвн. (ср., например, Hild. 51: *dar man mih eo scerita*; у Notker'a *man* уже стоит энклитически), однако во всех таких случаях еще недостаточно разграничены функции местоимения и существительного. Этому обстоятельству способствует факультативность в употреблении опред. члена. Так, например, Hild., 37: *mit geru scal man geba infahan* — можно перевести, 'копьем должно получать дар' и 'копьем должен человек получить дар'. В средневерхненемецком *man* еще об-

«Dass das Formensystem unseres Pronomens bereits in der Zeit der indogermanischen Urgemeinschaft suppletivisch war, ist klar». (Pron. Bild. d. idg. Sprachen. С. 42).

²⁹ Sütterlin. Die deutsche Sprache der Gegenwart. С. 172. — Wilmanns. Deutsche Grammatik². II. С. 580. — Behaghel O. Deutsche Syntax. Bd. I. С. 399.

наруживает переходные черты, и лишь в новонемецком четко проводится дифференциация местоимения и существительного, чем и утверждается супплетивный ряд.

Сама по себе супплетивность, следовательно, не является достаточным доказательством архаичности конструкции. Если в этой работе супплетивность падежного строя рассматривается как переживание древнейших эпох, то к этому побуждают следующие дополнительные основания.

Флексия местоимений в германских языках, как и во всех индоевропейских, отлична от флексии имен, при этом флексия родовых местоимений в свою очередь отлична от флексии местоимений личных неродовых.

Нем. *mir*³⁰ и *mich*, как указывал J. Grimm³¹, соответствующие парам *dir* и *dich*, *sir* и *sich* (последняя пара сохранилась лишь в готском, как *sis* и *sik*), ничего общего не имеют с формами *ihm* и *ihr*, *dem* и *den* или дат. и вин. других местоимений. Кроме того, в личных местоимениях 1-го и 2-го лица отсутствует обозначение рода.

Одни и те же формы в личных местоимениях часто выступают в функции показателей ряда падежей (например, *uns* и *euch* в нем. одинаково обслуживают и дат. и вин. падежи³²). Подчас основа выступает неоформленной. Наконец, в ряде случаев, где наличествует оформление, оно раскрывается как позднейшее переосмысление аффигированных частиц, имевших до того некие функции указания, подчеркивания и т. д. В качестве классического примера такого позднейшего приобретения значения падежа Brugmann приводит готск. *mi-k*, дрвн. *mi-h*, греч. ἐμέ-γε³³.

Эти особенности, ярко выраженные в строе местоимений всех индоевропейских языков, никак не укладываются, по выражению Н. Hirt'a,

³⁰ Окончание дат. падежа в германских языках готск. *mi-s*, руническое *mi-g*, нем. *mi-g* остается, как указывает W. Streitberg, «ohne Anknüpfung an ausser germanische Formen» (Urgermanische Grammatik. С. 262).

³¹ Kleinere Schriften. Bd. III. С. 238.

³² Различение дат. *uns* и вин. *unsih* в дрвн. является типологически фактом более поздним. «Ursprünglich wurde uns auch für den Dativ verwendet: got. *uns*, as., ags., afries *us*. Bei diesem Gebrauche war es natürlich, dass das Streben nach Unterscheidung eine neue Dativform hervorrief, indem *uns* unter Einwirkung des Sing. *mis* die Endung *is* annahm: got. *unsis* an. *øss*, *oss* (mit Verkürzung des Vokals). Da *uns* sowohl für den Dat. als dem Akk. fungierte ist es leicht verständlich, dass die neue Form auch für den Akk. gebraucht wurde. Dass Ahd und Ags. bildeten dagegen für den Akk. eine neue Form nach dem Sing, *mih*, *mec*; *unsih* *usic*» (Torp A. Beiträge zur Lehre von der geschlechtslosen Pronomen. С. 35).

³³ Grundr. II.2. С. 764–765.

в «прокрустово ложе позднейшей флексии» и являются «скорее остатками бесфлективного времени, остатками неопределенных падежей»³⁴.

Архаичность супплетивности падежей поддерживается, таким образом, архаичностью всей местоименной флексии в целом. Какова же, однако, первичная природа падежей, выраженных супплетивными основами? Какие «индивидуальные представления» были связаны с их возникновением? В каком отношении находятся эти пережитки древней падежной структуры к современной? Osthoff в своем исследовании ничего не говорит о конкретном этимологическом значении составных элементов местоименных супплетивных рядов. Попутные высказывания на этот счет у других представителей индоевропейского языкознания носят чрезвычайно неопределенный характер.

Так, J. Grimm находил причину различия основ прямого и косвенных падежей местоимения первого лица в том, что лишь именительный падеж выражает «я» как мыслящее, в косвенных же оно выступает как мыслимое. По этой же причине, считает он, лишено супплетивности местоимение 2-го лица «ты» — оно полагается исключительно как мыслимое. «Лишь 'я' (*nur das Ich, die Ichheit*) может означать мыслящее, говорящее существо».

Супплетивность чисел 1-го лица Grimm склонен объяснять тем, что «двое или больше людей, обозначенных двойств. или множ. числом 1-го лица, являются отличными от «я», хотя и похожими, ему соответствующими лицами»³⁵.

В подобного рода рассуждениях дается лишь психологический пересказ самого факта. Здесь отсутствует исторический подход к функциональной семантике явления, не говоря уже об общественно-производственных корнях этой семантики. Ценность подобного рода взглядов состоит лишь в том, что они заранее отгоняют мысль о «дефективности» и формальном происхождении феномена, видя в супплетивности какие-то более существенные, связанные с историей мышления, основания.

Hirt рассматривает супплетивность падежей как свидетельство того, что различие именительного и винительного падежей ранее всего возникло у местоимения³⁶. Однако супплетивность касается не этих лишь

³⁴ Idg. Grm. III. С. 22.

³⁵ Kleinere Schriften. В. III. С. 240.

³⁶ В «Handbuch des Urgermanischen». II. С. 25, Н. Hirt пишет: «Em Unterschied zwischen N. Akk. nat sich wohl zunächst beim Pronomen entwickelt, wo wir z. T. verschiedene Stämme haben, *ik: mik*, lat. *ego: me*, got. *weis: uns*». На с. 72 он, однако, сбивается на абсолютно формальную точку зрения: «Die Verschiedenheit vom *ik* und *mik* beruht wohl darauf, dass für einen Nominativ *me* ein neues eingeführt wurde. Im Fr. sagt man auch *c'est moi*, air. *is me, is messe* (Thurneysen. P. 405), was lat. heissen würde «*id est me*». Hirt не учитывает без личной природы последних оборотов, где *me* не является номинативом.

двух падежей, а различия прямого и косвенных падежей в целом. Как увидим позднее, корни этой супплетивности лежат в деноминативной стадии предложения, т. е. в той стадии предложения, когда еще не было ни именительного, ни винительного падежей³⁷.

Не будем предвосхищать разбора доминативного строя. Укажем лишь на некоторые особенности личных местоимений, наложивших отпечаток и на супплетивность падежей.

Ранее уже было указано, что 1-е и 3-е лицо являются двумя полюсами как в смысле распределения супплетивности падежей, так и в отношении флексии. Второе лицо, в ед. ч. лишенное вовсе супплетивности, занимает среднее место между крайними точками. Семантически этой дифференциации соответствует то обстоятельство, что 1-е и 3-е лицо являются в разной мере «личными» и в разной мере «местоимениями». Уже в первобытном сознании, где личность выступает в неразрывной связи с предметами объективного мира, 3-е лицо, или, вернее, третьи лица выступают с преимущественно объективной значимостью, 1-е лицо — с преимущественно субъективной. В сознании позднейших эпох этот разрыв углубляется. Первое лицо все больше и больше становится «лицом», 3-е лицо — все меньше и меньше «лицом», все больше «местоимением», заместителем любого имени³⁸. На одной стороне выступает «я», на другой — «это», самое общее слово. С этой эволюцией 3-го лица связана невозможность разграничить личные местоимения 3-го лица от указательных. Единство основы *ag. he, heo, hit* также свидетельствует об этой эволюции, поскольку характеристики грамматического рода являются здесь грамматизованными пережитками и за различием родов уже ощущается единство всех имен.

Полярность 1-го и 3-го лица оказывается, таким образом, существенно увязанной с разграничением сфер субъективного и объективного в

³⁷ Связь супплетивности основ местоименных падежей с существованием особого надежного строя отмечает R. de la Grasserie в работе «De la véritable nature du pronom». Louvain, 1888. На поздней ступени происходит, по его мнению, переход от древней падежной системы с падежами *possessif, prédicatif* и *objectif* к современной системе родительного, именительного и дательного падежей: «Mais le pronom, surtout à la 1-re et à la 2-e personne retient toujours quelque chose deson ancien état (с. 48, см. также с. 191). В других работах R. de la Grasserie отмечает связь этой древней падежной системы с эргативной конструкцией, которую он называет *médiopassif primitif* (см.: *De la conjugaison pronominale*. Paris, 1900. С. 167).

³⁸ См. также W. Wundt: «...diese vou der Grammatik als «dritte Person» bezeichnete Verbalform gegenüber der ersten und zweiten eine wesentlich abweichende Stellung einnimmt. Nur diese letzteren sind im eigentlichen Sinne Personen»... «Für die Ausbildung dge Personenbegriffs selbst ist die erste Person von entscheidender Bedeutung» (*Völkerpsychologie*. II, 2. С. 164).

первобытном сознании. Пережиточно сохранившаяся супплетивность падежей в 1-ом (и, частично, 2-ом) лице указывает на всю трудность образования гомогенного понятия личности. 3-е лицо значительно дальше продвигается в разрушении древних норм по причине своей большей «объективности». Как увидим позже, это выделение объективного и субъективного в первобытном сознании составляет идеологическую сущность перехода от доминативного строя предложения к номинативному.

II. БЕЗЛИЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ГЕНЕЗИС НОМИНАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Наряду с супплетивностью падежей личных местоимений, где различие основ сигнализирует существование в прошлом какого-то отличающегося от современного сознания субъекта, имеется еще одно явление, представляющее интерес в этом отношении, именно составляющие исключение на общем фоне субъективных предложений безличные предложения. Своей необычностью последние уж давно привлекли к себе внимание лингвистов, психологов и философов, создавших обширную литературу вокруг этого вопроса. Из числа других особое значение для нас приобретает теория М. Deutschbein'a, согласно которой безличные глаголы являются пережитком деноминативной стадии в развитии языка¹.

Deutschbein исходит из понятий существительного и субъекта. Существительное не в роли субъекта, выполняет, как отмечает он, совершенно иную функцию, чем в роли субъекта. Это различие логической природы. В то время как всякое существительное является выражением предмета, существительное-субъект выражает предмет как субстанцию. Морфологически это различие выражено в противопоставлении именительного падежа косвенным. Понимание предмета как субстанции и, следовательно, наличие именительного падежа — явление сравнительно позднее. Возникновение этих категорий знаменует революцию в строе языка².

Предложение с субъектом в именительном падеже — номинативное предложение — составляет основное отличие высшей стадии в развитии языков от низшей.

¹ *Deutschbein M. Satz und Urteil. Kötten, 1919. — Idem. System der neuenglischen Syntax. Götten, 1917.*

² «Wird aber der Gegenstand als Substanz aufgefasst, so führt dies sprachlich eine starke Revolution herbei» (Satz und Urteil. С. 35).

Согласно М. Deutschbein'у, категория субстанциональности при своем возникновении не является всеобщей. На ступень именительного падежа предметы действительности поднимаются не все сразу и не все одинаково. Раньше других это восхождение совершают названия лиц, «одушевленные предметы», «ибо» понятие субстанциональности коренится прежде всего в человеческом самосознании, в «я»³. Этим обстоятельством он объясняет, с одной стороны, различие падежных форм в строе личных местоимений. Если в новофранцузском *je-me, tu-te, il-le, ils-les*, англ. *I-me, he-him, we-us* и т. д. именительный и винительный падежи различаются, в то время как в общем строе имен существительных они нивелированы вследствие установившегося твердого порядка слов в предложении, то здесь, очевидно, продолжает действовать старое субстанциональное представление, связанное с номинативным субъектом. С другой стороны, этим же он объясняет совпадение основ им. и вин. падежей имен среднего рода в индоевропейских языках (ср. лат. им. вин. *jugum*). Это вызвано, по мнению Deutschbein'a, тем, что при возникновении категории субстанциональности неодушевленные предметы, вещи не могли еще функционировать в качестве субстанции, а позднее, когда с развитием мышления стало возможным и для них функционировать в качестве субстанций, винительный падеж стал употребляться и в качестве именительного. Резкая дифференциация между именем как субъектом и не в качестве субъекта обнаруживается также в употреблении эмфатического местоимения (англ. *myself, yourself* и т. д.). Сюда же, как полагает Deutschbein, относится и тенденция английского языка в пери-

³ Справедливо рассматривая глагольные лица как проявления той же тенденции, которая в рангах «научной деятельности мышления» ведет к понятию с у б с т а н ц и и, W. Wundt, как и Deutschbein, видит в осознании первого лица необходимую предпосылку к возникновению этой категории («Das beharrende Selbstbewusstsein mit seinen wechselnden Inhalten, die "erste Person"», ist hierzu die ursprüngliche Vorbedingung. Die Substanz ist, bildlich ausgedrückt, die Projektion dieses eigenen Seins auf die Welt der Objekte») (*Völkerpsychologie*. II, 2. С. 165). Что последнее неверно, доказывается всем ходом развития личных местоимений (см. выше). То обстоятельство, что в грамматическом третьем лице в меньшей мере сохраняются пережитки ранних мировоззрений, указывает, что понимание личности как субстанции начинается не с первого лица, а скорее, с третьего (и второго). Крайне выразительно формулирует эту мысль К. Маркс в одном из примечаний к тому I «Капитала». «В некоторых отношениях, — пишет он, — человек напоминает товар. Так как он рождается без зеркала в руках и не в качестве фихтеанского философа: "Я есмь я", то человек сначала смотрится, как в зеркало, только в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел, как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода "человек"» (*Капитал*. Т. I. Изд. 8. Партиздат, 1935. С. 15).

од позднесреднеанглийского и, в особенности, раннего новоанглийского в замене безличного глагола личным⁴. В качестве примера этой эволюции безличных глаголов он приводит арг. *lician* 'нравиться' — новоангл. *to like* 'любить' (ср. древнеангл. *þam wīfe þa word wēl licodon*, и новоангл. *I like apples*). Deutschbein полемизирует против W. van der Gaaf'a, который пытается опосредствовать переход от одного значения к другому такими конструкциями, как фраза из Chaucer'a: «*god lyketh the requeste*». Формальное уравнение дательного падежа с именительным в таких фразах могло, по мнению W. van der Gaaf'a, перекинуть постепенный и незаметный мост от безличной формы к личной. Deutschbein справедливо указывает, что это соображение ничего не объясняет. Если бы *god* продолжало ощущаться как дательный, то к услугам языка, после утраты флексии, была новая форма дат. падежа с *to*. Кроме того, при таком объяснении остались бы непонятными многочисленные случаи с местоимением вместо имени существительного, вроде *me liketh the requeste*. По мнению Deutschbein'a, остается признать, что в основе этой эволюции глагола лежит «естественная тенденция воспринимать субъект предложения как деятельное, активное, динамически-действующее "я"»⁵.

Deutschbein, таким образом, рассматривает различие форм им. и вин. падежей у местоимений, совпадение основ им. и вин. падежей в именах существительных ср. рода, рождение эмфатических местоимений и тенденцию к превращению безличных предложений в личные как проявления коренного сдвига в языке и мышлении. Все эти факты свидетельствуют, с его точки зрения, о возникновении новой структуры предложения с субъектом в им. падеже, — номинативного или субстанционального предложения. Эти взгляды Deutschbein'a страдают крупнейшими недостатками. Его схемы крайне абстрактны и подчас поверхностны. Так, в развитии языка он видит две ступени — низшую, на которой находятся культурно отсталые народности и... дети, и высшую, представленную языками культурных народов и... взрослых. Во всех его рассуждениях нет и намека на выяснение общественно-исторических корней глоттогонии. Развитие языка он понимает как спонтанный процесс

⁴ См. Gaaf W. van der. *The Transition from the Impersonal to the Personal Construction in Middle English: Auglistische Forschungen*. Bd. 14. Heidelberg, 1904.

⁵ *Deutschbein M. Satz und Urteil*. С. 50. Отвечая ту же тенденции развития безличных глаголов Ph. Aronstein (*Subjekt. Ztschr. f. franz. und engl. Unterr.* XXII Bd. 1923. С. 174–190), объясняет ее ростом человеческого самосознания и постепенным исчезновением первобытных представлений о таинственных духах и силах, имеющих неограниченную власть над человеком. Другую причину этого явления он находит в индивидуалистической особенности «английского характера». Эта особенность, по мнению автора, проявляется не только в данной конструкции, но и в общем стиле английской литературы.

восхождения со ступеньки на ступеньку. Содержание логических категорий в его теории крайне нечетко и туманно. Deutschbein, далее, не считается с фактами пережитков в языке и их частичного переосмысления на последующих ступенях развития. В силу этого он искажает историческую перспективу, рассматривая совершающийся в позднюю эпоху переход от приобретенных вторичные семантические и стилистические функции безличных глаголов к личным как генезис номинативного предложения. При всех этих недочетах все же остается несомненным вывод о связи появления номинативного предложения с осознанием предметов действительности как субстанции, и само по себе закономерным является привлечение impersonalia к данной проблеме. Однако решение проблемы impersonalia, которое дает Deutschbein, в особенности взгляд на impersonalia как на непосредственную форму доминативного строя, нуждаются в коренном пересмотре.

Прежде чем перейти к конкретному рассмотрению развития безличных глаголов, необходимо, хотя бы крайне бегло, остановиться на других теориях impersonalia.

Если Deutschbein в своей логицистической трактовке impersonalia сводит их целиком и без остатка к явлениям низшей стадии развития, к фактам «доминативного» строя, то обычная логицистическая трактовка исходила из противоположного стремления свести impersonalia целиком к нормальному типу предложения. Это стремление метафизически разрешить данную проблему доведено до абсурда в статье Theodor'a Kalepky — «Sind die Verba Impersonalia ein grammatisches Problem?»⁶, — где автор стремится доказать, что безличные предложения «нормальны во всех отношениях» (in jeder Beziehung normal sind), что вопроса об Impersonalia вообще не существует, по крайней мере для науки о языке, для «грамматики». Автор легко достигает цели тем, что в возмещаемом им «новом построении грамматики» (Neuaufbau der Grammatik) устраняются из языкознания понятия субъекта и объекта. Легко понять, что с подобным упразднением понятия субъекта упраздняется и понятие безличных (бессубъектных) предложений.

Однако и более серьезные попытки разрешить проблему в рамках статического подхода к явлениям языка и мышления оказались мало плодотворными.

Все внимание логиков и психологов при разрешении вопроса было направлено к раскрытию семантического содержания таинственного третьего лица, выступающего в безличных предложениях (нем. «es», фр. «il»). Это «лицо» — либо выражение «конкретной действительности» (Schuppe), либо «неопределенно представляемая целокупность бытия

⁶ Die neueren Sprachen. Bd. XXXV. 1927. С. 161–175.

или его неопределенной части» (Überweg), либо «всеобъемлющая мысль о действительности» (Lotze), либо «неопределенная всеобщность мира восприятий» (Prantl). Из лингвистов аналогичные определения дали в последнее время Beck (согласно которому «es» выражает то место в действительности, где происходит явление)⁷, H. Corrodi («es» выражает данную ситуацию, Situations-«es»)⁸ и др.

Все эти определения сходятся в том, что примышляют какое-либо абстрактное понятие (бытие, ситуация) в качестве субъекта, чем «нормализуют» безличное предложение. «Гремит» в отличие от «гром гремит» должно означать «данная ситуация гремит» или «целокупность бытия гремит» и т. д.

Возможность такого истолкования impersonalia облегчается тем, что в романо-германских языках обособленно стоит местоимение 3-го лица, по терминологии Гримма — «мнимый субъект» (Scheinsubjekt)⁹. Логически же предполагаемые значения «мнимого субъекта» настолько общи, что можно незаметно поставить любое из них в любое предложение¹⁰. Формальное языкознание устами Th. Siebs'a осудило все подобного рода попытки¹¹.

Коренную ошибку логических трактовок Siebs видит в том, что они исходят из безличного предложения с «мнимым субъектом» как изначальной формы, меж тем как данные сравнительно-исторического языкознания говорят о ее сравнительно позднем происхождении.

Так, в пределах германских языков, готский и древнеисландский знают лишь чисто глагольные impersonalia, без местоимения. Ср. готск. *rineiþ* 'дождит', дресев. *dagar* 'светает', *rignir* 'дождит'. Лишь в ново-северных языках (кроме исландского) безличные предложения строятся при помощи местоимения *det* 'оно', как в древне-, средне- и новонемецком — при помощи «es» 'оно' (дрвн. *iz*, срвн. *ez*). Перед сравнительно-

⁷ Beck E. H. F. Die Impersonalien in sprachpsychologischer, logischer und linguistischer Hinsicht. Leipzig, 1922.

⁸ Corrodi H. Das Subjekt der sogenannten unpersönlichen Verben. KZ, LIII. 1925. С. 1 слл. См. также его «Replik zur Frage der Impersonalien». KZ, LV. 1928. С. 130–136.

⁹ Dt. Wb. «Es». С. 1112. «Мнимый субъект» нем. «es», датск. *det*, фр. *il*, итал. *egli*, как отмечает Brugmann (ук. ниже соч. С. 1) наличествует лишь в германских и романских языках. Аналогичное чешск. XVI в. «оно» (*ono* *prši*, 'идет дождь') и нижнелужицк. *vonu* (*vonu se blyska*, 'сверкает молнии') Brugmann рассматривает как заимствования из немецкого.

¹⁰ Ср. Heyde J. E. Zur Frage der Impersonalia KZ, LIV. 1926. С. 149 слл.

¹¹ Theodor Siebs (Die sog. subjektlosen Satze. KZ, XLIII. С. 225) утверждает, что дедуктивные философские исследования не дали никаких результатов. «Sie berücksichtigen, wie die Logiker so oft in sprachlichen Dingen zu ihrem Schaden getan haben, mehr das, was ihrer Ansicht nach in der Sprache vorhanden sein sollte, als das was wirklich vorhanden ist».

историческим языкознанием встал как первоочередной вопрос о происхождении «мнимого субъекта» в германских и романских языках, которому посвящено специальное исследование Brugmann'a.

К. Brugmann¹² различает двоякого рода impersonalia: 1) «свободные» или «истинные», типа нем. *es regnet*, лат. *pluit*, русск. «гремит» и т. д. и 2) «связанные» типа нем. *es scheint mir, dass...* лат. *accidit, ut...* русск. «мне кажется, что...» и т. д. В связанном безличном предложении «*es scheint mir, dass...*» *es* имеет препаративное значение, как, скажем, местоимение «он» в фразе «он скоро придет, наш учитель». В таких случаях, согласно Brugmann'у, местоимение предпосылается какому-то смутному и неопределенному комплексу представлений, который уточняется впоследствии в придаточном предложении. Препаративное *es* еще сохраняет вначале характер указательного местоимения. Латинский язык в таких случаях допускает наряду с *id* употребление *hoc* и *illud* как немецкий наравне с *es* еще и *das* (ср. дрвн. О. 5, 8, 5: *ioh thaz ist mihil wuntar, thaz*; срвн. Parz. *den künec daz müete, daz* и т. п.) Позднее *es* теряет свою деиктическую функцию, приобретая новые синтаксические функции. Это *es* «связанных impersonalia» является, как полагает Brugmann, неперемный условием возникновения *es*, как «мнимого субъекта». Исходя из того факта, что в древних индоевропейских языках свободные impersonalia встречаются лишь без местоименного субъекта, меж тем как в «связанных» местоимение уже наличествует, Brugmann полагает, что «мнимый субъект» возник по аналогии с местоимением «связанных» конструкций. Синтаксическая же функция «мнимого субъекта» состоит в том, что он компенсирует выведение глагола на первое место в языках, где глагол нормально стоит на втором месте в предложении («*das Gesetz der Spitzdeckung des Verbums*»).

Продолжая эту линию формального исследования «мнимого субъекта», W. Brandenstein¹³ соглашается с Brugmann'ом лишь в отношении характеристики синтаксической функции «мнимого субъекта». Что касается генезиса местоименного субъекта, то W. Brandenstein считает неверным как предположение Brugmann'a, так и обратное, правдоподобное, но исторически недоказанное, предположение Corrodi о том, что *es* является первичным в истинных impersonalia и что лишь оттуда оно впоследствии проникает и в «связанные» предложения по схеме: *es wogt* → *es wogt in den Bäumen* → *es wogen die Bäume*¹⁴.

¹² Der Ursprung des Siheinsubjektes «es» in den germanischen und den romanischen Sprachen. Berichte über die Verhandlungen der kön. Sächsischen Gesellschaft der Wiss. zu Leipz. Phil.-Hist. Kl. Bd. 69, 5. Heft. 1917.

¹³ Brandenstein W. Das Problem der impersonalien (IF. XLVI. 1928. С. 1–26).

¹⁴ Указ. соч. С. 24.

Характеристика синтаксической функции, данная Brugmann'ом, объясняет лишь, почему перед глаголом появляется другое слово; при этом, однако, остается непонятным, почему именно местоимение выполняет данную функцию. Последнее Brandenstein ставит в связь с возникшей в новых языках необходимостью постановки личного местоимения при глаголе. Таким образом, если следовать Brandenstein'у, в готских Joh. 6, 35 *huggreiß.*, 'голодно' или Lc. 17, 29 *rignida swibla* 'дождило серой' местоимение отсутствует по той же причине, что и в Mt. 5, 26 *amen qiþa þus* 'истинно говорю тебе', т. е. в силу закономерного при синтетическом строе опускания местоимения при глаголе.

Местоимение при глаголе появляется в готском лишь в исключительных случаях как: Mt. 5, 28 *aþþan ik qiþa izwis*; Mt. 5, 39 *iþ ik qiþa izwis*, 'но я говорю вам', где «я» подчеркнуто. В дрвн. *iz*, как правило, уже ставится; частой является и постановка личного местоимения при глаголе, встречающаяся начиная с древнейших текстов.

В срвн. употребление как *ez* в *impersonalia*, так и в личных местоимениях при глаголе является повсюду правилом, за крайне незначительными исключениями.

С исследованием Brandenstein'a проблема «мнимого субъекта» перестала существовать как проблема *impersonalia*, будучи вовлечена в общий вопрос о развитии романо-германских языков от синтетического строя к аналитическому. Вместе с тем центр тяжести проблемы перешел на объяснение самого безличного глагола.

Опираясь на Marty, который в свое время подробно опроверг взгляд, будто *es* выразит какое-то неопределенное лицо, и объяснил безличное предложение как конструкцию, при которой событие мыслится само по себе, W. Brandenstein формулирует для чистых *impersonalia* типа *pluit, es regnet* следующее определение: «В таких предложениях, — утверждает он — субъект содержится в грамматическом предикате, в то время как психологический предикат отсутствует». Психологическое содержание этих фраз лучше всего передается словами «дождь есть (происходит)»¹⁵.

Brandenstein находит при этом возможность сослаться на приведенный у Beck'a пример из банту, где вместо безличного «танцуется» говорят 'танец есть' ('Tanzen ist'). Эту же мысль о доминировании значения глагола в конструкции Meyer-Lübke выражает несколько иначе: «Говорящий..., — пишет он, — замечает одно лишь действие (*ein blosses Tun*), не заботясь о творце этого действия или не имея возможности создать себе представление о таковом, и потому выбирает ту форму *verbum finitum*, которая грамматически является наиболее неопределенной»¹⁶.

¹⁵ IF. XLVI. С. 9.

¹⁶ Romanische Syntax. С. 111.

Эти и им подобные определения выгодно отличаются от логицистических тем, что в них выражается отказ от мысли придумать субъект предложения путем истолкования формы третьего лица в духе современного мышления. К тому же в них более или менее полно охватывается современная синтаксическая или стилистическая функция конструкции. Генетический вопрос, однако, остается нерешенным, без чего не понять ни залога безличного глагола, ни того, почему безличный глагол стоит в третьем лице.

Каков в самом деле залог безличного глагола?

Brandenstein, как мы видели, отождествляет безличный глагол с безличным предикативным именем, тем самым расценивая его как глагол состояния.

Ed. Hermann¹⁷ рассматривает безличный глагол, в отличие от безличного предикативного имени, как нечто иное, чем выражение состояния, как выражение события, происшествия. Сама же форма глагола, подчас сопровождаемая дополнением (реальный субъект действия), скорее говорит о переходном характере безличного глагола.

Мысль о пережиточном характере безличной конструкции завоевывает себе все больше и больше сторонников в тех кругах буржуазных языковедов, где формализм младограмматиков не задушил способность к свежей мысли. Joh. Erich Heyde видит в безличном глаголе переходную форму от глаголов воздействия к глаголам состояния. При таком предположении лицо безличного глагола должно было быть в свое время реальным, как в оборотах *Jupiter tonat, deus pluit*¹⁸. Hans Corrodi указывает на аналогичное развитие безличных *verba sentiendi*: «в основании лежит переходной глагол, обозначающий извне направленное на нас действие, в конце семантической эволюции глагол обозначает лишь следствие этого воздействия, душевное переживание»¹⁹. W. Havers находит, что условием подобной эволюции безличных глаголов ощущения являются смены в культуре и мировоззрении²⁰.

¹⁷ Hermann Ed. Die subjektlosen Sätze bei Homer und der Ausdruck der Tätigkeit, des Vorgangs und dea Zustands (Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. z. Göttingen, Hist.-Phil. Kl. 1926, Heft 3. С. 265.

¹⁸ Heyde J. E. Zur Frage der Impersonalia KZ. LIV. 1926. С. 153–154.

¹⁹ KZ, LIII. 1925. С. 22.

²⁰ Havers W. Handbuch der erklärenden Syntax, Heidelberg, 1931. С. 105; Zum Kapitel «Syntax und primitive Kultur» (Wörter und Sachen, 1929. С. 165) W. Havers приурочивает возникновение impersonalia стадийно к анимистическому мировоззрению, вырастающему на базе первобытного и присваивающего готовые продукты хозяйствования (aneigende Wirtschaftsform), опираясь на «социологию» патера Schmidt'a и Корперс'a. Было бы архиневверным принимать это высказывание W. Havers'a как материалистическое. В устах персоналиста термин «условие» не имеет никакого материалистического содержания. «Условия» для него — мертвая лишь точка приложения творческих, духовных, телеологических сил.

В этих высказываниях сделаны уже некоторые шаги по направлению к той трактовке, которую проблема impersonalia получила в новом учении о языке²¹.

Обратимся к анализу развития ряда безличных глаголов в немецком языке.

Тенденцию к замене безличной формы личной выявляет глагол *hungern* 'голодать', хотя, как отмечает Н. Paul²², личная форма *ich hungere* восходит к древневерхнемецкой эпохе. В дрвн. и срвн. глагол имеет еще транзитивное значение, 'заставить голодать', 'подвергать голоду' (ср. дрвн. *ni larut ir, huz David teta duo inan hungarta; do in hungert 'quando esuriit'*; срвн. *einen hungern uf etw.*)²³, связанное со значением глагола в безличном обороте — *es hungert mich*. В современном немецком языке глагол стал интранзитивным. Наряду с личной формой, однако, сохранилась и безличная с дифференциацией значений: *mich hungert* 'я голоден', 'я проголодался' и *ich hungere* 'я голодаю' (длительно).

Аналогичную линию развития обнаруживает и глагол *dürsten*²⁴. Безличным глагол засвидетельствован в готск. ср. Joh. 6, 35 *þana gaggandan* (субъект в вин. пад.) *du mis ni huggreiß, jah þana galaubjandan du mis ni þaurseiß hwanhun*. Безл. готск. *þaursjan* этимологически можно объяснить как каузативное образование, связанное с прилаг. *paursus*, нем. *dürr*, 'сухой' и, следовательно, восстанавливается в значении 'сушить' (ср. еще нем. *Darre* 'сушильня', *dorren* 'засыхать, сохнуть'). Немец. *dürsten* является глаголом деноминативным, откуда -t, отсутствующее в готском глаголе.) Наряду с безличной формой *es dürstet mich* в немецком появилась и личная *ich dürste* с семантической дифференциацией аналогично *hungern*; интранз. *dürsten* в более общем значении 'жаждать, претерпевать жажду' (ср. у Гете: *so weiss der Magen recht gut, wenn er hungert und dürstet*), безличное *mich dürstet* в значении, 'мне хочется пить'²⁵.

В обоих случаях, следовательно, семантическая дифференциация осложняет переход от безличной формы к личной, создавая дополнительные основания для существования одной формы рядом с другой.

Интересный пример семантической дифференциации другого типа представляет собой срвн. *bresten*, наличествовавшее в языке одновременно и в личной и в безличной форме. В основной форме глагол озна-

²¹ См. Mapp Н. Я. Verba impersonalia, defectiva, substantiva mid auxiliaria // ИАН. 1932. С. 701 слл. — Он же. Язык и мышление // ИР. Т. III. С. 91–92. — Мещанинов И. И. К вопросу о стадильности в письме и языке // ИГАИМК. Т. VII. Вып. 5–6, 1931. С. 76.

²² DW³. С. 264.

²³ Lexer. I. С. 1386.

²⁴ Paul H. DW³. С. 118.

²⁵ Grimm. DW. II. С. 1750.

чает 'ломаться, лопаться, разрываться' (ндл. *barsten*, агс. *berstan*, англ. *to burst*, нвн. *bersten*), ср. срвн. *die sper man dô bresten sach; als die riemen* (щита) *brasten*, а также 'внезапно вломиться' *ûf die vînde bresten*. В безличной форме глагол означает 'недоставать, нехватать': *mir (ge)-bristet dês*; равно и о 'потере сил и сознания': *so möhte mir vor angsten gebresten*²⁶. Безличная конструкция служит здесь, следовательно, живым способом для образования глагола в абстрактном значении, глагола ощущения.

Gebrechen в новонемецком соответствует по значению срвн. безличному глаголу. Первично *es gebricht* означало по связи с *brechen* 'быть обломанным; иметь потерю вследствие этого'²⁷.

Возникновение личной конструкции в значении «недоставать» (в срвн. рядом с *mir gebricht eines dinges* или *an einem dinge* встречается уже *mir gebricht ein dinc*; у Лютера рядом с *auf dass nicht uns und euch gebreche* и *da es an Wein gebrach* наличествует и личное *da nun Geld gebrach*) в данном случае оказалось возможным благодаря различию *gebrecchen* и *brechen*.

В срвн. глаголе *zogen* безличная форма также использована в целях семантической дифференциации. Обычное значение срвн. *zogen* дрвн. *zogon* 'водить, тянуть, ездить; медлить, замедлить' (откуда новон. *zögern*). В безличной конструкции глагол имеет значение — 'спешить' ср. *den botenzogete sêre ze lande* 'послы спешили сильно (букв. больно) в страну' *zoget inwer* 'спешите'²⁸.

Аналогичное использование безличной формы мы имеем и в срвн., гл. *belangen*. В личной конструкции глагол имеет значение: 'доставать, достигать, хватать, распространяться', в безличной: 'желать, хотеть' *mir belanget* 'я хочу, тоскую'. В этом же значении употреблялись и глаголы *erlangen*, *gelangen*. Лишь в новонемецком, где *verlangen* специализировалось во втором значении, появляется возможность для перехода к личной конструкции. Глагол *gelingen*, как указывает Н. Paul, был безличным еще в дрвн. и срвн.²⁹

Для выражения ощущения часто используется также безличная форма существительного глагола: срвн. *sin*, нвн. *sein* ср. срвн. *mir ist sanfte, liebe, gâch* ('я спешу'), нвн. *mir ist wohl, übel*.

Использование безличной конструкции для образования глаголов ощущения этимологически обнаруживается и на примерах других глаголов. Так, например, безличный глагол нвн. *verdriessen*, срвн. *bedriezen, verdriezen, erdriezen*, получил свое значение от переходного глагола со значением 'тяготить, обременять, перегружать', ср. готск. *us-þriutan* 'быть в тягость'. Исчезновение первичного значения сделало возможным появление рядом

²⁶ *Lexer M. I. C. 350.*

²⁷ *Paul.H. DW³. C. 186.*

²⁸ *Bernhardt. Zs. f. d. Ph., 35. C. 356.; см. также Lexer. III. C. 1146.*

²⁹ *DW³. C. 96. ср. Lexer. I. C. 819.*

с безличной и личной формы, в срвн. еще редкой (ср. *das volk verdrôsz das he nicht ein wieb nam*)³⁰. Подобного же происхождения срвн. глагол с аналогичным значением *beviln*. Встречающийся еще в XV и XVI в., но чаще употреблявшийся в рыцарской поэзии, гл. *beviln* имеет прозрачную семантику; *mich bevilt eines dinges* или лично *ein dine* означало 'этого с меня чересчур много', 'это досаждаст мне'. Гл. *reuen*, срвн. *riuwen* 'раскаиваться', видимо, также получил свое значение глагола ощущения в безличной форме. Раннее значение 'испытывать боль'³¹ еще живет в швейцарском диалекте: *wie mich die Mutter reuet* 'как печалит меня (смерть) матери'. Ср. также агс. *hrēowan*, 'досадить, озлобить', дрсев. *hryggva* 'печалить'. И в данном случае возникновение личной формы рядом с безличной оказалось возможным благодаря утере этимологических связей.

Можно привести еще ряд примеров использования безличной формы для выражения понятий 'рока, судьбы'. В таком использовании можно найти глаголы *kommen*, *stehen*, *gehen*, *sein* и др., ср. нвн. *es steht mir gut* 'дело обстоит хорошо', южнонем. диал. в том же знач. *das geht mir gut*, срвн. *wie stêt ez* 'как обстоят дела', Ниб. *wi ez umbe Kriemhilde stât*, Парз. *sus stêt ez umben grâl*. Безл. *sin* в том же смысле Berth, *alsô ist dem ketzer*, 'так обстоит дело с еретиком'; безл. *kommen* в срвн. означало 'случиться, происходить': *wie kumet es umbe dich*, Ниб. *es ist uns übele komen*.

Приведенные примеры показывают, что позднейшее развитие использует различие между личной и безличной конструкцией как для создания новых глаголов ощущения и судьбы, так и для выражения отдельных оттенков мысли, исследование которых могло бы явиться предметом специального исследования. Лишь в меру отпадения и потери этих специфических значений возможен переход от безличной конструкции к личной. Этим и объясняется непоследовательность и крайне слабое проявление тенденции безличных оборотов к исчезновению во многих высоко развитых языках³².

Deutschbein не учел того, что, раз возникнув, безличная конструкция прodelывает сложный путь развития. Сущность безличного предложения

³⁰ *Lexer*. III. С. 98. *Paul H. DW*³. С. 585.

³¹ См.: *Kluge*. *EW*¹⁰. С. 394 — *Paul H. DW*³. С. 414–415.

³² Вряд ли можно говорить, с нашей точки зрения, об о б щ е й тенденции в с е х безличных предложений к исчезновению. Среди исследователей нет единодушного мнения на этот счет. Одни, как I. Vendryes (*Communication sur les verbes, qui expriment l'idée de «voir»*. *Comptes Rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres*, 1932. С. 194), заявляют в категорической форме, что «les langues indo-européennes tendent généralement à substituer le personnel à l'impersonnel». Другие же в своей осторожности доходят почти до полного отрицания всякой тенденции. Ср. I. Wackernagel (*Vorlesungen über Syntax*. I. 1920. С. 117): *Zum Teil ist in neuerer Zeit die Neigung vorhanden mehr persönlich zu sein. Man bat das für das Englische festgestellt, z. B., I think entspricht dem deutschen es dünkt mich und if you please lat. placet» ... «Aber bestimmte Priorität kaim man für keine der beiden Gebrauchsweisen aussagen, eher ein ewiger Hin und Her».*

и ее отношение к «нормальной» номинативной форме могут быть раскрыты не в связи с отдельными случаями исчезновения тех или иных безличных оборотов в позднюю эпоху, а только лишь путем исследования генезиса этой конструкции.

Из числа германских языков, древнесеверный наиболее широко использовал возможности развития безличных глаголов³³. А. Heusler распределяет эти глаголы в пять групп: 1) глаголы *ощущения* (seelische Vorgänge): *þykkir mér* 'мне кажется', *mér bregþr víð* 'меня волнует', *syfiar mik* 'меня клонит ко сну'; 2) глаголы, выражающие явления *природы*: *rignir* 'дождь идет' букв. 'дождит', *várar* 'наступает весна'; 3) глаголы *судьбы* (Schicksalsäussungen): *suá, bersk at* 'так случается', *gefr þeim byr* букв. 'дает им попутный ветер', т. е. 'попутный ветер начинает им дуть'; 4) подлежащее известно, но заменяется безличным глаголом: *Flosi hjó á hálsinn, svá at tók af höfuðit* 'Ф. ударил в шею, так что голову оторвало', *þar heitir nú Ódinsey* '(место, страна) называется сейчас О.'; 5) безличные глаголы, которым в немецком соответствуют обороты с неопределенным местоимением *man*: *skal hann drepa* 'пусть его убьют', *heyrði um allan herinn* 'слышали во всем войске'.

Наличие всех этих групп не случайно: они вытекают из особенностей той стадии мышления, на которой возникла безличная форма предложения. Безличная конструкция, так же как и номинативная, связана, как мы это увидим, в своем возникновении с осознанием субъекта как субстанции. Об этом свидетельствует, помимо всего, употребление падежей дательного и творительного в безличных предложениях для выражения субъекта. Эти падежи, входящие, по определению Th. Rumpel'я³⁴, в группу дательных, характерны тем, что «имеют существенное отношение как к субъекту, так и предикату». Другими словами, это падежи в т о р о г о субъекта в предложении, с необходимостью предполагающие наличие первого, главного, субъекта в именительном падеже³⁵.

Безличные предложения с субъектом в дательном или творительном падеже отражают колебания первобытного ума при определении реальной субстанции выражаемого глаголом действия или состояния. Субъект выделяется с оглядкой на другой, основной и вместе с тем внешний, не

³³ Heusler A. *Altisländisches Elementarbuch*. Heidelberg, 1913. С. 166–168. — *Holt-hausen F. Lehrbuch der altisländischen Sprache*. I. Weimar, 1896. С. 182–184.

³⁴ Rumpel Th. *Die Casuslehre in besonderer Beziehung auf die griechische Sprache*. Halle, 1846. С. 129.

³⁵ Эту функцию творительного и дательного падежей в безличных предложениях русского и древнесеверного языков вскрывает G. Neckel в статье «Zum Instrumentalis» (IF. Bd. XXI. С. 182 слл.). В безличных предложениях, — пишет он, — Instrumentalis заметно тяготеет на место субъекта (с. 184). «Он вступает в конкуренцию с именительным падежом» (с. 89). Дрсев. дат. падеж в безличных глаголах в этом отношении ничем не отличается от субъектного творит. падежа.

обозначенный в предложении субъект. Эта-то особенность и сделала возможным использование безличной конструкции в позднейшем и для преднамеренного выражения неопределенного субъекта (группа 5-я, являющаяся согласно Heusler'у наряду с 3-й группой, особенно характерной для древнесеверного). Наличие других групп impersonalia показывает, что явления природы, душевные переживания и проявления случая, рока и т. д. рассматриваются на этой стадии как результат воздействия извне. На поздних ступенях развития форма безличного глагола не обладает единой синтаксической функцией. Это средство создания новых глаголов ощущения и судьбы; это вместе с тем средство выражения добавочных семантических оттенков (например, систематичности переживания в ранее приведенных *ich hungere* и *mich hungert* или степени участия воли в русск. «я хочу» и «мне хочется» и т. д.); в ряде случаев это еще средство выражения процесса, где «субъект содержится в самом предикате» («гром гремит» в отличие от «гремит» тавтологично). К моменту же своего возникновения безличная конструкция функционально едина: она служит для выражения ситуации, в которой субъект, по нормам мышления того времени, либо непосредственно не дан, либо дан лишь как второй, второстепенный субъект, причем сознание необходимо уже предполагает наличие в каждом акте мышления номинативного субъекта.

В безличной конструкции даны в зародыше различные анимистические и культовые представления. В применении к аналогу безличных глаголов в грузинском языке, так называемому объектному строю, это прекрасно выявляет Н. Я. Марр в «*Verba impersonalia, defectiva, substantiva und auxiliaria*». «Естественно, — пишет он, — что основы глаголов, спрягаемых согласно объективной конструкции, являются собственно именами, что они первично в зависимости от мировоззрения тех времен являются то-темами или духами и объектами культа различного рода...»³⁶.

³⁶ ИАН, 1932. С. 722. Этот же вывод подтверждается и палеонтологическим анализом некоторых немецких глаголов. Так, глагол *ahnen*, с XVI в. употребляемый как в личной, так и безличной форме, встречается, правда, крайне редко, в срвн. исключительно как глагол безличный. В срвн., а также в ранней новонемецком наряду с *ahnen* в том же значении 'чуять, предчувствовать, догадываться' параллельно встречается *ahnden*. Если считать *ahnden* в значении 'ahnen' тождественным с *ahnden* (срвн. *anden*, дрвн. *antôn, anadôn*) в значении 'наказывать, порицать', то в связи скажутся также (Graff, I. С. 267) дрвн. *anto, anado* 'огорчение, озлобление, гнев' (ср. дрс. *ando* 'возбуждение, гнев', агс. *anda, aneda* 'ревность, досада, ненависть' и гл. *andian* 'ревновать'). В основе этих имен лежит представление о духе, что подтверждается дрсв. *andi* 'дух', *qnd* 'душа, дыхание' и готск. *uz-anan* 'умереть' букв. 'испустить дух'. К этой же семантической цепи примыкает и *Ahn* (Grimm. DW. См. «Ahnen») 'предок, прародитель, труп', что генетически увязано с анимистическими представлениями о душе и духах. Культовые представления лежат, как показал Н. Я. Марр, и в основе нем. *sich schämen* 'стыдиться'. ИР, I. С. 342.

Возвращаясь к исходному пункту главы, мы можем отметить, что Deutschbein ошибся, считая безличные предложения остатком дономинативного строя. Безличные глаголы, как мы видели, «на самом деле личны... при учете стадии их возникновения» (Н. Я. Марр). Однако этим несколько не умаляется значение безличных предложений для нашей проблемы, ибо всеми своими нитями они тянут нас к начальным эпохам возникновения номинативного строя, указывая на сравнительно позднее зарождение последнего и освещая отдельные стороны и условия его возникновения³⁷.

³⁷ Анализируя функцию творительного падежа в безличном предложении, Gustav Neckel приходит к аналогичному выводу о сравнительно позднем возникновении номинативной конструкции. «Ich nehme an, — пишет он, — dass die Instrumentalis- und die Nominativ-Akkusativform nach einander ihre Funktion als Satzteile erlangt haben, und zwar ist erstere dabei vorangegangen» ... «Die Differenzierung, bzw. Kongruenz zwischen Subjekt und Objekt, Subjekt und Prädikatsnomen hatte noch nicht angefangen zu einer Zeit, wo der Instrumentalis bereits als Satzglied fungierte. Erst später entstanden das Prädikatsnomen (im gewöhnlichen Sinne) und die verschiedenen Arten der Akkusativobjekte» (IF, XXI. С. 190–191). В этом своем предположении G. Neckel, несомненно, ближе стоит к истине, нежели Deutschbein.

III. НОМИНАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАЛОГИ

Содержания именительного падежа как субстанции предиката, его синтаксической функции в индоевропейских (и типологически родственных) языках не понять вне учета глагольной формы залога. Залог и именительный падеж взаимно связаны и опосредствованы. Лишь наличие залоговых форм у глагола (*activum*, *passivum* и *medium*) позволяет именительному падежу стать средоточием предложения. При помощи залогов именительный падеж становится универсальным падежом субъекта, становится способным выражать любой предмет, любое явление, независимо от того, воздействует ли этот предмет на другой (*activum*), или, наоборот, предстает как объект воздействия извне (*passivum*), или же, наконец, содержит свое определение в себе (*medium*)¹.

Наиболее ясно это выражено в глаголах среднего залога. Индийские грамматики называли средний залог *atmanepadam*, что означает 'слово для самого себя', ибо здесь глагол выступает как выражение действия или состояния, целиком входящего в круг определений субъекта². Однако, и активный (действительный) залог, и пассивный (страдательный) в известном смысле медиальны, ибо они выражают воздействие на внешний предмет или обратное воздействие какого-либо внешнего предмета на субъект как имманентные субъекту определения. Употребление страдательного залога, при котором субъект является в действительности объектом воздействия со стороны какого-либо действующего лица, казалось бы, больше всего противится такому пониманию залога. Нет, однако, ничего наивнее взгляда, будто страдательный залог является

¹ «Erst nachdem sich der passivische Ausdruck entwickelt hatte, konnte der Nominativ auch zum leidenden Mittelpunkt der Handlung werden und erst auf dieses *S t a d i u m* (пазрядка моя. — С. К.) passt daher die Erklärung, dass der Nom. den Gegenstand der Aussage, das grammatische Subjekt bezeichnet (*Delbrück B. Vergleichende Syntax der idg. Sprachen*. I. 1893. С. 188).

² *Wackernagel J. Vorlesungen über Syntax*. I. 1920 С. 124.

паразитическим наростом, формой, не несущей никаких специфических грамматических функций в языке и являющейся лишь парафразой нормального активного предложения³. Wüllker, по свидетельству Н. G. Gabelentz'a, впервые указал, что «обычный взгляд относительно пассивного залога, будто субъект при нем воспринимается как страдающий, является ошибочным», что «субъект при пассивном залоге следует представлять как переходящий в действие или воспринимающий таковое, по никак не наоборот, как переход действия на субъект»⁴. «Субъект, — добавляет Н. G. Gabelentz, — и при страдательном залоге должен мыслиться как действительный субъект, а не как объект действия». Разумеется, употребление страдательного залога подчас обусловлено стилистическими соображениями. Так, нечеткость в фразе «*die Mutter liebte sie, aber nicht die Schwester*» будет устранена при употреблении страдательного залога. Однако, помимо стилистических, эта конструкция имеет важное грамматическое (resp. логическое) назначение.

Возражая Trombetti, рассматривавшему страдательный залог как «нечто недействительное», как простую перелицовку нормального предложения с действительным залогом, Schuchardt указывает, что оба залога одинаково действительны. При наличии двух объектов можно исходить из любого⁵. «Статически, правда, имеет место обращение (действительного залога в страдательный. — С. К.), — замечает он в другой работе, — но не генетически, оба одинаково первичны»⁶. Schuchardt здесь отстаивает лишь формальные права категории, он имеет в виду лишь возникновение формы. Что же касается содержания, то и он отрицает всякое логическое значение за этой категорией, с тою лишь разницей, что страдательный залог в этом отношении приравнивается к другим грамматическим категориям. «Страдательному залогом и другим грамматическим категориям в действительности ничего не соответствует», — заявляет он⁷. Если бы дело шло о точном отображении действительности, поясняет он свою мысль, то подлежащим выражали бы реальное действующее лицо, поскольку оно может быть познано, а страдательному залогом не давали бы доступа⁸.

Скептицизм Schuchardt'a нельзя считать обоснованным. Конечно, оперируя такими парами, как *Peter singt* и *es wird von Peter gesungen*, *Peter schlägt Paul* и *Paul wird von Peter geschlagen*, легко вывести фор-

³ Über Ursprung und Urbedeutung der sprachlichen Formen. С. 102. Цит. по Gabelentz H. G. Über das Passivum (Abh. d. Sächs. Ges. d. Wiss. Phil.-Hist. Kl. 1861).

⁴ Über das Passivum. С. 458.

⁵ Hugo-Schuchardt-Brevier² Halle (Saale), 1928. С. 445.

⁶ Exkurs zu Sprachursprung, III (Ber. d. Preuss. Akad. d. Wiss., 1921) С. 199.

⁷ Указ. соч. С. 197.

⁸ Указ. соч. С. 200.

мальную и логическую взаимную обратимость конструкции⁹. Выбор одной или другой конструкции оказывается в таких случаях делом вкуса, что усугубляется отсутствием контекста. Стоит, однако, сопоставить с ранее приведенными примерами такие, как *das Lied wird gesungen* или *Paul wird geschlagen*, чтобы яснее выступила функция страдательного залога. Отсутствие реального субъекта здесь подчеркивает то, что ранее оставалось скрытым. А именно: субъект как субстанция представляется носителем бесконечного множества свойств, в том числе и приобретенных извне; назначение страдательной конструкции состоит в выражении последних.

Еще нагляднее эта функция выступает при атрибутивном применении страдательного причастия, ср. «*красный дом*» и «*крашеный дом*». В обоих случаях выражается свойство дома, в первом случае — абсолютно, во втором случае — с указанием на приобретение признака извне. Было бы нелепо утверждать, что субъектом определения во втором случае является не «дом», а «маляры, покрасившие дом». Сама возможность сопоставления предикативного причастия (причастия в описательной глагольной форме) с атрибутивным дана исторически. Как увидим ниже, предикативное причастие развилось из атрибутивного.

Приведенные мной примеры принадлежат к числу простейших, где функция страдательного залога выступает наиболее отчетливо. Естественно, что в случае приобретенного признака легче исходить из субъекта признака, если признак уже приобретен им. Легче, далее исходить из грамматического субъекта, когда реальный субъект неизвестен или не представляет актуального интереса. Эти элементарные случаи являются началом развития страдательного залога. Многие языки, в том числе подавляющее число германских, развили форму страдательного залога из страдательного причастия прошедшего времени, этого, по определению R. de la Grasserie, минимума страдательного залога («le passif réduit au minimum, à un seul temps et à un seul mode») ¹⁰. В других языках, при наличии собственной (не описательной) формы этого залога, употребление на ранних стадиях ограничивается случаями, когда *agens* не выражается. Так обстоит дело в арабском. То же самое установлено, как указывает J. Wackernagel ¹¹, для ряда индоевропейских языков, в частности для латышского (Bielenstein. *Die lettische Sprache*, 2, p. 213). Французский латинист Ernout установил (Mem. Soc. Linguist., XV, p. 329), что в древних латинских текстах *agens* при страдательном залоге упоминается лишь в виде исключения. Таким образом, как заключает J. Wackerna-

⁹ Schuchardt-Brevier². С. 445.

¹⁰ De la catégorie de voix. Paris, 1899 С. 44.

¹¹ Vorlesungen über Syntax. 1. 1920. С. 143–144.

gel, в возникновении страдательного залога решающую роль сыграло «желание говорить о самом событии, не выставляя на передний план действующее лицо (den Agens)»¹².

«Медиальный» характер пассивного залога доказывается также тем обстоятельством, что, как будет показано дальше, страдательный залог часто генетически связан со средним, образуя нераздельную с ним форму медиопассива. Заставляя предполагать в именительном падеже всякие возможные определения, залого превращают именительный падеж в потенциальный носитель всех мыслимых свойств предмета или явления. С возникновением залогов именительный падеж становится абсолютным именем, абстрактным представителем предмета, получающим свои ближайшие определения лишь в предложении, и следовательно, вне синтаксической системы является лишенным каких-либо дополнительных характеристик, говоря техническими терминами античной грамматики, он становится падежом прямым (casus rectus) в отличие от падежей косвенных (casus obliqui), которые обладают дополнительной морфологической характеристикой и вне предложения. Эту связь осознали еще античные грамматики, назвав залогоι διαθέσεις 'положениями субъекта, его отношениями к действию'¹³, хотя они и не могли вскрыть специфического содержания среднего залога¹⁴, этого залога *par excellence*.

Выше уже приведены некоторые данные, свидетельствующие о том, что им. падеж в этой абсолютной функции субъекта не является исконным. Супплетивность прямого и косвенных падежей личных местоимений, совпадение формы именительного и винительного падежей в именах существительных среднего рода основы на -ο в индоевропейских языках, безличная конструкция, — все это говорит о сравнительно позднем появлении этой категории. Рассмотрение коррелятивной категории глагольных залогов еще больше убеждает нас в этом.

Сравнительная грамматика бессильна дать определенный ответ на вопрос о происхождении залогов даже в мере выведения форм праязыка. К. Brugmann приходит к заключению, что в праязыке не было специальных личных окончаний для страдательного залога, что «все пассивные формы в области *verbum finitum* были формами либо активного, либо среднего залога»¹⁵. Что касается личных окончаний активного и среднего (resp. пассивного) залога, то нет возможности выяснить их этимоло-

¹² Указ. соч. С. 144.

¹³ *Delbrück B. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprache. IV. C. 412. — Steinthal. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. Bd. I. C. 299, 309 слл.*

¹⁴ *D[ebrunner] A. Medium (= IF. XLVI. 1928. C. 219).*

¹⁵ *Grundr., II, 2. C. 1333.*

гические взаимоотношения, хотя а priori и можно было бы предположить, что формы активного залога были древнейшими¹⁶. В. Delbrück считает, что пассивного залога в первобытное время (Urzeit — мифический век праязыка), очевидно, не существовало¹⁷.

Н. Hirt констатирует, что до последнего времени не удалось установить различия форм активного и среднего залогов в праязыке, и высказывает твердую уверенность, что «в начале развития» (?) его не было. Согласно его твердому убеждению, и в период дифференциации (die Zeit der Trennung) проникают многие пережитки того времени, когда различие между активным и средним залогом еще не было развито¹⁸. Для определения форм страдательного залога нет никакой материальной опоры, хотя, по всей вероятности, эта форма в праязыке существовала. «Можно, впрочем, видеть, — замечает он, — на примере индоевропейского страдательного залога, насколько шатко (unsicher) обстоит дело с выведением (Erschliessung) индоевропейского состояния форм»¹⁹. J. Wackernagel считает, что различие залогов является фактом позднейшего развития²⁰. Таким образом, сравнительная грамматика все чаще приходит к мысли о позднем образовании залогов.

Этот вывод потерял бы для нас свою ценность, если бы он базировался лишь на том, что невозможно вывести общую индоевропейскую парадигму личных окончаний в залогах и разграничить окончания одного залога от другого в масштабе всей семьи индоевропейских языков. Гораздо важнее для нас то обстоятельство, что каждый из индоевропейских языков в отдельности с неоспоримостью свидетельствует о позднейшем происхождении залогов.

Проследим подробнее это обстоятельство на фактах германских языков.

Специальной флексией страдательного залога (вернее, медиопассива) среди германских обладают лишь два языка: готский и древнеисландский. В готском флексия пассивного залога наличествует лишь в настоящем времени изъявительного и опативного наклонения. Формы готского пассива соответствуют в известной мере медиальным в греческом и санскрите. Медиопассивные формы, сравнительно с формами действи-

¹⁶ Grundr., II, 2. С. 1332.

¹⁷ Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, III. С. 35. См. это же соч. II. С. 432.

¹⁸ Idg. Grm., IV. С. 128.

¹⁹ Указ. соч. С. 134.

²⁰ «Wenn wir... die ältesten Phasen der idg. Sprachen prüfen, so ergibt sich, dass in Wahrheit die Hauptsache des Unterschieds von Medium und Aktiv und die passivische Diathese nur so etwas nachträglich Hinzugewachsenes und Herausgebildetes ist». (Указ. соч. I. С. 121).

тельного залога, крайне бедны. Всего два окончания в ед. числе изъяв. накл. 1.3 — *da*, 2 — *za*. Оптатив. 1.3 — *dau*, 2 — *zau* и одно для всех лиц мн. ч. изъяв, наклонения — *nda*, оптатив. — *ndau*. Формы двойственного числа для медиопассива не засвидетельствованы. Эта бедность форм не является результатом деградации. Скорее, наоборот, это неразвернувшиеся ростки новой формы. Об этом, по крайней мере, свидетельствует частое употребление этой формы и постановка ее в ряде мест, где в греческом оригинале эта форма отсутствует²¹. Об этом же свидетельствует и употребление ряда описательных средств для передачи греческого страдательного залога. Таков, например, парафрастический пассив, образованный с помощью глаголов *wisan* 'быть' и *wairfan* 'становиться' и *part. prät* для дополнения и замены форм медиопассива.

Собственным носителем залоговости является в таких оборотах причастие, вспомогательный же глагол выражает время и вид²². О парафрастической форме в полном смысле этого слова на этой ступени нельзя говорить, поскольку причастие еще сохраняет характер аппозиции (ср. *Ms. 1,5 jah daupidai wesun allai in Iaurdane ahvai*, *Me. 1,9 jah daupifs was fram Iohanne. 1 Cor. 11,23 Iesus in þizaiei naht galewiþs was*, *2 Cor. 1,4 gaþrafstidai sijum silbans fram guda*).

Помимо этого, переводчик библии на готский язык пользовался часто для передачи греческого пассива слабыми глаголами на *-nan*, имеющими инкоативно-пассивное значение. Эти глаголы могут заменить страдательные лишь тогда, когда реальный субъект (*agens*) не обозначен.

Неуверенность и колебания переводчика при передаче залоговых форм оригинала, подтверждаемые также анализом неопределенных форм глагола (см. ниже), свидетельствуют, по мнению Н. Brinkmann'a, о том, что в ту пору «германский едва ли знал страдательный залог» (*das Germanische kannte kaum noch ein Passiv*)²³. С этим выводом можно согласиться, хотя и не без некоторых уточнений.

Brinkmann рассматривает возникновение описательного оборота как следствие утери старых медиопассивных форм. Остаток этих форм в готском является, с его точки зрения, частичной гальванизацией отмерших форм. Этот взгляд в известной мере противоречит всей схеме Brinkmann'a, где против цивилизованного грека с его рационализмом выступает германец — варвар, под воздействием античной культуры пере-

²¹ *Gabelentz H. G., Löbe J. Grammatik der Gotischen Sprache. Leipz., 1846. С. 137–138.*

²² *Streitberg W. Gotisches Elementarbuch. 1910. С. 190.*

²³ *Brinkmann H. Sprachandel und Sprachbewegungen in ahd. Zeit. Jena, 1931. С. 46.*

страивающий свое первобытное «чувственно-реалистическое» мировоззрение. Выходит, что древнегерманские языки деградировали от знакомства с медиопассивными формами до почти полного их забвения. Эта непоследовательность Brinkmann'a частично умеряется тем, что он указывает на искусственный литературный характер этой формы²⁴. Следует, однако, учесть, что данная форма в готском не просто «возрождена», сколько переосмыслена из медиальной в пассивную.

Какими же реальными ресурсами для выражения страдательности обладал готский, если вычесть как литературные новшества описательный оборот и «возрожденный» медиопассив? Остаются страдательное причастие совершенного вида и глаголы на *-nan*. Этот как раз тот «минимум страдательного залога», который, как указано выше, характеризует первую фазу развития этой формы. Глаголы на *-nan* существенно дополняют причастие прош. вр. в строе готского языка. Дело в том, что причастие прош. вр. образуется в готском лишь от переходных глаголов (и тогда оно имеет страдательное значение) и отчасти непереходных глаголов (когда оно имеет активное значение). В последнем значении оно засвидетельствовано лишь у следующих непереходных глаголов: *qiman, gaqiman, usgaggan, garinnaw; wairþan, frawairþan; galeikan, diwan*²⁵. Это все непереходные глаголы с перфективным значением. От непереходных глаголов с неперфективным значением перфективное причастие по самой своей природе не может быть образовано²⁶. Таковы непереходные *verba durativa* (*standan, wisan*). Глаголы на *-nan* также не имеют перфективного причастия, так как это интранзитивные глаголы, означающие переход из одного состояния в другое. Значение страдательности в этих глаголах, следовательно, не могло выражаться обычным путем через перфективное причастие.

Вывод Brinkmann'a подлежит, следовательно, уточнению в следующем: реальный готский язык, несомненно, обладал начальными элементами пассива (перфективное причастие и глаголы на *-nan*). Эти средства позволяли исходить из субъекта, как носителя у же приобретенных извне признаков и в некоторой мере как носителя таких признаков, которые в данный момент приобретаются, н а ч и н а ю т п е р е х о д и т ь к субъекту (последнее, лишь когда «реальный субъект», *agens*, остается неизвестным). В связи с переводом Библии готский язык должен был

²⁴ Für das Präsens stand das got. Mediopassiv zu Gebote, das in Ulfilas Übersetzung zu einer Lebendigkeit erweckt wird, die es in der Wirklichkeit längst nicht mehr besass (указ. соч. С. 12). На с. 45 он называет возрождение этой формы «своего рода литературными» (eine Art literarischer Auferstehung).

²⁵ Streitberg W. Got. Elem. С. 215.

²⁶ Wilmanns. Deutsche Grammatik. III. 1. С. 101.

подняться на новую ступень абстракции: потребовались средства для выражения грамматического (и в сущности, логического) субъекта и в таких случаях, когда он заново приобретает некоторые свойства от личного *agens*'а, либо в еще более сложном случае, когда свойство только еще подлежит приобретению в будущем.

Сущность пассива, согласно Brinkmann'у, состоит в том, что говорящий отвлекается от реальной чувственной обстановки и исходит целиком из объекта, подвергающегося воздействию извне (*das Betroffene*). Brinkmann характеризует пассив «как субъективный способ восприятия, определяемый не действительностью, а субъективным переживанием»²⁷. Отвлечение от непосредственно данной обстановки означает здесь, однако, не абсолютный отход от действительности, а дальнейший шаг в познании ее. Переход от первой ко второй фазе развития пассива означает переход от понятия субъекта как субстанции, обладающей данными, в том числе и извне приобретенными свойствами, к понятию субъекта, как развивающейся субстанции, обогащающейся все новыми и новыми качествами. Нетрудно заметить, что *inchoativa* занимают переходное положение между обеими фазами. Перфективное причастие отражает более раннюю ступень развития страдательности. Рассмотрение перфективного причастия обещает поэтому подвести нас вплотную к генезису номинативного строя.

В древнесеверном медиопассивная форма глагола (здесь форма с возвратным, взаимным и лишь отчасти страдательным значением) легко раскрывается как новообразование. Медиопассивная форма возникла здесь благодаря наращению местоимений *mik* 'меня' и *sik* 'себя' на формы действительного залога. *Mik*, служащее для образования 1-го лица ед. ч., превратилось в *-mk*, ср. *bindumk*, 'я связываю себя', 'связываюсь', *leysumk* 'я освобождаюсь'; *hetumk* 'я зову себя, зовусь'; *bundumk* 'я связался'; *lukumk* 'я заперся' и т. д. Синкопированное *sik* → *-sk*, соответственно *-zk*, служит для образования всех остальных глагольных форм, в том числе и неопределенного наклонения, например *safnask* 'собираться', *finnask* 'найтись', *helzk* 'ты держишься', *qollumsk* 'называемся' и т. д.

Мы имеем здесь явление, эквивалентное возвратному глаголу в русском «собираться», «собираюсь», «собираемся» и т. д. Дрсеv. *sik* соответствует русск. *-ся (-сь)*, являющемуся энклитическим возвратным местоимением.

Как отмечает Heusler²⁸, чисто страдательным значением обладают в дрсеv. лишь очень немногие возвратные глаголы (как *fǫfask* 'родиться'). Специальная форма страдательного залога образуется с помощью гла-

²⁷ Указ. соч. С. 45.

²⁸ Altisl. Elem. 1913. С. 156.

гола *vesa, vera* 'быть' и part. pass. Форма с *verþa* 'становится', редко встречающаяся в древний период, часто еще сохраняет свое непосредственное значение 'переходить в состояние'. Новизна форм возвратного и страдательного залогов не подлежит сомнению. И здесь мы встречаем в качестве зародышевого носителя страдательности причастие прошедшего времени.

В дрвн. мы находим лишь описательную конструкцию для выражения страдательного залога. Что эта конструкция еще не была в достаточной мере свойственной языку, доказывается стремлением переводчика обратить в определенных случаях латинский *passivum* в *activum* (Isidor)²⁹. Становление и утверждение страдательной конструкции легко прослеживается на памятниках. В дрвн. еще нет специализации глагола *werdan* в роли вспомогательного при страдательном обороте, как в новонемецком. Рядом с *werdan* употребляется в этом значении и глагол *wësan* 'быть'. Ср.: O. 1, 4, 28 *Ist gibet thinaz fon druhtine gihortaz*, O. 2, 2, 30 *nu sint fon gote erborane*. Четкой границы между глагольным и прилагательным (аппозитивным) употреблением причастия прош. вр. провести нельзя³⁰.

Прежде чем перейти к анализу залоговой природы причастий, обратимся к рассмотрению неопределенного наклонения. В готск. и дрвн. инфинитив наряду с обычным активным может иметь и пассивное значение. Приведем следующие примеры из готского: Lc. 2, 4–5 *urran þan jah Iosef ... anameljan miþ Mariin* 'пошел тогда и Иосиф ... записаться с Марией' дословно '...записать с Марией'; Lc. 5, 15 *jah garunnun hiuhmansmanagai hausjon jah leikonon fram imma sauhte seinaizo* 'и стекались многие толпы слушать и лечиться у него от болезней своих', букв. 'лечить'. Из двух рядом стоящих инфинитивов здесь один активный, а другой пассивный. Skeir. 2, 10 (Joh. 3, 4) *huaiwa mahts ist manna gabairan alþeis wisands* 'как может человек родиться, будучи стар', букв. 'родить'; Joh. 10, 35 *ni maht ist gatairan* 'не может разрушиться', букв. 'разрушить'; Tim. I, 5, 25 *filhan ni mahta sind* 'скрыться не могут', букв. 'скрыть'. Galat. 2, 3 *nih... baidiþs was bimaitan* 'не принужден был обрезаться', букв. 'обрезать'; Mt. 26, 2 *sunus mans atgibada du ushramjan* 'сын человеческий (человека) будет предан «на распятие, чтобы быть распятым», букв. 'распять'; Lc. 3, 12 *qemun þan motarjos daurþan* 'пришли тогда мытари креститься', букв. 'крестить'.

При пассивных инфинитивах возможно также указание, соответствующее определению *agens'a* при страдательном залоге. Ср.: Lc. 3, 7

²⁹ Brinkmann H. Указ. соч. С. 51.

³⁰ Cuny Fr. Der temporale Wert der passiven Umschreibungen im Ahd. Diss. Bonn, 1905. С. 4.

þaim atgaggandeim manageim daupjan fram sis 'приходившему от него креститься' (букв. 'крестить') 'народу'; Mt. 6, 1 *atsaihiþ armaion izwara ni tanjan in anduwairþja manne du saihvan im* 'смотрите, не творите милостыни вашей в присутствии людей, с тем, чтобы они видели' букв. 'чтобы им видеть' в смысле, 'чтобы быть виденными ими'; Лс. 16, 22 *warþ þan gaswiltan þamma unledin jah briggan fram aggilum* 'умер тогда нищий и принесен был (букв. 'принести') ангелами'; 2 Кор. 1, 16 *wilda... fram izwis gasandjan mik* 'хотел... чтобы вы проводили меня' букв. 'вами меня провести'.

Употребление активного инфинитива в страдательном значении со времен дрвн. начинает закрепляться в ряде определенных случаев.

Пассивное значение инфинитива утвердилось после некоторых глаголов, в особенности *lassen, heissen, sehen, hören*. Ср. дрвн.: Hild., 1 *ik gehôrta ðat seggen*; Heliand, 737 *idisi wiopun, môdar managun, gisâhun iro megi spildian* 'видели убиваемыми их детей' букв. 'их детей убивать', Nib. (нач. строфа) срвн. *von fröuden hôchgezîten von weinen und von klagen von küenen recken strîten muget ir nu wunder hoeren sagen*; Parz. *die sich der grâl tragen liez*. В новонемецком это употребление также чрезвычайно распространено.

Пассивное значение инфинитива сохраняется также после прилагательных, когда прилагательное отнесено к существительному, которое одновременно является объектом инфинитива, равно и после *es ist*. Ср. новонем. *das ist leicht zu tun, der Weg ist schwer zu finden*. Как заметил J. Grimm³¹, французское *cette pomme est bonne à manger* есть полная аналогия немецкому употреблению инфинитива. Английский язык, однако, в таких случаях выражается более точно: *that's easy to be done, there is not a moment to be lost*.

В готском мы встречаем первые слабые зачатки описательного пассивного инфинитива. Ср. Mt. 8, 24 *gahuliþ werþan*, 'покрываться'. Однако такие примеры крайне редки в готском. В дрвн. парафрастический пассив встречается, главным образом, в переводных текстах (Isidor, Tatian). При этом в лучших переводах замечается стремление избежать пассивный инфинитив, и не только при таких глаголах, как *sehan* и *hören*³². У Otfrid'a же всего лишь два раза встречается *sin* с причастием (2, 3, 20: *wio mag thaz sin firlougnit, thaz himil theru worolti ougit*; 3, 14, 37–38: *so sill tho thaz gihorta, thaz er iz antota, joh thiu selba dat sin ni mohta tho firholan sin*). Наконец, у Notker'a пассивный инфинитив встречается часто как с *wesan*, так и с *werdan*: *wesan* — для прош. вр., *werdan* — для настоящего и будущего³³.

³¹ Deutsche Grammatik³. IV. С. 63.

³² Steig R. Ueber den Gebrauch des Infinitivs im And. Zs. f. d. Ph., 16. С. 309 слл.

³³ Cuny Fr. Der temporale Wert der pass. Umschreibungen im Ahd. С. 42.

Таким образом с позднейшим развитием залоговая природа инфинитива формально уточняется, и, наоборот, чем дальше вглубь истории, тем она менее ясна и устойчива. Разумеется, Wilmanns прав, утверждая, что пассивное употребление инфинитива в готск. является скорее всего полумерой (Notbehelf) переводчика, чем на этом основании можно было бы судить о том, что готский инфинитив обладает еще неопределенным значением *pothen actionis*, одинаково поддающимся как активному, так и пассивному толкованию³⁴.

Важно при этом заметить, что основная форма, от которой отталкивается позднейшее развитие, побеждает как форма активного залога, очевидно, будучи ранее семантически предрасположена к этому.

Формы страдательного залога как определенного, так и неопределенного склонения раскрылись, следовательно, как поздние новообразования. Вместе с тем обнаружилась громадная роль причастия прош. времени, послужившего основой для всего будущего здания страдательного залога в германских языках.

В отличие от инфинитива причастные формы с самого начала предстают с четкой залоговой структурой. *Participia praesentis*, как правило, имеют активное значение, *participia praet.* — активное в случае непереходных глаголов, пассивное — в случае переходных. Однако легко заметить, что разница между активным и пассивным причастием прош. вр. формально никак не выражена. Она зависит исключительно от переходности и непереходности значения глагола. Причастие прош. вр. от переходного глагола, страдательное по своему значению, отнесено к «реальному объекту», в то время как причастие прош. вр. от непереходного глагола, как и причастие настоящего времени, отнесены к «реальному субъекту»³⁵.

Итак, сама по себе форма причастия прош. вр., этого «минимума страдательного залога», является нейтральной в отношении залога³⁶. В качестве предпосылки различения залоговости здесь выступает категория переходности и непереходности глагола, а также «реального субъек-

³⁴ Wilmanns. Deutsche Grammatik 3. 1901. С. 165.

³⁵ Активные *participia*, — указывает Wilmanns, — служат для ближайшего определения субъекта действия: *die rauschende Woge, die Woge rauscht, eine verblühte Blume, die Blume verblüht*; пассивные же — для ближайшего определения объекта действия: *der gefällte Baum, den Baum fällen*. (Dt. Grm., III, 1. С. 104). В данном случае мы имеем, однако, дело не с понятиями грамматического субъекта и объекта. «Baum» в случае «*der gefällte Baum*» является грамматическим субъектом, а не объектом. Это есть объект с точки зрения непосредственно воспринимающего, не отвлекающегося от чувственной обстановки сознания — так называемый «реальный объект», а в случае субъекта — «реальный субъект».

³⁶ Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle, 1909. С. 279–280.

екта» и «реального объекта» (последние в их отличии от грамматического субъекта и грамматического объекта). Как увидим в следующей главе, эти предпосылки создаются в недрах доминативного строя.

Нейтральность причастной формы особенно наглядно проявляется в исключениях из приведенного правила. Так, в редких случаях Part. prät. переходного глагола имеет активное значение. Ср. готск. *drugkans*, дрвн. *trunkan*, срвн., нвн. *trunken* 'пьяный', в то время как пасс. 'выпитое' обозначается формой причастия с *ge-*; в активном же значении в готском встречаем: *andaþahts* 'благоразумный, рассудительный', *mikil-þuhts*, *hauh-þuhts* (от гл. *þugkjan* 'воображать') — 'высокомерный, спесивый' (вм. ожидаемого 'воображаемый'); *frawaurhts* 'грешный' от *frawaurkjan* 'грешить' (вм. ожидаемого 'согрешенный, согрешенное', но существительное ж. р. *frawaurhts*, образованное с помощью форматива *-ti* 'грех, согрешенное') ср. также *uswaurhts* 'правый, справедливый'. Ср. еще дрвн. *bitragan* 'обманывающий' (вм. ожидаемого 'обманываемый'), *giwizzan* 'знающий', *gedienôt* 'обслуживающий, служащий', срвн. *bescheiden* 'понимающий', *verswigen* 'молчаливый, молчащий' (вм. ожид. 'человек, которого замолчали'), нвн. *ein gedienter Soldat* 'отслуживший солдат, солдат, который служил', *ein studierter Mann* 'ученый' (но не 'человек, den man studiert hat'), *ein gelernter Mann* 'ученый'.

Едва ли можно согласиться с теми, кто пытается устранить противоречие, предположив, что активное значение во всех этих случаях «основывается на абсолютном, следовательно, непреходном значении глагола»³⁷. История языка поступает несравненно радикальнее, поскольку она перестает рассматривать подобные образования как глагольные и, во избежание путаницы, переводит их в разряд прилагательных.

Но это показывает, что первичное значение таких причастий было шире: оно допускало как активное, так и пассивное толкование. Как это будет показано в дальнейшем, этот вывод не противоречит тому, что уже было сказано о транзитивном причастии прош. вр. Именно потому, что это причастие относилось к реальному объекту», оно могло иметь и то и другое залоговое значение.

Такое положение дел является непонятным, скажем более, абсурдным а точки зрения современных грамматических норм, когда причастие имеет атрибутивное значение в отношении имени, с которым оно согласовано. При предположении, однако, большей глагольности причастия в прошлом весь этот узел легко распутывается. Предвосхищая дальнейшее изложение, можно сказанное сделать наглядным при помощи следующей формулы древнего причастия:

V'O',

³⁷ Willmanns. Указ. соч. С. 104 слл.

где V^1 есть форма 3-го лица прош. вр. глагола с переходным значением, а O^r — местоименный показатель реального объекта. Допустив это, мы можем прич. *drugkan[s]* восстановить в былом значении 'пил то'. Будучи синтаксически отнесена к реальному субъекту, эта форма имела значение 'он, то выпивший', 'напившийся'; та же форма, будучи отнесена к реальному объекту, имела бы значение: 'то, что он пил', 'выпитое'. Аналогично в случае причастия *frawaurht[s]*: 'согрешил то', 'он, то согрешивший' 'грешный' и в случае абстрактного имени *frawaurht[s]* 'оно, кем-то согрешенное', 'согрешенное, грех'.

Нашему допущению, видимо, противоречит то обстоятельство, что форма причастия прош. вр. свойственна и непереходным глаголам (готск. *qumans*), непереходные же глаголы не допускают дополнения. Чистейшей казуистикой может показаться предположение, что реальный объект при переходных глаголах одновременно служил реальным субъектом при глаголах непереходных. Между тем, как увидим, это является одной из основных черт эргативного строя. Формула причастия прош. вр. непереходных глаголов должна быть соответственно изменена:

$$V^iS^r.$$

V^i — здесь форма переходного глагола, а S^r — показатель реального субъекта. С этой точки зрения *quman[s]* некогда означало 'пришел он' (→ 'пришедший'), *diwan[s]* 'умер он' (→ 'умерший'). Различие обеих формул лишь смысловое, формально же обе совпадают, и

$$V^1O^r = V^iS^r = VP,$$

где V — глагол, то переходный, то непереходный по своему значению, а P — местоименного происхождения показатель (назальный при сильных глаголах и дентальный при слабых), принимающий в зависимости от переходности или непереходности глагола значение то реального объекта, то реального субъекта.

Обратимся сейчас к залоговости причастия настоящего времени. В редких случаях в качестве исключения из правила оно обнаруживает пассивное значение³⁸. Ср. срвн. *ansehende leit*, 'явное, видимое горе', *unwizzende leit* 'неведомое горе', *der unvergeltende schatz* 'невознагради-мое сокровище', *klagende swaere* 'оплакиваемая печаль' и т. д. Подобного рода причастия особенно были распространены в раннем новонемецком (Frühnenhochdeutsch) ср. *essende Speise* 'съедобная пища', *das tragende kind* 'носимое дитя' (Ulmer: *ir zeit das tragende kind cze geben*) и т. д. Все эти случаи стоят в несомненной связи с другими, где причастие хотя и не имеет пассивного значения, но и обычное активное значение также не соответствует содержанию. Таковы, например, дрвн. *vallandiu sucht*,

³⁸ Behaghel. Deutsche Syntax. II. С. 379.

срвн. *vallende sucht, vallend siechtuom, daz vallend übel* 'эпилепсия, падающая болезнь'; дрвн. *varanter scaz*, срвн. *varnde habe, varnd guot* 'движимое имущество'; срвн. *sterbendi swaere* 'предсмертные муки', *lebende tage* 'дни жизни', *schamende arbeit* 'постыдная работа', *diu minnende nôt* 'боль любви'; пвн. *nachtschlafende Zeit* 'время, когда спят', *schwindelnde Höhe* 'головокружительная высота', *sitzende Lebensweise* 'сидячий образ жизни', *zitternde Kälte* 'холод, приводящий в дрожь' и т. д. Нелепо было бы предположить во всех этих оборотах первичное активное значение: 'сидящий образ жизни', 'время, спящее ночью', 'падающая болезнь' и т. д. С другой стороны, и пассивное истолкование причастия исключается непереходностью глаголов, либо в таких случаях, как *diu minnende not*, не допускается непосредственным значением ('боль любви', 'боль любящих', а не 'любящая боль' или 'любимая боль').

Былое единство всех этих противоречивых значений причастия настоящего вр. можно найти в предположении, что на более древней ступени языка это причастие было соотнесено не к любому субъекту, а к действительному, реальному субъекту действия или состояния. С этой точки зрения первичное значение таких оборотов, как *sterbendi swaere, diu minnende not, das tragende kind* и т. д., можно было бы более адекватно передать как 'мука умирающего', 'боль любящего', 'дитя носящей' и т. д.

Не допуская первичного страдательного значения для причастия настоящего времени, мы тем самым приравниваем его в залоговом отношении интранзитивному причастию прош. вр. Семантически их формулы должны совпасть. Однако в то время как активность интранзитивного причастия прош. вр. основана на непереходном значении глагола, активность причастия наст. вр. основана на его имперфективном значении. Дело в том, что различие причастий наст. вр. и прош. вр. является изначально не временным, а видовым. Выше уже отмечалось, что причастие прош. вр. образуется лишь от глаголов совершенных (глаголы на *-nan* и *durativa* не имеют причастий прош. вр. в готском). С другой стороны, как отмечает Behaghel, причастие настоящего времени образуется в древнейшее время в подавляющем большинстве случаев (*weitaus überwiegend*) от несовершенных, и лишь крайне редко от совершенных³⁹. Поскольку причастия наст. вр., образованные от имперфективных глаголов, как и перфективные причастия прош. вр. от глаголов интранзитивных, одинаково соотнесены с реальным объектом, можно заметить, что деление на глаголы переходные и непереходные и, с другой стороны, совершенные и несовершенные, где-то перекрещивается.

К характеристике причастных форм мы еще вернемся в заключительной главе. Теперь же сосредоточим наше внимание на кардинальном для

³⁹ Behaghel O. Deutsche Syntax. II. С. 373.

всего нашего построения положении о большой глагольности причастия в прошлом.

Явление большей глагольности причастия на древнейшей стадии развития проследил А. А. Потебня на материалах русского языка. Ценность выводов А. Потебни в отношении причастия тем более велика, что эти выводы стоят у него в связи с целой концепцией о тенденциях развития предложения, подтвержденной детальными исследованиями всех основных синтаксических категорий. Как показал Потебня, аппозитивное причастие в древнем языке относительно самостоятельно и в своей функции обнаруживает сходство с функцией главного (глагольного) сказуемого. Это получило выражение в ряде особенностей древнего русского предложения:

Второй именительный падеж с аппозитивным причастием: Ср. Лавр. 96: *Преставися епископ Володимерскыи Стефанъ, ... бывъ прежде игумень Печерьскому манастырю*. Здесь причастие «бывъ» является глагольным сказуемым к грамматическому субъекту «игумень» и вместе с тем имеет относительное значение.

Союз между аппозитивным причастием и глаголом, например, Лавр. 4 *заутра въставъи рече*; Ип. 109 *Андрей же то слышавъ, и бысть образъ лица его потускнѣлъ*; Ип. 28 *Ипришедъ Изяславъ Мъстиславовичъ къ Киеву, и бѣ Игорь разболѣлся в порубѣ в бѣ больнѣ велми*. Союз в этих примерах как бы подчеркивает большую глагольность причастия⁴⁰.

О своеобразной функции причастия в древнем языке говорит и мало известное употребление причастия без личного глагола, в качестве сказуемого придаточного предложения, связанного с главным сказуемым посредством относительного слова, обычно принимаемое за ошибку переписчика, либо отождествляемое с причастием, входящим в составное сказуемое, или с определением подлежащего, например: Лавр. 168 *Возвратишася съ побѣдою великою Половци, а о нашихъ не бысть, кто и вѣсть принеса* 'небыло кому принести' ...; Новг. I, 47 *Ини же мѣхъ ядаху, ушь, сосну, кору липову и листъ ильмъ, кто чѣто замысля* 'ели, кто что вздумает'⁴¹. Остатками этого явления в современном языке являются *идти куда зря; бить чем попадая; кто кого смога, тот того в рога; хотя*⁴².

Помимо указанных явлений, А. Потебня привлекает к анализу причастий и ряд других, утверждая свою точку зрения относительно большей глагольности причастия в древнем языке. Эта точка зрения изложена в

⁴⁰ Из записок по русской грамматике. Т. П. Составные члены предложения и их замены в русском языке². Харьков, 1888. С. 184 слл.

⁴¹ Из записок по русской грамматике. Т. П. Составные члены предложения и их замены в русском языке². Харьков, 1888. С. 184 слл.

⁴² Указ. соч. II. С. 217 сл.

пояснениях к явлениям второго типа. «Союз в “вставши и сказал” — пишет он, — нам претит, потому что, противореча вышеупомянутому тяготению причастия (к глаголу. — С. К.), он вносит в речь распушенность. Но безобразное в нынешнем языке могло не быть таково в древнем, если было знаменем его строя. В древнем языке на месте нашего деепричастия стояло причастие, не имевшее непосредственного отношения к глагольному сказуемому. Поэтому можно думать, что в древн. «въставъ, и рече» присутствие союза делает лишь более явственным свойство оборота, существовавшее и без союза, именно то, что в предложении — два по ч т и равносильные центра; что к первому из них, подлежащему, тянет приложение; что предложение, чуть сдерживая свое единство, еще как бы распадается надвое, что, однако же, нетождественно с полным его раздвоением, которое могло бы быть достигнуто превращением аппозиции в составное сказуемое. Такое объяснение не касается отношений времени причастия ко времени сказуемого и потому одинаково применимо к случаям с причастием и настоящим и прошедшим. Удержание союза и по превращении причастия в деепричастие может быть объяснено как случай «переживания» явлением того строя, среди которого оно возникло.

Таким образом, мое мнение о рассматриваемом явлении состоит в том, что во «въставъ, и рече» при причастии ничего не опущено; что причастие здесь стоит не вместо глагола, а само за себя; что глагол на его месте мог стоять разве в то недоступное для исследования время, когда язык допускал только паратактические построения; что причастие есть здесь подчиненный член простого предложения»⁴³.

А. Потевня дает здесь схему развития причастия, которая целиком оправдывается материалами языков иных систем. Причастие в том виде, как его вскрывает анализ, является началом подчинения. «Началом» — ибо причастное предложение носит еще характер самостоятельности, «подчинения», ибо вполне самостоятельного значения оно уж не имеет⁴⁴. Самостоятельное глагольное значение причастие, согласно Потевне, имело «в недоступное для исследования время, когда язык допускал только паратактические построения». Сравнение с эргативной конструкцией сделает доступным и позволит нам вскрыть самостоятельное глагольное значение причастия.

Вывод Потевни относительно большей предикативности причастия в древнем языке действителен и для германских языков. Наиболее яркое из явлений, на которые он опирается, — постановка союза между аппо-

⁴³ Указ. соч. II. С. 187.

⁴⁴ «Зависимое предложение» с причастным сказуемым есть нечто промежуточное между членом простого предложения и развитым придаточным предложением с личным глаголом (vb. finit.) в сказуемом» (Указ. соч. II. С. 220).

зитивным причастием и глаголом — встречается и в древних германских языках⁴⁵. Так, в готск.: Mc. 8, 1 *athuitands siponjans qaþuh du im* ‘призвав учеников, сказал им’, букв ‘призвав учеников и сказал им’; Mt. 27, 53 *innatgaggandans in þo weibon baurg jah ataugidedun sik managaim* букв. ‘войдя в святой город и показались многим’; Lc. 16, 26 *jah atbaitands sumana magiwe frahuh* букв. ‘и призвав одного из отроков и спросил’; Job. 11, 31 *gasaihvandans... iddjedunuh* букв. ‘видя и пошли’ и др. Союз, поставленный в этих переводных текстах, несмотря на стремление возможно точнее воспроизвести оригинал, указывает на большую живучесть этого явления. В немецком также встречаются такие обороты, особенно часто у Tatian’a: T. 9, 3 *her thō arstantanti inti nam then kneht* ‘qui consurgens accepit puerum’ 87, 4 *thō antuurtanti ther heilant in quad iru* ‘respondit Jhesus et dixit ei’; 87, 5 *antuurtanti daz uuib inti quad* ‘respondit mulier et dixit’; 102, 2; *sēnu nū sint thriu iâr fon thiuh ih quementi suochen uuahsamon inthesemo phîgboume intu ni fintu* ‘ecce anui tres sunt, ex quo venio quaerens fructum in ficulnea hac et non inuenio’. Обычная оценка этого «и» как плеонастического является наглядным примером антиисторического подхода к явлениям синтаксиса.

Помимо, однако, всякого рода проявлений известной самостоятельности древнего причастия, мы встречаем в немецком другое, более прямое свидетельство о древнейшем характере причастия. В глоссах VIII–X вв. (Hrabanisch.-Keronische Sippe) мы часто находим причастие как общий эквивалент глагола⁴⁶. Так, 38, 2: *glutto, cluto > farsuuelgandi*; 48, 11: *estimatur, estimat > úuanendi*; 60, 38: *constring > pithungan*; 72, 18: *siue docet > laerendi, edho lerendi*; 84, 2: *contemplatur > aiufalto scauonti*; 84, 5: *considerator, considérât > scauonti*; 84, 30: *considerare > sgauuonti*; 86, 4: *damnabitur > cauizzinot*; 90, 23: *conlabuntur > cascritan* и т. д.

Большая предикативность причастия в раннюю эпоху, таким образом, вне сомнения. Остается показать, что глагол, лежащий в основе причастия, относится к эпохе, предшествовавшей образованию современного глагольного строя. Далее необходимо показать, что реальный объект при переходных глаголах мог при том строе одновременно выполнять функцию реального субъекта при глаголах непереходных. Эргативная конструкция дает нам ключ к разрешению всех этих вопросов.

⁴⁵ См.: *Gering H. Über den syntaktischen Gebrauch der Participia im Gotischen. Zs. f. d. Ph., V. C. 401. — Zacher K. Rez., Zs. f. d. Ph., VII. C. 463. — Behaghel O. Rez., Germania, N. R., XI. C. 243. — Behaghel O. Deutsche Syntax. II. C. 388. — Streitberg W. Got. Elementarbuch. 3–4. C. 216.*

⁴⁶ *Bäsecke G. Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Literatur. 40. C. 46. Он же. Der deutsche Abrogans und die Herkunft des deutschen Schrifttums. Halle (Saale), 1930. C. 110. Первые цифры в последующих примерах указывают на страницы, вторые — на строки издания Steinmeyer E., Sievers V. Die ahd. Glossen. I. 1879.*

IV. ЭРГАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Все предположения относительно позднейшего происхождения номинативного предложения и предшествовании ему такой стадии в развитии предложения, на которой отсутствует именительный падеж и залого, повисли бы в воздухе, если бы в форме эргативной конструкции¹ мы не имели бы засвидетельствованной эту раннюю стадию. В связи с этим вопрос о сущности и генезисе эргативной конструкции, ставший в последние десятилетия одной из центральнойших теоретических проблем в области синтаксиса и морфологии, приобретает для нас особое значение.

Прежде чем приступим к разбору попыток теоретического освещения этой проблемы, приведем основные факты касательно этой конструкции. Наиболее характерной чертой эргативной конструкции является отсутствие именительного и винительного падежей, как они даны в индоевропейских языках, и соответственных залогов в глаголе²; вместо них даны здесь в падежной системе падежи эргативный и пассивный, в глаголах — деление их на переходные и непереходные (*vox transitiva* и *vox intransitiva*) либо активные и пассивные. Примеры из баскского языка помогут нам ближе понять сущность этой характеристики. Показателем эргативного падежа в баскском в ед. ч. является *-k*, в качестве пассивно-

¹ Мы пользуемся здесь предложенный А. Dirr'ом (*Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen* 1928. С. 75) термином эргативная конструкция вместо более распространенного термина пассивная конструкция не потому, что собираемся отрицать наличие элемента пассивности в этой конструкции. Из дальнейшего изложения станет ясным наше понимание этого вопроса. Заменой термина имелось, прежде всего, в виду предварительно устранить то неправильное отождествление данной конструкции со страдательным залогом, к которому толкает термин «пассивная конструкция».

² Крайне важно заметить, что мы рассматриваем пока эргативную конструкцию так, как если бы она определяла собой весь строй языка. Позднее будут указаны объективные критерии, позволяющие различать между актуальной и пережиточной эргативностью (см. заключительную главу).

го служит голая основа. Эргативный падеж выполняет роль субъекта при глаголах переходных, падеж пассивный — роль субъекта при глаголах непереходных и роль объекта при переходных.

| | |
|----------------------|---|
| gison-a-k ikusten du | ‘человек (-а в gison-a постпозитивный определенный член) видит его’ или: ‘человеком виден он’ |
| gison-a da-tor | ‘человек приходит’ (или: ‘человека приходит’) |
| ikusten dut gison-a | ‘я вижу человека’ (или: ‘человек виден мною’) |

Оставляя пока в стороне анализ глагольного строя, можно заметить, что система падежей баскского языка не соответствует падежам индоевропейским, что, как указал еще Fr. Müller, «в языке совершенно отсутствует восприятие как именительного, так и винительного падежа, как оно дано в наших языках (im Sinne unserer Sprachen)»³. Таким образом, при отсутствии адекватных эквивалентов, передача баскских падежей европейскими становится до некоторой степени произвольной: эргатив может быть передан именительным или творительным падежом (нем. von), пассивный падеж при переходных глаголах именительным либо винительным, при непереходных, скорее, именительным. От того или иного перевода падежа зависит, как видно из примеров, залог глагола в переводе. Можно переводить эргативный падеж именительным, и тогда в переводе глагол будет действительного залога, можно творительным — и тогда страдательного. Последнее влечет за собой перевод пассивного падежа именительным, первое — винительным. Далее, в случае перевода эргативного падежа именительным, переходного глагола — соответствующей формой действительного залога, а пассивного падежа — винительным, получается неурядица с пассивным падежом при непереходном глаголе: ‘он приходит’ следует, если считать пассивный падеж в его функциях объекта и субъекта единым, перевести ‘его приходит’⁴.

Казалось бы, в окончательном определении природы баскских падежей значительную услугу мог бы оказать глагол. Однако и здесь мы наталкиваемся на непреодолимые затруднения. В сознании басков приведенные формы выступают скорее как формы действительного залога⁵. Сама же по себе форма глагола не дает опоры для разрешения вопроса о ее залоговой (активной или пассивной) природе. В эргативной конструкции баскского языка мы замечаем лишь различие переходных и не-

³ Müller Fr. Grundriss der Sprachwissenschaft. III, 2. С. 7.

⁴ Uhlenbeck C. C. Charakteristik der Baskische grammatica. VM. V. 8. 1. 1906. С. 28.

⁵ Schuchardt H. Excurs zu Sprachursprung. III. Ber. d. Preuss. Ak. d. Wiss. 1921. С. 207.

переходных глаголов, сигнализируемое аффигованием местоименных частиц к глагольной основе. Эти частицы не имеют чисто субъектного значения, как личные окончания глагола в индоевропейских языках. Существуют эргативные и пассивные местоименные аффиксы с функцией, аналогичной функции соответствующих падежей; эргативная частица является показателем субъекта при глаголах переходных, пассивная — объекта при глаголах переходных, субъекта при глаголах непереходных. Глагольная форма, состоящая из основы и местоименных частиц, является, следовательно, предложением эргативного строя в миниатюре. Ср. *na-bil* 'я иду', *da-kar-t* 'я несущего (ее, то)' или 'он(-а, -о) несущий (-а, -о) мною', *na-tor* 'я прихожу', *na-kaḡ* 'он (-а, -о) несет меня' или 'я им (ею) несущий'. Как видно из последнего примера, отсутствие суффикса при переходном глаголе свидетельствует о субъекте 3-го лица. Аналогично этим примерам (сильного) спряжения оформляется и вспомогательный глагол, образующий основу слабого спряжения: ср. *d-e-t* 'я имею то' (или 'то имеется мною'), *d-u* 'он имеет то' (или 'то имеется им'). В приведенных примерах *n-*(*na-*) является пассивной (хотя в определенных случаях функционирует и как эргативная), *-t* — эргативной частицей 1-го лица, *d-* пассивной частицей 3-го лица.

Глагольная основа как в случае переходного глагола, так и в случае непереходного, выступает в значении имени действия (*nomen actionis*) с индифферентным значением, допускающим одинаково перевод как путем действительного, так и страдательного залога⁶.

Эргативная конструкция не составляет особенности какой-либо одной языковой группы. Современные исследования вскрыли факт ее повсеместного распространения. Trombetti перечисляет следующие языки с эргативной конструкцией, помимо баскского: кавказские (resp. яфетические), индокитайские, папуасские, австралийские, палеазиатские и американские⁷. Уленбек указывает на возможность наличия этой конструкции в индонезийском⁸. Присутствие ее обнаруживают также некоторые индоевропейские языки (индийские, иранские). Формы проявления эргативной конструкции во всех этих языках крайне разнообразны. Везде, однако, за многообразием явлений проглядывает единая сущность: различие в падежном строе имен и самостоятельных местоимений либо в глагольных местоименных аффиксах — эргативности и пассив-

⁶ «Diese Auffassung des Verbalihemas als des Lokals eines Nominalstammes mit indifferenter Bedeutung (*tragen* sowohl aktiv als auch passiv = getragen werden) erklärt einerseits die sonst unbegleitliche Stellung der Pronominal-elemente, andererseits die Geltung der Subjektspronomen am transitiven Verbum». Fr. Müller. Указ. соч. С. 19.

⁷ Trombetti A. *Elementi di glottologia*. Bologna, 1923. С. 264.

⁸ VM. V. II. 2. 1916. С. 215.

ности, стоящее в связи с делением глаголов на переходные и непереходные (resp. глаголы действия и состояния)⁹. При этом эргативный элемент является выражением реального субъекта при глаголах переходных (resp. действия), пассивный же — выражением реального субъекта при глаголах непереходных (resp. состояния) и реального объекта при глаголах переходных (resp. действия).

Рассмотрению различных вариантов эргативной конструкции посвящены следующие страницы.

С. С. Uhlenbeck в заметке «Zur Kasuslehre»¹⁰ приводит следующие параллели к баскской конструкции из североамериканского языка дакота из группы языков сиу.

| | |
|-------------|--|
| wa-kaška | ‘я связываю’ |
| ya-kaška | ‘ты связываешь’ |
| ma-ya-kaška | ‘меня ты связываешь’, или: ‘я тобою связываюсь’ |
| ma-kaška | ‘меня он (она) связывает’, или: ‘я им (ею) связываюсь’ |
| ni-kaška | ‘тебя он (она) связывает’ или: ‘ты им (ею) связываешься’ |
| ma-ŋa | ‘я умираю’ (ср. с ma- в 3-м и 4-м примерах) |
| ni-ŋa | ‘ты умираешь’ (ср. с ni- в пятом примере). |

Как указывает Uhlenbeck, отличие языка дакота от баскского состоит в том, что в первом, вместо деления глаголов на переходные и непереходные, существует деление их на глаголы действия и состояния. Соответственно Uhlenbeck предложил назвать эргативный падеж в баскском — транзитивным, в дакота — активным, пассивный же в первом — интранзитивным, во втором — инактивным. Одно время Uhlenbeck считал возможным свести деление на активные и пассивные глаголы к обычному в индоевропейских языках делению на переходные и непереходные, полагая, что активные глаголы, непереходные с точки зрения нашего мышления, окажутся в каком-либо отношении переходными в данных языках. Это предположение не оправдалось¹¹. Соответственно

⁹ В ряде американских языков эргативность основана не на переходности или непереходности глагола, а на том, является ли глагол по своей семантике активным или нет. Мы не употребляем здесь обычной терминологии «глаголы активные» и «пассивные» во избежание смешения этой семантической классификации с залоговой. Основания, по которым глагол относится к группе глаголов действия, а не состояния, не всегда ясны. Так, в языке Дакота, как указывает Uhlenbeck (там же. С. 201) глагол t'i ‘обитать’ относится к числу глаголов действительных.

¹⁰ KZ, XXXIX. 1906. С. 600–603.

¹¹ «Die Kasuswerte der pronominalen Konjugationselemente des Dakota» (IF, LII. 1934. С. 227).

этому формула, выведенная Uhlenbeck'ом позднее для языка дакота, гласит: «энергетические (= эргативные. — С. К.) местоименные элементы функционируют как логический субъект при переходных и непере-ходных «verba actionis», инертные же (= пассивные. — С. К.) местоимен-ные элементы, напротив, как логический объект при переходных, как субъект при инактивных глаголах.

Из индокитайской группы языков привлечем к рассмотрению эрга-тивную конструкцию тибетского языка.

Формативом эргативного падежа имен существительных (эквивален-том баскского -k) является — *gis* с различными вариантами (в частности -s), совпадающий с формативом орудийного падежа (*a* в разговорной речи и родительного). G.Gabelentz¹² называет этот падеж *activo-instrumentalis* в отличие от неформленного *neutro-passivus*. Глагольная осно-ва аморфна в отношении лица и числа. Это — «неизменяемое именное выражение, отношения которого к различным лицам должны выражать-ся предшествующими существительными (в третьем лице) или место-имениями (в первом лице)»¹³. По своему значению они распадаются на непереходные или нейтральные и переходные или активные¹⁴. Сама по себе глагольная основа индифферентна и в отношении своих аспектов. Истолкование ее как активной или пассивной опирается исключительно на то или иное понимание функции предшествующих выражений логи-ческого субъекта¹⁵ (глагол в тибетском, как правило, стоит в конце предложения).

Употребление эргативной (*ñas*) и пассивной (*ña*) формы местоимения первого лица можно видеть из следующих предложений: *ñas khyod rduñ* 'я (эрг.) ты (пасс.) бить' = 'мною ты избиваем' или 'я бью тебя', *khon-gis ña lag-pas brduñs* 'он (эрг.) я (пасс.) рука (-s орудивн. падеж, *pa* — класс, показатель *maskulina*) избит (*Part. præt.* 'от бить')' = 'он меня рукой избил' или 'я им рукой был избит', *ña yin* 'я есмь'.

Несколько примеров с существительным в эргативном падеже: ср. *ñdi skad bdag-gis thos-pa dus-gčig-na* букв., 'это сказание я (эрг.) (*bdag* принадлежит к особым формам местоимения 1-го лица, предпочитаемым в обиходе) слышать время-одно-в' т. е. 'это сказание я некогда слышал'

¹² Die Sprachwissenschaft. 2. P. 151, 102.

¹³ Müller Fr. Grundriss d. Spr. II. 2. C. 342.

¹⁴ Cabelentz H. Gr. Ueber das Passivum. C. 472.

¹⁵ Der Verbalstamm selbst ist indifferent, er hat sowohl die aktive (aber neutral-intransitive), als auch die passive Bedeutung in sich. Die Auffassung in dem einen oder in dem anderen Sinne wird durch die Form des Ausdruckes des idealen Subjekts gegeben. Steht diese Form im Nominativ (nackter Stamm), dann ist der Verbalstamm im activ-neutralem Sinne, steht sie dagegen im Instrumental, dann ist derselbe im passiven Sinne zu fassen». Fr. Müller. Указ. соч. С. 342.

или 'мною эта сказание некогда слыхано'¹⁶, rgyal-pos gsuñ-ño 'царь (эрг.) приказать'='царь приказывает' или 'царем приказано', rgyal-po señ-khri-la bžugs 'царь на троне сидит'.

Для понимания залоговой природы глагола при эргативной конструкции в тибетско-китайских языках важно следующее заключение Н. S. v. Carolsfeld'a, автора крайне содержательной работы на интересующую нас тему¹⁷. Он отмечает переход эргативной конструкции в номинативную в средней группе диалектов Nāga (Lhōtā-Nāga). Показателем субъекта (эргатива) перед активными переходными глаголами здесь является суффикс -па, предположительно орудийного происхождения. При непереходных глаголах субъектом является чистая основа. Применяется в этом случае и другой суффикс -cho, однако и суффикс -па проникает в непереходное предложение, что «во всяком случае должно привести к неясностям в различении actīvum и passivum». Последнее замечание метко схватывает сущность глагольных залогов при эргативной конструкции.

Своеобразно проявляется эргативная конструкция в яфетических языках Кавказа¹⁸, из которых привлечем к рассмотрению абхазский и бачинский языки.

В абхазском языке¹⁹, где отсутствует склонение, объектно-субъектные отношения глагола выражаются путем прибавления к глагольному корню местоименных элементов. В отличие от баскского и дакота, мы находим здесь супплетивность эргативных и пассивных частиц лишь в 3-м лице ед. числа. В зависимости от деления на классы существ разумных и неразумных мы имеем следующую таблицу этих местоименных элементов:

| Классы | | Эргативный показатель | Пассивный показатель |
|------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| Класс разумных: | мужск. р. | i-(y-) | d- |
| | женск. р. | l- | |
| Класс неразумных | | a- | i-(y-) |

¹⁶ Diese Sage ich-von hören Zeit-einer-in d. h. 'die Sage habe ich einst gehört' oder 'diese Sage ist einst von mir gehört worden' (Gabelentz. Указ. соч. С. 342).

¹⁷ «Transitivum und Intransitivum» (IF, III. 1934. С. I слл.).

¹⁸ Об эргативной конструкции в яфетических языках см. *Schuchardt H. Über den passiven Charakter des Transitivity in den Kaukasischen Sprachen.* 1896 (Sb. d. Akad. d. Wiss. Wien, Phil.-Hist Kl. Bd. BXXXIII. Abh. 1). — *Dirr.* Einführung in das Studium der Kaukasischen Sprachen. 1928. С. 46 слл. Исключительно богатый материал приводит акад. И. И. Мещанинов в работе «Язык ванской клинописи». Т. II. 1930. С. 191 слл.

¹⁹ Кроме упомянутых работ, см.: *Услар П. К.* Этнография Кавказа. Т. I. Абхазский язык. Тифлис, 1887. § 33 сл. — *Наšба А.* Die passive Konstruktion des abkhasischen transitiven Verbuns (ЯС. VI. 1930. С. 205–212).

Остальные показатели ед. ч.: 1-е лицо -s(z), 2-е лицо мужск. р.-w, женск. р.-b. Во мн. числе: 1 лицо -h, 2-е лицо -цр 62, 3-е лицо -г.

Рассмотрим функцию эргативных и пассивных местоименных элементов при транзитивных и интранзитивных глаголах. Как правило, формулой переходного глагола является следующая последовательность составных частей: пассивный местоименный префикс, эргативный префикс, глагольная основа. Ср. də-z-gòyt 'я его (ее) (из класса разумных) беру' də-l-gòyt 'она его (ее) (из класса разумных) берет', d-a-щwèyt 'он (из класса неразумных) его (ее) (из класса разумных) убивает'. Объект при переходных глаголах пасс, d- выступает в роли субъекта при глаголах непереходных ср. də-фsəyt 62 'он умер' ('она умерла'), də-фèyt 62 'он заснул' ('она заснула') də-фèyt 'он ушел' ('она ушла') и т. д.

Аналогично d- ведет себя и пассивный местоименный элемент класса неразумных i-(y-).

При переходных глаголах i-(y-) функционирует как объект ср. уə-z-gèyt 'я его (из класса неразумных) взял' у-a-gòyt 'он (из класса нераз.) его (из класса неразумных) берет' и т. д. При глаголах непереходных пассивный местоименный элемент выполняет роль субъекта ср. уə-фsəyt 'он (из класса неразумных) умер', уə-kāhayt 'он (из класса неразумных) упал' и т. д.

Переходные глагольные формы мы здесь везде переводили русскими активными формами. Можно, однако, было и здесь, как и в примерах из других языков, переводить и страдательным залогом, а эргативную местоименную частицу — творительным падежом соответствующего русского местоимения. Мы этого не делали лишь для краткости²⁰.

В бачинском (das Batschische) языке чеченской группы²¹ эргативная конструкция проявляется, помимо обычного в кавказских языках употребления эргативного падежа для обозначения субъекта при переходных глаголах, еще в своеобразном употреблении классовых показателей при глаголах. Не все глаголы в бачинском аффигируют эти классовые показатели. В глаголах, воспринимающих классовые показатели, находим употребление их в значении субъектов при глаголах непереходных и

²⁰ Если оставаться только в пределах здесь приведенных фактов, то Schuchardt, несомненно, прав, замечая: Schiefuer... macht die von Fr. Müller... wiederholte Bemerkung, dass das Abchasische kein Passiv kenne, dass man den Satz 'ich werde von meinem Vater geliebt', drücken müsse: 'mein Vater liebt mich'. Streng genommen ist... die Sache gerade umgekehrt: das abch. mein Vater-ich-liebt — entspricht nicht sowohl dem letzteren als den ersteren Satze («Ueber den passiven Charakter» etc. P. 6). Позже мы увидим, что есть основания «читать абхазские формы с точки зрения семантической (а не формально-грамматической) более близкими к формам действительного залога в индоевропейских языках.

²¹ Dirr. Указ. соч. С. 156–157.

объектов при глаголах переходных. Так, например, в связке v-a (so va 'я есмь' ho va 'ты еси' o va 'он есть') v- является показателем класса субъекта (мужск.), в связке j-a j — показатель класса (женск.) субъекта. В предложении son v-ec 'я (son дат. падеж мест. 1-го лица) его (мужск. кл.) люблю' v-является показателем объекта, ср. также as j-aq бЗ, 'я (as эргативная форма местоимения 1-го лица) ем предмет из класса j-', as b-aq бЗ 'я ем предмет из класса b-'. Таким образом, употребление классовых показателей выявляет их значение как пассивных частиц.

Мы привели несколько небольших примеров, которые показывают, как различно проявляется эргативная конструкция в разных языках. Несмотря на особенность морфологического и синтаксического выявления, мы во всех вариантах встречали один и тот же, принципиально отличающийся от номинативного строй предложения с характерными для последнего субъектно-объектными отношениями. Тот факт, что это явление при всем различии морфологического выявления прослеживается в громадном количестве языков, говорит о том, что не случайные обстоятельства породили этот строй, что он является общезначимой ступенью в развитии предложения.

Вся история изучения эргативной конструкции показывает, насколько трудно понять эту конструкцию в ее своеобразии как особую историческую стадию в развитии предложения. Громадное большинство исследований, отмечая особенности конструкции, стремится свести ее к обычным нормам индоевропейского предложения. В нашем разборе основных теорий эргативной конструкции мы не преследуем цели ни сколько-нибудь полно охватить всю историю вопроса, ни решить вопрос о приоритете того или иного исследователя в постановке этих проблем. Различные теории нами привлечены лишь постольку, поскольку разбор их может содействовать уяснению сущности этой конструкции.

W. Humboldt, отмечая отличие баскского эргативного падежа («der handelnde Nominativ») от именительного, видит в нем один из идеальных падежей своей спекулятивной философской грамматики²². В свою шкалу философских падежей, построенную на кантовской таблице рассудочных понятий по отношению, он включает, наряду с эргативным падежом (вытекающим из в з а и м о д е й с т в и я субстанции и причины), еще родительный и винительный. Именительный падеж при средних глаголах он исключает из числа падежей, поскольку он не выражает отношения к другому предмету. Предвзятость суждения помешала, таким образом, Humboldt'у разобраться в конструкции баскского предложения. Вся малосодержательная спекуляция не стоила бы внимания, если бы до сего времени не повторялись попытки рассматривать

²² Mithridates. IV. С. 317 слл.

эргативную конструкцию лишь как логически более последовательную форму номинативного. Собственно, в этом же роде и теория А. Trombetti, согласно которой эргативная конструкция является следствием «естественного» стремления подчеркнуть действующее лицо в отличие от лица инертного. Легко заметить, что подобные теории проходят мимо основных специфических сторон эргативного строя.

Н. G. Gabelentz, рассматривая в своей работе «Über das Passivum» особенности баскского глагола, отмечает, что W. Humboldt не понял этих особенностей. Переходя к падежам, Н. G. Gabelentz пытается свести баскский пассивный падеж к винительному. Однако, после того как это ему не удастся, он заключает: «...вследствие этого правильнее будет понять форму *gisona, ni* и т. д. как страдательную или как форму состояния (*leidende Oder Zustandsform*) имени или местоимения (которая при непереходном глаголе соответствует именительному падежу, при переходном — винительному)»²³. Слепота суждения, однако, так велика, что формулировка своеобразия эргативной конструкции оставляется в дальнейшем без внимания. Разбирая различные случаи эргативной конструкции, Н. G. Gabelentz истолковывает их как обычные то страдательные, то действительные обороты. Так, тибетскую конструкцию с эргативным падежом он считает страдательной. Так же он оценивает и соответствующие конструкции в лезгинском и тушинском языках, предположительно и австралийских, выделяя их лишь как «языки с исключительным употреблением пассивного оборота вместо активного»²⁴.

Во всех этих характеристиках Gabelentz'a речь идет не столько о генетических связях всех этих типов, сколько о формальной классификации собранного им громадного материала, во многом сохраняющего свое значение поныне.

А. F. Pott, которого С. С. Uhlenbeck называет своим предшественником в этой проблеме, в работе «*Unterschied eines transitiven und intransitiven Nominativs*»²⁵ привлекает эргативную конструкцию для объяснения особенностей индоевропейского склонения. В гренландском и баскском он видит два, как он выражается, номинативных падежа с различным семантическим содержанием: номинативный падеж действия и номинативный падеж страдания или нейтрального состояния.

Совпадение формы вин. падежа м. р. с формой им. падежа ср. р. во 2-м склонении греческого и латинского языков, а также совпадение им. и вин. падежей имен у ср. р. во всех индоевропейских языках свидетельствует, по его мнению, о некотором отдаленном сходстве с баскским и

²³ Указ. соч. С. 499.

²⁴ Указ. соч. С. 543.

²⁵ BVS. VII. 1873. С. 71 слл.

гренландским. Различие им. и вин. падежей в именах м. и ж. р. Pott объясняет тем, «что как раз в них у лиц (действительных или идеальных: как masc. так и fem.) и выступает наиболее остро расхождение субъекта и объекта, в среднем же роде упомянутое различие равно нулю». Кроме того, как указывает Pott, в индоевропейских языках часто встречается аналогия формально не обозначенному звательному падежу баскского. Как увидим дальше, это явление также вытекает из существа эргативного строя. Pott, следовательно, уже в полной мере учитывает особенности эргативного строя, это сказывается и в его замечании, что в таких языках «нет настоящего именительного падежа как грамматически отчеканенной ф о р м ы для выражения субъекта предложения» (es gibt in solchen Sprachen keinen echten Nominativ als grammatisch ausgeprägte F o r m für ein Satzsubjekt).

Прежде чем перейти к работам С. С. Uhlenbeck'a, создавшего новую эпоху в разработке проблемы, следует еще назвать имя часто недооцениваемого французского лингвиста E. de la Grasserie. Лингвист с широким диапазоном, юрист по образованию и по профессии, он все свои усилия направляет сторону формальной классификации языковых явлений. В ряде работ²⁶ он метко схватывает своеобразие эргативного строя, выделяя его под особым названием «le médio-passif primitif»²⁷. Он строго отличает эту форму от страдательного залога (le passif normal ou hystérogène), отмечая, что в некоторых языках оба явления сосуществуют рядом. Страдательный залог он рассматривает как явление позднее, недостающее во многих языках, формирующееся с большим трудом и постоянно переплетающееся то со средним залогом, то с возвратным, то даже с взаимным. В эргативном строе de la Grasserie видит крючкотворство языка, адвокатскую уловку, направленную к тому, чтобы при переходе от древней интранзитивной конструкции к позднейшей транзитивной сохранить древний порядок слов. Первоначально, согласно его взглядам, не было разницы между глаголом и существительным, вернее, были одни существительные. Вместо 'я хожу' тогда говорили 'мое хождение', вместо 'я люблю' — 'моя любовь'. Позднее, с возникновением дополнения, оно естественно прибавляется к основной форме имени (по терминологии de la Grasserie — le prédicatif) 'моя любовь — он' вм. 'я люблю его'. Предложения с непереходными глаголами тогда перестраи-

²⁶ См., главным образом, «De la categorie des voix». Paris, 1899 и «De la conjugaison pronominale notamment du prédicatif et du possessif». Paris, 1900.

²⁷ Аналогичные взгляды высказала в наши дни С. Л. Быховская в статье: "Пассивная" конструкция в яфетических языках» (ЯМ. II. С. 69). В отличие от de la Grasserie, она называет эргативную конструкцию не медиопассивной, а активно-пассивной. За подобного рода взглядами нельзя не признать того плюса, что здесь эргативную конструкцию не путают с действительным и страдательным залогами.

ваются, отбрасывая possessивный субъект с постановкой вместо него пассивного падежа (предикатива), в то время как переходные глаголы продолжают сохранять архаичный possessивный строй. De la Grasserie, несмотря на всю искусственность и схематичность его построений, не только смог отметить специфичность эргативного строя, но и верно угадал, что дифференциация переходных и непереходных глаголов связана с дифференциацией имени и глагола (см. ниже)²⁸.

Таким образом, в работах Gabelentz'a, Pott'a и de la Grasserie мы находим уже более или менее последовательное признание специфичности эргативного строя. Эти взгляды, однако, так и остались разрозненными, случайными высказываниями. Позже, когда возрос интерес к проблеме, названные работы остались настолько основательно позабытыми, что их пришлось буквально открывать заново. Независимо от Pott'a к аналогичным идеям позднее пришел С. С. Uhlenbeck. В статье «*Agens und Patiens im Klasensystem der indogermanischen Sprachen*»²⁹, исходя из анализа индоевропейских падежных форм, он приходит к крайне важному выводу, что различие между именительным и винительным падежами в индоевропейских языках сравнительно позднего происхождения. Согласно Uhlenbeck'у, индоевропейский праязык был языком «полисинтетического, суффилирующего и инфигирующего типа» наподобие неродственных языков баскского, гренландского и дакота, которые знают лишь различие падежей действия и страдания, но не именительного и винительного. Формальным показателем эргатива на этой стадии индоевропейских языков служил, по мысли Uhlenbeck'a, суффикс позднейшего им. падежа -s, по всей вероятности, связанный с указательным местоименным корнем so. В качестве же пассивного падежа функционировала чистая основа, лишь в так называемых основах на -o показателем пассива являлся -m (позднее суффикс винительного падежа существительных м. и ж. р. и им. и вин. падежей среднего рода, ср. *yugám: ζυγών* и *vřkam: λύκων*). Функции падежей действия и страдания Uhlenbeck определяет в зависимости от переходности и непереходности глагола.

В названной заметке, равно как и в новой «*Zur Casuslehre*»³⁰, где Uhlenbeck приводит параллели из баскского, гренландского и дакота языков, дается формально безукоризненная характеристика эргативного строя. Uhlenbeck терминологически отмечает своеобразие падежей этого строя, говоря об *activus: passivus* (или соотв. *transitivus: intransitivus*) позднее *casus energeticus: casus inertiae* в отличие от именительного — винительного. В отношении глагола он отмечает важность различия пере-

²⁸ «De la categorie des voix». С. 19.

²⁹ JF. XII. 1901. P. 170–171.

³⁰ KZ. XXXIX. 1906. С. 600–603.

ходности и непереходности. Как недостаточно, однако, одного формального определения в подобного рода вопросах, можно видеть из того, что во второй заметке С. С. Uhlenbeck готов сделать уступку общепризнанным взглядам на эргативную конструкцию. «Если воспринять переходный глагол баскского вместе с Fr. Müller'ом, Schuchardt'ом и Stempf'ом как пассивный, то тогда casus transitivus (resp. эргативный. С. К.) окажется подобным орудийному, в то время как casus intransitivus приблизился бы к характеру именительного падежа. Во всяком случае, орудийным падежом следует переводить транзитивный падеж в соединении с пассивным причастием (например gison-a-k eman-a 'vom Menchen gegeben'³¹). Уленбек здесь еще крайне осторожен, в своих позднейших работах он безоговорочно принимает точку зрения пассивности глагола в эргативной конструкции. Уленбек прекрасно сознает, какие последствия вытекают из этого. Отожествление глагола в эргативной конструкции со страдательным залогом в индоевропейских языках с необходимостью ведет к отрицанию особенностей падежей эргативной конструкции, к отождествлению их с падежами номинативного строя.

Теорию пассивности эргативной конструкции наиболее последовательно развил Н. Schuchardt. В статье «Über den aktivischen und passivischen Charakter des Transitivs»³² он сжато излагает свои взгляды на этот вопрос. Происхождение эргатива он представляет себе следующим образом:

«Активный (т. е. эргативный. — С. К.) падеж есть наречие, как и все падежи, если отвлечься от именительного, который вовсе не является падежом, и от родительного, который является прилагательным, и мог он возникнуть благодаря наращению приложения (Apposition) *отец-место* { со стороны отца, отец-орудие { *отцом* и т. п. Однако изначально связанное с ним ударение (Nachdruck) может быть усилено местоименным добавлением: отец-он (с'est le père qui...), о чем я напоминаю, имея в виду объяснение индоевропейского -s и семитического ū»³³.

Нельзя обвинять Schuchardt'a в отсутствии всякого генетического подхода. Он разделяет точку зрения, согласно которой индоевропейский именительный падеж является результатом переосмысления эргативного падежа. Schuchardt также далек от того, чтобы путать «пассивность» глагола в эргативной конструкции со страдательным залогом в его противоположности действительному и среднему в индоевропейских языках. «Транзитивный глагол, — утверждает он (я имею в виду то, что обычно называют глагольным корнем), — является нейтральным и не может быть иным. Он становится активным или пассивным лишь в соединении

³¹ Там же. С. 601.

³² IF. XVIII. 1905–1906. С. 528–531.

³³ Указ. соч. С. 530.

с именными (и местоименными) элементами, будь то внутри расчлененного предложения, будь то внутри того спаявшегося предложения, которое мы называем глагольной формой. Глагольное имя «удар» (Schlag) лучше всего дает представление об этой нейтральности, в то время как «ударить» (schlagen) хотя и стоит вне такого соединения, не совсем хорошо приспособлено к этому из-за возможности (образования) «быть ударяемым, удариться»³⁴. Таким образом, Schuchardt различает между нейтральной формой глагола в эргативной конструкции и глагольной формой в индоевропейском предложении, где одна залоговая форма противопоставлена другой. Он говорит о позднейшем «превращении пассивного переходного глагола в действительно активный», отличая позднейший «собственно пассив» (т. е. страдательный залог) от пассивного характера переходного глагола в эргативной конструкции. Это различие проводится им чрезвычайно последовательно, вплоть до создания специальной терминологии: в последующих работах он говорит о пассивности в случае эргативного строя в отличие от пассивности позднейших стадий³⁵.

Эти понятия противопоставлены у Schuchardt'a отнюдь не в функциональном отношении. С этой точки зрения обе формы идентичны. Они расходятся лишь в способе выявления своего значения: в одном случае мы имеем дело со «скрытой» идеей пассивности, в то время как во втором эта идея выражена формально. Это — расхождение «внутренней» и «внешней» грамматической формы. Schuchardt, следовательно, признает, что пассивность эргативного глагола материально никак не выражена. Но какие же тогда у нас основания утверждать, что глагол этот пассивен?

Возражая А. Trombetti, рассматривающему эргативный глагол как активный, Schuchardt пытается выдвинуть объективный критерий пассивности. «Trombetti говорит, что в баскск. *n-a-bil* ('я иду' и *n-a-kar-k* 'ты меня несешь' *a-bil* и *a-kar* содержит лишь корень, *non c'è che la radice*. *E con quale diritto si attribuisce a questa un significato passivo?* А с каким правом, спрашиваю я, активное значение? Дело разрешается присоединяемым местоимением. Вся суть в его месте. Мы воспринимаем *n-* как субъект, как в *n-a-bil* 'я иду'; если даже допустить, что из сходства формы и места еще не следует с необходимостью сходство функции, то и нем. *mich trägst du* было бы еще менее доказательным для точки зрения Trombetti, так как порядок слов здесь необычный и ни в коем случае не равнозначен с *du trägst mich*»³⁶.

³⁴ Указ. соч. С. 528–529.

³⁵ «Possessivisch und Passivisch» — *Sb. d. Preuss. Akad. d. Wiss.*, 1921. С. 651.

³⁶ Schuchardt-Brevier², Halle (Saale). 1928. С. 216.

Таким образом, пассивность переходного глагола, по мнению Schuchardt'a, с необходимостью вытекает из взгляда на пассивный местоименный элемент как на показатель субъекта. Дальше мы увидим, что этой необходимости в действительности нет. Пока же рассмотрим, насколько основательно отождествление пассивного показателя с субъектным. Trombetti рассматривает эргативный, как и пассивный, показатели при непереходном глаголе, как субъектные.

Schuchardt избегает явного противоречия, когда он принимает только пассивный элемент за субъектный. Обоих при этом объединяет убеждение в том, что номинативный субъект и глагольный предикат даны изначально.

Это убеждение, однако, в корне оспаривается сторонниками так называемой «поссесивистической теории». Мы уже приводили выше мнение R. de la Grasserie о том, что глагольная основа генетически является скорее существительным, нежели глаголом. С этой точки зрения 'я хожу' некогда означало 'мое хождение'. Местоименные аффиксы, предполагается, лишь позднее приобрели субъектное значение, вначале же выступали как притяжательные. При этом сторонники поссесивистической теории опираются на частые случаи совпадения личных и притяжательных местоимений (или местоименных частиц) в языках эргативного строя либо на случаи совпадения эргативного и родительного падежей, как в гренландском.

Как сторонники пассивистической теории, так и ее противники признают, что формальная дифференциация глагола и имени на ранней стадии развития еще не дана³⁷. Речь идет лишь об адекватном определении внутреннего содержания первичного аморфного имени. С другой стороны, спор касается природы местоименных аффиксов, поскольку остается решить, являются ли они генетически субъектными или поссесивными. Однако ни та ни другая сторона ничего не приводит в доказательство своей точки зрения, кроме голых утверждений. «Я полагаю как нечто само собою разумеющееся, — пишет F. N. Finck, что то, что мы выражаем особо обозначенным глаголом, является, отвлекаясь от крайне незначительного количества исключений, как правило, именем». Из двух категорий — притяжательности и созидания (Urheberschaft), — заявляет Schuchardt, — появляется раньше вторая, ибо можно обладать лишь тем, что заранее создано»³⁸. Подобная аргу-

³⁷ Ср.: *Finck F. N. Der angeblich passivische Charakter des transitiven Verbs. KZ XLII, 265.* H. Schuchardt называет первичное имя, которому он приписывает глагольное значение, *Vorgangswort* в отличие от позднейшего, формально отличного от имени, глагола — *Verb. (Sprachursprung III. S.-B. Preuss. Akad. d. Wiss. 1920. C. 451).*

³⁸ *Possessivisch und Passivisch. S.-B. Preuss. Akad. d. Wiss. 1921. C. 657.*

ментация, продиктованная «здравым рассудком», этим крайне ненадежным проводником в генетических вопросах, не отвечает минимальным данным по истории мышления. Не только понятие грамматического субъекта не увязано с первым осознанием созидания, но и возникновение гомогенного представления о притяжательности относится к эпохе разложения эргативного строя.

Ближе других к разрешению проблемы эргативного строя подошел С. С. Uhlenbeck в своих работах: «*Het passieve karakter van het verbum transitivum of van het verbum activum in talen van Noord-Amerika*»³⁹ и «*Het identificeerend karakter der possessieve flexie in talen van Noord-Amerika*»⁴⁰. При всех ненужных уступках ходячим воззрениям на эргативный строй, Uhlenbeck сумел в этих работах наметить выход из создавшегося тупика.

Задачей первой работы, как показывает само название, является доказать пассивность транзитивного (resp. действительного) глагола в североамериканских языках. Помимо уже ранее упомянутых доводов, Uhlenbeck приводит некоторые другие, заслуживающие внимательного разбора. В алгонкинских языках, указывает Uhlenbeck, наблюдается поразительное сходство страдательных форм с центростремительно-активными с гуттуральным суффиксом. Ср. оджибве *ninwābamigo* 'я видим', *kiwābamigo* 'ты видим' и *ninwābamig* 'он видит меня', *kiwābamig* 'он видит тебя'. От пассивных форм Uhlenbeck заключает о пассивности так называемой активной формы. Как правильно замечает в ответ на это Sapir⁴¹, морфологическое сходство еще не дает права делать вывод о первичности пассивного значения; так, в такелма схожесть форм объясняется тем, что пассивный залог произошел от активного. Если, однако, Uhlenbeck не доказывает основного своего тезиса, то мимоходом он обосновывает другое, действительно важное, положение, а именно: вторичность транзитивной схемы в отношении интранзитивной.

Так, в том же языке оджибве формы так называемого активного индикатива базируются на «пассивной» форме 3-го лица ср. *ninwābama* 'я вижу его', *kiwābama* 'ты видишь его' и т. д. и *wābama* 'он видим'. Ср. также язык черноногих: *nitáinoau* 'я вижу его', *kitáinoau* 'ты видишь его' и т. д. и *áinoau* 'он видим'. Для понимания характера пассивности форм 3-го лица крайне важно следующее замечание Uhlenbeck'a: «Мы можем постоянно заметить параллелизм интранзитивных форм с субъектом 3-го лица и транзитивных с объектом (*patiens*) 3-го лица»⁴². Этот параллелизм

³⁹ VM, V, 2, 2. 1916. С. 187 слл.

⁴⁰ VM, V, 2, 4. 1917. С. 345 слл.

⁴¹ International Journal of American Linguistics. Vol. I, I. 1907. С. 83.

⁴² VM, V, 2, 2. С. 190.

выражается еще в том, что в алгонкинских языках непереходное спряжение часто отмечает в субъекте его одушевленность или неодушевленность, в то время как переходное спряжение отражает грамматический класс закономерно в объекте. «Не есть ли это новое доказательство в пользу нашего положения, что логический объект переходного глагола стоит грамматически на одной линии с субъектом непереходного глагола и что переходное спряжение мыслится пассивно?» — спрашивает Uhlenbeck⁴³. На первую половину вопроса следует, с нашей точки зрения, ответить утвердительно, на вторую — отрицательно.

Секундарность формы переходного глагола, состоящей из глагольного корня с переходным значением (V^i), эргативного (E) и пассивного (P) показателей в сравнении с формой без эргативного показателя (PV^i), совпадающей с формой непереходного глагола (PV^i), Uhlenbeck обосновывает дополнительно на своеобразном явлении глагольной супплетивности мн. ч. в языках: атапаскских, хайда, цимшиан, чинук, кус и помо⁴⁴.

Суть явления состоит в том, что ед. и мн. числа одного и того же глагола обозначаются этимологически различными основами. Мн. ч. непереходного глагола определяется в таких случаях субъектом, переходного же глагола — объектом. Следовательно, и здесь мы можем считаться с тем, что в основе транзитивного глагола лежит PV^i , по форме совпадающее с PV^i . В остальном, однако, доводы Уленбека не представляют нового: «если» P в PV^i является грамматическим субъектом, то он является таковым и в PV^i и, «следовательно», переходный глагол пассивен. Это рассуждение верно лишь при условии отождествления пассивного падежа с именительным. Но это значит переносить поздние категории номинативного строя в эпоху, когда их еще не было.

Эту же аргументацию Uhlenbeck повторяет и при анализе языков с эргативными и пассивными местоименными элементами в глаголах. Так, например, в языке дакота (см. выше) *ta-ya-kaška* означает ‘меня ты вяжешь’, *ta-kaška* ‘меня (он) вяжет’; *ya-kaška* ‘(его) ты вяжешь’. В основе всех этих форм лежит *kaška* ‘(он) его вяжет’. Uhlenbeck толкует эту основу как страдательную ‘он им вяжется’, принимая, что пассивный местоименный элемент (например *ta-* в *ta-kaška*) является грамматическим субъектом, как и в случаях интранзитивного глагола, ср. *maša* ‘я умираю’, *mawašte* ‘я хорош’. В следующей главе мы разберем этнопсихологическую интерпретацию пассивности, развиваемую Uhlenbeck’ом в этой связи.

Итак, согласно Uhlenbeck’у, конструкция интранзитивного глагола по своему типу является более древней, чем конструкция глагола тран-

⁴³ Указ. соч. С. 191.

⁴⁴ Указ. соч. С. 191 слл.

зитивного. Какова же семантическая природа этой формы? На этот вопрос Uhlenbeck дал ответ в более поздней работе: «Het identificeerend karakter der possessieve flexie in talen van Noord-America». Посвященная проблеме притяжательности в североамериканских языках, эта работа представляет собою реальный шаг по пути действительного преодоления «поссесивистических» и «пассивистических» крайностей. Uhlenbeck обратил свое внимание на тот факт, что многие американские языки различают между отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежностью. Особенностью поссесивной флексии в таких языках является то, что она бывает двух родов в зависимости от характера принадлежности. В социологическом освещении проблемы Uhlenbeck опирается на Lévy-Bruhl'я, исследовавшего то же явление в меланезийских языках⁴⁵.

В меланезийских языках, согласно Lévy-Bruhl'ю, неотчуждаемая принадлежность выражается поссесивным суффиксом. Так, например, в новомекленбургском языке: *tama* 'отец', а *tamagu* 'мой отец', *ulu* 'голова', а *ulum* 'твоя голова'; отчуждаемая принадлежность — постановкой притяжательного слова перед существительным, например *mal* 'одежда', *pugu mal* 'моя одежда'. К первому классу относятся названия частей тела, родственных отношений, частей предметов, вещей, тесно связанных с человеком (его оружие, орудия труда и т. д.) и некоторые предлоги, выражающие пространственные отношения: *близ*, *вдали от*, *над* и т. д., ко второму классу относятся все остальные имена. Второй класс подразделяется в свою очередь. Притяжательные слова различаются в зависимости от того, является ли данный предмет в более близком или далеком владении, служит ли он для пищи, для питья и т. д. Слово второго класса означает владение в более для нас понятном смысле: такое слово означает, что данный предмет является отчуждаемым, что он принадлежит мне, как принадлежал раньше другим, и что я могу его сделать собственностью нового владельца. Однако и это понимание еще весьма далеко от того, что мы находим, скажем, в индоевропейских языках. Единого абстрактного притяжательного местоимения, как в индоевропейских языках, в меланезийских нет даже в пределах второго класса⁴⁶.

Lévy-Bruhl сосредотачивает свое внимание на выяснении функциональной значимости первого класса. Некоторые слова принадлежат как к одному, так и другому классу. Так, на языке фиджи *ulugu* означает

⁴⁵ Lévy-Bruhl L. L'expression de la possession dans les langues mélanésiennes. Mém. d. I. Soc. Linguist. Paris, XIX, 1914. С. 96–104.

⁴⁶ Указав на пестрый характер притяжательных частиц в языках так называемых «первобытных народов» Cassirer (Phil. d. symb. Formen. Bd. I. Die Sprache. С. 226) заключает: «Aus alledem geht hervor, dass der homogene Besitzausdruck, ebenso wie der homogene Zahlausdruck erst ein relativ spätes Produkt der Sprachbildung ist und dass auch er sich erst aus der Anschauung des Heterogenen herauslösen muss».

‘моя голова’ (часть моего тела), но *kegu ulu* ‘голова, которая у меня’ (для еды), на новомекленбургском языке *a uratigu*, ‘мои мышцы’, *agu urat* ‘мое мясо’ (для еды) и т. д. В первый класс, следовательно, входят предметы, мыслимые не в отношении владения, а в неразрывной связи с субъектом. Меланезиец говорит ‘мой брат’, ‘мой дядя’ (с материнской стороны), так же как он говорит, ‘мой глаз’, ‘моя рука’. Это значит, что он себя чувствует в такой же мере частью своей родственной группы, как рука является частью его тела. Другими словами, сознание индивида о себе самом сосуществует с его сознанием о себе как члене группы; они основаны одно на другом, и если одно из них преобладает, то несомненно второе⁴⁷. Так, в языке Мота (Banks islands) слово ‘мать’ совпадает с названием подгруппы *veve*, для первого значения к слову добавляется знак мн. числа *ga*, *ga veve* — значит «мать». Значения совпадают, ибо здесь семья принципиально отлична от европейской, группа матерей представляет здесь всю подгруппу. Миссионер *Peckel* заметил в своей *Grammatik der Neumeklenburgischen Sprache*, p. 68, что ‘сестра’ идет по первому классу, в то время как ‘жена’ — по второму. Это объясняется тем, что при родстве, основанном на материнском праве, сестра принадлежит к той же подгруппе, что и брат, в то время как жена берется из другой подгруппы. Слова первого класса, следовательно, означают неразрывную связь с индивидом, как членом данного коллектива.

Остатки пищи, волосы и т. д. идут по первому классу по сходным основаниям. Понятие личности на данной стадии не ограничивается границами самой личности. Личность живет в ряде предметов, окружающих ее, употребляемых ею. Эти взгляды нашли отражение и в обычаях: предметы ежедневного обихода хоронятся вместе с покойником, сжечь волос противника, значит нанести ему вред и т. д. После ряда этнографических параллелей *Lévy-Bruhl* приходит к выводу, что в первом классе предметов мы имеем дело не с понятием собственности в нашем смысле, а скорее, с отождествлением объекта владения с личностью владельца.

Анализ *Lévy-Bruhl*’я подтверждается целиком и на материалах североамериканских языков. *Uhlenbeck* с изумительной тонкостью и мастерством исследует это явление, в различной мере сохранившееся в разных языках. В одних языках, как хайда, тлингит и др., possessивная классификация является еще живой нормой, в других это уже с трудом выявляемый пережиток. Круг предметов неотчуждаемой, интимной, неразрывной принадлежности варьируется от языка к языку. К этой группе относятся термины родства, названия частей тела, орудия, обувь, следы ног и т. д. *Uhlenbeck* устанавливает тенденции развития этой группы:

⁴⁷ *Lévy-Bruhl*. Указ. статья. С. 100.

такие языки, как юки и помо, которые относят к группе неотчуждаемой принадлежности лишь термины родства, являются, с его точки зрения, языками модернизованными. Язык хайда занимает переходное место между этими языками и такими, которые сохранили в группе интимной принадлежности, кроме терминов родства, еще и названия частей тела. Непосредственной причиной исключения названий частей тела из этой группы принадлежности могло явиться то обстоятельство, что эти названия употребляются и для частей тела животного. Тенденция группы неотчуждаемой принадлежности к уменьшению отражает все растущую дифференциацию объективного и субъективного в сознании первобытного человека, поскольку сфера понятий и представлений, которые представляются непосредственно сопричастными первобытному коллективу и отдельным его членам, все больше и больше ограничивается чисто общественными категориями.

Флексия неразрывной принадлежности, как убедительно показывает Uhlenbeck, более раннего происхождения, чем флексия отчуждаемой. Притяжательные формативы второго порядка обычно сложнее, часто являются производными от первых. В полном согласии с Lévy-Bruhl'ем он определяет притяжательные частицы неотчуждаемости как «идентифицирующие». «Таким образом, — пишет он, — форма (языка дакота. — С. К.) как *míša'te* собственно не означает 'мое сердце' в духе наших цивилизованных языков, а выражает идентичность самого себя с сердцем, к которому один я имею теснейшее касательство и никто, кроме меня. Так, инклюзивное *u'ní'č'a* означает не столько 'наше обоих дитя', сколько 'дитя, которым мы оба являемся', 'та наша фаза, которая есть дитя'»⁴⁸; Синтаксически здесь, следовательно, еще не дана атрибутивность позднего притяжательного местоимения. «Мой» не выражает здесь некоторого отношения предмета, ибо предмет еще не мыслится как обладающий многими отношениями. В выражении «мое сердце» мы имеем как бы аппозитивное сопоставление двух самодовлеющих представлений «я» — «сердце», между которыми мыслится крайне неопределенная, смутная, мало определенная связь.

Выводы Uhlenbeck'а в отношении неотчуждаемой флексии крайне важны и для понимания сущности эргативной конструкции. Сравнивая possessивные местоименные элементы с глагольными, он прослеживает в ряде языков тлингит, хайда, цимшиан, чинук, чимарико, майду, юки, помо, мускок и сиу, (к которым Sapir⁴⁹ добавляет еще шошон и нутка) идентичность или близкое родство пассивных (инертных) личных экспонентов спряжения с possessивными, в особенности, экспо-

⁴⁸ VM. V. 2. 4. 1927. С. 371.

⁴⁹ Intern. Journ. Amer. Linguist. Vol. 1, 1. 1907. С. 89.

нентами неотчуждаемой принадлежности. Исключения из этого правила лишь подтверждают правило. Так, в некоторых диалектах языка мивок, в языках мустун и чумаш аффиксы принадлежности совпадают с номинативными показателями у глаголов. Однако, само наличие именительного падежа показывает, что эти языки являются стадияльно более поздними.

Развитие форм принадлежности еще раз подтверждает правильность анализа глагольной конструкции. Архаичность интранзитивной схемы дополнительно поддерживается архаичностью неотчуждаемой флексии. О более позднем характере транзитивной схемы свидетельствует также и то, что активный падеж в имени является обычно производным от пассивного. Uhlenbeck решает вопрос о значимости неотчуждаемой флексии, отправляясь от интранзитивного глагола. Однако с не меньшим правом мы можем настаивать на обратном направлении. Схема неотчуждаемой флексии — пассивный местоименный показатель (P) и имя существительное (S) — на ранней стадии развития неминуемо совпадает с первичной глагольной схемой — PV, так как на этой стадии нет еще оснований различать между глаголом и существительным. В обоих случаях здесь местоименный показатель первично придан не к имени существительному и не к глаголу, а к имени в том смысле, какой этот термин имеет в новом учении о языке⁵⁰. Образование транзитивного глагола, с одной стороны, и эргативного падежа, с другой, сигнализируют начало отделения имени от глагола⁵¹. Как пассивистическая, так и поссессивистическая точка зрения оказываются, таким образом, несостоятельными: первая односторонне переносит в первобытность позднюю языковую категорию — глагольный предикат, который не мыслим без именного субъекта, другая также односторонне исходит из имени существительного, не замечая, что лишь наличие глагола превращает имя в имя существительное.

Субъект предложения на этой ранней стадии еще не будущий универсальный грамматический субъект, выступающий как потенциальный носитель бесконечного множества предикатов, так же как и предикат еще не глагол, предполагающий именительный падеж как источник. Здесь то отождествление двух независимых представлений, о котором говорит Uhlenbeck по поводу неотчуждаемой флексии.

⁵⁰ Мapp Н. Я. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком // Языковедение и материализм. Л., 1929. С. 37–38; *Он же*. Яфетическая теория. Баку, 1928. С. 125–126.

⁵¹ Согласно R. de la Grasserie, отделение глагола от имени происходит вместе с дифференциацией транзитива от интранзитива (De la categorie des voix. Paris, 1899. С. 19). Finck также связывает формальное отделение глагола от имени с переходом от 'des Vater sehn' к 'durch der Vater — das Sehn' (указ. соч. С. 266).

Привлечем к рассмотрению строй адыгейского языка, чтобы сделать сказанное более наглядным⁵². Адыгейский является одним из немногих языков на территории Советского Союза, которые сохранили различие отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности. Префиксами неразрывной принадлежности служат: ед. ч. 1-е лицо — sə, 2-е лицо — wə, 3-е — ə; мн. ч. 1-е лицо — ʒə, 2-е — s_ш 7, 3-е — a⁵³. Префиксы отчуждаемой принадлежности, так же как и самостоятельные притяжательные местоимения, легко раскрываются как производные от первых, таким образом лишний раз подтверждается правильность выводов Uhlenbeck'a. Префиксы отчуждаемости состоят из соответствующих префиксов неотчуждаемости плюс префикс отчуждаемости 3-го лица ед. числа 1 (← ye) так, в ед. ч.

1-е лицо s₁ ← sə — y (← ye)
 2-е лицо w₁ ← wə — y (← ye).

Префиксы отчуждаемости мн. числа: 1-е лицо — ʒ₁, 2-е — s_{ш1}, 3-е — ya. Ср. также самостоятельное притяжательное местоимение sesay 'мой' состоящее из se — 'я' (эрг.) — sə (показатель неорг. принал.) — y(e) 'он'.

В сферу неотчуждаемой принадлежности входят «принадлежность органов тела — всему телу, частей предмета — всему предмету, некоторые отношения родства (брат, сестра, сын, дочь и т. д.) и некоторые пространственные и временные отношения (начало, конец, верх, низ и др.)»⁵⁴. Ср. s_шhe 'голова', əs_шh 'его голова', а также 'его (дома) крыша', ʒe 'рот' əʒ 'его рот', а также 'его (сосуда) отверстие', lə 'тело, мясо', sələ || zlə 'мое тело', silə 'мое мясо' и т. д. В ряде случаев различие видов принадлежности послужило средством семантической дифференциации ср. səble || zble 'мое предплечье', sible 'моя змея'.

Префиксы неотчуждаемой принадлежности генетически совпадают с пассивными личными местоимениями⁵⁵. Эти отношения сохранились лишь во временах и наклонениях так называемого сложного спряжения. В настоящем же времени положительного, вопросительного и утвердительного наклонений мы имеем модернизированный строй, развившийся из стремления отделить глагол от имени. Глагольное спряжение противопоставляется здесь именному, ср.:

⁵² Яковлев Н., Ашхамаф Д. Краткая грамматика адыгейского (кяхского) языка, Краснодар, 1930.

⁵³ Мы ограничились приведением лишь полного вида этих притяжательных префиксов.

⁵⁴ Указ. соч. С. 58.

⁵⁵ Указ. соч. С. 83.

| | | | |
|---------|---------------|----------|----------------|
| səʃəg | ‘я батрак’ | səʃəge | ‘я батрачу’ |
| wəʃəg | ‘ты батрак’ | wəʃəge | ‘ты батрачишь’ |
| ʃəre | ‘он батрак’ | meʃəre | ‘он батрачит’ |
| ʃəʃəg | ‘мы батраки’ | ʃəʃəge | ‘мы батрачим’ |
| ʃəwəʃəg | ‘вы батраки’ | ʃəwəʃəge | ‘вы батрачите’ |
| ʃəreŋ | ‘они батраки’ | meʃəreŋ | ‘они батрачат’ |

Глагольная форма, состоящая из эргативных личных местоимений (ед. ч. 1-е лицо *se*, 2-е л. *we*, мн. число — 1-е л. *ʃe*, 2-е *ʃwe*) и основы *qare* раскрывается как более поздняя, так как она базируется на форме 3-го лица именного спряжения. Таким образом и здесь мы можем исходить из первичности формы, состоящей из недифференцированного имени и пассивного личного местоимения (совпадающего по форме, на древней ступени и по значению, с показателями органической принадлежности).

Другим показателем дифференциации глагола и имени является выработка норм именного склонения. Различию эргативных и пассивных местоимений в именах существительных соответствует различие эргативного и пассивного падежей. В адыгейском мы находим два типа склонения: неопределенное и определенное. В качестве пассивного падежа неопределенного склонения служит неоформленная основа, от которой ряд слов образует эргативный падеж посредством прибавления — *ə*. Показателем пассивного падежа определенного склонения является — *ɣ*, эргативного — *m*. Неопределенное склонение указывает на первичность пассивного значения. Об этом свидетельствует еще одно явление, на котором следует задержаться.

В адыгейском языке, как и в других языках эргативного строя, пассивный падеж не только служит субъектом непереходных глаголов и объектом глаголов переходных, но и названием предметов, и в этом смысле именительным. В адыгейском это проявляется при ответе на вопрос. «В отличие от русского, — замечают составители грамматики адыгейского языка, — в кяхском (т. е. адыгейском. — С. К.) мы не можем производить разбор членов предложения с помощью постановки вопросов, так как какую бы форму дополнения в разбираемом предложении мы ни имели, в случае постановки соответствующего вопроса она всегда превращается в ответе на вопрос в отдельное слово — сказуемое, чаще всего в составное сказуемое..., в котором разбираемое дополнение может иметь только прямую форму, а в роли сказуемого выступает предикативная форма указательного местоимения»⁵⁶. Ср.: *bəsəməm qamer ɥaŋem ɣeʃə* ‘хозяин гостю кинжал дарит’. На вопросы: *ɥeʃ zedre?* ‘кто дарит?’, *ɥeʃ zeriŋre?* ‘кому дарит?’, *səd ədre?* ‘что дарит’ последуют ответы: *bəsəməg arə* ‘хозяин’, *ɥaŋer arə* ‘гость’, *qamer arə* ‘кинжал’.

⁵⁶ Указ. соч. С. 31.

Это обстоятельство чрезвычайно важно для понимания сущности именительного падежа в индоевропейских языках. Мы определили ранее именительный падеж как падеж грамматического субъекта. Это определение однако крайне недостаточно. Уже Аристотель знал, что именительный падеж имеет две основных функции: функцию субъекта предложения и функцию называния⁵⁷. В своем историческом очерке теории падежей Н. Hübschmann оспаривает мнение Аристотеля. Именительный падеж является названием лишь с точки зрения философии, чистым же носителем значения выступает не именительный падеж $\alpha\upsilon\theta\rho\omega\tau\omicron\varsigma$, а основа $\alpha\upsilon\theta\rho\omega\tau\omicron$. Здесь сравнительно-историческое языкознание впадает в противоречие не только с философией, но и с языком повседневного обихода: непонятым становится, почему в языке в качестве названия используется не просто основа, а производная от нее форма. Объяснение этому кроется в истории именительного падежа. А. Debrunner в ответ на подобное недоумение Е. Hermann'a рисует следующую схему развития именительного падежа. «Вначале основа служила в качестве *casus indefinitus* (так осталось и позднее в основосочетаниях и в звательном падеже); затем образовалась противоположность *casus activus* (окончание -s); *casus inactivus* (окончание -m); эта противоположность была затем грамматизована в противоположность субъектного именительного и объектного винительного падежа»⁵⁸... Схема Debrunner'a отражает исторический процесс крайне абстрактно и неполно, она, в частности, не объясняет, почему в качестве пассивного падежа в индоевропейском выступает оформленная основа, а не *casus indefinitus* непосредственно, как в баскском⁵⁹. Отношения, господствующие в адыгейском языке, позволяют нам наметить недостающие звенья. Аналогию восстанавливаемому в индоевропейских языках эргативному падежу на -s и пассивному на -m представляет определенное склонение. Окончание падежей в адыгейском эрг. -m и пассивн.-г являются указательными местоименными основами ср. тэг (тэ-) 'этот (близкий видимый)' тог (то-) или wэг (wэ-) 'этот (далекий видимый)'; г — сохранилось как основа личного местоимения 3-го лица мн. ч. в родственном абхазском языке. Все это подтверждает правильность гипотезы F. Ворр'a, связывавшего генетически индоевропейские показатели -s и -m с указательными местоимениями

⁵⁷ Hübschmann H. Zur Casuslehre. München, 1875. С. 4 сл. (ср. также с. 75).

⁵⁸ Lautgesetz und Analogie. IF, II. 1933. С. 289.

⁵⁹ На этом основано одно из возражений Finck'a против теории Schuchardt'a: «ein *filium vocat pater* würde doch, wenn es auch als 'der Sohn wird gerufen vom Vater' zu deuten wäre, noch immer nicht dem Typus primitiver Passivkonstruktionen entsprechen. Denn *filium* ist doch ganz entschieden kein Stamm, sondern eine ganz bestimmte Kasusform, und Schuchardts billige Mitteilung "auf die Entstehung des Akkusativs gehe ich nicht ein" schafft die Schwierigkeit offenbar nicht aus der Welt» (Указ. соч. С. 268).

скр. им. asâu и в косвенных падежах amu⁶⁰. Функция эргативного и пассивного падежей в адыгейском может быть разъяснена на следующих примерах:

неопределенное склонение:

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| həzə s əz уеще | ‘старик женщину ведет’ |
| sɪs _{шц} əzə wɪhɛz уеще | ‘моя жена твоего старика ведет’ |

определенное склонение:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| hɛ-m ʈəǵ°əz-г уewəbəʈə | ‘собака ловит волка’ |
| hɛr maʈɛ | ‘собака бежит’ |
| ɪəfər maʈɛ | ‘человек бежит’ |
| ɪəfə-m hɛ-г уеще | ‘человек собаку ведет’. |

Эргативный падеж и здесь, следовательно, является падежом субъекта лишь при глаголах переходных, а пассивный — падежом субъекта при глаголах непереходных и объекта при глаголах переходных. Адыгейский язык (как и родственный кабардинский) сделал, однако, существенный шаг вперед по направлению к номинативному предложению, разделив морфологически пассивный падеж в роли субъекта и пассивный падеж в роли объекта. Это различие дано не непосредственно, а в предложении, поскольку в первом случае глагол оформляется показателем *ma-||me-*, во втором показателем *ye-*. О переходе к номинативной конструкции можно было бы говорить, если бы один из падежей (скажем, эргативный) взял исключительно на себя функцию субъекта как при переходных, так и при непереходных глаголах, а также функцию называния, оставив другому одну лишь функцию прямого дополнения.

Резюмируем коротко сказанное выше.

Возникновение эргативности в имени и соответственно транзитивности в глагольном строе знаменует начало дифференциации имени и глагола. Тот факт, что в древнейших типах эргативного строя функция наименования предметов принадлежит пассивному падежу, показывает, что вначале предмет мыслится инертно и что при возникновении понятия о действительности предметов (лиц, орудий и т. д.) это свойство долго еще мыслилось не как имманентно присущее им свойство, а как случай-

⁶⁰ «Es ist also auch das accusative -m ein Pronomen, gleichsam ein nachgenetzter Artikel, znr Personifizierung, Belebung des Gegenstandes, aber in geringerem Grade personifizierend, weniger euergisch und lebendig als das -s des Nominativs» Bopp Fr. Über das Demonstrativum und den Ursprung der Casuszeichen. Abh. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin, Hist.-Phil. Kl. Jg. 1826. С. 70).

ное для них состояние, в которое они попадают, помимо своей воли. Лишь позднее, когда под воздействием усложнившейся практической деятельности предметы начинают выступать в сознании людей, как наделенные собственными свойствами, эргативный падеж превращается в исходный для предметов, которые по нормам мышления того времени мыслятся как активные.

Выяснению тенденции развития первобытного сознания к субстанциональному осознанию предметов посвящена следующая глава.

V. ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ В ПЕРВОБЫТНОМ СОЗНАНИИ (Экскурс в область истории сознания)

Для понимания эргативной конструкции во всей ее своеобразии и отличии от номинативной важно учесть основную тенденцию в развитии первобытного сознания. Начальные фазы в развитии сознания характеризуются диффузными представлениями, в которых общество и личность, с одной стороны, общество и природа, с другой, едва дифференцированы. Положение о взаимной связи отражения природы и общества в сознании на этой ступени развития сформулировано гениальными основоположниками марксизма в «Немецкой идеологии». В их характеристике первобытное сознание — это, с одной стороны, сознание необходимости вступить в сношения с окружающими индивидами, начало сознания того, что индивид вообще живет в обществе; «в то же время (разрядка моя. — С. К.) оно — осознание природы, которая первоначально противостоит людям как совершенно чуждая, всемогущая и неприступная сила, к которой люди относятся совершенно по-животному и перед которой они беспомощны, как скот»¹. Предметы природы и общественные отношения отражаются в первобытном сознании в неразрывной связи. Сознание, собственно, и появляется как смутное и нерасчлененное осознание связи всего того, что дано в окружающей первобытных людей действительности, причем эта связь, это отношение, это «всеобщее» дано первоначально не в представлении, а в качестве взаимной зависимости находящихся в общении друг с другом индивидов².

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. IV. С. 21. О высказываниях Маркса и Энгельса по вопросам языка в «Немецкой идеологии» см. мою работу: Сб. «Карл Маркс и проблемы истории докапиталистических формаций» // ГАИМК. 1934. С. 695 слл.

² Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. С. 23.

По мере выделения личности из коллектива отделяются и обособляются в сознании ранее слитые в нем воедино элементы. В базисе этот процесс обусловлен «степенью разложения древних кровных связей и древней взаимной общности полов в роде», что, как указал Энгельс, на этой стадии развития важнее, чем способ производства³. С возникновением частной собственности и разложением первобытно-коммунистических отношений процесс развития первобытного сознания завершается тем, что личность предстает в сознании как обособленная личность и предмет — как некая, наделенная собственными качествами субстанция. Эту основную тенденцию в развитии первобытного сознания определил с предельной ясностью В. И. Ленин в следующих словах: «Инстинктивный человек, дикарь, не выделяет себя из природы. Сознательный человек выделяет...»⁴.

К этой же идее ошупью и стихийно, подчас вопреки своим намерениям, пробирается и современная «этнопсихология».

Дюркгейм и Леви-Брюль сделали немало для характеристики тех начальных ступеней истории, когда субъект — общество и объект — природа отождествлялись в сознании людей. «Для первобытного сознания, — пишет Леви-Брюль⁵, — нет чисто физического факта в том смысле, какой мы придаем этому слову»... «Можно сказать, что их (первобытных людей. — С. К.) перцепции состоят из ядра, окруженного более или менее толстым слоем представлений социального происхождения. Но и это сравнение было бы неточным и довольно грубым. Дело в том, что первобытный человек даже не подозревает возможности подобного различения ядра и облекающего его слоя представлений. Это мы проводим такое различие, это мы в силу наших умственных привычек не можем уже больше не проводить такого различия. Что касается первобытного человека, то у него сложное представление является еще не дифференцированным». Дюркгейм в ряде работ⁶ отмечает роль общественной организации австралийцев для их мировоззрения. С точки зрения австралийца, все вещи природы примыкают к тем или иным подразделениям племени. Если племя делится на две фратрии, то и все кругом отнесено к этим двум фратриям. Солнце, звезды, деревья, животные рассматриваются как такие же соучастники фратрий, как и люди. Так, например, племя Wakelbura (Queensland-Nord-Central) состоит из двух фратрий, Mallera и Wutaru. Каждая из этих фратрий подразделяется на два матри-

³ Marx, Engels. Ausgewahlte Briefe. Moskau; Leningrad, 1934. С. 331.

⁴ Ленинский сборник. IX. С. 41.

⁵ Леви-Брюль. Первобытное мышление. 1930. С. 25.

⁶ Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie. Paris, 1912. См. также: Durkheim E., Manse M. De quelques forms primitives de classification. L'Année sociologique. VI. С. 1-72.

мониальных класса. Классы фратрии Mallera носят имена Kurgila и Banbe; классы же фратрии Wùtarù называются Wungo и Obu. Эти вот две фратрии и два матримониальных класса делят весь мир на группы. По свидетельству Howitt'a, в сознании этих людей каждый предмет является по необходимости либо Mallera, либо Wùtarù. По свидетельству другого исследователя, пища, которую едят классы Kurgila и Banbe, называется Mallera, а та, которую едят Wungo и Obu, — Wùtarù⁷. Дюркгейм и Леви-Брюль не различают между актуально-действующей нормой и пережитком; в силу этого крайне трудно судить, в какой мере современные культурно отсталые народности находятся в плену первобытных представлений. Это, однако, не колеблет значения их выводов для более ранних эпох в развитии сознания. Что касается самой формулировки этих выводов, то идеалист E. Cassirer в известной мере прав, критикуя идеалиста Э. Дюркгейма⁸.

Ссылаясь на факты тотемистического мышления, Дюркгейм стремится обосновать тезис, что всякая «логическая иерархия понятий» является лишь проецированием вовне схемы общественной организации. Между тем первобытное сознание по самой своей природе исключает такое объяснение, ибо здесь еще не дано разграничения сфер внутреннего (общества) и внешнего (природы). Осознание природы здесь еще непосредственно связано с осознанием общественных отношений, и, следовательно, не может быть речи о механическом переносе уже существующей в голове отдельной схемы общественного устройства на весь остальной мир. В эту первобытную эпоху еще непосредственно видно, что *«предмет как бытие для человека, как предметное бытие человека, есть в то же время наличное бытие человека для другою человека, его человеческое отношение к другому человеку, общественное отношение человека к человеку»*⁹. Оба элемента — природа и общество — появляются в сознании неразрывно именно потому, что природа осознается лишь в меру ее «очеловечения», что «лишь только прекращается первое животное состояние, собственность [человека] над природой всегда уже опосредована его существованием как члена общины, семьи, рода и т. д., его отношением к другим людям, которое обуславливает его отношение к природе»¹⁰.

Если для Леви-Брюля первобытное сознание — это стоячее болото «мистических сопричастностей», то Ф. Грэнбер в своей книге «Das Weltbild der Primitiven» замечает движение живой воды. Приверженец реак-

⁷ L'Année sociologique. VI. P. 10.

⁸ Philosophie der symbolischen Formen. Bd. II. Das mythische Denken. С. 238.

⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. III. С. 63.

¹⁰ Маркс К. Теория прибавочной стоимости. III. 1932. С. 285.

ционной, антиисторической теории «культурных кругов», Ф. Грэбнер, под напором материала, незаметно для себя переходит к ненавистой ему точке зрения монистического исторического процесса. Так, в ряде мест он формулирует вывод о развитии первобытного сознания от «каузальности» или «атрибутивности» к «субстанциональности»¹¹. За шелухой скверно мотивированной терминологии скрывается много ценного.

На низкой ступени развития, согласно выводам Грэбнера, предмет в сознании еще недостаточно выделен. Отношения и связи предметов предстают живее, чем объект в его субстанциональности, причем связи эти весьма часто случайны. Здесь наблюдается «невероятная легкость ассоциации... в первую голову, скажем, полное взаимопроникновение основных категорий естественной жизни: человека, животного, растения, неодушевленных предметов в мышлении туземца»¹². Социальное бытие является той «великой целостностью, которая объединяет всякое единичное содержание жизни»¹³. С развитием сознания объективный предмет природы все более в более приобретает самодовлеющее значение. Позднейшее анимистическое мышление предполагает наличие душ у отдельных предметов. «Индивидуальные души приписываются не только животным и растениям, но даже неодушевленной утвари и т. д., поскольку она имеет особое значение для человека»¹⁴. Если на ранней ступени развития господствует ассоциативная магия, то на более поздней на передний план выдвигаются свойства самых предметов. Такое выделение предметности отличает и представление меланезийцев о мана от партиципальных представлений австралийцев¹⁵. Мана меланезийцев не есть нечто в одинаковой степени свойственное всем предметам. Это — сила, присущая индивидуальным предметам. Если предмет оказался раз содержащий это чудесное свойство, то от него можно ожидать выявления этого свойства и в следующий раз. Здесь «категория субстанциональности начинает играть значительно большую роль, чем в мышлении примитивных культур. Предметы получают, таким образом, свою, хотя и не анимистическую, индивидуальность. И не удивительно, что идея о мана как раз и выступает в связи с отдельными существами (*persönliche Wesen*), особенно людьми, и здесь приобретает свое наибольшее значение».

Таким образом, развитие первобытного сознания характеризуется разложением первичного диффузного целого. Отдельные предметы и личности все больше выделяются в сознании не только как проявления

¹¹ Gräbner Fr. *Das Weltbild der Primitiven*. München, 1924. С. 24, 132.

¹² Указ. соч. С. 23.

¹³ Указ. соч. С. 27.

¹⁴ Указ. соч. С. 43–44.

¹⁵ Указ. соч. С. 59–60.

«общего», но и как носители определенных индивидуальных свойств. Отражения этого процесса мы находим в целом ряде явлений.

Обобщая данные мифологии, Cassirer отмечает следующую тенденцию в развитии самосознания: «На первых стадиях, — пишет он, — до которых мы в состоянии проследить развитие, мы находим повсюду чувство самости еще непосредственно слитым с определенным мифологически-религиозным чувством общности. “Я” чувствует себя и знает себя лишь поскольку оно» воспринимает себя как члена какой-либо общности, поскольку оно видит себя сливающимся вместе с другими в единстве рода, племени, социального союза. Только в них и через них оно обладает собою»... «Лишь постепенно эта связь может расшататься и распасться, и “я” может достичь самостоятельности в отношении охватывающих его жизненных кругов»¹⁶. Идеалист не может обойтись без того, чтобы не объявить религиозным или мистическим сознание дикаря, доказывая тем самым лишний раз имманентную связь идеалистической философии с неприкрытой поповщиной. В целом же, это свидетельство мифологического материала, будучи очищено от привнесенных идеалистических искажений, несомненно, обладает достоверностью факта.

Процесс выделения личности из коллектива отражается в эволюции имен собственных. Следует предположить, что на некоторой, весьма ранней, стадии развития имен собственных не было, и название коллектива применялось к каждой личности отдельно. На это указывает особенность употребления имен собственных у некоторых культурно отсталых народов. «В Британской Колумбии имена, за исключением прозвищ, никогда не употребляются как простые именованья, призванные отличать одного человека от другого, как это имеет место у нас»... «Их сохраняют для специальных случаев, для церемоний. При повседневном разговоре между собой туземцы племен салиш, как и другие первобытные люди, пользовались словами, указывавшими возраст (старший брат, младшая сестра и т. д.). В племени квакиутль каждый клан имеет определенное ограниченное количество имен»¹⁷...

Однако и в том случае, когда все члены племени или рода имеют собственные имена, это — имена не в нашем понимании. По этому вопросу мы имеем авторитетное свидетельство Л. Моргана: «У дикарских и варварских племен, — пишет он, — не существует семейных имен. Личные имена членов одной и той же семьи не указывают на их семейную связь. Семейное имя не старше, чем цивилизация (т. е. классовое общество. — С. К.). Однако индейские личные имена обычно

¹⁶ Philosophie der symbolischen Formen. Bd. II. С. 216 слл.

¹⁷ Леви-Брюль. Первобытное мышление. С. 31.

указывают род индивида лицам других родов того же племени. Как правило, каждый род имел личные имена, которые составляли его исключительную собственность и как таковые не могли употребляться другими родами того же племени. Родовое имя давало само по себе родовые права. Эти имена либо прямо по своему значению указывали на род, которому они принадлежали, либо были в качестве таковых общеизвестны»¹⁸. Личное имя у индейцев означало, следовательно, личность не как таковую, а в связи с родом этой ячейкой общественной организации индейцев. Как сообщает далее Морган, существуют два класса таких имен: один — для детского возраста, другой для зрелого. В соответствующий период первое имя снималось и назначалось второе. При перемене имени лицо, если это был мужчина, принимало на себя обязанности взрослого¹⁹.

Обособление личности выражается не только в общественном ее обособлении. Все больше и больше уточняются предметные границы личности. Для первобытного сознания в эти границы входят не только тело, сознание, чувства и т. д., но и множество внешних предметов, имеющих то или иное касательство к личности²⁰. Волосы, ногти и т. д., будучи отделены от индивида, продолжают оставаться его составными частями, и следует заботиться, чтобы они не попадали в руки врагов. Тень и отражение, след ноги, одежда, орудия и т. д. — все это является непосредственным продолжением «я»²¹. Процесс обособления личности поэтому является одновременно и процессом обособления предметов внешнего мира.

На низшей ступени развития, как уже было отмечено выше, слово означает не предмет, как таковой, а предмет в его теснейшей связи с определенным общественным коллективом. Thurnwald²² приводит следующий миф, указывающий на это своеобразное называние имени. Два брата убили и сожгли свою мать. На месте погребения костей выросла пальма, несшая орехи. Старший брат спросил у варана из племени Алу, как называются эти орехи, но тот мог назвать их лишь на языке Алу: *giupu*. Брат этого не понял. Тогда пришла собака и сказала названия орехов: *kúkutu* (орехи, спелые на три четверти), *kaba* (комочек теста из орехов), *kuru* (ореховое масло) и *taga* (спелые орехи). Тогда человек узнал имена и мог рассматривать пальму как свою собственность.

¹⁸ Морган Г. Древнее общество. Л., 1934. С. 47; см. также с. 99.

¹⁹ Указ. соч. С. 47–48.

²⁰ Lévy-Bruhl L. L'Âme primitive². Paris, 1927. С. 132 слл.

²¹ Danzel Th. W. Kultur und Religion des primitiven Menschen. 1924. С. 52.

²² Thurnwald R. Forschungen auf den Salomo-Inseln und dem Bismark-Archipel. I. С. 399 слл.

То же осознание предмета лежит и в основе многочисленных фактов табу на имена. Так, в Австралии и других частях света, когда какой-нибудь человек умирает, то больше никогда уже не упоминается его имя, а значит, и слово, обозначающее тот или иной предмет: для этого предмета придумывается уже новое название²³. Этот обычай, как указывает Фрэзер, накладывает сильный отпечаток на развитие языков культурно отсталых племен.

На более высокой ступени развития предмет уже теряет эти, в значительной степени случайные для него, крепкие ассоциативные связи, которыми он в сознании людей спаян с той или иной общественной группой. Появляются мифы, объясняющие то или иное происхождение предметов.

«Значительное большинство легенд, — замечает К. Штейнен, — стремятся объяснить происхождение чего-либо»²⁴. — «Откуда мы получили табак?» — спрашивают индейцы, обследованные Штейненом. — «От племени, где водится кинкажу» (Wikkellbär). — «Откуда же это племя его получило?» — «Также от кинкажу». — Лучшего ответа не было, и все оставались чрезвычайно довольны. Если мифология Бакайри объясняет возникновение вещи как подарок, то в реальной жизни у них господствует несколько иная точка зрения. «Их потребность вникнуть в сущность новых вещей, — рассказывает К. Штейнен²⁵, — исчерпывалась, кроме вопроса о том, сделал ли я их еще вторым вопросом о названии». Мало знать имя и откуда пришла вещь, важно еще знать, кто ее сделал. Точка зрения созидания предметов, несомненно, означает крупнейший сдвиг в развитии сознания. «В тот момент, — пишет Е. Cassirer, — когда человек пытается воздействовать на вещи орудиями, вместо простых изображений или колдовства именами (Namenzauber), у него свершается духовный поворот, внутренний «кризис», хотя бы и это воздействие само двигалось вначале еще в обычных путях магии. Всемогущество простого пожелания сейчас сломано: действие зависит от определенных объективных условий, от которых оно не может отступать. Только в различении этих моментов внешний мир приобретает для человека свое определенное бытие и свое определенное членение». «Лишь из посредственности действия вытекает посредственность бытия»²⁶. Это — важнейшая материалистическая мысль, которую Cassirer пытается впоследствии опустошить рассуждениями о том, что «механической функции орудия и здесь соответствует чисто духовная, которая не вытекает исключительно из первой, но ее с самого начала обуславливает».

²³ Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Т. II. 1928. С. 98.

²⁴ Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens². С. 811.

²⁵ Указ. соч. С. 184.

²⁶ Philosophie der symbolischen Formen. II. С. 264.

С новой точки зрения, обусловленной определенными сдвигами в общественном производстве, вещь уже не необходимо отождествляется лишь с одним определенным общественным коллективом, она может переходить из владения одного коллектива во владение другого, отношения вещи становятся более подвижными. Вещь еще не мыслится вне связи с субъектом владения, однако, поскольку субъект владения не является неизменным, вещь в известных случаях приобретает большую самостоятельность.

Нарождение специфической классификации притяжательных форм, с которой мы столкнулись выше, отражает именно эту полосу развития. «Первоначально, — как отмечает Н. Я. Марр, — принадлежность слов к тому или иному роду или классу (грамматическому. — С. К.) вовсе не обозначалась каким-либо придатком, суффиксом или префиксом, ибо слово-понятие само по себе определялось социально по обозначаемому предмету, какого оно класса»²⁷. Появление формативов для сигнализации групповой, а позднее личной принадлежности предмета и связанное с этим образование *nomen finitum* — как называет Schuchardt притяжательное склонение имен по аналогии с *verbum finitum*²⁸ — свидетельствует о существенных сдвигах в образе мышления. Предмет на этой стадии мыслится уже не в той абсолютной соотнесенности, как он мыслился до того. Прогресс состоит в том, что функция сигнализации общественной соотнесенности предмета переходит на специальные служебные частицы, тем самым основа слова все больше освобождается от субъективного значения и приобретает некоторую самостоятельность. Что до полной самостоятельности дело на этом этапе еще не доходит, видно из того, что основа вне притяжательного определителя не употребляется. «Своего рода основным законом многих американских языков; — заявляет W. Lehmann, — является то, что нельзя сказать «отец», а непременно «мой отец», «наш отец», «чей-либо отец», и, соответственно, нельзя сказать «ухо», а непременно «мое ухо», «чье-либо ухо»²⁹. По-мексикански, — отмечал еще W. Humboldt, — не говорят просто 'мать' *nantli*, а говорят: 'чья-либо мать' *te-nan*, вместо *maiti* 'рука' говорят 'to-ma' 'наша рука'. Это явление, — подчеркивает он, — имеет свои основания не в синтаксисе, а гораздо глубже, в самом «народном представлении». Исходя из подобных фактов, W. Humboldt поднялся до гениального сообщения: «Относить вещь постоянно к лицу вообще свойственно первобытному воззрению человека, и лишь с подъемом

²⁷ К семантической палеонтологии в языках неафетических систем. 1931. С. 29.

²⁸ Hugo-Schuchardt-Brevier². 1928. С. 214.

²⁹ *Lehmann W. Ergebnisse und Aufgaben der Mexikanischen Forschung. Arch. f. Anropol. Neue Folge. Bd. VI. 1904. С. 141.*

культуры это отнесение ограничивается случаями, когда оно действительно необходимо»³⁰.

Различение отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности является новым шагом вперед в развитии первобытного языка и мышления. Возникает градация предметов по степени их связи с общественным субъектом. Одни предметы мыслятся в непосредственной связи, слитно, неотделимо от субъекта, связь же других мыслится как опосредствованная промежуточным звеном. Вместо случайной соотнесенности предметов на первой ступени развития, здесь на сцену выступает соотнесенность предмета с коллективом, позднее и индивидом-творцом. Это гигантский шаг вперед по линии выделения субъективного и объективного. Соотнесенность к коллективу здесь в ряде случаев уже мыслится как некоторое объективное отношение производства. Объект выступает в его качественных особенностях, приобретенных им в процессе производства. Тем не менее, предметы природы предстают в сознании еще в постоянной связи с общественным субъектом. Окончательное обособление элементов происходит на следующем этапе развития, с выделением абсолютных понятий, соответственно в языке абсолютных имен и абсолютных глаголов.

Если *nomen finitum* указывает на отсутствие абсолютного имени существительного, то *verbum finitum* в том виде, в каком оно сохранилось в ряде языков с эргативным строем, является пережитком эпох, когда отсутствовал абсолютный глагол.

«Мексиканский язык, как и очень многие другие американские языки, — пишет W. Lehmann в уже цитированной нами работе³¹, — не знает инфинитива 'есть', он вынужден выразить какой-либо специальный случай: 'есть что-либо', 'я ем хлеб' и т. д.» В яфетических языках пережиточно сохраняется то же состояние. «Абсолютных форм — пишет Н. Я. Марр, — у яфетидов в глаголах действия нет. Собственно и у басков образование глагольных форм действия без всякого отношения так же немислимо в принципе, как в яфетических языках Кавказа, но, давно покинув первичную стадию человеческого мышления с физически-материальным восприятием понятий, без дифференциации отвлеченных и конкретных явлений-вещей, они относительные формы, даже с явными элементами, показателями прямого объекта, порождения первобытной народной психологии, используют логически абсолютно, с полным забвением наличия в формах местоименных показателей отношения к объекту, т. е. совершенно так же, как это наблюдается у кавказских яфетидов, в частности у грузин»³².

³⁰ Humboldt W. Ges. Schriften. VII. 1907. С. 155.

³¹ С. 141.

³² Марр Н. Я. Origine japhétique de la langue basque // Язык и литература. Т. I. Изд. ИЛЯЗВ. 1926. С. 246.

Абсолютные формы имен и глаголов возникли в результате разложения первобытнокоммунистических отношений. Так, в отношении глагола 'быть' Н. Я. Марр замечает: «Существительный глагол 'есть' ('быть') без всяких отношений ко времени или месту есть самое абстрактное и самое позднее достижение в языкотворчестве...» «Это достижение, как заверченный процесс, относится к стадии, когда выработалось мировоззрение с единым богом классового общества»³³.

После всего сказанного можно перейти к выяснению идеологического содержания эргативной конструкции. Uhlenbeck определяет это содержание в следующих словах: «Легко, — пишет он, — проникнуть в сущность *casus inertiae* как интранзитивного, так и инактивного. Это падеж того, кто или что, помимо своей воли и без своего соучастия, находится или попадает в определенное состояние, будь то под влиянием кого-либо или чего-либо более сильного, будь то само собой. Но какова же, собственно, природа эргативного падежа (*energeticus*)? Это — падеж орудийного характера (*van instrumental-achtig karakter*), который, однако, следует четко отличать от обычного орудийного падежа»... «Для примитивного языкового чувства реальным действующим лицом является скрытая сила. Она действует через посредство мнимого действующего лица, первичного орудия, которое, в свою очередь, может пользоваться вторичным орудием. Возьмем в качестве примера такую фразу, как: «он убивает птицу камнем». Индеец из племени черноногих выразит эту мысль так: птица посредством-убиваема-им камень. Тот, кто убивает, есть то, что обычно называют действующим лицом; в действительности, однако, он является лишь мнимым действующим лицом, первичным орудием, в свою очередь управляемым какой-то скрытой силой. Мнимое действующее лицо, хотя и само является зависимым, воздействует на логический объект (т. е. грамматический субъект) посредством его эманлирующего оренда. Даже тогда, когда лицо является логическим субъектом какого-либо непереходного действия, как часто случается в мышлении народов, которые знают не противоположность переходной и непереходного, а противоположность активного и инактивного, и тогда оно равным образом действует посредством той же мистической силы. *Casus energeticus*, как исключительно переходный, так и активный, может быть поэтому назван «*casus emanativus*» или «падежом излучающейся силы»³⁴.

Прежде всего отметим явно неудовлетворительный характер определения пассивного падежа. Собственно, Uhlenbeck и не дал единого определения этого падежа. Определение явно шито из двух частей, из которых одна рассчитана на пассивный падеж в роли субъекта интранзи-

³³ ИАН. 1932. С. 730.

³⁴ VM, V, 2, 2. С. 213–214.

тивных (resp. инактивных) глаголов («падеж того, что или кто находится в определенном состоянии», «само или сам по себе»), а другая — на тот же падеж в роли объекта при транзитивных глаголах («...попадает в определенное состояние, под влиянием кого-либо или чего-либо более сильного»). Между тем, задача заключается как раз в том, чтобы раскрыть генетическое е д и н с т в о обеих функций, а для этого необходимо дать положительной ответ на вопрос, что «пассивного» содержится в предмете, который «сам по себе находится в определенном состоянии». Единство назначения пассивного падежа можно обнаружить лишь при учете особенностей первобытного мышления. Пассивный падеж — это просто наименование предмета или существа, однако наименование на той стадии общественного развития, когда никто и ничто не мыслится абсолютно, когда основные определения всякого предмета положены вне его, когда предмет уже заранее соотнесен по нормам мышления того времени. Этим пассивный падеж принципиально разнится как от именительного, так и от винительного падежей номинативного строя. Ибо именительный падеж в любом предложении мыслится как категория, обладающая внутренними определениями. Винительный же падеж не является исходным падежом, простым наименованием предмета и по самому существу своему постоянно требует наличия именительного падежа в предложении.

Понимание пассивного падежа, как исходного падежа эргативного строя, как наименования, позволяет раскрыть и природу эргативного падежа. Согласно Uhlenbeck'у, это падеж — посредник, падеж мнимого субъекта, на которого воздействует некая таинственная внешняя сила, — оренда. Uhlenbeck и здесь явно модернизирует отношения, допуская наличие абсолютных религиозных представлений на этой стадии развития. Он приравнивает сознание индейца к настроению стиха «Maer Godt sal my regeren Als een goet instrument», оговаривая лишь туманность и неясность первобытного представления³⁵. Однако ни оренда ирокезов, о котором говорит Uhlenbeck, ни маниту алгонкинцев, ни вакан сиуксов, ни мана меланезийцев, ни другие аналогичные представления не дают оснований для утверждения о наличии идеи бога на этой ступени. Об идее бога можно было бы говорить лишь в том случае, если бы эти представления мыслились в качестве отдельных существ. «Человек, — говорит Л. Фейербах — отделяет в мышлении прилагательное от существительного, свойство от сущности... И метафизический бог есть не что иное, как краткий перечень или совокупность наиболее общих свойств, извлеченных из природы, которую, однако, человек посредством силы воображения, именно таким отделением от чувственного существа, от

³⁵ VM, V, 2, 2. С. 188.

материи природы, снова превращает в самостоятельного субъекта или существо». Под это определение Фейербаха, которое В. И. Ленин сопровождает замечанием «NB глубоко, верно! NB»³⁶, нельзя подвести идею о мана или оренда. Мана или оренда не представляются в качестве самостоятельного отвлеченного объекта. Это представление существует больше в качестве прилагательного, чем существительного, оно обозначает скорее свойство или совокупность свойств, нежели самостоятельную вещь³⁷. Лишь поскольку отдельные предметы (скажем, «священные камни») и лица начинают выступать в сознании как исключительные носители этих свойств, мы встречаемся с первобытным идеализмом³⁸. Нет, следовательно, никаких оснований предполагать вместе с Uhlenbeck'ом существование религиозного элемента в каждом транзитивном (resp. активном) предложении эргативного строя.

Отвергая интерпретацию Uhlenbeck'a, мы, однако, не отрицаем известный параллелизм в возникновении транзитивной конструкции и представлений, подобных оренда. Как одно, так и другое явление возникают на той фазе в развитии первобытного сознания, которую мы бы назвали технологической, если бы этому термину в новом учении о языке не придавалось другое значение. Предметы производства, орудия, утварь, люди все чаще и чаще осознаются на этой ступени как вместилища определенных свойств, как носители действенного начала.

Далеко не случайно, что в этом качестве мы встречаем, наряду с лицами, и орудия, утварь, камни и т. д., как неслучайно и частое совпадение эргативного падежа с орудийным. Именно в этих объектах, с которыми сталкивала первобытных людей их непрерывная практическая деятельность, они научились прежде всего распознавать некоторые специфические качества. Эти качества не сразу были осознаны как имманентные предметам внутренние определения, общие у каждого предмета с рядом других, ему подобных. Первобытный ум не только еще не преодолел противоположности внутреннего и внешнего, но ему еще чуждо само это противоположение. Вот почему мы находим в представлениях об оренда, мана и т. п. так много противоречивого: с одной стороны, оренда как будто не составляет внутреннего свойства предмета, она приходит постоянно извне в неожиданно поразивший внимание предмет; с другой стороны, она не мыслится как некая внешняя, самостоятельно сущая, обладающая собственными качествами сила. Эта контроверза, как нетрудно заметить, покоится на том, что и в одном и

³⁶ Ленин В. И. *Философские тетради*. 1934. С. 71–72.

³⁷ Lévy-Bruhl L. *L'Ame primitive*². 1927. С. 5. См. также: *Cassirer*. *Phil. d. symb. Formen*. Bd. II. С. 195 слл.

³⁸ Ленин В. И. *Философские тетради*. С. 335.

другом случае еще отсутствует представление о предмете как субстанции, как носителя собственных свойств.

Эргативная конструкция полна тех же противоречий, что и представление об оренда. С одной стороны, уже выделяется специальный падеж для выражения лица или предмета как действенного, активного, как источника энергии; с другой стороны, эта действенность оказывается внешней в отношении лица или предмета, поскольку обычным наименованием служит «пассивная» основа и «падение» основы (πτῶσις, casus) в эргативный падеж означает, что к чистому представлению о предмете *п р и б а в и л о с ь* какое-то новое отношение. Параллелизм с представлениями об оренда можно провести и дальше: уже было отмечено, что развитие представлений об оренда, мана и т. д. позже приводит к выделению группы исключительных носителей этой таинственной силы в противовес нейтральным предметам, не имеющим этих таинственных свойств. В языке наблюдается аналогичное выделение класса активных предметов, обладающих эргативностью как своим постоянным определением, и класса предметов, у которых пассивность рассматривается так же, как некое специфическое свойство. Эти новые явления опосредствуют переход к новой стадии в развитии языка и мышления — стадии, связанной с возникновением в мышлении понятия о предмете как обладающей свойствами субстанции и соответственно в языке именительного падежа как средоточия всех мыслимых глагольных предикатов.

VI. СЛЕДЫ ЭРГАТИВНОГО ПРОШЛОГО В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Мы уже видели, что особенности склонения имен существительных мужского и среднего рода основы на -о, как и то обстоятельство, что звательный падеж в индоевропейских языках часто совпадает с основой, получают объяснение в свете эргативной конструкции. Обратимся сейчас к рассмотрению других следов переживаний эргативного строя в германских языках.

Анализируя причастные формы в этих языках, мы пришли выше к выводу, что на древней ступени они отличались большей глагольностью и имели относительное значение, подобное придаточным предложениям с относительным местоимением. Более того, анализ выявил конкретную форму глагола, лежащего в основании причастных форм. При этом глагол обнаружил функции, явно необычные для глагола в германских языках. В частности, глагол, на базе которого выросло причастие прош. вр., раскрылся как нейтральная в залоговом отношении глагольная основа с наращением местоименного суффикса, имеющего то объектное, то субъектное значение, в зависимости от того, переходный или непереходный это глагол. Сейчас после разбора эргативного строя мы можем нашу формулу причастия прош. вр. VP более конкретно разъяснить как составленную из глагольной основы и п а с с и в н о г о местоименного элемента. Эта формула по типу (но в обратном порядке составных частей — в баскском PV) вполне соответствует 3-му лицу глагола в баскском:

da-kar 'его (ее, то) несет (он)', da-tor 'он (она, оно) приходит'.

То, что является необычным для строя германских языков, является нормой на ранней стадии образования причастий: форма переходного глагола 3-го лица может получить либо действительное, либо страдательное значение, в зависимости от того, к объекту или субъекту действия отнесена она в качестве атрибута. Форма непереходного глагола может, естественно, иметь лишь активное значение. Ниже мы еще остановимся на своеобразном переплетении здесь переходности глагола с совершенностью и несовершенностью.

Образование относительного причастия из глагольной формы можно проследить на ряде языков. Насколько можно судить по кратким и крайне неполным сведениям R. H. Mathews'a относительно австралийских языков¹, последние еще не знают причастий. Это языки, сохранившие эргативный строй в наиболее нетронутым виде, если учесть полнейшее отсутствие страдательного залога и «минимума страдательного залога» — пассивного причастия. Характерно также отсутствие относительных местоимений. «Я не заметил, — пишет исследователь в отношении языка Thurgawal, — никаких относительных местоимений, вроде 'который', 'что' и т. д., однако их значение передается такими выражениями, как следующие: 'человек вчера ушел — бумеранг украл он у меня', т. е. 'ушедший вчера человек украл у меня бумеранг'»². Это и есть конструкция, ведущая к образованию причастий. Для того чтобы глагол «ушел» превратился в причастие, он должен быть употреблен атрибутивно, что и происходит на следующей ступени развития. Н. Jacobi в своей работе «Compositum und Nebensatz» (Bonn, 1897) специально занимается генезисом относительных причастий (Relativparticipia). Он приводит следующие примеры из японского языка, которые наглядно показывают возникновение причастия из глагола: kuru hito букв. 'приходит лицо' — 'приходящее лицо', kita hito букв. 'пришло лицо' — 'пришедшее лицо'; kinō kita hito 'вчера пришедшее лицо'; tōchaku shīta toki букв. 'прибытие сделал время' — 'время, когда он прибыл' (по-немецки получилось бы нечто вроде ankunftmachende Zeit ср. выше «nachtschlafende Zeit» и т. д.) Конструкция ἀπό κοινού в германских языках (английском, датском, шведском, ср. англ. wash the clothes you brought yesterday) является, по мнению Jacobi, «пережитком угасшего употребления»³.

Яфетические языки, где наличие страдательного причастия свидетельствует о пережиточности эргативной конструкции, обнаруживают в причастиях все те черты, которые свойственны этим формам на древней ступени германских языков. Так, в отношении лакского языка Н. Schuchardt замечает: «Колебание между активным и пассивным значением свойственно деепричастиям и причастиям, которыми язык и пользуется с расточительностью»⁴. Ср. usru d-aiša adamina 'человек, делающий сапоги' и adaminal d-aiša usru 'человеком сделанные сапоги'. Аналогично в аварском: dida w-iḥuleu tši 'видимый мною человек', dun w-iḥuleu tši, 'меня видящий человек'. Классовый показатель «w- имеет, следова-

¹ JP, XXXV. С. 127 слл.; XXXVI. С. 71 слл., 135 слл.; XXXVII. С. 59 слл., 243 слл.

² JP, XXXV. С. 138.

³ Compositum und Nebensatz. Bonn, 1897. С. 32 csx.

⁴ Ueber den passiven Charakter des Transitivs in den kaukasischen Sprachen (S.-B. d. Akad. Wise. Wien, CXXXIII, I Abh.). С. 20.

тельно, здесь, как замечает Schuchardt, — исходя из нашей точки зрения, в одном случае субъектное, в другом объектное значение»⁵. Готское прил. *frawaurhts* ‘грешный, согрешивший’, наряду с отглагольным существительным (← причастием) *frawaurhts* ‘грех, согрешенное’, нем. *trunken* ‘пьяный, выпивший’, наряду с *(ge)trunken* ‘испитое’, обнаруживают несомненные «яфетические» черты. То, что лишь транзитивное причастие прошедшего времени может иметь страдательное значение, в то время как причастие настоящего времени его не имеет, связано с имперфективным характером последнего. Если предположение о том, что *-nt*, *-ent* имперфективного причастия состоит из двух детерминативов *-n* и *-t*, верно⁶, тогда причастие имперфективное отличается от перфективного на *-t* лишь тем, что оно образовано от глагольных основ на *-n*, где *-n* сигнализирует начинающееся незавершенное действие, соответственно, настоящее время (ср. готск. *inchoativa* на *-nan*, не имеющие перфективного причастия, греческ. наст. вр. *λαμβάνω* ‘я беру’: аор. *ἔλαβον*, лат. *vincō* ‘я побеждаю’: *vici* ‘я победил’). Во всяком случае, имперфективное значение причастия настоящего времени доказано семантикой глаголов, допускающих образование причастий настоящего времени на древней стадии, и, следовательно, мы можем констатировать, что имперфективность исключает страдательное значение.

Это становится понятным лишь в связи с тем, что было сказано выше. Страдательное причастие возникает прежде всего в отношении тех предметов, которые обладают своими свойствами, как уже приобретенными. Совершенное есть нечто, уже обладающее внутренними определениями, в то время как совершающееся ими еще не обладает. Это обстоятельство, как и совпадение эргативного падежа с орудийным в эргативной конструкции, проливает свет на общественно-производственные корни этих понятий.

Различие причастий настоящего и прошедшего времени отразилось и в именах существительных причастного происхождения. В то время как имена, образованные от причастия наст. вр., по своему значению суть *nomina agentis* (ср. готск. *frijonds*, дрсев. *frēndi*, агс. *frēond*, дрс. *friund*, дрвн. *friunt* ‘друг’ ← ‘любящий’; готск. *fijands* ‘враг’ ← ‘ненавидящий’, *garda-waldands* ‘хозяин’ ← ‘правлящий домом’ и т. д.), имена, образованные от причастия прош. вр., выступают либо как *nomina agentis*, либо как *nomina acti* ср., с одной стороны, отглагольные именные основы на *-ne* || *-no* и *-te* || *-to*, имеющие в мужск. роде первично значение имен действующего (nomina agentis), а в среднем — имени действия (nomina actionis)⁷, и образования на *-ni* и на *-ti* женск. рода, имеющие

⁵ Указ. соч. С. 15; см. также С. 7 и 11.

⁶ Hirt H. Idg. Grm. III. С. 126, 190; IV. С. 89.

⁷ Streitberg W. Urgermanische Grammatik. 1896. С. 195.

значение имени действия и результата действия, ср. готск. *siuns* 'зрение, лицо' ← 'видеть' (гл. *saihan*), *naseins* 'спасение' (гл. *nasjan*), *gamunds* 'память' ← 'запомнившееся' (от глагола *tunan* 'помнить, хотеть'), дрвн. *spanst* 'заманивание, приманка' (от глагола *spanan* 'манить, подгонять', ср. *Gespenst*), *gruft* 'яма' ← 'выкопанное' (от глагола *graban* 'копать') и т. д. Nomen actionis является во всех этих случаях средним звеном между nomen agentis и nomen acti. Это среднее, более общее, значение и является более древним.

Категория грамматического рода использована здесь в целях позднейшей дифференциации значений, выполняя функцию, коррелятивную функции залога в глаголе, и тем самым обнаруживая непосредственную увязку с нашей темой⁸. К мысли о позднейшей дифференциации всех этих значений существительного пришел иными путями А. Потенбня, который за всеми этими категориями видит более первичную категорию субстанциональности (мы бы сказали, эргативности переходного глагола). «Так, — пишет он, — если по поверьям клад сам выходит, сушится и уходит, скрывается, то и первое его образование в к л а д с ъ к р о в ь могло состоять в том, что он сам себя положил, скрыл («сам себя» — во все не обязательно, «клад» первоначально имело значение нейтральное, допускающее, как причастие, и активное и пассивное значение, но невозвратное. — С. К.). Такое представление будет не более странным, чем представление меда *пьяным* (*пьяный* мед в отличие от пресного), так он опьяняет. Впрочем, nomina acti могут быть связаны с nom. agentis через nomen actionis, и в таком случае *клад* — кладение, потом то, что кладется»⁹. Готские инфинитивы прекрасно иллюстрируют эту залоговую индифферентность имени действия (см. выше).

Связь причастных форм с глагольными не подлежит сомнению¹⁰. С нашей точки зрения зародышем развития была форма 3-го лица одинакового оформления как у глаголов переходных, так и непереходных (глагольная основа и пассивный местоименный аффикс). Суффиксы -t и -n, таким образом, должны были иметь значение пассивных местоименных частиц. Вопрос, были ли эти суффиксы местоименными или именными¹¹, неправомерен для древней эпохи, ибо пассивный местоименный элемент вначале не был ни глагольным, ни именным, а позже мог быть использован и для образования глаголов, и для образования

⁸ Ср. *Grasserie R. de la. Remarquons d'abord cette analogie: l'actif et le passif existent aussi dans le substantif et se réalisent dans le genre* (De la catégorie des voix. С. 42).

⁹ Из записок по русской грамматике. Т. III. Харьков, 1899. С. 104.

¹⁰ Ср. *Hirt H. Idg. Grm. IV. С. 101* слл.

¹¹ Указ. соч. С. 11.

имен. Тем более, что, как мы вскоре увидим, эти частицы обнаруживаются в индоевропейских языках в былом значении притяжательных частиц неотчуждаемой принадлежности.

С причастием слабого глагола непосредственно увязку обнаруживает дентальный претерит. Эта форма, какого происхождения она бы ни была, в ряде случаев (как, например, готск. *kunþa*) находится в несомненной увязке с причастием от слабых глаголов¹². И здесь, как в образовании имени, могло играть роль значение совершенности и результативности причастия. По-видимому, мы имеем здесь явление, аналогичное тому, которое мы находим во многих языках, сохранивших, наряду с номинативной, и эргативную конструкцию. Остатки этой конструкции чаще всего застревают во временах прошедших, аористах, перфективных. Так обстоит дело в грузинском, индийских, иранских языках¹³.

Наконец, в этом направлении придется искать и семантическое объяснение явления *präteritopräsentia*. Глаголы 'знать', 'мочь', 'хотеть' и т. д. в древнее время, по-видимому, воспринимались как результат прежнего действия либо внешнего воздействия. В этом отношении крайне интересен грузинский язык, где эргативная конструкция сохранилась в аористе, но при этом два переходных глагола *viđi* 'я знаю' и *uiki* 'я ведаю' идут и в настоящем времени по эргативному строю¹⁴.

Из сопоставления всех этих фактов происхождение причастия из глагола эргативного строя вытекает с необходимостью. Выявление пассивных местоименных элементов в функции possessивных частиц неотъемлемой принадлежности является новым доводом в пользу эргативного происхождения глагола и имени в германских языках. В этом отношении прежде всего поражает наше внимание группа именных основ на -n, к которым, наряду с определенным классом имен существительных, относятся также все так называемые «слабые» прилагательные. Среди имен существительных этой основы чрезвычайно легко выделяются определенные семантические группы. Это — термины родства¹⁵ ср. *swaihra* 'тесть, свекор', *atta* 'отец', *barnilo* 'дитя', *magula* 'мальчик', *aba* 'супруг', *guma* 'муж', *qino* 'жена', *ga-juka*, *gahlaiba* 'товарищ', *gadaifa* 'соучастник' и т. д.; названия частей тела: готск. *augo* 'глаз', *auso* 'ухо',

¹² См. по этому вопросу: *Collitz H.* Das schwache Präteritum und seine Vorgeschichte. Göttingen, 1912. *Brinkmann H.* Sprachandel und Sprachbewegungen in ahd. Zeit. С. 5.

¹³ Для грузинского см. *Marr N., Briere M.* La langue géorgienne. С. 25. Об индоиранской эргативной констр. см. материалы, собранные у *Royen'a* — Die nominalen Klassifikationsysteme etc. С. 934 слл.

¹⁴ *Marr N., Briere M.* Указ. соч. С. 245.

¹⁵ Отношения родства следует здесь, разумеется, понимать как первобытнокоммунистические.

hairto ‘сердце’, *tuggo* ‘язык’, *lofa* ‘плоская рука’, дрвн. *wanga* ‘щека’ и др. неотделимые части целого ср. *ǵairko* ‘игольное ушко’, *auga-dauro* ‘окно’, и сюда же, вероятно, прилагательные, как выражение неотъемлемых свойств — все семантические группы, с которыми мы уже встречались в меланезийских, американских и других языках.

К вопросу о древнем пассивном характере ряда формальных частиц в индоевропейских языках вплотную подошла в наши дни сравнительно-историческая грамматика. Развивая формалистическую теорию формативов, Н. Hirt в своей «Indogermanische Grammatik»¹⁶ предложил различать между суффиксами и детерминативами. Детерминативами он называет древние аффиксы, значение которых либо крайне смутно, либо совсем утеряно. Так, например, детерминатив -ко в лат. *raucus*, или -ю в греч. *μεγαλο-* (готск. *mikil* сравнительно с греч. *μεγα-* не привносит никакого добавочного значения к семантическому содержанию слова). Эти детерминативы, охватывающие в сумме индоевропейских языков почти все возможные звуки, в ряде случаев уже составляют неотделимую часть основы, в других — они выступают в виде различных формативов, в современном языке уже не обладающих единством функции. Поскольку одни и те же детерминативы вскрываются подчас и перед, и в середине, и позади основы, они свидетельствуют о той древней поре, когда формативы были еще в значительной мере самостоятельными агглютинирующими элементами. Н. Hirt приводит тут же обширную сводку материалов по детерминативам. Специальное исследование с целью свести материал по детерминативу -к- предпринял, по побуждению Hirt’a, F. Ewald¹⁷. Работа последнего в значительной степени подготовила работу голландского лингвиста Th. Baader’a «Die identifizieren de Funktion der Ich-Deixis im Indoeuropäischen»¹⁸. В этой работе Baader подвергает анализу все многообразные функции детерминатива -к- в индоевропейских языках и приходит к выводу, что в основе их лежат те же семантические значения, которые образуют категорию неотчуждаемой принадлежности в меланезийских и других языках. С основным выводом автора об «идентифицирующем» значении этого элемента, в целом можно согласиться. Особенно убедительно выявляет он это на анализе детерминатива -ing в германских языках. Эта патронимическая частица ранее означала теснейшую связь. Так, дрвн. *kuning*, *chuming*, дрсев. *konungr* ранее означало ‘член рода, клана, общины’ (ср. готск. *kuni* ‘род’) и позднее специализировалось в значении ‘патриарха’, еще позже ‘ко-

¹⁶ Teil III. Das Nomen. Heidelberg, 1927. С. 81 мл.

¹⁷ Die Eutwicklung des k-Suffixes in den indogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1924.

¹⁸ Heidelberg, 1929.

роля'. В встречающееся в песне о Гильдебранде *sunufatarungo* означало 'отец и сын с относящимися к ним людьми'. Наконец, *Vatting* 'отец', *Mutting*, *Mütting* 'мать', *Sähning* 'сын' и т. д., употребляющиеся в современном мекленбургском диалекте с ласкательным оттенком, могут быть также рассматриваемы как переживания седой старины, о чем говорит типологически родственное древневерхненемецкое *chunniling* 'родственник'¹⁹. К этому можно было бы прибавить *-ing*, *-ung* в значении *nomina actionis* и причастий (ср. англ. *singing*). Ваадер считает и детерминатив *n-* идентифицирующим по первичному значению²⁰. Трудно, однако, согласиться с исследователем тогда, когда он пытается размежевать эти функции в рамках праязыка, приписывая первому детерминативу значение «пассивного» элемента первого лица, а второму — некоего другого²¹.

Развитие теории детерминативов приводит, следовательно, с другой стороны, к проблеме эргативного строя как стадии, предшествовавшей появлению номинативного строя в индоевропейских языках.

Причастие пр. вр., сохранившее в германских языках явственные следы своего эргативного происхождения, помогает раскрыть и пути образования *impersonalia*. Причастие показало нам два возможных способа переосмысления переходного глагола в эргативной конструкции: если в качестве источника глагольного предиката принимается реальный объект (пассивный падеж в роли дополнения), — глагол принимает страдательное значение, если же эргативный падеж при новом строе переосмысливается в именительный, — глагол приобретает действительное значение. *Impersonalia* указывает на возможность еще одного способа переосмысления разложившейся эргативной конструкции. Подобное возникновение *impersonalia* можно воочию наблюдать в языках, которые сохранили эргативную конструкцию на периферийных участках своего

¹⁹ Указ. соч. С. 35.

²⁰ Указ. соч. С. 14.

²¹ Слепое доверие в отношении праязыковой схемы вообще составляет слабую сторону исследования Ваадера. Hans Krahe в ред. на это исследование (IV. LII. С. 71 сл.) справедливо замечает, что метод Ваадера противоречит индоевропейским фонетическим законам и ведет к уничтожению всего того, что до сих пор было познано как закономерное в языке». Если мертвые праязыковые схемы приходят в конфликт с попытками действительно исторического подхода к процессам глоттогонии, то тем хуже для первых. С нашей позиции недостатком Ваадера является не то, что он своим методом разрушает индоевропейские иллюзии, а то, что он пользуется своим методом стихийно, прибегая к всевозможным уловкам для сохранения видимости индоевропейского праединства. Усиление внимания к расхождениям индоевропейских языков между собой, а равно и внутри каждого языка, несомненно, сделало бы работу исследователя гораздо более плодотворной.

синтаксического строя. В этом смысле чрезвычайно интересен пример Hindûstâni. В Hindûstâni наличествуют три пути образования прошедшего времени при помощи причастного оборота:

1) Активный, когда переходной глагол согласован с субъектом:

| | |
|------------|---------------------|
| lārkā cālā | 'der Knabe ging' |
| lārki cālī | 'das Mädchen ging'. |

2) Пассивный, когда переходный глагол согласован с объектом, стоящим в именительном (пассивном) падеже. Этот оборот употребляется при неопределенном реальном объекте:

| | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------------|
| lārke-nē | } | ghōrā dēkhā | 'der Knabe sah ein Ross' |
| lārki-nē | | | 'das Mädchen sah ein Ross' |
| lārke-nē | } | ghōrī dēkhī | 'der Knabe sah eine Stute' |
| lārki-nē | | | 'das Mädchen sah eine Stute'. |

Поскольку глагольная форма здесь не осознается как страдательная, язык остановился на полпути.

3) безличный, когда переходной глагол стоит неизменно в мужском роде (за отсутствием в языке среднего), а субъект и объект — оба в косвенных падежах. Употребляется при определенном реальном объекте:

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------------------------------|
| lārke-nē ghōrē-kō | } | dēkhā | 'der Knabe sah das Ross' |
| lārki-nē ghōrē-kō | | | 'das Mädchen sah das Ross' |
| lārke-nē ghōrī-kō | | | 'der Knabe sah die Stute' |
| lārki-nē ghōrī-kō | | | 'das Mädchen sah eine Stute'. |

Здесь наглядно выступают возможности, открывающиеся перед нейтральной в залоговом отношении глагольной формой: либо за исходный пункт будущего номинативного строя — за именительный падеж — будет принят падеж эргативный, и тогда глагол примет активный характер, либо за исходный пункт развития берется пассивный падеж, падеж прямого объекта при переходных глаголах, воспринимающийся сейчас как именительный, и тогда глагол приобретает страдательное значение, а эргатив превращается в косвенный падеж. Чрезвычайно любопытна третья возможность развития эргативного предложения: глагол приобретает активное значение, как в первом случае, а оба падежа эргативной конструкции приобретают косвенное значение: это — путь образования

безличных оборотов (ср. русск. «течением унесло паром», «ветром сорвало крышу»).

Многочисленные примеры аналогичного порядка из области иранских языков приводит Б. В. Миллер в статье «О полистадиальности иранских языков»²². Автор доказывает не столько наличие эргативной конструкции в этих языках, сколько наличие разложившейся эргативной конструкции и разнообразие путей ее переосмысления. Одним из этих путей являются Impersonalia, которые возникают, согласно Б. В. Миллеру²³, при глаголах ощущения ('плакать', 'смеяться', 'бояться' и т. д.) и при глаголах, «выражающих безобъектное действие и состояние, являющееся его результатом» ('умереть' — 'быть мертвым', 'заснуть', — 'спать' и т. д.).

Заемствуем несколько примеров из указанной работы. Балучи: *bādšāhā kandīta* 101 'by the king it was laughed', натанзи: *ba-m-xoa* 'я заснул', 'я спал' букв. 'мне заснулось', хунсари: *mun imāgú* 'я хочу' букв. 'мне, мною хочется'.

На эту же эволюцию от эргативного строя к impersonalia указывают и глаголы так называемого объектного спряжения в грузинском. Грузинские глаголы восприятия и ощущения *m-ṭir-s* 'мне больно', *m-mi-a* 'мне голодно', *m-tug-is* 'мне завидно'²⁴ образованы с помощью пассивной частицы местоимения первого лица и эргативной третьего лица. Как показал И. И. Мещанинов²⁵, подобного рода impersonalia имеют своим источником эргативный строй.

Все эти примеры подтверждают наш вывод в отношении impersonalia, который сформулирован выше: impersonalia не являются разновидностью эргативного предложения. Наоборот, всей своей сущностью они предполагают разложение этой конструкции. Они указывают на то, что уже народилась категория именительного падежа как субъекта. Именительный падеж отсутствует в предложении, так как ни одно из имен существительных, наличных в предложении, по нормам мышления переходной эпохи не может быть воспринято как субъект глагола; тем самым субъект глагола необходимо проецируется вовне. Глаголы, фигурирующие как безличные, указывают, в каких случаях люди той древней эпохи испытывали затруднения в определении реального субъекта: это — глаголы ощущения и восприятия, глаголы судьбы и др.

Остается рассмотреть особенности развития местоимений при переходе от одного строя к другому. Выше, в главе о местоимениях, мы уже отметили основную тенденцию этого развития. На ранней стадии пер-

²² Сборник в честь Н. Я. Марра. Л., 1935. С. 293 слл.

²³ Указ. соч. С. 310.

²⁴ *Marra N. J. Verba impersonalia etc.* // ИАН. 1932.

²⁵ *Мещанинов И. И. Язык ванской клинописи. II.* С. 210.

вобытного мышления субъект-общество и объект-природа предстают в мышлении слитно, что отражается и в строе местоимений. Мы видели, что понятие индивидуальности у дикаря не останавливается на границах его личности. По мере роста знаний людей о себе и об окружающих их предметах представление личности все более и более суживается, определяется, проясняется и вместе с тем ограничивается и определяется осознание природы. В сознании возникает противоположность «я» и «нея». В строе личных местоимений это приводит к полярности 1-го и 3-го лица. Тенденция свести 3-е лицо к степени «эго» в отличие от 1-го «я» проявляется, как то показано выше, в разных германских языках в различной степени. С другой стороны, наблюдается стремление выделить лицо как чистое лицо, как соотнесенное лишь с собой. Эго стремление выражается по-разному: либо делается упор на тело, на важнейшие органы тела, как на единственных носителей своего «я», либо абстрактнее — на «душу», либо «я» выражается еще абстрактнее как обладание самим собою. Так, по первому пути следует баскское возвратное местоимение *bugu* букв. 'голова', древн. *bēātmi* 102 'я сам' букв. 'своей костью'. «В яфетических языках, — замечает Н. Я. Марр, — связь возвратного местоимения «себя», «сам» с именем «голова», «тело», «душа» ясна и наглядна»²⁶.

В германских языках находим аналогично срвн. *mīn līp* 'я', *dīn līp* 'ты', букв. 'мое, твое тело' (ср. англ. *my body* 'я').

Абстрактное выражение личной соотнесенности Н. Я. Марр вскрывает в основе местоимения «сам», как и имени «особа»²⁷, в которых отражено право собственности. «Я» здесь выражено как владение собою. Аналогичного происхождения, вероятно, и нем. *selb*, англ. *self*, в англ. функционирующее как имя существительное *myself*, *thyself* (*itself* также возможно объяснить как *its self*, но *himself* и *themselves* выпадают из этого ряда). Вполне вероятна связь этого местоимения с древнеирландским *selb* 'владение, собственность', хотя она и отрицается индоевропеистами²⁸.

Переход от эргативного строя к номинативному определился, таким образом, как грандиозного масштаба революция, оставившая глубокий отпечаток на всех основных сторонах строя германских языков. Имя существительное, прилагательное, местоимение, глагол в его определенных и неопределенных формах — все это оказалось втянутым в русло проблемы, все это по-разному указывает на существование стадии деноминативного предложения в германских и, шире, индоевропейских языках.

²⁶ Марр Н. Я. О слоях различных типологических эпох в языках прометендской системы // ИАН. 1927. С. 341.

²⁷ ИР. Т. III С. 195 слл.

²⁸ Grimm J., W. DW, см. под словом *selb*.

«Предложение есть абсолютная мера языка» — с этим положением Th. Rumpel'я нельзя не согласиться после того, как были прослежены основные непосредственные взаимоотношения синтаксических стадий с уровнем мышления. Мы хотели бы, однако, в заключение подчеркнуть следующее положение: не следует смешивать ту или иную конструкцию со строем предложения. Строй предложения в огромном большинстве языков мира номинативный. Решающим поворотом от эргативного строя к номинативному является образование причастий, прилагательных и т. д. Поскольку яфетические языки Северного Кавказа уже обладают формой страдательного причастия, они стоят по эту сторону грани и эргативная конструкция является в них пережитком. Индоевропейские языки, как и некоторые другие группы языков, решительнее разделились с чертами деноминативного синтаксиса. Однако и здесь, как мы видели, нет недостатка в рудиментах, более или менее полно свидетельствующих об эргативном прошлом этих языков.

ZUR ENTSTEHUNG DES NOMINATIVISCHEN SATZES

Zusammenfassung

Die vorliegende, auf den Grundlagen der neuen, materialistischen Sprachlehre N. Marr's beruhende, Untersuchung beabsichtigt, die zertrümmerten Reste des vornominativischen Sprachbaus in den germanischen Sprachen an den Tag zu bringen. Andererseits soll hier versucht werden, den ideologischen Gehalt und die allgemeinen sozialgeschichtlichen Bedingungen des Übergangs zur nominativischen Satzstruktur zu bestimmen. Pott und später ganz unabhängig von ihm C. C. Uhlenbeck stellten an Hand der Deklination der sogenannten indoeuropäischen o-Stämme die Hypothese auf, die nominativische Satzstruktur dieser Sprachen sei einer der ergativischen ähnlichen entsprungen. Die spezielle Durchmusterung der germanischen Sprachen hat die Beweisgründe für eine solche Vermutung bedeutend erweitert. Die Personalpronomina die subjektlosen Sätze, die Genera verbi und Partizipia wurden auch in den Kreis des Problems hereingezogen. Damit ist übrigens die Gesamtzahl ergativer Überbleibsel (survivals) in den germanischen Sprachen nicht erschöpft. Das letzte Kapitel versucht eine grössere Anzahl von Erscheinungen aufzuführen, deren Zusammenhang mit den hier in Betracht kommenden Fragen schon bei dem heutigen Stand der Forschung unverkennbar ist.

Die neue Perspektive einer historischen Syntax hat es möglich gemacht, die Forschung lediglich im Bereiche der germanischen Sprachen zu betreiben, ohne sich um die leere Abstraktion der indoeuropäischen Ursprache zu kümmern; ja selbst auf dem Gebiete der germanischen Sprachen mit den Eigentümlichkeiten der einzelnen Sprachen zu rechnen, ganz abgesehen vom Mythos einer Ureinheit der Germanen. Die Geschichte des Satzes, der mit der gegebenen Entwicklungsstufe der Mentalität enger verbunden ist, ist als Leitfaden bei der Altersbestimmung von grammatischen Formen viel sicherer, als ein rein mechanisches Gegenüberstellen der zu vergleichenden Elemente. Die

Trümmer des ergativen Satzes in jeder einzelnen der indoeuropäischen Sprachen wurzeln tiefer, als die auf die vermeintliche Ureinheit reduzierbaren Formen, die ihrem Wesen nach nominativisch sind.

Das Verdienst, die erste spezielle Untersuchung über das Suppletivwesen der indoeuropäischen Sprache gemacht zu haben, kommt H. Osthoff zu. H. Osthoff war der erste, der die alten naiven Theorien aufgab, die den Suppletivismus als Folge einer Anomalie und Sprachverderbung betrachtet hatten. Den Schlüssel zur Lösung des Problems fand er in einer psychologischen Betrachtung der Erscheinungen, indem er die Suppletivreihen als eine gesetzmässige semantische Erscheinung erkannte. Möge vieles in diesen psychologischen Ausführungen Ostoffs schon veraltet sein, doch bleibt der Hauptschluss seiner Forschung bestehen. Das Vorhandensein etymologisch heterogener Elemente in den gegebenen suppletivischen Reihen zeuge davon, dass zwei oder mehr Bedeutungen, die ehemals einander fremd gewesen wären, in ein System zusammengekommen seien, in dem sie nur als morphologisch verschiedene Varianten ein und derselben semantischen Grundbedeutung aufträten.

Aus den verschiedenen Arten der suppletivischen Flexion im Bereiche der persönlichen Pronomina ist hier für uns ausschliesslich die suppletivische Bildung der Kasusformen von Interesse. Das Auseinandergehen der Stämme des Casus rectus, einerseits, und der Casus obliqui, andererseits, lässt sich am reinsten bei den Formen der 1. Person beobachten. Die 2. Person zeigt eine inkonsequente Bildung, da die Einzahl nur wurzelgleiche Formen aufweist. Endlich ist die 3. Person völlig auszuscheiden, da hier die Wurzelverschiedenheit eine Folge ungleichmässiger Kreuzung verschiedener demonstrativer Stämme ist. Die Polarität der 1. und 3. Person, zwischen denen die 2. die Mittelstelle einnimmt, wird auch durch ihre Flexion gestützt. Semantisch liegt dieser Polarität die Tatsache zu Grunde, dass die 1. Person als die eigentliche «Person» und die 3. als das eigentliche «Fürwort» (der allgemeinste Wörterersatz) gelten darf. Also ist dieser Gegensatz als Polarität des Objektiven und Subjektiven aufzufassen, und diese letztere, wie aus der weiteren Darlegung folgt, ist mit der Entstehung des nominativischen Satzbaus untrennbar verbunden. Dass die 1. Person den dem vornominativischen Satzbau eigentümlichen Suppletivismus der Kasusformen bewahrte, liegt an den erwähnten semantischen Gründen. Was den ehemaligen Suppletivismus der geschlechtigen Pronomina anbelangt, so zeigen uns wohl die Demonstrativ-Pronomina im Gotischen, An. und Ags. das Bild dieser Vergangenheit. Hier steht der Wurzel des Nominativs Mask. und Fem. S- die Wurzel der übrigen Kasus þ- gegenüber. Da die zweite Wurzel mit der aller Kasus des Neutrums zusammenfällt, so geht daraus hervor, dass diese dem Kasussuppletivismus zu Grunde liegende altertümliche Klassifikation und jene des grammatischen Geschlechts irgendwo einander durchkreuzt haben. Der Suppletivismus der De-

monstrativpronomina ist jener Erscheinung ganz parallel, die, wie erwähnt, Pott und Uhlenbeck als Überbleisel der vornominativischen Entwicklungsstufe in den indoeuropäischen Sprachen erkannten.

Nach der Analyse der Pronomina, bei denen die Wurzelverschiedenheit Zeugnis von einer uralten Auffassungsart des Subjektes ablegt, kommt eine zweite Erscheinung in Betracht, die für die Subjektverhältnisse von grosser Bedeutung ist und zwar die der subjektlosen Sätze. Aus der Menge linguistischer, logischer und psychologischer Auseinandersetzungen über dieses Thema ist hier die M. Deutschbeins besonders hervorzuheben. Zum Ausgangspunkt seiner Theorie dient die Analyse der Begriffe Subjekt und Substantiv. Während das Substantiv als Ausdruck eines Gegenstandes schlechthin erscheint, ist der Nominativ als Subjektskasus Ausdruck eines Gegenstandes als Substanz. Der Übergang von der gegenständlichen zur substanzionellen Auffassung der Naturdinge führt sprachlich eine starke Revolution herbei, aus der die nominativische Satzstruktur stammt. In den indoeuropäischen Sprachen macht sich dieses unter anderem auch dadurch geltend, dass hier häufig an die Stelle der subjektlosen Sätze solche mit einem Subjekt treten (vgl. ags. *lician* und engl. *to like*).

Trotz der Verschwommenheit der Terminologie, trotz der allgemeinen formell-logischen Einstellung seiner Forschungsmethode ist der Ansicht Deutschbeins beizustimmen, dass der Nominativ genetisch mit der Ausbildung der substanzionellen Weltauffassung verbunden sei. Was aber die Impersonalien betrifft, so ist in der Wirklichkeit die Frage viel komplizierter. Deutschbein rechnet nicht mit Form- und Inhalts-Dialektik in der Sprache, mit Möglichkeiten semantischer und funktioneller Re-interpretation einer grammatischen Form. Die subjektlosen Sätze einer modernen Sprache sind ja nicht mehr Träger einer primitiven Denkweise. So ist z. B. im Deutschen der semantische Unterschied zwischen *ich hungere* und *mich hungert* von lebendiger Bedeutung. Es sind weiter die häufigen Fälle zu erwähnen, wo subjektlose Sätze in verhältnismässig späten Entwicklungsperioden, als Mittel für die Ausbildung neuer Empfindungsverben galten. Vgl. mhd. *brechen* impersonal im Sinne von 'gebrecchen', *zogen* impersonal im Sinne von 'eilen', *belangen* — im Sinne von 'verlangen' usw. Nur wenn diese sekundären Bedeutungen verschwinden, kann die subjektlose Form ihr Dasein aufgeben. Das Fehlen des Nominativs, das diese subjektlose Konstruktion aufweist, gehört mithin nicht der späteren Entwicklungsetappe an, sondern der früheren Entstehungszeit solcher Sätze. Wie später bewiesen sein soll, ist diese Konstruktion nur als Produkt der Zerlegung der vornominativischen Satzstruktur zu erklären.

Die semantische Funktion des Nominativs ist nur dann zu begreifen, wenn wir die korrelative Form des Genus verbi nicht aus den Augen lassen. Nur das Vorhandensein der Genera veibi (Activum, Passivum und Medium) macht den Nominativ zum Mittelpunkt des Satzes, zu einem universalen Subjekt-

kasus der jeden Gegenstand, jedes Erscheinung, jedes Verhältnis ausdrücken kann, ganz unabhängig davon, ob es seine Prädikate in sich hat, oder von aussen bekommt oder nach aussen richtet.

Die Geschichte der verbalen Genusformen im Germanischen zeigt, dass diese eine ziemlich junge Errungenschaft der Sprachentwicklung sind. Das Schwanken des Gotischen im Gebrauch der Genera *veibi* wie auch die eigentümliche Funktion der *verba auf - n a n*, sodann auch die passive Verwendung des aktiven Infinitivs, zwingen zur Annahme, dass damals das Germanische kaum noch ein Passiv kannte (*B r i n k m a n n*). Die sogenannten «Reste» des Mediopassivs im Gotischen sind ursprünglich gar nicht passivisch gewesen. Die Analyse des Part. prät., das nach *R. de la Grasserie* das Minimum des Passivs an und für sich sei, bringt uns in der Geschichte des Satzes weiter.

Die Partizipien sind von Haus aus in Hinsicht des Genus klar geschieden. Die Participia Präs. haben stets eine aktivische Bedeutung. Die Part. Prät. sind dagegen aktivisch nur wenn sie intransitiv, passivisch wenn sie transitiv sind. Es gibt aber Ausnahmen von dieser Regel, vgl., got. *drugkas, frawaurhts*, ahd. *bitragan, gewizzan*, mhd. *bischeiden, verswigen*, die offenbar eine aktivische Bedeutung haben, und solche Ausdrücke wie mhd. *ansehende leit, unwizzende leit*, frühneuhochdeutsch *das tragende Kind (ir Zeit das tragende Kind cze geben)* usw., wo das Part. präs. passivisch aufzufassen ist. Diesen Widersprüchen können wir leicht aus dem Wege gehen, wenn wir annehmen, dass die Partizipia, die jetzt attributiv in Bezug auf ein beliebiges Substantiv aufgefasst werden können, ehemals eine grössere syntaktische Freiheit besaßen und nur auf das «reale Objekt» bezogen zu werden pflegten. Der erste Leitsatz, den *A. P o t e b n j a* durch Tatsachen aus den slavischen Sprachen gestützt hat, findet auch auf germanischem Boden Bestätigung. Das *u n d* in solchen Sätzen wie got. *innatgaggandans in þo weihon baurg jah ataugidedun sik managaim*, ahd. *tho antuurlanti ther neilant in quad iru*, sowie die in den Glossen des VIII–IX Jh. häufigen Übersetzungen der lat. Verben durch deutsche Partizipiaen, zeugen von der einstmaligen grösseren Prädikativkraft der Partizipiaen. Was der Fachausdruck «reales Objekt» bedeuten soll, kann durch eine Formel für das präteritale Partizip — VP — veranschaulicht werden: hier soll V die dem Partizip zu Grunde liegende, in Hinsicht des Genus neutrale Form des Verbs bedeuten und P ein solches Pronominalelement sein, das ursprünglich die doppelte Funktion hatte, bei intransitiven Verben das Subjekt, bei transitiven das Objekt zu bezeichnen. Zur Bestätigung dieser Annahme ist eine Analyse der ergativen Satzkonstruktion vonnöten.

Jede Annahme eines besonderen vornominativischen Satzbaus würde rätselhaft und unsicher bleiben, wenn wir in vielen Sprachen in der Ergativkonstruktion nicht seine lebendige Verkörperung hätten. Die Eigenart dieser Konstruktion besteht darin, dass es hier keinen Nominativ und Akkusativ im Sinne der indoeuropäischen Sprachen gibt. Die Kasus der Ergativkonstruktio-

on, Casus ergativus und Casus inertiae, unterscheiden sich ihrem Wesen nach von denen der Nominativkonstruktion, wobei die Einteilung der Verben in transitive und intransitive (bzw. aktive und inaktive) eine bestimmende Rolle spielt. Der Casus ergativus erscheint als Subjektkasus bei den transitiven (bzw. aktiven) Verben, der Casus inertiae als Subjektkasus bei den intransitiven (bzw. inaktiven) Verben und als Objektkasus bei den transitiven (bzw. aktiven) Verben. Die moderne Forschung bezeugt die Tatsache der ungeheueren Verbreitung dieser Konstruktion oder ihrer Reste in den verschiedensten Sprachsystemen der Erde (indoeuropäischen, japhetischen, indochinesischen, amerikanischen, paläoasiatischen, australischen u. a.).

Die Geschichte der Erforschung dieser Konstruktion (H. G. Gabelentz, Pott, Schuchardt, Uhlenbeck, Fiuck, Trombetti u. a. im Ausland, N. Marr, I. Meščaninov u. a. in der USSR) zeigt, wie schwierig der spezifische Inhaltwert dieser Konstruktion, als eines besonderen Stadiums der Sprachentwicklung, zu ergründen ist. Mehrere Forscher von W. Humboldt bis A. Trombetti verkannten die Natur der Ergativkonstruktion, als sie dieselbe nur als eine vollkommeneren oder besondere Abart der nominativischen betrachteten. Aber auch die Forscher, die den grundsätzlichen Unterschied zwischen den beiden Konstruktionen nachgewiesen haben, waren doch nicht ganz konsequent in ihren Schlussfolgerungen. Eine eingehende Analyse erwies, dass das Verb der Ergativkonstruktion oft aus einer in Hinsicht des Genus neutralen (d. h. weder aktivischen, noch passivischen) Wurzel (V) und Pronominalkomponenten ergativischer (E) und inerter (P) Art besteht. Was bedeutet aber die innere Sprachform der verhüllten Wurzel und der Pronominalaffixe? Je nach der Beantwortung dieser Frage teilten sich die Forscher in zwei Lager. Die Vertreter des passivistischen Standpunkts wollen die passive Natur der an sich indifferenten Wurzel erkannt, haben; bei dieser Annahme erhält das inerte Pronominalelement und ebenso der Casus inertiae den Wert eines Nominativs. Damit wird aber die Ergativkonstruktion auf eine altertümliche Variante der nominativischen reduziert, deren Eigenart hauptsächlich darin besteht, dass hier die passive Bedeutung des (transitiven) Verbs formell nicht bezeichnet bleibt. Die Vertreter des possessivischen Standpunkts behaupten dagegen, die neutrale Wurzel habe keinen verbalen, sondern vielmehr einen nominalen Charakter, und deswegen seien die Pronominalaffixe ihrer Bedeutung nach possessivisch. «Ich liebe» soll eigentlich in solchen Sprachen nur «meine Liebe» heißen. Als Zeugnis für den nominalen Charakter der Wurzel wird die Tatsache angegeben, dass oft die Pronominalaffixe am Verb dieselben sind, wie die Possessivpronomina beim Substantiv.

Da die Geschichte der Pronominalaffixe, die als Prüfstein bei diesem Streit gelten dürfen, zu dunkel ist, als dass sich diese Frage endgültig entscheiden liesse (H. Schuchardt) — so ist der ganze Streit in eine Sackgasse geraten.

Zur Überwindung dieser Extreme hat C. C. Uhlenbeck sehr viel beigetragen, obgleich er sich durch die Abhandlung «Het passieve karakter etc» endgültig unter die Vertreter der passivischen Theorie gereiht hat. In dieser Abhandlung wird im Vorbeigehen die äusserst bedeutsame Tatsache festgestellt, dass das Schema des transitiven Verbs (VEP) gegenüber dem intransitiven (VP) sekundär sei. In einer anderen Abhandlung «Het identificerend karakter etc.» hat C. C. Uhlenbeck treffend dargetan, dass die dem intransitiven Schema analoge Flexion des unverfremdbaren Besitzes ursprünglich einen «identifizierenden» Sinn gehübt hat. So ist auch das «intransitive» Schema als eine appositionelle Konfrontierung zweier selbständiger Vorstellungen (V und P) zu verstehen, worin sich ein nur nebelhaft erkanntes Verhältnis im Sinne der von Lévy-Bruhl enthüllten Partizipationsgesetze ausdrückt.

Um die Eigenart der Ergativkonstruktion besser zu verstehen, müssen wir zunächst auf Erkenntnis der allgemeinen Entwicklungstendenz des vorlogischen (besser: urlogischen) Denkens eingehen. In seiner Basis ist dieser Prozess durch «den Grad der Auflösung der alten Blutbande und der alten gegenseitigen Gemeinschaft der Geschlechter (sexus) im Stamm» bedingt, was auf dieser Stufe mehr als die Art der Produktion entscheidend ist (Engels). Die Vorstellungen über Natur und Gesellschaft, einerseits, Gesellschaft und Individuum, andererseits, sind auf der ersten Entwicklungsstufe kaum noch gesondert; — sie greifen hier noch durchweg ineinander über. Je weiter aber die beginnende Auflösung der Stammesbande sich durchsetzt, je mehr der individuelle Mensch sich «von der Nabelschnur des natürlichen Gattungszusammenhangs mit anderen» losreisst, desto mehr lösen sich diese Vorstellungen voneinander ab. Dieser Zersetzungsprozess des urlogischen Bewusstseins gipfelt zur Zeit der Ausbildung des Privateigentums und der endgültigen Auflösung der urkommunistischen Verhältnisse darin, dass die Persönlichkeit als verselbständigte Persönlichkeit und der Gegenstand als eine ihre eigenen innerlichen Bestimmungen besitzende Substanz im Bewusstsein erscheinen.

Die Ergativkonstruktion ist der urlogischen Mentalität entsprungen. Der Casus inertiae fällt häufig mit dem reinen Stamm (oder Thema) zusammen, während der Casus ergativus als vom ersten abgeleitet erscheint. Da der primäre Casus inertiae nicht nur die erwähnten syntaktischen Hilfsdienste leistet, sondern auch zur blossen Benennung des Dinges dient, die Nominalvorstellung rein für sich repräsentiert, so ergibt sich daraus, dass die Vorstellungen auf jener Stufe noch völlig «inert» sind. Es wird in der inerten Benennung vielmehr die sogenannte Partizipation des Menschen oder Gegenstandes an dem urkommunistischen Gemeinwesen zum Ausdruck gebracht. Der Casus ergativus besagt, dass der inerte Gegenstand bisweilen aktiv handelt, diese Aktivität aber wird noch lange als eine bezüglich des Gegenstandes äusserliche und zufällige Eigenschaft angesehen, weil der Ergativ vom Casus inertiae «abfällt».

Erst wenn die Nominalklassifikation Passiv: Aktiv entsteht, wird der Ergativus in einen Nennfall für aktiv gedachte Dinge verwandelt. Es ist eine Übergangsstufe zur Ausbildung des Nominativs, als Kasus, der als Substanz, als Träger aller möglichen immanenten Prädikate gelten darf.

Unsere Analyse hat bewiesen, dass die Nominativ- und Ergativsätze sich voneinander nicht nur formell, sondern auch ideologisch wesentlich unterscheiden und als zwei aufeinanderfolgende Epochen in der Entwicklung des Satzbaus bezeichnet werden können. Außerdem hilft unsere Analyse, die Relikte des Ergativbaus in den germanischen Sprachen als solche zu erkennen. Die Formel VP, die wir oben für das Part. prät. aufgestellt haben, lässt sich vom Gesichtspunkt des Gesagten aus deutlicher erklären, da P die Eigenschaften des inerten Pronominalaffixes besitzt. Die Entstehung eines Relativpartizips aus der entsprechenden syntaktischen Verwendung des Verbum finitum ist durch H. J a c o b i erwiesen worden. Reste der inerten Pronominalaffixe, bisweilen mit Spuren urpossessivischer Bedeutung (im Sinne des unverfremdbaren Besitzes), lassen sich ausserdem in verschiedenen anderen grammatischen Formen entdecken. Dafür hat H. H i r t mit seiner Theorie der Determinative (wie auch F. E w a l d und Th. B a a d e r) die notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Das dentale Präteritum und die Präteritopräsentia haben auch vorläufig ihre Verwandtschaft mit allen diesen Fragen gezeigt. Die Analyse solcher Sprachen wie die iranischen u. and., die die Ergativkonstruktion nur in einer ziemlich entstellten Form beibehalten haben, hat ferner erwiesen, dass auch die Impersonalia als Produkt der Auflösung des Ergativsatzbaus zu verstehen sind. Endlich steht der Kasussuppletivismus bei den Pronomina, wie auch die Polarität der geschlechtigen und ungeschlechtigen Pronomina und die Herausbildung solcher Pronomina wie *selb*, *min lip*, engl. *my body* in offenbarem Verhältnis zum Ausbildungsprozess des Nominativsatzes, der die Entstehung einer neuen Denkweise kennzeichnet. Zum Schluss werden die Begriffe «Ergativkonstruktion» und «ergativischer Satzbau» scharf voneinander getrennt, da die Ergativkonstruktion einer Reiuterpretation fähig ist.

Список сокращений

Названия языков

- агс. — англосаксонский.
англ. — новоанглийский.
готск. — готский.
дрвн. — древневерхненемецкий.
дрс. — древнесаксонский.
дрсев. — древнесеверный.
лат. — латинский.
нвн. — нововверхненемецкий.
ндл. — нидерландский.
скр. — санскритский.
срвн. — средневерхненемецкий.

Периодические издания

- ИАН — Известия Академии Наук, отд. обществ. наук.
ЯМ — Язык и Мышление.
ЯС — Яфетический сборник.
RVS — Beitrage zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiete der Arischen, Celtischen und Slavischen Sprachen.
IF — Indogermanische Forschungen.
JP — Journal and Proceeding of the Roy. Soc. of New-South-Wales.
KZ — Zeitschrift für vergl. Sprachforschung auf dem Gebiete der indogerm. Sprachen. Begründet von A. Kuhn.
VM — Verslagen and Mededeelingen der Kon. Akad. van Wetenschappen. Amsterdam.
Zs. f. d. Ph. — Zeitschrift für deutsche Philologie.

Непериодические издания

- Н. Я. Мapp, IP. — Избранные работы.
K. Brugmann, Grundr. — Grundriss der vergleichenden Grammatik. 1 Aufl.
Graff. — Althochdeutscher Sprachschatz.
J. u. W. Grimm DW. — Deutsches Wörterbuch.
H. Hirt. Iilg. Gim. — Iadogermanische Grammatik.
Fr. Kluge. EW. — Etymologisches Wörterbuch.
Lexer. — Mittelhochdeutsches Wörterbuch.
H. Paul, DW — Deutsches Wörterbuch.
H. Paul, Grdr. — Grundriss der germanischen Pbilologie, hrg. von H. Paul. 2. Aufl.

Литературные памятники

- Готская Библия: Mt., Job., Lc., Mc. — являются обозначениями Евангелий; Tim. Galat. Cor. — посланий. Skeir. — Skeireins.
T. — Tatian.
O. — Otfrid.
Hild. — Hildebrandslied.
Nib. — Nibelungenlied.
Parz. — Wolfams Parzival.

ИСТОРИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Часть I

ИЗ ИСТОРИИ АТРИБУТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Предисловие

Предлагаемая вниманию читателя работа основана на материалах исландского языка. Основная задача этой работы — раскрыть важнейшие закономерности развития грамматического строя в эпоху разложения первобытно-общинного и возникновения классового общества в том специфическом проявлении, в котором эти закономерности выступают в древнеисландском языке. В публикуемой части работы исследуются вопросы исторического развития атрибутивных отношений. В дальнейших частях предположено рассмотреть вопросы истории субъектно-объектных, предикативных, обстоятельственных и модальных отношений в границах той же эпохи.

Благодаря обильной письменной документации древнеисландский язык имеет несомненное значение в плане исследования истории грамматических категорий указанного периода. Но исследование истории исландского языка имеет и более широкий общественный интерес. Благодаря особенностям истории Исландии древнеисландский язык и древнеисландская литература, сохраняясь в языке фольклора, и поныне выполняют актуальную жизненную функцию. Вхождение древней речи, сравнительно мало видоизмененной в ее звуковом облике и грамматическом оформлении, на правах особого пласта в ткань современной речи, несомненно, представляет важную историко-лингвистическую проблему. Говоря об общественном значении этого факта, мы имеем в виду огромную роль, которую непрерывная языковая и литературная традиция играли и поныне играют в истории малого северного народа, в течение долгих веков стонавшего под гнетом сначала норвежского, а затем дат-

ского порабощения, а ныне вынужденного бороться за свою независимость против американских работодателей, рассматривающих «землю льдов» как одну из многочисленных стратегических баз долларовой империализма. Стародавняя местная литература и культура родной речи являются действенным оружием в руках малой островной народности в ее стремлении отстоять свою свободу и независимость против гнусных происков империализма.

Исследование истории этого языка, его грамматического строя, рассмотрение того, как складывались и видоизменялись формы исландской речи, восстановление ее дописьменной истории и выяснение связей древнеписьменной речи с современной — таковы важнейшие задачи настоящего исследования. Разумеется, при исследовании закономерностей развития грамматического строя во многих случаях становилось неизбежным сопоставление данных исландского языка с данными других индоевропейских и иносистемных языков. Такое типологическое сравнение необходимо сочеталось с учетом особенностей проявления общих закономерностей, — порядка и формы их проявления, — в специфических условиях местного развития. В своем исследовании автор стремился следовать основным принципам советского материалистического учения о языке, основанного Н. Я. Марром на крепком фундаменте марксизма-ленинизма.

Публикуемая первая часть исследования была в основном написана до Великой Отечественной войны, а затем подверглась значительной переработке. В течение этого времени отдельные части работы и работа в целом неоднократно подвергались обсуждению на научных заседаниях Института языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР. Из обсуждений автор вынес для себя много полезного и ценного. В связи с этим автор считает своим долгом выразить глубокую признательность всему коллективу Института и его директору акад. И. И. Мещанинову.

Введение

1. Н. Я. Марр о задачах историко-грамматического исследования

В своих работах по новому учению о языке Н. Я. Марр сформулировал важнейшие положения советского материалистического языкознания, сознательно опирающегося на диалектический и исторический материализм, на марксистско-ленинское понимание законов общественного развития. Н. Я. Марр неоднократно отмечал органическую увязку своей

глубокой материалистической трактовки языка с практикой советского культурного строительства. Присущая новому учению о языке действительность связана, как подчеркивал Н. Я. Марр, «с языковой политикой нашей современной советской общественности, как мы видели, в силу независимого учета объективных материалистических факторов и функций языка, а не воздушных идеалистических теорий или субъективных настроений. Потому-то новое учение об языке по яфетической теории в условиях нашей советской общественности и чувствует наибольшую свободу для своих детальных до мелочей изысканий и синтетических построений по специальности, и, наоборот, вне той же общественности оно не могло бы развиваться, иметь наличные уже достижения в виде специальных и общих положений. Эти специальные и общие положения в сумме составили новую, законченную в основных линиях теорию, общее учение об языке, в свою очередь — источник ряда четко поставленных проблем, не дающих этой новой теории застаиваться на занятых теоретических позициях. Нужно ли подсказывать, что материалистический метод яфетической теории — метод диалектического материализма и исторического материализма, т. е. тот же марксистский метод, но конкретизированный специальным исследованием на языковом материале и на материалах связанных с языком явлений, не только вообще речевой, но и материальной и социальной культуры»¹.

Каковы же основные положения учения Н. Я. Марра о языке? Краткое рассмотрение важнейших положений этого материалистического учения поможет нам ближе подойти к специальным вопросам исторической грамматики, составляющим предмет настоящего исследования.

Первой важнейшей чертой советского языкознания, разработанного Н. Я. Марром, является яркая материалистическая направленность, неустанное стремление доискиваться и доходить в конкретном исследовании языковых фактов до конечных определяющих причин языкового развития, до общественно-материальных корней явлений речи. Историко-материалистическое понимание языка — такова важнейшая особенность нового языковедного учения, резко отличающая его от идеалистических теорий старого, буржуазного языкознания.

Реакционное зарубежное языкознание, отражающее упадок и растленность идеологии империалистической буржуазии, отстаивает гнилую точку зрения «имманентности» и «независимости» языка, идеалистически отрывает язык от говорящего на этом языке общества, от людей, живущих и действующих в определенных общественно-исторических условиях. Различные направления современного буржуазного языкознания и прежде всего направление, идущее от женеvского

¹ ИР. I. С. 276.

лингвиста Ф. де-Соссюра и именуемое себя «структурализмом», объявляют язык «автономным царством», покоящимся на «внутренних зависимостях». Язык, в извращенном представлении буржуазных языковедов, — это мистическая саморазвивающаяся сущность, отрешенная от жизни. Буржуазный языковед не прочь иногда прихвастнуть своим «социологизмом», но этот «социологизм» крайне поверхностен и насквозь пропитан идеализмом. Буржуазный «социологизм» в языкознании сводится к случайным ссылкам на внешние социальные факторы — войны, переселения, колонизацию, обмен и торговлю, политические и культурные влияния — с целью показать, как идет процесс географического распространения «готовых» и «отработанных» языковых ценностей. Но как и при каких обстоятельствах производятся эти ценности, — на этот вопрос буржуазная наука не дает вразумительного ответа. Именно здесь, в основном вопросе о причинах языковых изменений, сказывается, прежде всего, вся глубина вырождения и юродства современной буржуазной лингвистики. Так, например, орган датских структуралистов в программной статье недавно писал, что хотя в принципе возможно построение социальной лингвистики «наряду» с лингвистикой психологической и физиологической, но стержнем науки о языке должна явиться особая, чисто «лингвистическая лингвистика», ориентированная на язык, «рассматриваемый в самом себе и для себя»². Допуская возможность «социальной» трактовки языка в качестве одного из второстепенных «аспектов» исследования, реакционное зарубежное языкознание на деле проповедует идеалистическую идею отрыва языка от общественной жизни.

Н. Я. Марр жестоко обличал этот порок буржуазного языкознания, — ее, индоевропеистики, «беспомощность и бессилие увязать органически хотя бы в самых общих чертах язык, с его определенными категориями и мышлением, с определенными типами цивилизации»³. В предисловии к сборнику «По этапам развития яфетической теории» Н. Я. Марр, говоря о принципиальном разрыве с буржуазным языкознанием, подчеркивал: «Вопрос не в споре между языковедами, филологи они или лингвисты какой бы то ни было системы языков, а между формальным методом и общественно-материалистической постановкой науки об языке»⁴. Сущность этой новой общественно-материалистической постановки лингвистических исследований Н. Я. Марр видел в выявлении творческой роли общественных факторов. «Вопрос кардинальный по нашему предмету, по языку, — писал Н. Я. Марр, — именно в постановке проблемы

² Acta linguistica. IV. 3. С. I—XI, 144—147.

³ ИР. III. С. 77.

⁴ ИР. I. С. 2.

о происхождении в зависимости, прежде всего, от внутренних общественных факторов. Вот тут-то у нас коренное расхождение со старой лингвистической школой, индоевропейской. Для нее творческие факторы общественности действительно не учитываемы... Между тем яфетическая теория не только считает эту проблему научной, да еще первоочередной, но подошла к ее разрешению, перекинув бремя доказательств в истории языка с формальной стороны на идеологическую»⁵.

Характеризуя основателя нового учения о языке как историка крупнейшего размаха, акад. И. И. Мещанинов с полным основанием отмечал: «Н. Я. Марр в своих уже специально языковедческих работах продолжал оставаться тем же историком. Поэтому изучение языка без знакомства с историей говорящего на нем народа Н. Я. Марр представлял себе совершенно невозможным. Отсюда следует его утверждение о том, что язык как явление общественного порядка должен в самом процессе его изучения получать социальное обоснование во всех деталях существовавшего и существующего строя»⁶.

Н. Я. Марра в этой связи прежде всего интересует не процесс распространения готовых слов и грамматических форм, а языкотворчество, процесс производства слов и форм в зависимости от внутренних факторов общественной жизни. Поиски влияний, заимствований и т. д. были тем самым оттеснены на задний план. Н. Я. Марр любил потешаться над «схоластически повторяемой историей культурных взаимоотношений народов», поскольку эти взаимоотношения исчерпываются миграциями, заимствованиями и влияниями⁷. Как в развитии общественной жизни, войны, захват, насилие, грабежи и т. п. сами нуждаются каждый раз в объяснении из условий развития производства и общественных отношений, так и при исследовании истории языка ссылки на влияния, миграции и т. д., основанные на формальном сравнении фактов, не затрагивают сущности дела и способны лишь затемнить глубокую общественно-историческую подоснову развития речи, ее местные корни и внутреннюю преемственность эпох. Н. Я. Марр предостерегал:

«Не зная норм этой внутренней наследственной связи от эпохи к эпохе, от местного народа одного типа к местному же народу другого типа, в объяснении эволюции естественно легко усвоить по внешнему сходству процесс заимствования извне, что действительно является одним из звеньев в цепи фактов и явлений, внешне переливающихся из

⁵ ИР. II. С. 26.

⁶ Мещанинов И. И. Новое учение о языке на современном этапе развития. 1948. С. 5–6.

⁷ ИР. III. С. 352.

одних форм в другие, из старых в новые». И тут же он добавляет: «В более же глубоком процессе зарождения новых видов и типов источники происхождения и дериваты нормально теряют внешние признаки сходства друг с другом и требуют для своего выявления не примитивного внешне-сравнительного метода, а метода, основанного на палеонтологии»⁸.

Глубокое изучение истории языка подразумевает материалистическое обоснование процесса развития речи, и прежде всего, в самой существенной части этого процесса, в развитии смыслового содержания речи. Для того чтобы понять причины развития и преобразования внутреннего строя речи, развития основных категорий грамматики и становления новых словарных значений, необходимо обратиться к тем процессам, которые составляют движущую силу общественно-исторического развития.

Руководствуясь глубокими указаниями К. Маркса и Ф. Энгельса, что «ни мысль, ни язык не образуют сами по себе особого царства, что они суть только проявления действительной жизни»⁹, новое учение о языке стремится вскрыть материальные общественно-исторические истоки речевых форм. «Корни наследуемой речи, — писал в соответствии с основными положениями марксизма Н. Я. Марр, — не во внешней природе, не внутри нас, внутри нашей физической природы, а в общественности, в ее материальной базе, хозяйстве и технике»¹⁰. Язык есть создание общественности. Язык растет и развивается в процессе развития общественной жизни, он всегда необходимо перестраивается и обогащается с зарождением новых форм производственной деятельности и новых общественных отношений.

Историко-материалистическое понимание развития языка и мышления ставит перед исследователем задачу проследить те реальные сложные и противоречивые связи, которые ведут от материально-производственной основы общественной жизни к надстроечной области сознания и речи, выяснить в подробностях, как совершается процесс кристаллизации норм речевого общения. Необходимость материалистической трактовки языка касается всех сторон истории языка, в том числе и грамматики. «Исторический процесс развития общественных форм, — пишет акад. И. И. Мещанинов, — изменения в экономике и в условиях трудовой деятельности получают свое отражение как в нормах существующего сознания, так и в действующем строе языка, в его лексике и даже грамматике. Может видоизменяться

⁸ ИР. V. С. 312–313.

⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. IV. С. 435.

¹⁰ ИР. II. С. 25.

не только содержание слова, но и назначение грамматической нормы и даже эта последняя»¹¹.

Из сказанного вытекает важный для историко-грамматического исследования вывод о необходимости последовательного углубления анализа грамматических форм, вплоть до обнажения их материальных истоков в породившей их общественности. Никакое грамматическое исследование не может считаться нормальным и полноценным без обостренного внимания к материально-общественной жизни, с развитием которой изменяются грамматические категории и слова в языке данной нации, данного народа или племени.

С материалистической сущностью нового учения о языке тесно связана другая его существенная черта — решительная и последовательная антиформалистическая установка, перенос центра тяжести языковедческих изысканий с формальной стороны на идеологическую, особый интерес к мыслительному содержанию языковых форм.

Борьба материализма против идеализма в языкознании немислима без борьбы с формалистическим извращением языковых фактов.

Формализм — одна из наиболее уродливых черт старого, отживающего свой век буржуазного языкознания, это прямое проявление идеализма в науке о языке. Формалистическое извращение языка вырастает на почве неумения или нежелания проследить сложные взаимоотношения языка и мышления, вскрыть диалектику формы и содержания в языке. В своем анализе буржуазное языкознание не выходит, как правило, за пределы поверхностного описания внешних форм и совершенно не утруждает себя разбором смыслового содержания речи. Характеризуя индоевропеистику с этой стороны, Н. Я. Марр писал: «Морфология строится без семантики, т. е. оформление определяется без учета того, что оформляется. А какая же гарантия правильности морфологического анализа? Никакой, если не считается таковой опять-таки физиологически лишь воспринимаемое звучание слова, без учета его социальной значимости, его смысла»¹².

Задача лингвистического анализа заключается прежде всего в том, чтобы проследить связь слов и их значений с понятиями о предметах и их свойствах, явлениях, процессах и т. д., а также связь грамматических категорий с категориями мышления. Без выяснения этой связи, без раскрытия переходов от языка к мысли, к лежащим в основе слов и грамматических форм понятиям и категориям невозможен переход от языка к жизни, нельзя вскрыть социальную значимость языка как отражения действительности, как практического сознания. В этом заклю-

¹¹ Мещанинов И. И. Новое учение о языке на современном этапе развития. С. 6.

¹² ИР. IV. С. 258.

чается громадное значение проблемы мышления для языкознания. Буржуазное языкознание, бессильное разрешить этот вопрос, уводит науку в сторону от жизни, в болото формальной схематики и мистики. «Отстранение лингвиста от суждения о мышлении, — писал Н. Я. Марр, — это наследие европейской буржуазной лингвистики, как проклятие, тяготеющее над всеми нашими предприятиями и по организации исследовательских и учебных дел, не только по языку. Старое учение об языке правильно отказывалось от мышления как предмета его компетенции, ибо речь им изучалась без мышления»¹³.

Формалистическое извращение языка выражается либо в непосредственном отождествлении языка и мышления, либо еще в изоляции языка и отрыве его от мышления. Формализм первого рода можно назвать гумбольдтианским, по имени немецкого языковеда начала XIX в. Вильгельма Гумбольдта, которого еще великий русский революционер-демократ Н. Г. Чернышевский справедливо критиковал за «фантастические мысли о тождестве языка с мышлением»¹⁴. Формализм второго рода можно назвать соссюрианским, по имени женева лингвиста Ф. де-Соссюра, «идеи» которого о произвольной и случайной связи языка с мышлением стали знаменем реакции в зарубежной лингвистической науке наших дней. Впрочем, гумбольдтианские идеи тождества языка и мысли также сохраняются кое-где в современном буржуазном языкознании и нередко сочетаются и переплетаются с формализмом соссюрианского толка.

Внешне различие между обеими разновидностями формализма кажется разительным. Формалист гумбольдтианского толка не избегает разговоров о мышлении, любит помногу декламировать о «духе», «духовной сущности» языка и т. д., в то время как соссюрианец заранее отказывается от рассуждений на подобные темы, объявляя проблему мышления несущественной для лингвистики. По сути же дела обе разновидности формализма мало чем отличаются друг от друга. Обе они ограничиваются описанием внешних форм языка, не углубляясь в анализ их мыслительного содержания, с той только разницей, что гумбольдтианец толкует эти внешние формы как прямое и непосредственное проявление «духа», а соссюрианец настаивает на самодовлеющем значении и «автономности» этих форм от «внеязыкового» мышления. В обоих случаях исследование искусственно замыкается в рамках внешнего описания языка, познавательная сущность речевых форм уходит из рук исследователя как вода из решета; живая связь языка с действительностью омертвляется и фальсифицируется.

¹³ ИР. III. С. 103.

¹⁴ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. X. 2. СПб., 1906. С. 106 особой пагинации.

Новое учение о языке перевело, как выражается Н. Я. Марр, «исследовательскую работу с формального метода на идеологический»¹⁵. «Яфетическая теория, — писал основатель нового учения о языке, — разоблачает неактуальность не только совершенно схоластического буквоедства, но и звукоедства: она приучает и в звуках ценить в первую очередь не формальное выявление их, а идеологическую значимость, которой подчинена звуковая система, сторона техническая»¹⁶.

Упор на идеологическое содержание языка и обостренное внимание к смысловому содержанию, как важнейшей стороне речи, непосредственно вытекает из материалистической сущности нового учения о языке. Без исследования смыслового содержания речи невозможно проследить связи языка с жизнью. «Новое учение об языке, — говорит Н. Я. Марр, — увязывает язык с жизнью при посредстве идеологии»¹⁷. Н. Я. Марр подчеркивал: «...именно при внимании к этой идеологической стороне та же увязка языка, оживляемого фольклором и историей материальной культуры, точнее — производства с техникой и производственных отношений с мышлением, совершенно ясно вскрыла отраженные связи и причинность в языковых явлениях. Они-то и вынудили нас, яфетидологов, ставить новые проблемы философско-генетического порядка...»¹⁸.

В связи с историко-материалистическим пониманием задач исследования перед советским языкознанием встала необходимость раскрыть диалектику формы и содержания в языке. «Выдвигая для языкознания новую тематику, — пишет акад. И. И. Мещанинов, — Н. Я. Марр поставил вопрос о взаимоотношении формы и содержания на совершенно иную, чем раньше, плоскость»¹⁹. В ясной и не допускающей кривотолков форме Н. Я. Марр сформулировал новую установку исследования. «Эта языковедная наука, — писал он, имея в виду новое учение о языке, — в целом представляет собою в корне новую установку, имея предметом изучения язык неразлучно с мышлением, в их диалектическом единстве, и используя при прослеживании сложнейших взаимоотношений надстройки и базиса результаты изучения памятников материальной культуры за все наличные в вещественных проявлениях идеологии стадии»²⁰.

Буржуазное формалистическое языкознание не вдалось в конкретное изучение смыслового содержания речи и ограничивалось общими фразами в случаях, когда не упоминать о сознании не было никакой

¹⁵ ИР. I. С. 275.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же. С. 279.

¹⁸ Там же. С. 278.

¹⁹ Мещанинов И. И. Новое учение о языке. 1936. С. 29.

²⁰ ИР. II. С. 384.

возможности. Разграничивая в языке две стороны, — звуковое оформление и то, что им оформляется, или, как выражался де-Соссюр, означающее и означаемое, — буржуазное языкознание не вникало в анализ содержания и всегда говорило о «смысле» вообще, «сознании» вообще, чураясь и всячески избегая конкретных исследований в заповедной для формализма области сознания. Буржуазные языковеды охотно объявляют сознание чем-то «смутным» и «недостоверным», «неуловимой туманной массой». Новое учение о языке решительно отвергает этот агностицизм. «К проблеме о мышлении, — писал Н. Я. Марр, — новое учение об языке подходит без колебания, вынуждено подходить к ней без всякой лицемерной осторожности. Вынуждает сила разъяснившихся до своих производственно-общественных корней взаимоотношений языковых фактов. Проблема о мышлении — это одна из величайших, если не самая великая теоретическая проблема в мире, именно потому, что его корни находятся не в нем самом и не в природе, а в материальном базисе, как это установлено диалектическим материализмом»²¹.

В словах и грамматических формах речи отражается действительность. Всякое дельное слово содержит в себе понятие о вещи, о ее качествах и свойствах, о явлении, процессе и т. д. Всякое толковое высказывание есть выражение мысли и отражает связь фактов, данных в жизни. В языке, по определению Н. Г. Чернышевского, «хранится драгоценный умственный капитал», продукт исторической жизни народа. Как справедливо отмечал Н. Я. Марр, «язык занимает исключительное место в надстройке только ему присущей полнотой объективно-идеологического охвата всех сторон бытия человечества на всем протяжении времени и пространства»²².

Анализ смыслового содержания речи является делом весьма сложным и требующим значительных трудов. Смысловое содержание речи при ближайшем его рассмотрении оказывается двойственным и противоречивым. Основу каждого языка, его смыслового содержания, образуют понятия о вещах и их свойствах, а также данные в диалектической связи с понятиями категории мысли. Но понятия и категории мысли ни в одном языке не выступают в «чистом» виде. В живом языковом общении они проявляются в значениях слов и грамматических категориях как одна из сторон их содержания. Слова выражают общие понятия о вещах вместе с теми конкретными представлениями, которые связаны с этими понятиями в данной общественной среде. В словах находят отражение особенности быта, жизненного опыта и мировоззрения данного общественного класса. Кроме того, в словах могут сохра-

²¹ ИР. III. С. 104.

²² ИР. I. С. 290.

няться указания на происхождение и бывшее значение названия, что придает каждому этимологически прозрачному слову определенную окраску и отнюдь не является безразличным для лиц, говорящих на данном языке. Омонимия и синонимика также накладывают печать своеобразия на значения слов. Сожительство разных понятий в недрах одного слова не есть чисто механический факт; обычно такие понятия выступают в сознании говорящих в живом взаимодействии и взаимопроникновении. В итоге значение слова, будучи неразрывно связано с понятием, полностью не совпадает с ним. Соответственно и грамматическая категория не совпадает полностью с категорией мысли. Своеобразное переплетение различных значений в пределах одной грамматической формы, а также пережиточно сохраняющиеся в языке грамматические категории древних эпох — все это осложняет строй речи и не позволяет односторонне сводить содержание грамматических форм к логическим категориям.

Смысловое содержание языка раскрывается, таким образом, в единстве понятий и связанных с ними лексических значений, в единстве категорий мысли и связанных с ними грамматических категорий. Задача исследователя заключается в том, чтобы выявить это диалектическое единство, рассматривая понятия и категории в их живой связи с конкретными особенностями лексических и грамматических значений. Лингвист не вправе отвлечься от понятий и категорий, лежащих в основе смыслового содержания речи, как не вправе он отвлечься от того факта, что понятия и категории мысли не совпадают прямо с лексическими и грамматическими значениями, а находятся с ними в сложной диалектической связи. Смысловое содержание речи требует к себе поэтому особого внимания со стороны исследователя языка, специальной углубленной трактовки.

Чтобы докопаться в своем исследовании до основных понятий и категорий мышления, характеризующих уровень развития мышления данного общества и его классов, исследователь должен проделать сложную работу по анализу конкретных значений слов и грамматических форм. Лингвист-материалист не берет понятия в готовом и априорном виде из формальной логики и философии, а добывает их путем диалектико-материалистического рассмотрения языковых форм в результате кропотливых изысканий. «Гносеология языка» (Н. Я. Марр), язык в его познавательной значимости как отражение предметов и закономерности мира предстает перед лингвистом в итоге подробного и в подробностях продуманного анализа конкретных значений. Определение значений слов и грамматических форм является лишь первым шагом в изучении смыслового содержания данной речи. Дальнейший разбор этих значений должен выявить лежащие в их основании понятия и категории, а также особенности проявления этих понятий и категорий в исследуемом языке.

Последовательное проведение анализа смыслового содержания речи не может, естественно, протекать без опоры на звуковое обнаружение значений, без надлежащего учета языковой формы.

Новое учение о языке не только не чурается формальных сторон глоттогонии, но в целях максимального выявления важнейшей стороны речи — идеологической — несравненно более полно и глубоко изучает формы языка, чем это делало формалистическое языкознание, односторонне изучавшее формы в отрыве от их смыслового содержания. «Н. Я. Марр, — отмечает академик И. И. Мещанинов, — решительно возражает против одностороннего, узко взятого одного только формального подхода к языку. В то же время он, конечно, вовсе не оспаривает необходимости твердых знаний формальной стороны языка. Одно другому не противоречит. Прекрасное знание формы, при освоении ее содержания и назначения, углубляет понимание ее современного состояния и содействует прослеживанию причин пережитых ею исторических изменений. Только таким путем обеспечивается широта горизонта для исследователя истории языка»²³.

Ставя идеологический анализ на место формального, Н. Я. Марр вместе с тем требовал «качественного улучшения исследования формальной стороны идеологическим ее обоснованием»²⁴, углубленной разработки морфологии языка, норм формального обнаружения мысли в данном языке.

Из диалектико-материалистической трактовки проблемы «язык — мышление», данной Н. Я. Марром, вытекает ряд выводов для историко-грамматического исследования. Конкретное исследование грамматического строя предполагает, прежде всего, выявление наличных в языке грамматических форм и их значений. Специальный анализ грамматических категорий, или, что то же, грамматических значений должен содействовать раскрытию лежащих в их основании категорий мышления и специфических особенностей их проявления в данном языке. С выделением категорий мышления должна, наконец, начаться разработка вопросов «гносеологии языка», выяснение познавательной сущности грамматических форм как своеобразного отражения закономерной связи мира.

После краткого рассмотрения вопроса о диалектической связи языка с мышлением необходимо еще остановиться на глубоком историзме Н. Я. Марра в подходе к явлениям речи.

Глубоко проникновение в сущность языковых процессов должно, по мысли Н. Я. Марра, осуществляться путем раскрытия исторических закономерностей языка и мышления, обусловленных закономерными сдвигами в развитии материальной общественной жизни. История каждого

²³ Мещанинов И. И. Новое учение о языке на современном этапе развития. С. 7.

²⁴ ИР. II. С. 33.

языка обнаруживает, согласно Н. Я. Марру, закономерную смену лингвистических эпох, ряд последовательных ступеней развития, но это единство процесса языкотворчества, обусловленное единством путей формирования материальной общественной жизни, нигде и никогда не переходит в простое и пустое тождество, оно сквозит в живом многообразии языков, по-разному реализуясь в каждом языке и в зависимости от конкретных исторических условий развития принимая в каждом отдельном районе свою особую и неповторимую форму, свои специфические отличительные черты.

Подлинный историзм нового учения о языке в корне отличен от мнимого историзма старой лингвистики, известной под именем сравнительно-исторического языкознания. Историзм буржуазного, сравнительно-исторического языкознания был всегда крайне убогим и поверхностным, всегда страдал недугами идеалистического извращения фактов, а в современной буржуазной «науке» вовсе выродился в антиисторизм, прямой и неприкрытый отказ от исторических исследований, в огульное отрицание развития и прогресса. Антиисторический подход индоевропеистики к языку органически увязан с ее формальным методом.

Основной порок компаративистики заключается в погоне за призраком «праязыка» и в стабильном подходе к важнейшей стороне языка — значениям слов и грамматическим категориям, в неумении установить закономерности развития смыслового содержания и в сведении истории языка к единичным и случайным, друг с другом не связанным, формальным изменениям звуков и внешних грамматических признаков. «Одною из коренных ошибок индоевропейской школы, — писал акад. И. И. Мещанинов, — придется признать мнимый ее историзм, заключающийся в стабильном по существу подходе к языку изучаемого периода и в сравнении его с письменно зафиксированным строем речи других периодов, равным образом изучаемых стабильно»²⁵.

Индоевропеистика с характерной для нее праязыковой ориентацией зародилась в начале прошлого столетия в связи «с романтизмом, характерным для общественной реакции, для господствующих классов и для национальных движений того времени. Но в то время как романтизм мало-помалу испарился из всех отраслей науки, даже из искусства и литературы — это умершая идеология — она остается почти нетронутой у лингвистов индоевропейской школы. Достаточно напомнить основу их сравнительной системы, существование праиндоевропейского языка, из которого происходят, мол, как норма, все законные члены так называемой индоевропейской семьи, как языки, так и диалекты»²⁶.

²⁵ Мещанинов И. И. Новое учение о языке. С. 43.

²⁶ ИР. I. С. 192–193.

Оторванный от современности и обращенный в фантастически воспринимаемое доисторическое прошлое «историзм» индоевропеистики строился на формальном учете явлений так называемого «материального родства». «История» отдельных языков, возводимых в пределах данной языковой «семьи» к мнимой праязыковой общности, разрабатывалась в формально сравнительном языкознании на зыбкой основе голо-фонетических и флективно-морфологических сопоставлений, на основе формальных схождений в строе родственных языков. Реальные различия и расхождения между родственными языками при этом игнорировались. «Интересуясь случаями сходства, — говорит Н. Я. Марр об индоевропеистике, — эта доктрина, естественно, равнодушна к многочисленным явлениям, не входящим в искусственные рамки воображаемого родства»²⁷.

Невнимание к реальному многообразию фактов и формалистическая направленность исследований привели индоевропеистику к отрыву от реальной истории, от действительной исторической жизни отдельных народов. Как отмечал Н. Я. Марр, «без учета эволюции самих основ семантики, значимости слов и типологии грамматических категорий, искусно построенным праязыком, мертворожденным созданием, никогда не существовавшим, она (т. е. индоевропеистика, — С. К.) вошла в тупик»²⁸. Закономерности развития смыслового содержания речи остались неизвестными старой индоевропейской школе. Более того, старой, идеалистической школе не удалось правильно объяснить и наблюдавшиеся ею формальные процессы, поскольку эти процессы брались ею оторванно от их значимости. Все свелось к поверхностному описанию фактов, неправильно сгруппированных и освещенных с предвзятой и заведомо порочной точки зрения. «Сравнительный метод, — писал Н. Я. Марр, — лишь констатирует факты, якобы видимые, он никогда не говорит и не будет говорить ни о действительном происхождении этих фактов, ни о процессе их образования, ни, особенно, об их изменениях»²⁹. История языка без исследования происхождения языковых фактов, без внимания к процессам их образования, без раскрытия причин их изменений, — история, лишенная исторических закономерностей и представленная как хаотический поток «случайностей», — такова истинная сущность «историзма» старой школы.

Непонимание реальной истории и сознательная фальсификация ее в работах индоевропеистов находятся в прямой связи с их реакционными общественно-идеологическими установками.

²⁷ Там же. С. 193.

²⁸ ИР. III. С. 33.

²⁹ ИР. I. С. 190.

Н. Я. Марр неустанно разоблачал расистскую подоплеку индоевропеистской теории языка. «Система языка у индоевропейцев, — писал этот выдающийся языковед-историк, — носила под различными названиями, обычно под названием семьи, расовый смысл, и доселе их представление отнюдь не утратило отпечатка, да сильного привкуса этой расовости»³⁰. Н. Я. Марр не раз указывал, что в наши дни индоевропеистика отвечает «империалистическому стремлению расшириться и достигнуть своего национального величия за счет слабописьменных или младописьменных народов»³¹. Это стремление расшириться за счет других народов, возглавляемое ныне империалистическими кругами США, в области науки о языке идет по линии космополитического стирания особенностей отдельных языков, игнорирования их своеобразия, формалистического рассмотрения их как технической «системы знаков» с целью под сурдинку утвердить мировое господство английского языка, как якобы наиболее «удобного» и «технически совершенного» языка. Настаивая на тождестве и неизменности смыслового содержания в языках разных времен и народов, лингвистическая реакция сводит все различия между отдельными языками к голой технике. На деле, однако, отдельные языки и каждый язык в различные периоды его развития обнаруживают различия и особенности не только в области внешней формы, но и в самом содержании речи, в значениях слов и грамматических категориях. Критикуя современного французского компаративиста Ж. Вандриеса, акад. И. И. Мещанинов писал: «Отсутствие подлинного историзма сказалось хотя бы в том, что Вандриес, прослеживая разновидности грамматических категорий в разных языках, смешал их все воедино безо всякого внимания к специфическим особенностям строя речи, наблюдаемым в определенные периоды и в определенных языках»³².

Вразрез с господствующей в США и на Западе реакционной лингвистической доктриной, построенной на формалистическом извращении истории языка, новое учение о языке возвращает языку его подлинный историзм, выясняя идеологические связи, ведущие от языка к жизни. В этой связи новое материалистическое понимание истории языка интересуется прежде всего «учетом закономерностей идеологической истории языка в зависимости от материальной базы»³³.

Товарищ Сталин следующим образом определяет великое значение изучения закономерностей общественной жизни: «Если связь явлений природы и взаимная их обусловленность представляют закономерности

³⁰ ИР. V. С. 509.

³¹ ИР. II. С. 333.

³² Мещанинов И. И. Общее языкознание. 1940. С. 18.

³³ ИР. V. С. 409.

развития природы, то из этого вытекает, что связь и взаимная обусловленность явлений общественной жизни — представляют также не случайное дело, а закономерности развития общества.

Значит, общественная жизнь, история общества перестает быть скоплением «случайностей», ибо история общества становится закономерным развитием общества, а изучение истории общества превращается в науку»³⁴.

Для языкознания как обществоведческой науки это указание товарища Сталина имеет неопределимую силу в деле перевода этой науки на рельсы подлинного историзма. Только при учете закономерностей развития языка и мышления в связи с закономерным развитием общества возможна подлинная историческая наука о языке. Как разъясняет товарищ Сталин, «история развития общества есть, прежде всего, история развития производства, история способов производства, сменяющих друг друга на протяжении веков, история развития производительных сил и производственных отношений людей»³⁵. Опираясь на марксистско-ленинское учение о развитии общества, Н. Я. Марр разработал учение об исторической изменчивости языка. «От преломления сдвигов в базисе намечаемых социально-экономических образований, — писал Н. Я. Марр, — возникают системы в оформлении соответственного мышления, системы языков на подлежащих стадиях»³⁶. Основоположники марксизма, отмечал Н. Я. Марр, — «дали, создали единственный исторический метод, вне которого нет возможности произвести состоятельное историческое исследование. Они вскрыли в истории языка такие смены, такие ступени развития языка и общества, какие тогда казались невероятными...»³⁷.

Н. Я. Марр подчеркивает решающую роль «идеологических координат» при определении уровня развития языка. Критикуя индоевропеистскую классификацию языков, Н. Я. Марр писал: «... нынешняя классификация по странам света и формальным признакам речи, в первую очередь голо-фонетическим, есть наследие старого учения об языке, с нею неразрывного, — и она должна сдать место анализу идеологии и технике ее оформления и осмысления звуков и придаточных средств звуковой дифференциации. Это — основная сторона звуковой речи, увязывающая ее как с источником происхождения, с производством и производственными отношениями, экономикой и социальным строем»³⁸. В своем наброске программы курса нового учения о языке Н. Я. Марр

³⁴ История ВКП(б). Краткий курс. С. 109.

³⁵ Там же. С. 116.

³⁶ ИР. II. С. 255.

³⁷ Там же. С. 455.

³⁸ ИР. I. С. 306.

выделял следующие важнейшие пункты в изучении истории языка: «Стадии развития человеческой речи. Не учитываемые по их формальной антитезности факторы культурного творчества. Легкость восприятия внешних причин и неизбежность внимания только к ним при формальном методе. Процесс глоттогонии (языкотворчества) генетически разъясняется не внутри языка, а в хозяйстве и общественности, в увязке речи с ними. Формальные признаки речи и их идеологические координаты, связанные с материальным миром... Координаты — решающие признаки систем»³⁹.

Важно отметить, что, указывая на решающую роль «идеологических координат» при определении уровня развития речи, Н. Я. Марр выступал фактически как продолжатель лучших традиций передовой русской теоретической мысли XIX в. Великий русский мыслитель и языковед Н. Г. Чернышевский остро критиковал в свое время морфологическую классификацию языков индоевропеистики. «Не в том главное дело, каковы формы языка, — писал он, — а в том, каково умственное состояние народа, говорящего языком». И еще резче: «Кто не хочет изобретать или повторять вздора о характере языков, должен ограничивать свои суждения об их достоинствах или недостатках высказыванием справедливой мысли, что гибок, богат и при всех своих несовершенствах прекрасен язык каждого народа, умственная жизнь которого достигла высокого развития»⁴⁰.

Прослеживание основных — идеологических — закономерностей языкового развития и историко-материалистическое их обоснование помогают конкретнее освоить историю отдельных языков и выявить их самобытные черты, как они сложились в процессе исторической жизни данной народности. Основоположники марксизма резко выступали против смазывания исторических различий в абстрактных всеобщих «законах». Маркс указывал, что «хотя наиболее развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, но именно отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие»⁴¹. Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин всегда предостерегали против абстрактно-социологического подхода к развитию общества, при котором игнорируются реальные исторические особенности развития, специфика проявления закономерностей в зависимости от конкретных обстоятельств жизни данного народа. Громя «теоретические» взгляды мелкобуржуазных демократов типа Суханова, В. И. Ленин писал: «... им совершенно чужда всякая мысль о том, что при общей закономерности развития во всей

³⁹ ИР. II. С. 10.

⁴⁰ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. X. 2. С. 116 особой пагинации.

⁴¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. XII. Ч. I. С. 175.

всемирной истории нисколько не исключаются, а, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития»⁴². Еще в своем раннем труде «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?», указывая на великое значение понятия «общественно-экономической формации», основанного на повторяемости и закономерности общественных фактов и позволяющего обобщить порядки разных стран в одно основное историческое понятие, В. И. Ленин подчеркивал необходимость учитывать не только то, что роднит сходные порядки разных стран, но и то, что их отличает. «Только такое обобщение, — писал В. И. Ленин, — и дало возможность перейти от описания (и оценки с точки зрения идеала) общественных явлений к строго научному анализу их, выделяющему, скажем для примера, то, “что” отличает одну капиталистическую страну от другой, и исследующему то, “что” обще всем им»⁴³.

Эти глубокие мысли В. И. Ленина приложимы и к понятию лингвистической стадии, обусловленной в своем развитии соответственным способом производства и общественным строем. Общность ступени развития в разных языках не есть абстрактное тождество. Эта общность необходимо предполагает значительные расхождения не только в звуковой форме, но также в части проявления основных понятий и категорий мысли. Н. Я. Марр указывал, что «поскольку речь идет лишь о типологической общности, эта общность нам сигнализирует... общность ступени развития, а никак не тождество рас, тождество языков или их родство»⁴⁴.

В своих многочисленных работах, посвященных отдельным языкам, Н. Я. Марр стремился разъяснить языковые факты как продукт «автохтонного процесса», отказываясь видеть в них «вклад каких-то заезжих молодцов», чуждых процессу образования и формирования данного народа, «его хозяйственного уклада, материальной культуры и общественности и, разумеется, на этой базе на месте же сложившейся, resp. оформившейся, речи»⁴⁵. Выявляя закономерности языкотворчества и специфические формы их проявления в разных языках, Н. Я. Марр учил лингвистов чувствовать в особенностях каждого языка «дыхание подлинной жизни, дыхание творчества или трудового производства человеческого коллектива»⁴⁶.

Раскрытие закономерностей и учет главнейших этапов развития языка является для советского языкознания не самоцелью, а ключом к

⁴² Ленин В. И. Соч. XXVII. Изд. 3-е. С. 399.

⁴³ Ленин В. И. Соч. I. Изд. 3-е. С. 61.

⁴⁴ ИР. I. С. 191.

⁴⁵ ИР. IV. С. 265.

⁴⁶ ИР. II. С. 70.

конкретной истории отдельных языков, во всей полноте и своеобразии ее проявления. — «Наукой о языке, — справедливо подчеркивал Н. Я. Марр, — может быть признано только то учение, которое считается с особенностями всех языков мира и, исходя из учета конкретной системы каждого из них, не только отводит или намечает каждому из них принадлежащее ему место в среде всех, но и выявляет те пути и те рамки, в которых может и должна отныне протекать специальная работа над каждым языком, исчерпывающе углубленное исследование каждого языка»⁴⁷.

Стадиальное исследование языков по самой сути своей невозможно без учета их своеобразия, особенностей их развития, без подробного диализа и выявления особой чеканки лексических значений и грамматических категорий в отдельных языках. Только когда при единстве процесса развития лексики и грамматического строя мы замечаем, сколь разнообразными и непохожими были пути отдельных языков в выработке сходных понятий, как по-разному достигались и отлагались в языках разных народностей одинаковые категории мысли, какими сложными, независимыми и подчас окольными путями протекал этот процесс в отдельных районах, — только тогда мы учимся по-настоящему ценить грандиозные результаты самостоятельных усилий множества поколений, творивших данный язык. Стадиальный анализ ведет нас к материальным истокам категорий языка и мышления и заставляет удивляться гибкости народного ума, неисчерпаемости ресурсов массового языкового творчества, отсутствию в этом специфическом виде народного творчества, как и во всех других подлинных его проявлениях, мертвых шаблонов, абстрактных схем и абсолютного единообразия. Стадиальный анализ открывает нам в каждом языке хотя и ограниченный определенным уровнем общественного развития, но практически неисчерпаемый клад речевых ресурсов и выразительных возможностей.

Различия в форме проявления общих закономерностей, в форме и порядке развития отдельных значений и категорий, обусловленные особыми условиями развития и формирования отдельных языков, создают их специфику в идеологическом отношении. «Единый процесс развития человеческой речи, — пишет акад. И. И. Мещанинов, — различен в своем внешнем выявлении и представляет резкие расхождения в строе каждого языка. При таких условиях общее языкознание должно показать на конкретном языковом материале не только лексическое родство и близость морфологии, синтаксиса и т. д. в тех случаях, когда это действительно имеется налицо, но главным образом — различия их в различных языках и в различные периоды исторического их движения, выявить

⁴⁷ Там же. С. 399.

их как отдельные проявления общего глоттогонического процесса. Более того, оно должно обосновать эти различия, объясняя данное построение, в данном его историческом состоянии, вскрывая смену форм и процесс языковых перестроек. Но для этого не только недостаточно изучены все языки мира, но и недостаточно исследованы уже известные нам языки, даже те, по которым имеется громадная литература с детальным прослеживанием исторически зафиксированных форм»⁴⁸.

Выдвигая стадиальную периодизацию языка и подчеркивая самобытные черты каждого языка, материалистическое учение Н. Я. Марра в корне подрывает буржуазно-космополитические и расистские теории в языкознании. Учение Н. Я. Марра основывается на ленинско-сталинской теории нации и национальной политике, на теории расового равноправия и практике уважения к другим народам, снискавшей симпатии всех свободолюбивых народов к Советскому Союзу. В своей речи на приеме финляндской правительственной делегации 7 апреля 1948 г. товарищ Сталин сказал: «Советские люди считают, что каждая нация, — все равно — большая или малая, имеет свои качественные особенности, свою специфику, которая принадлежит только ей и которой нет у других наций. Эти особенности являются тем вкладом, который вносит каждая нация в общую сокровищницу мировой культуры и дополняет ее, обогащает ее. В этом смысле все нации — и малые, и большие, — находятся в одинаковом положении, и каждая нация равнозначна любой другой нации»⁴⁹.

Эти слова гениального вождя народов СССР и всего прогрессивного человечества имеют прямое отношение к языку как одной из характерных черт нации.

Если буржуазное языкознание, холопствующее перед политической реакцией, третирует отдельные языки как неполноценные, либо же словесно признает равноценность всех языков для того, чтобы тут же отнять у большинства из них всякую культурную значимость, то советское языкознание исходит во всех своих практических установках из признания культурного значения каждого языка. Отмечая неразвитость одних языков сравнительно с другими, советское языкознание не мирится с такой отсталостью и видит свою задачу в том, чтобы подтянуть отсталые языки до уровня более развитых, чтобы развернуть образование на родном языке, в соответствии с ленинско-сталинской политикой помощи и поддержки делу развития национальных культур народов СССР.

Советская наука отвергает реакционный тезис буржуазного языкознания о расовых перегородках между языками, будто бы делающих невоз-

⁴⁸ Мещанинов И. И. Общее языкознание. С. 8–9.

⁴⁹ Правда. Орган ЦК и МК ВКП(б). 13 апреля 1948 г.

возможным перевод с одного языка на другой, адекватную передачу одного и того же содержания средствами различных языков. Но советскому языковедению не в меньшей степени чужды и взгляды представителей «социологической» школы в зарубежном языковедении (де-Соссюр, Мейе, Вандриес, Сэпир, а также структуралисты), согласно которым, язык есть лишь простая система «условных знаков», совершенно внешних по отношению к смысловому содержанию, лишенных самостоятельного культурного и образовательного значения и могущих легко быть замененными любой другой аналогичной системой. Смысловые различия между отдельными языками не могут игнорироваться при сложном переплетении формы и содержания в языке. Роль родного языка как могучего рычага культурного подъема вытекает из того исторически обусловленного факта, что в каждом языке определенный уровень умственного развития реализуется в самобытной форме.

Буржуазный объективизм «социологического» направления, будучи выражением идей космополитизма в языковедении, не может не расцениваться как отравленное средство идейного разоружения народов, отстаивающих свою независимость от посягательств империализма. Своим учением о внешнем характере языка, о чуждости языка мышлению, о тождестве всех и всяческих лингвистических типов, о чисто «техническом» характере языков и о целесообразности замены «культурно незначимых» языков «культурно значимыми» это направление в языковедении стремится к подрыву национального самосознания у народов мира в их борьбе против англо-американского империализма, выступающего с реакционной идеологией буржуазного космополитизма.

Советское материалистическое языковедение отличается яркой антиимпериалистической направленностью. Новая теория языка, писал Н. Я. Марр, — «представляет совершенно определенный общественный интерес. Открывая представляющие общекультурный интерес перспективы возникновения и развития человеческой речи, она органически заинтересована в выявлении особенностей языка одинаково каждой народности, независимо от того, древнеписьменная она, новописьменная или вообще без письменности, приобщена к современной культуре в полной мере или весьма слабо; она особенно заинтересована в усилении национального самосознания маленьких и отсталых народов с своеобразным речевым мышлением, отличным от мышления господствующих языков, языков господствующих народов, собственно, господствующих классов»⁵⁰.

Выдвинув во главу угла изучение закономерностей развития языка и мышления и их специфических проявлений в каждом языке, разрабатывая

⁵⁰ ИР. I. С. 215.

историко-материалистическое понимание языкового развития, новое учение о языке поставило историю языка на службу насущных задач нашей современности. Формалистически извращенная история языка индоевропеистики всегда была обращена лицом к мифическому прошлому. Индоевропеистика если и занималась изучением живых языков и диалектов, то единственно с целью найти в них материалы для праязыковых схем и реконструкций, дополнительно к древнеписьменным мертвым языкам, которым приписывалось решающее и первенствующее значение. Подчинив историю языка современности, Н. Я. Марр вернул истории языка ее подлинный жизненный смысл. Новое учение о языке отнюдь не умаляет значения истории прошлого. Напротив, только в работах Н. Я. Марра и созданного им языковедческого направления изучение истории языка обрело реальное историческое значение и надлежащий размах. Исторические перспективы индоевропеистики замыкались искусственными рамками «праязыка», который выступал в схоластически-мертвом воображении индоевропеистов как чрезвычайно развитый и вполне сформировавшийся язык. Отбросив мираж «праязыка», Н. Я. Марр углубил исторические перспективы изучения речи вплоть до начальных эпох ее становления в связи со становлением общественности. Но всеобъемлющие исторические интересы нового учения о языке лишены всякого привкуса романтизма. Отжившее изучается теперь не ради отжившего, изучение прошлого не является больше самоцелью. Прошлое изучается ради современности, ради лучшего понимания и развития современной речи, ради выявления наличных в ней элементов борьбы между старым и новым и определения тенденций ее дальнейшего роста.

В свете нового, историко-материалистического понимания языка, разработанного Н. Я. Марром, вырисовываются следующие задачи историко-грамматического исследования. Изучение грамматического строя определенного языка должно, прежде всего, привести к определению исторической ступени, на которой находится данный язык, с обязательным учетом своеобразного преломления в нем закономерностей стадийного развития речи и мысли. Выявленные с этой целью категории мышления, лежащие в основе грамматического строя, должны быть материалистически разъяснены как одна из существенных сторон развития общественной духовной жизни, как продукт развития познания природы и общества в ходе развития общественного производства и общественного строя в данном историческом районе. Применительно к грамматическому строю древнего языка необходимо еще показать, в какой мере достижения древней эпохи послужили основанием для последующего развития и на каких началах отработанные в ходе предшествующей истории грамматические категории вошли в сложную и противоречивую ткань грамматики современного языка.

2. Морфология языка.

Различие флективной и нефлективной морфологии

Н. Я. Марр, как уже было сказано, требовал «качественного улучшения исследования формальной стороны идеологическим ее обоснованием». Без качественного улучшения морфологических исследований, без углубленной трактовки грамматической формы в связи с ее содержанием, невозможно материалистическое освещение истории грамматического строя. В настоящем разделе будут рассмотрены важнейшие положения нового учения о языке, касающиеся соотношения морфологии и синтаксиса. Это целесообразно сделать теперь, во вводных главах, с тем, чтобы в дальнейшем, при рассмотрении специальных вопросов, уже не возвращаться больше к некоторым общим вопросам анализа грамматической формы.

Рассматривая вопросы морфологии, необходимо прежде всего остановиться на понятии синтаксической морфологии, встречающемся у Н. Я. Марра. Указывая, что «морфология лишь техника для синтаксиса», основатель нового учения о языке вместе с тем развил новое понятие синтаксиса, отграничив учение о синтаксической технике от синтаксиса в особом смысле слова. Характеризуя средства грамматической техники, Н. Я. Марр писал: «Техника звуковой речи начинается с синтаксиса, главной вообще части всякой звуковой речи. Синтаксис отличается именно тем, что в нем идеология и техника неделимы, еще нерасчлененно слиты, диффузны, не дифференцированы так же, как неделимо и не дифференцировано было еще общество без разделения труда и без социальной дифференциации в строе, собственно без осознания такого разделения труда и такой социальной дифференциации. Такое состояние можно усвоить звуковой речи лишь на самых начальных этапах ее развития»⁵¹.

Таким образом, первично грамматический строй отличался, по Н. Я. Марру, нерасчлененностью техники и идеологии, непосредственным и прямым соответствием между синтаксической формой и ее содержанием. Поэтому применительно к самым начальным этапам языкотворчества нет нужды в специальной трактовке технической и идеологической стороны синтаксиса. В последующем ходе развития с усложнением речи усложняется также синтаксическая техника; прослеживание связей синтаксической формы с ее содержанием является в развитом языке весьма сложным делом, и от исследователя требуется здесь особое внимание к синтаксической морфологии, специальное проникновение в свойственные ей морфологические процессы, в целях последовательного раскры-

⁵¹ ИР. V. С. 462.

тия грамматических категорий в их диалектической взаимосвязи с категориями мышления.

Разграничение синтаксической морфологии и синтаксиса в собственном смысле этого слова проведено самим Н. Я. Марром в работе «Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком» (1928). Подвергая критической оценке свой курс лекций, читанных в Баку в 1927 г., Н. Я. Марр отмечал как существенный недостаток курса отсутствие в нем специальной трактовки синтаксиса. То, что в бакинском курсе фигурировало под названием синтаксиса, оказалось, согласно новому, более глубокому пониманию, лишь синтаксической морфологией, но никак не синтаксисом. Вот как говорил об этом сам Н. Я. Марр:

«По новому учению об языке уже напечатан суммарный вводный курс в Баку, и повторяться по изложенным там вопросам нет надобности. Но надо предупредить, что там речь о полигенизме значений слов, а это увязывается теперь со стадийным развитием звуковой речи, прохождением ею ряда стадий и с ними особых норм мышления; там речь и о одновременности происхождения частей речи, глаголов на последнем месте, о морфологии синтаксической, о классах и родах в строе речи, о четырех элементах, из каких сложены все языки, и о материальной морфологии, о функциональном впоследствии выделении части звуковой речи и социальной ее природе. Но, увы, в том руководстве нет вовсе трактовки синтаксиса, должной специальной трактовки, и я бы здесь скорее остановился особо на синтаксисе, ибо синтаксис — это самая существенная часть звуковой речи: как учение о звуках лишь техника для морфологии, так и морфология лишь техника для синтаксиса» (разрядка повсюду наша. — С. К.)⁵².

Здесь прежде всего важно отметить новое понятие синтаксической морфологии. В новое понятие включается все то, что в бакинском курсе рассматривалось как синтаксис, т. е. совокупность грамматических форм, выраженных при помощи порядка слов и других средств выражения синтаксических отношений. Выделяя синтаксическую морфологию, Н. Я. Марр отграничил от нее синтаксис как учение о самой существенной стороне грамматического строя. С уточнением задач синтаксиса расширились границы морфологии. Морфология в новом, более широком понимании содержит в себе уже не только флективную морфологию, которую Н. Я. Марр раньше именовал просто морфологией, но еще и нефлективную морфологию.

Новая группировка грамматических дисциплин не была развернута Н. Я. Марром в деталях, но принципы ее достаточно ясны. Под морфологией Н. Я. Марр понимал «технику для синтаксиса», т. е. всю совокуп-

⁵² ИР. II. С. 401.

ность формальных средств, используемых в данном языке для выражения грамматических значений, т. е. не только флективные формы (формы отдельных слов), но и синтаксические формы (иначе, формы словосочетания). Выдвинув понятие синтаксической морфологии, Н. Я. Марр решительно устранял свойственное старому языкознанию противопоставление учения о формах отдельных слов, основанных на флексии, учению о формах словосочетания, основанных на использовании порядка слов, служебных слов, интонации и т. д. Н. Я. Марр показал, что как флективная, так и нефлективная морфология, поскольку речь идет о выражении синтаксических отношений, являются лишь разновидностями синтаксической морфологии, хотя и специфическими ее разновидностями.

Чтобы лучше уяснить то принципиально новое, что внес Н. Я. Марр в разработку вопроса о морфологии, остановимся вкратце на истории этого вопроса в домарровском языкознании.

Отождествление грамматической формы вообще с формой отдельного слова было, как известно, типично для сравнительно-исторического языкознания первой половины XIX в. Форма отдельного слова, или, проще говоря, флективная форма, принималась тогда за единственно правомерное и истинное проявление грамматической формы вообще. В соответствии с этим оформленными и подлинно грамматическими считали тогда только такие языки, в которых богато представлена флексия. Там же, где не находили богатства флективных форм, усматривали полнейшую грамматическую бесформенность (или «аморфность»). Вот почему столь высокоразвитый литературный язык с богатой письменной традицией, как китайский, мог фигурировать в то время чудовищным образом как образец «аморфной» речи.

В конце XIX в. произошли некоторые сдвиги в трактовке грамматической формы. Позитивистское языкознание того времени (московская и казанская школы в России, младограмматики в Германии и родственные им направления) отвергло романтический взгляд на флексию как на «единственно возможную» и «истинную» грамматическую форму. Рядом с флективной формой (формой отдельного слова) была поставлена форма словосочетания. Флексия оказалась теперь приравненной ко многим другим способам выражения грамматических значений. Но отказавшись от романтической фетишизации флексии, позитивисты выдвинули другую, не менее порочную точку зрения.

Поставив рядом с флексией другие средства оформления грамматических категорий — порядок слов, служебные слова, словосложение, интонацию и т. д., — позитивисты выдвинули ошибочное положение об абстрактном тождестве и полной равнозначности различных средств грамматической техники. Отбросив учение романтиков о мнимой исключительности флексии, они не разглядели своеобразия флексии сравнительно с

другими средствами грамматической техники, своеобразия формы слова сравнительно с формой словосочетания. Если в корне неправильно всякое возвеличение флексии за счет других способов выражения грамматических значений и превознесение ее в качестве «самого адекватного» и «совершенного» приема грамматической техники, то, с другой стороны, не менее ошибочно механически приравнивать флексию к другим морфологическим средствам и упускать из виду ее качественные особенности. Будучи типологически не «выше» и не «ниже» других форм, флективные формы отличаются от других рядом особенностей. Для суждения о степени развития языков ссылка на флексию сама по себе, в отрыве от содержания грамматических форм, никакого реального веса не имеет. Но учет своеобразия флексии абсолютно необходим при анализе грамматического строя языка; без такого учета невозможен анализ синтаксического содержания флективных форм. Позитивисты произвольно уравнивали различные средства грамматической техники, расценив их как «условные знаки» грамматических значений, как формы, одинаково чуждые мысли и внешние по отношению к последней. Этот порочный взгляд на формы языка особенно выпячен в реакционном языкознании соссюровского толка, господствующего в настоящее время за рубежом под именем «структурализма», где такая трактовка грамматической формы тесно связана с общим идеалистическим пониманием языка как «системы условных знаков».

Каково соотношение формы слова и формы словосочетания, флективной и нефлективной морфологии? — Является ли форма отдельного слова независимой и стоящей особняком от формы словосочетания или же флективная форма есть лишь частный, хотя и весьма своеобразный и сложный, случай формы словосочетания? — Должна ли форма слова рассматриваться изолированно от синтаксиса или же она может быть вскрыта только при учете синтаксических связей?

Передовая русская теоретическая мысль в языкознании XIX в. дала недвусмысленный ответ на этот вопрос. Особо следует в этой связи отметить поразительно глубокие и ясные рассуждения великого русского революционера-демократа и мыслителя Н. Г. Чернышевского. В работе «О классификации людей по языку», направленной против идеалистической концепции языка Вильгельма Гумбольдта, Н. Г. Чернышевский выступил с резкой критикой неправомерного восхваления флексии у Гумбольдта и в качестве выхода из формалистического тупика указал на ведущее значение синтаксической формы. Согласно этому выдающемуся исследователю, «вопрос о том, какое грамматическое значение имеет то или иное слово, определяется конструкцией предложения, а не формой слова»⁵³. Разумея под этимологическими формами то, что иные называют

⁵³ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. X. 2. С. 109 особой пагинации.

формами отдельных слов или флективными, Н. Г. Чернышевский писал: «Этимологические формы в отдельности от правил синтаксиса не имеют никакой важности»⁵⁴. Сходные мысли высказывал также А. А. Потебня, хотя и не везде с достаточной последовательностью. Передовая русская лингвистика XIX в. подготовила, таким образом, важные выводы Н. Я. Марра о соотношении морфологии и синтаксиса.

Главным и решающим в грамматике является целостное предложение, а не искусственно вырванное из контекста слово. Синтаксические связи слова устанавливаются на основе анализа предложения. Различие между флективной и нефлективной морфологией нельзя поэтому считать абсолютным. Форма отдельного слова, как и нефлективная форма словосочетания, также выражает синтаксические связи, но есть между ними разница. В отличие от нефлективной морфологии флективная морфология выявляет ряд специфических категорий, которые либо вовсе не находят себе прямой аналогии в нефлективной морфологии, либо если и находят аналогию, то весьма приблизительную и неполную.

Одной из специфических категорий флективной морфологии является, например, категория грамматического рода или класса. Эта категория характерна для языков с богатыми элементами флексии, как многие индоевропейские языки, некоторые яфетические языки Кавказа, семитические и языки банту.

Категория грамматического рода и класса является не только пережиточной категорией, которая доносит до нас отголоски древней классификации имен; она весьма актуальна по своей значимости в строе современной речи. Семантически эта категория играет значительную роль в словообразовании, будучи переосмыслена в ряде случаев для выражения различий пола, лица и вещи, «одушевленных» и «неодушевленных» предметов и т. д. Что касается роли категории грамматического рода в синтаксисе, в специальной области синтаксических отношений, то эта роль сводится к согласованию. Другими словами, в синтаксическом плане категория рода или класса участвует в образовании особого синтаксического приема, и акад. И. И. Мещанинов справедливо рассматривает согласование в ряду других способов выражения синтаксических отношений⁵⁵. В синтаксисе категория рода и класса становится, таким образом, важным средством сигнализации связи между словами в предложении, причем характер этой связи — сами синтаксические отношения — могут быть различными. В одном случае это будет отношение определяемого к определению, в другом — отношение подлежащего к сказуемому, в третьем — отношение дополнения к сказуемому, и т. д. Так как

⁵⁴ Там же. С. 152.

⁵⁵ Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. 1945. С. 42–50.

эти отношения могут выражаться — и в ряде языков действительно выражаются — без помощи категории рода или класса, то это значит, что характерный для флективных языков способ выражения этих отношений не является общеобязательным. Здесь перед нами любопытный случай того, как пережиточно сохранившаяся категория, будучи переосмыслена и получив ряд новых словообразовательных и стилистических функций, в плане синтаксическом оказывается использованной в качестве одного из средств службы связи в предложении наподобие порядка слов, инкорпорации и т. д.

Несколько сложнее обстоит дело с такими категориями, как число и артикль, которые также используются как средства согласования и замыкания, но которые имеют и прямую семантико-грамматическую нагрузку в виде функции индивидуализации. Эта функция не может отсутствовать и в малофлективных языках, но характерно, что там, где число и артикль не используются как средства согласования или замыкания и т. д., они могут вовсе отсутствовать в строе языка как обособленные морфологические категории.

Категория падежа отнюдь не принадлежит к числу пережиточных категорий, будучи одним из наиболее типичных для флективной морфологии явлений. Выражаемые падежами синтаксические функции весьма актуальны. До некоторой степени позволительно, конечно, пользоваться расширенным понятием падежа или именного склонения. Когда, например, в ряде новых работ по грамматике приходится читать о падежном склонении в отличие от предложного, то в основе такого словопотребления лежит реальный параллелизм предлогов и падежей в ряде функций.

Но, выделяя таким образом расширенное понимание падежа или склонения, приходится задумываться над тем, насколько оно правомерно.

При всех обстоятельствах флективный падеж сохраняет ряд особенностей, отличающих его от других близких по значению форм, в том числе и от предложных сочетаний. Особенностью флективного падежа является способность «сочетать в одной форме разнородные синтаксические отношения. Падежи выражают и субъектные отношения, т. е. отношения подлежащего к сказуемому, и объектные отношения, т. е. отношения глагольного сказуемого к имени существительному (или местоимению), и атрибутивные отношения, т. е. отношения имени к имени существительному, и обстоятельственные отношения, т. е. особые определительные отношения имени и наречия к глаголу. Все эти линии, объединенные в одной морфологической категории падежа в одних языках, в других могут оказаться разобщенными и распределенными между разными областями морфологии. Субъектные отношения могут оказать-

ся выраженными при помощи морфологии порядка слов, объектные отношения при помощи служебных слов (предлогов, послелогов, служебных глаголов), атрибутивные отношения — при помощи изафета или еще как-нибудь иначе и т. д.

Не приходится, таким образом, отрицать, что для выделения и обособления флективной морфологии имеются не только узкотехнические, но и более глубокие основания. В языках со значительными элементами флексии, скопившимися в центральных узлах грамматического строя и образовавшими специфические парадигматические наслоения в виде сложных систем склонения и спряжения, действительно наличествуют своеобразные морфологические категории, не встречающиеся за пределами флективной морфологии. Но своеобразие этих категорий заключается вовсе не в том, что флексия будто бы является носителем каких-то особенно сложных категорий мысли, которые никак не передаются средствами морфологии иного типа, или что она будто бы во всех случаях является идеальным воплощением грамматических идей, доставляя в этом отношении ряд преимуществ обладателю более флективной речи, сравнительно с говорящими на менее флективных языках, — как то думали компаративисты первого периода. Морфология флективного типа отличается от всякой иной отчасти тем, что она использует некоторые своеобразно переосмысленные и получившие вторичное словообразовательное, стилистическое и технико-синтаксическое значение категории (вроде категории грамматического рода), отчасти же наличием в ней таких категорий, которые, как категория падежа, являются своеобразными в том смысле, что особым образом комбинируют и группируют грамматические функции, которые в морфологии иного типа выступают раздельно и вне обязательной связи друг с другом. Флективная морфология отличается, таким образом, особым переплетением грамматических категорий с дополнительными словообразовательными, стилистическими и т. п. значениями, что придает языку с богато представленными в нем элементами флексии ряд специфических особенностей. Важной особенностью языков с богатыми элементами флексии является более броское оформление лексико-грамматических разрядов и особенно частей речи. Конкретное исследование должно тщательно учитывать эту специфику, без которой не могут быть вскрыты многие стороны словообразования и стилистики, а в плане синтаксическом — переходы от формы слова к форме словосочетания и от синтаксической морфологии в целом к синтаксису в собственном смысле слова. Кто игнорирует это своеобразие флексии, тот обедняет и искажает язык в своем исследовании.

С другой стороны, ошибочно мнение, будто нефлективная морфология отличается особой простотой и удобствами и будто она возвышается над морфологией флективного типа. Этот взгляд, распространенный в

современной буржуазной лингвистике (последователи Есперсена), лишен всякого фактического основания и имеет своим единственным источником стремление лакейски угодливых буржуазных языковедов «обосновать» империалистический тезис об «особых правах» малофлективного английского языка, как наиболее, мол, «технизованного» и «удобного» языка, на мировое распространение. Сторонники этой антинаучной, насквозь фальшивой точки зрения сознательно игнорируют или слепо не видят того, что строй языка с преобладанием в нем элементов нефлективной морфологии, основанной на использовании словоупотребления, служебных слов, словосложения и т. д., отнюдь не отличается простотой и последовательностью выражения грамматических значений. Строй языка с преобладанием в нем нефлективной морфологии распадается на многие частные морфологические области, — морфологию словоупотребления, морфологию служебных слов, морфологию словосложения, морфологию интонации и ударения и т. д., пестро переплетающихся между собой и представляющих весьма запутанное сочетание форм. Исследование синтаксиса в собственном смысле этого слова, рассмотрение грамматических категорий в их органической увязке с категориями мышления является в таком языке часто более сложным делом, чем в языке с преобладанием флексии. Здесь обнаруживаются свои специфические трудности при переходе от морфологии к синтаксису. Не случайно грамматики языков с преобладанием нефлективной техники (как, например, китайского или английского) разработаны в недостаточной степени. То, что обычно предлагается в качестве такой грамматики, будто бы чрезвычайно легкой и простой, является в действительности лишь несистематическим описанием некоторых, лежащих на поверхности явлений. Попробуйте найти систематическое описание функций предлогов и превербов английского языка или сколько-нибудь глубокие разыскания в области выражения видовых категорий или отношений модальности в таком языке. Формалистически построенные многотомные исследования буржуазных лингвистов по грамматике английского языка наполнены чем угодно, но только не последовательным анализом грамматических значений в плане раскрытия их познавательной значимости.

Продолжая сравнение флективной морфологии с нефлективной, необходимо еще отметить, что в языке с преобладанием элементов нефлективной морфологии лексический состав не получает достаточно четкого и однозначного оформления, и, хотя в развернутом контексте части речи такого языка и оказываются разграниченными, тем не менее недостаточная их лексическая дифференциация имеет свои минусы. Строй малофлективного языка лишен, далее, некоторых словообразовательных и стилистических возможностей, которые приносит с собой флексия. Рассуждения буржуазных языковедов о превосходстве одного морфологи-

ческого строя над другими и их стремление по чисто формальным основаниям возвеличить один язык за счет других смехотворны и вздорны еще и потому, что понятия «флективный язык», «аналитический язык» и т. д. являются порождениями мертвой и схоластической абстракции. Нет флективных языков, которые были бы только флективными, в которых нефлективная морфология, основанная на служебных словах, словопорядке и т. д., не занимала бы ведущего места. Еще Н. Г. Чернышевский указывал на смешанный характер морфологии любого языка и в этой связи остроумно высмеивал классификационные построения компаративистики. «Хорош или нет флектирующий способ образования грамматических форм сам по себе, — писал Н. Г. Чернышевский, — об этом можно думать как кому нравится. Это будет вопрос, подобный тому, блондины или брюнеты красивей; когда об их красоте рассуждают девицы, разговор бывает очень занимателен для ведущих его девиц и может, как гимнастика юных умов, заслуживать одобрение людей солидных лет, если сами девицы помнят, что вопрос, разрешаемый ими, несколько глуповат. Но никто из посторонних людей не мог бы одобрить этих девиц, если б они вздумали восхищаться, например как брюнетом, человеком, у которого между русых волос растет клок темно-каштановых. Девицы едва ли когда впадают в такие ошибки суждений. Но почтенные люди, которые превозносят арийские языки за флектирование корней, восхищаются тем, что арийская этимология представляет нечто подобное волосам того человека, у которого на фоне одного цвета вырос клок другого цвета»⁵⁶.

Указывая, что морфологическая классификация языков «имеет только техническое специальное значение» и «для истории народов... не представляет никакой действительной важности», Н. Г. Чернышевский разоблачал расистский характер этой индоевропеистической классификации. Он клеймил позором «арийское самохвальство», превратившее формальную группировку языков в «подкладку для пустых панегириков» мышлению и языку одних народов, говорящих на языках индоевропейской системы, и «для клеветы в унижении народов, говорящих нефлектирующими языками». Он едко высмеивал языковедов, которые «пускаются в философствования о характере человеческого языка вообще, и об умственных и нравственных особенностях людей, склоняющих существительные по падежам, от людей, заменяющих падежи предлогами»⁵⁷.

Современная структуралистическая лингвистика на Западе воскрешает давным-давно изжитые взгляды на флексию, отстаивая независимость флективной морфологии от синтаксиса. «Не только недопусти-

⁵⁶ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. X. 2. С. 114 особой пагинации.

⁵⁷ Там же. С. 116 и 103.

мо, — писал один из представителей этого реакционного направления, Р. Якобсон, — разъединять то, что с точки зрения языка является единым, но также недопустимо искусственно объединять то, что с точки зрения языка разъединено... Форма слова и форма словосочетания — это два различных плана языковых ценностей»⁵⁸. Еще резче формулировал эти взгляды В. Брендаль, выступивший с тезисом о «великой независимости синтаксического и морфологического начала в языке» и о «необходимости уважать чистоту и автономию» флективной морфологии. Отрывая морфологию от синтаксиса или, точнее, форму слова от формы словосочетания, структуралисты остаются верными антидиалектической методе де-Соссюра, согласно которому язык распадается на ряд не связанных между собой частных «систем». Здесь сразу видно, что фраза о «целостном» подходе к языку является в устах структуралистов чем-то напускным и несерьезным, поскольку на деле они разрывают отдельные взаимосвязанные стороны языка на «чистые» и друг от друга «независимые автономные области».

Отрывая морфологию от синтаксиса или, точнее, флективную морфологию от нефлективной, структуралисты хотят вернуть грамматику вспять к давным-давно отжившим свой век бредовым романтическим теориям, отличавшимся возвеличением флексии и неумением проследить живые связи, ведущие от формы слова к форме словосочетания.

В практике речевого общения формы слова необходимо связаны с формами словосочетания при помощи давно известных в науке синтаксико-морфологических приемов согласования, управления и примыкания. Практическая сводимость формы слова к форме словосочетания лучше всяких абстрактных доводов опровергает вздорные разговоры о независимости и исключительности флективной формы.

3. О частях речи и членах предложения

Грамматическое исследование уже давно выделило понятия частей речи и членов предложения. Но только в новом учении о языке эти понятия получают глубокое обоснование. Что же представляют собой с точки зрения Н. Я. Марра части речи и члены предложения?

Каждому ясно, что, говоря о частях речи, мы имеем в виду какую-то классификацию слов по грамматическим основаниям, какие-то лексико-грамматические группы или разряды. На основании каких же признаков выделяются эти лексические разряды? В зависимости от ответа на этот

⁵⁸ Travaux du cercle linguistique de Prague. VI. С. 240.

вопрос можно выделить два разных направления в понимании природы и сущности этого грамматического явления.

В старой грамматике господствовало мнение, что части речи должны выявляться в связи с присущими им формальными признаками и специфическими категориями, которые еще античная грамматика выделила под названием акциденций. Это означает, другими словами, что части речи узнаются по присущим им флективным формам и специфическим категориям рода, падежа, лица и т. д., непосредственно связанным с флективной морфологией. Части речи оказываются здесь исключительной принадлежностью сравнительно небольшого количества многофлективных языков. С такой точки зрения позволительно, например, сомневаться, существуют ли части речи в китайском языке.

Именно на взглядах такого рода держится обычная трактовка частей речи как морфологических категорий. Коль скоро морфология определена как учение о формах слова, а части речи не мыслятся без форм слова и связанных с ними категорий флективной морфологии, то нет ничего естественнее, чем отнести части речи к числу морфологических (т. е. флективно-морфологических) категорий.

Против такого узкофлективного понимания морфологии выступил Н. Я. Марр. Как известно, Н. Я. Марр не сразу пришел к тому пониманию соотношения морфологии и синтаксиса, которое отличает работы последних лет его жизни. Н. Я. Марром долгое время владела мысль о возможности переосмыслить индоевропейскую морфологическую классификацию языков на языки аморфные, агглютинативные и флективные и использовать ее в целях стадияльно-исторической периодизации. Даже в последних его работах можно найти высказывания в этом духе. Однако разработанное Н. Я. Марром в последние годы его жизни новое понимание соотношения морфологии и синтаксиса находится в резком противоречии с индоевропейской морфологической классификацией. Выдвинув тезис, что морфология — это лишь «техника для синтаксиса», Н. Я. Марр нанес сокрушающий удар по узкофлективной трактовке морфологии. Отныне понятие морфологии становится более глубоким, поскольку в это понятие входит вся сумма форм, существующих в языке как носители синтаксических отношений. Соответственно перестраивается и понятие частей речи у Н. Я. Марра. В определении частей речи решающую роль начинает играть раскрытие их смысловой функции и синтаксической обусловленности.

Рассматривая части речи как результат обособления и дифференциации членов предложения, Н. Я. Марр писал: «В итоге части предложения уже развитой мысли выделились в части речи, которые в свою очередь стали строиться идеологически как самостоятельные единицы с оформлением не только основной своей смысловой функ-

ци и, уже закрепленной одностаночностью, но и служебной в строе речи» (разрядка наша. — С. К.)⁵⁹. Здесь особо важно указание на идеологическую значимость частей речи и их связь со строем предложения. Как в рассмотрении языка в целом, так и в рассмотрении частей речи Н. Я. Марр перенес центр тяжести с формальной стороны на смысловую, и этот факт имеет первостепенное значение для всей грамматики.

Генетически дело происходит таким образом, что не предложения составляются из ранее возникших слов, а слова и части речи выделяются из состава предложения. Развитие предложения и его членов необходимо ведет к формированию частей речи. «Звуковая речь, — писал Н. Я. Марр, — начинается не только не со звуков, но и не со слов, а с определенного идеологического построения, это с перенесенного с производства в речь строя или так наз. синтаксиса. В синтаксисе, притом сначала при системе аморфной или синтетической речи, лингвистические элементы получают ту или иную синтаксическую функцию, и ею определяется смысл лингвистического элемента не только как части предложения, но и как части речи, равно и лексического его назначения»⁶⁰.

Части речи — это слова, закрепившиеся в определенном лексическом значении и обособившиеся в своей синтаксической функции. «Предложение, — согласно Н. Я. Марру, — это выражение словами, сигнализирующими понятия и представления, определенной мысли, отражающей во взаимоотношениях слов данной фразы взаимоотношения предметов...»⁶¹. Как понятия и представления о предметах, так и понимание взаимоотношений между предметами обусловлены уровнем развития общественного строя и экономики. Части речи и отношения между словами в предложении — это две взаимообусловленные стороны развития предложения. «В общем, — писал Н. Я. Марр, — в языке дело идет о предложении-мысли как целом и о диалектически выделяемых из него элементах, при нашем позднейшем восприятии — дифференциации в нем слагаемых, впоследствии частей речи, и их оформлений»⁶².

В непосредственной связи с учением Н. Я. Марра о синтаксической значимости частей речи стоит, как мы видим, его тезис об исторической изменчивости предложения и частей предложения в связи с развитием познания природы и общества в ходе развития общественной материальной жизни. Глубокий историзм в подходе к предложению и его составным частям — членам предложения и частям речи — такова важнейшая отличительная черта марровского грамматического учения. «Н. Я. Марр...

⁵⁹ ИР. I. С. 297.

⁶⁰ ИР. II. С. 368.

⁶¹ Там же. С. 49.

⁶² ИР. I. С. 295.

кладет в основу историческое истолкование прежде лишь описательно представленных форм»⁶³, — пишет акад. И. И. Мещанинов, отмечая принципиальное отличие учения Н. Я. Марра от буржуазной науки о языке в области грамматики.

Заключая критический обзор домарровской грамматической литературы, акад. И. И. Мещанинов пишет: «... вся бегло затронутая выше литература, за крайне редким исключением (Потебня), свидетельствует прежде всего о стабильности подхода к определению основных категорий речи. Как бы абстрагированные от конкретных языков, они устанавливаются в их застывшем облике и прикладываются затем в этом их неизменном виде к изучаемому языку. В результате подобного эксперимента получилась склонность к разделению учений о слове и предложении, учений о морфологии и синтаксисе без учета историзма. Во всех приведенных выше построениях и выводах получается или разобщение, или смешение, основанное и в том и в другом случаях на непонимании подлинного исторического процесса»⁶⁴.

Когда Сэпир, Брендаль, Ельмслев и другие зарубежные лингвисты подчеркивают универсальность членов предложения или частей речи (или и тех и других категорий), то это является ярким свидетельством метафизики и антиисторизма буржуазного языкознания. Так, например, определяя члены предложения, Брендаль писал, что в них «проявляется внутренняя сущность предложения, которая всегда и всюду остается равной себе, универсальной и неизменной, как присущая универсальному и неизменному человеческому мышлению»⁶⁵. Буржуазное языкознание, обнаружив ряд категорий, общих разным языкам, останавливается на этом и не идет дальше, считая конечную цель грамматического исследования достигнутой и расценивая скудный минимум из немногим более десятка общих грамматических категорий как весь тот запас, которым полностью исчерпывается мыслительное содержание всех языков человечества на всех ступенях исторического развития.

Буржуазная универсальная грамматика страдает, в сущности, теми же органическими пороками, что и буржуазная политическая экономия, недостатки которой с необычайной глубиной были вскрыты К. Марксом.

Домарксистская политическая экономия блуждала, как известно, в «трех соснах» общих экономических категорий производства, распределения, потребления и т. д., которые принимались ею за вечные и неизменные общественные категории. Разбивая подобные антинаучные

⁶³ Мещанинов И. И. Новое учение о языке. С. 19.

⁶⁴ Мещанинов И. И. Общее языкознание. С. 13.

⁶⁵ Brøndal V. Essai de linguistique générale. С. 14.

взгляды, Маркс писал: «...это всеобщее или выделенное путем сравнения общее само есть нечто, многократно расчлененное, и выражается в различных определениях. Кое-что из этого принадлежит всем эпохам, другое — обще лишь некоторым. [Некоторые] определения общи как для новейшей, так и для древнейшей эпохи. Без них немислимо никакое производство; однако, хотя наиболее развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, но именно отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие. Определения, которые действительны для производства вообще, должны быть выделены именно для того, чтобы из-за единства, которое вытекает уже из того, что субъект — человечество — и объект — природа — одни и те же, не было забыто существенное различие. В забвении этого заключается, напр., вся мудрость современных экономистов, которые доказывают вечность и гармонию существующих социальных отношений»⁶⁶.

Эти слова К. Маркса применимы полностью и к лингвистике.

Вся мудрость буржуазных лингвистов, доказывающих универсальность и неизменность грамматических категорий, заключается в забвении того, что определения, действительные для всех языков, должны быть выделены, для того чтобы из-за единства не были упущены существенные черты, отличающие более развитые языки от менее развитых. Задача исследователя грамматического строя заключается в том, чтобы не говорить о подлежащем вообще, сказуемом вообще, или имени вообще, глаголе вообще, а в том, чтобы конкретно определить эти категории, как они выступают в данном языке на определенной ступени его исторического развития.

Н. Я. Марр резко возражал против абстрактного, безжизненного, формального подхода к грамматическим категориям, при котором игнорируется их исторически обусловленное своеобразие и связь с реальной общественностью, создавшей язык. Говоря о грамматических категориях, как они выступают в работах буржуазных лингвистов, Н. Я. Марр писал: «Эти части речи, вообще грамматические категории, еще более отрешены от жизни, чем все надстроечные общественные ценности, в том числе и искусства)... «Грамматические части речи отрешены от какой бы то ни было материальной действительности, как в корне схематические абстракции, и, естественно, ни в одной живой душе не вызывают массово ничего, кроме равнодушия, именно потому, что явления изучаются исключительно формально, в полном разрыве с общественно-творческими факторами, создавшими речь»⁶⁷.

⁶⁶ Маркс К. Введение к «Критике политической экономии» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XII. Ч. I. С. 175.

⁶⁷ ИР. II. С. 103.

Новое учение о языке Н. Я. Марра учит нас подходить к частям речи (и грамматическим категориям вообще) по-новому, конкретно-исторически. В понимании нового учения о языке части речи — это не «в корне схематические абстракции», а конкретные, исторически развивающиеся категории, учитываемые в связи с общественно-творческими факторами формирования речи. Отказ от формального рассмотрения частей речи, от их омертвления и опустошения предполагает необходимость конкретного анализа значений слов и синтаксических отношений, связей между полнозначными словами в предложении. «Слово и предложение, — говорит акад. И. И. Мещанинов, — должны рассматриваться в их общей связи»⁶⁸. На каждой ступени развития данного языка видоизменяется строй предложения и соответственно меняются структура значений слов и связи между словами в предложении. «Слово, — отмечает акад. И. И. Мещанинов, — качественно различно в различные периоды развития речи, предложение же равным образом различно по построению используемых в нем слов»⁶⁹. Учет особенностей словаря, значений слов на каждой исторической ступени и вместе с тем учет способности слов в исторически обусловленных границах сочетаться с другими словами в предложении, учет особенностей строения предложения и мысли в их зависимости от развития хозяйственной деятельности и общественных отношений — таковы те справедливые требования, которые предьявляет новое учение о языке к историко-грамматическому исследованию.

4. Синтаксис в собственном смысле слова. Смысловая структура слова и синтаксические отношения

Задачей «специальной трактовки синтаксиса» (Н. Я. Марр), задачей синтаксиса в особом смысле этого слова является изучение грамматических значений в их сложной и противоречивой связи с категориями мышления, а также исследование познавательной значимости категорий грамматики и категорий мышления как моментов познания человеком природы, как одной из сторон общественного познания объективной действительности.

Предложение как выражение активной мысли является основой развития речи и всех ее составных частей. «Звуковая речь, — писал Н. Я. Марр, — начинается не только не со звуков, но и не со слов, частей речи, а с предложения, *gesp.* мысли активной, а затем пассивной, т. е.

⁶⁸ Мещанинов И. И. Общее языкознание. С. 28.

⁶⁹ Там же. С. 25.

начинается с синтаксиса, строя, из которого постепенно выделяются части предложения, определявшиеся по месту их нахождения в речи»⁷⁰. В процессе развития предложения развиваются слова и грамматические категории, все богатство словарного состава и грамматический строй, в совокупности образующие смысловое содержание языка на данном этапе его развития.

Развитие каждого языка совершается по двум линиям, по линии развития вещественных значений слов и по линии развития грамматических значений. Каждое предложение, даже состоящее из одного слова, отражает сложную диалектику отдельного и общего, данную в самой жизни, в природе вещей, — отражает переход от отдельного к общему и от общего к отдельному. В словаре находят отражение отдельные вещи, свойства, процессы, явления и т. д., грамматика же вырастает на основе общих закономерностей, по мере того как они осознаются в ходе общественно-го познания природы и общества. Но словарь и грамматика не существуют в отрыве друг от друга; они даны в диалектическом взаимопроникновении, в живом взаимодействии и противоречивом единстве. Грамматический строй языка проявляется не только в отношениях между словами в предложении, но и в самих словах, в их классификации как частей речи, в их значениях и смысловой структуре. Грамматика, одна из сторон смыслового содержания речи, двойственным образом выражается в языке в виде синтаксических отношений, связей между словами в предложении и в виде классификации слов на части речи, вытекающей из смысла слов и их синтаксической функции. Грамматика не может поэтому изучаться в отрыве от реального содержания предложения, в отрыве от словаря и вещественных значений слов, входящих в состав высказывания. Стремление буржуазной формалистической грамматики оторвать грамматику от словаря и грамматические категории от вещественных значений слов является столь же порочным и реакционным, как стремление идеалистической логики опустошить логические формы и трактовать их в отрыве от реального жизненного содержания суждения.

Именно в игнорировании значений слов Н. Я. Марр видел один из главнейших органических пороков индоевропеистики. «Индоевропейская школа, — писал он, — признавая изолированность каждой так называемой семьи языков, до сих пор живет и работает технически, а пережиточно и идеологически, мыслью о праязыке»... «Посему по сей день индоевропейская лингвистика работает формальным методом и, сосредоточивая свое внимание на фонетике и морфологии, отводит словарь на второстепенное место, абсолютно не учитывает явлений семантики, учения о значениях слов, закономерно вытекающих из связи языка с

⁷⁰ ИР. II. С. 417.

этапами развития хозяйственно-общественной жизни»⁷¹. Пренебрежение к реальным значениям слов, грамматический анализ предложения без внимания к мысли, выраженной предложением, и к значениям слов, выступающих в роли членов предложения, привел индоевропеистику к формалистическому отрыву грамматики от словаря. «Разобщение между словом и предложением, доведенное до такой крайности, — пишет акад. И. И. Мещанинов, — оправдывается общим отношением к словарному составу языка, как к чему-то чуждому грамматике с ее морфологией и синтаксисом. Слово с его лексическими особенностями вовсе выносятся за рамки грамматики. Против такого отношения к лексике категорически протестует акад. Н. Я. Марр...»⁷².

Говоря о конкретно-историческом подходе к изучению языка, о выделении конкретно-исторических этапов развития речи, Н. Я. Марр требовал при анализе идеологии и оформления слов общественно-исторического проникновения в «идеологическую структуру технического оформления, ведущую к большей дифференциации смысловых функций»⁷³. Это понятие «идеологической структуры» слова, связанной с дифференциацией смысловых функций, чрезвычайно важно для грамматики. Раскрытие реальной идеологической или, иначе, смысловой структуры слова, обусловленной определенным уровнем общественного развития, составляет одну из важнейших сторон грамматического анализа. Это, говорил Н. Я. Марр, — «наш химический анализ»⁷⁴. Бичуя формально сравнительный метод индоевропеистики, построенной на отрешенных от жизни звуковых сопоставлениях, так называемых «звуковых законах», и оторванной от синтаксиса морфологии, Н. Я. Марр писал: «... и у нас есть так наз. сравнительная грамматика, но она учитывает не одну формальную сторону и идет потому от слов, значимостей слов, семантики, давшей возможность приступить к классификации слов по ступеням развития человечества...»⁷⁵.

В соответствии с учением Н. Я. Марра об исторической изменчивости значений слов и необходимости проникновения в идеологическую или, иначе, смысловую структуру слова, выявляющую степень и характер дифференциации значений слов, историко-грамматическое исследование должно уделить особое внимание строю словаря. Конкретизация смысловой структуры слов, принадлежащих к той или иной части речи, должна служить целям конкретно-исторического рассмотрения частей

⁷¹ ИР. II. С. 128.

⁷² Мещанинов И. И. Общее языкознание. С. 13–14.

⁷³ ИР. II. С. 252.

⁷⁴ ИР. II. С. 252.

⁷⁵ Там же. С. 401.

речи и их функций в качестве членов предложения. «Без учета этой стадильности в классификации слов и понятий, в увязке с соответственной общественностью и экономикою отсутствует почва для трактовки каких-либо генетических вопросов»⁷⁶, — писал Н. Я. Марр.

Подчеркивая общественно-историческую обусловленность словаря и закономерности развития лексических значений, создатель нового учения о языке возражал против идеалистического и метафизического подхода индоевропеистики к этим вопросам.

Выступая против утверждения французского компаративиста Вандриеса, согласно которому, данные словаря — это всегда «единичные» и «своеобразные» данные в том смысле, что в истории слов будто бы всегда господствуют только случайности, Н. Я. Марр писал: «Мы, яфетидологи, не рассматриваем данные словаря как явления “своеобразные” и “единичные”: они — произведения общественной жизни, я бы сказал, что сами они — факты общественные, определяемые действующими в ней законами, общественными законами, настолько более сложными, что это и не представляют себе учителя индоевропейской лингвистики. Эти законы, разумеется, весьма жестки, но зато они с необходимостью соответствуют всем изгибам общественной жизни, всем ее диезам и бемолям, следовательно, они жестко строги и в то же время относительны»⁷⁷. Н. Я. Марр настаивает на необходимости вскрыть закономерности не только грамматики, но и словаря. Устанавливая законы семантики, великий советский языковед доказывал, что положение о закономерности развития языка сохраняет свою основательность не только по отношению к грамматике, но также и к словарю, к значениям слов, к их «стоимостям». «У семантики существует своя грамматика с ее морфологией»⁷⁸, — подчеркивал Н. Я. Марр.

Это замечание о «грамматике и морфологии словаря» чрезвычайно важно. Указывая, что слова на каждой ступени исторического развития языка выявляют определенную идеологическую или смысловую структуру, Н. Я. Марр вскрывает связь смысловой структуры слова с исторически сложившейся дифференциацией смысловых функций, с дифференциацией значений слов как частей речи по мере развития познания природы и общества. Развитие слов совершается, согласно Н. Я. Марру, путем «семантической дифференциации», раздвоения и поляризации значений. Слова каждой предшествующей эпохи отличаются от слов последующей эпохи слитностью значений, полисемантизмом, неразграниченностью смысловых функций. И наоборот, позднейшие слова срав-

⁷⁶ ИР. III. С. 86.

⁷⁷ ИР. I. С. 189–190.

⁷⁸ Там же.

нительно со словами более ранних эпох всегда более однозначны и уточняют связи, ранее недостаточно разграниченные. Н. Я. Марр подробно доказал это положение на фактах первобытного полисемантизма слов и его распада в языках позднейшего строя. Говоря о полисемантизме, Н. Я. Марр имел при этом в виду не единичные факты омонимии, являющиеся в языке позднейшего строя отголоском полисемантизма древнейших эпох либо результатом случайного совпадения разных слов по звучанию, а закономерно встречающиеся в строе словаря факты относительной нерасчлененности смысловых функций, неразрывно связанные с уровнем развития мышления.

Отмеченная Н. Я. Марром связь развития значений слов с развитием грамматического строя подтверждается на любом примере из истории слов. Если, как подробнее будет показано далее (с. 383 слл.), на определенной ступени развития прилагательные, выражающие соотносительные свойства предметов, совмещали противоположные значения и слово 'робкий', к примеру, могло означать не только 'испытывающий робость', но и 'нагоняющий страх, заставляющий других робеть', то это связано с тем, что на древней ступени развития люди хотя и выделяли соотносительные свойства предметов, но выделяли их недостаточно четко. Отношения между соотносительными свойствами понимались еще слишком упрощенно, как не было еще и глубокого понимания изменений вещей. Возможность противоречивого развития, появления у предмета новых свойств, отчасти противоположных старым его качествам и свойствам, недостаточно учитывалась в то время. В итоге одно и то же слово 'робкий' могло выражать противоположные значения, так как каждый раз оно понималось однозначно: в приложении к трусливому человеку, только как 'испытывающий робость', а в приложении к храбруцу — только как 'заставляющий других робеть'. Разграничение этих значений и их словесное обособление становится возможными лишь на последующей ступени общественного развития с выработкой понятия о развитии предметов, понятия о том, что робкий человек может при известных обстоятельствах перевоспитаться и превратиться в человека отважного. Прежнее слово, совмещавшее в себе оба значения, начинает ощущаться с определенной поры как слишком расплывчатое и неясное, и в языке вырабатываются слова для разграничения активного и пассивного значения подобных соотносительных имен прилагательных.

Смысловая структура слова тесно связана с разграничением ранее не расчлененных значений, с выделением определенных лексико-грамматических категорий. В приведенном здесь примере речь шла об особом разряде слов, о прилагательных, выражающих соотносительные свойства предметов. Пока в ходе развития общественной практической деятельности не выработалось понятие о развитии предметов, до тех пор оста-

вались неразграниченными категории активных и пассивных соотносительных свойств.

Своеобразная связь смысловой структуры слова с синтаксическим строем на каждой ступени развития неоднократно подчеркивалась Н. Я. Марром. В одной из позднейших своих работ, в статье «Яфетические языки», Н. Я. Марр писал: «Сложность глоттогонического процесса яфетические языки выявляют с особой наглядностью, неразрывно увязывая технику построения идеологии слов, как самостоятельных единиц, с техникой обслуживания или взаимной увязки в строе речи»⁷⁹. Смысловое строение слова и его синтаксические свойства всегда тесно связаны. «Слово в предложении, — писал акад. И. И. Мещанинов, — оказывается носителем и лексических, и синтаксических свойств»⁸⁰. Более подробно эта мысль выражена в позднейшей работе акад. И. И. Мещанинова (1945): «Семантика слова в известной степени обуславливает его синтаксическую роль в предложении. Выступая в предложении, слово используется в нем, отвечая его лексическому содержанию. Оно выступает в позиции соответствующего члена предложения»⁸¹.

Историческая обусловленность значений слов есть вместе с тем историческая обусловленность синтаксического использования слова, синтаксических связей между словами в предложении. Каждой ступени исторического развития соответствует определенный строй лексических значений и, соответственно, определенный строй синтаксических отношений. Строй значений слов и строй предложения с разных сторон характеризуют общее смысловое содержание предложения, его общее строение, как оно обусловлено определенным уровнем развития общественной практики, — практики общественного производства и общественных отношений.

Исследование возможностей синтаксического использования слова, его, по выражению Н. Я. Марра, «увязки» или сочетаемости с другими словами в предложении является, таким образом, насущной задачей историко-грамматического исследования. «Синтаксическое использование слова и его оформление согласно существующим нормам синтаксического строя, — пишет акад. И. И. Мещанинов, — связаны со строением предложения. Всякое использование слова в речи есть уже его синтаксическое использование»⁸².

Сопоставляя такие словосочетания, как *писать пером* и *написано автором*, мы легко устанавливаем, что различие синтаксического содер-

⁷⁹ ИР. I. С. 297–298.

⁸⁰ Мещанинов И. И. Общее языкознание. С. 30.

⁸¹ Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. С. 4–5.

⁸² Там же. С. 10.

жания опирается здесь на различие глагольных форм (действительный залог в сочетании с объектом орудия и страдательный залог в сочетании с объектом действующего лица). Но чем определяется глубокое синтаксическое различие словосочетаний *написано пером* и *написано автором*, — различие, которое подсказывается нам живым ощущением речи? Формы отдельных слов, входящих в состав словосочетания, внешне ничем друг от друга не отличаются, но внутреннее строение этих сочетаний и их связи с другими сочетаниями глубоко различны.

Живое ощущение различия основывается здесь на лексико-грамматических разрядах слов данного словосочетания.

Слова *перо* и *автор* относятся к разным и даже противоположным лексико-грамматическим разрядам. В одном случае перед нами обозначение вещи, в другом — лица, и это различие определяет разницу в синтаксическом содержании словосочетаний. Связанное с лексико-грамматическими категориями различие синтаксических отношений более резко проявляется при сопоставлении каждого из данных словосочетаний с другими. Уже, например, одно то обстоятельство, что рядом с *написано пером* может стоять сочетание *написал пером*, а сочетание *написал автором* невозможно, наглядно демонстрирует различную синтаксическую природу этих внешне схожих словосочетаний.

Мы видим, что принадлежность слова к определенному лексико-грамматическому разряду или, иначе, его (слова) значение и смысловая структура определяют возможности сочетания данного слова с другими словами в речевом потоке. Это свойство слова сочетаться с другими словами в контексте речи можно назвать синтаксической валентностью, или сочетаемостью данного слова.

Выявление синтаксической сочетаемости слова и лежащей в ее основе лексико-грамматической категории — несравненно более сложная операция, чем выявление внешней формы. Сочетания *я сижу* и *я иду* совпадают с точки зрения внешней формы словосочетания, но синтаксическая сочетаемость каждого из приведенных здесь глаголов не одинакова, что находит себе выражение в возможности вопросов «куда?» или «откуда?» только после *иду*, но не после *сижу*. Сочетание *я сижу*, не допускающее таких вопросов, обладает вследствие этого большей завершенностью, чем *я иду*. Эта степень завершенности, связанная с синтаксической сочетаемостью, различна не только в *я иду* сравнительно с *я сижу*, но также в *я иду* сравнительно с *я даю*. После *я даю* уместны вопросы «кому?», «что?», которые совершенно неуместны после *я иду*. Эта различная сочетаемость фигурирующих в наших примерах глаголов связана с их принадлежностью к разным лексико-грамматическим разрядам — глаголов покоя, перемещения и «дательных». Различная смысловая функция и сочетаемость таких глаголов постоянно учи-

тывается каждым в живом общении, в практическом владении речью, но, к сожалению, не в теоретической работе по грамматике. Формальная лингвистика нуждается для выделения подобных категорий в свидетельствах флективной формы. Лексико-грамматические категории остаются для нее в массе книг за семью печатями. Но вместе с ними остаются ей неизвестными или только наполовину раскрытыми многие опирающиеся на эти лексико-грамматические категории синтаксические отношения.

Каждая историческая ступень в развитии речи характеризуется, таким образом, определенным строем значений слов и определенным строем синтаксических отношений. Практическое использование слова, его употребление во фразе обусловлено на каждой стадии исторического развития внутренней смысловой структурой слова и соответствующим уровнем синтаксических отношений. Если, как указывал акад. М. М. Покровский, в определенный период развитая латыни можно было сказать *patri soporem medicos dare coegit* 'врачей заставил [он] дать отцу сон', то такое необычное сочетание глагола 'дать' со словом 'сон' тесно связано с особой лексико-грамматической структурой имен действия и состояния в древнем языке, в силу чего слово 'сон' могло тогда означать не только определенное состояние, но и то, что вызывает данное состояние, — снотворное средство⁸³.

При изучении сочетаемости слов в предложении необходимо строго отличать живые синтаксические связи от окаменевших, живые формы сочетания от пережиточно сохранившихся оборотов, переосмысленных в ходе развития данной национальной речи. Исследования синтаксических связей всегда должны учитывать степень соответствия формы содержанию. «Содержание без формы, — учит нас товарищ Сталин, — невозможно, но дело в том, что та или иная форма, ввиду ее отставания от своего содержания, никогда **полностью** не соответствует этому содержанию, и, таким образом, новое содержание "вынуждено" временно облечься в старую форму, что вызывает конфликт между ними»⁸⁴. Это положение чрезвычайно важно и для языкознания. Новое учение о языке внимательно рассматривает процессы, связанные с диалектикой формы и содержания в языке. История языков противоречива. «Появляются, — писал акад. И. И. Мещанинов, — новые формы, старые формы получают новое осмысление, иногда и новые функции, прослеживается все время диалектическое взаимодействие формы и содержания, что неминуемо обостряет вопрос о взаимодействии

⁸³ Покровский М. М. Материалы для исторической грамматики латинского языка. 1899. С. 52 слл.

⁸⁴ Сталин И. В. Соч. I. С. 317.

между языком и мышлением»⁸⁵. Для историко-грамматического исследования из этого вытекает чрезвычайно важный вывод о необходимости строго различать отжившие синтаксические связи, как они восстанавливаются палеонтологически по окаменевшим остаткам старого оборота от живых и актуально действующих связей, облеченных в старую форму словосочетания. Без строгого разграничения этих моментов и учета возможности переосмысления синтаксических форм исследователь всегда оказывается перед опасностью извратить реальную историческую перспективу в сторону модернизации древних отношений и архаизации современных.

Основная задача историко-грамматического исследования в специально синтаксической области сводится, таким образом, согласно новому учению о языке, к требованиям — раскрыть специфический для языка данной эпохи строй синтаксических отношений и его связь со словарем, раскрыть взаимоотношения строя речи с определенным строем мышления, с характерной для данной эпохи «сетью» мыслительных категорий, обнажить общественно-исторические корни категорий языка и мышления и определить их познавательную значимость, их историческое место в ходе развития общественного познания объективной действительности.

Выполнение этой задачи подразумевает особую, тщательно разработанную методику исследования, основанную на анализе смыслового содержания слов и грамматических форм и, естественно, максимальном учете формальной стороны языка в связи с ее идеологическим содержанием.

Последовательный анализ форм языка, составляющих различные области его флективной и нефлективной морфологии, должен привести к выявлению свойственных данному языку в данный период грамматических категорий. Вслед за этим начинается собственно синтаксическое исследование, т. е. исследование грамматических категорий в их сложном взаимоотношении с категориями мышления, как они проступают в строе лексических значений и синтаксических отношений. Такое исследование предполагает перегруппировку лексического и грамматического материала, производимую теперь не на основе внешних формальных особенностей слов и словосочетаний, а на базе выявленных в ходе предшествующего исследования грамматических значений и их внутренних идеологических связей. Группировка форм не по признакам внешнего формального сходства, а с точки зрения единства содержания, смысловой близости этих форм, может произвести на неискушенного читателя впечатление хаотического нагромождения материалов, рассматривавшихся

⁸⁵ Мещанинов И. И. Общее языкознание. С. 20.

в старой формалистической грамматике вне всякой связи друг с другом, разобщенно, в разных разделах грамматики. Н. Я. Марр учил не бояться такого «хаоса». «Вероятно, — писал он в одной из своих работ, — вас начинает тревожить призрак надвигающегося с этими материалами беспорядочного хаоса. Не надо робеть! Это не хаос, а жизнь, и в ее многоликой форме есть естественно-хозяйственный порядок, общественно-психологический закон, который сказывается и в звуках или созвучиях, но при неперменном условии не простой письменно-исторической регистрации, а их палеонтологического учета...»⁸⁶.

Выявление «естественно-хозяйственного порядка» в многоликой форме языковых явлений, установление их «общественно-психологического закона», их познавательной роли и общественно-материальных корней — таковы задачи дальнейшего анализа при переходе от морфологии языка — флективной и нефлективной — к собственно синтаксису.

5. Исландский язык и вопросы периодизации его грамматического строя

В основу настоящего исследования положены материалы древнеисландского языка. Язык малого северного народа, ныне, после многовекового сопротивления датскому гнету, вынужденного отстаивать свою независимость против посягательств американского империализма, нагло включившего Исландию в число своих стратегических баз, представляет значительный интерес. В силу особых условий исторического развития, о которых речь пойдет далее, исландский язык, хотя и претерпел за тысячелетний период развития глубокие изменения в своем внутреннем строе, но внешне — в области звуков и элементарнейших грамматических форм — изменился сравнительно мало. В итоге древнеисландский язык не разделил судьбы других древних языков. Это — не «мертвый» язык; древняя литература на этом языке до сих пор доступна пониманию населения и не нуждается в специальных переводах. Древнеисландский язык воспринимается современным исландцем лишь как особый жанровый язык, язык эпоса и саг. Это своеобразное переплетение современного и древнего языков уже само по себе заслуживает внимания. Еще большее значение древнеисландский язык имеет благодаря богатой оригинальной литературе, сохранившейся на нем, — литературе, превосходящей по своей исторической и художественной значимости все другие древние скандинавские литературы и совершенно уникальной в плане богатейшей документации многих сторон соци-

⁸⁶ ИР. III. С. 12.

ального строя, материальной и духовной культуры, быта и нравов эпохи разложения первобытно-общинного строя и зарождения классового общества в Скандинавии. Многие историко-лингвистические процессы, которые с трудом улавливаются на материале других германских языков, могут быть сравнительно легко прослежены на исландском материале благодаря обильной документации и архаичности языковых памятников.

Древнеисландский язык дошел до нас в памятниках XII–XIII вв., в значительной части восходящих к более ранним временам. В плане настоящего исследования важнейшими литературными памятниками являются эддические песни и родовые саги. Эддические песни, мифологические и героические, содержат много черт архаического языкового строя и могут дать известное представление о структуре речи, предшествовавшей прозаическому языку саг. Датировка эддических песен составляет предмет споров по сей день, но не может быть сомнений в том, что эддические песни сложились и бытовали в устной традиции задолго до их письменной фиксации.

Древнеисландский язык — это отпрыск древнорвежской речи. Заселение Исландии в 870–930 гг. н. э. выходцами из Норвегии перенесло древнорвежскую речь на новую историческую почву, где она получила самостоятельное и самобытное развитие. Сильные переживания родового уклада, общественный строй, охарактеризованный Энгельсом как «военная демократия», только еще намечавшееся классовое расслоение общества и слабые зачатки государственности в виде тинга (вече) — все это привело в Исландии к значительному смягчению конфликта между новой, феодальной, развивавшейся под знаком христианства, идеологией и старой идеологией родового строя. В итоге старое устное литературное творчество не только не исчезло под натиском новых форм идеологии, но впервые получило письменное закрепление и даже стало заботливо культивироваться. Застойное экономическое существование страны в последующие века, отсутствие городов вплоть до сравнительно недавнего времени и особые политические условия содействовали сохранению древнего литературного наследия в народе. Постоянный, начиная с середины XIII в., иноземный гнет, сначала норвежский, а вскоре за ним датский, в самое последнее время сменившийся посягательством американского империализма, грабительская колониальная торговля и пиратские набеги, в сочетании с частыми эпидемиями и вулканическими землетрясениями, опустошавшие страну, борьба народа с социальной верхушкой, подчас склонявшейся к компромиссам с иноземными поработителями, — развивали чувство сопротивляемости маленького народа, неоднократно стоявшего на грани полного вымирания, и приучали его цепко держаться за богатую народную литературу, справедливо видеть

в ней важное средство, борьбы за свою свободу и независимость. Так создалось особое положение, при котором древняя исландская литература и древний язык не умерли и продолжают жить в исландском народе на правах особой разновидности современной литературы и современного языка.

Задача настоящего исследования заключается в определении исторического своеобразия синтаксиса древнеисландского языка сравнительно с предшествующими и последующими этапами его исторического развития. Выявление особенностей синтаксического строя постоянно требует проникновения в закономерный процесс становления грамматических категорий, восстановления картины дописьменного состояния языка на основании реликтовых явлений и раскрытия важнейших тенденций развития древнего языка по направлению к современности. В ряде случаев выяснение закономерностей синтаксического развития требует привлечения материалов других индоевропейских и неиндоевропейских языков, что, разумеется, должно производиться каждый раз с учетом особенностей проявления этих закономерностей в различных языках.

При определении решающих черт строя древнеисландского языка важнейшей задачей, в соответствии с учением Н. Я. Марра, является раскрытие техники мышления древней эпохи в ее увязке с мировоззрением. Как указывал Н. Я. Марр, «без языковедно вскрытых смен техники мышления и с ними связанных коренных смен мировоззрений нет возможности понять четко материалистически, диалектически материалистически ни одно явление в языке»⁸⁷. Историческая трансформация строя языка и строя мышления, «смена как оформления, так и идеологии речи, самой техники формального выявления идеи и техники идеи, образов, представлений и понятий в зависимости от смен техники материального производства и производственных отношений»⁸⁸, — такова цель историко-грамматического исследования в понимании Н. Я. Марра.

Историческая трактовка строя древнеисландского языка должна опираться на периодизацию строя языка и мышления, как она разработана в трудах основателя нового учения о языке. Как известно, Н. Я. Марр не оставил после себя полностью систематизированной и законченной в деталях картины стадийальных смен языка и мышления в их обусловленности сменами в развитии общественного строя и общественного производства. Но и те наброски исторической периодизации языка и мышления, которые содержатся в его трудах, имеют неоценимое значение для исторического исследования грамматического строя.

⁸⁷ Архив Н. Я. Марра, рукопись 412, л. 12.

⁸⁸ Там же, рукопись 1871, л. 44.

В этой связи прежде всего важно выделить понятие первобытно-образного мышления, к которому неоднократно возвращался Н. Я. Марр в своих многочисленных работах. Первобытно-образная речь и первобытно-образное мышление — это речь и мышление древнейшей эпохи, когда «человек имел восприятия в образах с совершенно иными ассоциациями, как это подтверждает яфетическое языкознание, с совершенно иными доисторическими ассоциациями не идей, а образов»⁸⁹. Первобытное «мышление в образах»⁹⁰, как его называл Н. Я. Марр, отличалось особыми связями значений. Люди той эпохи мыслили «без отвлеченных понятий, представлениями в образах и в их нашему восприятию чуждой взаимной связи»⁹¹. Образное имя совмещало в себе, по Н. Я. Марру, целые «пучки», «ряды» и «гнезда» значений, обнаруживая специфический первобытный полисемантизм. «Первоначально, — писал Н. Я. Марр, — в реальности были имена-представления, как бы знаменья, дававшие представление, образ предмета»⁹², а не отвлеченные, самостоятельные понятия, выражающие состав, действие или состояние предмета.

Еще в рамках доклассового общества первобытно-образное мышление сменяется мышлением более сложного порядка, с новыми нормами выявления в речи. Для новой эпохи характерно выделение и сложение простейших родовых понятий и, соответственно, простейших родовых слов. Это эпоха, когда «тотемы в словаре превратились уже в простые родовые слова»⁹³. К исходу эпохи первобытно-образного мышления, по мере развития познания природы и общества совершался процесс разложения первобытных образов. «В противовес привычной нам с исторических эпох ассоциации идей, происходила диссоциация идеи — выделение из единого общевоспринимаемого образа отделившихся уже в сознании частных его видов»⁹⁴. Обособление частных значений многозначных слов-образов в простейшие родовые слова, основанные на учете не только непосредственно воспринимаемых качеств, но также внутренних свойств и потенций вещей, дает переход к новой стадии в развитии языка и мышления. Характеризуя основное направление процесса развития мышления, В. И. Ленин определял его как «бесконечный процесс углубления познания человеком вещи, явлений, процессов и т. д. от явлений к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности»⁹⁵. «Мысль человека, — писал В. И. Ленин, — бесконечно углубляется от

⁸⁹ ИР. II. С. 189.

⁹⁰ ИР. I. С. 280.

⁹¹ ИР. II. С. 129.

⁹² Там же. С. 191.

⁹³ Там же. С. 315.

⁹⁴ ИР. III. С. 32.

⁹⁵ Ленин В. И. Философские тетради. 1947. С. 193.

явления к сущности, от сущности первого, так сказать, порядка, к сущности второго порядка и т. д. без конца»⁹⁶. Эти глубокие мысли имеют непосредственное значение не только для теории познания, но и для истории языка. Переход от первобытно-образного мышления к мышлению простейшими родовыми понятиями отражает рост общественного познания мира и углубление этого познания от явлений к «сущности первого порядка». Первобытно-образное мышление оперировало конкретными представлениями, обобщенными восприятиями вещей, оно отражало предметы в их явлении. На новой ступени развития, которую условно можно было бы назвать эпохой чувственно-сущностной речи и мысли, люди в зависимости от изменившейся общественной практики приходят к новому, более глубокому пониманию мира, к проникновению в сущность вещей. На этой ступени развития вырабатываются первые родовые понятия о вещах, но еще отсутствуют родовые понятия более сложного порядка, как, например, абстрактные слова типа 'животное', 'растение', 'предмет'. Очередной поворот в развитии мышления совершается с переходом к классовому обществу, когда вырабатывается понятийное мышление позднейших эпох, которое, в свою очередь, обнаруживает ряд последовательных стадий в своем развитии, вплоть до выработки мировоззрения социалистического пролетариата и диалектико-материалистического мышления.

Первобытно-образное мышление вырастает, насколько можно судить, на базе практики общественного производства и общественного строя эпохи дикости. Приходящая ей на смену эпоха варварства со свойственными ей новыми типами производственной деятельности и общественными отношениями порождает новый строй мышления, проявляющийся в чувственно-сущностной речи. Древнеисландский язык как язык эпохи разложения доклассового общества и зарождения классовых отношений дает опору для прослеживания процесса перестройки речи при переходе от первобытно-общинного строя к классовому. Вместе с тем многочисленные пережиточные явления в строе древнеисландского языка вынуждают исследователя ставить вопросы, связанные с предшествующим развитием языка, вплоть до проникновения в глубь первобытно-образной речи. Такое углубление исторической перспективы было бы невозможно без привлечения данных языков культурно отставших в своем развитии племен. На необходимость таких сопоставлений указывал Н. Я. Марр: «И до сих пор, — писал он, — благодаря господствующей в школе и в умах, даже у нас в советской стране, индоевропеистической лингвистике с ее формальным методом, никто не может вслед за утверждением Энгельса: “из-за римского рода ясно выглядывает ирокез”, без содрогания не только выста-

⁹⁶ Там же. С. 237.

вить сам, но и хотя бы выслушать действительно лингвистическое положение: “и из-за римского языка выглядывает ирокез”»⁹⁷.

Предпринимаемое здесь исследование строя древнеисландского языка предполагает, таким образом, рассмотрение синтаксических отношений в их историческом своеобразии как в сравнении с идеологически изжитыми и изживаемыми нормами мышления доклассового общества, так и в сопоставлении с нормами более развитого мышления классового общества. Прослеживание исторических закономерностей развития грамматического строя позволит уточнить характеристику отдельных эпох и вместе с тем глубже понять особенности развития специально интересующего нас здесь языка.

Глава I

Партитивное определение

Под партитивным (частичным) определением здесь подразумевается определение, характеризующее предмет по одной из его частей, либо еще определение части по ее отношению к целому. В сочетании *краснощекий мальчик* признак красного цвета, непосредственно относящийся к части целого, к щеке, характеризует целое в отношении его части. В сочетании *присутствовавшие среди гостей женщины* часть целого, в данном случае женская часть собравшихся, определяется по ее отношению к целому (ко всем гостям). Партитивное определение противопоставляется тотальному (целостному). В тотальном определении предмет характеризуется признаком, относящимся не к одной из частей данного предмета и не к более обширному целому, в состав которого входит данный предмет, а к предмету в целом. Примером тотального определения может служить прилагательное *целый* в сочетании *целый день*, или относительное предложение в сочетании *жители села, собравшиеся все как один*.

Партитивное определение — это, таким образом, либо определение целого по части, либо определение части по целому.

1. Партитивные обороты на стадии чувственно-сущностной речи

Тип *þeir Attila*. Синтаксические обороты этого типа принадлежат к числу наиболее своеобразных и архаических явлений строя древнеисландского языка. *Vit Gunnar* в буквальном переводе ‘мы оба Гунар’

⁹⁷ ИР. III. С. 181.

имеет значение ‘мы оба, я и Гунар’; *it Vqlundr* означает ‘вы оба <ты и> Волунд’; *þeir Attila* значит ‘они <т. е. некоторое, ранее упомянутое в тексте, лицо и> Аттила, либо ‘Аттила со своими людьми, со своей дружиной, со своими спутниками’; *þau Hárekr* ‘они <средн. р., как обычно в исландском при соединении слов мужск. и женск. р., т. е. она и> Харек’ либо ‘она и Харек со своими людьми’ и т. д. Нередко называют эти обороты «эллиптическими». Это обозначение, как составленное с претензией на генетическое объяснение явления, явно несостоятельно. Однако именно потому, что наивный историзм в языкознании исходил из единственно ему известного, современного типа мышления как из «нормального» и «естественного», термин обладает некоторым положительным содержанием: в этих оборотах действительно как бы опущены элементы мысли, выражение которых представляется нам теперь крайне существенным и необходимым.

В качестве первого элемента в этих сочетаниях постоянно выступают личные местоимения дв. или мн. числа, в качестве второго — имена собственные либо слова, функционально близкие к ним, как *konungr* ‘конунг’, *móðir* ‘мать’ и др. Второй элемент сочетания согласуется с первым в падеже. Ср. *Nj. 36, 17 gengu þeir Gunnar á tal* ‘они <Ньял и> Гунар вступили в разговор’; *Akv. 42, 3 frá morði þeira Gunnars* ‘они вернулись с убийства Гунара и Хогни’, букв. ‘их <вин. п. > Гунара’; *Ghv. 3, 1–2 Urðoa it glíkir | þeim Gunnari* ‘вы не подобны Гунару и его роду’, букв. ‘им Гунару’; *Akv. 3, 5 at biðja yðr Gunnar* ‘чтобы просить вас с Гунаром’, букв. ‘вас Гунара’. Такие обороты встречаются в древнеисландском и в сочетании с притяжательным местоимением: *Eg. 41, 2 mál vart Egils* ‘наши дела с Эгилем’ букв. ‘наши Эгиля дела’.

Впрочем, в таких оборотах в качестве обозначения множества может встречаться и не местоимение, а в роли приложения не имя собственное: ср. *Vkv. 1, 1–4 Meyiar flugo sunnan | myrkvið í gognum | alvitr unga, | ørlog drýgia* ‘летели девы <валькирии> с юга сквозь темную чашу, <среди них> юная лебедушка, <или, быть может, Альвитр — имя собств.?, на ратное дело’; *Meyiar — alvitr unga* составляют здесь синтаксически полную параллель обороту *þeir Attila*⁹⁸.

Аналогичные обороты встречаются и в англо-саксонском языке: *Beow. 2092, 4000 uncer Grendles* ‘наш <дв. ч., т. е. мой и> Гренделя’, арг. пер. дрс. Кн. Бытия, 387 *unc Adame* ‘нам обоим <мне и> Адаму’. В 3-м лице оборот почти не встречается. Клебер в журн. «Anglia» (XXVII, стр. 402) приводит *hy Osweo* как редкий пример такого оборота.

За пределами германских языков формально тождественный оборот засвидетельствован в романских языках, например в парижском просто-

⁹⁸ См. Dett, прим. к ук. месту.

речи: *nous deux mon homme* 'мы оба с мужем'; *vous deux Charles* 'вы оба с Шарлем'.

К этой конструкции близко примыкает другой тип оборотов, шире представленный в индоевропейских языках. Это аддитивные (присоединительные) обороты вроде русск. *мы с тобой* в значении 'я с тобой', *мы с ним* в значении 'я с ним' и т. п. От исландской конструкции данный тип отличается тем, что здесь второй элемент присоединяется к первому не как приложение, а при посредстве предлога, как в русском, или — союза, как в некоторых других языках. «Аномалия» и «нелогичность», неоднократно отмеченные исследователями относительно оборота с приложением, свойственны указанным оборотам в не меньшей мере.

Конструкции, сходные с русской, встречаются в немецком разговорном языке: *wir mit Herrn N. sind ins Theater gegangen*⁹⁹. В фризском языке представлены обороты с союзом: *wat en min wüf wel Ingang to Komeedi* 'wir beide <d. h. ich> und mein Weib wollen heute Abend zur Komödie' 'мы с женой собираемся сегодня вечером в театр на комедию'. Соответствующие примеры из древнеирландского приводит Циммер: *doronsat sid ocus Fergal* 'они помирились с фергалом', т. е. 'он и фергал'¹⁰⁰. В санскрите, наряду с подобными оборотами, существует еще особый тип *mitrā... varuṇaś ca*, где первый элемент *mitrā* — т. н. эллиптическое дв. ч.¹⁰¹, — сам по себе значит 'Митра и Варуна'. Частичное повторение содержания добавляется при помощи энклитики *ca*: *varuṇaś ca* 'с Варуной'. Вакернагель нашел аналогичное сочетание у Гомера: Ἀϊακτῆ... Τεῦχρόν τε 'они <Аякс и Тевкр> с Тевкром'¹⁰². Кроме того, в греческом относятся сюда сочетания с предлогами ἀμφί: οἱ ἀμφ' Ἀτρείωνα. 'А. и его спутники'; (μετά: οἱ μετά Ἀριάου 'А. и его воины'; περί: οἱ περί Κέχροπα 'К. и остальные судьи'.

Круг рассматриваемых явлений не замыкается рамками индоевропейской языковой системы. Я. Grimm сопоставлял древнеисландский оборот с лопарским: *toj Hansajn* 'мы оба с Гансом' ('Ганс' в творит. пад.); *toj veljajnæte* 'мы с братом'. К сожалению, приходится ограничиться этими случайными ссылками на лопарский, так как систематическим собиранием материала языков других систем никто не занимался.

В каком отношении стоит конструкция с приложением к соответствующим оборотам с предлогом или союзом?

Б. Дельбрюк считает конструкцию с приложением (асиндетическую) более поздней. «Эту асиндетическую конструкцию, — пишет он, — не-

⁹⁹ KZ. 50. С. 56 слл.

¹⁰⁰ KZ. 32, с. 153.

¹⁰¹ См. ниже с. 189 слл.

¹⁰² KZ. 23. С. 302.

легко объяснить. Можно предположить, что конструкция с союзом *и* была уже в праязыке (*in der Urzeit*) и в таком виде перешла в германский праязык, что там однако *и* было опущено для того, чтобы устранить представление о том, будто речь идет больше чем о двух лицах, в результате чего возникла, несомненно, неуклюжая и странная конструкция¹⁰³. Дельбрюк ничем не подкрепляет свое предположение. Ссылка на стремление устранить двусмысленность старого оборота с союзом не может быть принята во внимание, так как конструкция 'мы <оба> А.' несколько не точнее, чем оборот 'мы с А.' или 'мы и А.' в значении 'я и А.'. Единственный смысл такого допущения состоит в том, чтобы «объяснить» «аномалию» как результат ряда постепенных и незаметных отклонений от современной нормы. Дельбрюк изображает целую цепь таких изменений, при этом в роли повивальной бабки развития выступает у него контаминация. Обороты 'А. и Б. пришли' и 'А. пришел с Б.' рождают будто бы путем смешения оборот 'А. с Б. пришли'. Если А. не имя нарицательное, а местоимение 1-го или 2-го лица, то она объединяется с Б. в местоимение мн. ч. 'мы' или 'вы', а Б. присоединяется с предлогом. Так получается оборот вроде русск. *станем мы с тобой жить*¹⁰⁴. Сходным образом «выводит» он обороты с союзом. «Нормальные» обороты 'я пришел и А. <пришел>' и 'я и А., мы пришли' приводят, де, к образованию «аномального» типа 'мы пришли и А.', представленного в кельтском, санскрите и других языках. Стоит лишь удалить союз из такой конструкции, чтобы получить древнеисландский оборот 'мы А. пришли'.

Это псевдонаучное рассуждение типично не для одного только Дельбрюка¹⁰⁵. Лжеисторический метод стирания острых углов и качественных различий характеризует порочные методологические установки индоевропеистики в разработке вопросов истории языка.

Как бы спохватываясь и видя искусственность и натянутость своих «объяснений» применительно к исландской конструкции, Дельбрюк выдвигает еще одно предположение. «Естественнее было бы, — замечает он, — выделить эту конструкцию вообще и допустить, что имя собственное служит для того, чтобы путем добавления третьего лица уточнить значение местоимения, из содержания которого непосредственно дана лишь половина, а именно говорящее лицо или собеседник. При таком понимании А. (в конструкции типа 'мы <оба> А.', — С. К.) оказалось бы приложением, и оборот в целом не попал бы в область контаминации».

¹⁰³ Vgl. Synt. III. С. 257 сл.

¹⁰⁴ Там же. С. 255 сл.

¹⁰⁵ Таким же примерно путем «решает» эту проблему и Эд. Германш: KZ. 50. С.

Признание второго элемента конструкции приложением является уже некоторым шагом вперед. Но в целом аргументация Дельбрюка глубоко ошибочна. Как увидим, нет оснований отрывать исландскую конструкцию от типологически родственных оборотов с союзом или предложением. Кроме того, порочен сам по себе взгляд на обороты с местоимением дв. ч. 1-го и 2-го лица как на первичный очаг явления в целом. Достаточно окинуть взглядом материалы разных языков, чтобы убедиться, что Дельбрюк далек от истины.

Оборот типа *vit Gunnar* и типологически родственные ему обороты — явление, несомненно, вымирающее. Круг употребления этого оборота в древних языках шире, чем в новых. Границы его в ряде языков в итоге развития свелись к дв. ч. 1-го и 2-го лица. Пережиточные формы этого типа могут долго сохраняться в разных языках, но смысл их ограничивается. Употребление реликтовых оборотов в языках позднейшего строя возможно лишь при условии ограничения и уточнения их значения. В русском языке, несмотря на формальное отсутствие дв. ч., представление о паре содержится в означенных конструкциях в скрытом виде, что подчеркивает их идиоматический и пережиточный характер. Если фраза кажется нам сомнительной, мы непременно добавим, во избежание недоразумений, *вдвоем: мы с тобой вдвоем, они со стариком вдвоем* и т. д. Таким образом, то, что Дельбрюк рассматривает как первоначальный источник и зародыш явления, есть в действительности остаточный его сектор, сравнительно безболезненно переживающий в ряде языков. Дельбрюк, следовательно, и в другом своем предположении исходит из промежуточного, более близкого к современной норме типа, вместо того, чтобы учесть своеобразие явления в целом.

Как приложение расценивают второй элемент конструкции ‘мы <оба> А.’, ‘они А.’ и т. д. и многие другие буржуазные языковеды. О. Бехагель (Dt. Synt., стр. 426) также пытается объяснить происхождение этого явления, но его объяснения по методу и по результатам мало чем отличаются от попыток Дельбрюка. «Эллиптический» оборот *þeir Þorgeirr* ‘они Торгейр’, т. е. ‘он с Торгейром’, он бесхитростно, при помощи контаминации, выводит из «простых» и «логических» сочетаний типа *hann Þorgeirr* ‘он, Торгейр’ и *þeir fostbræðr* ‘они, сводные братья’. Иначе говоря, оборот с партитивным определением он разъясняет как результат случайного смешения двух между собой не связанных оборотов с тотальным определением. Как могло произойти такое смешение незаметно для самих говорящих, он не считает нужным объяснить. Приводимые другими зарубежными исследователями объяснения — все в этом же духе, и я на них дольше останавливаться не буду.

Какова же грамматическая и семантическая природа исходной конструкции *þeir Attila* и аналогичных ей? — Развязать этот узел возможно,

лишь отказавшись заранее от всяческих попыток сведения древних конструкций к современным «нормальным» и «естественным» оборотам. Признание закономерности так называемой «эллиптической» конструкции для определенной глоттогонической эпохи составляет, таким образом, необходимое условие, без которого немислимо правильное решение вопроса.

Что поражает нас в конструкции *þeir Attila* и вместе с тем делает ее неприемлемой для нашего сознания? — Имя собственное в этой конструкции является приложением, грамматическим атрибутом, смысл которого состоит в уточнении коллектива, расплывчато обозначенного местоимением. Определение имени собственного как приложения само по себе, однако, еще крайне недостаточно для понимания своеобразия этой формы. Перед нами партитивное приложение особого рода, невозможное в современных языках. Мы можем сказать 'они, А. и Б.', но не можем сказать 'они, А.' или 'они, Б.' и непременно добавим для точности 'они, в том числе и А.', 'они, среди которых был А.' и т. п.

Разница между древними и современными языками заключается здесь, таким образом, в том, что новые языки полностью исключают употребление приложения в партитивном значении. Но чем объясняется подобный ход развития? Стремлением разграничить партитивное и тотальное определение его, очевидно, объяснить нельзя. Ведь и в древнем языке тотальный оборот 'они, А. и Б.' и партитивный 'они, А.' были разграничены. Кто бы мог принять приложение 'А.' в обороте 'они, А.' за тотальное определение? Уже лексический состав данного словосочетания сам по себе исключал опасность смешения и путаницы. Если древнее партитивное приложение в ходе дальнейшего развития оказалось по сути дела вытесненным, то это объясняется другими причинами.

Партитивное определение в современных языках противопоставлено не только тотальному определению, но также еще особому разряду определений, которые можно было бы назвать *о п р е д е л е н и я м и п р и ч а с т н о с т и*. Сопоставим синтаксические сочетания *петровы люди; они, имеющие отношение к Петру; окружающие Петра люди, с одной стороны, и они, в том числе и Петр, среди которых был Петр*, — с другой. Собственно партитивными можно назвать лишь сочетания второго типа, где лицо (Петр), упоминаемое в определении, входит в определяемое множество, как его составная часть. Что касается сочетаний первого типа, то в них лицо приводится в целях определения коллектива, в состав которого оно не входит. Лицо в примерах первого рода всегда каким-то образом причастно к коллективу, но не является его составной частью. В древнем языке категории партитивности и причастности остаются неразграниченными. Оборот *þeir Attila*, букв. 'они, Аттила', мог в древнем языке иметь не только партитивное значение 'они, в том

числе и Аттила', но также значение причастности 'Аттиловы люди', 'люди из свиты или войска Аттилы'.

Совмещение значений партитивности и причастности особенно ярко проявляется в древнегреческих сочетаниях типа *οἱ περὶ τὸν Περικλέα, οἱ ἄμφι τὸν Σωκράτην*, букв. 'те, что вокруг Перикла', 'те, что с Сократом'. Эти обороты могли против ожидания иметь не только причастное значение, как их буквальные переводы на современные языки, но и партитивное значение 'Перикл и его люди', 'Сократ и его окружение'. Когда в современном языке мы употребляем определение причастности, мы всегда стремимся его уточнить. Мы различаем ряд возможных отношений между упоминаемым лицом и коллективом. Между тем, древнегреческое сочетание выражает идею причастности к коллективу в самом общем виде. Сочетание *οἱ ἄμφι Δημοσθένην* могло означать в древнем языке не только 'окужавшие Демосфена люди', но и 'Демосфен и его окружение' и даже 'люди, по занимаемому положению подобные Демосфену'.

Из сказанного следует, что исчезновение партитивного приложения в ходе развития объясняется стремлением к разграничению партитивных определений, в собственном смысле слова, и определений причастности. Конечно, такое объяснение не является полным, так как происхождение самого «стремления» остается неясным; необходимо еще выяснить, почему такое стремление отсутствовало в древнем языке и почему в последующие эпохи оно проявляется с непреодолимой силой. Временно, однако, ограничимся сделанными замечаниями, с тем, чтобы, по рассмотрении необходимых материалов, вернуться к этому вопросу еще раз.

Сопоставление партитивного определения и определения причастности важно еще в одном отношении, и мы несколько задержимся на нем. В партитивном определении 'они, в числе которых были А. и Б.' к множеству, выраженному местоимением, ничего не добавляется; лица А. и Б. мыслятся здесь как заранее включенные в состав обозначенного множества. Мы можем сказать, что 'они' имеет здесь включающее (инклюзивное) значение. В определении причастности 'они, имеющие отношение к А. и Б.' местоимение имеет исключающее (эксклюзивное) значение: лица Д. и Б. не входят здесь в состав множества, а как бы присоединяются к нему извне в целях более точного определения данного множества. Характеризуя разницу между древними сочетаниями и современными, мы, следовательно, можем еще сказать, что в древнем языке не были разграничены инклюзивное и эксклюзивное значения в только что указанном смысле. 'Они совместно с А.' и 'они, в том числе и А.' формально не различались. Именно поэтому употребление местоимений в древнем языке производит на нас подчас впечатление недопустимой неряшливости. Ср. *Nj. 3, 12 þeir gengu tólfsaman, ok váru þeir allir frændr ok vinir*, букв. 'они пошли сам-двенадцать, и были они все их сородича-

ми и друзьями'. Мы теперь сказали бы: 'они <т. е. ранее упоминавшиеся Хрутр и Оцур> пошли вместе с десятью другими, и были все те их родственниками и сородичами', или еще точнее 'всего их пошло двенадцать человек, и были все они родственниками между собой и друзьями'. Мы не позволили бы себе употребить три раза подряд *þeir* 'они' то в инклюзивном, то в эксклюзивном значении. Аналогично обстоит дело в примере: Nj. 53, 13 *Otkell sagði Rúnólfi allt, hversu fór með þeim Gunnari*, букв. 'Откель поведал Рунольфу обо всем, что имело место у них с Гунаром' в смысле 'Откель поведал Рунольфу о том, что произошло между ним <Откелем> и Гунаром'.

В тесной связи с неразграниченностью инклюзивного и эксклюзивного значений в древнем языке находится полисемантизм партитивного определения. Приложение *Attila* в обороте *þeir Attila* получает в древнем языке то собственно партитивное значение ('они, в числе которых был и А. '), то значение причастности ('они, имевшие какое-то отношение к А. '). Разница между собственно партитивным определением и определением причастности заключается в том, что партитивное определение не присоединяет новых единиц к данному множеству, оно упоминает лиц, уже входящих в состав данного множества, в то время как определение причастности имеет присоединительное (аддитивное) значение. Если я говорю: *те семеро людей, среди которых были А. и Б.*, то всего людей было 7, если же я говорю: *те семеро, что причастны к А. и Б.*, то всего людей уже не 7, а 9.

Теперь становится ясной связь между исландскими оборотами типа 'они А.' и аддитивными оборотами типа 'они с А.' в других древних языках. В современных языках оборот типа 'они с А.' возможен только в присоединительном (аддитивном) значении, т. е. в том смысле, что к множеству, обозначенному местоимением 'они', приращивается еще единица. В древних же языках, как было показано, различие между партитивным определением, лишенным присоединительного значения, и определением причастности, присоединяющим к множеству новую единицу или ряд новых единиц, не было еще выработано. В силу этого партитивное приложение древних языков могло иметь оба значения. Но по той же самой причине и аддитивная конструкция 'они с А.' могла в древнем языке иметь не только присоединительное значение, но и выступать в роли партитивного определения. Позднее, с образованием современных языков, аддитивная конструкция либо полностью лишается значения партитивности, либо же пережиточно сохраняет его в случаях, которые не могут породить недоразумений. Так, например, в сочетании *мы с тобой вдвоем* или *они троим с ним*, хотя перед нами и партитивные определения, но числовые определители *вдвоем*, *троим*, стоящие рядом, заранее уточняют здесь численный состав множества и исключают возможность

истолкования оборота в присоединительном смысле. Такие обороты в современных языках как бы предупреждают собеседника с самого начала: 'мы с тобой, а всего нас только двое', 'они с ним, но всего их только трое'. В случае, если общий контекст речи или ситуация сами по себе проясняют смысл, эти числовые определители могут быть опущены.

После предварительного анализа простейших партитивных и аддитивных оборотов мы можем теперь перейти к рассмотрению внешне более сложных сочетаний в древнеисландском, выделенных Нюгордом (Norr Synt, § 74) под названием «смешанных оборотов» (*blandede udtryk*) и Краузе¹⁰⁶ — под именем «плеонастических оборотов». В качестве примера такого оборота можно привести Eg. 40, 7 *ef þú, konungr! ok þit Gunnhildr hafid þat einráðit* 'если ты, конунг, и Гунхильд так порешили', букв. 'если ты, конунг, и вы вдвоем с Г. так порешили'. Оборот этот рассматривается Нюгордом как результат смешения более простых сочетаний: *þú konungr ok Gunnhildr* 'ты, конунг, и Г.' и *þit Gunnhildr* 'вы с Г. вдвоем', букв. 'вы оба Гунхильд'.

Общий характер подобных «смешанных» оборотов можно выразить схематически в виде формулы *A. ok þeir B.* Сочетания этого типа встречаются чрезвычайно часто, настолько часто, что если признать «смешанный» оборот ошибочным, то окажется, что «ошибки» и «исключения» этого рода составляют в древнеисландском языке правило. «Плеонастический» характер подобных оборотов, т. е. наличие в нем излишних с современной точки зрения деталей, особенно резко бросается в глаза в таких примерах, как: Eg. 82, 7 *þú, Steinarr! ok þit Qmundr*, букв. 'ты, Стейнар, и вы вдвоем с Онундом', т. е. 'вы, Стейнар и Онунд'; Eg. 63, 8 *Eiríkr, bróðir minn,... ok þau Gunnhildr bæði* 'Эйрик, брат мой, и они вдвоем с Гунхильд', т. е. 'Эйрик и Гунхильд'; Eg. 49, 11 *Eiríkr konungr ok þau Gunnhildr* 'Эйрик конунг и Гунхильд'; Eg. 31, 1 *Skallagrímur ok þau Bera áttu börn mjök mörg* 'Скалагрим и они с Берой <т. е. Скалагрим и Бера> имели очень много детей'; Eg. 27, 1 *Kveldulfr ok þeir Skallagrímur* 'Квелдульф и они с Скалагримом', т. е. 'Квелдульф и Скалагрим'. Повторение несколько менее заметно, когда соответствующие элементы во фразе разъединены: Qos. 40, 8 *Konungsdóttir færir nú sæti sitt ok þau Hárekr* 'дочь конунга под села ближе и с нею Харек', букв. 'и они с Хареком'; Qos. 7, 5 *Odðr snýr þegar brot með byrlan ok þeir Ásmundur* 'Одд повернул тотчас прочь с кравчим и Асмундом', букв. 'и они с А.'; Eg. 62, 8 *fjár þess, er Eiríkr konungr rænti mik ok þeir Bergunndr* 'того богатства, что лишили меня конунг Эйрик и Бергонунд', букв. 'они с Б.'; Sk. 47 *þá sagði Bikki, at þat var betr fallit, at Randverr ætti Svanhildi, er hann var ungr ok bæði þau, enn Jormunrekr var gamall* 'тогда Бики сказал, что было бы лучше,

¹⁰⁶ KZ. 52. С. 223 слл.

если бы Рандвер женился на Сванхильд, ибо он и она были молоды, а Йормунрек стар', букв. 'ибо он был молод и они оба'.

Рядом с типом *A. ok þeir B.* как замена простого сочетания *A. ok B.* в древнеисландском встречается и обратный по порядку элементов тип *þeir A. ok B.* Так, отрывок, данный в приложении к *Þorv. þ.*, носит заглавие *þeir Óláfr funduz ok Þorvaldr*, букв. 'они с Олафом встретились и Торвальд', т. е. 'Олаф и Торвальд встретились'. Ср. еще примеры из упомянутой статьи Краузе: *ok nú áttu þeir Vémundr kaup saman ok sveininn* 'и вот заключили они с Вемундом сделку между собой и юноша', т. е. Вемунд с юношей; *Harð. 21 Ok urðu þeir Hqrðr sekir ok Helgi baðir* 'и стали Хорд и Хельги изгоями'; *Vatnsd. 44 þeir Ormr sátu í qndvegi ok hans menn* 'О. и его люди сидели на почетном месте'.

Краузе готов признать такого рода обороты исходными для конструкции в целом. Такое предположение может показаться заманчивым, поскольку отличие такого сочетания от «нормального» заключается, на первый взгляд, лишь в порядке слов. Стоит изменить этот порядок, как исчезнут всякие «вопросы»: предложение *ok nú áttu þeir, Vémundr ok sveininn, kaup saman* 'и вот заключили они, Вемунд и юноша, сделку между собой' ничем не отличается от соответствующих предложений в новых языках.

Что, однако, дает нам право безоговорочно сближать явления древнего и нового языков? Не указывают ли «аномальные», с точки зрения более позднего языка, обороты, что мысль в древнем языке двигалась иначе, чем теперь? Из сопоставлений с новыми языками напрашивается, скорее, вывод, обратный тому, который делает Краузе: даже в тех случаях, когда имеет место полное совпадение древней и новой структуры, формальное сходство, быть может, скрывает существенные расхождения смысла. В самом деле, откуда известно нам, что др.-исл. *Eg. 64, 3 skiljaz þeir Þorsteinn ok Egill* следует синтаксически разложить так же, как, скажем, русск. *они, Торстейн и Эгиль, расстались*? Откуда мы знаем, что собственные имена вместе являются приложением к местоимению *þeir* 'они'? Такое убеждение основано целиком на мыслительных и грамматических навыках, вынесенных из знания современных языков. Между тем, поскольку древний язык дает какие-то объективные основания для суждений по этому вопросу, можно считать, что в таких случаях допускалась партитивная конструкция и что сочетание *þeir Þorsteinn ok Egill* с точки зрения древнего языка можно было разложить двояко: *þeir, Þorsteinn ok Egill* (с тотальной аппозицией, как в новых языках) и *þeir Þorsteinn + Egill*, где *Egill* партитивный элемент, характеризующий и уточняющий состав группы *þeir Þorsteinn*. Предложение *skiljaz þeir Þorsteinn ok Egill* могло, следовательно, в древнем языке синтаксически совпадать с приведенными выше предложениями типа *þeir Óláfr funduz*

ok Þorvaldr 'Олаф с Торвальдом встретились', букв. 'они с Олафом встретились и Торвальд'. Как бы то ни было, задача состоит не в том, чтобы растворить «аномальный» партитивный тип в нормальном и понятном нам строе предложения, как это делают Краузе и другие исследователи-индоевропейцы, а в том, чтобы признать и объяснить самый факт, что в древнем языке, наряду с обычными конструкциями, допускалась в чрезвычайно широких пределах и чуждая позднейшим языковым и мыслительным привычкам партитивная форма.

«Плеонастические» обороты *A. ok þeir B.* или *þeir A. ok B.* принимают более простой вид, когда специфический элемент *þeir A.* или *þeir B.* заменяется более простым обозначением. Ср. Eg, 81, 50 *þú, Steinnar, ok þit feðgar* 'ты, Стейнар, и вы, отец с сыном', т. е. 'ты, Стейнар, с отцом своим'; Eg. 76, 4 *ok Egill var til brottfarar búinn, þá fylgdi Þorfinnr honum ok þeir feðgar* 'и когда Эгиль снарядился в путь-дорогу, тогда последовал за ним Торфин с сыном', букв. 'Торфин и они, отец с сыном'; Eg. 53, 6 *Adils Jarl ok þeir bræðr* 'Ярл Адильс с братом', букв. 'и они братья'; Eg. 50, 8 *konungr bað Þórólf ok þá bræðr* 'конунг попросил Торольфа и его брата', букв. 'и их братьев'. Ср. еще примеры из статьи Краузе: *Arngeirr... ok þau hjón* букв. 'А. и супружеская чета', т. е. 'А. с женой'. Примеры с обратным порядком составных частей: *réðu þeir bræðr þá landi ok Sveinn Hakonarson*, букв. 'управляли тогда братья страной и С., сын Г.', т. е. 'С. с братом управляли страной'; *þau váru skyldir mjök ok Véfriðr, kona Sigurðar á Gnúpi*, букв. 'они были близкими родственниками и В., жена Сигурда', т. е. 'он и В. были близкими родственниками'; *þau váru jafngömul ok Viglundr* 'они были сверстники и В.', т. е. 'она, Кетилрид и В.'; *þeir gerðuz vinir miklir ok Holmkell at Fossi*, букв. 'они стали большими приятелями и Х.' Легко заметить, что обороты последнего типа полностью совпадают с фризской конструкцией *wat en min wüf* 'мы оба и моя жена' (аналогично в кельтском и других языках). От русских оборотов они отличаются союзом. Если заменить в последнем примере союз предлогом, то получится аналогия русской конструкции 'они стали большими приятелями с Х.'

В рассмотренных нами сложных оборотах во многих случаях можно усмотреть желание уточнить смысл исходной конструкции типа *þeir A.* Особенно заметно такое стремление выступает в фразах типа *þeir Óláfr funduz ok Þorvaldr* 'они с Олафом встретились и Торвальд', в смысле 'О. и Т. встретились'. Фраза строится здесь так, как если бы говорящий механически употребил оборот *þeir Óláfr* 'они с Олафом', а затем, спохватившись, что могут возникнуть недоразумения, добавил: *ok Þorvaldr* 'и Торвальд'. Если это так, то такие сочетания свидетельствуют о сумерках древней конструкции.

Еще больше надвигающийся закат древней конструкции заметен в фразах, в которых появляется числовой определитель в целях уточнения

состава того множества, о котором идет речь, ср. (из Краузе): *Þorir ok þeir IX fostbræðr* 'Т. и его восемь приемных братьев', букв. 'Т. и они девять братьев'. Очень часто числительное в таких оборотах сопровождается, во избежание сомнений, наречием *saman* 'итого, всего'. Ср. (из Краузе): *Asgautr ok þeir XII saman*, букв. 'А. и двенадцать в общей сумме'; *En Harðverkr var aprt ok þau XII saman* 'а Х. был позади с одиннадцатью другими'; *Kom Bárðr í Tungu með brúðina ok þau XII saman* 'пришел В. с невестой и десятью другими'. Gunnl. 2, 12–13 *ok riðu þeir heiman of daginn þrír saman ok huskarl Þorsteins* 'и выехали они из дому в тот же день втроем с работником Торстейна', т. е. 'выехали Торстейн, его гость Бергфин и работник'. Что опасность недопонимания стала с течением времени весьма серьезной, доказывает следующий пример. В *Fóstbræðrasaga* рассказывается (54, 31): *Þorgeirr var á skipi út ok þeir níu saman* 'Торгейр был на корабле, и всего их было девять человек'. В другом месте саги, однако, встречаем: *Þorgeirr Hávarson ok þeir IX menn, er fellu með Þorgeirri* 'Торгейр и те девять человек, что пали вместе с Торгейром в битве', итого, следовательно, десять человек. Другая версия саги исправляет текст: *þeir kendu þar Þorgeirr Hávarson ok þeir VIII menn, er fellu með honum* 'они нашли там Торгейра и тех восемь человек, что пали вместе с ним'.

В той же функции, что *saman*, встречаются и другие определители: *badir* 'оба', 'вдвоем', *allir* 'все'. Например Eg. 64, 14 *þa gekk Friðgeirr ok bæði þau Guða* 'Фридгейр пошел вдвоем с Гидой'; Eg. 8, 9 *fór þá Kari heim til búa sinna ok þeir Eyvindr báðir* 'поехал тогда Кари домой вдвоем с Эйвиндом'; *Björn ok þeir skipverjar allir* 'Б. и все его спутники по плаванию'.

Несколько слов о принятой в формалистической грамматике терминологии этого вопроса. Конструкцию типа *þeir Óláfr funduz ok Þorvaldr* нередко, как упоминалось, называют «плеонастической», давая этим понять, что в такой конструкции содержатся излишние повторения. С другой стороны, исходную конструкцию типа *þeir A.* нередко называют «эллиптической», желая этим сказать, что в такой конструкции содержатся пропуски, что, дополнив такую конструкцию, можно привести ее к «нормальному» виду. Различие обозначений не имеет здесь существенного значения; каждая из этих конструкций может быть охарактеризована и как «эллиптическая», и как «плеонастическая». Термины «плеоназм» и «эллипсис» отражают здесь по сути дела одно и то же явление с разных точек зрения. Первое понятие означает, что древнюю конструкцию можно примирить с современным способом выражения путем отсечения «излишнего» приложения в обороте *þeir Gunnar* или, что то же, *A. ok B.* в сочетании *þeir A. ok B.* Второе же — подчеркивает неполноту приложения и в качестве выхода намечает дополнение приложения *Gunnar* до размеров нормального в современных языках приложения *hann ok Gunnar*

‘он и Гунар’. «Эллиптическими» с этой точки зрения можно считать и разобранные выше «плеонастические» обороты, поскольку и там присоединяемый с помощью союза элемент можно, дополнив, превратить в «нормальное» приложение. Так, в сочетании *Arngeirr ok þau hjón* достаточно добавить к А. недостающий элемент, чтобы превратить сочетание в «нормальное»: *Arngeirr ok kona hans, þau hjón* ‘А. и его жена, супружеская чета’. Порочность обоих терминов заключается в том, что они создают ложное представление о происхождении данных синтаксических форм. Эти термины могли возникнуть лишь в результате обычной в индоевропеистике модернизации древних отношений. Аномальные с современной точки зрения обороты рассматриваются здесь как результат временного нарушения «естественного» и «вечно остающегося в своих существенных чертах неизменным» состояния. Генетически, следовательно, эти термины бессмысленны.

В заключение необходимо кратко остановиться на характере тех комплексов, о которых идет речь в древнеисландских партитивных конструкциях. Это всегда не случайное соединение лиц, а некое конкретное множество, конкретная группа, выступающая нераздельно в сознании той исторической эпохи. Это ‘супружеская чета’, ‘родители’, ‘отец и сыновья’, ‘родные или сводные братья’, ‘семья с челядью’, ‘сородичи’ и ‘друзья’, ‘конунг и его дружина’, ‘спутники по плаванию или по походу’. С этими группами нам еще придется неоднократно столкнуться в ходе исследования. Эти группы — не случайные соединения самостоятельных и друг от друга независимых единиц. Как правило, речь идет об общественных коллективах, постоянно объединенных вокруг старшего в роде, семье, вокруг конунга и т. д. Представление о целом доминирует здесь над отдельными частями. Коллектив в его постоянных границах предполагался каждый раз известным слушателям. Отношения внутри такой группы представлялись сознанию той эпохи столь тесными, что одно имя главы группы вызывало в сознании представление о группе в целом, и наоборот. Эта черта древнего сознания особенно рельефно выступает в Эдде. Здесь нередко говорится об одной дружине, когда имеется в виду и ее предводитель, либо упоминается один предводитель, когда подразумевается все войско. Так как отдельные лица, входящие в состав такого коллектива, постоянно мыслились только в отношении к данному коллективу, то говорящий без риска остаться непонятым мог соотносить отдельных членов коллектива со всем коллективом в целом вместо того, чтобы соотносить отдельные части между собой. Древние говорили *А. и братья* вместо *А. и его брат*, *они Б.* вместо *Б. и его дружина*, не вызывая недоумений, которые могли бы быть вызваны подобными оборотами в современных языках. Мы можем, следовательно, сказать, что рассмотренные выше обороты свидетельствуют о тенденции

архаической логики рассматривать отношение части к другим частям сквозь призму доминирующего отношения части к целому.

Этот вывод, сделанный на материале одной, хотя и чрезвычайно распространенной, конструкции, может показаться недостаточно обоснованным. Мы переходим поэтому к рассмотрению других сторон древнего языка, в которых проявляется эта своеобразная черта архаического мышления.

Тип *Geschwister*. Типологически к партитивной конструкции *þeir Attila* близко примыкает словообразовательный тип, условно обозначаемый здесь немецким словом *Geschwister*. Смысловая структура слов, относящихся к этому типу, во многом воспроизводит своеобразный ход мысли, лежащий в основе древней партитивной конструкции. В древнеисландском к этому типу относятся слова:

- 1) *fedgin* n. pl., производное от *faðir* 'отец', в значении 'отец и мать, родители';
- 2) *fedgar* m. pl., также производное от *faðir*, в значении 'отец и сын(овья)';
- 3) *mæðgin* n. pl., производное от *móðir* 'мать', в значении 'мать и сын(овья)';
- 4) *mæðgur* f. pl., производное от *móðir*, в значении 'мать и дочь', 'мать и дочери';
- 5) *systkin* n. pl., производное от *systir*, в значении 'брат и сестра', 'братья и сестры'.

Семантически это сплошь обозначения отношений родства. Поражает в этих словах то, что носители родственных связей в них представлены односторонне: слово, обозначающее 'отец и мать', произведено лишь от слова 'отец', слово, обозначающее 'братья и сестры', произведено лишь от слова 'сестра'.

В других германских языках исландским примерам соответствуют: готск. *faðrein* в употреблении с артиклем мужского рода мн. ч. — *patrīa* ('род', позднее 'родители'). Сюда же немецк. *Geschwister* 'брат и сестра', 'братья и сестры', датск. *søskende*, норв. *syskin*, шв. *syskon* в том же значении.

Отличающиеся по форме, но сходные по смысловой структуре образования широко представлены и в других индоевропейских языках. В древнерусском аналогом таких образований является встречающееся в Лаврентьевской летописи [изд. 1926 г., стр. 83, л. 27, 6491 (983) г.] слово *отъника*. Образованное при помощи словообразовательного суффикса от слова *отец*, оно означает 'отец и сын'¹⁰⁷. Форма мн. числа

¹⁰⁷ Этими сведениями я обязан проф. Ф. П. Филину.

также могла выступать как средство образования подобных слов. Как предполагает проф. А. В. Миртов, таково происхождение русских фамилий на *-ов*. Являясь по способу образования формами род. пад. мн. ч., фамильные имена вроде Иванов, Петров и т. д. восходят к формам именит. пад. мн. ч. *Иваны, Петри*, в значении 'Иван и его жена', 'Петр и его жена'. В некоторых крестьянских говорах редкие пережитки такого именованья сохранялись до недавнего времени (*вон Иваны идут*, т. е. 'Иван с женой'; — *Ты, мальчик, чей? — Я Иванов*, т. е. 'отца Ивана с матерью').

Использование форм дв. или мн. ч. в подобном значении (т. н. «эллиптическое» дв. или мн. ч.) известно также в других индоевропейских языках. Таковы в санскрите: *mitrā* (дв. ч.) в значении 'Митра и Варуна'; *pitārau*, букв. 'оба отца', в значении 'отец и мать'. В греч. Αἴαντε 'Аякс и Тевкр'; позднегреч. πατέρες 'родители'. В поздней латыни: *Castores* 'Кастор и Полукс'; ср. также *Quirini* 'Квирина <т. е. Ромул> и Рем'; *fratres* 'Geschwister'; *patres* 'родители' (аналогично исп. *padres*).

За пределами индоевропейских языков могу указать лишь случайные аналогии: арабск. *al-'abaūāni* дв. ч. 'родители'; *al-mašriqāni* 'восток и запад'; *al-qamarāni*, букв. 'оба солнца', в значении 'солнце и луна'; *al-'Omarani* 'Омар и Абу-Бекр'¹⁰⁸; в палеоазиатских языках: кетск. *obyŋ* (мн. ч. от *op* 'отец') 'родители', тождественно по значению *ætəŋ* (мн. ч. от *æt* 'мать')¹⁰⁹. В коми-пермяцком языке примерами подобных образований могут служить *Москва-сай* в значении 'Москва и другие города', *Улан-сай* 'Улан со своими товарищами'¹¹⁰. В китайских диалектах пережиточно сохранились такие формы, как *ep* 'отец и сын', 'отец и дочь' от *e* 'отец' плюс суффикс *-p*; *нянр* 'мать и сын', 'мать и дочь' от *нян* 'мать'; *гэр* 'старший и младший брат', от *гэ* 'старший брат'; *цзер* 'старшая и младшая сестра' от *цзе* 'старшая сестра'¹¹¹.

Впрочем, помимо образований типа *Geschwister*, в германских языках встречается также и эллиптическое мн. ч., формально более близкое к эллиптическому дв. ч. (*dvanduadualis*). Ср. в Эдде *Vsp. 6 niðiom*, где *nið* 'новолуние' имеет значение 'фазы луны' и стоит вм. *nú ok nið* 'полнолуния и новолуния'; Веов. 2353 *Grendeles mægum* Тренделю и его матери'. Сюда же, возможно, и исл. *milli sólsetra* 'между восходом и заходом солнца', букв. 'между закатами солнца'¹¹².

¹⁰⁸ Brockelmann C. Grundriss d. vgl. Grm d. semitischen Sprachen. С. 57.

¹⁰⁹ Языки и письменность народов Севера. III. 1934. С. 238.

¹¹⁰ Факты из коми-пермяцкого языка сообщены мне безвременно скончавшимся талантливым исследователем этого языка И. И. Майшевым.

¹¹¹ Сведениями из китайского языка я обязан проф. А. А. Драгунову.

¹¹² Dett., прим. к *Vsp. 6, 5*.

Особенность образований типа *Geschister*, равно как и эллиптического дв. и мн. чисел, становится особенно наглядной при сопоставлении их с такими образованиями, как дрвн. *sunufatarungo* 'отец и сын' (в другом толковании 'воины отца и сына'), дрс. *gisunfader* 'отец и сын', агс. *suhtergefæderan* m. pl. 'дядя и племянник'; агс. *aþumswerian* 'зять и свекор'. В таких образованиях (правда, в весьма своеобразной форме) упоминаются оба элемента отношения, в то время как в словах типа *Geschister* название комплекса возникает как производное от одного элемента отношения. Таким образом, в образованиях типа *Geschister*, как и в рассмотренных оборотах *þeir Attila*, проявляется отмеченное выше свойство древнего языка: вместо сопоставления и сочетания частей односторонне характеризуется целое; отношение одного элемента к целому здесь замещает отношение частей между собой. Впрочем, что касается форм дрвн. *sunufatarungo*, дрс. *gisunfader*, агс. *suhtergefæderan*, то В. Краузе склонен производить их от *fatarungo(a)*, *gifader*, *gefæderan*, первоначально слов типа *Geschister*. Элементы *sunu-*, *sun-*, *suhter-* могли быть присоединены позднее, когда структура древних слов стала непонятной. Такое предложение опирается на тот факт, что в этих соединениях менее важный элемент стоит, против ожидания, на первом месте¹¹³.

Эд. Герман пытался вывести аддитивные обороты типа «мы с тобой» из особенностей эллиптического дв. ч.¹¹⁴ Обороты типа *mitrā... varunaś ca* и т. п. (см. выше, стр. 189) могли с его точки зрения возникнуть потому, что к эллиптическому дв. ч., значение которого с течением времени затемнилось, стали прибавлять в целях достижения ясности слова, частично повторяющие содержание эллиптического дв. ч. Эд. Герман не видит того, что конструкция *mitrā... varunaś ca* воспроизводит на расширенных основаниях то, что специфично для эллиптического дв. ч., отдельно взятого. Ссылка на эллиптическое дв. ч. поэтому не решает задачи, а лишь отдаляет это решение. Выход из заколдованного круга подобных «объяснений» может быть найден лишь в одном направлении: следует отказаться от тщетных попыток сведения одних трпов к другим и признать своеобразие рассматриваемых явлений как продукт определенной эпохи глоттогонии.

Тип *ok svá hváirtveggju*. В древнеисландском языке отмечена еще одна своеобразная конструкция, связи которой с разобранными выше оборотами не выяснены (примеры из Краузе): *Vatnsdælir fjölmentu mjök ok svá hvarirtveggju* 'жители морской долины ревностно собирали дружину, и так каждая из сторон' вм. 'как и другая сторона'; *Hljópu þeir Mýramenn þa til vapna ok svá hváirtveggju* 'побежали тогда болотные

¹¹³ KZ. 52. С. 226 сл.

¹¹⁴ KZ. 50. С. 130 слл.

люди к оружию, и так обе стороны, каждая из сторон'; *Bad hann Finnboga vel fara ok hvárr annan* 'пожелал он Ф. счастливого пути, и каждый из обоих другому'; *Engan hafðj Þorbjörn hjálm ok hvargi* 'Т. не имел шлема, и никто из них обоих' и т. д.

После сказанного нетрудно уловить то, что составляет своеобразие этих предложений. Вместо того чтобы непосредственно соединить элементы, входящие в пару, древний язык и здесь присоединяет обозначение целого (пары) к части.

Партитивные прилагательные. Перехожу к разряду явлений, которые, насколько мне известно, до сих пор не ставились в какое-нибудь отношение с приведенными выше оборотами. Речь пойдет о партитивном употреблении прилагательных.

Синтаксическая классификация в виде исключения выделяет эти сочетания, рассматривая их обычно в общей массе других примеров «предикативного употребления» прилагательных. Так, например, Хейслер (Heusler, § 387) приводит в одном параграфе партитивные обороты типа *i miðjum hauginum* 'посреди холма', букв. 'в среднем холме', *þeir margir* 'многие из них', букв. 'они многие', *nökkorir þínir felagar* 'некоторые твои спутники', и обороты, где прилагательное древнего языка соответствует наречию или наречному (обстоятельству) сочетанию в современных языках. Ср. *hljóp á þá óvara* 'напал на них неожиданно', букв. 'неожиданных, нечующих'; *tók konung af honum dauðum hjalminn* 'конунг снял шлем с него, когда он был мертв', букв. 'с него мертвого'. «Основанием» для такого отождествления оборотов Хейслеру служит общая скобка: «прилагательное в роли предикативного определения в случаях, когда ему соответствует в немецком описательный оборот». Между тем, существуют достаточно веские основания для того, чтобы разграничить эти группы.

В «предикативных» оборотах, как Gs. 24, 10 *Ingjaldr bað hann þá liggja sem kyrrastan*, букв. 'попросил его тогда лежать, как тишайшего', т. е. 'как можно тише', или Vsp. 32, 7–8 *sá nam, Óðins sonr, einnætr vega* 'сын Одина «стал однонощный <т. е. в возрасте одной ночи> сражаться' и т. п., — нас поражает соотносительность прилагательного с существительным. Мы не привыкли соотносить с существительным такие его свойства, которые в какой-то мере зависят от ситуации, выраженной в данном предложении. Что касается оборотов *miðr dagr*, букв. 'средний день', т. е. 'полдень', или *sumt liðit*, букв. 'некоторое войско' в смысле 'часть войска', то странным в них нам кажется не соотносительность прилагательного с существительным, а неожиданная полисемантическая такого оборота в древнем языке: *miðr dagr* 'полдень', 'середина дня', а буквально 'средний день'; *sumt liðit* 'некоторая часть войска', буквально же 'некоторое войско'.

Соответственно этому отличаются и способы замен этих конструкций в новых языках. Прилагательные первого рода действительно заменяются наречиями или обстоятельственными оборотами, чем подчеркивается зависимость свойства от глагола, иначе говоря, относительный и временный характер свойства, его обусловленность данным высказыванием. Для партитивных же оборотов такая замена не обязательна. Весьма часто оборот остается атрибутивным при соблюдении, однако, непременно условия: партитивное отношение, остававшееся скрытым в древнем языке, теперь должно быть выражено, например 'некоторая часть войска'. Все это дает нам право выделить партитивные прилагательные не только по семантическим, но и синтаксическим основаниям в самостоятельную категорию.

а) Тип *summus mons*. Этот тип охватывает примеры пространственной (и временной) партитивности.

В древнеисландском встречаются следующие разновидности прилагательных этой группы:

miðr 'срединный, средний': Am. 24, 5–6 *geir hugða ek standa | í gognum þik miðian* 'мне снилось, что ты пронзен копьем посредине', букв. 'ты средний, срединный'; Þrk. 9, 7–8 *mætti hann Þór | miðra garða* 'встретил он Тора посреди двора'; Gg. 9 *ar þnæst gerðu þeir sér borg í miðjum heimi* 'Вслед за тем они построили себе замок посреди мира' (букв. 'в среднем мире'); Gg. 54 *enn Þórr veðr þá eptir miðri ánni* 'а Тор пошел тогда вброд серединой реки'; Nj. 34, 10 *hann sat á miðjan bekk* 'он сидел на середине скамьи'; Eg. 67, 5 *kómu at miðjum Nóregi* 'они пришли в Среднюю Норвегию'. || *endlangr* 'продольный, длинный': Þrk. 27, 3–4 *en hann útan stökk | endlangan sal* 'он отпрянул назад вдоль всего зала'; Am. 19, 1–2 *örn hugða ek hér inn fliuga | at endlongo húsi* 'мне снилось, что орел летел здесь вдоль всего дома'; Þorv. þ. III, 6 *Váru þá gørvir eldar stórir eptir endilongum skálanum, sem í þann tíma var titt at drekka øll vid eld* 'были тогда разведены большие огни вдоль всего зала, согласно обычаю того времени пить пиво при огне'; Eg. 14, 7 *en há fjöll liggja eptir endilangri mörkinni, ok eru þat kallaðir Kilir* 'и высокие горы лежат вдоль всего леса и зовутся они К.'; Skm. 3, 4–6 *hvi þú einn sitr | ennlanga sali | minn dróttin, um daga?* 'Почему одиноко сидишь ты целыми днями в длинных залах, мой повелитель?' (здесь перевод 'вдоль зал' невозможен, как бы ни ухищрялись комментаторы); Eg. 57, 9 *þa gerði hann Egil útlaga fyrir endilangan Noreg* 'тогда он сделал Эгиля стоящим вне закона по всей Норвегии, на всем ее протяжении'. В новых языках это прилагательное превращается в наречие (норв. *endelangs* 'сплошь, от края до края') или предлог (англ. *along*, нем. *entlang*). || *þverr* 'поперечный': Þorv. þ. 3, 3 *ok fell einn litill lækr um þveran skalan* 'и маленький ручеек протекал поперек зала'; Eg. 28, 11 *varð þá enn brátt á sú, er þvers varð* 'была там близко еще

река та, что протекала поперек дороги', здесь *þvers* уже наречие, но адъективное происхождение еще весьма прозрачно: *þvers* предполагает *þvers vegar* 'поперечного пути' в смысле 'поперек пути'. || *flatr* 'плоский': Nj. 150, 19–20 *þá hljóp Lambi Sigurðarson at Kára ok hjó til hans með sverði. Kári brá við flötum skildinum ok beit ekki á* 'тогда подскочил Ламби Сигурдарсон к Кари и ударил его мечом. Кари же отразил удар плоскостью щита, и не было ему вреда', букв. 'плоским щитом'. || Особенно многообразны прилагательные, в состав которых входит *-verdr* 'обращенный, повернутый': *öndverðr* 'противостоящий', *i öndverði liðinu, i öndurða fylking* 'in prima acie', 'в передовой части войска'; *öndverðan vetr* 'в начале зимы', собств. 'при повороте зимы'; Am. 53,1–4 *Morgin mest vógu | unz miðian dag liddi, | ótto alla | ok öndurðan dag* 'они сражались все утро до наступления полдня, все часы рассвета и поворота <= начала> дня'. || *ofanverðr* 'обращенный, находящийся сверху': Gunnl. 14, 139 *ok hjó hann í skjöld Gunnlaugs ofanverðan* 'и ударил он в верхнюю часть щита Гунлауга', букв. 'в обращенный вверх щит'. || *framanverðr* 'обращенный вперед, выступающий': Eg. 58, 18 *Lét Egill þar gera haug á framanverðu nesinu* 'Эгиль распорядился насыпать курган на выдававшемся вперед мысе'. || *innanverðr* 'обращенный внутрь, внутренний': Nj. 2, 7 *Mörðr sat í innan-verðri búðinni* 'М. сидел внутри палатки', букв. 'во внутренней палатке'. || *útanverðr* 'обращенной вовне, внешний': Eg. 86, 6 *bein Egils váru lögð niðr í útanverðum kirkjugarði* 'кости Эгиля были погребены во внешней части двора кирки'. || *sunnanverðr* 'обращенный к югу, южный': Hlr. 10, 1–4 *Lét um sal minn | sunnanverðan | hávan brenna | her allz viðar* 'он зажег вокруг моего южного <обращенного к югу> чертога высокое пламя'; Eg. 52, 8 *fara á sunnanvert England* 'поехать в Южную Англию'. || *norðanverðr* 'обращенный к северу': Gg. 18 *á norðanverðan himins-enda sitr jötunn* 'у северного края неба сидит великан'.

Аналогично этому в других германских языках: готск. Lc. 2, 46 *in midjaim laisarjam êv μέσῳ τῶν διδασκάλων*; Joh. 7, 14 *ana midjai dulþ τῆς ἐορτῆς μεσοῦσης*; дрвн. Т. *in mittero naht* 'в полночь'. Исландским прилагательным с *-verðr* соответствуют готские с *-wairþs*: *anawairþs, framwairþs, andwairþs* 'присутствующий', *jaindwairþs* 'туда обращенный', ср. Joh. 18, 3 *iddjuh jaindwairþs ἔρχεται ἐκεῖ*.

В латинском языке сюда относятся: *summus mons* 'вершина горы', букв. 'высшая гора'; *medius collis*, букв. 'средний холм' в значении 'середина холма'; *extrema oratio* 'конец речи', букв. 'крайняя речь'; *ab into pectore* 'из нижайшей души', т. е. 'из глубины души' и т. п.

В греческом атрибутивное и партитивное значения формально разграничены, ср. ἡ μέση πόλις 'средний город' (из многих) и μέση ἡ πόλις, ἡ πόλις μέση 'середина города' (в лат. в обоих значениях *media urbs*). Однако поскольку это разграничение покоится на сравнительно позднем

явлении, артикле, можно предположить, что и в греческом эти отношения ранее не были дифференцированы.

Разграничение значений, впрочем, дано не только в греческом. Оно дано уже и в латинском, поскольку последний дифференцирует эти значения лексически, ср., например, Caes. Gall. I, 22, 1 *summus mons* букв. 'высшая гора' в значении 'вершина горы', но: ib. I, 6, 1 *mons... altissimus* 'высочайшая гора'. В древнеисландском реально также устранена опасность смешения значений, так как партитивное прилагательное, скажем *míðr*, не имеет тотального значения и никогда не означает просто 'средний'; значение 'в среднем, центральном корабле флотилии' не выражается словами *i skipi miðju* 'в среднем корабле', а лишь *i flota miðjum* 'в средней части флотилии', букв. 'в средней, срединной флотилии'. Все же морфологическая структура оборотов типа *summus mons* необходимо предполагает такого рода полисемантизм генетически. Партитивное содержание этих оборотов характеризуется тем, что в них отношение части к другим частям (в данном случае — вершины к другим точкам горы) заменяется отношением целого. Эта бросающаяся в глаза особенность оборота привлекла к себе внимание многих исследователей. Специальная работа Ф. Зоммера¹¹⁵ может служить образчиком формалистического подхода к этому вопросу. Краткий разбор этой работы окажется нелишним в этой связи, поскольку он поможет выяснению некоторых сложных сторон проблемы партитивности.

В другой работе Зоммер рассматривает партитивное употребление как один из случаев употребления прилагательного «вразрез с законами логики» (im Gegensatz zu den Gesetzen der Logik). Вслед за другими исследователями он рассматривает партитивные обороты в ряду других случаев «аномального» употребления прилагательных. Тип *summus mons* попадает, таким образом, в окружение таких оборотов, как *in höchster Not*, *ein ewiger Schätzer* и даже *reitende Artilleriekaserne*.

В своей специальной работе, однако, Зоммер все же приходит до некоторой степени к признанию своеобразия типа *summus mons*. Анализ начинается с описания внешних сторон явления и постановки проблемы. В этой — чисто описательной — части работы Зоммера все еще обстоит сравнительно благополучно. Здесь отмечаются исторические тенденции процесса. Автор пишет, что «позднейшее развитие в индоевропейских языках стремится ко все большему ограничению издавна унаследованного и далеко идущего употребления именно этих конкретно-пространственных обозначений»¹¹⁶. Установив преходящий характер партитив-

¹¹⁵ Sommer F. Zum Attributiven Adjektivum. Sitzungsber. d. Bay. Akkd. d. Wiss. Philos.-phil. u. hist. Kl. Jg. 1928, Abh. 7.

¹¹⁶ Там же. С. 36, см. также с. 79.

ного оборота, Зоммер останавливает свое внимание на факте двузначности конструкции в древнем языке. Сочетание *summus mons* на первых порах означало одновременно и 'высшая гора', и 'вершина горы'. Ни одно из этих значений не может быть выведено из другого. Если судить по частоте употребления, то «аномальное» партитивное значение придется признать основным и «нормальным». Таким образом, функциональное раздвоение явления подчеркивается как существенное и неотъемлемое свойство оборота. «Факт значительного, не поддающегося сокращению расхождения обоих способов употребления оборотов *summus mons, medius collis* и т. д., несомненно, существует; невозможно приблизить и тем менее соединить крайние пункты 'высшая гора из многих' и 'высшее место <высшая часть> горы' ни путем допущения некоего первоначального компромиссного основного значения у прилагательного, ни путем выведения одного значения из другого»¹¹⁷.

Но все эти выводы Зоммер добывает для того, чтобы буквально тут же, на последующих страницах, пустить их ко дну. «Психологический» анализ явления, к которому он переходит, преследует одну цель: найти такой «исходный момент» в семантике оборота, который позволил бы «безболезненно» примирить противоречивые значения и заполнить пропасть между ними. Он разбирает примеры из современных языков, в которых партитивное употребление сохранилось и не производит на нас впечатления нелогичности. Таковы сочетания 'северная Африка', 'юный поэт', 'поздняя ночь'. Но такие обороты не могут быть приняты в качестве исходного пункта, так как партитивность наличествует в них лишь постольку, постольку а priori исключена возможность второго значения. Зоммер пытается, далее, опереться в своем анализе на некоторое сходство партитивных оборотов с такими сочетаниями, где прилагательное служит для выделения частной разновидности предметов из общего класса ('белые розы' в отличие от 'красных'). Наконец, он пытается найти отправной пункт для данного явления в целом в сочетаниях типа *summa aqua* 'верхняя вода'. В таких сочетаниях, где прилагательное определяет существительное с общим значением вещества, разница между партитивным и тотальным значением не играет никакой роли, и, «следовательно», противоречие значений может быть устранено¹¹⁸. Однако могут ли сочетания, в которых по условиям семантического содержания невозможно противопоставление части целому или единицы множеству, привлекаться в какой-то мере для выяснения особенностей партитивных отношений? Не ясно ли, что именно такого рода сочетания должны быть заранее изъяты из круга рассматриваемых явлений.

¹¹⁷ Там же. С. 37.

¹¹⁸ Там же. С. 37.

Формалистическая постановка исследования заводит в тупик. Зоммер отдает себе отчет в том, что его абстрактно-психологические, по сути своей антиисторические, выкладки не в состоянии ответить на основной вопрос: если партитивные сочетания ничем не выделяются из массы других атрибутивных соединений, то чем же объяснить несомненный факт сокращения и исчезновения партитивных сочетаний в процессе истории? Он сознает, что причина таится не в одном лишь отношении партитивного прилагательного к существительному. Ведь сохраняются же партитивные прилагательные в современных языках в таких случаях, как *eine halbe Stunde*, *срединная Австралия* и т. п. Тогда, быть может, стремление устранить полисемантизм сыграло роль основного фактора? В пользу такого предположения говорит то обстоятельство, что, скажем, в новонемецком партитивный оборот сохранился лишь применительно к уникальным предметам, где возможность недоразумения практически исключена. Однако почему тогда в новогреческом исчезли партитивные обороты типа *μέση ἡ πόλις*? Тенденция к устранению полисемантизма не могла в этом случае иметь места, так как полисемантизм был устранен еще в древнегреческом. С точки зрения греческих фактов, «фактор полисемантизма» оказывается как бы несущественным. Здесь, по Зоммеру, мог, скорее, иметь место другой «фактор»: стремление устранить изолированный словообразовательный тип, уничтожить неудобства в назывании. Ни тот, ни другой «фактор» не является, таким образом, по Зоммеру, универсальным.

Зоммер склонен отрицать общее значение этих «факторов», допуская мысль о том, что неудобство в назывании и полисемантизм могли играть роль в единичных случаях. «Следовало бы, — замечает он, — снова и снова повторить: как помехи в назывании, так и двузначность не сознавались как препятствие в продолжение многих веков и тысячелетий, и до сих пор еще допускаются в определенных границах. Таким образом, следовало бы даже при положительном отношении к ним как к факторам отступления «партитивного типа» показать, каковы были причины, давшие языковой общности к определенному моменту так сильно почувствовать их неудобство, что она посчиталась с этим. Постановка этого вопроса привела бы и приводит при соответствующем обобщении, даже если оставить без внимания эти мнимые основания, последовательно к выводу, что первооснову явления следует искать в какой-то изменившейся духовной установке говорящих. Мы не смеем допустить это предположение в его основных чертах для минувших времен и надеемся, что никто не упрекнет нас в этом; ведь наша наука находится вообще еще только в многообещающей начальной стадии исследования этой проблемы»¹¹⁹.

¹¹⁹ Там же. С. 81.

Таким образом, Зоммер «не смеет» допустить, что тип *summus mons* соответствуют какой-то своеобразной «ориентации сознания». Работа Зоммера интересна в том отношении, что здесь наглядно видно, как отжившая свой век индоевропеистика избегает проблемы стадильности мышления. На конкретном материале партитивного оборота Зоммер натолкнулся на мысль о своеобразии мышления, породившего эту форму, но при этом не понял, к каким важным принципиальным последствиям эта мысль ведет.

Что до теории «факторов», то и здесь Зоммер допускает искажение реальной исторической перспективы. Действительно, в истории языков можно заметить существование двух «факторов» или, лучше сказать, исторических тенденций. Эволюция партитивных конструкций, как, впрочем, и других, — в одних случаях отражает стремление к устранению первоначального полисемантизма, в других — стремление устранить противоречия в системе словообразования или, сохраняя выражение Зоммера, «неудобства в назывании». Однако Зоммер глубоко заблуждается, рассматривая эти тенденции в одном логическом и историческом плане, уравнивая эти тенденции по их значению и роли в глоттогоническом процессе. Эта роль в действительности весьма различна. Основное и решающее значение принадлежит первой тенденции, тенденции к устранению полисемантизма.

Говоря о полисемантизме, чрезвычайно важно понять, что полисемантизм — категория историческая. Каждая предшествующая эпоха в процессе глоттогонии отличается по сравнению с последующей полисемантизмом своих синтаксических отношений. Самый характер полисемантизма и степень его меняются при этом от одной ступени развития к другой. Поэтому недостаточно говорить о полисемантизме древних форм вообще, а каждый раз необходимо точно определять конкретно-исторические границы этого полисемантизма. От первобытной диффузности значений, от полисемантизма в области простейших отношений предметного мира необходимо строго отличать полисемантизм позднейших эпох, проявляющийся в области более глубоких и сложных предметных связей. Учение Н. Я. Марра о поляризации значений, о развитии семантики в путях дифференциации и расщепления содержания слова на свои противоположности, имеет силу не только в области семантики, но и в области грамматических значений. И здесь переход от низшей фазы развития к высшей определяется выделением и фиксацией противоречивых значений, ранее мирно уживавшихся в рамках одной грамматической формы. Незаметные и несущественные на первых порах расхождения и оттенки мысли в дальнейшем развитии резко обособляются и выделяются в самостоятельные и непримиримые, исключающие друг друга категории. Это прогрессирующее раздвоение и уточнение грамма-

тических отношений при переходе с одной ступени развития на другую отражает диалектический процесс развития познания объективной действительности в ходе развития общественной практики.

С этой точки зрения устранение полисемантизма древней грамматической формы отмечает совершившийся перелом в осознании определенных отношений. Поскольку греческий язык уже проводит различие между $\eta \mu\acute{\epsilon}\sigma\eta \pi\acute{o}\lambda\iota\varsigma$, с одной стороны, и $\mu\acute{\epsilon}\sigma\eta \eta \pi\acute{o}\lambda\iota\varsigma$, $\eta \pi\acute{o}\lambda\iota\varsigma \mu\acute{\epsilon}\sigma\eta$, — с другой, и латинский язык, соответственно, между *mons altissimus* и *summus mons*, постольку они уже преодолели первоначальную диффузность значений. В этом переходе уже дан «минимум развития». Если в дальнейшем происходят дополнительные изменения, скажем, исчезают и заменяются другими уже ограниченные в своем значении формы *summus mons*, $\mu\acute{\epsilon}\sigma\eta \eta \pi\acute{o}\lambda\iota\varsigma$, то эти процессы лежат не в семантико-грамматической плоскости, а в сфере морфологических изменений, сущность которых состоит в упрощении морфологического строя языка, в более или менее последовательном использовании определенных способов выражения грамматических значений и ликвидации разнобоя и пестроты внешних форм. Это — чисто внешние процессы морфологической унификации, вызванные к жизни уже не сдвигами в области мышления, а фактами смешения и скрещения языков (и диалектов).

Отвлекаясь от указанных тенденций в развитии партитивного прилагательного, Зоммер колеблется и в полной растерянности «не смеет» видеть «первооснову» явлений в «изменившейся духовной установке говорящих». Но, во-первых, из указанных тенденций лишь вторая не стоит в связи с изменением «духовной установки», и, следовательно, лишь от нее исследователь имеет право отвлечься до поры до времени. Что же касается тенденции к устранению полисемантизма, то она, как было сказано, является непосредственным отражением факта изменения «духовной установки». Поэтому отделение этой тенденции от процессов стадийного развития мышления является искусственным и необоснованным. Зоммер заблуждается, во-вторых, и тогда, когда он рассматривает «духовную установку» как первооснову языковых явлений. Как увидим в дальнейшем, эта «первооснова» в действительности оказывается лишь результатом и следствием определенных материальных процессов в общественной деятельности людей.

б) Количественные прилагательные в роли партитивного определения. Образцом такого употребления в древнеисландском может послужить *þeir sumir* букв. 'они некоторые', в смысле 'некоторые из них'. Ср. Eg. 20, 4 *váru þeir margir afreksmenn miklir at afli* 'многие из них <букв. они многие> были великими богатырями по своей силе'; Kr. 12, 9 *en þó váru þeir sumir, er skirra vildu vandræðum, þóat eigi væri kristnir* 'и все же нашлись некоторые среди них <букв. они некоторые>, кто хотел

устранить затруднения, хотя они и не были крещеными'; Nj. 63, 22 *ok hófðu þeir Gunnar marga þá særða, er undan heldu* 'и ранили они с Гунаром многих из числа тех <букв. многих тех>, кто обратился в бегство'; Gg. 34 *Hon er blá hálf, enn hálf með hǫrundarlit* 'она наполовину черная, наполовину же цвета кожи'; Нюгорд (Norr. Synt. § 74, 4) приводит следующие примеры: *þat hygg ek, at nú í kveld myni konungrinn hafa oss mǫrgum fengit karfafótinn* 'то полагаю я, что сегодня вечером конунг поднесет многим из нас <букв. нам многим> вина'; *þessir konungar fellu sumir, en sumir flýðu* 'некоторые из этих конунгов погибли, некоторые же спаслись бегством', букв. 'эти конунги некоторые..., а некоторые...'; Falk-Torp, Synt., § 68, 2: *þeir mundu engir sigrfor fara, er þorðust við Harald* 'никто из тех, кто сражался с Харальдом, не пойдет в победный поход', букв. 'они никто, те никто'.

Аналогичные примеры находим в срвн.: *sie weinten sumeliche* 'некоторые из них плакали'; *edel und riche sint sie sumeliche* 'некоторые из них благородны и богаты'; *ja sint iu doch genuogen die mære wol bekannt* 'многим из вас это сказание, вероятно, знакомо'.

В новых языках такие обороты решительно изгоняются: ср. датск. *mange af dem, flere af dem, ingen af dem* и т. д., аналогично норв. и шв.; немецк. *die meisten von ihnen, keiner von ihnen, manche von ihnen*; русск. *многие, некоторые, никто из них* и т. д. Партиitivность выражается теперь соответствующей формой, чем устраняется возможность смешения партиitivного и тотального определений.

В других случаях может показаться, что партиitivное определение допускается и в новом языке: ср. Od. 23, 1–2 *mæltu margir | mínir niðjar* и русск. *говорили многие родственники*, немецк. *viele Verwandte*. В действительности, однако, др.-исл. *margir* и русск. *многие*, немецк. *viele* синтаксически не равноценны. Формально это выражается в том, что место таких прилагательных в новых языках строго фиксировано: они стоят перед определяемым, в древнем же языке порядок слов еще свободный. Ср.: Eg. 44, 14 *en er þeir koma í eldahúsit, þá lágu þar margir menn Ólvis* 'и когда они зашли в очажную избу, то там лежали многие из людей О.'; Eg. 40, 3 *heimamenn Skallagrims fóru þangat til leiks margir* 'многие домочадцы Скалагрима поехали туда на игры', букв. 'домочадцы поехали туда... многие'; Eg. 44, 4 *þa kom svá, at forunautar Ólvis gerðuz margir ófærir*, букв. 'тогда получилось так, что спутники О. стали многие <т. е. многие из спутников> неспособны продолжать путь'; Eg. 36, 3 *þá tók Haraldr konungr at eldaz mjök, en synir hans váru þá mjök á legg komnir margir* 'конунг Харальд состарился тогда весьма, а его сыновья стали тогда только подрастать многие', т. е. 'многие из его сыновей'; Nj. 75, 20 *er á brautu var Kolskeggr ok Þráinn ok margir aðrir vinir Gunnars* 'когда прочь уехали К. и Т. и многие другие друзья Г.'. Eg. 65, 17 *flýðu þá margir*

af Óláfs mǫnnum ‘многие из людей О. спаслись тогда бегством’; Eg. 65, 11 *Þórólfr gekk svá fram, at fáir varu menn hans fyrir honum* ‘Торольф шел вперед так, что лишь немногие из его людей прикрывали его’, букв. ‘немногие его люди шли перед ним’; Gðr. II пр. *Þjóðrekr konungr var með Atla ok hafði þar látit flesta alla menn sína* ‘Конунг Т. был с Атли и потерял там большую часть своих людей’, букв. ‘множайших всех своих людей’ в смысле ‘почти всех’. В некоторых случаях уже в древнеисландском замечается стремление обозначить партитивность оборота: Kt. 2, 7 *þar var þá kominn Þorkell krafla ok mart annara manna* ‘пришел тогда туда Т. и множество других людей’.

Примеры такого рода из других языков: лат. *plerique meminimus* ‘большинство из нас помнит’; греч. οἱ Ἀθηναῖοι... ἀπ᾿ἧλθον οἱ πολλοί ‘многие афиняне ушли’.

Но что выражает факт фиксации твердого порядка слов в случаях, когда количественное прилагательное переживает в новом языке? Постановкой прилагательного перед определяемым (*многие, некоторые люди; viele, manche Leute; certains hommes*) современный язык предупреждает возможность смещения тотального и партитивного определения. В выражениях типа *некоторые люди спаслись бегством* подчеркивается с самого начала, что предикат относится не ко всем людям, а лишь к их части. Ранее же говорили: ‘люди спаслись бегством некоторые’, или ‘его люди заболели двое’, или ‘они отправились в путь немногие’ и т. д. Своеобразие древних оборотов заключается в том, что часть не выступала здесь как непосредственный субъект (или объект) определенного действия; действие непосредственно приписывалось целому, а не части. Древние как бы предпочитали исходить из целого, рассматривая часть как определение целого. Другими словами, различие между древним и новым языком заключается вовсе не в том, будто в одном языке часть и целое разграничены, а в другом нет. Разграничение категорий дано как здесь, так и там. Различие заключается в их взаимоотношениях: в новом языке часть может выступать как носитель собственных определений, как источник собственных предикатов, в то время как в древнем часть обладает предикатами лишь как часть целого, лишь через посредство целого и благодаря ему. В древнем языке часть всегда подчинена целому, в новом же — она в известных границах мыслится независимо.

Тип дружина многое множество, множество злато. После того как выяснена семантическая особенность сочетаний с количественными прилагательными, можно перейти к другим семантически родственным сочетаниям. Вместо прилагательного могут встречаться другие обозначения части в той же функции. Так, в латинском весьма часто встречается партитивная аппозиция типа *maxima pars fere morem hunc homines*

habent 'люди... большая часть' вм. 'большая часть людей'. Ср. еще *amurcat cum aqua comisceto aequas partes* 'маслянистую пену с водой смешайте равные части'. Как отмечалось (Stolz-Schmalz, стр. 630), подобные обороты являются архаичными, и, как свойственные разговорному языку, они встречаются во все времена в надписях. В литературе они встречаются преимущественно в старой латыни (Altlatein). Классический язык резко ограничивает употребление этой конструкции, допуская ее лишь в случаях дистрибутивной аппозиции (*alter — alter, alius — alius* и т. п.). Позднее, как показал Лефстедт, это сочетание вновь оживает в вульгарной латыни, во многих отношениях как бы возвращающейся к особенностям старой латыни.

Аналогию этим латинским примерам в древнеисландском составляют приводимые Нюгордом (Norr. Synt. § 74, 3) образцы: *fell lið Hákonar konungs mikill hlutr* 'пала дружина конунга Г., большая часть'; *eignaðist Haraldr konungr Vingulmörk allan hinn nørðra heut* 'завладел конунг Харальд областью В., всей северной частью'. Из древнеисландского приведу еще пример, формально несколько отличающийся от других, но синтаксически стоящий в одном плане с ними: Кг. 1, 2 *en hlutskipti þat, er hann fekk, lagði hann til útlausnar herteknum monnum allt þat, er hann þurfði eigi at hafa til kostar sér* 'и долю ту, что он получил при дележе, предназначил он для выкупа пленных людей, все то, что не нужно было ему для собственных потребностей', т. е. 'часть своей доли, в которой он не нуждался'.

Типологическое сходство с исландскими оборотами обнаруживают еще многие случаи атрибутивности существительного в русском, из числа тех, что приводит Потехня (ИЗРГ, т. III). Так, целиком сюда относится выделяемый им тип *множество злато* (стр. 247 сл.): Лавр. *Они же видѣвшие бецисльное множьство злато и сребро и паволокы, и рѣша*; Лавр. *И пристѣ къ нимѣ дружина вся многое множество*; Лавр. *Кияне же особно стаща въ (=у) Олговы могилы многое множество*; Ип. *Приде Даниль со многомъ множьствомъ полкомъ со братомъ си и со сыномъ Львомъ*. В этих примерах *множьство* то тотальная, то партитивная аппозиция, ср. *множество полкъ* в смысле 'многочисленное воинство' и *множество киевлян*. Ср. также следующие образцы из старорусского языка: *Да ему же Паршкѣ... заплатитъ поголовные денги свое повытье* (= часть, результат распределения по вытям); *заложилъ пожню... свой жеребей*; Новг. *Новгородци же останкѣ (=останкѣ, остаток) живыхъ... послаша по князя*; Пск. *Сосѣди запсковляне Богоявленскій конецъ заложилъ стѣну от Псковы рѣки свою треть*. Нередко в старом и архаическом языке встречается тип *деньги пять рублей*. По поводу этого образца Потехня замечает: «Нынешний наш язык различает обороты: *отдал (все) деньги пять рублей*, в коем считаемое равно числу и *отдал денег*

пять рублей, в коем считаемое представлено целым, а число — частью. В последнем выражении денег может значить или 'из тех денег, какие у него были', или 'из денег вообще'. При господстве или большей, чем теперь, обычности паратактических сочетаний, первое выражение *деньги пять рублей* может, независимо от представления, означать и то, что считаемое равно числу, и то, что оно больше числа¹²⁰. Потебня, таким образом, отмечает, что в древнем языке эта форма совмещала функции как партитивного, так и тотального определения. Это, конечно, не значит, что в древнем языке смешивались в какой-то мере представления о части и целом. Отнюдь нет. Такие сочетания, как *люди остаток, стадо большая часть*, показывают, что древнее сознание четко различало эти категории. Паратаксис в таких оборотах вызван своеобразным пониманием отношений между целым и частью: на древней ступени часть не может иметь определений помимо целого, не могла иметь собственных определений. Поэтому в качестве носителя предикатов в древнем языке выступало лишь целое, а не его части. Новый язык переворачивает в оборотах *остаток людей, большая часть стада* и т. д. старые отношения вверх дном: часть выступает здесь как самостоятельный носитель действия, а целое фигурирует лишь в качестве определения части. Тем самым указывается, что целое причастно к действию лишь косвенным путем, через свою часть.

Вопреки прежним своим взглядам¹²¹ считаю возможным привести в этой связи примеры паратаксиса мер и измеряемого типа *облить ведромъ водою, съ пудомъ медомъ, к тому чану зелену вину, аште възмеши воду мьру нькую*¹²². В этих примерах часть целого, определенная мера веществ, не выступает как самостоятельный член предложения, как подлежащее или дополнение, а лишь в виде приложения к целому (названию вещества). Здесь опять подтверждается закономерность древней речи, о которой говорилось уже раньше: часть выступает здесь как определение целого вместо того, чтобы выступить самостоятельно. В современных языках целое (обозначение вещества) выступает в таких случаях, как определение части (меры), а не наоборот.

Тип *alter, geminus*. В этом параграфе мы собираемся осветить семантическую особенность таких прилагательных, как исл. *annar, allr, halfr*, лат. *alter, geminus*, греч. ἕτερος и др. Каждое такое прилагательное в древнем языке выявляет разнородные значения, увязка которых невозможна без учета своеобразия мышления на стадии чувственно-сущностной речи.

¹²⁰ ИЗРГ. III. С. 254.

¹²¹ Уч. зап. ЛГУ. № 58. 1940. С. 33.

¹²² ИЗРГ. III. С. 245 слл.

а) Рассмотрим прежде всего прилагательное *annar* и его эквиваленты в других языках. В древнеисландском языке *annar* (готск. *anþar*, немецк. *ander* и т. д.) имеет два значения: 1) 'один из двух', 2) 'другой'. Второе значение хорошо известно из новых языков, где, как правило, только оно и остается. Другое, склонное к исчезновению, значение представляется на первый взгляд странным, ср. Sk. 47 *Litlu síðar, er Jorli gekk, skriðnaði hann qðrum fæti* 'немного погода, Йорли, идя, поскользнулся одной ногой'; Sg. 48 1–2 *Hné við bólstri | hón á annan veg* 'склонившись на <одну> сторону, она припала к подушке'; Sg. 66, 5–6 *brenni mér inn hunska | á hild aðra* 'пусть гуннского витязя <Сигурда> сожгут рядом со мной', букв. 'мне с одной стороны'. Особенно часто употребляется это слово в первом значении, когда за ним следует другое *annar*. ср. Nj. 72, 9 *hjó Gunnar annarri hendi, en lagði annarri* 'Гуннар рубил одной рукой и колот копьем — другой'; Fi. 16, 4 *annar of nætr søfr, | en annar of daga* 'один из них <двух сторожевых псов> спит по ночам, другой — днем'; Grm. рг. *Hraufðungr konungr átti tvá sono; hét annar Agnarr, en annar Geirrøðr* 'конунг Х. имел двух сыновей; один звался А., другой — Г. В готском *anþar* несколько ограничено в своем значении, поскольку оно употребляется в первом значении лишь тогда, когда за ним следует второе *anþar*¹²³, ср. готск. Eph. 4, 25 *unte sijum anþar anþaris lifus* ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη. В западногерманских языках: Beow. 2482 *oder* 'один из двух'; O. II, 7, 23 *thero zueio ander* 'один из них, из двух'.

В чем своеобразие полисемантизма исл. *annar*, лат. *alter*, греческ. ἕτερος? — Они совмещают два значения 'один из двух' и 'другой', из которых одно характеризует часть по ее отношению к целому, а второе по ее отношению к другой части. Древний язык не разграничивает этих значений, в сознании древней эпохи эти значения сливались, и отношение части к другой части перекрывалось отношением части к целому.

В несколько ином плане лежит употребление лат. *alii*, греческ. ἄλλοι. Латинский язык классической эпохи строго различает *alii* 'другие' и *ceteri, reliqui* 'остальные, прочие'. В старой латыни и разговорном языке *alii* употреблялось в том же значении, что и *ceteri*. Греческий язык разграничил значения при помощи артикля: ἄλλοι без артикля — 'другие', с артиклем οἱ ἄλλοι 'остальные', но у Гомера ἄλλοι без артикля встречается как в одном, так и во втором значении. Одно из значений выражает здесь отношение целого к другому целому, ср. ἄλλη χώρα 'другая страна' (= 'еще одна страна'), второе же выражает часть целого в ее отношении к другим частям того же целого, ср. ἡ ἄλλη χώρα 'вся остальная страна'.

¹²³ Бехагель (Dt. Synt. I, § 329) ошибочно отождествляет древнеисландское употребление с готским.

Таким образом, здесь, как и в оборотах типа *sumus mons*, отношение целого к другим целым первоначально замещало отношение части к другим частям одного и того же целого.

Полисемантизм типа 'один из двух — другой' имеет то общее с полисемантизмом *alii — ceteri*, что как здесь, так и там отношение целого к другому целому или к своим частям заменяет отношение между частями. Определения, непосредственно относящиеся к целому, и определения, относящиеся к целому опосредствованно — через его часть, в древнем языке еще недостаточно различались.

б) Др.-исл. *allr* совмещает значения лат. *omnis* и *totus*, ср. Vsp. 48. 3 *gnýr allr iqtunheimr* 'шумит весь мир великанов' и Háv. 138, 3 *nætr allar nío* 'целых девять ночей <висел я на дереве>'. Полисемантизм дает о себе знать в случае мн. ч. Во втором примере возможен и другой смысл 'все девять ночей', как это мы находим в одном переводе¹²⁴. Лишь контекст в целом может определить выбор того или иного значения. Ср. еще Eg. 80, 9 *ok sat hann þar alla daga*, где контекст подсказывает перевод 'он сидел там целыми днями', но могло бы быть и 'все дни'. В латинском разграничение *toti* и *omnes* характерно, главным образом, для классической эпохи. У Плавта и других, а также в поздней латыни *toti* = *omnes*. Позднее романские языки по-новому дифференцируют эти значения. Аналогично в позднегреческом смешивается употребление ὅλλοι и πάντες.

Как *totus*, так и *omnis* выражает целостность. Но в одном случае выражается целостность в отношении к каждому из элементов, входящих в состав целого, в другом — целостность в отношении всей суммы, без приложения к ее составным элементам. И здесь, следовательно, в древних языках отношение целого заслоняет отношения его частей.

в) Др.-исл. *halfr* (немецк. *halb*) обнаруживает также не привычную для нас двойственность значений. Так, *halfu* против ожидания значит не 'наполовину', а 'вдвое', например *halfu fleiri* 'вдвое больше'; Gg. 21 *vex hanum asmegin halfu* 'сила асов выросла у него <Тора> вдвое'; Am. 30, 5–7 *Fóro fimm saman | fleiri til vóro | hálfu húskarlar* 'ехало их пятеро и вдвое больше было слуг с ними' (здесь ясно видно, что *halfu* означает не 'наполовину больше', а 'вдвое') и т. д. К значениям 'половинный' и 'двойной' присоединяется третье: Háv. 53, 4–6 *þviat allir menn | urðot jafnspakir, | half er öld hvar* 'ибо все люди не одинаково разумны; повсюду находятся умные и глупые'. Эти строки вызвали ряд толкований¹²⁵. Финнур Йонсон толкует здесь *halfr* как 'несовершенный', 'с изъяном'. Такое толкование мне кажется искусственным. Гораздо проще предполагаемое рядом исследова-

¹²⁴ Зап. Неофилологич. общ. при Петерб. унив. 4. 1910. С. 32.

¹²⁵ См.: Dett. II. С. 103.

телей значение 'раздвоенный', 'zweigeteilt'. Это хорошо согласуется с этимологией слова, согласно которой в основе прилагательного лежит значение 'расщепленный'. Сочетание значений раздвоенный', 'двойной', 'половинный' нельзя считать простой случайностью.

Латинский язык дает нам еще один пример такого полисемантизма. Лат. *geminus*, этимология которого неясна, имеет значения 'двойной, спаренный'. Ср. Virg. Aen. VI, 203 *gemma super arbore* 'на двойном дереве', где речь идет о дубе с золотой веткой омелы. В приложении к одному элементу пары это слово означает 'один из двух': *puer geminus* (и просто *geminus*) 'один из пары близнецов'. Будучи одновременно приложенным к обоим элементам такого отношения, слово приобретает значение пары: *fili gemini* 'сыновья-близнецы', *gemmae columbae* 'пары голубей'. Лат. *geminus* 'двойной' и во мн. ч. 'пара' имеет еще точное соответствие в др.-исл. *tvennr* 'двойной', *þrennr* 'тройной', ср. Gdr. 24, 5–6 *Kvóma konungar \ fyr kné þrennar* 'конунги пришли тройные' в смысле 'пришли втроем'.

Эти поразительные переходы значений могут быть поняты лишь в связи с древними партитивными оборотами. В них поражает переход определения с целого на часть этого целого. Качество 'двойной', 'раздвоенный', характеризующее целое, легко переносится на каждую из составных частей в отдельности, что соответствует нашему понятию 'половинного', 'половины'. Такой переход мог совершаться с тем большей легкостью, что часть не представлялась ни в какой степени самостоятельной, что подчиненность части целому понималась в те времена слишком абсолютно.

Тип три долины и одна глубочайшая. Остается рассмотреть в этой связи еще один интересный тип партитивного паратаксиста. В моем расположении всего два примера из прозаической Эдды. Gg. 47 *þá gengu þeir inn ok sá þar marga menn á tvá bekki, ok flesta ærit stóra* 'они вошли туда и увидели многих людей на двух скамьях и многих чрезвычайно больших <великанов>', т. е. 'из которых многие были великаны'; Gg. 48 *þar sátú ofan í þrjá dali ferskeytta ok ein djúpastan, þar váru hamarspor þin* 'там видел ты сверху три четырехугольные долины и одну глубочайшую, это следы ударов твоего молота', всего три долины, мы бы сказали: 'в том числе одну глубочайшую'. Здесь снова проявляется неоднократно встречавшаяся нам особенность древнего строя; в древнюю пору не боялись соединять при помощи союза часть и целое — явление, не допустимое в современных языках.

Из всех рассмотренных до сих пор языковых явлений следует, что в области взаимоотношений целого и его частей древние языки обнаруживают ряд своеобразных черт, позднее исчезающих полностью либо

сохраняющихся в виде редких окаменелостей. Своеобразие древней речи проявляется в ряде синтаксических сочетаний, в которых часть без дальнейших уточнений выступает в роли аппозиции к целому либо присоединяется с помощью союза или предлога к целому таким образом, что союз или предлог не имеют при этом присоединительного значения. Древние говорили 'они А.' вместо 'они, в том числе и А.', либо 'они и А.' в том же значении; ср. также 'три долины и одна глубочайшая', где всего-то долин три, а не четыре. В случаях, когда часть целого выступает как относительно независимая от целого единица, как обладатель собственных, непосредственно к целому не относящихся признаков, люди в древности все же предпочитали исходить из целого, а не из части; ср. обороты 'гости разъехались некоторые', 'стадо большая часть', 'облить ведром водой'. В словообразовании при обозначении постоянных комплексов (группы родственных лиц, неразлучных друзей и т. п.) особенностью древнего языка являются образования типа *Geschwister*, в которых из двух членов отношения обозначен лишь один, наиболее важный с точки зрения людей той эпохи. Целое характеризуется здесь чертами, непосредственно принадлежащими части целого. В семантическом строе прилагательных особенность древней эпохи проявляется в том, что количественные и другие прилагательные оказываются в том языке полисемантическими. 'Двойной' и 'половинный', 'один из двух' и 'другой', 'другие' и 'остальные' оказываются в таком языке неразграниченными. Вместе с тем недифференцированы и такие понятия, как 'средний' и 'срединный, центральный', 'целые' и 'все'.

Что касается предметов, выступающих во всех рассмотренных выше формах древней речи как целое и его части, то это в большинстве случаев устойчивые коллективы людей (роды, семьи, дружина, товарищи по походу и т. д.), либо неличные предметы, части которых постоянно сохраняют одинаковое отношение к целому. Позднее будет показано, какое значение имеет этот момент для мышления древней эпохи.

2. Пережитки партитивных форм первобытно-образной речи

Наряду с рассмотренными выше партитивными конструкциями, в древних индоевропейских языках сохранились пережиточные следы еще более раннего понимания тех же отношений. В этой связи прежде всего любопытна конструкция двойного винительного целого и части, т. н. *σχημα καὶ ὅλον καὶ μέρος*.

В германских языках эта конструкция представлена крайне слабо. Ср. др.-исл. *ok bundi Egil hendi ok faetr* 'и связали Эгилю <букв. 'Эгиля', вин.

пад.> руки и ноги'; дрвн. О. *druhtin wasg mih al, houbit ioh thie fuazi* 'меня всего, голову и ноги'. Другие примеры из срвн. *er hiez in binden die vuoze und die hende*, букв. 'он велел его связать, ноги и руки'.

Богаче представлена эта конструкция в классических языках, особенно у греческих поэтов. Так, у Гомера: ἡ σε πόδας νίψει, букв. 'она тебя помоеет, ноги'; τὸν δ᾿ ἄορι πλῆξ' ἀχένα 'он поразил его мечом <в> шею'. В латинском у Плавта: *te Venus eradicet caput atque aetatem*, букв. 'Венера тебя да истребит, голову и век твой'.

Целое и часть, преимущественно человек и часть тела, приведены здесь на равных основаниях как непосредственные объекты действия, выраженного глаголом. Пережиточность этой конструкции в древних индоевропейских языках после плодотворной разработки теории двойного винительного в трудах Потебни, Попова и других исследователей не нуждается в особых доказательствах. Результаты этих исследований кратко можно изложить в следующем виде.

Конструкция с двойным винительным, в целом, — исчезающая категория. Она характерна для строя древних индоевропейских языков, а в новых языках более или менее последовательно изживается. Однако и в древнем языке она не представляет собой однородного в стадияльном плане явления. В массе своих разновидностей эта конструкция распадается на два резко разграниченных стадияльных слоя, из которых один является актуальным для документально засвидетельствованных древних индоевропейских языков, другой же выступает как переживание более отдаленной, письменно не документированной эпохи. Критерием древности того или иного типа служит при этом поведение второго винительного при обращении конструкции из активной в пассивную. Сопоставим в этом отношении три разновидности этой двойной конструкции.

1) Конструкция со вторым предикативным падежом: Eb. 2, 2 *ok á því þingi gerði hann Björn Ketilsson útlaga af Nóregi* 'он сделал Б. изгнанником из Норвегии', букв. 'изгнанника'; Vols. 13, 44 *Sigurðr kallar hestinn Grana* 'С. назвал коня Г.' (вин. п.); Gunnl. 11 *gerði hann hirðmann sinn* 'сделал его своим дружинником'; дрвн. (из Ноткера) *du dine geista machost poten* 'ты своих духов делаешь вестниками', букв. 'вестников'; др.-русск. Ип. *Пояша Мьстислава князя <зем> собль*; лат. *is me heredem fecit* 'он сделал меня наследником', букв. 'наследника'; греч. Οἱ Ἑλληνας Χειρίσοφον εἶλοντο ἄρχοντα 'эллины выбрали Х. главой', букв. 'главу' и т. п.

Атрибутивное значение второго винительного падежа обнаруживается при превращении оборота в страдательный: второй винительный, как и первый, заменяется именительным падежом; конструкция с двойным винительным превращается тем самым в конструкцию с двойным именительным. Ср.: Vols. 1, 36–37 *ok geriz hann rikr konungr ok mikill fyrir sér* 'он сделался могучим конунгом'; Gg. 21 *Þórr, sá er kallaðr er Ásaþórr*

‘Тор, который зовется Тором асов’, букв. ‘Тор асов’ им. п.; лат. *Cyrus rex factus est*, греческ. *Κῦρος ἐγένετο βασιλεὺς* ‘Кир сделался царь’ т. е. ‘царем’; русск. Новг. *и приде поставлень архиепископъ Антоній*.

2) Двойной винительный лица и предмета при глаголах со значением ‘учить’, ‘просить’, ‘спрашивать’, ‘отнимать’, ‘скрывать’ и т. д. Дрвн. О. III. 23, 4 *thaz ni hiluh thih* ‘не скрою того от тебя’ букв. ‘то тебя’ и т. д. Принципиальное отличие этой конструкции от первой состоит в том, что здесь в пассивном обороте сохраняется один из винительных падежей.

Сохранение винительного падежа в пассивном обороте показывает, что уже в древнем языке этот винительный не воспринимался как аппозиция к первому и выступал в качестве такого же «независимого» падежа, как, скажем, винительный времени в обороте: исл. *hann sigldi dag ok nott* ‘он плыл день и ночь’.

3) Приведенные выше примеры двойного винительного «целого и части». Эти примеры могут быть в некотором отношении приравнены ко второй разновидности двойного винительного. И здесь при превращении оборотов в пассивные второй винительный остается без изменений. Это как бы онаречившийся, окаменевший падеж. Ср.: др.-исл. Eg. 46, 10 *Egill var bundinn við staf einn bædi hendr ok fætr* ‘Эгиль был привязан к столбу руками и ногами’, букв. ‘руки и ноги’, вин. п.; дрвн. О. VI, II, 37 *ther man ther githuagan ist thie fuazi reino*, букв. ‘человек, вымытый ноги чисто’ т. е. ‘с чисто вымытыми ногами’; готск. Jon. II, 44 *jah urran sa dauþa gabundans handuns jah fotuns faskjam* καὶ ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας χειρίκις (ср. англ. *he was bound hands and feet*).

О полном окаменении одного из падежей в последних двух типах сочетаний свидетельствует и то обстоятельство, что падеж, окончательно оторвавшись от своей старой функции объекта, послужил исходным пунктом для образования функционально нового падежа, — «винительного отношения» (*accusativus respectivus*, или *relationis*; применительно к латинскому языку *accusativus graecus*). Ср. греч. (из Ксенофонта): *οἱ στρατηγοί... ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς ἐτελεύτησαν* ‘отрубленные относительно голов’; лат. Virg. Aen. *os humerosque deo similis* ‘лицом и осанкой богу подобный’, букв. ‘лицо и осанку’ (вин. п.) и т. д.

В своей новой функции этот падеж не только сохранил свои прежние границы, но и значительно расширил их, поскольку «падеж отношения» отныне употребляется не только при активных глаголах и причастиях, но и при глаголах, ранее не управлявших винительным падежом, равно как при причастиях и именах прилагательных. Возможно, что именно это переосмысление окаменевшего винительного падежа (в частности, вин. пад. части) содействовало лучшему сохранению конструкции с

двойным винительным целого и части в греческом языке сравнительно с германскими. Однако и в германских языках, в частности в древнеисландском, можно найти следы более широкого бытования этой конструкции в прошлом. Правы исследователи, утверждающие, что такие древнеисландские глаголы, как *halshoggva* 'рубить шею', *fothhoggva* 'отрубить ногу', *beinbrjóta* 'сломать ногу', *halsljosta* 'ударить по шее' и т. д. произошли из конструкции с двойным винительным, целого и части.оборот типа *hon var handhoggin*, букв. 'она была отрублена относительно руки' отличается от вышеприведенных греческих оборотов с винительным отношения тем, что здесь окаменевший винительный падеж (падеж партитивного объекта) инкорпорирован внутрь ставшего сложным глагола, сросся с ним.

Таким образом, если двойной винительный со вторым предикативным падежом является вполне жизненной категорией в древнем языке, то интересующий нас двойной винительный целого и части уже в древнем языке предстает в виде синтаксически разрушенной формы, лишенной функционального единства. Как живая и актуальная, конструкция с винительными целого и части относится, следовательно, к значительно более древней стадии в развитии языка.

Между обоими винительными — целого и части — до того, как омертвела живая ткань конструкции, существовала синтаксическая связь, предполагавшая постоянное согласование в падеже названия части с названием целого. В греческом и других языках сохранились следы былого согласования части и целого не в одном только винительном; падеже. С этой точки зрения и сложные слова типа *bahuvrīhi* представляют собой в известной мере переживание древнего паратаксиса целого и части. Ср.: скр. *mahā-bahū-s*, букв. 'большая рука', т. е. 'великорукый муж' (ср. русск. *тур, золотые рога; петушок, золотой гребешок*); греч. 'Ἡὼς ῥοδόδακτυλος, первоначально 'Эос, розовый палец; розоперстая Эос'; Ποσειδάων χυανχαῖτα 'Посейдон, черные волосы'; готск. *frei-hals* букв. 'свободная шея' в значении 'свободный'; *hrainja-hairts* 'чистое сердце', т. е. 'чистосердечный'; *laus-giþrs* 'голодный', букв. 'пустой желудок'; *wairaleiks* 'мужеподобный', букв. 'образ мужа'; *lausau-waurds* 'пустословный', букв. 'пустое слово'. Во всех этих случаях первоначально была аппозитивная связь целого и части. Если документированная история застаёт стоящие в роли аппозиции слова в функции прилагательного, то это результат длительного развития. После того как аппозиция части и целого стала невозможной, история языка подчинила и формально одно существительное (а именно, выражающее часть) другому (выражающему целое). В одних случаях формальное подчинение было достигнуто путем перевода партитивного существительного в разряд прилагательных. В других — путем устранения древнего согласования.

В древнеисландском языке были использованы обе возможности: сложные слова типа *bahuvrīhi* представлены здесь в двойном виде: в одних случаях сочетание застыло, в других — аппозитивное существительное превратилось в прилагательное. К первому типу относятся так называемые несклоняемые прилагательные, как, например, *full-ráða* ‘полный решимости’; *úrug-hlýra*, букв. ‘влажная щека = ‘заплаканный’) и т. д. Ко второму типу относятся такие прилагательные, как *mæ-fingr* ‘тонкоперстый’; *neffþr* ‘бледноносый’; *berbeinn* ‘босой’; *háebinn, beinstórr* ‘длинноногий’. Порядок элементов является здесь несущественным: существительное может следовать за прилагательным, как и предшествовать ему.

Что до падежа имени существительного в сложных словах типа *bahuvrīhi*, то в этом вопросе мнения ученых расходятся. Совершенно несостоятельным является высказанный Неккелем¹²⁶ взгляд, будто этот тип стоит в одном ряду с такими причастными формами, как *halsljostit* ‘ушибленный относительно шеи’, предполагающими винительный отношения. Неккель опирается при этом на устаревшую теорию Якоби о происхождении сложных слов из придаточных предложений.

Сопоставляя *bahuvrīhi*, например др.-исл. *ber-beinn*, нем. *barfuss* с такими немецкими оборотами как *er geht, bloss den Fuss*, Неккель определяет падеж существительного в сложном слове как винительный. Однако такое сопоставление древней и новой формы является произвольным и противоречит морфологической структуре сложного слова. Касаясь последней, Неккель, как и некоторые другие исследователи, полагает, что сложные слова типа *bahuvrīhi* восходят к «дофлективной» эпохе. Опираясь на анализ прилагательных, вроде греч. ὠχύπους ‘быстроногий’, Хирт определяет падеж, лежащий в основе этого словообразовательного типа, как *casus indefinitus*¹²⁷. Такое определение не касается функционального содержания древнего падежа и ограничивается констатацией чисто внешнего факта совпадения древнего падежа с основой. Это — чисто формалистическое определение, говорящее не более того, что форма генетически относится к такой глоттогонической эпохе, когда еще не было документально засвидетельствованной в индоевропейских языках позднейшей системы падежей.

Не только формально, но и семантически *bahuvrīhi* выявляют черты чрезвычайно архаические. В огромной массе случаев здесь речь идет о паратаксисе названий тела и его частей. В этом их сходство с двойным падежом целого и части. Но, вместе с тем, отмечается и различие: в сложных словах типа *bahuvrīhi* название части выступает как атрибут целого, в то время как в конструкции с двойным падежом название час-

¹²⁶ Neckel G. Exozentrische Komposita. IF. XIX. С. 215.

¹²⁷ Idg. Grm. VI, 83.

ти не имеет непосредственного отношения к целому, а тяготеет к глаголу как падеж отношения. Каждая из этих форм лишь односторонне отражает первобытный паратакисис целого и части, послуживший исходной точкой как для *bahuvrīhi*, так и для падежа отношения. В самих же индоевропейских языках мы находим материалы для более полного восстановления семантических особенностей этого паратакисиса.

Потебня в третьем томе своих ИЗРГ приводит примеры двойного творительного из Ригvedы, которые в буквальном переводе на русский язык звучат так: ‘некоторые ногами убиты слонами’; ‘хоботом слонем герой крепко схваченный’; ‘птицами крыльями’; ‘конем ногою’. Потебня следующим образом характеризует эти обороты: «Раздавлены ногами слонами», — говорит он, — не бессмысленно: действительно, “слонами, (т. е. их) ногами”. Только здесь отношение между 2 вещами никак не выражено, и они изображены, так сказать, на одной плоскости, без перспективы. И насколько отсутствие перспективы в живописи древнее ее присутствия, настолько эти паратактические обороты по типу древнее таких, конечно, тоже восходящих в глубокую древность, но более согласных с нашей привычкой к объединению мыслей, как «ногами слонов». Здесь на первом месте вещь, непосредственно действующая, относительный субъект “ноги”; на втором — вещь, коей принадлежит первая, “слонов”. Удаление этой последней субстанции на задний план может повести к ее устранению посредством замены прилагательным»¹²⁸.

Эти примеры из санскрита по типу примыкают к приведенным ранее примерам двойного падежа целого и части, а также *bahuvrīhi*. В этих примерах как часть, так и целое первоначально выражали одно и то же отношение к глаголу, они были полностью параллельными, одинаково самостоятельными. В примерах двойного винительного целого и части этот древний параллелизм уже нарушен: целое и часть, несмотря на пережиточное единство падежной формы, по-разному относятся к глаголу: одно — целое — сохраняет значение прямого объекта, второе — обозначение части — переводится в разряд косвенных падежей, падежей отношения, что получает выражение в отмеченных выше явлениях (семантика падежа отношения расширяется и отрывается от родимой почвы; с обращением конструкции с двойным винительным в пассивную винительный части не обращается в именительный, тем самым показывая, что мы имеем здесь дело с морфологически мертвой, застывшей, онаречившейся формой).

В сложных словах типа *bahuvrīhi* древнее состояние изживается иным путем: связь части с глаголом окончательно разрывается, и соседство с другим именем используется для перевода сочетания в целом в разряд грамматического атрибута.

¹²⁸ ИЗРГ. III. С. 2.

Двойной падеж целого и части, как и сочетание типа *bahuvrīhi*, должны быть сопоставлены с рассмотренными в первом разделе настоящей главы партитивными оборотами.

Прежде всего можно отметить, что в первом разделе речь идет о таких конструкциях, которые в большой мере сохраняют жизненность в древних индоевропейских языках. Сочетание *þeir Attila* в древнеисландском сохраняет согласование элементов во всех падежах, чего нельзя сказать о двойном винительном целого и части. Здесь согласование давно исчезло, паратаксис устранен, и его существование восстанавливается в порядке палеонтологической реконструкции. Если определить строй языка, представленный древнейшими письменными памятниками индоевропейских языков как находящийся на стадии чувственно-сущностной речи, то паратаксис типа *þeir Attila* окажется неотъемлемой чертой этого строя, в то время как паратаксис «ногами слонами» на этой ступени наблюдается лишь в пережиточном виде. Как живая форма, паратаксис второго рода должен быть отнесен к эпохе, предшествовавшей образованию чувственно-сущностной речи, — эпохе, которая всем ходом нашего исследования определяется как стадия первобытно-образной речи.

Существует еще один существенный момент, отличающий древнейший паратаксис целого и части от более позднего. Бругман, коснувшись мимоходом этого вопроса, отмечает, что в паратаксисе более позднего типа речь идет о понятиях другого рода. «Здесь, — говорит он, — оба понятия, хотя и другого рода, именно понятия множества и индивида, но как в одном, так и в другом случае господствует одинаковое аппозитивное отношение»¹²⁹. Но в том-то и дело, что отношения неодинаковы, что в одном случае аппозиция живет, а в другом — она оказывается мнимой, лишь тенью былых отношений. Семантическое различие еще резче оттеняет это расхождение. Древнейший паратаксис господствует; главным образом, в области отношений тела и его частей, в то время как более поздний тип отражает взаимоотношения множества и входящих в его состав единиц и т. п. Легко заметить, что отношения второго рода являются несравненно более сложными, чем первые. В первом случае мы имеем дело с живым телом, целостность которого мыслится в одних и тех же, более или менее постоянных границах. Границы же коллектива изменчивы и подвижны: часть коллектива может обособиться в самостоятельный коллектив; индивиды, составляющие коллектив, могут войти в состав нового, большего коллектива и т. д.

Как древнейший паратаксис тела и его частей, так и более поздние партитивные обороты с паратаксисом множества и единиц,

¹²⁹ IF. XXVII. С. 129.

входящих в состав этого множества, в одинаковой мере чужды современному языку и сознанию. Но в истории языка и сознания они занимают разные места, отражая две последовательные эпохи в подготовке позднейшего понимания взаимоотношений целого и части.

3. Выводы из анализа партитивных оборотов

Паратаксист названий тела и его частей восходит к первобытной эпохе, когда отношения целого и части понимались еще недостаточно глубоко.

Как и в других вопросах, так и касаясь партитивных отношений, буржуазные исследователи любят говорить об «абсолютной» диффузности и нерасчлененности первобытной мысли. Так, например, Э. Кассирер отстаивал порочную идею «эквивалентности части и целого» в первобытном сознании. Согласно Кассиреру, в первобытной мысли и речи будто бы отсутствует всякое разграничение части и целого: «Каждая часть целого выступает по отношению к самому целому, каждый экземпляр вида или рода выступает по отношению к роду, как таковому, как эквивалент. Часть не только представляет целое, индивид или вид не замещают род, — они являются одновременно и тем и другим»¹³⁰. О «мистической сопричастности» и «абсолютном тождестве» этих категорий в первобытном сознании говорил также Леви-Брюль.

Этот «вывод» находится в явном противоречии с данными истории языка.

Паратаксист тела и его частей широко встречается за пределами индоевропейской системы языков. Достаточно в этой связи сослаться на статью А. А. Холодовича «Партитивный атрибут в японском языке»¹³¹, где приводятся факты чукотского и древнеяпонского языка. Факты подобного рода широко распространены также в языках банту. Так, например, в языке сото из группы банту возможны фразы типа *kē mō robile lētsóhó* 'я сломал его <вин. пад.> руку'. Грамматики языков банту называют такой объект партитивным или лимитативным¹³². Однако ни в одном из названных языков паратаксист целого и части не является живым явлением. То, с чем мы имеем дело в таких языках, это в действительности лишь реликты древнего паратаксиста в виде сложных слов, онареченных падежей и т. д. Но имеются языки, где древние отношения проступают более явно. Еще совсем недавно паратаксист целого и его частей был живым явлени-

¹³⁰ Cassirer E. Sprache und Mythos. 1925. С. 75.

¹³¹ ИАН СССР. ОЛЯ. 1948. С. 45–57.

¹³² Doke. Bantu linguist. terminology. С. 161.

ем в языках туземцев Центральной Австралии. Эти племена, застигнутые исследователями в конце прошлого века на ступени дикости согласно исторической периодизации Энгельса, в настоящее время почти полностью истреблены чудовищным колонизаторским режимом. Из языков Центральной Австралии возьмем язык племени аранта, наиболее полно засвидетельствованный в этнографических записях.

Уже одно наличие в этом языке названий отдельных разновидностей животных и частей их тела, отдельных видов растений и их частей свидетельствует о том, что часть и целое разграничены в сознании говорящих на этом языке. Безграмотные фразы об «абсолютном отождествлении» и «смещении» на этой ступени развития понятий о теле и его частях обнаруживают всю свою несостоятельность при первом же столкновении с фактами. Если в языках типа аранта мы находим паратаксис целого и части в действии, а в языках типологически более поздних этот паратаксис ограничивается либо полностью устраняется, то это говорит нам не о смещении этих отношений в древнейшую эпоху, а о чем-то другом — о еще недостаточно глубоком проникновении в сущность взаимоотношений целого и его частей.

Слова и грамматические формы языка аранта сохраняют следы такого состояния сознания, когда мышление, пользуясь определением Н. Я. Марра, еще «не отвлеченное, не научное, не логическое, а конкретное, поэтическое, образное, с родством слов-символов, как выразителей образов»¹³³. Буквальный перевод первобытно-образных слов на наш язык невозможен, так как слова и формы более развитой речи вносят в перевод множество значений и категорий и оттенков, мысли, отсутствующих в подлиннике. Приближение к подлиннику возможно здесь лишь путем подробного описания, вскрывающего границы полисемантизма образных слов и грамматических форм. Чтобы не загромождать изложения излишними деталями, в дальнейшем при переводе примеров из языка аранта будем давать разъяснения лишь в той степени, в какой это необходимо для освещения паритивных отношений.

Паратаксис целого и части встречается в аранта в разных синтаксических позициях. В позиции субъекта: *Str. IV, 27 unta itja gata pallanitjika*, букв. 'ты — невидимый — нога — вне — бродить', т. е. 'ты и ногой не должен ступить, твоей ноги не должно быть за пределами <укромного места инициации>'. 'Ты' и 'нога' выступают здесь одинаково в роли подлежащих предиката 'ходить вперед и назад, бродить'; *Ar. 325 yinga*

¹³³ ИР. II. С. 326. Неточной в приведенной здесь формулировке является характеристика первобытно-образного мышления как поэтического. Подробнее об этом см. в статье «Язык поэзии и первобытно-образная речь» (ИАН СССР. ОЛЯ. 1947. С. 301–316).

atnitta kurna irrima, букв. 'я — живот — плохим становиться' в смысле 'я чувствую боль в животе', 'живот у меня болит'.

В позиции прямого объекта: *Ag., 90 inga atua ta eritchikunna, inga gnoilya eritchikka*, букв. 'ногу, человека <вин. п.> я не видел, ногу собаку видел', т. е. 'я не видел следов ног людей, я видел следы ног собаки'; *Str. I, 22 eratarapa kaputa urkialela loltaraka*, букв. 'они оба змею голову копьем придавили', т. е. 'змее, ее голову' или 'голову змеи'.

Тот же паратаксис сохраняется и в других синтаксических позициях. Ср.: *Str. III, 49 kwakila rama, alknarbunarbunala rama, alknarbela rama* 'сова глядит, один — другой глаз глядит, другой глаз глядит' где и 'сова' и 'глаз' одинаково в эргативе; *Str. III, 16 Argankal ankala ling intjiringintjira* 'на дереве арганка <Blood wood> на его ветвях бугорков много-много'.

Обозначения части и целого приводятся в таких сочетаниях как бы на равных основаниях. Порядок слов может меняться. Чаще всего обозначение целого предшествует обозначению части, но встречаются и случаи обратного порядка слов без осязаемой разницы, ср.: *garra inka*, букв. 'зверь нога' в смысле 'следы ног зверя'; *gnoilya inka*, букв. 'собака нога', т. е. 'следы ног собаки', и *inka gnoilya*, букв. 'нога собака' в том же значении; ср. еще: *indunna teitcha*, букв. 'опоссум зуб' в значении 'зуб <или 'зубы'> опоссума'; *imora parra*, букв. 'опоссум хвост' в значении 'хвост опоссума' и *parra irbanga*, букв. 'хвост рыба' в смысле 'рыбий хвост'.

В паратактических сочетаниях подобного рода не разграничены некоторые отношения, без разграничения которых не может обойтись ни один язык с более развитым грамматическим строем. Название целого и название его части приводятся в языке первобытно-образного строя рядом, как если бы отношения между целым и его частями были всегда одинаковыми. Между тем эти взаимоотношения на деле многообразны, и язык позднейшей эпохи обладает формальными средствами для их разграничения. Паратактическое сочетание 'дуб ветвь' в языке первобытно-образного мышления могло, прежде всего, иметь соединительное значение 'дуб и его ветвь', 'дуб с веткой'. Такое сочетание подразумевает, что оба элемента, — и целое и его часть, — даны в наличии. Но паратактическое сочетание могло в первобытно-образном языке иметь и атрибутивное значение, когда подразумевался один из элементов, а второй упоминался в целях характеристики первого. В этом случае сочетание 'дуб ветвь' могло означать 'ветвистый дуб', 'дуб с ветвями', где обозначение части выступает в роли определения целого, либо еще — 'дубовая ветвь', 'ветка дуба', где целое служит определением для части. В атрибутивном сочетании второго рода, где часть определяется по ее принадлежности к целому, второй элемент, — целое, — может вовсе не быть в поле зрения.

Ограниченная практика общественной жизни охотника и собирателя на средней и высшей ступени дикости была достаточна для того, чтобы разграничить значения и названия животных и частей их тела, а также растений и их частей. Уже данные словаря языков на этой ступени развития показывают, что часть и целое в сознании этой эпохи не смешивались. Что же касается синтаксической рядоположности обозначений целого и части в первобытно-образной речи, то она вытекает из непонимания сложности партитивных отношений на этой ступени. Опираясь образными понятиями целого и его частей, первобытное мышление оставило без уточнения дальнейшие связи между ними. Так, например, рядом с обозначением целого, как подлежащим предложения, могло стоять обозначение части, причем оставалось неясным, выступает ли в данном предложении часть как второе подлежащее или же как определение целого. Для ограниченной практики первобытного общения эти трудности не имели большого значения, так как совместное участие членов первобытного коллектива во всех важнейших делах, простота и наглядность того, о чем обычно велась речь, а также содействие языка жестов в необходимых случаях существенно облегчали взаимопонимание¹³⁴.

¹³⁴ Говоря о материальных предпосылках древнейшего понимания партитивных отношений, в статье «К истории партитивного определения» я писал: «Эти представления коренятся в крайне ограниченной практике первобытного человека. Чувственное восприятие, скажем, тела и его органов дает лишь весьма немного для понимания действительных соотношений части и целого» (Уч. зап. ЛГУ. 58. 1940. С. 44). Эта фраза неудачна в том смысле, что она может дать повод к неверной мысли, будто чувственное восприятие само по себе, вне общественной практики, ведет к пониманию действительных отношений. Так именно и понял эту фразу А. А. Холодович, который, процитировав меня, но произвольно отбросив слова об ограниченности первобытной практики, поспешил согласиться со второй частью высказывания. «Конечно, — пишет он, — чувственное восприятие дает немного для понимания всего богатства отношений части и целого» (ИАН СССР. ОЛЯ. 1948. С. 46). Такое высказывание глубоко ошибочно. Чувственное восприятие само по себе не ведет к пониманию отношений. Животные, будучи неспособными к общественной практической деятельности, не обладают мышлением, хотя и являются способными к чувственному восприятию внешнего мира. С другой стороны, ошибочно также думать, что чувственное восприятие может оказаться тормозом к дальнейшему развитию сознания и что, как пишет А. А. Холодович, «расширение практического опыта должно было снять первобытный паратаксис, основанный на одностороннем чувственном восприятии». А. А. Холодович, видимо, отождествляет практический опыт на древнейшей ступени развития с чувственным восприятием, но это чисто созерцательное, глубоко ошибочное понимание опыта. Чувственное восприятие само по себе, вне производственной деятельности людей, недостаточно для развития мышления. При этом мышление человека на любой ступени развития необходимо опирается на чувственные данные, и само чувственное восприятие не остается в ходе

Ни речь, ни мысль первобытной эпохи не отражали различия между определением целого по части, определением части по ее принадлежности к целому и совместным наличием разных частей в рамках единого целого. Такие значения, как 'дерево, на котором листья', 'листья данного дерева' и 'дерево с листьями', недостаточно различались в ту пору. Разграничение этих значений совершается в более позднее время, в общественных условиях эпохи варварства. Общественные отношения родового строя и новые виды производственной деятельности (примитивное земледелие и приручение животных) приводят к более глубокому пониманию взаимоотношений тела и его частей. В эту эпоху впервые вырабатывается представление об органической связи тела и его частей и об отношении простой принадлежности, когда органическая связь между ними может оказаться нарушенной (ср. 'овца с шерстью' и 'шерсть от овцы').

Новое понимание отражается в ряде языковых процессов. Разграничиваются сочетания атрибутивного характера, притяжательности и совместного наличия частей. Соположение целого и части, возможное в языке древнейшей эпохи, когда различные отношения между целым и его частями недостаточно разграничивались и сливались, теперь становится больше невозможным, так как люди уже различают ряд возможных отношений между целым и его частями.

общественного развития равным самому себе, а с ростом и усложнением общественной практической деятельности необходимо совершенствуется и развивается. «Глаз, — говорит К. Маркс в одной из ранних своих работ, — стал *человеческим* глазом, подобно тому, как его *предмет* стал общественным, *человеческим* предметом, созданным человеком для человека. Поэтому *чувства* стали непосредственно в своей практике теоретиками... «Ясно, что *человеческий* глаз видит иначе, чем грубый, нечеловеческий глаз, что *человеческое ухо* слышит иначе, чем грубое ухо и т. д.»... «только благодаря (предметно) объективно развернутому богатству человеческой сущности получается богатство субъективной человеческой чувственности, получается музыкальное ухо, глаз, умеющий понимать красоту формы, — словом, отчасти впервые порождаются, отчасти развиваются человеческие, способные наслаждаться чувства»... «*Образование* пяти чувств — это продукт всей всемирной истории»... «Таким образом, необходимо было опредмечение человеческой сущности и в теоретическом, и в практическом отношении, чтобы как *очеловечить* *чувства* человека, так и создать соответствующий *человеческий смысл* для понимания всего богатства сущности человека и природы» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. III. С. 626–628).

Замечу мимоходом, что усугубление моей прежней ошибки проводится Холодовичем под знаком... «исправления» ее. А. А. Холодович пытается уверить читателя, будто я, говоря, что первобытная практика дает *лишь немного* для понимания действительных отношений, в действительности хочу сказать, что первобытность *ничего* не дает для такого понимания. Он становится сам и делает читателя жертвой недоумения в результате искусственного усечения контекста и внесения разрядки в текст моей фразы. При этом он забывает предупредить читателя, что разрядка и связанное с нею изменение смысла принадлежат не мне.

В разных языках эти процессы протекают по-разному.

Древнее соположение целого и части (паратаксис тела и его частей) изживается по-разному в разных языках. Согласование части с целым в падеже устраняется во всех языках то ли путем замены двух одинаковых падежных форм разными падежами (как в позиции двойного субъекта в японском), то ли путем перевода обозначения части в разряд наречий (как в случае двойного винительного в греческом), то ли еще путем инкорпорации обозначения части в состав глагола или определения (как в чукотском, в исландских формах типа *halshoggva* и в индоевропейских сочетаниях типа *bahuvrīhi*). Разные языки по-разному использовали эти возможности, то последовательно держась одного из путей, то комбинируя причудливо все эти способы¹³⁵.

Если пережитки паратаксиса тела и его частей в индоевропейских и других языках восходят к эпохе первобытно-образной речи, то паратаксис целого и его частей, рассмотренный нами в первом разделе настоящей главы, относится к более поздней лингвистической эпохе. В отличие от паратаксиса более древнего типа, условно обозначенного нами как паратаксис тела и его частей, паратаксис второго, исторически более позднего, типа может быть обозначен как паратаксис множества и входящих в его состав единиц.

Паратаксис тела и его частей в своем генезисе отражает, как мы видели, крайне своеобразное и наивное понимание партитивных отношений. В древнейшую эпоху не было — и по состоянию развития общественной практики быть не могло — сознания многообразия связей отдельного предмета с его частями. Органическая связь части с целым и отношения атрибутивного характера недостаточно различались. Более глубокое понятие о целом и части вырабатывается на новой исторической ступени, с переходом к чувственно-сущностной речи.

Но и на новой стадии речевого развития партитивные сочетания отличаются многими своеобразными чертами, свидетельствующими о своеобразии мышления на новой ступени общественного развития. Понятия единицы и множества, возникающие на стадии чувственно-сущностной речи, не приходят сразу как абстрактные математические понятия. Мы в наше время легко оперируем понятием абстрактного множества и абстрактной единицы. Со школьной скамьи мы усваиваем, что единица, входящая в состав определенного множества, может, независимо от данного множества, сочетаться с другими единицами в новое, большее или меньшее, множество и, взятая сама по себе, распадаться на ряд однородных частей, т. е. единиц меньшей величины. Мы хорошо

¹³⁵ Ср.: Холодович А. А. Партитивный оборот в японском языке. ИАН СССР. ОЛЯ. 1948. С. 47 слл.

знаем, что отношение единицы к множеству является многообразным. Не то ум варвара. С точки зрения эпохи варварства, единица — это всегда часть конкретного множества, вне которого она вообще не мыслится. Даже на высшей ступени варварства, когда в связи с развитием хозяйственных отношений счет значительно усложняется, понятие конкретного множества продолжает определять все умственные операции в области партитивных отношений.

Так как единица для ума варвара это всегда часть определенного множества, не мыслимая в отношении к другим множествам, то люди на этой ступени переносят на все множество определения, свойственные отдельным его частям, и, наоборот, на отдельные части множества — определения, присущие множеству в целом. Такие определения целого, как двойной, тройной, неосторожно переносятся в эту эпоху на части данного целого (*half, geminus*). Часть может паратаксически присоединяться к целому, так как не осознается опасность того, что часть может быть воспринята как независимое целое ('три долины и одна глубочайшая' вместо 'из числа которых одна глубже других'). По той же причине вместо того, чтобы присоединить к единице, входящей в конкретное множество, другую единицу из того же множества, в ту эпоху не боятся присоединить к единице все множество ('А. и они братья' вместо 'А. с братом'). Множество, по законам мышления того времени, является во всех случаях носителем определений своих составных единиц. Вот почему часть так часто замещается целым в сочетаниях типа *sumt lidit* 'некоторое войско' (вместо 'некоторая часть войска'), *summus mons* 'высшая гора' (вместо 'высшая точка горы', 'вершина горы') и т. д.

История математики¹³⁶ подтверждает наш анализ особенностей мышления на стадии чувственно-сущностной речи. В этой связи интересна прежде всего египетская система счисления дробей. Удивительным здесь с современной точки зрения является то, что в египетской символике чисел существуют обозначения лишь для так называемых «основных» дробей, т. е. дробей с числителем, равным единице, и любым знаменателем. «Смешанные» дроби, т. е. дроби с числителем больше единицы, не обозначались, за исключением $\frac{2}{3}$. «Смешанные» дроби, поскольку они получались в результате деления целых чисел, сводились к сумме «основных» дробей. Так, например, результат деления 2 на 5 представлялся в виде $\frac{1}{3} + \frac{1}{15}$; результат деления 7 на 29 частей — в виде суммы дробей $\frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{58} + \frac{1}{87} + \frac{1}{232}$ или $\frac{1}{5} + \frac{1}{29} + \frac{1}{145}$. Для облегчения подсчета существовали особые таблицы, вроде наших таблиц логарифмов. Эти

¹³⁶ Выгодский М. Я. Арифметика и алгебра в древнем мире. 1941. С. 16 слл.; Нейгебауэр О. Лекция по истории античных математических наук. I. Русск. пер. 1937. С. 53 слл.

таблицы представляют собой результат накопленного в продолжение многих веков конкретного математического опыта.

Этот необычайно сложный способ исчисления дробей не может быть объяснен ссылками на недостатки письменных обозначений. Дело, конечно, не в том, что, как предположил один исследователь, египтяне не имели в своем языке удобных обозначений для «смешанных» дробей. Сами недостатки языка неразрывно связаны с недостаточно высоким уровнем развития мышления: сложность обозначения дробей вытекает из основной тенденции сознания на древней ступени сводить взаимные отношения частей к абсолютному отношению части к целому.

Некоторые выводы из особенностей египетской системы сделал Курт Зете в книге об архаической системе счисления¹³⁷. Он показал, что счет «основными» дробями (*Stammbruchrechnung*) присущ был не только египтянам, но и вавилонянам, древним грекам, римлянам. О греках, далеко ушедших вперед в счислении дробей, он говорит, что счет «основными» дробями «действительно так глубоко коренился в языке и мышлении народа, что в течение веков рассматривался еще долго как обычный и естественный способ подсчета».

Зете показал, что эти особенности свойственны не только системе дробей; они пронизывают всю древнюю систему счета. Исходным для всей математической системы древних была идея конкретного множества. Множество мыслилось всегда завершенным и довлело над входящими в его состав единицами. Так, древние египтяне вместо «вы пойдете втроем» говорили «он <такой-то> будет ваш третий». Аналогично в индоевропейских языках: др.-исл. *Qos. 2, 5 Nú fer Asmundr við enn fimta mann* «вот едет А. с<собой как> пятым человеком», т. е. «сам-пят, впятером»; *Eg. 3, 6 þá gekk Herlaugr... með tólfða mann* «Х. пошел с двенадцатым человеком», т. е. с собой как двенадцатым, «сам-двенадцат»; ср.: нем. *selbe ander, selbander*; агс. *fiftena sum*; греч. *τρίτος αὐτός*; русск. *сам-друг, сам-третей* и т. д. В новых языках «он вышел третьим», «в качестве третьего» означало бы только то, что до него вышли двое, но не давало бы никаких указаний относительно общего количества вышедших людей. Это происходит потому, что нам множество представляется абстрактным и незавершенным. В древнем же языке такая фраза была бы понята, как «они вышли втроем». Здесь порядковое числительное не просто выражает место точки в бесконечном ряду чисел, как в нынешнем языке, а завершает конкретное множество. Это дает основание утверждать, что в древних языках подразумевалась идея конкретного, «завершенного» множества.

¹³⁷ *Sethe K. Von Zahlen und Zahlworten bei den alten Egyptern und was für andere Völker und Sprachen daraus zu lernen ist. Ein Beitrag zur Geschichte von Redenkunst und Sprache. Strassburg, 1916.*

Отношение единицы к своим дробям рассматривалось так же, как отношение конкретного множества. Египтяне говорили: *эта страна стала пятиричной* вместо того, чтобы сказать *была разделена на пять частей*, ср. *halfr* 'двойной' и 'половинный'. Идея завершеного числа находит также выражение в особом способе словесного обозначения дробей в древних языках. Ср. Caes. Gall. I, 12, 2 *Caesar certior factus est, tres iam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse, quartam fere partam citra flumen Ararim reliquam esse*. Здесь *tres partes* имеет значение 'три четверти', а четвертая часть значение 'четверти'. Этому соответствует в полной мере словоупотребление греческого и других древних языков. В современных языках, например в русском, такое обозначение звучало бы слишком общо: 'три части' это не обязательно $\frac{3}{4}$, но может быть и $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{10}$ и т. д. С другой стороны, 'третья часть' может быть теперь понято, как 'третья по счету четверть', 'третья по счету осьмушка' и т. д.

«Идея завершеного числа» находит выражение еще в особых египетских глаголах со значением 'дополнять до трех', 'до пяти', 'до шести' и т. д. (ср. лат. *quadrans* 'четверть', причастие от глагола *quadrare*; вначале не вообще 'четверть', а 'последняя, четвертая, дополняющая до единицы часть').

Приведу еще один пример, иллюстрирующий древнее понимание партитивных отношений. В древнеисландской саге о Ньяле (Nj. 2, 11) мы находим следующее любопытное место. Выдавая дочь замуж, некий Мордр выговаривает следующие условия: *hón skal hafa sex tǫgu hundraða ok skal aukaz þridjungu í þinum garði* 'она получит с собой <в качестве приданого> 60 сотен, и ее состояние должно увеличиться на одну треть в твоём доме' (т. е. при разводе она должна получить еще треть). Позднее (8, 4) рассказывается, что при совершившемся разводе было выплачено 90 сотен. Комментаторы в недоумении исправляют это место, считая, что следует к 60 прибавить еще треть от 60, т. е. 20. Но это верно лишь с точки зрения современной техники дробей. Как правильно отмечает Финнур Йонсон, издатель саги, в примечании к данному месту, здесь подразумевается, что 60 сотен — это две трети состояния, которые нужно дополнить до единицы присоединением последней трети. И здесь, следовательно, речь идет о «дополнительной» и «основной» дроби, как в древнеегипетском счете дробей.

Идея конкретного множества, пронизывающая всю древнюю систему счета, лежит также в основе своеобразных конструкций множества и его частей, о которых говорилось выше. Как было показано, в этих конструкциях постоянно говорится о конкретных и стойких коллективах, об определенных семьях, родах, о дружине, товарищах по походу или по плаванию, о предметах, данных в определенном числе, и т. д. По мере выработки отвлеченных представлений о множестве в связи с развитием

измерения и счета, старые партитивные конструкции отмирают. Развитие обмена и измерения и особенно таких всеобщих мер, как весы и деньги, должно было сыграть решающую роль в выработке нового, более сложного понимания взаимоотношений множества и входящих в его состав единиц. В результате дальнейшего развития партитивное приложение устраняется и заменяется особыми партитивными оборотами типа 'в том числе', 'среди которых' и т. д. Простое присоединение части к целому, как и целого к части, становится больше невозможным. Вместе с тем определение части не относится больше прямо ко всему множеству. Окончательно исчезает употребление порядковых числительных в особой роли чисел, «завершающих множество». Все эти языковые процессы характеризуют новую эпоху в понимании партитивных связей, возникающую при переходе к классовому обществу.

Глава II

Происхождение имен прилагательных

Славянские, балтийские и германские языки, одни среди индоевропейских, выработали систему двойного склонения прилагательных. Каждая из этих групп использовала свои формальные приемы, но, наряду с расхождениями, эти системы обнаруживают значительное типологическое сходство. Склонению сильных и слабых прилагательных в германских языках синтаксически соответствует деление прилагательных на членные (полные) и нечленные (краткие) в языках славянских и балтийских. История этих форм разработана довольно подробно, можно сказать, скрупулезно, сравнительной грамматикой в свойственном ей формалистическом духе. Но именно потому, что эти исследования концентрировались главным образом вокруг морфологических явлений, а семантико-синтаксическое содержание этих явлений полностью игнорировалось или же разрабатывалось из рук вон плохо, многие важнейшие вопросы истории прилагательных не только не получили правильного освещения, но вообще не были даже поставлены.

Основные вопросы, возникающие в связи с этим, можно сформулировать в следующих словах: в какой мере двойная флексия прилагательных соответствует каким-то закономерным этапам в истории языка и мышления? Что в истории этой флексии составляет необходимый минимум развития категории грамматического атрибута? Каковы закономерности и конкретно-исторические формы проявления этого процесса? Как двойная флексия связана с формированием прилагательных? Чем

объясняется отсутствие двойного склонения прилагательных в других языках? Посильный ответ на эти коренные вопросы истории прилагательных мы попытаемся дать в настоящей главе.

1. Бесчленное слабое прилагательное в древних германских языках

Употребление слабого прилагательного в германских языках с древнейшей поры связано с определенным артиклем. Эта связь во все исторические эпохи настолько тесна, что некоторые исследователи прямо называют слабое склонение определенной формой прилагательных. Однако в древних языках наряду с членными сочетаниями мы также находим и реликтовые случаи сочетаний без артикля вроде др.-исл. *Sigurðr ungi* 'юный Сигурд', арс. *gomela scylding* 'старый Скильдинг'. Бесчленное употребление слабых прилагательных образует в древнейших литературных памятниках сравнительно тонкий и незначительный слой, в дальнейшем развитии исчезающий почти бесследно. Но тем более велико значение этого пережиточного слоя для реконструкции дописьменного употребления этой формы. Наш анализ бесчленных сочетаний слабых прилагательных мы начнем с рассмотрения древнеисландского материала, в первую очередь стихотворной Эдды.

Весь относящийся сюда материал мы находим у Dett. в примечании к Vsp. 18, 4. Впрочем, туда включен ряд сомнительных и неверно понятых случаев. Новую попытку разобраться в этом материале сделал в последнее время Йоганисон¹³⁸, но и собрание материалов последнего не является безупречным. Вот почему мы считаем необходимым заново рассмотреть все примеры.

Из собрания Dett. необходимо прежде всего исключить следующие примеры: 1) Háv. 22, 2 (*maðr illa skapi* 'человек дурного нрава'. Эта фраза нигде больше не засвидетельствована, с другой стороны, часто встречается *illu skapi*, где прилагательное в сильной форме, либо *illa í skapi*, а иногда просто *illa*, где *illa* — наречие. На этом основании можно считать, что и в *illa skapi* мы, возможно, имеем наречие в атрибутивном употреблении, что в древнеисландском не редкость. Помимо всего этого, пример по своей синтаксической природе выпадает из ряда других бесчленных сочетаний, поскольку *illa* относится здесь к *maðr* не непосредственно, а через другое существительное. 2) NHv. 1, 3 *meyna fegrsto* 'прекраснейшую деву' сюда не относится, так как в сочетании содер-

¹³⁸ Johannisson T. Om stark ok svag adjektivböjning in den äldre Eddan. Ark. f. nordisk filologi. LV. С. 295 слл.

жится артикль: *meyna = mey ina*. 3) Sg. 56, 3 *skeyti skæða* ‘пагубное оружие’. Место в целом сомнительное. Как некоторые исследователи предполагают, здесь винительный падеж от *skeytir* в значении ‘стрелок’, что контекстом поддерживается. 4) Am. 56, 3 *kona váliga* ‘жена губительная’; контекст допускает и другое толкование. Так, некоторые комментаторы относят слово *váliga* не к *kona*, а к *mægð*, стоящему в том же предложении.

Особо следует остановиться на примерах, где в роли прилагательно-го выступают сложные слова типа *bahuvrīhi*. Вот относящиеся сюда примеры: Gðr. II, 5, 1–4 *Gekk ek grátandi | við Grana ræða | úrughlýra | íó frá ek spialla* ‘с плачем пошла я беседовать с Грани, влажнощекая, я расспрашивала коня’; Ghv. 9, 1–8 *Guðrún grátandi, | Giúka dottir | gekk hon tregliga | á tai sitia | ok at telia | tarughlýra, | móðug spiðl | á margan veg* ‘расплакалась Гудрун, Гьюкадоттир, пошла она скорбно посидеть на посадке, чтобы там поведать, влажнощекая, горькие речи на разные лады’; Háv. 87, 2 *siálfráða þræli* ‘своевольному рабу’ (пример отсутствует как у Dett., так и у Йоганисона); Hdl. 22, 2 *Grimr arðskafi* ‘Гримр резкий, суровый’; Od. 8, 6 *mær fiðrsiúka* ‘больная дева’; Hdl. 7, 5–6 *góltr... | gullinbursti* ‘вепрь золотошетиный’; Hym. 2, 3–4 *megi | miskorblindi* ‘сыну...’ — (значение прилагательного неясно); Rm. 13, 3 *seggr snarráði* ‘витязь могущественный, быстрый в решениях’ (но в изд. Неккеля с артиклем *seggr inn srarráði*).

В некоторых из этих примеров прилагательное стоит не в функции простого определения, а как приложение (Gðr. II, 5; Ghv. 9). Но главное затруднение заключается в другом, — в невозможности провести в этих словах резкую границу между существительным и прилагательным. Многие из этих сложных слов являются уникальными (например *úrughlýra, tarughlýra, miskorblindi*), другие же встречаются как явные существительные, так, например, *Gullinbursti* (обычно — собственное имя вепря Фрейи). Неудивительно поэтому, что разные комментаторы и составители словарей к Эдде по-разному определяют грамматическую природу этих слов; одни считают их прилагательными, отчасти несклоняемыми, другие — существительными. Поскольку, далее, сильная форма от этих образований отсутствует, мы вообще теряем возможность именно на этих словах изучать семантику слабого склонения в его отличии от сильного. В силу всех этих соображений мы считаем необходимым изъять все эти примеры из нашего собрания.

Остается небольшое количество примеров, которые одни только могут служить основанием для суждений о древних бесчленных сочетаниях слабых прилагательных.

Rm. 18, 3; Sg. 3, 5; 1, 3 *Volsungr ungi* ‘юный Вольсунг’; Sg. 2, 7 *Sigurðr ungi* ‘юный Сигурд’; Sg. 2, 3 *Guðrúnu ungo* ‘юную Гудрун’; Hdl. 6, 7; 9,

3 *Óttar ungi* ‘юный Отар’; Hdl. 28, 5 *Auðr diúpaudga* ‘Ауд премудрая’ (Hdl. 16, 9–10; 20, 9–10 и др. в обращении *Óttar heimski* ‘Отар глупый’, но о вокативе в специальном разделе); Vkv. 1, 3; 3, 3; 10, 7 *Alvittr unga* ‘юная Альвиттр’ (быть может *alvittr* имя нарицательное ‘лебединая дева’, ‘лебедка’, тогда ‘юная лебедка’); Sg. 25, 7 *brúðr frumunga* ‘молодая жена’; Alv. 16, 5 *fagra hvél* ‘<альфы называют солнце> сверкающим колесом’; Alv. 34, 4 *hreina lög* ‘<йотуны называют брагу> чистым соком’; Alv. 12, 5 *fagra ræfr* ‘<альфы называют небо> сверкающей кровлей’ (но рядом с этим мы в других кенингах находим сильную форму прилагательного, ср.: Alv. 12, 6 *driúpan sal* ‘<карлики называют небо> капающим покоем’; Alv. 24, 5 *diúpan mar* ‘<карлики называют море> глубоким морем’); Grt. 2, 3 *grióts graa* ‘серого камня’ (о волшебном жернове Гроти); Grt. 4, 2 *snúðga steini* ‘резвый жернов’; Grt. 12, 5–7 *svá slængðo vit | snúðga steini, | hqfga halli* ‘так мы вертели резвый камень, тяжелую скалу’ (о Гроти); Grt. 10, 1–2 *kæmia Grotti | ór gráfialli* ‘Гроти не вышел бы из серого камня’; Vsp. 19, 4 *hvíta auri* ‘сверкающей росой’; Háv. 138, 1–2 *ek hekk | vindga meiði á* ‘я висел на обуреваемом дереве’; Akv. 27, 5–8 *Rin skal ráða... | áskunna arfi Niflunga* ‘Рейн пусть владеет происходящим от асов наследием Нифлунгов’; Vkv. 27,8 *at sama hófi* ‘в такой, же мере’; Akv. 30, 5 *at sólu suðrhqllu* ‘полдненным солнцем’ (но в изд. Неккеля с артиклем *at sól inni suðrhqllu*); Grm. 17, 2 *há grasi* ‘высокой травой’ (?).

Йоганисон отметил то обстоятельство, что порядок слов в таких сочетаниях не свободный. Согласно его определению, имя прилагательное следует за существительным, когда последнее выражает лицо или вообще живое существо, в других же случаях оно предпосылается существительному. Пример из Akv. *at sólu suðrhqllu*, по его мнению, составляет мнимое исключение, так как солнце представлялось олицетворенным. На другом исключении Grt. 2, 3 *grióts graa* ‘серого камня’ Йоганисон вообще не останавливается. Эти исключения все же колеблют сформулированное им правило. Синтаксическое значение порядка слов в этих примерах не подлежит сомнению. Формулировку Йоганисона следует изменить существенным образом: различие в порядке слов выражает не противоположность одушевленных и неодушевленных предметов, а противоположность индивида и обезличенного множества. Чем ярче выступает индивидуальный характер предмета (не обязательно лица), чем ближе определяемое существительное к имени собственному, тем вероятнее постпозитивная постройка прилагательного. С этой точки зрения вполне объяснима постпозиция в Grt. 2, 3 *grióts graa*, где речь идет не о камне вообще, а о волшебном жернове Гроти.

Другая особенность бесчленных сочетаний касается семантической природы прилагательных. Уже давно было отмечено, что бесчленное употребление слабых прилагательных в англосаксонском и древнеис-

ландском языке встречается главным образом в области эпических эпитетов. Если из приведенных выше примеров исключить стоящий особняком случай из *Vkv. 27,8 at sama hófi*, то остальные целиком соответствуют этому наблюдению. Прилагательное выражает здесь не временные, случайные и несущественные признаки предметов, а их постоянные и типические качества. Это — *epitheton ornans*, содержание которого не зависит от узкого контекста фразы. *Sigurðr ungi* означает не 'юный <по возрасту> Сигурд', а 'Сигурд, добрый молодец', и употребляется одинаково как в отношении юнца, так и зрелого либо престарелого мужа. Кровля неба является 'светлой', 'сияющей', независимо от погоды; это идеальное свойство, неразлучимое с представлением о предмете. Прилагательное здесь оказывается как бы дублетом существительного и выступает на равных с ним семантических основаниях. Рядом с именем собственным оно как бы второе имя; *diúpaudga*, 'премудрая' это прозвище Ауд, само по себе достаточное, чтобы вызвать в сознании слушателя представление о ней. Прилагательное, таким образом, предполагает здесь определенную субстанцию не через посредство существительного, а само по себе. Это, собственно, и имеют в виду, когда говорят, что прилагательное в таких примерах есть аппозиция, т. е. по своей функции тождественно с определительным существительным.

Язык древнеисландской прозы, типологически и нередко хронологически более поздний, чем язык Эдды, дает нам добавочный материал для определения исторической тенденции бесчленной конструкции. Из рассмотрения мы удаляем сочетания слабого прилагательного с порядковыми числительными, со сравнительной и превосходной степенью и с местоименным прилагательным *samr*, как, например, *fyrri sumar* 'прошлым летом'; *á vinstri hlið* 'с левой стороны'; *i næsta húsi* 'в ближайшую избу'; *við þriðja mann*, букв. 'с третьим человеком', т. е. сам-третьей'; *sömu nótt* 'в ту самую ночь'. Эти сочетания не представляют интереса для нас, поскольку перечисленные категории прилагательных, употребительные (кроме *samr*) только в слабой форме, стояли в стороне от «конфликта» между слабой и сильной формой, характеризующего развитие прилагательных в древнем языке. В несколько иной связи мы вернемся к этим разновидностям прилагательных позднее. По устранении данных сочетаний мы находим два разряда сочетаний, приблизительно соответствующих только что отмеченному для языка Эдды делению на индивидуальные и коллективные обозначения.

В первый разряд входят теперь исключительно сочетания с именами собственными. Прилагательное, следующее за существительным, выражает клички и прозвища. Ср. *Nj. 72, 6 Qnundr fagri* 'О. Красавец'; *Nj. 47, 1 Ketilbjörn gamli* 'К. Старик'; *Nj. 25, 3 Kolbeinn ungi* 'К. Юный'; *Eg. 22, 37 Sighvatr rauði* 'С. Рыжий'; *Eg. 8, 4 Bárðr hvíti eða Bárðr sterki* 'Б. Ры-

сый', он же 'Б. Сильный'; Eg. 3, 1 *Hálfðann svart* 'Х. Черный'; Kr. 15, 1 *Óláfr konungr kyrr* 'конунг О. Спокойный' и т. д. Прилагательное здесь выполняет функцию, близкую к нашим фамилиям. Грамматически оно стоит на грани или уже окончательно превратилось в существительное, последнее — как в русских фамилиях Толстой, Горский и т. д. В этой функции бесчленное слабое прилагательное не только удержало свои позиции в борьбе с соперничающими формами членного и сильного прилагательного, но даже сумело завоевать новые, поскольку в современном исландском языке это наиболее распространенная форма.

В сочетаниях с именами нарицательными, составляющими второй разряд, замечается обратный процесс решительной и последовательной ликвидации старой нормы. Собственно говоря, в прозе это уже не свободные синтаксические сочетания, а окаменевшие сложные формы, в которых старая синтаксическая связь раскрывается только этимологически. Ср. *raudagull* 'красное золото'; *hvítabjörn* 'белый медведь'; *hvítasalt* 'селитра'; *svartahaf* 'Черное море'. Дело здесь, конечно, не в слитном написании. В слитном написании мы находим в Эдде Снорри и такие слова, как *hvítaaurr*, *hofgahallr* и др., встречавшиеся нам ранее в поэтической Эдде (в таком виде приводит эти слова и Lex. poet.). Слитное написание имеет лишь побочное значение, как орфографическая фиксация сдвигов в восприятии старого бесчленного сочетания. Морфологически этот сдвиг состоит в том, что прилагательное теряет флексию: *hinn hvíti björn*, но в соединении — *hvítabjörn*. Сущность же этого сдвига сводится к семантическим изменениям. Если в сочетаниях с именем собственным прилагательное становится кличкой или прозвищем, то в соединениях типа *hvítabjörn* оно обычно выступает как логическое определение, ограничивающее и уточняющее понятие. Оборот в целом приобретает благодаря этому терминологическое значение. Не только *hvítasalt* 'селитра' (букв. 'белая соль') обнаруживает это значение, но и *raudagull* 'красное золото', и *hvítaaurr* 'сверкающая роса', которые в позднейшем сознании могли выступать как термины мифологических или сказочных сюжетов.

Сопоставляя оба разряда, мы можем прийти к следующим выводам относительно судеб бесчленного слабого прилагательного.

Позднейшее развитие не терпит этой древней формы в сочетаниях с именами нарицательными и охотно допускает ее при именах собственных. Это значит, что область нарицательных сочетаний лежала в центре тех потрясений и сдвигов, которые отделили один исторический период от другого. Именно здесь совершалась борьба между старой и новыми формами, именно здесь старая форма казалась менее всего допустимой, в силу чего она и погибла. Неудовлетворительность старой формы и опасность полисемантизма, очевидно, меньше ощущались в приложении

к именам собственным. Это, следовательно, был периферийный и сравнительно нейтральный район, где противоречия, определявшие развитие языка, проявлялись в меньшей степени. В дальнейшем будет сделана попытка ближе определить характер этих противоречий. Пока же ограничимся достигнутым. Это тем более необходимо, что уже здесь, в начальном пункте исследования, начинается расхождение с господствующей в буржуазной науке интерпретацией вопроса.

Принятые в индоевропеистике взгляды на этот счет изложены в специальных работах Дельбрюка. Исторический ход событий искажается им до неузнаваемости. Дельбрюк рисует типичную для компаративистики безжизненную схему «развития»: «Германцы могли употреблять существительное в определенном и неопределенном смысле, так же как в латинском *arbor* может означать ‘*ein Baum*’ и ‘*der Baum*’. То же относится к существительному, связанному с прилагательным; *arbor viridis* может означать ‘*ein grüner Baum*’ или ‘*der grüne Baum*’, и так же обстояло дело в германском, где сильное прилагательное представляет собой неизменившееся синтаксическое продолжение старого индоевропейского прилагательного»... «Наконец, германцы имели в своем языке ряд существительных на *-n-*, обозначающих живые существа и способных присоединяться в качестве постоянного приложения (*als feste Apposition*) к лицам, именно к собственным именам. В случаях, когда эти существительные называли живое существо по одному из его свойств, например молодости, красоте, хроманию, такое сочетание производило впечатление существительного с атрибутивным прилагательным, например *Sigvǫrþr unge* первоначально ‘*Sigfried der Jüngling*’ как и ‘*der junge Sigfried*’. Такое слово, естественно, могло присоединяться не только к именам собственным, и, таким образом, получились два атрибутивных сочетания, например *jungaz sunuz* и *sunuz jungo*, из которых первое могло употребляться в определенном и неопределенном смысле, второе — только в определенном (*der junge Sohn*). По мере того как все большее количество экземпляров присоединялось к первоначально редким образованиям, сложился тип нового определенного прилагательного, склоняемого, как и первоначальное сильное, по всем родам и числам»¹³⁹.

Реальные языковые отношения принесены здесь в жертву праязыковой схеме, синтаксис подчинен абстрактной морфологической систематизации. Дельбрюк вынужден расценить бесчленное сочетание как первоначальное, но тут же он совершает ложный шаг, уводящий его в сторону от правильного пути. Из двух синтаксических разновидностей бесчленных сочетаний он рассматривает только одну — сочетание с

¹³⁹ *Delbrück*. Das schwache Adjektivum und der Artikel im Germanischen. IF. XXVI. S. 198 слл.

живыми лицами и собственными именами; из нее одной он исходит в своих теоретических построениях. Но это, мы видели, как раз нейтральный тип, сравнительно легко переживающий в языке более поздней формации и в пределах старых сочетаний наиболее близкий и понятный нам, — тип, следовательно, наименее пригодный для того, чтобы составить представление о специфической семантике слабого прилагательного в древнейшую пору. Немудрено поэтому, что Дельбрюк не видит семантической эволюции, лежащей в основе морфологических изменений; слабая форма для него изначально определенная, позднейшее прибавление артикля будто бы ничего нового не вносит в значение формы. «Слабое прилагательное, выступавшее в качестве аппозиции к существительному, как, например, в др.-исл. *Sigvǫrþr unge*, было в германском языке бесчленным, но разумелось в смысле позднейшего членного слова»¹⁴⁰. Все развитие, таким образом, сводится к бессодержательной замене ранее синтетической формы аналитической.

Данные других германских языков подкрепляют наши выводы против Дельбрюка. Первостепенное значение здесь имеет англосаксонский язык, где в ранних эпических памятниках бесчленная конструкция чрезвычайно распространена. Соответствующий материал о степени распространения этих оборотов в разных памятниках можно найти в специальном исследовании Лихтенхельда¹⁴¹. Наибольшее количество примеров приходится на эпос «Беовульф», где бесчленные сочетания слабого прилагательного количественно намного превосходят членные. Если и здесь отбросить примеры, где параллелизм слабой и сильной формы исключен (в англосаксонском сюда относятся, кроме сравнительной и превосходной степени, еще и застывшие сочетания в дательном-инструментальном падеже), то в остальном получится картина, подобная той, которую мы наблюдали в древнеисландском. И здесь слабые прилагательные выражают неизменно стойкие, общие и идеальные свойства предметов, и здесь, далее, заметна та дифференциация индивидуальных и коллективных значений, о которой говорилось выше.

Вот примеры из Беовульфа, относящиеся к индивидуальным обозначениям (сюда мы относим не только сочетания с именами собственными, но и имена нарицательные, когда они стоят вместо первых): 1401 *wīsa fengel* ‘мудрый владыка’ (*Hrōðgār*); 1793 *gamela Scylding* ‘старый Скильдинг’ (*Hrōðgār*); 2488, 2969 *gomela Scylfing* ‘старый Скильфинг’ (*Ongenþeow*); 1147 *ferhōðfrecan Fin* ‘неустрашимого Фина’; 2124 *frōðan fyrnwitan* ‘многоопытному советнику’ (*Æschere*); 2627 *geongan cempa* ‘юному воину’ (*Viðlāf*); 1399 *mihtigan drihtne* ‘могучему владыке’ (богу);

¹⁴⁰ Там же. С. 198.

¹⁴¹ Das schwache Adjektiv im Angelsächsischen. Zs. f. d. Alt. XVI. С. 325 слл.

в том же значении 1780, 2331, 1693 *ēcean dryhtne* ‘вечному владыке’; 1748 *vergan gāstes* ‘беспокойного духа’ (о дьяволе); 133 — то же о чудовище Гренделе. Этим примерам можно противопоставить другие с существительными, лишенными индивидуального содержания: 1848 *hild heorugrimme* ‘неистовый бой’; 1920 *wudu wynsuman* ‘радостное дерево’ (о корабле); 1436 *herestæl hearda* ‘крепкая стрела’; 1554 *herenet hearde* ‘крепкий панцырь’; 1244 *bordwudu beorhtan* ‘сверкающие щиты’; 2475 *herenið hearda* ‘жестокая распря’; 1344 *hreðerbealo hearde* ‘жестокий вред’; 1802 *hrefn blaca* ‘черный ворон’.

Сочетания первого рода отличаются препозицией прилагательных. К ним в Беовульфе относятся еще обозначения рода и племени, а также территории определенного государства: 1730 *mæran cynnes* ‘славного рода’; 2235 *æðelan cynnes* ‘благородного рода’; 2009, 2355 *lāðan cynnes* ‘враждебного рода’ (о Гренделе); 1734, 2200 *sīde rīce* ‘обширное государство’; 2208 *brāde rīce* ‘широкое государство’; 1860 *wīðan rīces* ‘просторного государства’. Некоторые понятия занимают промежуточное положение по своему оформлению. Так, пышный чертог Хредгара Херот стоит два раза в ряду индивидуальных значений (с препозитивной постановкой прилагательного): 115 *hean hūses* ‘высокого терема’ и 167 *sincfāge sel* ‘сверкающий богатствами покой’; один раз с постпозицией прилагательного: 1178 *beahsele beorhta* ‘зал колец сверкающий’. Характерно, что понятия, отражающие христианское влияние в Беовульфе (весьма часто представляющие собой продукт приспособления языческой терминологии к условиям новой религии) идут по классу индивидуальных представлений: 2331 *ealde riht* ‘десять заповедей’, букв. ‘древнее право’; 979 *miclan dōmes* ‘великого суда’; 2846 *lænan lifes* ‘бренной жизни’. Исключение (препозиция вместо постпозиции) составляет 1695 *scīran goldes* ‘блестящего золота’ и другие весьма немногочисленные примеры.

Единственное отклонение от древнеисландской нормы в этих примерах заключается в том, что порядок слов использован здесь иначе. В исландском индивидуальные представления предполагают постпозицию прилагательного, в англосаксонском — наоборот. Но это показывает, что порядок слов не имеет здесь самодовлеющего значения, его единственное назначение состоит в том, чтобы удовлетворить назревшие нужды в семантической дифференциации.

Дальнейшая эволюция сохраняет в англосаксонском бесчленную форму преимущественно в области религиозной терминологии и в некоторых окаменевших оборотах. Христианские термины, которые попали в Беовульф, возможно, лишь в результате позднейшей интерполяции, составляют слой, который легче удерживается благодаря особому к нему отношению со стороны средневековых носителей литературного языка,

ср. в позднейшей англосаксонской поэзии: *ecean drihtnes* 'вечного владыки'; *lænan life, lænan lifes* 'бренная жизнь'; *miclan dæge, miclan domes* о дне 'великого суда' и т. д. Аналогично и в прозаическом языке. Англосаксонский язык, в целом решительнее разделяющийся с пережитками, чем древнеисландский, изгоняет древнее употребление из сферы сочетаний с именами собственными.

Другие германские языки представляют незначительный интерес в этом плане. Наиболее ранний по времени документации язык этой группы — готский — типологически находится на уровне позднейших памятников англосаксонского языка. Бесчленное слабое прилагательное встречается здесь исключительно в шаблонных оборотах и в терминах христианства. Чаще других встречается сочетание *libains aiweino ἡ αἰώνιος ζωῆ* (14 раз в таком виде, один раз с артиклем). Более редкие случаи: Mt. 25, 46 *in balwein aiweiron εις κόλασιν αἰώνιον*]; Thess. 2, 1, 9 *fralust aiweiron* ἄλεθρον αἰώνιον; личные сочетания: Tim. 2, 1, 2 *liubin barna ἀγαπητῶ τέκνω*; Tim. 1, 1, 2 *walisin barna γνησίῳ τέκνω*; Кор. 2, 4, 4 *gudis ungasaihanins* του θεοῦ τοῦ ἀοράτου; застывшие обороты: Кор. 2, 8, 10 *af fairnin jera ἀπὸ πέρουσι*; Кор. 2, 9, 2 *fram fairnin jera* и др.¹⁴²

В древневерхненемецком и древнесаксонском употреблении сократилось еще больше, здесь мы встречаем в этой форме сплошь христианские представления¹⁴³: Hel. *mareo krist, almihtigon gode, godlicon gumon, liebo drohtin*; Isid. *bi himlischin gote*; O. *fon himiligen lichte, engil gotes guato* и т. д. В средневерхненемецком это употребление полностью исчезает.

Анализ бесчленного слабого прилагательного в германских языках позволяет, таким образом, наметить следующий ход развития этой формы.

В бесчленных сочетаниях, представляющих собой типологически наиболее ранний слой употребления слабого прилагательного, последнее встречалось исключительно в функции постоянного эпитета. Таким образом, именно эта функция является общей для всего слоя. В другом отношении этот слой распадается на две части. Формальным показателем расхождения служит порядок слов, семантически оно основано на различии индивидуальных и обезличенных представлений, в известной мере собственных и нарицательных имен. Так мы получаем различие типов *Sigurðr ungi* и *hviti aurr*. Из этих типов способность к переживанию обнаруживает лишь первый, в то время как второй исчезает почти бесследно.

Индоевропейская теоретическая мысль исходила из типа *Sigurðr ungi* (имя собственное + слабое прилагательное) как типологически бо-

¹⁴² *Lichtenheld*. Das schwache Adjektiv im Gotischen. Zs. f. d. Alt. XVIII. 32.

¹⁴³ Dt. Synt. I. C. 184.

ле архайического. Буржуазные исследователи разделяли точку зрения Дельбрюка, согласно которой присоединение прилагательного к имени собственному представляет собой древнейший слой. С собственных имен затем совершилось будто бы перенесение этого употребления на личные, а затем и нарицательные понятия. Таким образом, наиболее легко переживающий в индоевропейских языках тип объявляется первообразом явления в целом. Но не ясно ли, что мы имеем здесь дело с таким уголком старого употребления, который легче всего было примирить с новыми отношениями и что такое явление старого языка может лишь с большой осторожностью служить средством реконструкции древнего строя? И не правильнее ли будет в таком случае исходить из типа *hvíti aurr* — устранение которого повсюду составляло необходимый минимум развития — как из начальной формы этого явления?

Семантическая история слабого прилагательного будет, стало быть, неполной, если оставить без учета старое различие индивидуальных и коллективных значений. Кроме того, исследователь не должен пройти мимо того обстоятельства, что древнейший слой слабых прилагательных в целом обладает качествами постоянного эпитета. Последнее может показаться фактом, не имеющим грамматического значения. В самом деле, не вызвано ли это обстоятельство тем, что мы имеем дело с поэтическими памятниками, где прилагательное, как правило, всегда эпитет?

Рассмотрение других типов сочетаний прилагательных поможет нам разобраться в этом вопросе.

2. Членные сочетания слабого прилагательного в Эдде

Обратимся к материалам стихотворной Эдды. Как и прежде, из нашего собрания исключены примеры с прилагательными в сравнительной и превосходной степени и в обращении; эти формы будут освещены в специальном месте. Целиком исключены также примеры из прозаических отрывков и названий песен. Обзор материала удобнее будет вести в зависимости от позиции прилагательного¹⁴⁴.

Тип с постпозитивным прилагательным (*maðr inn gamli*). Сюда относятся прежде всего сочетания с именами собственными, отличаю-

¹⁴⁴ Ср.: Germ. Synt. С. 20 слл. — Pollak H. W. Zur Stellung des Attributes in Urgermanischen. IF. XXX. С. 283 слл. См. также Москальская О. И. Употребление артикля в Эдде. Труды Военного института иностранных языков. 1947. № 3. С. 49 слл. Наше исследование уже было закончено, когда статья О. И. Москальской появилась в печати, что помешало нам использовать результаты этой работы.

щиеся от рассмотренного в первом разделе настоящей главы типа *Sigurðr ungi* лишь наличием артикля: Hdl. 25, 3 *Hrolfs ins gamla* ‘X. старого’; Hdl. 18, 8; 12, 4; НН. 52, 4 *Alfr inn gamli* ‘А. старший’; Hdl. 12, 8 *Svan inum rauða* ‘С. красному’; Ghv. 4, 1–2; 8, 1–2; Нм. 6, 1–2; 24, 1–2; 26, 1–2 *Hamðir | inn hugomstóri* ‘X. великодушный’; Akv. 29, 1 *Atli inn ríki* ‘А. могущественный’; Akv. 23, 4 *Hialla ins blauða* ‘X. робкого’; Akv. 23, 6 *Hólga ins frekna* ‘X. храброго’; НН. 1, 5–6 *Helga | inn kugomstóra* ‘X. великодушного’.

Другая группа примеров содержит в качестве определяемого нарицательные обозначения лиц, индивидуальность которых легко восстанавливается из контекста: Hrbl. 8, 1–4 *Hildólfr sá heitir, | er mik halda bað, | rekr inn ráðsvinni, | er býr í Ráðseyiarsundi* ‘X. зовется тот, кто поручил мне заниматься <перевозом>, предприимчивый витязь, что живет в Р.’; Vkv. 39, 3–4 *Bøðvildi | mey ina bráhvíto* ‘Б. деву светлобровую’; Hdl. 9, 6 *skati inn ungi* ‘юный воин’ (Оттар); Alv. 5, 3 *flióðs ins fagrgloa* ‘блестящей девы’ (о дочери Тора); Rm. 13, 2–3 *konr Sigmundar, | seggr inn snarráði* ‘отпрыск Сигмунда, предприимчивый витязь’; Fm. 37, 3 *fiánda inn fólkská* ‘лютого врага’ (Регина); Sg. 8, 7–9 *Sigurðr..., | konungr inn húnski* ‘С. гунский конунг’; Akv. 2, 5–7 *Knefrøðr |... seggr inn suðræni* ‘К., южный витязь’; Sg. 4, 1 *Seggr inn suðræni* ‘южный витязь’ (о Сигурде); : Am. 58, 3 *vífs ins vegliga* ‘величавой жены’ (Гудрун); Нм. 28, 5 *verr inn vígfrækni* ‘муж отважный в бою’ (Эрпр); Нм. 28, 7 *gumi inn gunnhelgi* ‘воин неуязвимый’ (Эрпр); Ls. 20, 4 *sveinn inn hvíti* ‘белокурый юноша’ (имя отсутствует, но в контексте, несомненно, имеет индивидуальное значение, ср. строфу в целом *þegi þú, Gefion! | þess mun ek nú geta, | er þik glapþi at gedi: | sveinn inn hvíti, | er þér sigli gaf* ‘замолчи ты, Гефион, я напому тебе, кто тебя склонил к любовным утехам: белокурый юнец, давший тебе украшение’.

Индивидуальный характер сочетания неоспорим и в следующих примерах, где речь идет о животных, фантастических существах, неодушевленных предметах: Grp. 11, 2 *orm inn frána* ‘сверкающего змея’ (Фафнир); Akv. 3, 4; 13, 4 *Myrkvið inn ókunna* ‘неведомый <лес> Мирквид’; Akv. 30, 5 *at sól inni suðrhöllu* ‘полдненным <склоненным к югу> солнцем’; Grp. 13, 4 *auð in fagra* ‘блестящее золото’ (о сокровище Нифлунгов); сюда же, быть может, и Akv. 3, 3 *mar inom mélgreyppa* ‘на грызущем удила коне’ (о коне Кнефрода).

В некоторых случаях сочетание осложнено личным или указательным местоимением: Нм. 28, 3 *bróðir okkar inn bōðfrækni* ‘брат наш отважный в битве’; Akv. 5, 7–8 *hrís þat it mæra, | er meðr Myrkvið kalla* ‘лес тот знаменитый, что люди зовут Мирквид’. Об индивидуальном значении трудно говорить в следующем примере: Vkv. 17, 5–6 *Amun ero augo | ormi þeim inom frána* ‘его глаза напоминают змея того сверкаю-

щего', все же наличие указательного местоимения дает для этого некоторое основание.

Особо выделяю примеры во множественном числе: Akv. 13, 3 *mari inu mélgreypo* 'грызущие удила кони' (о конях Гьюкунгов); Háv. 80, 2–3 *er þú at rúnom spyrr*, | *inom reginkunnum* 'что узнаешь ты из рун, данных богами'; Ghv. 4, 7–8; Hm. 7, 1–2 *bækr...* | *inar bláhvíto* 'сине-белое убранство постели'. Примеры с подчеркнутым указанием отчасти предвосхищают относительное придаточное предложение: Od. 8, 1–4 *þorn þau in blíðo* 'те милые дети' (о дочери и сыне Боргни); Hrbí. 44, 1–3 *Nam ek at mǫnnum* | *þeim inom aldrænom*, | *er búa i heimis skógom* 'взял я у людей старых, тех, что живут в курганах' (? — *heimis skogom* — неясно). Во множественном числе индивидуальный момент, естественно, должен слабеть, но в некоторых примерах он достаточно выпячен.

Остаются два примера в единственном числе, где индивидуальный момент отсутствует: Vkv. 9, 5 *viðr inn vinn-þurri* 'сухостойное дерево' (место это обычно рассматривается как испорченное) и НН. 12, 6–7 *veðrs ins mikla* | *grára geira* 'великой бури серых колий' (кенинг для обозначения 'сражения, битвы').

Подводя некоторые итоги, мы можем отметить незначительное количество примеров с множественным числом, а в целом — огромное преобладание индивидуально обособленных понятий. С этой точки зрения, выбор образца *maðr inn gamli* для характеристики всего типа является неудачным не потому, что, как думает Поллак, сочетание имя нарицательное + артикль + прилагательное в целом не свойственно древнеисландскому¹⁴⁵, а потому, что оно, хотя и встречается, но, как правило, имеет индивидуальное значение, которое никак не выражено в выбранном образце.

Тип с препозитивным прилагательным (*inn gamli maðr*). Несмотря на численное превосходство этого типа, примеров с собственными именами здесь несравненно меньше: Нум. 37, 7–8 *inn lævisi* | *Loki* 'злоскозненный Локи'; Háv. 14, 3 *ins fróða Fíallars* 'мудрого ф.'; один раз применительно к мифологическому рогу Гьялархорну: Vsp. 46, 3–4 *at ino gamla* | *Giallarhorni* 'в великий Г.'.

Много примеров с нарицательными именами в индивидуальном значении: Hm. 25, 2–3 *inn reginkungi* | *baldr* 'рожденный богами витязь' (согласно саге о Вольсунгах — Один); НН. 55, 6–7 *inn flugar trauda* | *iǫfur* 'князя не склонного к бегству' (о Ходброде); Br. 18, 8 *við inn unga gramm* 'молодому князю' (Гунару); Vsp. 55, 1–3 *inn mikli* | *mǫgr sigfǫður* | *Viðarr* 'великий сын Одина, Видар'; Vsp. 56, 1–2 *inn mæri* | *mǫgr Hlóðyniar* 'славный сын Х.' (Тор); . Háv. 140, 2–3 *af inom frægja syni* | *Bólþors* 'от

¹⁴⁵ Germ. Synt. С. 284 слл.

знаменитого сына Б.’; Skm. 38, 5–6 *inom þroska* |... *Niarðar syni* ‘могучему сыну Н.’; Þrk. 29, 1–2 *in arma* | *íqtna systir* ‘злосчастная сестра йотунов’ (родственница Тримра); Þrk. 32, 1–2 *ina qldno* | *íqtna systir* ‘старую сестру йотунов’ (о ней же); Od. 32, 1–3 *in arma...* | *móðir Atla* ‘злосчастная мать А.’; Ls. 49, 5; 50, 2 *ins hrimkalda magar* ‘холодного как иней сына’ (о великане Нарви; холодный как иней — в Эдде постоянный эпитет великанов); Grm. 50, 4–5 *Miðvitnis* | *ins mæra burar* ‘славного сына М.’; Skm. 1, 5–6; 2, 5–6 *inn fróði...* | *afi* ‘умный предок’ (Фрейр); Alv. 6, 5 *it unga man* ‘молодая девушка’ (дочь Тора); НН. 56, 4 *in rikia mæx* ‘могущественная дева’ (валькирия Сигрун); Skm, 11, 5 *ins unga mans* ‘молодой девушки’ (Гердр); Нум. 30, 1–2 *in friða* | *frilla* ‘милая подруга’ (о жене великана Химира); Gg. 3, 2 *in lævisa kona* ‘лютая женщина’ (мачеха Свипдага); Háv. 108, 4–5 *Gunnlaðar...* | *innar góðo kono* ‘Тунлод... доброй жены’; Háv. 96, 5 *in horska mæx* ‘разумная дева’ (дочь Билинга); о ней же: Háv. 102, 8 *in horska man* ‘разумная девица’; Háv. 102, 5–6 *it ráðspaka* | *flióð* ‘хитроумная жена’; Háv. 101, 5 *innar góðo kono* ‘доброй жены’; Fi. 29, 6 *in fólva gygr* ‘бледная великанша’ (Синмара); Þrk. 26, 1–2; 28, 1–2 *in alsnotra* | *ambótt* ‘хитрая служанка’ (о Локи); Gg. 14, 2–3 *við inn naddgofga* |... *íqtun* ‘с державным йотуном’ (имеется в виду Фйолвигр); Grm. 50, 3 *inn aldna íqtun* ‘старого йотуна’ (сына Мидвигнира); Нгбл. 19, 1–2 *Þiaza*, | *inn þrúðmoðga íqtun* ‘Тьяци, могучего йотуна’; Fm. 29, 3 *inn aldna íqtun* ‘старого йотуна (Регина); Vm. 33, 5 *ins fróða íqtuns* ‘разумного йотуна’ (Вафтруднира); Vm. 1, 5; 5, 2 *inn alsvinna íqtun* ‘быстрейшего разумом йотуна’ (о нем же); Vm. 21, 5 *ins hrimkalda íqtuns* ‘холодного как иней йотуна’ (Имира); Vm. 32, 5 *inn baldni íqtunn* ‘отважный йотун’ (Аургельмир); Háv. 104, 1 *inn aldna íqtun* ‘старого йотуна’ (о Сутунге); Vm. 9, 6 *inn gamli þulr* ‘старый певец-чародей’ (йотун Вафтруднир); Fm. 34, 2 *inn hára þul* ‘седого певца-колдуна’ (Регина); Vsp. 66, 1–2 *inn dimmi* | *dreki* ‘темный дракон’ (Нидхогр); Ghv. 18, 4–5 *inn blakka mar* | *hest inn hraðfæra* ‘вороного коня, ретивого жеребца’ (Грани).

Индивидуальное значение выступает достаточно явно и в следующих примерах: Vm. 46,5 *á inn slétta himinn* ‘по ровному небу’ (о небе как ‘дороге солнца’); Vm. 12, 2–3 *inn skira* | *dag* ‘яркий день’, Sg. 55, 2 *inn heiði dagr* ‘ясный день’ (о солнце); Grm. 39, 2 *ino skirleito goði* ‘сверкающему богу’ (солнцу); Vkv. 6, 8 *við inn skarða mána* ‘на ущербленной луне’ В качестве примеров, лишенных личного содержания, Дельбрюк приводит *inom háva víði* ‘на высоком дереве’, *it gialla gull* ‘звонкое золото’, *it gloðrauða fé* ‘пламенно-красное богатство’ и др.¹⁴⁶ В его списке действительно содержатся некоторые примеры с безличным значением, но другие могут рассматриваться как индивидуально-конкретизирован-

¹⁴⁶ Germ. Synt. С. 28 сл.

ные, если под такой конкретизацией не обязательно понимать соотносительность с лицом. В примере Fi. 23–5. *í inom háva víði* ‘на высоком дереве’ речь идет о волшебном дереве Мимамайдр. Обозначения Fm. 9, 4–6; 20, 4–6 *it gialla gull ok it gloðraudá fé* ‘звонкое золото и пламенно-красное богатство’ относятся к сокровищу Нифлунгов. Аналогично и в других случаях: Háv. 105, 3; 140, 5 *ins dýra miaðar* ‘драгоценного меда’ (мед скальдов, который Один добывает у Сутунга); 18, 3 *við inn helga miqð* ‘в священный мед’ (о том же); Grm. 13, 6 *inn góða miqð* ‘добрый мед’; Grm. 25, 6 *ins skíra miaðar* ‘светлого меда’; Skm. 16, 3 *inn mæra miqð* ‘прославленный мед’: Нум. 24, 3–4 *in forna | fold* ‘древняя земля’ (=‘мать сыра земля’); Vm. 44, 5–6 *inn mæra... | fimbulvetr* ‘знаменитая Зима’ (мифическая зима по окончании веков); Vsp. 28, 9–10 *í inom mæra | Mímis brunni* ‘в знаменитом источнике Мимира’; Vsp. 47, 3 *it aldna tré* ‘старое дерево’ (мировой ясень Игдрасиль); Þrk. 13, 5–6; 15, 7–8 *it mikla | men Brísinga* ‘великое ожерелье Брисингов’; НН. II. 31, 5–6 *at ino liosa | Leiptrar vatni* ‘у светлой воды (реки) Лейптр’, но вслед за этим 7–8 *ok at úrsvöllum | Unnar steini* ‘и у холодного утеса Унр’ с сильным прилагательным (быть может, однако, *unnr* здесь имя нарицательное ‘волна?’); Gðr. III, 3–4 *at inom hvíta | helga steini* ‘у белого священного камня’; Grt. 23, 7–8 *inn höfgi hallr* ‘тяжелый утес’ (о волшебном жернове Гроти). Сюда же, возможно, и Fm. 10, 3 *til ins eina daga* ‘до единственного <означенного> дня’ (т. е. дня смерти).

В примерах с подчеркнутым указанием индивидуальности момент выпячивается сильнее: Sg. 18, 5–6 *sá inn húnski | herbaldr* ‘гуннский полководец’ (Сигурд); Fi. 42, 5 *sú in sólbíarta brúðr* ‘блестящая как солнце дева’ (Менглот); Alv. 7, 4–6 *þat it miallhvíta man* ‘эту белоснежную деву’ (дочь Тора); Grp. 30, 7–8 *þá ina fǫguro fylkis dóttir* ‘прекрасную <блестящую> дочь полководца’ (Брюнхильд); Hrbl. 32, 3 *þeiri inni línhvíto mey* ‘той <упомянутой ранее, Hrbl. 30> деве, светлой как лен’; Vm. 35, 5 *sá inn fróði iqtunn* ‘мудрый йотун’ (Вафтруднир); Skm. 10, 7 *sá inn ámatki iqtunn* ‘могущественный йотун’ (Гимир); Grm. 11, 3 *sá inn ámatki iqtunn* (Тьяци); Skm. 25, 5 *sá inn aldni iqtunn* ‘старый йотун’ (Гимир); Hrbl. 15, 3 *sá inn stóruðgi iqtunn* ‘гордый йотун’ (Хрунгнир); Fm. 38, 2 *þann inn hrimkalda iqtun* ‘этого как иней холодного йотуна’ (Регина); Fm. 26, 25 *sá inn fráni ormr* ‘сверкающий змей’ (Фафнир). Встречаются сочетания и с неодушевленными предметами: Fi. 21, 5 *þess ins mæra víðar* ‘этого знаменитого дерева’ (Мимамайдр); Grt. 10, 3–4 *sá inn harði | hallr* ‘твердая скала’ (о жернове Гроти); Sd. 4, 3 *siá in fiqlnyta fold* ‘эта благодетельная земля’; Hrbl. 19, 5 *á þann inn heiða himin* ‘до самого ясного неба’; Ghv. 16, 7–8 *þann inn hvíta | hadd Svanhildar* ‘белые сверкающие как солнце > волосы С.’ Один случай с абстрактным существительным: Háv. 94, 4–6 *heimska ór horskom | gørir hólða sono | sá inn mátki munr* ‘сынов земли превраща-

ет из умных в безумцев всемогущая любовь'. В этом случае не исключена персонификация, как в др.-русск. *встала обида... всплескала лебедиными крылы*.

К типу *inn gamli maðr* относятся также немногочисленные примеры с притяжательным местоимением: ННв. 32, 4–5 *ina konungbornu | brúði þína* 'жену твою, рожденную конунгом'; Fm. 6, 3; 28, 3 *minn inn hvassa hiðr* 'мой острый меч' (меч Сигурда по имени Грам); Fm. 1,5 *þinn inn frána mæki* 'твой сверкающий меч' (Грам).

Прежде чем перейти к рассмотрению примеров, в которых индивидуальное значение отсутствует, приведем примеры с множественным числом: Vm. 17, 4–6 *hvé sá völlr heitir, | er finnaz vígi at | Surtr ok in sváso god* 'как зовется поле, где сойдутся для битвы Суртр и родные боги'; здесь *in sváso god* предполагает конкретное и определенное множество асов и ванов, противопоставляемых Суртру; ННв. 3, 3–4 *inar fǫgro | fylkis brúðir* 'прекрасные жены полководца'. Два примера с указательным местоимением вдобавок к артиклю: HrbI. 43, 1–4 *Hvar namtu þessi | in hnæfiligo orð, | er ek heyrða aldregi | in hnæfiligri* 'где ты взял эти резкие слова, резче которых я отродясь не слыхивал'; Grm. 41, 4–6 *ór hans heila | voru þau in harðmóðgo | ský qll of skopod* 'из мозгов его <великана Имира> были созданы эти вот зловещие тучи'. Один раз семантически близкое к множественному числу сочетание с собирательным именем: Háv. 101, 2 *in nýta vígdrótt* 'ретивая дружина' (о страже Биллинга).

Далее следуют случаи с единственным числом, где представление об определенном индивидуе отсутствует. В одном примере артикль употреблен анафорически: Háv. 92, 1–6 *Fagrt skal mæla | ok fé bióða, | sá er vill flióðs ást fá, | líki leyfa | ins liósa mans: | sá fær, er friár* 'красиво пусть говорит и предлагает подарки тот, кто хочет добиться любви девицы, пусть хвалит внешность <этой> блестящей девы, тогда обретет ту, что любит'. В этом же роде, но без предшествующего упоминания: Háv. 162, 1–3 *it manunga man* 'молодая дева'; Háv. 161, 1–3 *ins svinna mans* 'разумной девицы', но вслед за этим, несмотря на повторный характер высказывания *hvítarmri kono* 'белокурой женщины', с сильным прилагательным. Здесь употребление стоит на грани общего родового значения.

Пример из Skm. 27, 5–7 *matr sé þér meirr leiðr | en manna hveim | inn fráni ormr með firom* 'пища станет тебе ненавистнее, чем людям на земле сверкающий змей' не исключает индивидуального понимания. Так, например, Зимрок понимает под *inn frani ormr* не вообще змею, а Мирового Змея. Последний след индивидуального значения гаснет зато в примере: Hm. 20, 5–6 *ins dökkva|... hrafns* 'черного ворона'. Остались еще немногие примеры, где индивидуальный момент слаб или вовсе отсутствует: Háv. 117, 10 *ins góða hugar* 'доброе сердца' в смысле 'доброе

отношения к человеку'; Háv. 105, 6–7 *síns ins heila hugar | síns ins svára sefa* 'за ее <Менглод> добрый нрав и заботливое сердце'; Sg. 31, 7–8 *inom hvíta lit* (dat. objct.) 'светлый цвет лица'; Ls. 48,3 *it lióta lif* 'недобрая, неприятная жизнь'.

Сочетания типа *inn gamli maðr*, как и сочетания первого типа, выражают, таким образом, преимущественно индивидуальные понятия. Количество исключений и оборотов с множественным числом здесь так же незначительно, как и там. С этой точки зрения обозначение *inn gamli maðr* (артикль + прилагательное + имя нарицательное) мало удачно, как и обозначение *maðr inn gamli* для первого типа. Но некоторую границу между обоими типами все же можно провести: в первом типе значительна прослойка имен собственных, во втором она почти отсутствует, и основную массу примеров образуют сочетания с именами нарицательными. Здесь, следовательно, продолжает в ослабленной степени существовать то различие, которое мы наблюдали раньше в бесчленных сочетаниях: постпозиция прилагательных имеет место при именах собственных, препозиция — при именах нарицательных. Сходство членных и бесчленных сочетаний поддерживается, как увидим, еще тем, что и здесь прилагательное сохраняет в полной мере черты постоянного эпитета. Вместе с тем, нельзя не отметить известное расхождение: в бесчленных конструкциях Эдды и Беовульфа нередко встречаются понятия, лишенные индивидуальной отметки: 'сверкающая роса', 'черный ворон', 'острая стрела', 'жестокое сражение' и т. д.; в членном сочетании — это редкость. Имена нарицательные соотнесены здесь в своей массе с индивидуальными предметами, и это обстоятельство служит основой для сближения и частичного смещения типов *maðr inn gamli* и *inn gamli maðr*.

Для характеристики встречавшихся нам индивидуальных понятий необходимо указать, что это чаще всего лица — герои или мифологические фигуры, — реже животные и неодушевленные предметы. Индивидуальность последних поддерживается тем, что это, сплошь и рядом, обладатели собственных имен: конь Грани, деревья Игдрасиль и Мимамейдр, меч Грам, жернов Гроти, ожерелье Брисингов и т. д. Индивидуальность в таких представлениях не просто противопоставляется роду, это не просто единица в ряду подобных и равноправных с ней единиц. В понятие индивидуальности здесь необходимо входит момент исключительности и превосходства предмета над остальными предметами того же рода. Меч Грам — это выдающийся меч, с которым никакой другой не может сравниться, это материальное воплощение идеала меча. Эпос и мифология донесли здесь до нас то, что некогда составляло черту обыденного языка и сознания. Впоследствии будет показано, что определенный артикль предполагает при своем зарождении именно такое представление об индивидуальности.

О прилагательных, входящих в состав сочетаний, уже было сказано, что это постоянные эпитеты. В этом легко убедиться, расположив прилагательные применительно к важнейшим категориям существительных.

Герой, витязь, воин, князь характеризуются в Эдде следующими прилагательными: *inn ungi* 'юный', *inn ráðsvinni* 'быстрый в решениях, предприимчивый', *inn flugar traufi* 'несклонный к бегству', т. е. 'отважный', *inn reginkunngi* 'отпрыск богов'. В приложении к некоторым (Сигурд, Кнефрод) встречаем *inn hunski* 'гунский' или *inn suðræni* 'южный'.

Дева, жена в Эдде обычно — *in unga*, *in manunga* 'молодая', *in lihvíta* 'светлая, как лен', *in bráhvíta* 'светлобровая', *in miállhvíta* 'белоснежная', *in sólbjarta* 'ясная, как солнце', *in fagrglóa* 'блестящая', *in fagra* 'красивая, блестящая', *in liósa* 'светлая', *in vegliga* 'великолепная', *in fríða* 'прелестная'. О валькирии Сигрун — *in ríkiá* 'могущественная'. Несколько в стороне стоят эпитеты из *Hávamal*: *in horska* 'разумная', *in ráðspaka* 'рассудительная', *in svinna* 'быстрая разумом', *in góða* 'добрая'.

Эпитеты великанов, йотунов: *inn hrímkaldi* 'холодный, как иней', *inn aldni* 'старый', *inn ámatki* 'могучий', *inn naddgofgi* 'тяжело вооруженный, могучий', *inn þrudmóðgi* 'отважный', *inn baldni* 'храбрый', *inn stóruðgi* 'гордый', *inn fróði* 'мудрый', *inn alsvinni* 'разумнейший'.

Певец-кудесник (*þulr*) — *inn gamli* 'старый', *inn hári* 'седой',

Великанша — *in lævísá* 'злая, лютая', *in arma* 'злополучная', *in fólva* 'бледная'.

Конь — *inn melgreypi* 'грызущий удила', *inn hraðfæri* 'борзый, ретивый',

Змей — *inn fráni* 'сверкающий' (глазами).

Ворон — *inn dökkvi* 'черный'.

Солнце — *in suðrhalla* 'полднее', *inn skiri (dagr)* 'светлое', *inn heiði (dagr)* 'ясное'.

Земля — *in forna* 'древняя', *in fiðlnýta* 'кормилица, благодетельная'.

Меч — *inn hvassi* 'острый', *inn fráni* 'сверкающий'.

Замок — *in há (borg)* 'высокий'.

Некоторые эпитеты, как *mærr* 'славный, знаменитый', *góðr* 'хороший' и т. п. имеют общее значение и прилагаются к разнообразным предметам.

Постоянные эпитеты Эдды отличаются от постоянных эпитетов русских былин или эпоса Гомера тем, что в них отсутствует лексическое постоянство; ср.: русск. *красная девица*, *синее море*, *чистое поле*, *ретивое сердце*, *серый волк* и т. д. Особенности аллитерационного стиха препятствовали стабилизации эпитета в лексическом отношении, но в другом, смысловом, отношении эпитет постоянен и здесь. Мы ограничимся пока простой констатацией этого факта, значение которого будет раскры-

то позже, и обратимся к другому вопросу — к вопросу о взаимоотношениях слабого и сильного прилагательного в Эдде.

Есть грамматическая область, где сильные прилагательные господствуют безраздельно и не испытывают никакой конкуренции со стороны слабых прилагательных, — это область предикативного атрибута (см. гл. III). Слабое прилагательное встречается здесь лишь тогда, когда прилагательное морфологически дефектно и не имеет сильной формы. Но это как раз те случаи, от которых мы отвлекаемся. К ним принадлежат, кроме сравнительной и превосходной степени и порядковых числительных, еще единичные прилагательные, засвидетельствованные только в слабой форме: *ofrölví* (Háv. 14, 1–2 *Qlr ek varð, | varð ofrölví* ‘пьян я был, мертвецки пьян’), *skapdauði* (Am. 61, 6 *hann er skapdauði* ‘он — обреченный на смерть’), *örviti* (НН. II, 34, 1–2 *ær ertu, systir | ok örvita* ‘ты безумна, сестра, и сумасбродна’). Четвертый случай *ofreiði* (Skm. 1, 4–6; 2, 4–6 *hveim enn fróði se | ofreiði afi* ‘на кого сердит мудрый прадед’) считается вообще сомнительным.

Говоря о предикативном атрибуте, мы подразумеваем прилагательные, сочетаемые не только с глаголом-связкой, но со всеми глаголами неполного высказывания, число которых в древнем языке велико. И в таких сочетаниях, следовательно, как Vkv. 38, 3–4 *ókatr Niðuðr | sat þá eptir* ‘Н. остался сидеть грустный’ или Нум. 37, 2–4 *liggia nam | hafr Hlórriða | hálf dauðr fyrir* ‘козел громовержца свалился полумертвый’ и т. п., слабое прилагательное, как правило, невозможно. Так как конструкция винительного с инфинитивом зависит от глаголов неполного высказывания, то и здесь прилагательное представляет собой разновидность предикативного атрибута и оформляется как сильное, ср.: Þrk. 17,3–4 *Mik muno æsir | argan kalla, ef...* ‘асы назовут меня негодным, если’; Rm. 24, 4–6 *tálar dísir | standa þér á tvær hliðar | ok vilja þik sáran síá* ‘коварные диски стоят по обе стороны от тебя и хотят тебя видеть раненным’; Fm. 12, 2 *allz þik fróðan kveða* ‘ведь тебя называют мудрым’ и т. д.

В ряде случаев весьма трудно отделить атрибутивное сильное прилагательное от предикативного, например Rm. 14, 1–2 *Ek mun fæða fólkdíarfán gram* ‘я воспитаю воинственного князя’, но по основаниям, о которых речь пойдет позже (гл. III), точнее будет: ‘я воспитаю князя воинственным’; ННv. 9, 5–6 *liggr með eggjo | ormr dreyfáaðr* ‘лежит у острия змея окровавленная’ (‘не окровавленная змея’, а ‘лежит окровавленная’); Grm. 13, 4–6 *þar vörðr goða | drekkir í væro ranni | glaðr, inn góða mið* ‘там страж богов в уютном доме веселый пьет добрый мед’ (‘не веселый страж богов’, а ‘веселый пьет’); Нум. 8, 1–2 *en önnor gekk | algullin fram, | brúnhvít, bera | biorveig syni* ‘а другая <хозяйка> подошла раззолоченная, светлобровая, подать сыну браги’ (‘вышла раззолоченная’, а не ‘раззолоченная хозяйка подошла’); Grm. 17, 4–6 *þar mögr of*

lætsk | af mars baki | frækn, at hefna fjoður ‘там юноша соскочит со спины коня отважный <полный решимости> отомстить за отца’ (‘соскочит полный решимости’ и т. д., а не ‘отважный юноша’); Vsp. 26, 1–2 *Þórr einn þar vá, þrunginn móði* ‘Тор один там сражался, исполненный ярости, отваги’ (‘яростно, отважно сражался’, а не ‘отважный Тор там сражался один’); НН. 30, 1–4 *En þeim síalfom | Sigrún ofan | fólkdiorf, um barg | ok fari þeira* ‘Сигрун спасла их отважная, и их корабли’ скорее ‘отважно, самоотверженно спасала’, чем ‘отважная Сигрун’); Ам. 34, 1–2 *Bera kvað at orði, | blið í hug sínom* ‘Бера молвила слово, чистая сердцем’ (не ‘чистая сердцем Бера’, а ‘сказала от чистого сердца’); Vsp. 19, 7–8 *stendr æ yfir, grænn | Urðar brunni* (о ясене Игдрасиль) ‘стоит вечно зеленый над источником Урд’, ‘вечно стоит зеленый’, а не ‘зеленый ясень стоит над источником’); Ам. 49, 5 *nökþan tók hon mæki* не столько ‘она взяла обнаженный меч’, сколько ‘обнажила меч’.

Предикативное употребление сильного прилагательного в приведенных примерах поддерживается еще рядом примеров, где сильное прилагательное выступает в роли предикативного приложения. Непосредственная связь глагола с прилагательным в таких случаях отсутствует, но прилагательное как бы стоит с ним в одном ряду, ср.: Grp. 27, 1–2 *Flióð er at Heimis, | fagrt álitom* ‘дева есть у Хеймира, прекрасная видом’, где можно перевести и ‘она — прекрасна видом’, ННv. 28, 1–3 *þrennar niundir meya | þó reið ein fyrir | hvít und hialmi mæ* ‘три эннеады дев, но одна едет впереди, бела под шлемом, дева’; Rþ. 7, 1–4 *Joð ó Edda | jóso vatni | hqrundarsvartan | hétu Þræl* ‘родила ребенка Эдда, его окунули в воду и, темнокожего, прозвали Трелом’; Gðr. II, 9, 1–4 *Hvi þú mér, Hogni, | harma slika, | vilia laussi, | vill um segia?* ‘как это, Хогни, ты решился поведать столь скорбные вести мне, лишенной радости’; Нум. 8, 1–2 *Mqgr fann qmmo | miqk leiða sér* ‘сын встретил здесь бабуку, ему чрезвычайно ненавистную’; НН. 6, 1–3 *stendr i brynio | burr Sigmundar | dægrs einn gamall* ‘сын Сигмунда стоит в броне, однодневный’, т. е. ‘в возрасте одного дня’; Skm. 19, 1–2 *Epli ellifu | hér hefi ek, algullin* ‘одиннадцать яблочек я привез с собой, они — золотые’; Skm. 23, 1–2; 25, 1–2 *sér þú þenna mæki, mæ, mióvan, málfan* ‘видишь ли, дева, этот меч, узкий, разрисованный’; Vsp. 19, 1–3 *Ask veit ek standa, | heitir Yggdrasil, | hár baðmr* ‘я знаю, что стоит ясень по имени Игдрасиль, <это —> высокое дерево’; Ам. 6, 1–4 *Kom þá Kostbera | — kvæn var hon Hogni, | kona kapps gálig, | ok kvaddi þa baða* ‘пришла тут Костбера, то была супруга Хогни, обходительная женщина, и приветствовала послов’. В ряде случаев предикативность прилагательного заметно слабеет: ННv. 5, 7–10 *þá var oss syniat | Sváfnis dóttur, | hringom gæddrar, | er vér hafa vildom* ‘тогда отказались нам выдать дочь Свафнира, украшенную кольцами, ту, что мы желали иметь’; НН. II, 20, 1–3 *Hér má Hqðdbroddr | Helga kenna | flóttu traudan*

‘здесь может Хоброд видеть Хельги, не склонного к бегству’; Háv. 97, 1–3 *Billings mey | ek fann beðiom á, | sólhvíta, sofa* ‘деву Биллинга нашел я, светлую, как солнце, спящей на ложе’; Akv. 43, 5–8 *Hon hefir þriggia | þjóðkonunga banorð borit | biqt, aðr sylti* ‘она принесла смерть трем конунгам, блестящая, пока не скончалась’.

Предикативность сильного прилагательного настолько сильна, что в ряде случаев оно как бы заменяет личную глагольную форму, ср.: Нум. 25, 1–4 *óteitr iqtunn, | er þeir aprt røru, | svá át ár Hymir | ekki mælti* ‘печален <был> йотун, когда они возвращались, так что ни слова не вымолвил раньше’; Нум. 1, 1–4 *Ár valtívar | veiðar namo | ok sumblsamir, | áðr saðir yrði* ‘некогда боги поохотились и <были> жаждущие’, т. е. ‘пожелали пить, не напившись вдоволь’.

Сильное прилагательное в предикативном употреблении является, таким образом, антиподом слабого. Здесь их функции резко расходятся: сильное прилагательное выражает признаки временные, зависящие от контекста, так или иначе связанные с глаголом; слабое же прилагательное выражает, как мы видели, признаки общие, абсолютные, постоянные, имеющие силу и вне узкой сферы данного высказывания. Взаимоотношения этих форм оказываются гораздо более сложными в области чисто атрибутивного употребления.

В этой области сильное прилагательное встречается прежде всего тогда, когда оно определяет предмет по какому-нибудь временному, случайному или несущественному, с точки зрения древнего понятия о предмете, признаку, ср. Háv. 89, 3–4 *húsi halfbrunno | hesti alskiótum* ‘полусгоревшей избе, слишком быстрому коню <не следует доверяться>’, или Ам. 62, 7 *sinn dag dapran* ‘свой печальный день’. В таких случаях сильное прилагательное вносит новое определение в понятие предмета, имеет логически ограничительную функцию и само по себе, помимо существительного, не может представлять предмет, отличаясь всем этим от слабого прилагательного.

Нередко различие форм склонения влечет за собой семантическую дифференциацию прилагательного. Это легко показать на примере прилагательного *ungr* ‘молодой’. Обратимся с этой точки зрения к Sg., где это прилагательное встречается особенно часто.

Вот все случаи слабого употребления *ungr* в этой песне: 1, 1–4 *Ár var, þats Sigurðr | sótti Giúka, | Volsungr ungi* ‘Давно это было, когда Сигурд, юный Вольсунг, навестил Гьюки’; 2, 1–4 *Mey buðo hanom | ok meiðma fiqlð | Guðrúno ungo | Giúka dottur* ‘деву ему предложили и множество драгоценностей, Гудрун юную, дочь Гьюки’; 2, 5–8 *drukko ok dæmdo | dægr mart saman, | Sigurðr ungi | ok synir Giuka* ‘пили и судили много дней сряду Сигурд юный и сыновья Гьюки’; 3, 3–5 *svá at þeim Sigurðr | reið i sinni, | Volsungr ungi* ‘с ними выехал в путь и Сигурд, юный Вольсунг’;

25, 5–8 *Grátaðu, Guðrún, | svá grimmliga, | brúðr frumunga, | þér bræðr lifa* ‘не плачь, Гудрун, так ужасно, юная жена, остались в живых твои братья’. Во всех этих случаях (сомнительным может показаться лишь последний) *ungr* выступает как постоянный эпитет, имеющий идеальное значение. Можно заменить этот эпитет другим, скажем, *mærr* ‘славный’ или, в приложении к Гудрун, *fögr* «блестящая», *hvit* ‘светлая’, и общий смысл останется тем же. Не то в случаях с сильной формой, где прилагательное сохраняет свое прямое значение и замена может оказаться роковой для контекста: 34, 5 *Varð(kat) ek til ung* ‘я была очень молодой’; 36, 9–12 *þá er mér ióðungri | eigo seldi | ok mér ióðungri | aura talði* ‘которые он мне, молодой, <т. е. в молодости, когда я была молодой>, отдал во владение и насчитал мне, молодой, деньгами’; 51, 1–4 *unz af hyggiandi | hǫrskrydd kona, | ung af aldri, | orð viðr um kvað* ‘поразмыслив, разодетая жена, юная летами, молвила в ответ’; 26, 1–2 *Á ek til ungan | erfynytia* ‘к тому же я имею юного наследника’ (о ребенке); о нем же (12, 1–4) Брюнхильд говорит Гунару: *Látom son fara | feðr i sinni! | Skalat úlf ala | ungan lengi* ‘отправим сына вслед за отцом, не следует растить молодого волчонка’ (последнее, вероятно, поговорка, ср. *Sd.* 35, 6–7 *úlfur er i ungom syni, | þótt hann sé gulli gladdr* ‘волк сидит в молодом сыне, как бы его ни обольщали золотом’); 4, 9–10 *mey frumunga | fal hann megi Giuka* ‘юную деву сохранил он для сына Гьюки’ (т. е. он сохранил ее юной, девственной). И лишь один раз сильное прилагательное имеет неопределенное значение: 6, 5–8 *Hafa skal ek Sigurðr, — | mög frumungan, | mér á armi* ‘хочу иметь я Сигурда, молодого юношу, в своих объятиях’.

Разница в значениях подтверждается и материалами других песен Эдды. Примеры с *ungr* в слабом склонении приведены выше при общем рассмотрении бесчленного и членного употребления слабых прилагательных. Для того чтобы не повторяться, ограничусь здесь приведением примеров сильного прилагательного: *Háv.* 158, 1–5 *þat kann ek it þrettanda: | ef ek skal þegn ungan | verpa vatni á, | munat hann falla, | þótt hann í fólk komi* ‘я знаю тринадцатое <магическое слово>: если окуну воина молодого <т. е. молодым, ребенком> в воду, то он никогда не падет, сколько бы ни сражался’; *Ghv.* 2, 5–8 *er Iormunrekr | yðra systur | unga af aldri, | ióm of traddi* ‘когда Иормунрек растоптал под конями вашу молодую годами сестру’; *Am.* 97, 5 *þorðoz ér bræðr ungir* ‘вы, братья, сражались, будучи молодые’, букв. ‘сражались вы, братья, молодые’; *Hlr.* 8, 1–5 *þá lét ek gamlan | á Goðþjóðo | Hiálm-Gunnar næst | heliar ganga; | gaf ek ungom sigr* ‘тогда я старого князя готов Хьяльм-Гунара отправила в Хел и дала победу молодому’; *Skm.* 5, 4–5 *þviat ungir saman | vórum í árdaga* ‘ибо молодыми, вместе мы были некогда’, и немного спустя там же (7, 1–3) *Mær er mér tíðari | en manni hveim | ungom, í árdaga* ‘дева мне дороже, чем любому мужу, молодому некогда’, т. е. ‘дороже, чем любому из моих

друзей детства»; Nm. 15, 7–8 *léto mǫg ungan | til moldar hníga* ‘молодого юношу <т. е. младшего брата> заставили склониться на землю»; Gðr. I, 12, 5 *ungo vífi* ‘молодой жене, вдове’, в непосредственном смысле слова — ‘молодой’. Менее ясно употребление слова в следующих примерах: Skm. 21, 1–3 *Baug ek þér þá gef, | þann er brendr var | með ungom Óðins syni* ‘я тебе дам кольцо, что горело с юным сыном Одина на костре’; Hlr. 6, 5–8 *var ek vetra tólf, |... er ek ungom gram | eíða seldak* ‘было мне двенадцать лет, когда я дала клятву молодому князю’; NH. 7, 5–8 *Sialfr gekk vísi | ór vígþrimo | ungom færa | ítrlauk grami* ‘сам князь вышел из боевой суматохи, чтобы подать порей молодому витязю’; NHv. 41, 5–8 *iqfur ungan* ‘молодого князя’. Возможно, что мы имеем здесь исключения; контекст, однако, не дает оснований для однозначных толкований. Явное исключение встречаем в Песне о Риге, где неоднократно (43,1; 46,1; 47,3) при имени собственном *Konr* стоит эпитет в сильной форме: *Konr ungr*. Но это исключение не нарушает правила. Как выяснено, мы имеем здесь дело с искусственным сочетанием, с нарочитой, если угодно, «народной этимологией», ориентированной на слово *konungr* ‘конунг’.

Выше была отмечена особенность существительных, входящих в сочетание с членным прилагательным. Мы видели, что этой способностью отличаются обозначения индивидуальных предметов, что чем больше выделяется данное лицо или данный предмет в кругу лиц и предметов его рода, тем чаще его имя встречается в таком сочетании. Существительное, другими словами, выражает здесь не любой единичный предмет, как он существует в ряду других единичных предметов, а лишь такой, который как идеальный представитель рода резко выделяется из массы однородных вещей. Имя нарицательное в таком употреблении заранее исключает возможность широкого толкования: оно приурочено к определенному лицу или вещи и близко по функции к имени собственному. Все принадлежащие к определенному роду предметы как бы подразделяются в представлении этой эпохи на предметы исключительные, наиболее ярко представляющие род, и предметы простые и будничные, в которых признаки рода представлены не столь ярко. Теперь мы подходим к тем же воззрениям с другой стороны, — со стороны атрибута. Представлению о существовании предметов двоякого рода закономерно соответствует представление о признаках двоякого рода: признаки одного рода — это признаки тривиальные, повседневные, житейские, присущие обыкновенным предметам; признаки другого рода, в отличие от первых, выражают абсолютные, непреходящие, идеальные качества, — качества, носителями которых выступают особые, индивидуально подчеркнутые, предметы. Молодость как признак, присущий всем людям в определенном возрасте, молодость в противопоставлении старости, выражается сильной формой прилагательного *ungr*; слабая же форма связана с особым

представлением о молодости; *hinn ungi*, это не просто ‘молодой’, а ‘добрый молодец’, качество, которым в древнем эпосе обладает только витязь, герой, богатырь и которым он обладает, несмотря на возраст, как постоянным немеркнувшим признаком.

В некоторых случаях и сильное прилагательное выступает в роли эпического эпитета. Эти случаи нуждаются в тщательном рассмотрении. Многие из них несколько не противоречат ранее найденному правилу. Это, во-первых, примеры, в которых существительное относится к предметам, индивидуально не выделенным: *Háv.* 119, 8–10 *þviat hrisi vex | ok hávo grasi | vegr, er vetki trøðr* ‘ведь кустарником зарастает невысокой травой дорога, по которой никто не ходит’; *Vsp.* 4, 7–8 *þa var grund gróinn | grænom lauki* ‘тогда земля покрылась зеленым пореем’; *Vsp.* 41, 1–4 *rauðom dreyra* ‘красной кровью’; *Gðr.* II, 2, 1–8 *svá var Sigurðr | af sonom Giúka, | sem væri grænn laukr | ór grasi vaxinn | eða hiqrtr hábeinn | um hvössom dýrom, | eða gull-glóðraut | af grá silfri* ‘так возвышался Сигурд над сыновьями Гьюки, как зеленый порей, выросший из травы, как высоконогий олень над зверьем <hvössom?>, как пламенно-красное золото над серым серебром’; *НН.* 38, 1–4 *svá bar Helgi | af Hildingom, | sem ítrskapaðr | askr af þyrni* ‘так возвышался Хельги над Хильдингами, как благородный ясень над терновником’; *Vkv.* 5, 3–4; 21, 7 *gull raut* ‘красное золото’; *Akv.* 39, 6 *skíran malm* ‘блестящий металл’ (золото); *Am.* 70, 7 *silfri snæhvíto* ‘белоснежным серебром’; *Od.* 3, 1–4 *Lét hon mar fara | moldveg sléttan | unz at kári kom | holl standandi* ‘она пустила коня по ровной дороге, пока не достигла высокого терема стоячего’; *Háv.* 152, 2–3 *havan... | sal* ‘высокий чертог’; *Hdl.* 38, 1–4 *sá var aukinn | iarðar megni | svalkoldom sæ | ok sonardreyra* ‘он был вскормлен силой земли, холодным морем и кровью <жертвенного> вепря’; *ННv.* 15, 4–6 *úrgan stafn* ‘влажный штевень’; *Od.* 18, 1–2 *volsko sverði* ‘валашским мечом’; *Hm.* 8, 7 *sverði sárbeito* ‘мечом кусачим’; *Gðr.* III, 38, 5–8 *læblöndnom hiqr* ‘отравленным клинком’; *НН.* 33, 1–4 *rauðom skildi* ‘красным щитом’; *Gðr.* III, 11, 6 *i myri fúla* ‘в гнилое болото’; *Vkv.* 3, 8 *á myrkvan við* ‘в темный лес’. К этому разряду относятся нередко и предметы определенные, которые в более позднем языке потребуют определенного артикля со слабым прилагательным, например *Gðr.* II, 36, 1–3 *þar hliðverðir | hárar borgar | grind upp luku* ‘там привратники высокого замка <‘der hohen Burg’, — речь идет о замке Атли> подняли решетку’; *Hm.* 20, 6 *sá á skiöld hvítan* ‘посмотрел на белый щит’, ‘er sah nach dem weissen Schild’ и т. д. Примеры этого рода показывают, что позднейшее грамматическое значение определенности не совпадает с актуальным для языка Эдды выделением индивидуально-обособленных предметов.

Следующий разряд примеров, не представляющихся исключениями, несмотря на то, что сильное прилагательное в них выражает постоянный

эпитет, составляют сочетания во множественном числе. Если раньше среди членных форм количество примеров этого рода было крайне незначительно, то теперь мы находим богатый, охватывающий все песни Эдды материал, показывающий, что язык Эдды отдает явное предпочтение сильной форме в таких случаях. Причину такого употребления после всего сказанного легко установить: во множественном числе представление об индивидуальном, за редкими исключениями, исчезает. С другой стороны, здесь чрезвычайно велико количество случаев, где при переводе на новые языки появляется определенный артикль, что подчеркивает различие между древними и более поздними членными сочетаниями. Из всего материала приведу наиболее показательные факты, относящиеся к личным представлениям: Þrk. 14, 6; Bdr. 1, 6 *rikir tívar* ‘die mächtigen Götter’, ‘могучие боги’; Hym. 4, 2 *mærir tívar* ‘die berühmten Götter’, ‘знаменитые боги’; Grm. 6, 2; 41, 2; Ls. 32, 5 *blið regin* ‘die heiteren Götter’ ‘радостные боги’; Vm. 26, 6 *fróð regin* ‘die kenntnisreichen Götter’, ‘всезнающие боги’; Vm. 39, 2 *vís regin* ‘die weisen Götter’, ‘мудрые боги’; Vm. 25, 5 *nýt regin* ‘die gnädigen Götter’, ‘милостивые боги’; Ls. 4, 5 *holl regin* ‘die holden Götter’, ‘благие боги’. Ср. еще: Skm. 17, 3 *víssa vana* ‘мудрых ванов’; Vm. 39, 5; Sd. 18, 7 *vísom vǫnom* ‘мудрым ванам’; Od. 9, 2 *holla vetr* ‘милостивые существа’; Sg. 5, 8 *grímmar urðir* ‘злые норны’; Sg. 7, 5 *líotar nornir* ‘лютые норны’; Hrbl. 23, 2–3 *íqtna... | brúðir bǫlvisar* ‘злонамеренные жены йотунов’; Grp. 6, 3–4 *ráð-spakir | rekkar* ‘мудрые витязи’; НН. 23, 8 *koni óneisa* ‘витязей отважных’; Fm. 42, 5–6 *horskir | halir* ‘разумные мужи’; Rm. 21, 6 *hróðfússa hali* ‘витязей, жадных до славы’; Gðr. I, 2, 1–2 *iarlar alsnotrir* ‘мудрейшие ярлы’; Sd. 18, 7 *menzkir menn* ‘людские люди’; *vif valnesk* ‘валашские жены’; Vkv. 1, 7 *drósir suðrænar* ‘южные девы’; НН. 16, 4 *ðisir suðrænar* ‘южные диски’; Gðr. I, 3, 1–2 *ítrar | iarla brúðir* ‘благородные жены ярлов’; Sg. 47, 3 *soltnar þýiar* ‘изнеможенные рабыни’.

Наконец, последняя область, в которой сильное прилагательное может выступать закономерно взамен и наряду со слабым, это промежуточная область предметов, стоящих на грани индивидуализации. Выше уже было указано, что определенность не совпадает с понятием индивидуализации. В следующих примерах мы имеем скорее дело с определенными значениями, ср.: Þrk. 3, 1–2 *gengo þeir fagra | Freyio túna* ‘они пошли к светлым чертогам Фрейи’; Bdr. 3, 7–8 *hann kom at hávo | Heljar ranni* ‘он пришел к высокому дому Хел’; Hdl. 1, 6–8 *riða vit skolom | til valhallar, | ok til vés heilags* ‘ехать нам надобно в Вальгалу, к святому святилищу’. Эти примеры, как нам кажется, целиком стоят на уровне приведенного выше примера Gðr. II, 36, 1–4 *hárar borgar* ‘высокого замка’ (о замке Атли). Каждый раз здесь речь идет о единичном жилище, о чертоге Фрейи, о доме Хел, о замке Атли. Это бесспорно. Но имелось ли вместе с тем в

виду каждый раз выделить предмет, противопоставить, скажем, чертог Фрейн и всем другим, как единственный достойный носить это название, в такой, скажем, мере, как это имеет место в Беовульфе по отношению к пышному замку Хеорот? Контекст, во всяком случае, не подтверждает этого.

С этой точки зрения вряд ли приходится считать исключениями и следующие примеры из Sg.: 4, 1–4 *Seggr inn suðræni | lagði sverð nækkvit | tæki málfán | á meðal þeira* ‘южный витязь <т. е. Сигурд> положил меч обнаженный <или: обнаженным>, расписанный клинок, между ними’, т. е. между собой и Брюнхильд; 22, 5–7 *fló til Guthorms | Grams* <иногда исправляют: *Gramr*> *ramliga | kynbirt éarn* ‘полетело до Гуторма с силой сверкающее железо Грама <меча Сигурда>’; 68, 1–3 *Liggi okkar enn i milli | málmr hringvariðr, | egghvast éarn* ‘пусть лежит между нами украшенный кольцами металл, острое железо’. Эти примеры относятся к мечу Грам, хотя Грам назван по имени лишь один раз. Песня о Сигурде, следовательно, отражает другое отношение к мечу, чем *Fafnismal*, где эпитеты Грама выражены слабыми прилагательными. Другое объяснение трудно найти, во всяком случае это объяснение следует искать в своеобразных нормах древнего строя. В более позднем языке такое употребление представляется более разительным исключением. В переводе на современный, скажем, немецкий язык сильные прилагательные во всех этих случаях были бы заменены членными сочетаниями слабых: ср. *der südliche Krieger legte das nackte Schwert, die (von magischen Zeichen) bunte Waffe mitten zwischen sie; Nach Guthorm flog kräftig das glänzende Eisen Grams; Zwischen uns liege das ringgeschmückte Erz, das beissende Eisen*. Различие определенного и неопределенного значений, которое мы имеем в позднейшем языке, совершенно, таким образом, непригодно для объяснения сущности этих отклонений. К примерам из Sg. мы можем присоединить еще один: Rm. 26, 2 *bitrom hiðrvi* ‘разящим мечом’, где, впрочем, неясно, идет ли вообще речь о Граме.

Сильная форма прилагательного кажется нам закономерной и в следующих примерах: Vkv. 2, 7–10 *En in þriðia | þeira systir, | varði hvítan | háls Vǫlundar* ‘а третья их сестра обвила белую шею Волунда’; НН. 53, 11–12 *sá hafði hilmir | hart móðakarn* ‘витязь имел твердое сердце’; Gðr. 9, 1–2 *Brá hon til bots | biðrtom lófa* ‘опустила она на дно светлую руку’; Fm. 32, 7–8 *ef hann fiðrsega | fránan æti* ‘коль он отведаст мяса блестящего’.

Обратимся теперь к случаям, противоречащим общим правилам употребления прилагательных в Эдде. Впрочем, как увидим, многие исключения окажутся мнимыми. Так, например, кеннинг для моря из Alv. 24, 6 *diúpan mar* <карлики называют море> глубокой пучиной’ вряд ли приходится считать исключением, так как мы имеем здесь дело с понятием,

лишенным индивидуальности. В другом кеннинге из Alv. 12,6 *driúpan sal* 'карлы называют небо' источающим влагу покоем' является сомнительным эпический характер эпитета: в Эдде небо, как мы видели выше, постоянно выступает как 'светлое', 'ясное', 'блестящее'.

Пример из Vsp. 27, 3–4, где упоминается мифологический ясень Игдрасиль *und heiðvornum | helgom baðmi* 'под привыкшим к светлому небу, святым деревом' представляется мне исключением. Это же можно сказать и относительно двух других примеров из Vsp.: 42, 7–8 *fagrtrauðr hani, | sá er Fiallar heitir* 'ярко-красный петух, по имени Ф., и 43, 5–7 *annar... | sótrauðr hani* 'другой, пепельно-красный, петух'. С другой стороны, прилагательное в Vsp. 60, 3–4 *um moldþinur | mátkan* 'О Мировом Змее могучем' может быть истолковано в духе приведенных выше примеров аппозитивно-предикативного употребления, в пользу чего говорит позиция сильного прилагательного.

Относительно толкования примеров из Þrk. 12, 1–2 *ganga þeir fagra | Freyio at hitta* 'идут они встретить блестящую Фрейю' могут быть колебания: *fagra Freyio* так же примерно относится к членному сочетанию со слабым прилагательным *Freyio hina fagra*, как в русском *красивая Фрейя* к *Фрейя красавица*. Прилагательное *fagr* 'блестящий, красивый', быть может, не имеет здесь индивидуализирующего значения. В примере из Skm. 21, 1–3 *Baug ek þér þá gef, | þann er brendr var | með ungom Óðins syni* 'я тогда дам тебе кольцо, что горело на костре с молодым сыном Одина <т. е. Бальдром>', быть может, *ungr* 'молодой' навеяно словом *sonr* 'сын' и не является эпическим эпитетом, как эпитет *hinn ungi* 'добрый молодец' составляет принадлежность не богов, а героев.

Большинство исключений, относящихся к мифологическим фигурам, принадлежит двум песням: Grm. и Нум. Прилагательные при этом нередко носят искусственный характер. Это сплошь и рядом тяжелые и громоздкие слова, в отличие от других эпитетов, редко повторяющиеся. Примеры из Grm.: 19, 1–6 *Gera ok Freka | seðr gunntamiðr, | hroðigr Heriaföðr, | en við vín eitt | vapngöfugr | Óðinn æ lifir* '<волков> Гери и Фреки насыщает привычный к боям, прославленный Отец Воинств; одним лишь вином живет вечно украшенный оружием Один'; 43, 5 *skírom Frey* 'для светлого Фрейра'; 11, 4–5 *Skadi... | skir brúðr goða* 'Скади, светлая дева богов'; 39, 6 *fyr heiða brúði himins* 'перед светлой женой неба' (о солнце). Примеры из Нум.: 30, 7 *kostmóðs iqtuns* 'отяжеленного пищей йотуна'; 23, 1–4 *dró diarfliga | dáðrskr Þorr | orm eitrfáan | upp at bordi* 'вытащил отважно деятельный <готовый к делу> Тор ядовитого змея <о Мировом Змее> наверх к борту'; 17, 3 *ballr iqtunn* 'могучий йотун'; 16, 1–2 *három | Hrungnis spialla* 'седому другу Хрунгнира' (о йотуне); 13, 6 *forn iqtunn* 'старый йотун'; 10, 1–3 *váskapaðr... | harðraðr Nymir* 'безобразный <или: губительный, злокозненный>, сердито-думный

Химир'; 5, 3 *hundvíss Hymir* 'всезнающий Химир'; 3, 2 *orðbægin hálr* 'острый на слово муж' (о йотуне). Обе песни рассматриваются обычно как сравнительно поздние. Grт., в частности, изобилует интерполяциями, и два примера из числа приведенных нами приходятся на позднейшие вставки. В отношении Нут. не раз отмечалась ее насыщенность кеннингами (до 25 — прием из арсенала более поздней поэзии скальдов) и придаточными предложениями. К тому же все произведение носит характер ученой компиляции, что поддерживает предположение о позднем его происхождении.

Из исключений, относящихся к персонажам героического цикла, небольшое количество растекается тонким слоем по многим песням Эдды, ср.: Gðr. II, 17, 1–2 *Grimhildr*, | *gotnesk kona* 'Гримхильд, готская жена'; Gðr. II, 31, 10–12 *lifshvatan* | *eggleiks hvøtuð* 'полного жизни зачинателя игры клинков', т. е. 'ретивого полководца' (сложный кеннинг); Od. 29, 5–10 *nam horskr konungr* | *hørho sveigia* | *þvíat hann hugði mik* | *til hiálpár sér*, | *kynríkr konungr*, | *of koma mundo* 'умный конунг стал играть на арфе, ибо он, родовитый конунг, надеялся, что я приду ему на помощь' (исключение составляет *horskr konungr*; второе сочетание *ríkr konungr* может быть истолковано как предикативная аппозиция к *hann*>; Od. 33, 5–8 *ógnhvøtom...* | *sverða deili* 'нагоняющему страх своей смелостью делителю мечей', т. е. 'смелому витязю' (кеннинг); Hlr. 6, 2 *hugfullr konungr* 'отважный конунг'; Sg. 4, 5–8 *né hann kono* | *kyssa gørði* | *né, húnskr konungr*, | *hefia sér at armi* 'он не целовал деву, гунский конунг, <он> не заключил ее в объятия' (*húnskr konungr* может быть истолковано как предикативная аппозиция, и тогда это не исключение); Sg. 53, 2–4 *mun ek segja þér* | *lífs ørvæna* | *líosa brúði* 'я тебе расскажу о <себе>, уставшей от жизни, светлой жене' (здесь скрытая предикативная аппозиция, что может оправдать употребление сильной формы; следует обратить внимание на постановку эпитетического эпитета 'светлая' рядом с «необходимым эпитетом» 'уставшая от жизни', закономерно стоящим в сильной форме и, возможно, повлиявшим на форму постоянного эпитета. Семантически же один эпитет противоречит другому, как, скажем, в известном примере из Гомера, где Нестор днем вздымает руки к «звездному» небу); НН. II, 14, 1–2 *sótti Sigrún* | *sikling glaðan* 'Сигрун искала радостного князя', но постпозиция сильного прилагательного может иметь предикативное значение: она искала князя радовавшегося (он только что одержал победу). Сомнительный пример: Grт. 14, 3–4 *veittom* | *góðom* | *Gothormi lið* 'окажем доброму Готорму помощь'. Не сюда Am. 59, 5–6 *Gunnar grimmúðgan* | *á gálga festið* 'вздерните на виселицу Гунара злонравного' (здесь не постоянный эпитет).

Дальше следуют многочисленные исключения, которые встречаются в четырех песнях Эдды. Примеры из Вг.: 19, 3 *margdýrr konungr* 'бес-

ценный конунг' (Сигурд — постоянный ли эпитет?); 4, 3 *á horskom hal* 'на мудрого мужа' (о Сигурде); 10, 3 *fræknan gram* 'отважного князя' (о нем же).

Примеры из Vkv.: 4, 1–2; 8, 5–8 *kom þar af veiði | veðreygr skyti* 'вернулся с охоты ветроглазый стрелок' (значение эпитета *veðreygr* неясно); 5, 7–9 *Svá beið hann | sinnar líóssar | kvanar* 'так ждал он своей светлой жены' (место сомнительное, комментаторы подозревают порчу); 25, 1–4; 30, 1–2; 35, 5–8 *kunnig | kván Níðaðar* 'знающая жена Нидуда' (но постоянный эпитет жены в скандинавском эпосе 'светлая, блестящая').

Примеры из НН.: 10, 5–6 *ok hann harðan lét | Hunding veginn* 'он убил твердого <жестокоего, смелого> Хундинга'; 18, 1–8 *Hefir minn faðir | meyio sinni | grimmom heitit | Granmars syni* 'мой отец обещал свою дочь злому сыну Гранмара' (постоянный ли эпитет?); 24, 1 *ungr konungr* 'молодой конунг' (Хьйорлейф, но, быть может, это особый термин: речь идет не о конунге, а о так называемом «морском конунге», т. е. сыне конунга, повелевавшем пиратской дружиной, таким образом, слово 'молодой' здесь употреблено в прямом смысле и закономерно стоит в сильной форме); 29, 5–8 *ógurlig Egirs dóttir* 'ужасная дочь Эгира' (постоянный, ли эпитет?); 35, 1–4 *þar mun Høðbroddr | Helga finna | flugtrauðan gram, | i flota miðiom* 'там Ходброд встретит Хельги, не склонного к битве князя, в центре флота'; 32, 1–2 *gøðborinn | Guðmundr* 'рожденный богом Гудмунд'.

Примеры из Grp.: 2, 1 *horskr konungr* 'мудрый конунг' (Грипир); 3, 1 *glædr konungr* 'радостный конунг' (он же); 9, 5–7 *þú munt harða | Hundings sono, | snialla, fella* 'ты сразишь стойкого сына Хундинга, <его — > быстрого'; 26, 2 *riks þjóðkonungs* 'могучего конунга народа'; 27, 6 *dýrr konungr* 'достойный конунг' (Хеймир); 27, 7 *harðugðikt man* 'жестокосердная дева' (Брюнхильд); 31, 7–8 *horska | Heimis föstro* 'мудрую воспитанницу Хеймира' (Брюнхильд); 33, 6 *biarthaddat man* 'светловолосую деву' (Гудрун); 36, 3–4 *mærrar | meyiar* 'славной девы' (Брюнхильд); 39, 6–7 *framlundaða | föstro Heimis* 'горделивая воспитанница Хеймира'; 47, 5 *itr konungr* 'благородный конунг' (Гунар); 48, 6 *lofsæl kona* 'достойная жена' (Брюнхильд); 49, 2 *rik brúðr* 'владетельная жена' (она же); 50, 1 *horskr Gunnar* 'мудрый Гунар'; 51, 7 *vitro vífi* 'мудрой жене' (Гудрун).

В итоге получаем, что исключения охватывают сравнительно небольшой круг песен Эдды. Наибольшее количество примеров этого рода, притом несомненных, приходится на долю Grp., по мнению филологов-скандинавистов, наиболее поздней из всех песен Эдды. Другие песни с исключениями (НН., Grm. и Нум.) тоже принадлежат к числу более поздних. На ранние произведения (в том числе Vg. и Vkv.) в целом приходится весьма ограниченное количество примеров, что позволяет считать исключения продуктом сравнительно поздней эпохи.

Индоевропеистика, исходящая из морфологических сопоставлений и равнодушно проходящая мимо семантической сущности явлений, дает следующую схему развития прилагательных в германских языках. Грамматическую противоположность слабой и сильной флексии она рассматривает как весьма позднее образование. В древнем языке, согласно этим воззрениям, сильная форма не была еще, по своему значению, односторонней и могла выражать неопределенные и определенные значения. Функция сильных прилагательных ограничивается будто бы позднее под натиском слабой формы, при этом остается неясным, чем обусловлен этот процесс и почему он не имел места с момента возникновения слабого склонения рядом с сильным. Отождествляя сильное склонение с индоевропейским прилагательным (как категорией метафизической, в сущности «праязыковой»), сравнительная грамматика видит в случаях, когда сильное прилагательное в древнем языке имеет определенное значение, рефлекс старых отношений. Между тем, анализ материала Эдды показал, что, по крайней мере, часть примеров определенного употребления сильного прилагательного — именно в сочетаниях с индивидуальными существительными — составляет явление новое сравнительно с господствующей в Эдде нормой. Если отбросить этот нехарактерный для древнейших песен Эдды слой, то можно будет сформулировать следующее правило употребления прилагательных в этом эпосе: слабые прилагательные уже в этот период истории языка выступают как грамматический антипод сильных; первые выражают признаки устойчивые и идеальные и вступают в сочетания с именами исключительных и индивидуально-обособленных предметов, вторые же выражают свойства временные и несущественные, либо еще заурядные, повседневные и простые качества применительно к множеству или к единичным представителям «средних» и «обыкновенных» предметов.

К сходным выводам пришел некогда Лихтенхельд на материале англосаксонского эпоса. Приведу его характеристику членных предложений в Беовульфе: «Артикль, во-первых, повсюду оправдан, он выражает частично узкое, частично более широкое указание. Во-вторых, число появляющихся в таких сочетаниях прилагательных очень ограниченное, это чрезвычайно употребительные и подчеркнутые прилагательные»... «В-третьих, стоящие рядом существительные — в большинстве лица и как раз такие, которые из самой песни или из материала тех обширных сказаний, на которых покоится песня, известны как выдающиеся герои. В-четвертых, эти же черты обнаруживают и неличные существительные. Это — прославленный Хеорот, затем шлем Беовульфа, словно составляющий часть героя и как бы причастный к его славе, это — курган, который воздвигался герою, который в течение веков удерживал в наро-

де память о его имени и высота которого была далеко не безразлична, далее *se wanna hrefn* 'черный ворон', следовавший за войском, либо летевший перед ним и никогда не отсутствовавший на поле брани»¹⁴⁷. Относительно случаев, когда нет речи о выдающейся личности или вещи и когда определяемое носит общий и неопределенный характер, Лихтенхельд замечает, что тогда употребляется сильная форма¹⁴⁸.

Таким образом, и материал Беовульфа подтверждает вывод, что на определенной стадии в истории прилагательных с различием сильной и слабой формы связывалась противоположность о б щ и х (р о д о в ы х) и и н д и в и д у а л ь н о - в ы д е л е н н ы х представлений.

Но как же в таком случае объяснить те исключения в Эдде, на которых мы только что остановились? Как объяснить случаи вроде Grp. 2, 1 *horskr konungr* 'мудрый конунг', где прилагательное против ожидания стоит в сильной форме. Такое употребление противоречит не только нормам Эдды, но и нормам новых германских языков, где в таких случаях необходим определенный артикль. Но оно, как увидим, в точности соответствует нормам древнеисландской прозы, где артикль может еще отсутствовать при предметах, самих по себе определенных. Мы имеем здесь, следовательно, в рамках Эдды зародышевое состояние элементов, характерных для типологически более позднего языка прозы.

Остается осветить еще один вопрос. Сравнивая употребление членных конструкций слабого прилагательного в Эдде с бесчленными, мы можем заметить некоторую разницу. Уже в рамках бесчленной конструкции проявляется стремление отделить при помощи порядка слов индивидуальные сочетания от родовых, что приводит к разграничению типов *Sigurðr ungi* и *hvíti aurr*. В членных сочетаниях переживает первый (личный) тип, а второй — в слабой степени, лишь поскольку сочетание относится к предметам уникальным и обособленным. Нормально же родовое имя, индивидуально не конкретизированное, сочетается в Эдде с сильным прилагательным. Так, сочетания вроде пережиточно сохранившихся *hvíti aurr* 'блестящая роса', *háva gras* 'высокая трава', *grái steinn* 'серый камень', в членной конструкции слабого прилагательного не встречаются и, как правило, замещаются сильной формой (ср. *hátt gras* 'высокая трава', *grænn laukur* 'зеленый порей', *gull raut* 'красное золото' и т. д.). В бесчленных сочетаниях хотя и проводится разграничение индивидуальных и родовых представлений, тем не менее употребление слабого прилагательного в соединении как с теми, так и с другими показывает, что функция выражения признаков индивидуально-выделяющихся предметов у слабых прилагательных не изначальна. Так как слабое

¹⁴⁷ Das schwache Adj. Im Ags., Zs. F. d. Alt., XVI, 358.

¹⁴⁸ Там же. С. 355.

прилагательное в бесчленных соединениях имеет значение постоянного эпитета во всех случаях, независимо от характера стоящего рядом существительного, то позволительно предположить, что такова была первоначальная функция этой категории.

В этом предположении нас поддерживает и соответствующий анализ сильной формы. Семантика последней не едина, что обычно бывает с формами, содержание которых обогатилось в процессе истории. Сильная форма, с одной стороны, выражает признаки предикативные, временные, характеризующие предмет в данный определенный момент. С другой стороны, она выражает постоянные и типические свойства, когда предмет индивидуально не выделен или когда речь идет о толпе, о множестве лиц или вещей. Из этих двух значений лишь второе непосредственно противостоит значению членного слабого прилагательного, но в семантике сильной формы оно есть явление вторичное, пришедшее; это — область, отвоєванная у слабой формы, что явствует из анализа бесчленных слабых прилагательных. В качестве основного и первоначального значения сильной формы определяется, таким образом, его функция выражать признаки временные, внешние и случайные, что хорошо противостоит предполагаемому первоначальному значению слабого прилагательного.

Теперь мы в состоянии ответить на поставленный выше вопрос, насколько правомерно связывать постоянный эпитет с вопросом о грамматической структуре прилагательных. Конечно, постоянный эпитет составляет необходимую принадлежность эпоса, но то обстоятельство, что постоянные эпитеты первоначально облекаются исключительно в бесчленную слабую форму прилагательного и что, позднее, значение слабой формы ограничивается выражением постоянных эпитетов применительно к выдающимся лицам и вещам, а в других случаях (множественное число, неличные предметы и т. д.) оттесняется сильной формой, — не может не иметь грамматического значения. Постоянный эпитет входит, таким образом, определенной стороной в историю грамматических отношений.

Мы приходим к выводу, что первоначально в основе деления прилагательных на сильные и слабые лежала противоположность постоянных и временных признаков. Позднее из числа постоянных признаков выделились признаки, относящиеся к и с к л ю ч и т е л ь н ы м (э м и н е н т н ы м) предметам и лицам в отличие от постоянных признаков, свойственных роду в целом. Вначале этот процесс находит себе выражение в закреплении порядка слов, а позднее — в ограничении употребления слабой формы только областью индивидуально подчеркнутых (эминентных) признаков. Не затрагивая пока дальнейшего хода развития, замечу лишь, что в специальной литературе при рассмотрении данного

вопроса нередко смешиваются без разбора такие определения значений прилагательных, как «определенные», «конкретные», «индивидуальные», «личные» и т. д. Между тем, строгое разграничение всех этих понятий должно предшествовать всякой попытке восстановить смысловую историю прилагательных.

3. Слабые и сильные прилагательные в языке древнеисландской прозы. Определенный артикль

Рассмотрим прежде всего членные сочетания слабых прилагательных с существительными соответственно типам *maðr inn gamli* и *inn gamli maðr*.

Тип *maðr inn gamli*, как и в Эдде, представлен преимущественно сочетаниями с именами собственными, ср. из Eg.: 1, 1 *Ulfr enn óargi* 'Ульф Отважный', букв. 'немалодушный'; 9, 4 *Kjǫtvi enn auðgi* 'Кьйотви Богатый'; 22, 38 *Haraldr konungr enn hárfagri* 'конунг Харальд Прекрасноволосый'; 23, 13 *Ormr enn sterki* 'Орм Сильный'; 50, 1 *Elfráðr enn ríki* 'Эльфрад Могучий'; 2, 2 *Sólveig en fagra* 'Сольвейг Прекрасная'; 72, 12 *Helga en fagra* 'Хельга прекрасная'; из Kt.: 1, 1 *Atli enn rammi* 'Атли Сильный'; 1, 7 *Hlenni enn gamli* 'Хлени Старый'; 9, 1 *Þorvaldr enn veili* 'Торвальд Тщедушный, Больной'; 13, 4 *Brandr enn víðfǫrli* 'Бранд Путешественник' и мн. др. Иногда, правда, весьма редко, встречаются сочетания с географическими именами.

Как и в Эдде, сочетания этого рода чередуются с бесчленными сочетаниями слабых прилагательных, о чем уже говорилось выше. Новое, по сравнению с Эддой, заключается здесь в том, что сильная форма прилагательного проникает в эти соединения, ср. из Eg.: 25, 2 *Þorbjörn krummr* 'Торбйорн Согбенный'; 56, 17 *Bersi goðlauss* 'Берси Безбожник'; 62, 1 *Eiríkr alspakr* 'Эйрик Премудрый' (ср. Kt. 1, 6 *Gestr enn spaki* 'Гест Мудрый'); из Nj.: 134, 19 *Þorkell fullspakr* 'Торкель Мудрый'); 1, 4 *Þorsteinn rauðr* 'Торстейн Красный <Рыжий>'; 4, 2 *Úlfr óþveginn* 'Ульф Немытый'; 56, 1 *Óleifr breiðr* 'Олейф Широкий <Широкоплечий>' и др.

Количество примеров с сильными прилагательными сравнительно невелико. Чаще всего в сильной форме встречаем прилагательные, в этой функции менее употребительные и сложные новообразования (*goðlauss*, *alspakr*, *fullspakr*, *flatnefr*). Отсюда вытекает, что сильная форма недавно лишь обрела эту функцию. Но сама возможность появления сильной формы в таких сочетаниях указывает, что в данной области противоположность сильной и слабой флексии не играет больше существенной роли. Перед нами, следовательно, специфический уголок языка, не имеющий значения для решения вопроса о функциональном различии приве-

денных форм в прозе. Можно сказать, что сочетания слабых прилагательных с именами собственными как бы окаменели.

Такой же застывший характер имеет членное слабое прилагательное и при именах нарицательных, в этом типе крайне немногочисленных. По своей семантике они стоят в одном ряду с сочетаниями имен собственных; это, главным образом, прозвища и терминологические сочетания, ср.: Nj. 41, 19 (аналогично: 44, 14; 44, 23; 123, 22) *karl enn skegglasi* 'безбородый мужик' (прозвище, данное Ньялу); Kг. 18, 2 *fstudag enn langa* 'день долгого поста'. Примеры, заимствованные из Germ. Synt., 23: *i eld inn eilifa* 'в вечный огонь'; *lifit eilifa* 'вечная жизнь'; *drekann mikla* 'Великий Дракон' (название корабля) и др. В некоторых, совсем уже редких, случаях употребление слабого прилагательного зависит от анафорического артикля, ср. Kг. 11, 18 *með konungi váru ok gíslar enir íslenzku* 'с конунгом находились также исландские заложники' (упоминаемые в тексте раньше). Такой же пример у Дельбрюка: *prestrinn sári* '(только что упомянутый) раненый священник'. Анафорическое употребление артикля более распространено в сочетаниях типа *inn gamli maðr*, к которым мы и переходим.

Касательно этого, второго, типа в Эдде мы уже отмечали незначительное количество встречающихся в нем сочетаний с собственными именами. В прозе количество таких примеров еще менее значительно. Если не считать случаев, где поэтическая подкладка предопределила выбор формы в прозаическом пересказе, это, главным образом, сочетания прилагательных *heilagr* 'святой' и *sæll* 'блаженный' в христианских личных обозначениях. Ср. из Нв.: 4, 1 *þá var í Nóregi fall ens helga Óláfs konungs* 'в Норвегии пал тогда конунг Олаф Святой'; 9, 2 *lát ens helga Knúts konungs* (и с обратным порядком слов спустя несколько строк *liflát Magnúss jarls ens helga*); 19, 5 *enn heilagi Þorlákr biskup*; 20, 2 *enn heilagi Thomas erkibiskup*; 19, 8 *enn sæli Þorlákr biskup*. Порядок слов в таких сочетаниях обусловлен подражанием латинскому образцу. Иногда здесь встречается и бесчленное слабое прилагательное: 12, 7 *þá andaðiz helgi Jón biskup á Hólum*. Подчас находим и сильное прилагательное, ср. Thom. 1, 1 *heilagr Thomas var fæddr ok uppfóstraðr í Lundunaborg* (пример взят из Norr. Synt., § 74). Таким образом, и здесь мы можем отметить эквивалентность сильной и слабой формы при именах собственных.

Важнее этих спорадических случаев для нас нормальные в рамках типа *inn gamli maðr* сочетания с нарицательными именами: из Gg.: 12 *gygr ein býr fyrir austan Miðgarð... Hin gamla gygr fæðir at sonum marga jötna* 'некая великанша живет к востоку от Мидгарда... эта старая великанша имела много сыновей йотунов'; 34 *þá kastaði hann orminum í hinn djúpa sæ, er liggr um öll lönd* 'тогда бросил он змея в глубокое море, что лежит вокруг всех стран'; 38 *ok svá hefndi honum þat mikla mikillæti, er*

hann hafði sezt í þat helga sæti 'и так отомстилась ему его великая дерзость, что уселся он на том святом месте' (упоминаемом ранее); Eg. 25, 11–12 *konungr litaðiz um; hann sá, at maðr stóð at baki Qlvi ok var hqfði hæri en aðrir menn ok skqllotr. «Er þetta hann Skallagrimr», sagði konungr, «enn mikli maðr?»* 'конунг посмотрел вокруг; он увидел, что рядом с О. стоит человек лысый и на голову выше других людей. «Это не Скалагрим ли, — спросил конунг, — тот высокий человек?»'; из Nj.: 22, 1 *skalt þú hafa váskufi ýztan klæða ok undir sþluváðarkyrtill; þar skalt þú hafa undir en góðu klæði þin* 'надень на себя сверху плащ, а под плащ полосатую летнюю одежду, а под нею пусть будет твой хороший наряд'; 22, 24 *skuluð þér... ganga út ok bera sþðla yðra í haga til enna feitu hestanna* 'вы должны выйти и оседлать на лугу тучных коней' (которые упоминаются ранее); 43, 14 *þá munu vér minnaz á enn forna fjandskap* 'тогда мы вспомним о старой вражде'; 53, 3 *Otkell reið enum bleikálotta hesti* 'О. ехал на <своем> гнедом коне'; 100, 2 *hqfðu þeir kastat enum forna átrúnaði* 'они забросили старую <языческую> веру'; 100, 4 *enn nýi átrúnaðr* 'новая вера'; 12, 9 *þá hljopu enir heiðnu menn saman með alvæpni* 'тогда сбежались язычники <о которых речь шла раньше> с оружием'; из Kг.: 12, 13 *En þat gerðiz þar, at annar maðr at qðrum nefndi sér váttu ok sþgðuz hvárir ór loqum við aðra, enir kristnu menn ok enir heiðnu* 'и случилось тогда, что люди призывали друг друга в свидетели и каждая из сторон отказалась от другой, христиане от язычников'; 12, 15 *þá báðu enir kristnu menn, at...* 'тогда христиане попросили, чтобы'...; Hv. 1, 1 *hefi ek af þvi þenna bæking saman settan, at eigi falli mér með qlu ór minni, þat er ek heyrða af þessu máli enn fróða mann Gizur Hallsson* 'для того сочинил я эту книжонку, чтобы не выпало совсем из памяти то, что слышал от сведущего человека Г. Х.'; Kг. 12, 26; IB. 10, 9 *en forno loq* 'старые <языческие> законы'. (Ср. также материал в Germ. Synt., 30; Norr. Synt., 48).

Дополним наш материал примерами на осложненные указательным местоимением типы *maðr sá enn gamli, sá maðr enn gamli, sjá maðr enn gamli, sá enn gamli maðr* и т. п., которые в прозе встречаются чаще, чем в Эдде: из Eg.: 25, 17 *þat sé ek á skalla þeim enum mikla, at hann er fullr upp úlfúðar* 'то я вижу в этой большой лысине <т. е. в этом лысом человеке>, что преисполнена она враждой'; 86, 16 *Þórir ok Eiríkr konungsson skipiðu karfa þann enn nýgefna* 'Торир и Эйрик, сын конунга, набрали экипаж для подаренного корабля'; 54, 16 *En jarlar þeir enir skozku stóðu þá ekki lengi* 'а шотландские ярлы <упомянутые ранее> не устояли дольше'; 57, 47 *þá reru útan í móti þeim Rognvaldr konungsson ok þeir þrettan saman á karfanum þeim enum steinda* 'тогда из моря навстречу им выплыл Р., сын конунга, сам-тринадцат на раскрашенном корабле' (упоминается 57, 15); 78, 60 *þá gekk hann til rúms Egils ok festi þar upp skjoldinn þann enn dýra* 'тогда пошел он в покой Эгиля и прикрепил там тот драгоценный

щит'; из Nj.: 43, 10 *ok spurði Skarphedinn, hvaðan fé þat et mikla ok et góða kvæmi, er faðir hans helt á* 'С. спросил, откуда то большое и дорогое богатство, что у отца в руках;'; 49, 23 *segja... um skaða þann enn illa, er hér er orðinn* 'рассказать о том злом уроне, который здесь был учинен'; 66, 1 *ok var ekki jafntíðrætt um allt þingit sem um málaferli þessi en miklu* 'и ничто так часто не обсуждалось на тинге, как это великое <судебное> разбирательство'.

Gg. 56 *þat verðr hans bani, er hann missir þess hins góða sverð, er hann gaf Skirni* 'и то станет причиной его смерти, что лишился он того доброго меча, что он отдал Скирниру'; Eg. 81, 36 *sú en forna ástvinatta, er með okkr hefir verit* 'старая дружба, что была между нами'; Nj.: 45, 30 *ok sagði þau en illu orð, er Sigmundi dró til höfuðbana* 'и рассказал о тех злых словах, которые довели С. до смерти'; 23, 2 *þar riðu menn í móti þeim ok spurðu, hvern sá væri enn mikli maðr, er svá lítt var sýndr* 'там ехали им навстречу люди, и спросили они, кто тот рослый человек, лицо которого было мало видно'; 59, 16 *alræmt er, at Hallgerðr myni stólit hafa ok valdit þeim enum mikla skaða, er varð í Kirkjubæ* 'молва идет, будто Х. совершил кражу и причинил тот великий ущерб, что имел место в К.'; Þorv. þ. 11, 16 *en sá enn illgjarni andi sýndiz bónda um nóttina eptir et þriðja sinn* 'и злонамеренный дух <о котором уже упоминалось> посетил хозяина ночью в третий раз' и т. д.

Не останавливаясь на других, менее частых и менее важных разновидностях употребления членного прилагательного в древнеисландской прозе, мы уже сейчас можем сделать вполне определенные выводы относительно этого употребления. Бросается в глаза отличие от норм, выявленных выше для языка Эдды. Это отличие можно, прежде всего, отметить в характере встречавшихся нам существительных. В Эдде это были исключительные в своем роде лица и вещи. Здесь же мы находим сплошь и рядом ничем не выделенные представления; множество существительных носит неличный характер; чрезвычайно велик удельный вес неодушевленных предметов и абстрактных имен. Существительные в множественном числе также не являются больше редкостью в этих сочетаниях. Изменился в корне, далее, и семантический облик слабого прилагательного. Лишь в редких случаях ему еще может быть приписан тот идеальный смысл, которым он отличался в эпосе. Как правило, оно теперь выражает обыкновенные качества, и с этой стороны ничем больше уже не отличается от сильного. Стал иным, сверх того, самый характер отношения слабого прилагательного к существительному. Прилагательное в массе случаев более не обнаруживает самостоятельного значения, близкого к существительному. Это больше не аппозиция, в значительной степени способная заменить существительное и независимо от него выражающая тот же предмет. В прозе прилагательное имеет логи-

чески ограничивающее значение и относится к предмету лишь через определяемое им существительное. Изменилась, наконец, природа и третьей составной части всех этих сочетаний, на значении которой мы до сих пор не останавливались, — определенного артикля. Эту сторону вопроса нам придется теперь осветить несколько подробнее.

В семантике определенного артикля можно наметить ряд значений. Являясь по происхождению указательным местоимением, артикль в разных направлениях развивает исходное значение. В одних случаях артикль имеет генерализирующее или родовое значение, ср. в примере *þat er mannsins náttúra* 'такова природа человека', где слово *maðr* 'человек' употреблено с определенным артиклем в значении 'человек <вообще>, люди, людской род'. В других случаях артикль выделяет один или несколько предметов из числа других предметов того же рода. При этом следует различать определенное значение артикля и индивидуализирующее или эминентное его значение.

Артикль имеет определенное значение, когда говорящий из совокупности предметов, составляющих род, выделяет один или несколько предметов, уже известных говорящему или слушателю, ничем больше не подчеркивая значения этих предметов. Предмет может быть известен в силу разных обстоятельств. Он может быть известен потому, что в контексте шла ранее речь об этом предмете, и определенный артикль как бы отсылает нас снова к нему (анафорическое употребление артикля); либо еще «известность» предмета может предвосхищаться, и в этом случае говорящий только еще собирается объяснить слушателю, какой конкретный предмет он имеет в виду (коррелятивное употребление артикля). Примеры анафорического употребления артикля: *þar vann hann borg, er heitir Gunnvalds borg; þar tók hann jarl, er het Geirfiðr; hann lagði gíald á borgina ok á jarlinn til útlausnar* 'там захватил он замок, по имени замок Гунвальда; там взял он в плен ярла, который назывался Гейрфид; он наложил дань на замок-тот и на ярла-того за освобождение'. Примеры коррелятивного употребления (артикль указывает на предмет, определяемый дополнительно относительным предложением): агс. *Beow. 506 eart þū se Beōwulf, sē-þe wið Breca n wunne* 'тот ли ты Беовульф, что состязался с Брекем'. Аналогично в исл. *Qos. 44, 14*, но с указательным местоимением вместо артикля: *ertu sá Oddr, er fört til Biarmarlands* 'тот ли Одд, который ехал в Биармию'. Другой пример: *SE eptirm. br. Sā salr hinn āgæti, er æsir kallaðu Brīmissal eða Bjōrsal, þat var hōll Priamus konungs* 'тот великолепный чертог, что асы называли Бримиссал или Бьйорсал, и был дворцом повелителя Приама'. Во всех этих случаях речь идет о разных вариантах употребления артикля в определенном значении. В отличие от определенного, индивидуализирующее, или эминентное, значение выделяет из ряда однородных предметов один,

противопоставляя его всем остальным, в качестве идеального и наиболее совершенного представителя рода. Примером такого употребления может служить греч. ὁ ποιητής 'поэт' в значении не поэт <вообще>, не любой данный поэт, а 'Поэт' с заглавной буквы, поэт κατ' ἐξοχήν, Гомер. Индивидуализирующее или эминентное значение не просто выделяет предмет в ряду других однородных предметов, но одновременно возвышает этот предмет над всеми остальными, как образцовое воплощение рода.

Исторически обычно выводят все рассмотренные значения артикля из его определенного, выделяющего значения. Что генерализующее, или родовое, употребление артикля появляется сравнительно поздно, — не подлежит никакому сомнению. Вначале артикль выделяет не род из числа других родов, а какой-либо предмет в пределах рода. Именно поэтому в древнем языке артикль, как правило, отсутствует при уникальных предметах, как 'земля', 'солнце', 'небо' и т. д. Но какое же из двух других значений артикля — определенное или индивидуализирующее (эминентное), — является древнейшим? Обычно считают, что первое. Но такое предположение оставляет ряд важнейших фактов древнего языка без объяснения.

Если бы определенное значение определенного артикля было первичным, то естественно было бы думать, что артикль прежде всего появился при именах существительных для уточнения и конкретизации выражаемых ими понятий. Между тем в древнейших памятниках артикль почти не встречается при именах существительных. На первых порах он преимущественно сочетается с прилагательным. В Эдде количество примеров с артиклем при существительных без атрибута крайне незначительно, они приходятся в основном на одну из поздних песен, Hrbl. Англосаксонский эпос выявляет аналогичную тенденцию. О том же, хотя и не столь определенно, говорят факты готского языка, где *sa* чаще всего появляется при существительных с атрибутом. Уже весьма давно было высказано предположение, что артикль прежде всего сложился при именах прилагательных, но этот факт так и не нашел себе до сих пор удовлетворительного объяснения.

Генетическая связь определенного артикля со слабой формой прилагательного неоднократно отмечалась в сравнительной грамматике германских языков, но никто из индоевропейцев не сумел объяснить, на чем покоится эта связь, какие смысловые основания поддерживали ее. Если сама слабая форма первоначально выражала «определенность», как часто говорят, и если артикль ничего больше не выражал вначале, как ту же «определенность», то присоединение артикля к слабому прилагательному могло явиться лишь ненужным плеоназмом, бессмысленным повторением и нагромождением форм с одинаковым значением. По существу, эту же ничтожную идейку высказывают и те, кто видит в замене

бесчленной формы членной проявление «аналитической тенденции» в языке: язык-де раскрывает при помощи вспомогательного слова то, что раньше «таилось» в недрах слабой флексии.

Имеются веские основания считать, что первоначальной функцией определенного артикля было не его определенное, а индивидуализирующее (эминентное) значение. Этот вывод предварен уже в значительной степени анализом членных прилагательных. Сочетание *hinn ungi*, как было доказано, означало в эпосе не просто ‘молодой’, а ‘добрый молодец’. Артикль, сочетаясь с прилагательным в слабой форме, придавал ему значение эминентности, необычайности, исключительной силы.

Это хорошо вяжется с выводами, уже добытыми нами в процессе исследования. Выше была высказана мысль, что слабые прилагательные генетически являлись формой, выражавшей признаки стойкие и постоянные, характерные для всего данного рода предметов в целом. Уже в древнейшем пласте бесчленных сочетаний слабого прилагательного наблюдалась тенденция разграничить родовое употребление постоянных признаков и индивидуализирующее, эминентное их употребление. Сначала наметилось стремление разграничить новые значения посредством фиксации порядка слов, но потом было найдено более гибкое средство в определенном артикле. Таким образом, в сочетании *hinn ungi* изначальным носителем грамматического значения индивидуализации или эминентности является не слабая форма прилагательного, а артикль.

Сравнивая эпическое *inn hári þulr* ‘седой певец’ и прозаическое *inn mikli maðr* ‘высокий, рослый человек’, мы находим, что в прозе употребление артикля существенно видоизменилось. В эпосе как существительное, так и прилагательное употреблено в эминентном значении, что выражено постановкой артикля. Артикль показывает, что прилагательное ‘седой’ следует понимать не в обыкновенном значении, а в значении ‘умудренный жизненным опытом, вещей, сведущий в заклинаниях и магии слова’. В прозаическом сочетании артикль не вносит никаких изменений в семантику прилагательного; он явно связан с одним лишь существительным, показывая, что речь идет не просто о единичном представителе рода, а об определенном и известном индивидуе; это не вообще ‘человек’, а ‘тот человек’, ‘человек, недавно упомянутый или известный по другой какой-нибудь причине’. При этом вовсе не имеется в виду сказать, что это ‘человек как таковой’ и т. п. Короче говоря, индивидуализирующее значение артикля сменилось здесь определенным. Употребление артикля теперь в большей степени обусловлено контекстом, в то время как на предшествующей ступени оно определялось особой семантикой прилагательного. Учащаются случаи анафорического и коррелятивного артикля (которые, впрочем, не всегда исключают индиви-

дуализирующее значение и встречаются еще в эпосе). Наконец, появление генерализующего (родового) артикля в случаях, когда один род противопоставляется другому, показывает, что основной функцией артикля стало выражение «чувства знакомства с предметом» и что первоначальная идея конкретизации индивида в пределах рода больше не является основной.

После того как мы рассмотрели особенности членного сочетания в прозе сравнительно с материалом Эдды, можно перейти к рассмотрению синтаксиса сильного прилагательного в прозе.

Как и в Эдде, сильное прилагательное употребляется здесь прежде всего в функции предикативного атрибута. Примеры этого рода читатель найдет во множестве в следующей главе. Мы на них теперь останавливаться не будем, так как те сдвиги, которые употребление прилагательных испытало в этой области, не имеют значения для вопроса о взаимоотношениях сильной и слабой формы. Водораздел между обоими разрядами прилагательных в Эдде лежал в собственно атрибутивной плоскости. Употребление атрибутивного сильного прилагательного было там ограничено следующими рамками: сильное прилагательное сочеталось с неличными предметами и с существительными во множественном числе, с личными же представлениями оно могло соединяться лишь тогда, когда, если не считать исключений, оно не являлось постоянным эпитетом. Употребление в прозе ломает эти границы.

Мы видели, что слабое прилагательное лишается в прозе своего индивидуализирующего значения, позволявшего ему выступать в роли эпического эпитета. Семантически оно уже не отличается в прозе от сильного прилагательного и употребляется широко за пределами узкой сферы индивидуальных представлений. С другой стороны, сильное прилагательное употребляется теперь и в случаях, составлявших в Эдде вотчину слабой формы. Вот несколько примеров, относящихся к христианским понятиям: Þorv. þ. 5, 1 *almáttigs guðs* (о христианском боге); 2, 14 *almáttkan guð*; Hv. 15, 2 *almattugan guð*; Hv. 17, 12 *almáttugr guð*; Þorv. þ. 6, 1 *heillags anda*. Эти примеры стоят целиком на уровне исключений типа *ungr konungr*, отмеченных выше для языка Эдды. Во всех аналогичных случаях закономерным для языка Эдды является употребление прилагательного в слабой форме.

Артикль — вот основная сила, регулирующая употребление прилагательных в прозе. Слабая форма, отныне семантически совпадающая с сильной, проявляется здесь лишь тогда, когда этого требует определенный артикль. Можно привести ряд примеров, где сильная форма, как кажется, стоит вместо слабой: Nj. 58, 26 *en þó munu þeir muna fornan fjandskap* ‘и все же они, должно быть, помнят старую обиду’, букв. ‘вражду’, ‘die alte Feindschaft’; 105, 4 *Kristnir menn tjölduðu búðir sínar... Um daginn eptir*

gengu hvárirteggju til Lögbergs ok nefndu hvárir vátta, kristnir menn ok heiðnir ‘христиане <die christlichen Leute> разбили свои палатки... На другой день обе стороны собрались у законодательной горы и стали называть свидетелей, христиане и язычники <die christlichen Leute und die heidnischen>’; Þorv. þ. 2, 1 *Þessu næst... tók kann trú retta* ‘после этого он обратился в истинную веру’, ‘*darauf nahm er den rechten Glauben an*’; 5, 2 *í móti heilagri trú* ‘против святой веры’, ‘*gegen den heiligen Glauben*’; и др. Такие случаи в действительности не составляют исключений. Дело в том, что условия употребления артикля в древнеисландской прозе иные, чем в новых германских языках. Артикль в древнем языке употребляется несравненно реже; значения сами по себе определенные, как названия народов, групп, уникальных предметов, обходятся здесь еще без артикля. Отсутствие же артикля с необходимостью ведет к постановке сильного прилагательного.

Различие флексий прилагательных свелось, таким образом, к различию определенной и неопределенной формы. Выбор формы прилагательного теперь более не обусловлен ни характером определяемого существительного, ни качеством того признака, который выражается прилагательным. Флексия прилагательных потеряла в итоге развития свое прежнее значение; употребление сильной и слабой формы регулируется в прозе автоматически, оно всецело зависит от артикля. Самый же артикль как бы стоит здесь на перепутье: это отчасти еще указательное местоимение, значение которого в значительной степени осознается и которое поэтому часто не ставится при предметах самих по себе достаточно определенных; вместе с тем, его употребление все же шире рамок обыкновенного указательного местоимения, старое индивидуализирующее значение сохранило его в таких случаях, где он, с точки зрения нового, определенного значения излишен. Перед языком стоят две возможности: либо свести употребление артикля до рамок обычного указательного местоимения и таким образом уничтожить артикль как особую морфологическую категорию, либо сделать его употребление универсальным. В германских языках развитие пошло по второму пути. В числе причин, предопределивших развитие по этому пути, известную роль сыграли дополнительные служебные функции, приобретенные артиклем в процессе развития. Артикль, с известных пор потерявший непосредственную связь с прилагательным и окончательно примкнувший к существительному (о чем, в частности, свидетельствует постпозитивный член в скандинавских языках, ср. исл. *maðrinn* из сочетаний *maðrinn gamli* = *maðr hinn gamli*), становится до известной степени выразителем ряда грамматических форм, присущих существительному (падежа, числа), и средством субстантивации. Но развитие артикля — специальная тема. Она интересует нас здесь лишь в связи с историей форм прилагательных.

Различие слабой и сильной формы становится с этих пор несущественным больше. Собственно говоря, синтаксически это уже больше не две категории, а лишь морфологические разновидности одной категории прилагательных. В дальнейшем развитии это сказывается либо в полном устранении этого пережиточного различия, как в английском, либо в установлении чисто механической нормы употребления, как в немецком, где после отчетливых падежных окончаний соответствующих местоимений выступает слабая форма, а в других случаях — сильная¹⁴⁹.

Но сведение двойной флексии к роли формальных вариантов не означает, что в строе прилагательных в целом нет больше семантико-грамматических расхождений. С точки зрения семантико-грамматической, все большее и большее значение получает различие атрибутивной и предикативной функции прилагательного. Это расхождение не затрагивает (или в малой степени затрагивает) область слабого прилагательного, употребляемого, главным образом (если не считать дефективных форм), как прилагательное собственно-атрибутивное. Но тем более оно дает о себе знать в сфере сильного склонения. В Эдде, как мы видели, в ряде случаев трудно отличить атрибутивное сильное прилагательное от предикативного (см. стр. 166). Проза более решительно разграничивает эти значения. В известной степени для этого используется порядок слов, ср.: Eg. 30, 8 *þat mun hér vera siðr, at menn gangi vapnlausir* ‘здесь, вероятно, принято, чтобы люди ходили безоружными’ (атрибутивная постройка была бы *vapnlausir menn* или *menn vapnlausir gengi*); Þorv. þ. 1, 12 *litlu áðr hefði hann hertekna sonu þessa sama hertoga leyst ok sent heim frjálsa til föður síns* ‘незадолго до этого он отпустил на волю и послал свободными к отцу взятых в полон сыновей этого самого герцога’ (ср. место *hertekna* и *frjálsa* в предложении); Gunnl. 5, 24 *ok sá opit útibur sitt* ‘и увидел, что его сени открыты’; Nj. 97, 12 *ok riðu menn heim af þingi ósattir* ‘и люди уехали домой с тинга непримиренными’; Cg. 2 *þá litaðist hann um, ok þótti margir hlutir ótrúligir, þeir er hann sá* ‘тогда он посмотрел вокруг, и многие из вещей, которые он видел, казались ему невероятными’. Ср., однако, Nj. 1, 2 *Hann var... svá mikill lagamaðr, at engir þóttu loðligir dómur, nema hann væri við* ‘он был таким большим знатоком законов, что судебные разбирательства казались незаконными, если он не присутствовал на них’; Þorv. þ. 2, 10 *ok svá steypti hann því yfir ofan, at allr varð vátr steinninn* ‘и так окроплял он водой сверху, что весь камень стал влажным’. В последних двух примерах порядок слов иной, но различие в постройке атрибутивного и предикативного прилагательного продолжает сказываться и здесь. В известной мере помогает различению этих значений артикль при существительных: Eg. 7, 5 *leiz honum mærin*

¹⁴⁹ Dt. synt. I. С. 171.

þógr 'девушка показала́сь <букв. пригляну́лась> ему красивой'; Кг. 3, 4 *þeim syndiz ǫll kirkjan elds full* 'кирка казалась им всем полной огня'. Сильная форма показывает в таких случаях, что прилагательное предикативно. Помимо всего этого, существеннейшую роль в углублении противоречия между атрибутивным и предикативным употреблением сыграло формирование категории глаголов неполного высказывания, одно присутствие которых во фразе включает в себе указание на предикативное прилагательное. Об этом — специально в разделе о предикативном атрибуте.

Дополнительный материал для проверки и уточнения наших предварительных положений представляют некоторые специальные случаи употребления прилагательных и, в частности, дефективные формы, окаменевшие в одном склонении (сильном, как, например, исл. *allr* 'весь', *halfr* 'половинный', *miðr* 'средний' и др., готск. соответственно *alls*, *halbs*, *midjis* или слабом, как, например, сравнительная степень в готском, древнеисландском, древневерхненемецком, англосаксонском, древнесаксонском и др.). К этим формам мы обратимся теперь.

4. Двойная флексия прилагательных и степени сравнения

Рассмотрение степеней сравнения в древнеисландском мы начнем с превосходной степени, которая употребляется как в сильной, так и в слабой форме. Сравнительная степень, морфологически застывшая в одной слабой форме, представляет интерес преимущественно с генетической стороны. Анализ в этой части должен вскрыть, что в грамматическом содержании этой формы предопределило ее исключительную связь со слабым склонением и тем самым пролить свет на семантическую историю степеней сравнения и, с другой стороны, слабого склонения. Синтаксический момент, исследование живого употребления сравнительной степени становится, однако, излишним, поскольку, превратившись в окаменелость, эта форма перестала реагировать на изменения в грамматических взаимоотношениях слабой и сильной флексии. Не то превосходная степень, сохранившая различие флексий и приспособившая это различие к выражению некоторых специфических оттенков. Здесь соотношение грамматических элементов осталось подвижным, и изучение изменчивых норм употребления дает богатый материал для исследования вопроса в конкретно-синтаксическом плане. Такой подход ни в коем случае не означает, что мы отказываемся от использования истории омертвевших морфологических категорий в нашем исследовании или пренебрегаем ею в какой-то степени. Мы лишь утверждаем примат живого над мертвым и надеемся, что историческое исследование синтакси-

ческих отношений даст нам необходимый теоретический разбег для правильного понимания и таких эпох глоттогонии, о которых можно судить на основании одних только морфологических реликтов.

Превосходная степень в древнеисландской прозе имеет два значения, которые различаются также морфологически: 1) действительно сравнительное, или *о т н о с и т е л ь н о е*, когда прилагательное показывает, что определенный предмет обладает высшей степенью качества в ряду других предметов, отличающихся тем же качеством, — в этих случаях ставится обыкновенно сильная, форма прилагательного, и 2) *э л я т и в н о е*, выражающее безотносительно высокую степень качества; в случаях элятивного употребления прилагательное склоняется по слабому типу. Примером относительного значения превосходной степени может служить: Kr. 1, 6 *en þessir váru þá stærstir höfðingjar á landinu* ‘и вот кто принадлежал тогда к числу крупнейших хофдингов в стране <==в Исландии>’. Пример элятива: Eb. 16, 4 *kom þá svá, at konungr var enn reiðasti* ‘случилось тогда, что конунг разгневался сильно, стал чрезвычайно гневным’. Как видит читатель, в первом примере дается масштаб, ограничивающий рамки сравнения (‘крупнейшие из хофдингов страны’). Во втором случае такой масштаб отсутствует, высокая степень выражена абсолютно.

Как всякое грамматическое правило, и это допускает ряд исключений, показывающих, что мы имеем здесь дело с противоречивыми историческими тенденциями. Для того чтобы определить направление и характер этих тенденций, мы рассмотрим материал, предварительно разграничив случаи предикативного и атрибутивного употребления превосходной степени.

Поступая таким образом, мы надеемся избежать тех ошибок и недостатков, которыми страдает единственная попытка исторического рассмотрения данного вопроса в индоевропейской литературе по скандинавистике, предпринятая Дельбрюком (Germ. Synt, стр. 35 слл.).

Тип *konungr var enn reiðasti*. Мы выделяем сначала случаи, в которых превосходная степень в предикативной функции оформлена как слабое прилагательное: из Eg.: 11, 5 *Veizla var en þrúðligsta ok öll fong en beztu* ‘пир был роскошнейший и все угощение прекраснейшим’; 11, 7 *sögu..., at veizlan var en vegaðligsta ok útleizlan en sköruligsta* ‘говорили, что прием был достойнейший, и проводы выдающиеся’; 19, 1 *var þat lið et fríðasta ok vápnat allvell* ‘было то войско прекраснейшее <на вид> и отлично вооруженное’; 6, 6 *er mér svá fra sagt konungi, at hann sé enn mildasti af fégjofum við menn sína* ‘было мне сказано о конунге, что он чрезвычайно щедр на подарки своим людям’; 31, 1 *en er hann fæddiz upp, þá var hann snimma mikill vexti ok enn vænsti sýnum* ‘и когда он вырос, то стал он скоро велик ростом и чрезвычайно красив видом’ и вслед за этим о

нем же: *var þat allra manna mál, at hann mundi vera enn glikasti Þórólfi Kveldúlfssyni, er hann var aprt heitinn* 'таково было мнение всех людей, что он чрезвычайно был похож на Торольфа К., имя которого он унаследовал'; 36, 6 *þat var steint mjök fyrir ofan sjó ok var et fegrsta* 'он <корабль> был окрашен весь над линией воды и чрезвычайно был красив'; 36, 10 *et fegrsta er skipit* 'корабль прекрасен'.

Дополняю свое собрание примерами из Нюгорда (Norr. Synt., § 62): *hann var mikill maðr ok hinn vænsti* 'он был высок и чрезвычайно красив'; *varð hon þá hin frægsta* 'была она тогда широко прославлена', букв. 'знаменитейшая'; *var enn veizla en kappsamligsta* 'пир был еще в самом разгаре', букв. 'ревностнейший'; *var við hann enn kátasti* 'чрезвычайно обрадовался ему', букв. 'стал радостнейший'; *váru báðir enir efniligstu* 'были они оба многообещающими, подающими большие надежды'.

Примеры из Дельбрюка, Germ. Synt.: *hváirtveggju váru inir óðustu* 'обе стороны сильно рассвирепели', букв. 'были свирепейшие'; *var hann þá enn ófúinn ok inn tröllsligsti at sjá* (о вырытом из могилы трупе) 'был он еще неразложившийся и очень страшный (букв. страшнейший на вид)'; *Bergþór var yngstr ok þó inn efniligsti*, 'Б. был самый младший, но все же очень многообещающий'; *váru þeir Þórir inir ákøfustu* 'они были чрезвычайно необузданы'; *ok er Þorðr inn reiðasti* 'Т. была очень разгневана'; *var þá enn ung kona ok in vænsta* 'она была тогда молодая женщина и очень красивая', букв. красивейшая.

Во всех приведенных до сих пор примерах отсутствует масштаб для сравнения и элятивное значение превосходной степени не подлежит сомнению. Исключением является лишь один пример из коллекции Дельбрюка: *allra manna var hann sterkastr norðr þar, hann þótti inn gæfasti í bygðarlagi* 'он был сильнее всех там на севере и казался самым счастливым человеком в округе'. Семантически этот случай стоит на грани элятива; здесь хотя и приводится масштаб, ограничивающий сравнение, но отсутствует подлинное сравнение. Контекст вовсе не говорит о том, что в ряду счастливых людей это лицо было самым счастливым. Высказывание носит здесь весьма общий характер, и смысл его может быть передан и элятивом: 'он казался <или был> чрезвычайно счастливым'. Во всяком случае мы имеем здесь дело с единичным исключением.

Тип *ok gerðiz enn mesti smiðr*. Этот тип близко примыкает к первому. Прилагательное здесь входит в предикативную группу, но непосредственно не является предикативным, а выступает как определение предикативного существительного. Чем незначительнее в таких случаях существительное, чем меньше значения оно имеет для контекста, тем больше выступает на передний план предикативность прилагательного. Ср. Eg.: 1, 11 *ok gerðiz enn mesti smiðr* 'и сделался он величайшим <искуснейшим> мастером' и 57, 7 *hann var enn fríðasti maðr* 'он был чрез-

вычайно красивый человек'. Существительное в последнем примере может быть без всякого ущерба для контекста опущено.

Привожу основной материал: Gg. 56 *hann er hit mesta forað* 'он <мифологический пес Гармр> — величайшее зло, величайшая гибель'; SE. eptirm. *Tyrkir váru hans hinir mestu óvinir* 'турки были его злейшими <букв. величайшими> недругами'; Vqls. 2, 18–19 *hann geriz inn mesti hermaðr ok sigrsell í orrostum þeim* 'он сделался величайшим воином и победоносным в битвах'; Qos. 1, 5 *Var þeim veittr enn mesti fagnaðr í drykk góðum ok óðrum hlutum* 'был им оказан прекрасный <букв. величайший> прием в смысле хорошего питья и в других отношениях'; из Eg.: 1,4 *var með þeim en kærsta vinátta* 'была между ними сильнейшая <букв. достойнейшая> дружба'; 7, 3 *ok varð enn mesti atgörvismaðr* 'и стал чрезвычайно одаренным человеком'; 8, 10 *ok gerðiz með þeim öllum enn mesti félagsskapr* 'и завязалось между ними чрезвычайно тесное <букв. величайшее> содружество'; 8, 18 *ok var þar en þrúðligsta veizla* 'и был там роскошнейший пир'; 9, 6 *hann var enn mesti merkismaðr* 'он был выдающийся человек'; 9, 19 *þótti þat báðum þeim enn mesti mannskadi* 'показалось это им обоим величайшей потерей' (о гибели человека); 13, 2 *Þorgils var rammr at afli ok enn mesti hreystimaðr* 'Т. был силен и величайший храбрец'; Eg. 23, 1 *hann hafði verit enn mesti vinr Þórólfs Kveldúlfssonar* 'он был величайшим другом Торольфа К.'; 25, 3 *tólf váru þeir til fararinnar ok allir enir sterkustu menn* 'двенадцать их было, когда отправлялись в путь, и все сильнейшие люди'; 27, 10 *þeir synir Gutthorms höfðu fyrir borð hlaupit ok höfðu týnz; þá var annar þeira tólf vetra, en annar tíu ok enir vænligstu menn* 'сыновья Г. прыгнули за борт и погибли; один из них был двенадцати лет от роду, другой десяти, и оба чрезвычайно красивые люди'; 30, 6 *ok var hann enn nýzti maðr* 'и был он весьма благодетельный человек'; 32, 2 *Björn var enn gørviligsti maðr* 'Б. был чрезвычайно дельный человек'; 38, 2 *ok var þat enn virðiligsti gripr* 'и была то величайшая драгоценность'; 40, 2 *ok var hann enn mannvænligsti maðr* 'и можно было надеяться, что из него выйдет чрезвычайно дельный человек' (неточно); 41, 2 *Ásgerðr var en vænsta kona ok en gørviligsta, vitr kona ok allvel kunnandi* 'А. была очень красивая женщина и очень дельная, умная женщина и сведущая'; 43, 1 *Ólvir var af æskuldri ok þó maðr enn hressasti* 'О. был в юном возрасте, и все же он был очень энергичный'; 44, 1; 48, 10 *var þar veizla en bezta* 'был там замечательный <букв. лучший> пир'; 49, 11 *Eyvindr var hermaðr enn mesti* 'Э. был выдающийся <букв. величайший> воин'; 51, 4 *váru þeir bræðr enir mestu hermenn* 'братья были замечательными воинами'; 53, 4 *hann var gyrðr sverði því, er hann kallaði Naðr;... var þat et bezta vapn* 'он был опоясан мечом, который он называл Надр;... это было превосходное <букв. лучшее> оружие'; 54, 14 *var þar en snarpasta orrosta* 'была там жесточайшая битва'; 56, 27 *er Gunnhildr enn mesti óvinr*

þinn 'Г. — тебе злейший <букв. величайший> враг'; 77, 18 *hon var en fríðasta kona* 'она была очень красивая женщина'; из Nj.: 32, 5 *Njáll sagði hann vera enn mesta afreksmann* 'Ньял сказал, что он выдающийся человек'; 59, 9 (про бой коней) *var þat et mesta gaman* 'это было лучшее <букв. величайшее> развлечение'; 145, 72 *Kári gaf Guðmundi gullsyngju, en Þorgeirr silfrbelti, ok var hvárt tveggja enn bezti grip* 'К. дал Г. золотую брошь, а Т. серебряный кушак, и было одно и другое величайшей <букв. лучшей> драгоценностью'.

И здесь, как в примерах первого типа, мы имеем дело с элятивами. Масштаб сравнения не только не выражен, но его вообще нельзя вывести из контекста. Вот немногие исключения в моем собрании: Eg.: 9, 4 *var þar en mesta orrosta, er Haraldr konungr hafði atta...*; *lagði konungr framarliga skip sitt, ok var þar ströngust orrostan* 'была там величайшая битва из тех, что довелось вести конунгу Харальду..., конунг повел вперед свой корабль, и была в том месте битва наиболее ожесточенной'. Здесь два раза превосходная степень и оба раза в относительном значении, но в первом случае против ожидания прилагательное стоит в слабой форме. Eg. 19, 18 *Er þat mitt hugboð, at sjá verði fundr okkar enn síðasti* 'и так чуюсь мне, что это наша с тобой последняя встреча' (букв. позднейшая); Nj. 145, 32 *þeir váru þa bádir dauðir ok höfðu verit en mestu illmenni í líði Flosa* 'тут оба они умерли, и были они величайшими негодьями в отряде Ф.'

Из материалов Дельбрюка приведу только сравнительно немногочисленные исключения: *hann var inn vinsælasti maðr í heraðinu* 'он был любимейшим человеком в округе'; *ok varu þat nálíga inir beztu eignir í hverjum stað* 'и это были лучшие владения в каждом месте'. В некоторых примерах Дельбрюка краткость выдержки не позволяет судить, имеем ли мы дело с атрибутивным или с предикативным прилагательным, в силу чего эти примеры теряют для нас свою ценность. В случае *hann átti vel fé ok var enn mesti maðr í búi sínu* 'он имел много добра и был очень дельный хозяин' исключение является мнимым: *í búi sínu* 'в своем хозяйстве' не дает масштаба для сравнения, а лишь указывает область деятельности, буквальный перевод 'он был крупнейший <величайший> человек в своем хозяйстве' искажает смысл подлинника.

Среди примеров с членным прилагательным в относительном значении, которые приводит Нюгорд (Norr. Synt., § 62) и о которых он говорит, что они встречаются не редко («ikke sjelden findes bestemt form og foranstillet artikel, hvor superlativ tydeligvis udtrykker den høieste grad»), нет, насколько я вижу, ни одного с превосходной степенью в предикативном употреблении. Таким образом, в примерах типа *ok gerðiz enn mesti smíðr*, равно как в примерах типа *konungr var enn reidasti* превосходная степень имеет, как правило, элятивное значение. Некоторые исключения семантически довольно близки к элятиву; в одном примере, составляющем

исключение, за прилагательным следует относительное предложение, в другом — прилагательное сочетается с притяжательным местоимением. Какое значение имеют эти обстоятельства, мы увидим позже.

Тип *hann var þeirra sterkastr*. Перейдем теперь к рассмотрению сильной формы превосходной степени в предикативном употреблении: Sk. 16 *hann var þeirra sterkastr* ‘он был сильнейшим из них’; Gg. 12 *ok svá er sagt, at af ættinu verðr einn máttkastr, er kallaðr er Mánagarmr* ‘и сказано, что в роде один будет сильнее всех, тот, кто зовется М.’; Gs. 26, 9 *þeir Þorkr róa at landi, ok verðr Saka-Steinn skjótastr af skipinu* ‘Б. и его люди гребли к берегу, и выпрыгнул С. быстрее других из ладьи’ (букв. быстрееший); Eb. 18, 19 *Í þessu kómu þeir Þórarinn eptir ok varð Nagli skjótastr* ‘между тем их нагнали Т. и его люди, и быстрее всех <т. е. впереди других> был Н.’; Eg.: 7, 13 *þar bjó maðr, er Sigurðr het; hann var auðgastr norðr þar* ‘там жил человек по имени С., он был богатейшим там, на севере’; 7, 13 *Sigríðr hét dottir hans ok þótti kostr beztr á Hálogalandi* ‘С. называлась его дочь, и казалась она лучшей невестой в Халогаланде’; 12, 3 *Mikill munr... mun þess hafa verit, at í Torgum mundi veizla fjölmennust* ‘велика, вероятно, разница <между нашим пиром и пиром в Т.>, так как в Т. пир, вероятно, был более многолюдным’; 23, 15 *Hrafn var gøfgastr sona Hæings* ‘Храфн был наиболее знатным из сыновей Хэинга’; 25, 1 *hann valdi sér menn af heimamönnum sínum ok nábiúum, þá er váru sterkastir at afli ok hraustastir þeira, er til váru* ‘он выбирал себе людей из своих домочадцев и соседей, тех, что были наиболее сильными и крепкими из присутствующих’; 32, 9 *sú er nu ferð frægst* ‘это путешествие является наиболее знаменитым’. Здесь масштаб для сравнения отсутствует, но он вытекает из контекста: ‘путешествие в Дублин пользуется большей славой, чем в другие места’. Eg.: 40, 16 *þá gekk hann í eldahús ok at þeim manni, er þar hafði þá verkstjórn ok fjárforráð með Skallagrími ok honum var kærstr* ‘тогда пошел он в очажный дом к тому человеку, что был надзирателем и управляющим у С. и был ему наиболее дорог’ (здесь значение, близкое к элятивному); 54, 3 *skipaði hann fylking sína fyrst, ok þá setti hann í brjósti þeirrar fylkingar sveitir þær, er snarpastar váru* ‘построил он сначала свой полк, а затем поставил во главе полка те дружины, что были наиболее напористыми’; 59, 4 *hann var kærstr konungi af öllum lendum mönnum* ‘он был конунгу дороже всех остальных ленных людей’; 67, 4 *Öundur var mikill ok þeira manna sterkastr, er þá váru þar í sveit* ‘О. был велик ростом и сильнейший из людей, что были тогда там в дружине’; 79, 13 *Grimr var elztr sona þeira* ‘Г. был старшим из сыновей тех’ (значения ‘старший’, ‘младший’ и т. п. стоят в стороне от других, поскольку в таких случаях доминирует момент противопоставления, о чем позже); 87, 5 *Þorgeirr... var þeira sterkastr bræðra, en Skúli var mestr* ‘Т. был сильнейшим из братьев, а С. наиболее высоким’; Nj.: 1, 3 *ok þótti sá kostr beztr a Rangárvöllum* ‘и казалась эта невеста <букв.

выбор> лучшей в округе'; 150, 14 *þeir stóðu nú upp allir ok hljópu at þeim ok varð skjótastr Móðólfr Ketilsson* 'они все встали и побежали к тем и впереди всех <букв. быстрее> был М. К.'. В следующих примерах масштаб сравнения выражен весьма своеобразно: Eb. 37, 4 *Hér er øx, Þorleifr! er ek vil gefa þér, ok á ek þessa háskaptasta* 'вот топор, Торольф, который я хочу тебе дать, это наиболее длинный по рукоятке из тех, что я имею' (букв. и имею я его наидлиннейшего); Eg. 55, 14 *en sumu fé skaltu skipta með frændum ykrum þórólfs, þeim er þér þykkja agætastir* 'и часть добра ты поделишь между твоими родственниками и Торольфа, между теми из них, которых ты считаешь наиболее знатными'; Nj.: 97, 2 *þann veit ek kost beztan* 'это лучшая невеста <букв. выбор> из тех, что я знаю', букв. 'я знаю этот выбор <как> наилучший'; 112, 10 *þangat kómu níu búar, þeir er næstir bjoggu véttvangi* 'туда пришли девять крестьян, ближе других проживавших к месту убийства'. Относительный характер сравнительной степени выражается и в таких примерах, как Gs. 25, 3 *Nú fór sem mik varði..., at þú myndir hitta þat ráðit, at þú mættir drengirinn af verða sem beztr* 'вот случилось так, как я полагал, что найдешь ты совет, который позволит тебе как можно лучше проявить себя в качестве смелого человека'; Eg. 67, 6 *heldr Egill þangat skipi sínu í höfn sem næst bæ Arinbjarnar* 'Эгиль повел свой корабль в гавань, как можно ближе к поселению А.'; Nj. 149, 11 *Er þat mitt ráð, at þér farið margir saman ok skiliz lítt, ok verið um yðr sem varastir* 'таков мой совет, чтобы ехали вы всегда во множестве и мало расставались и вели бы себя как можно осторожнее' (букв. как осторожнейшие); Nj. *þá skalt þú gera þik sem reidastan* 'тогда ты должен разгневаться как можно сильнее'. Сюда же и примеры, где прилагательное уже превратилось или близко к превращению в наречие, вроде Gs. 30, 11 *Nú rennr Helgi sem fljóttast má hann* 'побежал тогда Х. так быстро, как только он мог'. Здесь речь идет о сравнении потенциалов, заключающихся в каком-либо лице или вещи. Выражение 'как можно быстрее, ближе, осторожнее' и т. д. предполагает высшую ступень в целой гамме возможных качеств.

До сих пор речь шла о примерах с явным относительным значением степени сравнения. Перейдем к примерам, где такое значение может оспариваться. Эти примеры могут быть выделены в самостоятельный тип по семантическим основаниям, о которых ниже.

Тип *hon var allra kvenna fríðust*. Sk.: 47 *hon var allra kvenna fríðust* 'она была всех женщин краше'; 51 *Slungnir hét hestr hans, allra hesta skjótastr* 'Слунгнир назывался его конь, всех коней <был он> быстрее'; Eg.: 1, 5 *hon var kvenna vænst* 'она была <всех> жен прекраснее'; 1, 10 *Var Þórolfr manna vænstr ok gerviligastr* 'Т. был всех людей красивее и толковее'; 7, 5 *hann var maðr stórauðigr, allra manna fríðast sýnum* 'он был очень богатый человек, всех людей красивее видом'; 37, 4 *Gunnhildr var*

allra kvenna vænst ok vitrust 'Г. была всех женщин прекраснее и умнее'; 61, 11 *ok var þat allra sverða bitrast* 'и был тот <меч> всех мечей острее'; 67, 12 *þviat Arinbjörn var allra manna þrvastr* 'потому что А. был всех людей энергичнее'; 79, 1 *Þorssteinn, sonr Egils, þá er hann óx upp, var allra manna friðastr sýnum* 'Т., сын Э., когда он подрос, стал всех людей краше видом'; Nj.: 1, 7 *Hrútr var vænn maðr, mikill ok sterkr..., manna vitrastr* 'Х. был красивый мужчина, высокий и сильный, <всех> людей умнее'; 8, 7 *hann er mikill af sjálfum sér ok manna fræknastr* 'он велик сам собой и <всех> людей отважнее'; 9, 1 *ok er kvenna friðust sýnum* 'и всех жен краше внешностью'; 19, 6 *Manna kurteisast var hann* 'он был всех обходительнее, вежливее'. Отличительной чертой данного типа является наличие универсального масштаба, при котором реальное сравнение уже невозможно. В силу этого превосходная степень в этих примерах семантически оказывается элятивом. Такой же гиперболический характер имеет масштаб и в примере Eg. 78, 2 *hann var þeira manna friðastr sýnum, er þá váru á Íslandi* 'он был пригожее видом всех людей, что жили тогда в Исландии'. Исследователи толкуют эту конструкцию по-разному. Одни видят в ней элятив, другие — относительное сравнение. «В случаях, когда стоящее в родительном падеже существительное, — писал Дельбрюк, — имеет такое общее значение, как *maðr* или *kona*, можно переводить элятивно, например Hskr. 164, 3 *Gunnhildr kona hans var kvenna fegrst* 'была очень красивая женщина', я, однако, не вижу ничего, что мешало бы переводить такие обороты, как если бы рядом стояло *allr...* Так, *mála sannast*, что Хейслер приводит как пример элятива, я перевожу: *das wahrste der Worte*»¹⁵⁰.

Сущность вопроса заключается, однако, не в способе перевода, а в грамматическом определении сочетания. Следует отметить сложность и противоречивый характер данного типа: семантически это несомненный элятив, формально же оборот стоит в одном ряду с типом *hann var þeira sterkastr*, который характеризуется относительной сравнительной степенью. Объяснение этому гибриднему случаю мы постараемся дать ниже.

Тип *hann varð mestr l gmaðr á Íslandi*. Здесь, как и в типе втором (*ok gerðiz enn mesti smiðr*) прилагательное само по себе не является предикативным, но получает это значение в качестве атрибута предикативного существительного, ср.: Eg. 7, 4 *ok váru þeir Björgólfr feðgar í gildinu gofgastir menn* 'и были отец с сыном на пирушке знатнейшими людьми'; Nj.: 27, 5 *Njall kendi honum lög, svá at hann varð mestr lögmaðr á Íslandi* 'Н. обучил его законам, так что он стал величайшим законоведом в Исландии'; 49, 11 *þær sǫgdu, at þeim væri at Hlíðarenda mest gefit ok Hallgerðr yrði þeim mestr drengr* 'они сказали, что в Х. они получили больше всего

¹⁵⁰ Germ. Synt. С. 37.

и что Х. был для них лучшим человеком <в округе, который они обходили>'; 70, 14 þú þykkir nú ágætastr maðr um allt land 'ты сдаешься мне знатнейшим человеком во всей стране'; 115, 4 at þá myndi hann verða mestr höfðingi í ætt sinni 'что станет он величайшим хофдингом в своем роде'; 159, 13 sonr Flosa var Kolbeinn, er ágætastr maðr hefir verit einn hverr í þeiri ætt 'сыном ф.' был К., который был более знатным человеком, чем кто бы ни было другой в их роде'; Кр. 1, 6 en þessir váru þá stærstir höfðingjar á landinu 'и вот кто принадлежал тогда к числу крупнейших хофдингов в стране'; Eb. 51, 8 þik kalla ek vitrastan mann hér á bæ 'тебя называю <т. е. считаю> я умнейшим человеком здесь в поселении'. В этих примерах относительный характер сравнения выражен достаточно четко. Сюда же относятся и своеобразные примеры, как Nj. 135, 33 Hann var enn þridi mestr loğmaðr á Íslandi 'он был одним из трех величайших знатоков законов в Исландии', букв. 'третий величайший'; 87, 12 þat var annat mest hof i Noregi en annat á Hlōðum 'это было одно из двух крупнейших святилищ в Норвегии, другое же было в Х.'; Кр. 15, 2 hann hefir vitrastr verit loğmanna á Íslandi annar enn Skapti 'он был один из двух ученейших знатоков закона в Исландии, а другой был С'. (один раз Nj. 109, 26 hann var enn þridi mesti lagamaðr á Íslandi 'он был один из трех крупнейших знатоков закона в И.' со слабой формой прилагательного вместо обычной сильной; слабая форма могла легко появиться после артикля).

В примере Nj. 30, 20 þá veit ek mesta orrostumenn может подразумеваться элятивное значение 'я знаю их как очень сильных <букв. больших> воинов', но не исключено и относительное значение 'сильнейшие из числа тех, что я знаю'. Действительное исключение находим в Nj. 26, 4 Gaukr Trandilsson var fóstbróðir Ásgrims, er fræknastr maðr hefir verit 'Г. Т. по воспитанию был братом А., бывшего отважнейшим человеком' и Eg. 49, 2 þat var um várit, at blót mikit skyldi vera at sumri á Gaulum; þat var ágæzt höfuðhof 'то было весной <того года>, когда жертвоприношение большое должно было летом совершиться в Г.; то было знатнейшее святилище' (но, быть может, подразумевается 'в стране'). Если не считаться с этими исключениями, то этот тип окажется синтаксическим продолжением четвертого, где сильная превосходная степень в предикативном употреблении также имеет относительное значение.

Заканчивая обзор предикативных типов, мы можем отметить, что приведенное выше правило о связи слабой формы с элятивом и сильной с относительным значением в основном подтверждается. Исключения из типов со слабой формой прилагательного, как мы видели, крайне немногочисленны. В примерах же с сильным склонением в специальном объяснении нуждаются весьма распространенные обороты типа *hon var allra kvenna friðust*, семантически примыкающего к элятиву.

Переходя к атрибутивному употреблению превосходной степени, мы обратимся и здесь прежде всего к членным сочетаниям слабой формы.

Тип *við ina stærstu höfðingja*. Относящийся сюда материал в моем собрании невелик: Eg.: 9, 15 *ok skilduz þeir konungr með enum mæsta kærleik* 'и расстались они с конунгом дружественнейшим образом', букв. 'в величайшей дружбе'; аналогично 61, 12 *Skilduz þeir með kærleik enum mesta*; 36, 4 *Þórir var þá í enum mestum kærleikum við konung*; Nj.: 27, 4 *Gunnar var at veizlu þeiri ok margir aðrir enir beztu menn* 'Г. был на том пиру и многие другие из лучших людей'; 122, 3 *ok er ek spurða, at hann var veginn, þótti mér slókt et sætasta ljós augna minna* 'и когда я услышал весть, что он убит, почудилось мне, что угас милейший свет моих очей'; Кр. 12, 18 *Heiðingjar blóta enum verstum mönnum ok hrinda þeim fyrir björg eða hamra* 'язычники приносят в жертву худших людей и сбрасывают их с гор и утесов'. Превосходная степень в этих примерах сохраняет элятивное значение, в других случаях она обнаруживает относительное значение: Eg. 81, 30 *hafði Egill haft með sér ena beztu bóndasonu af Nesjum sunnan, þá er honum þóttu vigligstir* 'Э. имел с собой лучших сыновей бондов из местности севернее Н., тех, что ему казались наиболее воинственными'; Nj. 49, 24 *Hér vil ek bjóða fyrir góð boð ok bjóða, at enir beztu menn skipi um í heraðinu* 'здесь хочу я подать хороший совет и предложить, чтобы лучшие люди в округе рассудили нас'; Nj. 139, 7 *Síðan valdi Gizurr með sér alla ena vitrustu menn af líði þeira til fylgðar við sik* 'после этого Г. выбрал всех наиболее умных людей из их отряда к себе в свиту'.

Из материалов Дельбрюка приведу примеры, относительно которых можно с уверенностью сказать, что они принадлежат к этому типу. Элятивное значение наблюдается в следующих случаях: *var þar kominn ok buinn með inum beztum klæðum* 'пришел туда и был одет в лучшие одежды'; *let setja þeim borð við inum beztum fongum* 'велел поставить им столы с лучшими запасами'; *var hann þá hafðr í inum mestum kærleikum* 'он встретил там самый дружественный прием'; *hann brendi ok víða bygðina ok gerði it mesti hervirki* 'он сжег там вокруг все жилища и совершил величайшее ратное дело'.

Более значительно у Дельбрюка количество примеров с относительной степенью: *við ina stærstu höfðingja fyrir vestan haf* 'с величайшим ховфингом западнее моря'; *inum bezta manni í ætt hans* 'лучшему человеку в его роде'; *ina beztu hesta í þann tíma* 'лучших коней в то время'; *af inum bezta mánaði árs* 'от лучшего месяца в году'; *við ina vitrustu menn, er þar varu komnir* 'с умнейшими людьми, которые туда пришли' *in stærstu horn af inum sterksta drykk, er þar var* 'величайшие рога с крепчайшим напитком, который был там'; *með ina beztu hesta sína* 'со своими лучшими лошадьми'. Относительное значение присуще, согласно Дельбрюку, и следующим примерам, где масштаб сравнения определяется из кон-

текста: *kaupir þú þér svá vináttu inna beztu manna* 'ты покупаешь себе таким образом дружбу лучших людей <обеих сторон>'; *váru þá fallnir allir inir mestu fjándmenn hans, en sumir flýðir ór landi* 'погибли тогда самые заклятые его враги, а некоторые сбежали из страны' и, быть может, некоторые другие.

Приведенный материал показывает, что относительное значение не в меньшей мере свойственно этому типу, чем элятивное. Примеры, которые Нюгорд (Norr. Synt., § 62, 3) приводит для иллюстрации того, что слабая форма с артиклем нередко встречается в относительном значении, касаются одного лишь атрибутивного употребления. Нюгорд пытается наметить границы, в которых слабая форма выступает в этом несвойственном ей значении. Это, согласно его определению, случаи с прилагательными, выражающими положение в пространстве, протяженность, возраст; случаи, когда за превосходной степенью следует относительное предложение, когда определяемое существительное сочетается с притяжательным местоимением, случаи после *allr*. Каждый из этих случаев подтверждается соответствующими фактами. Между тем сама постановка вопроса в целом является неудовлетворительной, поскольку, во-первых, она не возвышается над эмпирической констатацией отдельных случаев и не выявляет общих, объединяющих все эти случаи моментов, и поскольку, далее, даже в чисто эмпирическом плане ею не все исчерпано и ряд примеров не укладывается в намеченные разряды.

Границы употребления стали более очевидными в ходе нашего анализа. Мы видели, что в предикативном употреблении слабая форма имеет (за крайне редкими исключениями) элятивное значение. Лишь в атрибутивном употреблении она выявляет и другое, относительное значение. Смысл этого определения станет конкретнее после того, как будут рассмотрены примеры сильной формы в атрибутивном употреблении.

Тип *með mestri sæmð*. Для иллюстрации этого типа воспользуюсь материалами Дельбрюка: *hafði Þorkell af þessu mestan skaða* 'Т. понес из-за этого величайший урон'; *lýgr hann mestan hlut frá* 'большая часть из сказанного им — ложь'; *með mestri sæmð* 'с наибольшим почетом'; Eb. 115, 1 *þvíat hann veitir mér nú mestan ágang* 'потому что он совершает надо мной величайшее насилие'; *er oss varð at mestu gagni* 'который принес нам величайшую пользу'. В одних случаях здесь элятив, в других, возможно, относительное сравнение, но во всех случаях, как это бросается в глаза, мы имеем дело с одним прилагательным *mestr*. У Нюгорда, кроме примеров с *mestr*, еще: *standa þar myklu stærstir skaðar af* 'происходят там многим большие потери', где смысл препятствует постановке определенного артикля и слабой формы.

Таким образом, атрибутивное употребление превосходной степени резко отличается от рассмотренных нами выше норм предикативного

употребления. Там имеет силу тенденция связать слабую форму с элятивом, а сильную — с относительной превосходной степенью. Здесь же все прилагательные, кроме *mestr*, независимо от выражаемого ими значения превосходной степени, всегда имеют слабую форму. При этом мы оставляем в стороне прилагательное *flestr*, которое употребляется исключительно в сильной форме и, следовательно, не является с этой точки зрения показательным. Необходимость постановки членной формы в атрибутивном употреблении особенно ярко проявляется в примерах, где членное прилагательное сочетается с числительным *einn* 'один', в других германских языках использованным впоследствии как неопределенный артикль: SE fórm., 2 *Í þessum sama stað var gjör ein hin ágætasta borg* 'в этом самом месте возник замечательный город', 'eine sehr feine Stadt'; SE. fórm., 9 *Þá fór hann víða um lönd..., ok sigraði einn saman alla berserki ok alla rísa ok einn hinn mesta dreka ok mörg dýr* 'тогда странствовал он далеко по свету и победил один всех берсерков и всех великанов, и одного величайшего дракона и многих зверей'; Þorv. þ. 1, 1 *Maðr er nefndr Eilífr qrn, við hann er kent eitt et hæsta fjall á Reykjaströnd í Skagafirði* 'человек некий звался Э. Орел, именем которого обозначена одна очень высокая гора в таком-то месте'.

Тип *a næsta degi*. Наконец, в рамках атрибутивного употребления мы находим еще случаи бесчленного употребления слабой формы, в предикативном употреблении совершенно отсутствовавшие: Þorv. þ.: 2, 10 *Á næsta degi eptir* 'на следующий день'; 2, 14 *Á næstu nótt eptir* 'следующей ночью'; 5, 1 *Et næsta sumar* 'в ближайшее лето'; Кр.: 2, 1 *enn fyrsta vetr* 'первую зиму'; 6, 4 *et fyrsta sumar* 'в первое лето'. В таких сочетаниях встречаются прилагательные *fyrstr* 'первый', *efstr* 'последний', *næstr* 'ближайший', *síðastr* 'позднейший, последний', *yingstr* 'младший', *elztr* 'старший'. Эти же прилагательные встречаются в атрибутивной функции с артиклем: Nj.: 25, 6 *Nú skal nefna somu Njáls: Skarphedinn hét enn elzti...* 'теперь следует назвать сыновей Ньяла, старший звался Скарпхедин'; 50, 11 *Nú líða stundir, þar til er stefnudagar kómu enir síðustu til alþingis* 'вот проходят дни, последние по счету из тех, когда может состояться приглашение к альтингу'; 103, 14 *eigi fellr tré við et fyrsta högg* 'дерево не падает с первого удара' (пословица); Þorv. þ. 3, 2 *Á enum fyrstum misserum* 'в первое полугодие' и т. д. В предикативном употреблении эти прилагательные стоят в сильной форме, как показывают следующие примеры (из Дельбрюка): Eb.: 90, 9 *ok gekk Snorri fyrstr* 'С. шел первый'; 31, 2 *Brandr var elztr* 'Б. был старший <из сыновей>'; *hafði lögsögu næstr Sighvati* 'занимал должность законовещателя вслед за С.', букв. 'как ближайший С.'

Остановившись на характере таких прилагательных, Дельбрюк в беседе замечает, что «по своему основному значению они не могут упо-

требляться элятивно. Как и числительные, к которым они близко стоят, эти прилагательные употребляются как с артиклем, так и без него, без того, чтобы я мог установить различие»¹⁵¹.

Но формально, как мы видим, это различие устанавливается легко: в предикативном употреблении стоит сильная форма в атрибутивном — слабая, членная или бесчленная. При этом бесчленная чаще употребляется в застывших оборотах типа *á næsta degi* 'на следующий день'. Что же касается семантической природы этих прилагательных, то и она, как дальше будет показано, поддается разъяснению.

Мы можем теперь перейти к общим заключениям.

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что там, где существует различие относительного и элятивного значений превосходной степени (т. е., как было показано, в предикативной функции), первое связано с сильной формой прилагательных, второе — с слабой. С точки зрения традиционной концепции такое распределение функции оказывается непонятным. «В артикле при исландской превосходной степени, — пишет Хегер, — поразительным является то, что он употребляется при суперлятиве второй ступени, при так называемом элятиве»¹⁵². Еще больше растерянности обнаруживает Дельбрюк. Он признается, что формальное разграничение значений противоречит ожиданиям (*die Abgrenzung, die man umgekehrt erwarten möchte*¹⁵³). В самом деле, если артикль изначально выражает определенность и слабая форма прилагательного возникла как определенная, то почему эта форма отсутствует как раз там, где превосходная степень носит наиболее определенный характер, где круг ее действия уточнен масштабом сравнения, т. е. в функции относительной? Дельбрюк пытается ответить на этот вопрос: «Сам по себе, — замечает он, — артикль не нужен при превосходной степени, так как выражение высшей степени уже содержит в себе чувство определенности (*das Bestimmtheitsgefühl*). Артикль, однако, мог присоединяться к превосходной степени, как к порядковым числительным. Первоначально, следовательно, по значению не было никакой разницы между *vitrastr maðr* и *inn vitrasti maðr*, и так оно и осталось при обстоятельном, обремененном способе выражения. Говорят *vitrastr maðr* или *inn vitrasti maðr í lande hér*. Напротив же, при необремененной, изолированной форме изложения постепенно привыкли к употреблению артикля»... «Я полагаю, что при этом говорящие руководились образцом положительной степени, ибо говорят *der kluge Mann*, но не говорят *der kluge*

¹⁵¹ Germ. Synt. С. 36.

¹⁵² Heger L. Der bestimmte Artikel in einer Reihe von altgermanischen Denkmälern. Praha, 1936. С. 73.

¹⁵³ Germ. Synt. С. 35.

Mann von allen»¹⁵⁴. Это рассуждение автора объемистого «Сравнительного синтаксиса индоевропейских языков» — типичный образчик индоевропейского подхода к истории синтаксических отношений. Направление и содержание развития не исследуются здесь, а надумываются искусственным образом. Больше всего индоевропейец заботится о том, чтобы примирить готовую морфологическую схему с реальными фактами путем подыскания механических аналогий. Рассуждение Дельбрюка ничего не доказывает. В «обремененном» изложении, говорит он, т. е. в случаях, когда масштаб сравнения дан, нет разницы между слабой и сильной формой. Но это попросту не соответствует истине. Дельбрюк прошел мимо того обстоятельства, что слабая форма может иметь относительное значение преимущественно в атрибутивной постановке, но здесь сильная форма прилагательных (кроме *mestr*) вообще не употребляется, в предикативной же постановке в «обремененном» изложении, т. е. рядом с масштабом сравнения, употребляется лишь сильная форма. Таким образом, факультативность сильной и слабой формы, о которой говорит Дельбрюк, синтаксически, т. е. в реальном употреблении, нигде не дана, и предположение о том, что такая факультативность является первичной, лишается оснований. Но даже если допустить это предположение для эпохи более древней, то и тогда останется неясным, почему слабая форма специализировалась в менее определенном элятивном значении, а более определенное, относительное значение осталось за сильной формой. Аналогия с положительной степенью бессодержательна и лишена доказательной силы: говорят не только *der kluge Mann*, но и *ein kluger Mann*. Что же касается невозможности сказать *der kluge Mann von allen*, то она вытекает из того, что в этом значении используется не положительная, а превосходная степень. Впрочем, как будет показано в следующем разделе, есть языки, где такой способ выражения вполне возможен.

Но если формальное разграничение элятивной и относительной функции создает неустранимые трудности для теории изначальной «определенности» артикля и слабого прилагательного, то в свете того, что было выяснено в предшествующих разделах настоящей главы, это разграничение объясняется легко и без натяжек. Элятивное значение предполагает, как мы видели, абсолютно высокую степень качества, что как нельзя лучше соответствует индивидуализирующему или, что то же, эминентному значению артикля и слабой формы в Эдде. В обоих случаях признак мыслится как идеальный и недостижимый для других предметов данного рода. Относительное же значение семантически соответствует обычному, родовому значению прилагательного в Эдде; высшая степень

¹⁵⁴ Там же. С. 42 сл.

качества здесь ограничена определенными границами, за пределами коих она может быть превзойдена. Качество мыслится в таких случаях как обыкновенное, в разных пропорциях встречающееся в разнообразных предметах. Это заурядное и, так сказать, тривиальное качество, в отличие от эминентного, подчеркнутого и яркого качества.

Использование слабой и сильной флексии, стало быть, полностью отвечает здесь той норме, которая отражена в языке Эдды.

Семантический анализ позволяет нам восстановить нормы употребления превосходной степени на более ранней ступени развития, чем та, которая засвидетельствована в языке древнеисландской прозы. Если элятивное и относительное значение являются лишь отражением общей противоположности эминентных и обычных признаков, присущей архаической фазе развития, то, очевидно, разделение этих функций ранее не должно было ограничиваться областью предикативного атрибута, но проявлялось также и в чисто атрибутивной области. Примеры из Эдды, правда крайне немногочисленные, говорят в пользу такого именно предположения. В отличие от языка прозы здесь членное слабое прилагательное в атрибутивном употреблении встречается гораздо реже, чем сильное. Примеров употребления слабой формы всего два: *Sd.* 14, 5 *it fyrsta orð* ‘первое слово’; *ННв.* 1, 1–4 *Sáttu Sigrlinn*, | *Svafnis dóttur*, | *meyna fegrsto* | *í munarheimi* ‘видел ли ты, Сигрлин, дочь Свафнира, деву красивейшую в Мунархейме (‘в мире любви)’; здесь элятив, несмотря на наличие масштаба сравнения. Впрочем, пример в целом ненадежный. Один из издателей Эдды исправляет *meyja fegrsta*. Примеров с сильным склонением гораздо больше, ср.: *Нум.* 7, 5–6 *hirði hann hafra* | *horngöfgasta* ‘стерег он козлов, рогами прекраснейших’; здесь, хотя элятив, но существительное стоит во мн. ч. и лишено индивидуального значения; *Grm.* 12, 4–6 *á því landi*, | *er ek liggja veit* | *fæsta feiknastafi* ‘в той стране, где, я знаю, лежат опаснейшие руны невзгод’ (элятив при существительном во множественном числе); *Скм.* 30, 2; *Рф.* 9, 6 *gørstan dag* ‘den ganz vollendeten Tag’, ‘целый день’ (снова элятив при неличном представлении) и др.

В предикативном употреблении слабое прилагательное с артиклем встречается только один раз, где в прозе обычно сильная форма: *Рф.* 41, 1–10 *Burr var inn elzti...* | *Konr var inn yngsti* ‘Бурр был старший <сын>, а младший — Конр’; здесь, однако, можно считать *inn elzti* субъектом, как в предложении *inn elzti hét Burr* ‘старший звался Бурр’. В других примерах встречается только сильная форма прилагательного.

Состояние Эдды можно, сдается мне, принять в качестве отправного пункта для прозы. Первоначально элятив мог возникнуть в случаях эминентного употребления превосходной степени, что подтверждается семантической близостью этих значений. Это в достаточной мере объясняет связь элятива со слабым прилагательным. Можно, следовательно,

предположить, что вначале слабая форма имела элятивное значение, а сильная — относительное в любой позиции в предложении. Позднее же с выделением атрибутивных и предикативных определений старое разграничение элятива и относительной формы удержалось только в предикативной позиции. Это могло случиться, прежде всего, потому, что элятивное и относительное значения не нуждались в особых формах прилагательных для своего выражения; уже одно наличие или отсутствие конкретного масштаба сравнения во фразе само по себе было всегда достаточно для разграничения этих оттенков мысли. Использование слабой и сильной формы для выражения этих значений было, следовательно, с самого начала проявлением «переобозначения» в языке, т. е. излишним. Как излишнее, это явление могло легко отпасть в дальнейшем развитии. Если оно отпало прежде всего в позиции атрибутивного определения, а в предикативной позиции еще долго удерживалось, то это может быть объяснено причинами вторичного свойства. Эти причины, как мне кажется, заключаются в следующем. С тех пор как сильная и слабая формы прилагательного теряют свое бывшее смысловое содержание и становятся формальными разновидностями одной и той же грамматической категории, возникает стремление подчинить и формы превосходной степени общим правилам употребления прилагательных. В позиции чисто атрибутивной это быстро приводит к нивелировке старых способов выражения элятива и относительного сравнения. Что же касается области предикативного атрибута, то здесь различие значений удержалось вследствие борьбы двух противоположных тенденций в строе языка: с одной стороны, сильная форма — это средство выражения предикативного атрибута, с другой — возникает тенденция поставить употребление формы превосходной степени в зависимость от определенного артикля. Последняя тенденция ярче всего проявилась в немецком, где отмечается прогрессивный процесс вытеснения сильной формы слабой. Менее последовательно эта тенденция осуществилась в норвежском и датском, где еще сохраняется в некоторых случаях сильная форма превосходной степени. Впрочем, народные говоры, как это часто бывает в случаях, когда речь идет о процессах унификации и нивелирования флексии, отличаются в этом отношении от литературного языка, поскольку последний и в предикативной функции употребляет только слабую форму¹⁵⁵. Таким образом, превосходная степень оказалась в предикате как бы на перепутье, что способствовало переживанию старых форм. Однако и здесь употребление этих форм приобретает формальные черты. Основанием для употребления одной или другой формы служит наличие или отсутствие масштаба сравнения. Но в огромном числе примеров (тип

¹⁵⁵ Falk-Torp, Synt., § 64; Mikkelsen, § 78.

hon var allra kvenna fríðust) масштаб носит формальный характер, а элятивная по своему значению степень оформляется как сильное прилагательное. Такое употребление говорит о смещении содержания форм и там, где они лучше всего сохранились.

Остается вопрос о бесчленном слабом типе *á næsta degi*. Прилагательные, входящие в такие сочетания, не могут иметь элятивного значения. Поэтому в предикате они встречаются только в сильной форме, соответствующей относительному значению. Но при этом остается неразъясненной другая сторона вопроса — почему именно эти прилагательные отклоняются от других, допуская в атрибутивных сочетаниях наряду с членной еще бесчленную слабую форму. Ответ на этот вопрос нужно искать в своеобразной семантике этих прилагательных. Выше мы рассматривали элятив как категорию, издавна связанную со слабой формой. Теперь можно несколько уточнить эту мысль. Бесчленные сочетания типа *á næsta degi* потому, сдастся нам, не растворились в членных соединениях слабых прилагательных, что они не допускают элятивного значения. Согласно такому предположению, членная форма слабого прилагательного связана с элятивным употреблением превосходной степени. Что же касается бесчленной формы, то она уходит в более глубокие эпохи и, по-видимому, связана с другой семантикой превосходной степени. Предвосхищая дальнейшее изложение, мы можем дополнить семантическую характеристику прилагательных *fyrstr*, *efstr*, *næstr*, *síðastr*, *yingstr*, *elztr* и т. п. существенной чертой, отсутствующей в анализе Дельбрюка. Это — прилагательные, выражающие не просто сопоставление предметов, а их пр о т и в о п о с т а в л е н и е. Слово ‘младший’ не всегда предполагает качество ‘молодости’, а выражает контрастное отношение. С этим контрастным отношением и было первоначально, как еще будет подробно раскрыто, связано значение степени сравнения. Позднее, когда возникла противоположность элятива и относительного сравнения, контрастное сопоставление оказалось по значению более близким последнему, что и может объяснить нам, почему контрастные прилагательные сохранились в бесчленных сочетаниях.

Мы приходим, таким образом, к выводу, что связь слабой формы прилагательного с превосходной степенью не вторичного происхождения. Когда Бехагель, отстаивая противоположные взгляды, ссылается на реальные исторические процессы вытеснения сильной формы слабой¹⁵⁶, то он допускает анахронизм. В поздние эпохи, несомненно, происходят передвижки в оформлении превосходной степени и, как было показано, во многих случаях сильная форма действительно вытесняется слабой, но из этого еще не следует, что первоначально в этой функции употреб-

¹⁵⁶ Dt. Synt. I. § 113.

лялась одна лишь сильная форма. Бегахель строит свое предположение на основании одного, случайно выхваченного, отрезка извилистого и запутанного пути. Из многообразия течений и изменений в морфологическом строе он произвольно выхватывает одно направление, несправедливо считая его характерным и для эпох, письменно не документированных. Но это лишний раз доказывает, что исторический синтаксис нельзя строить без учета истории грамматических значений, теснейшим образом связанной с историей мышления.

5. Генезис степеней сравнения

Сравнительная степень, в отличие от превосходной, склоняется во всех древних германских языках только как слабое прилагательное. Позднее рядом со слабой формой может появиться и сильная, как в средневерхненемецком языке, однако во всех случаях первичность слабой формы в этой функции не подлежит сомнению.

Чем объясняется связь сравнительной степени со слабой формой, что общего было между значениями этой степени и слабыми прилагательными? Господствующим в индоевропеистике является мнение, что связь эта чисто внешняя, формальная и случайная. Турнейзен, в свое время специально занимавшийся этим вопросом, прямо писал, что слабое склонение сравнительной степени «ничего общего не имеет со слабым склонением других прилагательных, связанным с определенными синтаксическими условиями»¹⁵⁷. Позднее к этому мнению присоединился французский индоевропеист, адепт формальной компаративистики, А. Мейе. Основное возражение, которое Мейе выдвигает против грамматического отождествления этих форм, гласит: «...если германский праязык приобщил слабую флексию к сравнительной степени по семантическим основаниям (*pour une raison de sens*), то чем объяснить устойчивость сильного склонения в превосходной степени?»¹⁵⁸ Этот довод затем воспроизводился другими лингвистами. *Hic Rhodos, hic salta*, — говорили они. — Тот, кто хочет доказать семантическое родство обеих форм, должен одновременно объяснить, почему в превосходной степени прилагательные склоняются и по сильному и по слабому типу.

Известна негодная попытка Хирта вскрыть семантическую основу этого совпадения форм¹⁵⁹. Хирт допустил серьезные передержки в фактах; так, он уверял, что сравнительная степень в древнеславянском скло-

¹⁵⁷ KZ. XXXIII. С. 531 слл.

¹⁵⁸ MSL. XIII. С. 45.

¹⁵⁹ IF. XII. С. 200 слл.

нялась только как местоименное прилагательное. Но основная причина крушения попытки Хирта кроется в другом, в его общей методологической позиции. Семантические поиски Хирта были заранее обесценены верой в стабильность и неизменность грамматических значений. Он исходил из положения, что слабая форма изначально была связана с функцией субстантивации. Задачу свою он решал крайне упрощенно. При помощи натянутых и искусственных переводов он стремился показать, что готской сравнительной степени соответствует в новонемецком субстантивированное прилагательное. Так, готск. Mt. 3, 11 *iþ sa afar mis gagganda swinþoza mis ist* он переводит: 'aber der nach mir Kommende ist der Stärkere in Vergleich zu mir'; готск. Mt. 5, 20 *nibai managizo wairþiþ izwaraizos garaihtins* — 'wenn nicht ein Grösseres eurer Gerechtigkeit wird' и т. п. Что такой перевод ничего не доказывает, видно из того, что и сильное прилагательное, в частности превосходная степень в сильной форме, может быть переведено на современный язык при помощи субстантивации. Из комплекса значений, присущих древней форме, Хирт произвольно вырвал одно — субстантивацию, что и привело его к односторонним выводам. Но хуже всего то, что и субстантивацию он взял не как историческую категорию, а как мертвое, по-школьному заученное понятие. Именно это содействовало тому, что осуществленный им «семантический подход» превратился в свою противоположность.

Для правильного решения генетического вопроса необходимо учесть, что сравнительная степень так же, как и превосходная, возникает на ступени, когда сравнение носило качественно иной характер, чем теперь. Лишь после того как мы проследим, в чем проявляются качественные особенности сравнения на древнейшей ступени развития, мы сможем дать ответ на вопрос о соотношении флексии прилагательных и степеней сравнения.

Материалы языков неиндоевропейских систем помогут нам восстановить в важнейших чертах семантическую историю степеней сравнения. Относящиеся сюда факты отчасти собраны в статье Х. Йенсена «Der steigende Vergleich und sein sprachlicher Ausdruck»¹⁶⁰. Но эта работа насквозь порочна по своим методологическим основаниям. Абстрактно-морфологический, формальный, типичный для индоевропеистики подход к явлениям языка чрезвычайно резко проявляется у Йенсена, для которого характер внешнего оформления служит основным мерилем развития. Йенсен строит линию развития, на вершине которой находятся флективные формы. С таким широко распространенным в языке явлением, как переосмысление, он совершенно не считается. Об описательной форме он судит не с точки зрения ее реального значения, а по непосредственным

¹⁶⁰ IF. LII. С. 108 слл.

значениям ее составных частей, хотя бы форма в своем развитии уже далеко отошла от первоначального смысла. При таком подходе смешиваются и сливаются генетический план исследования и актуальный. К отмеченным порокам у Йенсена присоединяется еще реакционный оценочный момент в духе флективно-морфологической классификации, рассматривающей китайский язык как «низшее» проявление человеческой способности к языкотворчеству, а санскрит или английский язык «как высшее достижение» на этом пути. Решительно отвергая такие приемы, мы в дальнейшем займемся исследованием истории степеней сравнения в направлении, указанном Н. Я. Марром.

Реликтовое значение имеет конструкция, сохранившаяся в некоторых австралийских, папуасских и других языках. В качестве примера может быть приведена фраза из папуасского языка бонгу: *dōgam ande ole sien, ande agui sien* 'этот шест длинный, этот — короткий' в смысле 'этот шест длиннее, чем тот'. В этой зародышевой форме содержится все то, что лежит в основе позднейших форм сравнения. На древнейшей ступени не было еще представления о различных степенях проявления какого-либо признака. Признак мыслился тогда как качественно однородный, включающий всякую градацию: шест либо длинен, либо короток, третье не дано. Сравнение на этой ступени может принять так же форму отрицательного противоположения, как это пережиточно прослеживается в одном из западных суданских языков, где говорят *keo le finta muso-ti* 'мужчина — черен, женщина — нет' в смысле 'мужчина чернее женщины'. Этот способ выражения, взятый в его первоначальном смысле, резко оттеняет абсолютный характер представлений. Показательна также вопросительная конструкция из языка бакайри: *atikḥōno tukueḥ se-āri parotapa*, букв. 'что из двух зеленое, листья дерева или морская трава?' в смысле 'что зеленее?'

Типологически более развернутыми являются обороты с масштабом сравнения. Примером могут служить конструкции, встречающиеся в эвенском (ламутском) языке. Ср. *орон нгендук гуд* 'олень собаки выше' (букв. 'олень от собаки высокий'). В превосходной степени: *эрэк орон чэлэдукун гуд* 'этот олень всех выше' (букв. 'этот олень из всех высокий')¹⁶¹. Конструкции этого типа могут получить и со временем действительно получают чисто сравнительное значение. Так, например, обстоит дело в эвенском, где наличие рядом с отмеченными оборотами других форм сравнения наглядно свидетельствует об этом. Но в генетическом плане такого рода конструкции важны как реликты изжитой глоттонической эпохи.

¹⁶¹ Цинциус В. И. Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка. 1947. С. 114–115.

В описательных оборотах типа 'этот олень изо всех высокий' мы уже имеем не просто контрастное сопоставление, как в примитивнейших оборотах типа 'трава зеленая, а морская вода нет'. Теперь сходство качества у разных предметов уже отражается в формах речи. В оборотах типа 'этот олень изо всех высокий' мысль уже не та, что только данный олень высокий, а все остальные, сопоставляемые с ним олени, — низкорослые. Здесь может подразумеваться с самого начала иная, более сложная мысль, — именно та, что хотя и все сопоставляемые олени высокие, но собственно высоким, высоким в особом, идеальном смысле можно назвать лишь одного из них. Здесь уже признается, что все сравниваемые предметы обладают одним общим качеством, но в одном из этих предметов качество наблюдается в выдающейся степени, как качество исключительной силы. Простейший контрастный оборот, в котором одно качество резко противопоставлялось другому, уступает здесь место более сложному обороту, в котором противопоставление проводится в пределах одного и того же качества. На новой ступени еще нет понятия о возможности бесконечных градаций каждого качества, но зато проводится уже разграничение эминентных качеств, т. е. качеств исключительных по силе и яркости своего проявления, и качеств повседневных и обычных, сколько-нибудь заметно не выделяющих данный предмет в ряду других качественно однородных предметов.

Что это так, что сравнение на рассматриваемой ступени развития носит характер противоположения эминентного признака обычным, видно из ряда специфических форм сравнения, возникающих в эту эпоху. В этом отношении наше внимание прежде всего привлекают некоторые формы в чукотском и эскимосском языках.

Указывая, что в чукотском языке сравнительная степень прилагательных выражается в ряде случаев при помощи суффикса *-ч-ы-н*, исследователь этого языка В. Г. Богораз добавляет: «Собственно говоря, эти формы указывают не столько на сравнение степеней качества, сколько просто на высшую степень качества. Они употребляются часто вне всяких сравнений, например *н'очын* 'бедняк', *эрмэчын* 'силач'»¹⁶². Суффикс *-чын* выражает особую интенсивность признака и одновременно служит средством субстантивации, перевода качественных и глагольных слов в имена существительные¹⁶³. Позднее будет показано, что совмещение этих двух функций в одном показателе никак не случайно и возникает в

¹⁶² Богораз В. Г. Луораветланский (чукотский) язык // Языки и письменность народов Севера. III. 1934. С. 25.

¹⁶³ Скорик П. Я. О причастиях в чукотском языке // ИАН СССР. ОЛЯ. 1948. С. 326. — Все приводимые здесь материалы из чукотского языка любезно сообщены мне либо проверены П. Я. Скориком.

результате вполне определенных исторических закономерностей (см. с. 318 слл.). Пока же важно отметить, что показатель *-чын*, выражающий эминентные признаки, выступает также в роли показателя сравнительной степени, например во фразе *н'откэн ыттын гэмгэ ыттык мэйнычын* 'эта собака всех собак больше'.

В эскимосском языке прослеживается связь формы превосходной степени с эминентным именем. В. Г. Богораз в своем очерке грамматики этого языка отмечает, что форма превосходной степени выражается там при помощи суффикса, обозначающего усиление качества. Форму превосходной степени с притяжательным окончанием *-пинитих'* *-льыха* в значении 'его лучший' В. Г. Богораз переводит дословно как 'его <их> истинно хороший'¹⁶⁴. Исследователь эскимосского языка Г. А. Меновщиков уточняет анализ В. Г. Богораза. Возьмем фразу *хвани киях'тук' пинитих'льы-х'а явук'ут-ы-м* 'здесь находится самое лучшее из его весел'. Суффиксом превосходной степени является, собственно говоря, только *-ни-*. Этот суффикс встречается в именах существительных в значении «настоящности», подлинности и высоких качеств предмета, например *ан'ьяк* 'лодка' — *ан'ья-ни-к* 'настоящая лодка' (т. е. кожаная байдара, предпочитаемая эскимосами другим лодкам), *к'авик* 'лиса' — *к'ави-ни-к* 'особенно хорошая лиса' (с замечательным мехом), *к'икмик* 'собака' — *к'икми-ни-к* 'хорошая собака'. Форма превосходной степени содержит, таким образом, в себе указание на особую добротность качества, некое усилительное значение. Но это и есть то, что мы называем здесь эминентностью.

К эминентному значению восходят в других языках такие сочетания, как: арм. *vat-er-i vatə* 'плохой из плохих', т. е. 'худший'; египетск. *wr(n) wrw* 'большой из больших', т. е. 'наибольший'; ср. лат. *summa summorum*, др.-исл. *mær meyia* 'дева <из> дев' (т. е. 'прекраснейшая дева'; ср. библейское *песня песней*). В том же смысловом ряду первоначально стояли русские описательные обороты превосходной степени типа *самая чистая вода*. Первоначально это значило 'сама чистая вода' в том же смысле, в каком теперь говорят *сама скромность*; ср. латышск. *pats lalais*, букв. 'сам хороший' в смысле 'самый хороший'.

Мы проследили два пути образования форм сравнения. Древнейший из них берет начало в контрастном противопоставлении двух (или нескольких) предметов (сочетания типа 'трава зеленая, а морская вода нет'). Позднее такие обороты переосмысляются и получают эминентное значение 'трава от морской воды <или над морской водой> зеленая' в смысле 'хотя морская вода также зеленая, но собственно зеленой,

¹⁶⁴ Богораз В. Г. Материалы по языку азиатских эскимосов. 1949. С. 87, 217. — Дополнительные сведения любезно сообщены мне Г. А. Меновщиковым.

зеленой в особо высокой степени является только трава'. К этим эминентным оборотам, возникающим путем переосмысления более древних контрастных оборотов, присоединяются другие обороты, в которых используется специализированная эминентная форма типа 'он силач над тобой', т. е. 'по сравнению с тобой он не просто сильный, а силач' или типа 'он сильный из сильных', 'он сама сила'. Это и есть второй путь образования форм сравнения. Переосмысленные обороты первого типа, возникшие на базе контрастных противопоставлений, отличаются от оборотов второго типа только генетически; прилагательное в оборотах первого типа этимологически обнаруживает контрастное значение, в то время как в оборотах второго типа оно выявляет эминентное значение.

В дальнейшем развитии оба типа могут наполниться новым содержанием и приобрести характер относительного сравнения. Именно такой характер носит сравнение в древнеисландской фразе *Vqls. 26, 16 ok vǫru allir lágir hjá konum* 'и были все низкими рядом с ним', т. е. 'все казались низкими рядом с ним', 'он был выше всех'. Здесь относительность сравнения выражена уже достаточно четко. Некоторые языки грамматикализовали этот способ выражения, ср. динка (суданский язык): *rên adid ke jin* 'я большой при тебе' (т. е. 'рядом, по сравнению с тобой'). Прилагательное в этих сочетаниях продолжает быть неизменным, но предлог явно подчеркивает относительный характер высказывания. Предлоги в этой функции могут быть и другие, ср. груз. *čem-ze gviam movida* 'он пришел позднее, чем я', букв. 'поздно надо мной'; лат. *super omnes beatus* 'счастливее всех' (букв. 'счастливый над всеми'). Аналогичному переосмыслению могут подвергнуться и собственно эминентные формы.

Формальные элементы, используемые при сравнении в индоевропейских языках, отражают разные фазы этой эволюции. Падежи, предлоги и особые частицы сравнения нередко восходят к эминентной фазе. В генезисе они выражают идею выделения исключительного признака из круга признаков обыкновенных, идею изъятия, отталкивания, обособления, ср. лат. *a, ab, de, prae*; болгарск. *отъ*; исл. *en*; готск. *þana*; англ. *then* и т. д. Среди падежей сравнения эту идею обособления выражают: в санскрите — аблятив, в греческом — родительный падеж, в германских — дательный. Некоторые частицы сравнения имеют еще большую давность: так греческое *ἤ* 'чем' первоначально совпадало с разделительным союзом *ἢ* 'или'. Эта частица, следовательно, предполагает в генезисе дисъюнктивный вопрос типа бакаирского: 'что из двух <более> зеленое: листья дерева или морская трава?' Такого же происхождения славянск. *не-же, не-же-ли, не-го-ли*; немецк. диалект. *weder (grösser weder ich, kleiner weder ich)*. На пути к превращению в такую частицу сравнения находилось некогда и славянск. *ли, или*, ср. *луче мало приятие съ правдою ли*

многа жита съ неправдою¹⁶⁵. Фиксируя развитие идеи сравнения на разных этапах, частицы сравнения эволюционируют от выражения абсолютного различия объектов сравнения до выражения их частичного сходства.

В свете сказанного получают разъяснения и суффиксы сравнения в индоевропейских языках. Верный формалистической установке старого учения о языке, Йенсен считает сравнительную флексию прилагательных венцом развития степеней сравнения. Однако как описательные формы языков, в которых отсутствует специальная флексия сравнения, могут возвыситься до выражения относительного сравнения, так флексия степеней сравнения в индоевропейских языках этимологически обнаруживает низшие ступени развития категории сравнения.

Древнее контрастное значение сигнализуется прежде всего этимологическим значением ряда прилагательных сравнительной степени. Так, например, др.-исл. *hönd in hægri* 'правая рука' непосредственно значит 'более удобная рука'. Но показатель сравнительной степени имеет здесь не обычное значение; ему противопоставляется не положительная степень, это не 'более удобная рука' в отличие от просто 'удобной', а, скорее, 'единственно удобная рука' в отличие от 'неудобной', левой (*hönd in vinstri*). Аналогично *it nyrðra land* вовсе не означает 'более северная страна', а значит 'северная страна' в отличие от 'южной' — *it syðra land*. Или когда одно острие обоюдоострой секиры обозначается *in fremri hyrnan*, то это вовсе не значит 'более переднее острие', а просто 'переднее', в противоположность *in eptri hyrnan* 'заднее острие'. Другими словами, контрастные значения 'северный — южный', 'правый — левый', 'передний — задний', 'верхний — нижний', которые в современных развитых языках выступают в положительной степени, раскрываются в древнеисландском как образования сравнительной степени, как слова, осложненные суффиксом сравнения. Эта особенность ряда форм сравнения выявлена старой сравнительной грамматикой. Нужно, однако, подчеркнуть, что дальше отдельных частных наблюдений в этой области, как и в других областях истории грамматических значений, компаративистика не пошла, да и не могла пойти в силу порочности ее методологических установок. Крайний формализм и общая антиисторическая праязыковая установка не позволили индоевропеистике и в этом вопросе подняться выше отдельных наблюдений, объединить и обобщить их в общую теорию развития форм сравнения в связи с историей мышления.

«Суффиксы *-ero- -tero-*, — писал Бругман, — возникшие у наречий с местным значением, обнаруживают сперва контрастное понятие... на-

¹⁶⁵ Vondrak. С. 329 сл.

пример: греч. δεξιτερός 'dexter': ἀριστερός 'sinister', ἡμέτερος 'noster': ὑμέτερος 'vester', θηλύτερος 'женский': арк. ἀρρέντερος 'мужской'. Затем, например, *νεωτερο-s 'новый' (νεώτερος) стало употребляться не только в соотношении с *senotero-s 'старый', но и в соотношении с понятием 'не такой, менее новый'. Так эти образования пришли в сферу сравнения...»¹⁶⁶.

Аналогичным образом толковал эти формы и А. Мейе. О суффиксе -tero- и близких образованиях он писал, что первично этот суффикс обозначал противопоставление двух понятий, ср. скр. ka-tara-h 'который <из двух>', греч. πό-τερο-ς, готск. *hva-þar*, др.-сл. *ко-терьи, ко-торьи*, лит. *ka-tr-as*, лат. u-ter. «Старое значение, — продолжает он, — сохранилось, например, в следующих словах элейской надписи: ματε ερσεναιτεραυ ματε θηλυτεραυ 'ни мужского, ни женского'; греч. ὀρέσ-τερο-ς значит не 'более гористый', но 'гористый, горный' по противопоставлению с 'равнинный', скр. *açva-tará-h* 'мул' означает некое животное, похожее на лошадь, но противопоставляемое лошади; лат. *māter-tera* 'сестра матери' — лицо, близкое к матери, но противопоставляемое ей»¹⁶⁷.

Таким образом, даже компаративистике, обычно слепо проходящей мимо смыслового содержания языковых форм, удалось обнаружить былое контрастное значение форм сравнения. Она не смогла не заметить этого, так как былое значение форм лежит здесь, можно сказать, на поверхности.

Существенной чертой контрастных форм является то, что противопоставление в них подчеркнуто различием корневых элементов. Это обстоятельство проливает свет на происхождение супплетивных степеней сравнения. Речь идет о таких случаях, как лат. bonus — melior — optimus; греч. ἀγαθος — ἄριστος — ἀμείνων; готск. *goþs* — *batiza, batists*; русск. *хороший* — *лучший* и т. д.

Супплетивные формы показывают, что сравнительная степень (как и превосходная) первоначально не была связана с положительной степенью. Контрастное значение сохранившихся супплетивных рядов позволяет предположить, что *melior* раньше соотносилось с *peior*, *plus* с *minor* так же, как *dexter* с *sinister* и *noster* с *vester*. Лишь позднее, когда возникли степени сравнения, появилась потребность в положительной степени, материалом для которой послужил лексически инородный элемент. Это значит, другими словами, что сравнение первоначально сводилось к противопоставлению, и элементы *melior* — *peior*, готск. *batiza* — *wairsiza*, русск. *лучший* — *худший* и т. д. входили раньше в единые контрастные

¹⁶⁶ Kurze vgl. Grm. С. 323.

¹⁶⁷ Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Русск. пер. 1938. С. 282.

ряды. Первоначально, следовательно, не было разницы между образованиями типа *dexter* — *sinister*, с одной стороны, и *melior* — *peior*, — с другой. Лишь позднейшее развитие вносит раскол в это некогда единое явление. Когда появилось сознание относительности сравнения, то древние контрастные обороты были переосмыслены, и единство рядов в определенных случаях было нарушено путем присоединения к древним формам положительной степени. Так, вместо контрастного ряда *melior* — *peior* появляются два сравнительных ряда: *bonus* — *melior* — *optimus* и *malus* — *peior* — *pessimus*. В других случаях контрастное значение древних прилагательных удерживается, и старый контрастный ряд (*dexter* — *sinister*, *vester* — *noster* и т. д.) с течением времени теряет связь с формами сравнения.

Древнее контрастное значение сохранилось пережиточно также в специфической конструкции классических языков: греч. ἦν παυοῦρότερος ἢ δακίότερος, лат. *fruit callidior quam iustior* 'был более хитер, чем честен' (слово в слово: 'был более хитер, чем более честен'). Это сочетание часто рассматривали как несуразное и алогичное, вместо того чтобы признать, что сравнительное значение суффикса не исконно.

Показатель превосходной степени скр.-*tamas*, греч.-*τατος* представляется морфологическим осложнением только что разобранным суффикса сравнительной степени. Этот же показатель мы находим в скр. *katamás* 'который из многих', лат. *quotumus* и в порядковых числительных: скр. *dasamas*, лат. *decimus*; скр. *saptamás*, греч. ἑβδομος, лат. *septimus*, др.-сл. *седмый*. Это позволяет предположить, что здесь первоначально играло роль противопоставление одного предмета многим.

В отличие от суффиксов с первоначально контрастным значением, суффиксы *-yes* и *-istho-*, служащие для образования сравнительной и превосходной степени, восходят к показателям эминентного значения. О формах на *-yes* Мейе писал: «Это не сравнительные степени, но своего рода усилительные формы: вед. *yáj-iyas* означает 'особенно хорошо приносящий жертву'. В ведийском мы находим и *varīyah* 'очень широкое' и *urór varīyah* 'шире широкого'. Эти усилительные формы, по-видимому, имели первоначально характер скорее существительных, нежели прилагательных»¹⁶⁸. Здесь мы снова сталкиваемся с той особенностью, с которой мы уже встретились выше при рассмотрении сравнительной формы чукотского языка. Эминентные, или, как их называет Мейе, усилительные формы стоят на грани прилагательных и существительных. На этом явлении мы специально остановимся в 7 разделе настоящей главы, посвященном вопросам субстантивации прилагательных в древнейшем языке. Пока же подчеркнем бесспорно эминентный характер формы на *-yes-*.

¹⁶⁸ Там же. С. 281.

Раскрытие эминентного значения формы на *-yes-*, как и других форм, осталось в рамках формалистической концепции индоевропеистики случайной догадкой, не получившей дальнейшего развития и историко-семантического обоснования. Закономерный характер эминентных значений в исторической подготовке позднейших форм сравнения и изначальная генетическая связь эминентных прилагательных с особыми разрядами имен существительных остались нераскрытыми и без надлежащего объяснения в формально-сравнительных схемах старой, идеалистической языковедной школы.

Сходную картину выявляет и суффикс превосходной степени *-istho-*. В сущности, этот суффикс представляет собой дальнейшее усложнение суффикса сравнительной степени *-yes-* при помощи форматива *-tho*, лежащего также в основе порядковых числительных. Уже давно установлено, что и этот суффикс выражал некогда качество выдающейся степени. Связь превосходной степени с порядковыми числительными не разъяснена должным образом в индоевропеистике. Простая ссыла на множественность сопоставляемых предметов недостаточна в этой связи. Важно отметить специфическую семантику порядковых числительных на древней ступени развития, во многом роднящую их с эминентными прилагательными (см. об этом ниже, с. 294 сл.).

Эминентное значение прощупывается и в ряде других формативов степеней сравнения, встречающихся в индоевропейских языках. Таковы, например, латышск. *-aks*, лит. *ókas*, сопоставляемые обычно с греческим уничижительным суффиксом *-ax-* (*-ηx-*) в таких словах, как *στομφαξ* 'хвастунишка', *πλούταξ* 'богатеи' и латинским интенсифицирующим *-ac-* в словах *fugax*, *loquax*. Связь с эминентным значением, с качеством исключительной силы очевидна.

В свете изложенного представляется возможным ответить на поставленный выше вопрос о связи между флексией прилагательных в германских языках и степенями сравнения. Изначальная связь сравнительной и превосходной степени со слабым склонением не может больше вызвать удивления, после того как было показано, что слабые формы прилагательных имели на определенной ступени развития эминентное значение и что степени сравнения в свою очередь восходят к такому значению. Мы, следовательно, должны возразить Мейе и ответить на его вопрос, приведенный в начале настоящего раздела, утвердительно: да, германские языки приобщили слабую флексию к сравнительной степени по семантическим, а не по формальным основаниям. Остается еще вторая половина вопроса: чем же тогда объяснить, что превосходная степень в германских языках могла иметь не только слабую, но и сильную флексию?

На основании всего того, что выяснено в предшествующем разделе об употреблении превосходной степени в германских языках, можно предположить, что первоначально не только сравнительная, но и превосходная степень была органически связана со слабой флексией. Если позднее в сферу превосходной степени проникли сильные формы, то это объясняется появившейся на определенной ступени потребностью отграничить элятив (т. е. абсолютно высокую степень качества) от относительного сравнения. С некоторых пор старая форма превосходной степени должна была ощущаться как слишком неопределенная и многозначная. Какое-нибудь 'сильнейший' могло быть понято и как 'очень сильный' и как 'самый сильный'. Пока не были выработаны однозначные средства для разграничения этих значений (в том числе и такие вспомогательные словечки, как 'очень', 'весьма', 'чрезвычайно', 'самый' и т. п.), до тех пор необходимость разграничения новых значений могла находить себе выход в разных направлениях. Одним из таких направлений в германских языках было использование слабой и сильной флексии для разграничения элятива и относительного сравнения. За элятивом с его абсолютным усилительным значением, в соответствии с нормами сложившегося употребления, закрепилась слабая форма, а новое значение относительного сравнения стало выражаться при помощи сильных форм. Это разграничение затронуло только превосходную, но не сравнительную степень, так как различие между элятивом и относительным сравнением в сравнительной степени отсутствует.

Позднее, с выработкой других, более точных средств разграничения элятива и относительного сравнения, старый способ разграничения мог исчезнуть. Стремление унифицировать употребление прилагательных в степенях сравнения с общими нормами употребления слабого и сильного склонения может затем проявиться в полной мере. Мы уже знаем, что употребление слабой и сильной флексии в позднейшее время лишается своего прежнего смыслового содержания и становится в значительной степени формальным. Под эти формальные правила подводится в конце концов и употребление слабой и сильной флексии в степенях сравнения.

Так, в немецком мы находим отдельные примеры сильного употребления сравнительной степени уже в древнейший период, например у Отфрида *zi bezziremo thinge*. В предикате со времени Ноткера все чаще появляется краткая форма (N. *pezzet ist*), которая затем в этой функции утверждается. Все это приводит к уравниванию сравнительной степени с другими прилагательными. Аналогично обстоит дело и с превосходной степенью, атрибутивное употребление которой уже в средневерхненемецком полностью соответствует положительной степени.

О проявлении этой тенденции в скандинавских языках было сказано выше.

6. Звательная форма. Порядковые числительные. Причастия наст. вр. *Fortia tantum*

Из числа других форм, более или менее прочно связанных с одним типом склонения (слабым или сильным), рассмотрим прежде всего звательную форму.

В Эдде употребление прилагательного в звательной форме представляется в следующем виде¹⁶⁹. Некоторые, правда, немногочисленные, случаи сохранили здесь бесчленную конструкцию слабого прилагательного: Alv. 8, 3 *vísi gestr!* ‘мудрый гость!'; Hdl. 16, 9–10; 17, 5–6; 20, 9–10 и еще несколько раз в этой песне *Óttar | heimski!* ‘глупый Отар!'. Чаше встречается членное слабое прилагательное: Hrbl. 49, 3 *halr inn hugblauði!* ‘муж малодушный!'; Hrbl. 27, 1; 51, 1 *Hárbarðr inn ragi!* ‘Харбард негодный!'; Skm.: 33, 4 *in fyrinilla mærl!* ‘коварная дева!'; 4, 2 *seggr inn ungi!* ‘юный витязь!'; Vm.: 20, 6; 30, 6 *inn fróði iqtunn!* ‘сведущий йотун!'; 42, 7 *inn alsvinni iqtunn!* ‘быстрый разумом йотун!'; ННv. 14, 1–2 *halr inn ámátki* ‘могучий Муж!'; Grp. 23, 3–4 *inn itri... | qðlungr!* ‘благородный князь!'; Fm.: 5, 4 *Inn fráneygi sveinn!* ‘юноша со сверкающими глазами!'; 19, 1 *Inn fráni ormr!* ‘сверкающий змей!'. Во многих случаях вместе с тем встречается сильное прилагательное: Ls. 57, 1 и еще несколько раз *rög vætr!* ‘женское создание!'; 7, 2 *þrungin goð!* ‘забытые боги!'; ННv.: 2, 3 *fugl fróðhugaðr!* ‘вещая птица!'; 7, 3 *brúðr biartlitöð!* ‘светлолицая невеста!'; 16, 2 *hála nágraðug!* ‘охочая до трупов ведьма!'. НН. 38, 7 *svévis kona!* ‘коварная <?> жена!'; НН. II: 11, 3 *snót svinnhugoð!* ‘жена быстродумная!'; 35, 7 *brúðr baugvarið!* ‘украшенная кольцами жена!'; 18, 5 *mærl ungi!* ‘юная дева!'; Grp.: 8, 1 *gegn konungr!* ‘справедливый конунг!'; 10, 1 *itr konungr!* ‘благородный конунг!'; 13, 8 *Gramr vígrisinn!* ‘отважный витязь!'; 14, 3 *framlyndr iqfurr!* ‘великодушный князь!'; 24, 7–8 *mærr... | móðurbróðir!* ‘славный брат моей матери!'; Hlr. 2, 3 *hvarfúst hqfuð!* ‘беспокойная голова!'; Sg. 31, 4 *heiptgiqrn kona!* ‘злокозненная жена!'; Rm. 11, 2 *dis úlfhugoð!* ‘женщина с волчьим сердцем!'; Gg. 1, 2 *góð kona!* ‘добрая женщина!'.

В некоторых случаях трудно отделить обращение от приложения к местоимению второго лица *þú* ‘ты’, ср. НН. II, 11, 1–4 *Hvat vissir þú | at þeir sie, | snót svinnhugoð! | er sefa hefndo*. Здесь возможен двоякий перевод: ‘мудрая женщина! Как ты разузнала, что это были те, кто отомстил за родичей’ и ‘как это ты, разумная женщина, узнала’ и т. д. Во втором случае аппозитивный характер выступает ярко, что могло бы служить оправданием для сильной формы. Лунд (§ 193, 5) считал, что определенный артикль и, соответственно, слабая форма прилагательного выступают в звательной форме после *þú* в прямом и косвенном падежах. На

¹⁶⁹ См.: *Nygaard. Eddasprogets Syntax*. I. 4. 1865. § 7, § 10.

несправедливость такого суждения уже было в свое время указано¹⁷⁰. Материал Эдды показывает, что слабая форма с артиклем стоит независимо от того, предшествует ли ей личное местоимение или нет, сильная же встречается исключительно после личного местоимения *þú*.

С другой стороны, вряд ли можно считать случайным фактом то, что сильные прилагательные встречаются в таких песнях, как НН., Grp., относительно которых и раньше отмечалось отклонение от норм употребления слабых прилагательных в Эдде. Приведенное соображение, равно как и то, что в звательной форме встречаются бесчленные сочетания слабого прилагательного, позволяют предположить, что первоначально в этой синтаксической позиции встречалась исключительно слабая форма. Если это верно, то проникновение сильной формы в обращение есть явление исторически более позднее. Характерно, что в прозе сильная форма в обращении весьма распространена, ср. Eg. 59, 22 *góðr drengr!* 'добрый молодец!'; Nj. 88, 19 *góðir drengir!* 'добрые молодцы!'. В отличие от Эдды, слабая форма возможна здесь после местоимения *þú* и в повелительном наклонении (например Eg. 64, 32 *Gakk þú hingat, enn mikli maðr!* 'иди-ка сюда, человечище!', букв. 'ты, высокий человек!'), т. е. в случаях, предполагающих «определенное» значение прилагательного. В целом древнеисландский материал не дает достаточных оснований для окончательных суждений по вопросу о том, какой тип флексии является в звательной форме первичным.

Тем ценнее становится свидетельство других древних германских языков, из которых готский знает почти исключительно слабое склонение в этой функции. Другие языки обнаруживают, наряду со слабой формой, и сильную. Бехагель не только считает доказанной первичность слабых сочетаний, но к тому же рассматривает звательную форму в качестве исходной для слабого склонения в целом. Звательную форму он при этом сближает с прозвищами или, как он почему-то выражается, «ласкательными именами» типа греч. *Ἀγάθων, Γλύκων, Δείνων*, лат. *Sato, Macro* и тому подобными образованиями с основой на *-n*, распространение которых выходит за рамки германских языков¹⁷¹. К этим формам нам еще придется вернуться в разделе о субстантивации прилагательного. Мы увидим, что суть дела здесь не в «ласкательном значении», а в том, что, как и в сочетаниях типа *Sigurðr ungi*, слабое прилагательное первоначально выражало здесь характерную и существенную черту предмета, — в данных примерах, лица. Именно эта особенность обусловила переживание прилагательного во многих случаях в функции, близкой к имени собственному. В обращении этот семанти-

¹⁷⁰ Dett., прим. к Skirm. 33. 4.

¹⁷¹ Dt. Synt. I. § 114, § 109.

ческий фактор полностью сохраняет свое значение. Атрибут, входящий в обращение, мыслится обычно как характерный для лица, к которому говорящий обращается, и, следовательно, на той фазе, когда различие флексий прилагательных соответствовало различию постоянных и временных атрибутов, слабая флексия была здесь естественной и единственно уместной.

Порядковые числительные склоняются в древних языках по слабому типу, за исключением готск. *anþar*, др.-исл. *annarr*, др.-немецк. *ander* 'другой', которое идет исключительно по сильному склонению (о чем позже) и исл. *fyrtsr*, немецк. *erist*, имеющих уже в древнейших текстах сильную форму наряду со слабой. Сравнительная грамматика видит в порядковых числительных прямое подтверждение традиционного понимания природы слабых прилагательных. «Они ведь постоянно выражают в древних языках определенные величины» — кратко замечает Бехгель¹⁷². С другой стороны, эта категория как бы оказывается роковой для нашей теории прилагательных. Можно ли настаивать на мысли, что слабая флексия выражала постоянные и типические признаки, если к ней изначально относились порядковые числительные, выражающие такой случайный для предмета признак, как его место в ряду других предметов? Ведь то, что предмет оказался пятым по счету или десятым, ни в какой степени не вытекает из его внутренних свойств и зависит исключительно от внешних обстоятельств. Разве не может один и тот же предмет последовательно оказаться и пятым, и седьмым, и десятым, и т. д.? Не ясно ли с самого начала, что порядковые числительные относятся к числу логически-уточняющих определений, по своей природе далеко отстоящих от постоянных эпитетов древнего эпоса, о которых говорилось выше? Но рассуждать так — значит допускать анахронизм и переносить свойственные нам нормы мышления в эпоху, когда они еще не существовали. Другими словами, это значит — отказаться от исторического подхода к явлениям языка.

Выше (с. 290) уже отмечалось, что на древней ступени порядковое числительное не просто выражает место точки в бесконечном ряду чисел, а завершает некое конкретно-мыслимое множество. 'Пятый', согласно древним представлениям, это — не предмет, занимающий промежуточное место между 'четвертым' и 'шестым', а последний предмет из пятерки, завершающий элемент пятерки. Типичным примером древнего употребления форм. этого разряда может служить Nj. 91, 19 *Bjogguz þeir þá fjórir Njálssynir ok Kari enn fimti* 'снарядились тогда в путь четверо сыновей Ньяля и Кари пятый', т. е. 'они снарядились в путь впятером'. Порядковое числительное здесь предполагает не ряд порядковых же

¹⁷² Dt. Synt. I. § 321.

числительных, а некоторое количественное числительное (в данном случае 'четыре'), которое оно дополняет до определенного конкретного множества. Недаром древнеиндийские грамматики называли порядковое числительное «наполняющим» (*pūraṇa*). В египетском языке причастие от глагола *mḥ* 'наполнять превратилось в суффикс порядковых числительных. Таким образом, выражение '13-й поход' в египетском означало буквально 'поход, дополняющий прежнее количество походов до тринадцати, завершающий число тринадцать'.

Своеобразное значение этих образований ярко выступает в греческих числительных. В свете исследований по истории древнего счисления следует понимать *τρίτος*, вместо которого Гомер, как известно, употреблял *τρίτατος*, как нечто ближе всего стоящее к числу три, в первую очередь к нему относящееся, как нечто в наибольшей степени к трем приближающееся, *δεύτερος* — как нечто ближе всего стоящее к числу 'два', как число, завершающее пару. Из всех чисел, входящих в состав определенного множества, лишь одно — именно последнее — ближе всего стоит, согласно древним представлениям, к этому множеству и способно «произвести» это множество. В этом смысле оно противостоит в древнем сознании всем остальным числам, как особое число. Говоря о суффиксах степеней сравнения, мы отмечали выше их связь с порядковыми числительными. Теперь эта связь получает семантическое обоснование.

Порядковое числительное 'первый' лишено «дополняющего» значения, в силу чего оно этимологически, как правило, не связано с единицей. В разных языках оно образовано по-разному, означая то 'передовой', то 'головной', то 'начальный' и т. д.¹⁷³ Исл. *fyrstr*, немецк. *erist* этимологически являются формами превосходной степени и как таковые могли с некоторых пор иметь и сильное склонение. Аналогично готск. *frumists* 'primus', в отличие от *fruma* 'prior', имеющего в качестве формы сравнительной степени только слабую флексию. О другом исключении, готск. *anþar*, немецк. *ander* и др., — см. далее.

Причастия настоящего времени в готском и древнеисландском языке имеют слабую флексию. Лишь в именительном падеже ед. ч. готский язык допускает параллелизм слабой и сильной формы (типы *sa qimanda* и *sa qimands*). Слабое склонение этих причастий роднит их с существительными на *-n-*, имеющими значение *nomina agentis* (готск. *staua* 'судья', лат. *bibo* 'пьяница'), о которых речь пойдет ниже. Как те, так и другие выражают активное действие в связи с субъектом действия. Позднее мы попытаемся выяснить связь этих значений с другими значениями слабой флексии. Другая сторона вопроса заключается в том, что

¹⁷³ Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. 1949. С. 590.

слабая форма в готском в отличие от сильной выражает в именительном падеже будущее время. Это положение не может считаться окончательно установленным, но оно показывает, что решение вопроса отчасти лежит в плане видовых, временных и модальных отношений, освещение которых не входит в задачи настоящего тома.

Остается рассмотреть прилагательные, которые имеют только сильную флексию (*fortia tantum*). В готском это: *ains* 'один', *sumr* 'некоторый', *anþar* 'один из двух — другой', *alls* 'весь', *fulls* 'полный', *halbs* 'половинный', *midjis* 'средний', *ganohs* 'достаточный'; в древнеисландском: количественные числительные 'два — четыре', *sialfr* 'сам' (но готск. *silba* 'сам' имеет только слабые формы), *sumr* 'некоторый', *annar* 'один из двух — другой', *allr* 'весь', *halfr* 'половинный', *fullr* 'полный', *miðr* 'средний', *gnógr* 'достаточный'. В немецком первоначально встречаются только как сильные *ander*, *voll*, *mitti*, *halb* и др. Мы видим, что круг значений повторяется в основном в разных языках. С одной стороны, речь идет о понятиях, встречавшихся нам раньше в главе о партитивном определении. Это помогает нам понять смысл употребления сильной флексии. Партитивные прилагательные, как мы видели, выражают отношения части к другим частям, которые в древнем языке непосредственно приписывались целому. Не означает ли сильная флексия этих прилагательных, что определения целого по части рассматривались на определенной ступени развития как временные и случайные признаки этого целого¹⁷⁴? С другой стороны, среди перечисленных прилагательных, имеющих только сильную флексию, встречаются количественные числительные. Порядковые и количественные числительные являются на древней ступени, как было показано, соотносительными категориями. Как одни, так и другие предполагают представление о конкретном множестве, но при этом их роль в древних представлениях является различной. Количественные числительные представлялись изменчивым и случайным началом, которое объединяется в конкретное множество порядковым числительным. Поэтому в отличие от порядковых числительных они склоняются первоначально по сильному типу или, как в древнеисландском, по близкому к нему склонению местоимений.

¹⁷⁴ Впрочем, быть может, причину формальной изоляции этих прилагательных следует искать в их исключительной предикативности. А. М. Пешковский (Русский синтаксис в научном освещении. С. 242) именно под этим углом зрения выделяет в современном русском языке прилагательные *сам*, *весь*, *один*, *первый*, *последний*. Семантико-синтаксическое единство этой группы не подлежит сомнению (ср. еще лат. *unus*, *ullus*, *nullus*, *solus*, *totus*, *alter*, *uter*, формально обособившиеся от других прилагательных прономинальной флексией в ряде падежей; Schmalz-Stolz. С. 287). Семантическая основа этой предикативности подлежит еще во многом раскрытию.

7. Основные этапы развития субстантивации прилагательных

Начнем с анализа субстантивированных прилагательных в Эдде. Вот примеры субстантивации слабых прилагательных с артиклем: Vsp.: 40, 1 *in aldna* ‘старуха’ (об исполинше); 65, 1 *inn riki* ‘могучий’ (христианский бог?); HrbI. 30 *Ek var austr | ok við einhveria dæmðak | lék ek við ina línhvito | ...gladdak ina gullbiorto* ‘я был на востоке и беседовал с жительницей Вальгалы, играл я с белой как лен <красавицей>, радовал сверкающую как золото’ (или: золотом); Sg.: 66, 5–6 *brenni mér inn húnska | á hlið aðra* ‘сожгите Гунского <т. е. Сигурда> рядом со мной’; 67, 1–2 *Brenni inom húnska | á hlið aðra | mína þjóna* ‘рядом с Гунским <т. е. Сигурдом> с другой стороны сожгите моих слуг’; Am. 100, 1 *Dauðr var inn húnski* ‘умер Гунский’ (Сигурд; даже в песне о короле гунов Атли просто Гунский — это Сигурд); Akv.: 35, 1 *Skævaði þá in skirleita* ‘подошла тогда светлица’ (о Гудрун); 39, 1–2 *Gulli søri | in gaglbiarta* ‘разбрасывала золото лебедино-белая’ (т. е. Гудрун); Am. 79, 1–2 *Brá þá barnæsko | bræðra in kappsvinna* ‘лишила братьев молодости воинственная, пылкая в битве’ (о Гудрун); Nm.: 13, 1 *Svaraði inn sundrmæðri* ‘ответ держал другою матерью рожденный’ (Эрп); 5, 5–8 *vaðin at vilia | sem viðr at laufi, | þá er in kvistskæða | kœmr um dag varman* ‘лишена я утехи, как дерево листвы, когда ломающая ветки <буря?> приходит в теплый день’; один раз с соотносительным указательным местоимением помимо артикля; Ls. 44, 1–2 *Hvat er þat it litla, | er ek þat löggra sék?* ‘что это за мелочь, что здесь виляет хвостом?’. Все примеры здесь, как и в соответствующих сочетаниях атрибутивного прилагательного, имеют ярко выраженный индивидуальный характер. Не совсем ясно только значение *in kvistskæða* в примере из Nm. 5, 5–8, где женский род не получил объяснения, но и здесь не исключено индивидуальное значение (ср. *Аквилон*, *Борей* и т. п.). В примере Ls. 44 *þat it litla* ‘мелочь’ перед нами презрительное прозвище, которое отличается от постоянного эпитета лишь эмоциональной окраской, но по своему основному значению целиком с ним совпадает.

И здесь, как прежде, проявляется «антагонизм» слабых прилагательных и множественного числа. В примерах с множественным числом встречается исключительно сильная форма прилагательных: Háv.: 64, 2 *ráðsnotra hvern* ‘каждый умный’ (человек, букв. ‘каждый из умных’); 134, 7 *opt er gott, þat er gamlir kveða* ‘часто бывает хорошо то, что говорят старики <старые>’; Vkv. 20, 5–7 *Drífo ungir tveir | á dýr sea, | synir Níðaðar* ‘прибежали два мальчика <в оригинале прилагательное ‘молодые’>, сыновья Нидуда, к двери поглядеть’; NH. 44, 8 *gröm* ‘злые’ (подразумеваются боги, духи), аналогично HrbI. 60, 2; Br. 11, 5 *gramir*; Sg. 56, 2 *góðra nøkkorom* ‘какому-нибудь доброму’ (молодцу, букв. ‘кому-

либо из добрых'); Hrbf. 8, 7 *góða eina* 'лишь добрых <людей>'; Sg. 61, 6 *góðra ráð* 'советы добрых <людей>'; Am.: 4, 8 *þar er frækniр bioggo* 'где жили отважные' (сыновья Гьюки); '31, 1 *faгрbúnar*, 31, 3 *lióсар* 'блестящие, светлые' <жены>; 77, 1 *Lokkaði hon litla* 'поманила она малышей' (букв. маленьких'); 77, 3 *grimmir* 'перепуганные' (дети); Hm. 11, 3; *ungir* 'молодые' (т. е. 'юноши, добрые молодцы'); Grt. 23, 3 *ungar* 'молодые' (девы-великанши); Fi. 15, 6 *sóknдиarfir* 'неустрашимые' (о сторожевых псах); Нум. 38, 2–3 *hverr... | goðmálugra* 'кто из мифологов' (букв. 'из сведущих в мифологии, из знающих все о богах').

Сильные прилагательные встречаются, как и следует ожидать, во всех примерах, относящихся к предметам неличным. Сочетания с обезличенными предметами: Od.: 2, 5–8 *brá hon af stalli | stiornbitloðom* 'вывела она из конюшни занузанных <коней>'; 28, 1–4 *Hlymr var at heyra | hófgullinna, | þa er i garð riðo | Giúka arfar* 'слышен был топот золотокопытных, когда в замок въезжали наследники Гьюки'; Alv.: 32, 6 *hnipinn* 'склонившийся' (синоним посева, поля с зреющим ячменем); 26, 4 *frekan* 'жадный' (так называют огонь йотуны). Обозначения абстрактного порядка: Háv.: 128, 5–7 *illo feginn | verðu aldregi | en lát þer at góðu getit* 'никогда не радуйся злу <букв. злomu> и не отказывай себе в радостях', букв. 'в добром'; 130, 8 *fogro skaltu heita* 'пообещай приятное'; 123, 1–3 *af illom manni | mundo aldregi | góðs laun um geta* 'от злого человека никогда не получишь награды за добро', букв. 'доброе'. В примерах типа Am.: 90, 5 *segið it sannasta* 'скажите сушную правду', букв. 'истиннейшее'; 63, 7 *it vergasta* 'худшее' — артикль и слабая форма обусловлены элятивным значением превосходной степени.

В ряде случаев субстантивированное сильное прилагательное в единственном числе имеет обобщенное значение. Почти все примеры этого рода носят характер пословиц и поговорок, свойственных эпохе разложения родового строя. Ср. Háv.: 159, 6 *fár kann ósnotr svá* 'немногие из неразумных так смогут'; 107, 3 *fás er fróðom van* 'разумный удовлетворяется немногим' (букв. 'лишен немногoго'); 135, 7 *get þú váloðum vel* 'прими хорошо несчастного <человека>'; 93, 4–5 *opt fá á horskan, | ert á heimskan ne fá* 'часто умного привлекает то, что глупого не влечет'; 77, 4–6 *ek veit einn, | at aldri deyr. | dómr um dauðan hvern* 'я знаю одно, что никогда не умирает: слава об умершем'; 71, 1–6 *Haltr riðr hrossi, | hiqrð rekr handarvanr, | daufr vegr ok dugir, | blindr er betri, | en brendr séi: | nýtr manngi nás* 'хромой едет на коне, безрукий пасет, глухой сражается и одолевает, — лучше быть слепым, чем сожженным: никому не нужен мертвец'; 70, 1–3 *Betra er lifðom | en sé ólifðom: | ey getr kvikr kú* 'лучше быть живым, чем мертвым: живой еще может добыть корову'; 70, 6 *úti var dauðr fyr durom* 'снаружи был мертвый перед дверьми', (или 'он уже был мертв'? — неясно!); 66, 6 *sialdan hittir leiðr i lið* 'ненавистный <че-

ловек> редко попадает в цель'; 35, 4–6 *liúfr verðr leiðr, | ef lengi sitr | annars fletiom á* 'дорогой <гость> становится ненавистным, если слишком долго засиживается на чужой скамье'; 10, 6 *slikt er válaðs vera* 'такова нужда нищего'; Ls. 15, 6 *hyggz vætr hvatr fyrir* 'смелый так долго не решается, не раздумывает <перед сражением>'. В этих примерах прилагательное имеет ту же функцию, что и частые в Нáv. сочетания с *maðr* 'человек', ср. Нáv.: 48, *mildir, fræknir menn* 'добрые, смелые люди'; 24, *ósnotr maðr* 'неразумный человек' и т. д. Сюда же и Vm. 10, 1–6, где *kaldrifiaðr* 'холодный как иней' эпитет великана, употреблено в общем значении 'великан'.

Перехожу к случаям субстантивации сильного прилагательного как обозначения индивидуальных представлений. Особо следует выделить случаи, когда прилагательное выступает в роли предикативного атрибута: Od. 7, 3–4 *gekk mild fyr kné | meyio at sitia* 'милостливая (т. е. Одрун) пошла, чтобы сесть у колен девы'; но вполне возможен перевод 'милостливо пошла она' и т. д. Am. 5, 6 *er þeim friðr sendi*, 'которые им послал дружественно настроенный' т. е. Атли, но одинаково возможно: 'послал дружественно, в знак дружбы'; Am. 54, 1; 90, 1 *Röskr tók at ræða* 'стремительный <стремительно> стал говорить'; ср. Am.: 60, 2–3 *gláðr munk þess biða | röskr munk þér reynaz* 'радостный <т. е. с радостью> буду ждать я этого, стремительным я откроюсь тебе'; 10, 5 *sagði horsk hilmí* 'сказала разумная <умно> князю'. Оспаривая перевод Дельбрюка и давая рядом другой перевод при помощи наречия, мы не собираемся отрицать факт субстантивации. Последняя имеет место, но она выражает здесь не постоянный признак субъекта, имя которого замещает прилагательное, а признак временный, преходящий, явно тяготеющий к глаголу.

В ряде случаев субстантивированное прилагательное имеет значение предикативного приложения: Ghv. 1, 5–8 *er harðhugóð | hvatti at vígi | grímmot orðom, | Guðrún, sono* 'когда жестокосердая <жестокосердно> подстрекала злыми словами к убийству, Гудрун, своих сыновей'; Akv. 19, 1–6 *Siau hió Hogni | sverði hvosso, | en inom átta | hratt hann í eld heitan, | svá skal frækn | fiandom veriaz* 'пронзил тут Хогни семерых острым мечом, а восьмого бросил в горячий огонь, так храбрый <храбро> от врагов отбивался'; Br. 18, 1–4 *þá reyndi þat, | er riðit hafði, | móðigr, á vit | mín at biðia* 'Тогда он это доказал, когда отважный <отважно> поехал ко мне'; Þrk. 31, 1–4 *Hló Hlórriða | hugr í briósti, er harðhugaðr | hamar um þekfi* 'засмеялось сердце Громовника в груди, когда <он —> суровый заметил молот'; Br. 1 (*hvat hefir Sigurðr | til saka unnit, | er þú fræknan vill | fiqrvi nema* 'что преступного совершил Сигурд, что ты хочешь <его> храброго лишить жизни'; NHv. 37, 5–8 *þik kvaz hilmir | hitta vilia, | áðr úrborinn | qndo týndi* 'князь сказал, что хочет повидать тебя, прежде чем <он —> благороднорожденный испустит дух'. Зависимость субстанти-

вированного прилагательного от контекста может в этих примерах колебаться в широких пределах. Она ощущается тем больше, чем дальше прилагательное отстоит от постоянного эпитета, ср.: Sg. 48, 1–4 *Hné við bólstri | hón á annan veg, | ok hiqrundod | hugði at ráðom* ‘она, склонившись, упала на подушку и, пронзенная мечом, размышляла в поисках совета’; Am. 100, 3–4 *strangt var angr ungri | ekkio nafn hlióta* ‘тяжкое горе было ей, молодой, слышать имя вдовы’.

Значение предикативного приложения довольно ясно выступает и в следующих примерах: Bdr. 4, 5 *nam hann vitugri | valgaldr kveða* ‘стал он <ей,> сведущей <т. е. чародейке> петь заклинания’; Am. 95, 1–2 *Mund galt ek mærrí, | meidma fiðd þiggja* ‘дал я <тебе,> славной, несметные сокровища’; Am. 65, 1 *þrifo þeir þjóðgóðan* ‘схватили они <его,> доброго’ (молодца, т. е. Хогни); Hm. 14, 7–8 *Kódo harðan miqk | hornung vera* ‘его, смелого <т. е. витязя, князя> они прозвали незаконнорожденным’; Sg. 21, 1–2 *Dælt var at eggia | óbilgiarnan* ‘легко было натравить дерзкого’. Такие примеры практически трудно отделить от случаев, когда субстантивированное сильное прилагательное имеет самостоятельное значение и, следовательно, будучи по функции аналогичным субстантивированным слабым прилагательным с артиклем, может считаться исключением, ср. Hym. 39, 1–2 *þróttqflugr kom | á þing goða* ‘могучий <т. е. Тор> явился на вече богов’. Подавляющее большинство таких случаев относится к *Atlamál*: 11, 7–8 *biqrt hefir þér eigi | boðit í sinn þetta* ‘светлая <т. е. Гудрун> не звала тебя в этот путь’; 49, 1 *Sá þá sælborin, | at...* ‘увидела тогда счастливо рожденная, что...’; 68, 3 *horskri harm sagði* ‘поведал печаль мудрой’ (Гудрун); 76, 5 *stórhugod* ‘гордая’ (Гудрун); 12, 3 *vitri* ‘сведущей’ (Гудрун); 104, 3–4 *Efndi itrborinn | allt, þats réð heita* ‘выполнила благородная <Гудрун>, все что обещала’. Ср. еще Hm. 12, 1–2 *Fundo á stræti | stórbrogðóttan* ‘встретили по пути неустрашимого’ (т. е. Эрпа).

Употребление субстантивированного прилагательного, таким образом, мало чем отличается от прилагательного в атрибутивной функции. Как здесь, так и там членное слабое прилагательное сочетается только с индивидуальными представлениями и имеет значение постоянного эпитета. В других случаях — в применении к общим и неопределенным обозначениям лиц и предметов и к абстрактным понятиям, а также в случае предикативного прилагательного — употребляется сильное прилагательное. Исключения из этого правила, как мы видели, весьма незначительны. Соответствующие материалы англосаксонского эпического языка, как показал Лихтенхельд, целиком поддерживают эти выводы¹⁷⁵.

Язык древнеисландской прозы и в этой области обнаруживает черты более позднего строя. Употребление слабой и сильной формы становит-

¹⁷⁵ Zs. f. d. Alt. XVI. С. 352 слл.

ся здесь в значительной мере механическим и попадает в зависимость от артикля. Теперь слабая форма наряду с сильной употребляется применительно к множеству предметов и в абстрактном значении и т. д., т. е. в областях, где ее еще не знал язык эпоса. Примеры с множественным числом: Nj. 64, 9 *þú skalt fara þangat sem þér bǫrðuz ok grafa upp ena dauðu ok nefna vatta at benjum ok óhelga þá alla ena dauðu fyrir þat* 'ты должен поехать туда, где вы сражались и выкопать мертвецов <букв. 'мертвых', о них уже шла речь раньше>, назвать свидетелей относительно ран и показать, что убил мертвых по праву'; Eg. 52, 34 *Nú mun þat framm komit, konungr! sem ek sagða, at yðr mundu þeir reynaz brögðóttir, enir ensku* 'вот случилось, конунг, как я говорил, что окажутся они хитрыми лисами, эти англичане', букв. 'английские'; Eg. 75, 20 *lágu þar eptir þrir enir vermsku* 'полегли там трое вермских <людей>'. Примеры из Norr. Synt. § 56: *hinir snaudū... hinir auðgu* 'нищие... богатые'... и т. д.

В абстрактном значении, наряду с сильным прилагательным, встречаем теперь и субстантивированные формы слабого. Сильное прилагательное употребляется теперь в случаях с неопределенным значением, см. Gg.: 54 *ok kendu, at kykt var fyrir* 'и заметили, что нечто живое было перед ними'; 54 *ok kasta út netinu, ok binda við sva þungt, at eigi skyli undir mega fara* 'и вытянули они сеть и привязали к ней нечто настолько тяжелое, что ничего не могло теперь выскользнуть из нее'. Слабое прилагательное — в определенных случаях: Nj. 33, 22 *Af henni mun standa allt et illa* 'от нее проистекает все это зло'; Eg. 27, 9 *en er þeir váru vísir alls en sanna* 'и когда он узнал всю истину', букв. 'истинное'.

В случаях обобщенного употребления единственного числа в Эдде, как мы видели, применяется сильная форма прилагательного. Такое же употребление, поскольку обобщенное значение совпадает с неопределенным, сохраняется в прозе: ср. Vǫls. 18 *ok fār er gamal harðr, ef hann er í bernsku blautr* 'редко в старости <букв. старый> смел, кто в детстве труслив'; Eg. 3, 13 *á gamals aldri* 'в возрасте старика', букв. 'старого'. Но как только такое прилагательное приобретает определенное значение, ставится слабая форма с артиклем; например *inn sári* 'раненый', *inn andaði* 'умерший' (в юридических книгах).

В немецком, если отвлечься от застывших бесчленных слабых форм, субстантивированные прилагательные употребляются так же, как атрибутивные. Впрочем, и в готском выбор флексии прилагательных в этой функции целиком зависит от артикля: субстантивированное прилагательное имеет обычно сильную форму, если она не исключается артиклем.

Таким образом, о субстантивации прилагательных в целом можно сказать, что она соответствует нормам употребления атрибутивного прилагательного. В языке эпоса употребление слабой формы с артиклем еще имеет индивидуализирующее значение, а в более позднем слое древнего

языка оно связано с определенным значением артикля. До сих пор, однако, говоря о субстантивированных прилагательных, мы еще не видели слоя, который соответствовал бы древнейшему типу атрибутивного употребления слабых прилагательных — бесчленному. В поисках такой аналогии мы наталкиваемся на своеобразный разряд слов, занимающих промежуточное положение между существительными и прилагательными.

В древнеисландском сюда относятся: *geri* 'волк', букв. 'хищный'; *freki*, букв. 'жадный' в значении 'волк' или 'огонь'; *hávi* 'верховное божество скандинавского пантеона, Один', букв. 'высокий'; *vísi* 'предводитель, князь', букв. 'мудрый'; *vitki* 'пророк', букв. 'знающий, сведущий' (*vitugr*); *ungi* 'птенец', букв. 'молодой'; *kaldi* 'родник или ручей', букв. 'холодный'; *kári* 'ветер', букв. 'сильный' и многие другие.

Соответственные примеры из готского: *blinda* 'слепец, нищий' (ср. *blinds* 'слепой'); *weiha* 'жрец' (*weihs* 'святой'); *unhulþa* или *unhulþo* 'дьявол', букв. 'ненавистный'; *þarba* 'нищий' и др. В древневерхненемецком: *jungo* 'юноша' (букв. 'молодой', ср. совр. нем. *Junge*); *sculdigo* 'должник' и др.

Семантическая особенность этих образований состоит в их подчас значительном отклонении от значения соответствующего прилагательного (ср. 'слепец', 'нищий' и 'слепой'; 'волк' и 'жадный'). Морфологически же эти слова отличаются тем, что субстантивация в них застыла: слабая форма не зависит здесь от артикля, и там, где существует различие между слабой флексией прилагательных и существительных (как в древнеисландском во мн. ч.), они склоняются как существительные.

Как пережитки бесчленного сочетания атрибутивных прилагательных, вроде исл. *Sigurðr ungi*, *hvíti aurr*, так и субстантивированные образования типа исл. *freki*, готск. *blinda* чрезвычайно важны для генетического освещения слабой флексии. Это значение субстантивированных форм отметил Г. Остгоф¹⁷⁶, который показал, что слабые образования типа *blinda* и т. д. не составляют исключительной принадлежности германских языков. Остгоф нашел к ним известные аналогии в других индоевропейских языках, в первую очередь классических. В греческом с ними сближаются имена собственные: Στράβων (прил. στραβός 'косой'), Ἀγάθων (прил. ἀγαθός 'добрый'), Γλύκων (прил. γλυκός 'сладкий') и др. и имена нарицательные: δρόμων 'краб, корабль' (δρομος 'бегущий'), οὐρανίωνες 'небожители, боги' (прил. οὐράνιος 'небесный'), τρήρων 'голубь' (едва ли не один раз засвидетельствованное прил. τρήρός 'трепетный, пугливый') и др. В латинском этот ряд продолжают андронимические имена:

¹⁷⁶ Osthoff H. Zur Geschichte des schwachen deutschen Adjectivums. Forschungen im Gebiete der indogermanischen nominalen Stammbildung. 11. Jena, 1876.

Cato (прил. *catus* 'умный, остроумный'), *Rufo* (прил. *rufus* 'красный'), *Macro* (прил. *macer* 'худой') и др. и имена нарицательные *scelero* 'безбожник' (прил. *scelerus* 'святотатственный, безбожный'), *commisero* 'товарищ в беде' (прил. *miser* 'несчастный'), *aquilo* 'северный ветер' (прил. *aquilus* 'темный') и др.

Обособление носовой основы в этой функции не является изолированным явлением строя языка. В различных индоевропейских языках встречаются другие морфологические элементы в первоначально той же функции. Таковы, например, русск. *-ец*, ср. *старец*, *юнец*, *слепец* и т. д.; др.-немецк. *-inc* ср. *arminc* 'нищий' (прил. *arm*), *liubing* 'друг' (прил. *liub*, совр. немецк. *lieb* 'милый, любимый') и др.; лат. *-arius*, ср. *adversarius* 'противник' (прил. *adversus* 'противоположный') и т. д. В этой функции могут выступать и гласные основы. Отсюда вытекает, что состояние, характерное для германских языков, где носовое основы противостоят гласным, есть результат систематизации и обобщения одной из возможных форм.

В семантической характеристике таких форм можно выпятить еще один дополнительный штрих: их способность служить названиями действующих лиц. Ср. для суффикса *-n-*: лат. *bibo* 'пьяница' к глаголу *bibere* 'пить' и др.; для суффикса *-ец*: русск. *старец*, *швец* и др.; для суффикса *-арь*: *пекарь* и др.; для суффикса *-а*: лат. *agricola* 'земледелец', русск. *воевода* и т. д. Это значение Остгоф считает древнейшим; из него будто бы вырастает затем то значение персонификации и индивидуализации, которое, по мнению Остгофа, является специфическим для всех образований этого типа. Отметив формальную связь явлений, Остгоф, как и все формалисты, не сумел раскрыть их историко-смысловую основу. Общее определение древних форм как персонифицирующих и индивидуализирующих никак не может считаться удовлетворительным. Во всяком случае примеры типа греч. *τῆρων* 'голубь' или *δρόμων* 'корабль', архаичность которых не оспаривается Остгофом, не могут быть подведены под это понятие.

Другую точку зрения на этот вопрос высказал М. Г. Йеллинек в двух небольших заметках¹⁷⁷. Йеллинек, как и некоторые другие компаративисты, различает две разновидности субстантивации, «семантическую» и «синтаксическую». Под субстантивацией первого рода он понимает субстантивацию, связанную с изменением в значении предмета, и относит ее к учению о словообразовании, в отличие от второго типа, где субстантивированное прилагательное выступает как временная замена существительного в предложении. Примеры вроде готск. *blinda* 'слепец' принадлежат с этой точки зрения к разряду семантической субстантива-

¹⁷⁷ Anz. XXXII. С. 6 слл. — PBB. XXXIV. С. 581 слл.

ции, а разобранные в первой части настоящего раздела примеры представляют второй, синтаксический тип.

Йеллинек настаивал на применении этого принципа классификации к фактам, собранным в работе Остгофа. «Остгоф, — утверждал он, — не осознал этого различия. Правда, наряду с «субстантивацией» он часто употребляет выражение «индивидуализация» и этим приближается к пониманию дела, но не постигает его. Всякая индивидуализирующая субстантивация является, естественно, семантической: если кто-нибудь именуется ὁ στράβων ‘косой’, то одно из свойств служит здесь для того именно, чтобы обозначить весь комплекс свойств, принадлежащих индивиду Στράβων. Однако не всякая семантическая субстантивация индивидуализирует, τρήρων ‘голубь’ имеет нарицательное значение. Но семантическими являются все приводимые Остгофом примеры субстантивации при помощи суффикса -n-: τρήρων значит не просто ‘трепетный’, а ‘голубь’, обладающий, помимо данного свойства, еще массой других»¹⁷⁸.

Образование и развитие слабого склонения Йеллинек изображает схематически так. В согласии с Остгофом он считает, что прилагательное зародилось в аппозитивном сочетании типа τρήρων πέλεια, θεοὶ οὐρανίωνες. «В таких сочетаниях оба рядом поставленных слова обозначают одно и то же, τρήρων то же, что πέλεια и οὐρανίωνες, то же, что θεοί». Вначале это, будто бы, такие же сочетания, как и древнейшие сочетания слабого прилагательного типа *Sigurðr ungi* ‘Сигурд молодец’ и *hvíti aurr* ‘блестящая роса’. Опираясь, вслед за Лихтенхельдом, примерами из англосаксонского эпоса, Йеллинек говорит относительно сочетаний *wonna hrefn, gomela Scylding*: «Первоначальный смысл (если и не для творца Беовульфа) здесь тот: ‘черный, ворон’, ‘старец, Скильдинг’ и *wonna* само по себе означало ‘ворон’, *gomela* (естественно в определенном контексте) то же, что Скильдинг».

Этот анализ не выдерживает никакой критики. Йеллинек утверждает, что слабые прилагательные первоначально означали то же самое, что и стоявшие рядом с ними имена существительные. Но если бы значения этих форм полностью совпадали, то появление одной формы рядом с другой в предложении было бы бессмысленным. Уже ближайшее знакомство с фактами показывает, что слабые прилагательные были первоначально близки по своей семантике к именам существительным. Но одно дело — близость форм, другое дело — полное совпадение их функций. Вся трудность исследования заключается в том, чтобы проследить сложные, исторически изменчивые взаимоотношения этих форм. Близость слабых прилагательных к именам существительным в древнейшую эпоху не дает нам права отвлекаться от разделяющих их различий. Эти

¹⁷⁸ РВВ. XXXIV. С. 582.

различия, сколь бы незначительными они ни казались, были весьма существенными, что видно хотя бы из того факта, что слабые образования обособились в особый разряд прилагательных в германских языках. Йеллинек полностью отвлекается от конкретного смыслового содержания рассматриваемых форм. Он произвольно исходит из предположения о первоначальной равнозначности слабого прилагательного и имени существительного в сочетаниях типа *wonna hrefn* 'черный ворон' с тем, чтобы на этой шаткой основе построить формальную и опустошенную схему «развития».

В дальнейшем развитие ведет, согласно Йеллинеку, к застыванию таких сочетаний. Связь между частями сочетания становится менее подвижной, и в результате оба значения срastaются. «Отныне это уже не двойное обозначение одного понятия, а двухчленное выражение одного общего представления»¹⁷⁹. Дальнейший шаг заключается в том, что слабое прилагательное употребляется в таких сочетаниях, где оба члена не выражают одно и то же, где, другими словами, прилагательное приобретает смысл «необходимого», «уточняющего» эпитета (*epitheton necessarium* или *distinguens* в отличие от *epitheta ornantia*). Примером такого комплекса может служить готск. *libains aiweino* 'вечная жизнь'.

Критический момент в развитии слабого прилагательного наступает, по Йеллинеку, когда оно переходит из комплексов застывших, постоянных, узуальных в комплексы текучего, моментального свойства. В готском, согласно этому, было время, когда говорили: *gasah suns mannan leitilana, leitila manna qaþ*. 'увидел он вдруг маленького <сильн. прил.> человека, маленький <слаб. прил.> человек сказал'. Здесь и могло произойти соединение с артиклем, столь характерное для слабой формы. Артикль присоединялся к слабому прилагательному, как он и сейчас еще присоединяется к существительным. Он несет здесь анафорическую функцию, указывая на упомянутый ранее предмет.

Взгляды Йеллинека в целом столь же неудовлетворительны, как и взгляды Остгофа. Схема развития флексии прилагательных, как ее излагает Йеллинек, ставит лишь формальные вехи и лишена внутренней убедительности. Его изложение одинаково бездоказательно и в том пункте, где он изображает переход от застывших сочетаний типа *libains aiweino* к моментальным или окказиональным сочетаниям. Непонятно, как окаменевшая в древнейших сочетаниях форма прилагательного внезапно воскресает к новой жизни и приобретает способность вступать в любое сочетание в случаях повторного упоминания. Если такое прилагательное перестало быть прилагательным, окончательно растворилось в массе других существительных и, скажем, потеряло свойство согласования в

¹⁷⁹ Там же. С. 583.

роде с определяемым, как это действительно имеет место в примерах типа готск. *weiha* 'жрец', исл. *freki* 'волк' и т. п., то непонятно, почему оно одно лишь — среди других существительных — вернуло себе в роли приложения все утраченные возможности. Почему, далее, то же самое не произошло в греческом, где наличествовали такие же субстантивированные образования и артикль?

Проведенный здесь анализ древнеисландского материала позволяет высказать принципиально иную точку зрения.

Образования типа др.-исл. *geri* 'волк', собств. 'хищный', или греч. τρῆρων 'голубь', собств. 'трепетный', — это вначале имена прилагательные в особой функции, близкой к именам существительным. В основе таких прилагательных можно разглядеть выражение постоянного, стойкого и типического признака. Именно это свойство делало возможным употребление такого прилагательного в роли постоянного эпитета. Это же свойство сближало такие прилагательные с именами существительными, так как, выражая типические и существенные признаки предметов, такие прилагательные во многих случаях могли служить столь же однозначным средством выделения предметов определенного рода, как и имена существительные. Мы исходим, следовательно, из предположения, что имена прилагательные подразделялись вначале на два разряда, из которых один выражал признаки постоянные, типические и существенные, а другой — признаки временные, летучие и случайные. Прилагательные первого рода, которые можно назвать постоянными или типическими, составляли, согласно такому предположению, в древнейшую эпоху особый разряд форм, занимавших промежуточное место между прилагательными второго разряда (временными или неустойчивыми прилагательными) и именами существительными.

Что касается субстантивации прилагательных, то здесь мы должны прежде всего уточнить само понятие субстантивации. Йеллинек различал субстантивацию семантическую и синтаксическую, понимая под первой субстантивацию, связанную со сдвигами в значении слова, а под второй — появление прилагательного в качестве временной замены существительного в предложении. Первое понятие расплывчато, и во избежание возможных недоразумений оно будет в дальнейшем заменено понятием словообразовательной субстантивации. Под словообразовательной субстантивацией мы будем понимать окончательный перевод прилагательного в состав имен существительных. Интересующие нас образования на *-n* — это первоначально прилагательные, выражающие устойчивые признаки предметов. В ходе дальнейшего развития эти прилагательные во многих случаях обнаруживают, как мы видели, явную тенденцию к переходу в разряд имен существительных или, как мы условились говорить, тенденцию к словообразовательной субстантивации.

Можно отметить две фазы в осуществлении этой исторической тенденции. От первичной категории типических прилагательных прежде всего отрываются и переводятся в разряд имен существительных обозначения неличных предметов типа *geri* 'волк', букв. 'хищный'; *kaldi* 'родник', букв. 'студеный'; *ungi* 'птенец', букв. 'юный' и т. д. К неличным именам на этой ступени примыкают и некоторые личные обозначения, носящие общий нарицательный характер вроде *viiki* 'пророк', первоначально 'сведущий, ведун'; *visi* 'предводитель, воевода', вначале 'мудрый' и др.

Уже в Эдде такие образования выступают в роли существительных, что свидетельствует о том, что словообразовательная субстантивация их завершилась в дописьменный период. Это хорошо согласуется с тем фактом, что в Эдде слабое прилагательное, если исключить немногочисленные реликтовые случаи употребления бесчленного слабого прилагательного, уже не выражает, как было показано, постоянные и стабильные признаки неличных предметов, а в огромном большинстве случаев имеет индивидуализирующее значение, т. е., выделяет отдельный предмет (чаще всего лицо) как обладателя интенсивного качества. Слабые прилагательные в Эдде имеют индивидуализирующее значение не только в роли определения, но и в случаях синтаксической субстантивации, когда они временно замещают существительное в предложении, ср.: *in skirleita* 'блестящая' (о Гудрун), *in sundrmæðri* 'другой матерью рожденный' (об Эрпе); в англосаксонском эпосе — *se góða* 'добрый', т. е. 'добрый молодец' (о Беовульфе); *se ríca*, букв. 'могучий' (о Хродгаре) и т. д. Индивидуализирующее значение сигнализируется в этих примерах не только слабой формой прилагательного, но также еще и артиклем. Характерно, что во множественном числе в случае синтаксической субстантивации в Эдде употребляется сильное прилагательное, ср.: *ungir* 'мальчики', *ungar* 'девушки', *gramir* 'злые духи', *góðir* 'добрые молодцы', *líosar* 'жены', букв. 'светлые' и т. д.; агс. *swiðferhðe* 'дружинники', букв. 'отважные', *láðe* 'враги', букв. 'ненавистные' и др.

Второй этап в словообразовательной субстантивации слабых прилагательных наступает весьма поздно и проявляется впервые в языке прозы. Слабые прилагательные в индивидуализирующем значении превращаются на этой ступени развития в имена собственные (клички, прозвища, родовые и фамильные имена).

Историческая тенденция к превращению слабых прилагательных в имена существительные, осуществляющаяся двумя последовательными волнами, нуждается в объяснении так же, как и отмеченные выше линии развития двойной флексии прилагательных. Попытка объяснения всех этих процессов будет дана в следующем, заключительном разделе настоящей главы.

8. Выводы.

Происхождение прилагательных и их развитие на стадии чувственно-сущностной речи

Сравнительная грамматика индоевропейских языков уже давно пришла к выводу об относительно позднем обособлении имен прилагательных как части речи. «Можно считать несомненным, — писал Остгоф, — по крайней мере все говорит в пользу такого предположения, что в древнейшую эпоху индоевропейского словообразования не различали между именем прилагательным и существительным ни средствами образования основы, ни также при помощи флексии. Каждый суффикс был сам по себе способен служить средством образования как для той, так и для другой части речи. Лишь общий смысловой контекст позволял распознавать, какое из двух рядом стоящих имен воспринималось как субстанция и какое играло роль атрибута, выражающего признак субстанции. Точно таким же образом от употребления зависело — в значении ли существительного или прилагательного утвердилось определенное имя»¹⁸⁰.

Однако значение индоевропейского тезиса о позднем проявлении прилагательных не следует переоценивать. Формализм в языкознании рассматривает эволюцию форм исключительно как внешнюю и поверхностную. Что касается смыслового содержания форм, то оно предполагается неизменным. Значения субстанции и атрибута существовали, согласно формалистическому пониманию языка, извечно; они-де лишь выражались в разные времена различными средствами.

Гораздо глубже подошел к этому вопросу выдающийся историк синтаксиса русского языка А. А. Потебня. Согласно его воззрениям, формальные сдвиги в структуре имени вызывались изменениями в синтаксической природе этой категории. В обоснование своих взглядов Потебня указывал на следующие факты: в древних индоевропейских языках наблюдаются степени сравнения от существительных, ср.: др.-русск. *звьръе*, народное *бережее* в смысле 'ближе к берегу', др.-немецк. *scheder* (от существительного *Schaden*), *zoner* (от *Zorn*), *noeter* (от *Not*). О нерасчлененности имени на определенной ступени свидетельствуют, далее, по Потебне, начинательные и каузативные глаголы, образованные от существительных и от прилагательных. Такие древние образования как *пстьь*, *звьрътьь* и т. д. показывают, что *нес*, *зверь* и т. д. означали некогда не только субстанцию, но и присущее ей состояние. Ссылаясь далее на черты морфологического сходства имен существительных и прилагательных, Потебня приходит к следующим генетическим выводам: «Степень атрибутивности (и вместе степень приближения к предикативности)

¹⁸⁰ *Osthoff*. Zur Geschichte des schu. Adj. С. 36. Cp. Wilmanns. III § 208. 3.

существительного изменяется по языкам и ступеням их развития. Если, как я старался показать, прилагательное возникло из существительного, то, конечно, из такого, которое вмещало в себе и свойство прилагательного, т. е. полную атрибутивность, полную качественность, но не отвлеченную, как в прилагательном, а соединенную с субстанциональностью»¹⁸¹.

Недостатки метода и общая неразработанность проблем первобытного мышления в то время не позволили Потебне резче оттенить качественную особенность древней категории, от которой отпочковались существительные и прилагательные. Потебня снижает значение своих выводов заявлениями о том, что первобытное имя по своему характеру было существительным, что «прилагательное, как выделенное из связи признаков, как более отвлеченное, чем существительное, позднее существительного и образовалось от него»¹⁸². В одинаковой мере можно было бы сказать, что существительное, как обозначение предмета в отвлечении от ряда его качеств, является категорией вторичной.

Мышление людей в своих истоках и в своей тенденции предметно на каждой ступени развития. Понятия о предметах всегда составляют неотъемлемое свойство языка и мышления. Но из этого вовсе не следует, что понятия о предметах остаются неизменными. Как раз наоборот. История языка показывает нам, что характер и глубина понимания предметов действительности меняются по мере развития общества и общественного производства. Имена существительные — это родовые обозначения предметов в отвлечении от их случайных и внешних качеств. Такие предметные имена — продукт сравнительно поздней эпохи. Им предшествовали формально недифференцированные имена, которые могли выступать как в роли предметных обозначений, так и в роли качественных обозначений и которые в противоположность позднейшим именам существительным и прилагательным выражали предметы в неразрывной связи с их внешними качествами и отдельные качества предметов в непосредственной связи с самими предметами.

В статье «Язык поэзии и первобытно-образная речь»¹⁸³ мною рассмотрены важнейшие семантические особенности имен на первобытной ступени развития. Эти особенности таковы: 1) Лексическая нерасчлененность предметных и качественных значений. Одно и то же первобытное имя обозначает как предметы, так и их качества, и только из контекста явствует каждый раз, какое из значений имеется в виду.

¹⁸¹ ИЗРГ. III. С. 102.

¹⁸² Там же. С. 73.

¹⁸³ ИАН СССР. ОЛЯ. 1947. С. 301 слл.

2) Предметный полисемантизм. Каждое первобытное имя обозначает не один предмет, а несколько разных предметов, объединенных общностью ситуации, причинно-временными связями, внешним подобием, сходством конфигурации и т. д. Предметные значения первобытных имен составляют, вследствие этого, как указывал Н. Я. Марр, целые «пучки», «ряды» или «гнезда» значений, вроде 'пальцы + кисть руки + сноп лучей восходящего солнца + густой, медленно стекающий «пальцами» жир' или 'разновидность медоносных цветов + пчелы, собирающие мед с этих цветов + мед этих пчел' и т. д. 3) Качественный полисемантизм. Каждое первобытное имя обозначает не одно, а несколько качеств данного предмета, вследствие чего и качественные значения сплетаются в целые пучки. Например, слово, обозначающее соляное озеро и корку соли на дне высыхающего соляного озера, в качественном отношении может означать 'белый — вязкий — густой' и т. п. Только взятые вместе эти три особенности характеризуют строй первобытно-образной речи. Отдельные пережитки этих черт могут встречаться и в языках позднейшего строя. Так, например, случайные переживания предметного или качественного полисемантизма, а также морфологическая нерасчлененность имен существительных и прилагательных встречаются во многих развитых языках. Но как определяющая черта языкового строя, пронизывающая весь словарь, данная в постоянном переплетении всех трех строевых особенностей, это явление свойственно только первобытно-образному языку и мышлению.

Отсылая читателя, интересующегося первобытной эпохой, к упомянутой статье, я в дальнейшем сосредоточусь здесь на последующей эпохе, когда из недр первобытного имени выделяются имена прилагательные. Решительная перестройка языка и мышления в области атрибутивных, как и всех прочих отношений, происходит под влиянием тех видов практической деятельности, которые характеризуют переход от эпохи дикости к эпохе варварства. В особенности большую роль в этом отношении должны были сыграть приручение животных и зачатки возделывания растений, а также развитие родового строя. Понятия о предметах становятся на новой стадии развития более глубокими. Вырабатывается сознание того, что одно и то же определение может определять разные предметы по-разному, что, выражая внутренние и органические свойства одних предметов, оно обозначает случайные и чисто внешние качества других.

Все это приводит к распаду древнего имени и к выделению из него имен существительных и имен прилагательных. Внешнее сходство предметов не служит теперь единственной опорой при объединении их в классы. На смену старым именам с их «пучками» и «гнездами» предметных значений приходят родовые обозначения предметов в отвлечении от их случайных качеств. С другой стороны, обособляются имена прилага-

тельные, как обобщенные обозначения качеств. Совмещение качественных, притяжательных и относительных значений в одном слове становится больше нетерпимым. Если раньше, к примеру, 'камень' в роли определения могло означать и 'сделанный из камня' и 'твердый как камень' и 'относящийся к определенному камню', то теперь возникают особые слова и формы для выражения разных типов определений. Возникают абстрактные обозначения цвета, твердости, теплоты, величины и т. п.

Но и на новой ступени развития определение отличается еще рядом особенностей сравнительно с отношениями современной речи. Анализ материалов древнеисландского языка показал, что первоначально прилагательные были даны в виде двух грамматических разрядов — существенных и несущественных определений. Как явствует из материала, это разграничение принимало разные формы на разных этапах развития древней речи.

Вначале разграничение существенных и несущественных определений шло по линии противопоставления признаков постоянных и типичных для данного рода предметов признакам временным и неустойчивым в пределах рода. Существовали два разряда прилагательных, из которых один выражал качества и свойства броские, стойкие и присущие данному роду предметов в целом, а другой — качества внешние и случайные для данного рода предметов, а также неустойчивые во времени. Так как прилагательные первого рода выражали общеродовые и характерные признаки, то они и сами по себе, без существительного, были достаточны для однозначного выделения предмета. Существенные прилагательные, выражающие постоянные признаки, заметно приближались, таким образом, по своему значению к именам существительным, занимая промежуточное место между прилагательными несущественными и именами существительными.

Разграничение существенных и несущественных признаков как постоянных, так и непостоянных помогало различать предметы природы и выделять частные разновидности их из общих классов. Если, например, при существительном 'плод' ставилось определение 'кислый' в существенной форме, то это означало, что имеется в виду не один какой-либо, случайно оказавшийся кислым плод, а особая разновидность кислых плодов. Прилагательное 'белый' в несущественной форме могло определять масть любого животного, но в существенной форме оно сочеталось лишь с обозначениями животных определенной породы, для которых эта масть типична, скажем, зайцев-беляков. Выражая родовой признак предмета, существенные прилагательные вместе с тем заключали в себе указание на устойчивость такого признака, его стабильный характер и интенсивность проявления.

В первичном разграничении прилагательных можно видеть некоторое приближение к степеням сравнения. Не следует забывать, однако, что речь идет об эпохе, когда степеней сравнения в современном смысле еще совсем не было. Так как родовые признаки обычно выражали броские и яркие качества предметов данного рода в отличие от менее интенсивных проявлений того же качества у предметов других классов, то в таком разграничении можно усмотреть начало сознания того, что одно и то же качество может проявляться у разных предметов в неодинаковой мере. Но это начало носит еще крайне ограниченный и однобокий характер. Всякое качество мыслится на данной ступени развития в двух абсолютно противоположных проявлениях. Это — либо бьющее в глаза, особой интенсивности качество, как оно встречается у немногих классов предметов, для которых оно существенно и типично, либо же это качество единичное, случайное и неяркое, как оно встречается у массы других предметов. Зелеными могут быть многие предметы, но особенно зеленой в представлении этой эпохи является только 'зелень' — трава и листья деревьев, особенно синим — небо или море, особенно серым — волк или заяц, или, как в скандинавском эпосе, камень. Это заметный шаг вперед сравнительно с предшествующей эпохой, когда еще не были выработаны обобщенные обозначения цветов и пр. и когда различные оттенки одного качества получали разные наименования. Теперь, на новой ступени развития, ум человека уже улавливает то общее, что объединяет между собой различные проявления сходных качеств. Но новое понимание не лишено крупных недостатков. Выделяя качества определенных классов предметов как особенно яркие и интенсивные, люди на новой ступени развития не учитывают еще различия в степени проявления качества у отдельных предметов внутри данного класса и за пределами его. Всякий мужчина, достигший определенного возраста, — это, по понятиям того времени, 'молодой' в идеальном смысле слова, т. е. 'молодец', 'храбрец', человек, от которого все вправе ждать подтверждения его идеальных свойств на деле. Но сознанию той эпохи недоступна еще та истина, что разные 'молодцы' могут обладать отвагой в разной степени и что это свойство может проявляться в весьма высокой степени и среди немолодых.

В существенных прилагательных, как они сформировались на первой фазе развития, сочетались, таким образом, две категории — постоянство признака в пределах рода и эминентность признака (сила и яркость его проявления). Вторая фаза развития характеризуется поляризацией этих категорий. Пока представления о классах предметов оставались расплывчатыми и отличались известной «собираемостью», пока в достаточной мере не были выделены понятия индивида и множества, старое смешение категорий могло не сознаваться. Но чем конкрет-

нее и богаче становились представления об индивидуальных предметах, чем больше отмечались отклонения отдельных экземпляров внутри рода друг от друга, тем настоятельнее становилась потребность в разграничении названных категорий.

Материалы языка показывают, что яркие индивидуальные представления были выработаны древней эпохой прежде всего применительно к лицам. По мере развития родового общества все больше и больше открывался простор для проявления инициативы, деловой хватки и отваги отдельных лиц, что вело к обособлению личных имен, воспеванию подвигов отдельных лиц и т. д. В связи с выработкой ярких индивидуальных представлений назревает перелом в области атрибутивных отношений. Важнейшее достижение нового периода заключается в размежевании родовых и эминентных признаков. Теперь люди начинают сознавать, что признак, достаточный для того, чтобы отличить данный род предметов от других, сам по себе, без дальнейших указаний, еще недостаточен для того, чтобы отличить отдельные экземпляры внутри рода, поскольку разные представители рода могут обладать этим признаком в разной степени.

Этим объясняются те грамматические процессы, которые были выше отмечены для древнеисландского языка. В той мере, в какой древние существенные прилагательные выражают родовые признаки, они субстантивируются, т. е. перестают быть прилагательными и окончательно переводятся в состав имен существительных. За существенными прилагательными сохраняется теперь только эминентное значение, т. е. значение признака исключительной силы. При этом эминентные прилагательные возможны лишь как определения индивидуальных предметов, чаще всего отдельных лиц. При неличных именах нарицательных они избегаются. Чем меньше индивидуально выделен данный предмет, тем меньше возможна при нем теперь постановка существенного прилагательного (вот почему в Эдде слабое прилагательное служит определением таких собирательных предметов, как роса, лишь в немногих пережиточно сохранившихся сочетаниях). При личных именах нарицательных существенные прилагательные имеют теперь индивидуализирующее значение, обозначая определенное лицо по присущему ему эминентному признаку. В тех относительно редких случаях, когда такое прилагательное встречается при именах неличных, оно выражает исключительный признак выдающегося предмета (легендарного меча, мифологического дерева и т. д.). Выделение артикля как средства индивидуализации и подчеркивания эминентного признака также является продуктом этой эпохи. В итоге меняется вся картина атрибутивных отношений. Если на предшествующей ступени развития существенные признаки противопоставлены несущественным как постоянные и родовые признаки случайным и неродовым, то на новой ступени они противопоставлены друг другу

как индивидуализирующие и эминентные признаки признакам «средним» и «массовым».

Значение этого шага в развитии степеней сравнения заключается в том, что отныне становится возможным сопоставление не только целых классов, но и отдельных предметов внутри одного класса. Однако и на этой ступени еще нет сознания относительности сравнения и возможности бесконечных градаций качества. Мы видели, что сравнительная и превосходная степени на данной ступени развития имеют эминентное значение. Это значит, что вместо того чтобы признать за данным предметом относительно более высокую степень качества в ряду сопоставляемых предметов, люди этой эпохи односторонне противопоставляли данный предмет всем остальным без достаточных на то оснований. А. может быть сильнее, чем Б., и не будучи силачом. Между тем, как мы видели, язык этой эпохи способен выразить данную мысль только при помощи конструкции 'А. силач над Б.'

Дальнейшее развитие прилагательных связано, прежде всего, с уточнением индивидуализирующих определений. Логика индивидуализирующего определения — это логика клички или прозвища. Такое определение фиксирует бросающийся в глаза признак, оно выражает исключительную по силе или редкости проявления черту, тесно сросшуюся в нашем представлении с представлением о данном лице или вещи. Однако механическое употребление такого признака влечет за собой опасности. Достаточно сказать о мече, что это исключительно острый меч, и тем самым однозначно выделить его, если таких мечей больше нет или если такой меч не притупился. Эминентный признак может сохранить свое индивидуализирующее значение лишь при неизменности самого признака и постоянстве состава предметов, с которыми сопоставляется отдельный предмет. Используя какой-либо яркий признак для выделения предмета, мы должны всякий раз считаться с тем, что предмет и его окружение меняются. Поэтому мы должны каждый раз учитывать, имеем ли мы дело с признаком актуально данным или нет, а также — каков круг предметов, на фоне которых выделяется данный предмет.

Новый сдвиг в сознании получает выражение в языке древнеисландской прозы. Ряд грамматических процессов с несомненностью свидетельствует об этом развитии. Слабое прилагательное в роли индивидуализирующего определения употребляется теперь исключительно при именах собственных, теряет свое эминентное значение и окончательно приобретает характер клички или прозвища, ср.: *Illugi svarti* 'Иллуги Черный', *Osvifr hinn spaki* 'Освиф Мудрый' и т. д. Перевод таких определений в разряд кличек, прозвищ, родовых имен и т. д., показывает, что говорящий теперь заранее считается с относительностью характеристики, содержащейся в кличке. Иллуги Черный значит теперь не 'идеально

черный', не 'черный в особом смысле этого слова', а 'тот, кто прозван Черным'. Такое прозвище должно иметь какое-то основание под собой, но теперь уже считаются с тем, что основание может исчезнуть.

Различие между слабым и сильным прилагательным становится в языке древнеисландской прозы в значительной степени формальным, и употребление этих форм управляется артиклем. Зато все больше дает знать о себе деление прилагательных на атрибутивные и предикативные. Предикативные прилагательные выражают актуально данный признак предмета, наличный или только еще возникающий в данный момент. Впервые в истории атрибута появляются формальные средства, позволяющие уточнить, имеем ли мы дело с актуально данным качеством или свойством предмета или же с признаком, относительно которого неизвестно, продолжает ли он сохраняться у предмета.

В области степеней сравнения на этой ступени совершается размежевание относительного сравнения и абсолютного (элятива). Появляется сознание количества качества, возможности бесконечных градаций признака. Появляются формальные средства, позволяющие выразить относительно более высокую степень качества, обнаруживаемого данным предметом в ряду других, в отличие от абсолютно высокой степени качества. К числу таких формальных средств в древнеисландском, помимо флексивных показателей степеней сравнения, относятся еще и вспомогательные слова в значении 'очень', 'более' и т. д.

Таковы в общих чертах те выводы, которые вытекают из анализа истории двойной флексии прилагательных в древних германских языках. Остается более общий вопрос: в какой степени вскрытые здесь закономерности могут рассматриваться как закономерности, присущие разным языкам на определенной ступени их исторического развития?

Отмечу прежде всего, что языки с двойной флексией прилагательных полностью подтверждают наши выводы.

Среди индоевропейских языков, кроме германских, только славянские и балтийские языки развили двойную флексию прилагательных. Так называемая именная или краткая форма прилагательного первоначально соответствует здесь слабой форме прилагательного в германских языках, а местоименная или полная форма — германской сильной. С древнейшим значением именной формы связано ее пережиточное употребление в русском фольклоре в роли постоянного эпитета: *сине море, красна девица* и т. д. Более позднее значение именной формы в значении актуального и проявляющегося в данный момент признака прослеживается еще в древнерусских текстах. Исследователь этого вопроса, Е. С. Истрина, следующим образом характеризует древнее употребление:

«В случаях, где определение выражено именной формой, обозначаемый им признак имеет существенное значение в общем смысле предло-

жения, с чем связывается и энергичность его проявления; между тем, в случаях, где определение выражено местоименной формой, соответствующий признак не играет значительной роли в предложении, и проявление его не отличается энергичностью. Так, в предложении *моужь добрь сгорь Елефърии Лазаревичь* определение *добрь* относится к определенному лицу, названному по имени; качество это, надо думать, действительно ему принадлежало, а упоминание об этом качестве, так сказать, подчеркивает, увеличивает степень несчастья; признак проявляется энергично. Иную роль играет определение в предложении *истригошася добрии моужи и жены*. Текст таков: татары обступили Владимир: стало очевидно, что город будет взят; тогда все вошли в церковь св. Богородицы и здесь постриглись: и князь, и княгиня, и дочь, и сноха, и *добрии моужи и жены*. Определение *добрии* не имеет существенного значения в предложении; просто, в виду благочестивого поступка, книжник всех постригшихся называет добрыми; признак проявляется слабо. Точно так же в предложении: *оумыслиша свѣтъ золь* — определение *золь* имеет очень существенное значение: не то ведь важно, что умыслили какой-то совет, а именно то, что умыслили злой совет. Обратное: в предложении *дьяволь радуется зломоу оубииствоу* определение *зломоу* не имеет сколько-нибудь существенного значения: дьявол радуется убийству вообще, а всякое убийство может быть названо злым; для энергичности проявления признака нет оснований»¹⁸⁴.

То, что Е. С. Истрина называет здесь энергичным и слабым проявлением признака, еще полно отзвуками того, что выше было выделено нами под названием эминентных и обычных качеств. Но в целом здесь уже совершился переход к использованию местоименной и именной формы для выражения неактуальных и актуальных в данный момент, т. е. атрибутивных и предикативных определений.

Говоря о типологическом родстве именных и местоименных прилагательных в славянских языках, с одной стороны, и слабых и сильных прилагательных в германских языках, с другой, — нельзя не отметить и расхождения между указанными группами языков. В германских языках членным становится слабое прилагательное, выступающее в качестве аналога славянской именной формы. Но эта аналогия не является полной, так как в славянских языках формально не краткая, именная, а полная форма ближе стоит к членной, будучи образована путем присоединения указательного местоимения к краткой. Ряд исследователей на этом основании склонен рассматривать полную форму как членную не только

¹⁸⁴ Употребление именных и местоименных форм имен прилагательных в Синодальном списке I Новгородской летописи. ИОРЯС. XXIII. 1919. С. 45.

по форме, но и по содержанию¹⁸⁵. В подробностях этот вопрос еще не решен. Отмечу только, что и в германских языках отношения не столь прозрачны, как это может казаться с первого взгляда. Способность сочетаться с указательным местоимением и в германских языках первоначально обнаруживали не только слабые, но и сильные формы, часть которых местоименного происхождения.

Среди языков неиндоевропейских двойную флексию прилагательных обнаруживает аварский язык, формы которого прекрасно обследованы А. А. Бокаревым¹⁸⁶. Употребление краткой и полной формы прилагательного в современном аварском языке сохранило в разных уголках следы старых значений. Прежде всего любопытно, что краткая форма употребляется в возвышенном стиле в качестве поэтического эпитета. Еще более интересно употребление краткой формы в обозначениях сортов и разновидностей предметов, ср. *хъахIхоно*, букв. 'белое яйцо', с краткой формой прилагательного — 'белок' (*хъахIаб хоно* с полной формой значило бы просто 'белое яйцо'); *цIекI гIеч*, букв. 'кислое яблоко' (с краткой формой прилагательного), применяется как название диких яблок, кислицы. В таких случаях краткое прилагательное предшествует существительному. В случаях же, когда краткое прилагательное следует за существительным, оно имеет значение прозвища, клички, собственного имени, интимного наименования и т. д. Эти значения явным образом восходят к индивидуализирующему эминентному значению краткого прилагательного в прошлом.

Богатые следы двойной флексии прилагательных сохранились также в семитских языках. Помимо определенного артикля индивидуализирующего происхождения, мы находим здесь еще специфическое переживание двойной флексии в виде трехпадежного и двухпадежного склонения имен в арабском языке, которое имеет себе известную аналогию в «архаическом» и «живом» склонении имен в аварском¹⁸⁷.

Но, помимо следов древнего развития прилагательных в виде двойной флексии, мы находим богатые отложения древней эпохи и в других сторонах языка. Дело в том, что развитие прилагательных далеко не повсюду приводит к образованию двух флективных рядов, последовательно используемых для выражения постоянных и непостоянных, эминентных и обычных, предикативных и атрибутивных признаков. Даже в древних индоев-

¹⁸⁵ *Обнорский С. П.* Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. 1946. С. 116 сл. См. также: *Руднев А. Г.* К вопросу о принципах употребления именных и местоименных прилагательных в древнерусском языке // Уч. зап. Ленингр. Гос. пед. инст. им. Герцена. Т. 69. 1948. С. 139 сл.

¹⁸⁶ *Бокарев А. А.* Синтаксис аварского языка. 1949. С. 151 сл.

¹⁸⁷ *Юшманов Н. В.* Загадка «двухпадежных имен» арабского классического языка // Тр. 2-й сесс. Асоц. арабистов. 1941. С. 149 слл.; ср.: *Бокарев А. А.* Синтаксис аварского языка. С. 159 слл.

ропейских языках, где флексия занимает большое место среди других способов выражения грамматических значений, далеко не всюду имело место образование двух рядов флексии прилагательных. Мы видели, например, что в классических языках образования на *-n-* выражали сначала признаки постоянные и что потом эти образования были использованы для выражения эминентных признаков. Однако ни в греческом языке, ни в латыни мы не находим двойной флексии прилагательных в том виде, как она представлена в германских языках. Это объясняется тем, что формы на *-n-* не получили в греческом языке того распространения, которое они имели в германских языках, и что вскоре после того, как в греческом языке выработался артикль как средство индивидуализации, он оттеснил на задний план все остальные формы индивидуализации, в том числе и формы на *-n-*. Что касается латинского языка, то здесь большую роль в разграничении древних функций прилагательных играл порядок слов, что, естественно, оставило менее заметные следы в последующей истории языка.

При исследовании истории прилагательных на стадии чувственно-сущностной речи мы должны, следовательно, опираться не только на переживании двойной флексии, но и на всякие иные следы древних форм. К числу таких следов древности относятся, как было показано, определенные формы субстантивации (типа 'трепетун', 'беляк', 'молодец', 'силач' и т. д.). К ним относятся, далее, наличные в разных языках формы усилительности и интенсивности признака. Специфические формы «настоящности» и «подлинности» предмета и его качеств в эскимосском языке (см. выше, с. 285) чрезвычайно любопытны в этом отношении. Наконец, как было показано, формы степеней сравнения в разных языках также свидетельствуют о развитии, проделанном категорией прилагательных в древнейший период.

Все эти факты в их совокупности позволяют считать, что в основе разнообразных и пестрых процессов, характеризующих развитие имен прилагательных в разных языках, лежат некоторые общие тенденции, свойственные языку на стадии чувственно-сущностной речи. Дальнейшие исследования покажут, в какой степени нам удалось выявить и правильно сформулировать эти общие процессы.

Глава III

Предикативный атрибут

Категория предикативного атрибута возникает, как это вытекает из предшествующего изложения, на высшей ступени развития чувственно-сущностной речи. Она вырастает в итоге общественных процессов, ха-

характеризующих переход к высшей ступени варварства и влекущих за собой последовательное углубление понимания предметов, их свойств и качеств. Эти процессы определяются, как мы видели, тенденцией к разграничению существенных и несущественных признаков.

Первоначально, на низшей ступени чувственно-сущностной речи, эта тенденция находит себе выражение в противопоставлении постоянных признаков, т. е. признаков, типичных для целых классов вещей или особенно ярких и устойчивых во времени, признакам непостоянным, изменчивым и различным у разных представителей данного рода. Только признаки, стойкие и характерные для всех предметов данного рода, выделяются в эту эпоху как признаки существенные. На следующей ступени под творческим воздействием расширяющейся общественной практической деятельности вычленяются новые моменты атрибутивной связи. В сфере постоянных признаков происходит размежевание признаков собственно родовых, могущих служить основанием для выделения определенного класса или разновидности вещей, и признаков эминентных, выделяющихся исключительной силой и яркостью своего проявления. Собственно-родовые признаки, помогающие отделить один род предметов от другого, но не способные служить отличительными признаками отдельных предметов внутри рода, отграничиваются теперь от признаков энергичных и интенсивных, позволяющих выделить отдельный предмет из среды других предметов того же рода. Только прилагательные, выражающие исключительные свойства выдающихся лиц и вещей, выступают на данной ступени как существенные определения. Субстантивация родовых прилагательных и, в области степеней сравнения, переход от контрастного сравнения (или противопоставления) к эминентному сопоставлению являются важнейшими достижениями этой ступени.

Наконец, с переходом на высшую ступень варварства имеет место поляризация эминентных определений. Достижения новой эпохи в области общественной практики приводят к дальнейшему развитию категорий речи. Старое эминентное определение начинает ощущаться на новой фазе развития как слишком туманное и расплывчатое. Вырабатывается сознание того, что даже весьма интенсивные и яркие признаки способны недвусмысленно выделить отдельный предмет только при наличии определенных условий, а именно, при условии неизменности признака и постоянства состава предметов, на фоне которых выделяется данный отдельный предмет. Исключительный признак, свойственный данному предмету, может быть утрачен с течением времени. В других случаях предмет сохраняет свой яркий признак, но на фоне новых предметов того же рода, еще более ярких, этот признак может оказаться для него уже не столь характерным и существенным.

Эти процессы приводят в строе языка к выработке относительного сравнения и субстантивации старых эминентных прилагательных — превращению их в клички, прозвища, интимные наименования и собственные имена. Отныне возникают специальные грамматические средства, позволяющие каждый раз уточнить, идет ли речь о признаке актуальном и непосредственно данном или же о признаке, не уточненном во времени. Так возникает категория п р е д и к а т и в н о г о а т р и б у т а, выражающая актуально данный и ограниченный во времени признак, в отличие от с о б с т в е н н о а т р и б у т а, выражающего общий признак предмета, безотносительно к тому, проявляется ли этот признак в данный момент или нет. Только предикативные, т. е. уточненные относительно времени своего протекания признаки выступают в языке новой эпохи как существенные определения предмета.

Обратимся к рассмотрению особенностей предикативного атрибута в древнем языке на высшей ступени развития чувственно-сущностной речи.

Предикативный атрибут, в противовес непредикативному, отличается на древнем этапе своими двойными грамматическими связями. С о д н о й с т о р о н ы, это полностью атрибут, сохраняющий все черты зависимости от определяемого существительного. Как и непредикативный атрибут, он отмечен согласованием, что бросается в глаза при сравнении древней I категории с соответствующими новыми (ср. др.-русск. *оттоль прозвася земля Угорська* и совр. *с тех пор земля прозвалась Угорскою*; др.-немецк. *thaz sie unsih muadon funtin* и совр. *sie fanden uns müde*; др.-исл. *þeir funnu kann dauðan* и норв. *de fandt ham død*). Вместе с определяемым предикативный атрибут составляет синтаксическую группу, которая в грамматике получила название «двойного падежа» (*casus duplex*). Нами уже были рассмотрены (стр. 207 слл.) разные варианты этой конструкции, из которых сюда относится лишь разряд с о в т о р ы м п р е д и к а т и в н ы м п а д е ж о м. Этот разряд, как уже отмечалось, в отличие от других еще сохраняет в древних индоевропейских языках полную жизненную силу, что выражается во взаимной обратимости двойного именительного и двойного винительного падежей при превращении предложения из активного в пассивное и наоборот. Кроме именительного и винительного падежей, в двойном сочетании встречаются и другие, но последние встречаются довольно редко, и практически нам придется иметь дело главным образом с первыми.

С д р у г о й с т о р о н ы, предикативный атрибут тяготеет к личному глаголу в предложении, что выражается отчасти порядком слов, в большей же мере копулятивной («связочной») функцией ряда глаголов, количество которых в древнем языке довольно велико. Эта связь с глаголом настолько тесна, что в науке были попытки выделить сочетание

предикативного атрибута с глаголом в особую категорию составного сказуемого. Этим понятием широко пользовался Потебня, который, впрочем, ограничивал его значение сочетаниями глагола с предикативным именительным падежом. Необходимо помнить, что каждый из терминов «двойной падеж» и «составное сказуемое» лишь односторонне характеризует факт двойной грамматической зависимости предикативного атрибута.

Исследованию истории предикативного атрибута в русском языке посвящен второй том «Из записок по русской грамматике» А. Потебни, составивший эпоху в истории научной разработки синтаксических проблем. Приводимые мною материалы, преимущественно из древнеисландского языка, образуют, таким образом, новую параллель к прослеженной у Потебни линии развития. Вместе с тем возникает необходимость подвергнуть здесь критическому рассмотрению выдвинутую Потебней теорию вопроса, тесно связанную с его порочными методологическими установками.

1. Имя существительное в роли предикативного атрибута

Обзор материала начнем с двойного именительного падежа. В моем собрании встречаются сочетания со следующими глаголами:

vera ‘быть’: Háv. 38, 3; 37, 3 *halr er heima hverr* ‘у себя дома всяк хозяин’; Vkv. 14, 7–8 *er vér heil híu | heima vórom* ‘когда мы были дома, счастливая чета’ (т. е. ‘счастливой четой, в качестве счастливой четы’); Am. 93, 1 *leyfð vartu ekkia* ‘ты была прославленной вдовой’, или ‘будучи вдовой, ты была прославлена’ (соответственно в переводе на немецк.: ‘du warst eine vielgepriesene Witwe’ и ‘als Witwe warst du vielgepriesen’). Примеры из прозы: Gg. 20 *kann heitir ok Valföðr, þvi at hans óskasynir eru allir, þeir er i val falla* ‘он <Один> зовется еще Отцом павших, ибо его любимыми сыновьями являются все те, кто пал в битве’; Eg. 2, 2 *þa var Atli enn mjóvi jarl* ‘Атли Стройный был тогда ярлом’; Eg. 54, 9 *váru þar höfðingjar jarlar* ‘были там предводителями ярлы’, букв. ‘были там предводители ярлы’, здесь лишь контекст позволяет отличить падеж субъекта, первый именительный, от второго, предикативного атрибута; Kr. 16, 14 *þa er Gizurr biskup hafði XXV vetr verit biskup* ‘когда епископ Гизур пробыл двадцать пять лет епископом’; этот пример чрезвычайно наглядно выявляет разграничение предикативного и непредикативного атрибута при помощи порядка слов: *biskup* встречается два раза, один раз как непредикативный атрибут, другой раз как предикативный.

Глаголы вещественного движения или состояния (по номенклатуре Потебни):

ganga ‘ходить’: Fm. 2, 2–3 *ek gengit hefk | inn móður-lausi mögr* ‘я ходил мальчиком-сиротой’, букв. ‘мальчик-сирота’. Здесь глагол имеет

ослабленное значение, близкое к значению 'быть'. Ср. Gg. 48 *Gekk kann út of Miðgarð svá sem ungr drengr* 'вышел он <Тор> из Мидгарда в образе <именно так, а не 'в качестве'> юного витязя'.

riða 'ехать, путешествовать': Vm. 47, 4–6 *sú skal riða, | þá er regin deuja, | móður brautir mæz* 'девой <букв. дева> будет бродить она по тропам ее матери после гибели богов', 'als Mädchen wird sierenisen'.

drifa 'бродить, шататься': Fi. 4, 6 *ok drif þú nú vargr af vegi* 'убирайся прочь ты волком с дороги'. Впрочем, возможно и иное толкование функции слова *vargr*: 'убирайся ты, волк, с дороги'. В пользу первого понимания говорят такие параллели, как НН. II, 33, 5–8 *þá væri þér hefnt | Helga dauða, | ef þú værir vargr | á viðom úti* 'тогда отомстила бы я тебе за смерть Хельги, если бы ты волком был в лесу'. Ср. Dett. в прим. к этому месту.

sitja 'сидеть': *Hákon sat þá einn konungr at Nóregi* 'Такон сидел тогда единодержавным королем в Норвегии' (Lund, § 13).

skilja 'расставаться': Gs. 26, 28 *ok skiljaz þeir Refr góðir vinir* 'и расстанутся они с Рефом добрыми друзьями' аналогично Vqls. 26, 2; Eg. 74; 2. В таком сочетании в прозе весьма часто.

lifa 'жить': Háv. 147, 1–3 *þat kann ek annat, | er þurfo ýta synir, | þeir er vilia lækna lifa* 'я знаю другое < заклинание > полезное людям, желающим жить <т. е. стать > лекарями'.

andast 'умереть': Gg. 36 *þaer er meujar andast* 'те, что умирают девами'.

vaka 'бодрствовать': Ls. 48, 5–6 *þú munt æ vera | ok vaka vörðr goða* 'вечно ты будешь стоять <букв. пребывать> и бодрствовать в качестве стража богов'.

rikja 'править, управлять': *slikr maðr skal biskup rikja* 'такой человек должен управлять в качестве епископа' (Det. 11, 12).

hvila 'отдыхать': *er helgastr maðr hvilir i Niðarósi* 'который <как> святой человек покоится в Н.'

Наконец, в этой функции встречаются глаголы страдательные (или возвратные), производные от активных глаголов, требующих двойного винительного падежа:

gerðast 'сделаться': Sk. 43 *Reginn fór þa til Hjalpreks konungs á þjodi ok gerðist þar smiðr hans* 'Регин поехал тогда к конунгу Хьялпреку и сделался там его мастером'. Gunnl. 11, 48 *Litlu síðar gørðisk Hrafn hirðmaðr Óláfs konungs* 'немного спустя сделался Храфн дружинником конунга Олафа'.

vera gorr 'сделаться': *ef maðr er gorr skógamaðr* 'если кто объявлен <букв. сделан> изгнанником' (Lund).

reynask 'проявить себя, оказаться': Gunnl. 15, 19–21 *ok reyndisk Gunnlaugr hinn hraustasti ok hinn vaskasti drengr ok hinn harðasti karlmaðr, hvar*

sem þeir kómu 'и оказывался Гунлауг чрезвычайно храбрым и неустрашимым молодцем и твердым мужем, куда бы они ни приходили'.

vera staddr 'быть поставленным': Eb. 27, 12 *en eigi mun hann þurfa at eggja mik fram, hvar sem vit mágar erum staddir* 'не должен был бы он подстрекать меня к тому, так как мы являемся <поставлены> родственниками <по браку> друг другу'.

vera sendr 'быть посланным': Ls. 34, 2–3 (аналогично 35, 2–3) *þú vart austr heðan | gisl um sendr at goðom* 'ты был на восток отсюда послан богам в качестве заложника'.

vera borinn 'родиться': Hlg. 12, 3–4 *sem hann minn bródir | um borinn væri* 'как если бы он был рожден моим братом'.

vera dæmðr 'быть осужденным, приговоренным': Kr. 10, 4 *i þeim dómi var Hjalti dæmðr sekr fiðrbaugsmaðr um goðgá* 'на том суде Хьялти был признан <осужден> заслуживающим изгнания за богохульство'.

vera talt 'рассказываться': *er þetta talt hit þridja niðingsverk unnit með Tyrfingi* 'об этом говорят как о третьем постыдном деле <букв. это рассказывается третье постыдное дело>, содеянном по отношению к Т.'.

vera sagðr 'слыть': Nj. 3. 8 *slíks var ván, því at Hrutr er vitr maðr sagðr* 'этого и следовало ожидать, так как Хрутр слывет умным человеком'.

Сюда же и *heita* в среднем значении 'называться': Gunnl. 16, 10 *þat heitir Gleipnisvellir* 'это <место> называется полями Глейпнира'.

Перейдем к глаголам, сочетающимся с двойным винительным падежом. К этой группе относятся прежде всего ряд глаголов владения и воздействия:

hafa 'иметь' (в качестве кого-нибудь): *viljum vér þik einn konung hafa* 'хотим мы тебя иметь <в качестве> единого конунга', но ср. соответствующий пассивный оборот в Эдде в другой конструкции: Grt. 1, 7–8 *mátkar meyjar | at mani hafðar* 'могущественные девы, содержимые в качестве рабынь'.

eiga 'иметь': Gs. 1, 3 *Hann átti sér konu ... ok sonu þrjá barna* 'он имел жену и трех сыновей детей'.

gera 'сделать': НН. II, 4, 9–10 *áðr hana Helgi | höfto gærði* 'прежде чем Хельги сделал ее пленницей'; Nj. 86, 10 *Eptir þat gerði hann þa hirðmenn sína Grim ok Helga* 'после этого сделал он их, Грима и Хельги, своими дружинниками'; Eg. 56. 52 *síðan er Eiríkr konungr gerði þik útlægan* 'после того как конунг Эйрик сделал тебя изгнанником'; но изредка согласование уже отсутствует: Eg. 25, 13 *ef ek gerða þik at svá miklum manni, sem hann var orðinn* 'если бы я тебя сделал таким большим человеком, каким он стал'. Ср. еще сочетание с предлогом Nj. 38, 28 *skal ek ekki gera at óbótamönnum heimamenn Njáls* 'я не сделаю домочадцев Н. подлежащими наказанию'.

setja 'садить, назначить': Eg.: 59, 4 *hafði konungr sett hann höfðingja* 'конунг назначил <посадил> его хофдингом'; Eg. 52, 9 *En sá herr, er þá var þar saman kominn, þá setti konungr þar yfir höfðingja Þórólf ok Egill* 'и над войском тем, что там собралось, конунг поставил начальниками Торольфа и Эгиля'; 4, 5 *þá setti Haraldr konungr Rognvald jarl yfir Mæri hváratveggju ok Raumsdal* 'тогда конунг Харальд посадил Рогнвальда ярлом в таких-то округах'.

leggja 'назначить, наложить': Sk. 41 *ok tók Loki hann hǫndum ok lagði á hann fjǫrlausn allt gull, þat er hann átti í steini sínum* 'и взял его Локи в полон и наложил на него в качестве выкупа <букв. выкуп> все то золото, что тот имел у себя под камнем'.

Аналогично *leggja* еще *bjóða* 'предлагать': Sk. 41 *æsir bjóða fyrir sik fjǫrlausn svá mikit fé sem Hreiðmar sjálfir vill á kveða* 'Асы предложили в качестве выкупа за себя такое большое богатство, <т. е. так много добра>, сколько бы Хреймар сам не потребовал'.

Лунд приводит еще глагол *heimta* 'требовать' в фразе *heimta þingfarar kaup at hánum hálfan eyri* 'потребовать у него уплаты за неявку на тинг, <т. е. в качестве уплаты> пол-эйры'. Сочетания с глаголами *heimta*, *bjóða* и им подобными Лунд не относит к категории двойного винительного, рассматривая их в качестве особой паратактической конструкции (*en art hosstilling*). Но грамматических оснований для такого выделения нет. Семантически же конструкции с тремя последними глаголами примыкают в известной мере к разобранным в первой главе партитивным сочетаниям.

Нюгорд приводит среди глаголов со значениями 'делать', 'иметь' и т. д. еще *kjósa* 'выбирать': *Álfhildr kaus föður at syni sínum hundvisan jǫtun* 'Альфхильд выбрала <в качестве> отца для своего сына премудрого йотуна' или 'А. выбрала отца в виде премудрого йотуна', но ср. Nv. 19, 5 *er þá var til biskups korinn* 'который был тогда выбран в епископы', где предложное сочетание вместо второго именительного.

Другую группу глаголов, управляющих двойным винительным падежом, составляют глаголы *m n e n i a* или, как их называет Потевня, «глаголы идеального возникновения»: 'мнить', 'полагать', 'считать', 'представлять' и т. п.

ætla 'полагать': Gs. 25, 4 *ok munu þeir ætla mik annan mannin* 'и они будут полагать, что я один из этих двух', букв. 'меня другого человека'.

telja 'считать': *Sigvatr telr þessa hina áttu orrostu Ólafs konungs* 'С. считает ее восьмой битвой конунга Олафа' (Norrg. Synt).

hyggja 'думать, считать': *ek hygg þat hégóma at trúa á goð* 'я считаю пустяком веру в бога' (Lund).

virða 'ценить, почитать': *þik virði ek mann góðan ok réttlátan* 'тебя почитаю я <как> человека доброго и справедливого' (Lund).

trúa 'верить': Gg. 5 *trúir þu þann goð?* 'считаешь ты его богом?'

játa 'признавать': *fyrir öngan mun játum vér hann guð* 'мы его никоим образом не признаем богом'.

reyna 'испытать, узнать': *hann reyndum vér sannan vin Ólafs konungs* 'его узнали мы <как> настоящего друга конунга Олафа' (Norr. Synt).

Близко к глаголам «идеального возникновения» стоят глаголы речи, именованья и знания:

segja 'говорить, сказать': *viltu segja mik þjóf?* 'не хочешь ли ты назвать меня вором?' (Norr. Synt).

dæma 'осудить, приговорить': Eg. 56, 53 *vil ek... at þeir dæmi Ásgerði ambátt konungs* 'хочу я, чтобы они приговорили Асгерд быть служанкой конунга'.

vita 'знать': Hhv. 17, 3 *þann vissa ek ámatkastan iqtun* 'я знала его <как> могучего йотуна'.

kveða 'говорить, называть': Hdl. 43, 5–6 *þann kveða stilli | stórauðgastan* 'его называют державнейшим князем'.

kalla 'называть': Vqls. 13, 44 *Sigurðr kallar hestinn Grana* 'Сигурд зовет коня Грани'; Eb. 5, 3 *þá kolluðu þau hann Björn enn austræna* 'тогда прозвали они его Бйорном Норвежским'.

heita 'именовать': Vsp. 20, 5–6 *Urð héto eina, | aðra — Verðandi* 'одну назвали Урд, другую — Верданди'.

Крайне редко встречаются в древнеисландском сочетания с двойным дательным: Hrbl. 4, 1–2 *Árligom verkom | hrósar þú verðinom* 'ты хвастаешь завтраком <как> утренним делом'.

Мы видели, что некоторые глаголы вместо второго предикативного падежа нередко принимают предложное сочетание существительного. Другие глаголы, близкие по своему значению к ранее перечисленным, встречаются только в сочетании с предложной формой. Таковы, например: *verða* 'становиться': Vsp. 45, 1–2 *Bræðr munu beriaz | ok at þonom verðaz* 'братья будут сражаться и станут убийцами друг друга'; *taka* 'брать': *þeir taka hann til höfðingfa yfir sik* 'они берут его к себе в главари' (Norr. Synt.); *vígja* 'возвести в сан': Hv. 2, 11 *ok var Ísleifr oigðr til biskups* 'и был И. посвящен в епископы'.

В других древних германских языках, на которых мы остановимся менее подробно, существуют аналогичные формы.

В готском количество таких глаголов довольно велико. С двойным именительным существительного здесь сочетаются глаголы *wisan* 'быть', *wairþan* 'становиться', пассивные формы глаголов, требующих в действительном залоге двойного винительного. Глагол *wairþan*, в древнеисландском не встречающийся в таких сочетаниях, в готском, наряду с предикативным именительным, допускает (в соответствии с греческим оригиналом) еще и предложное сочетание, ср.: Mc. 13, 19

wairþand þai dagos jainai aglo ἔσονται αἱ ἡμέραι ἐχεῖναι θλίψις и, с другой стороны, Mc. 12, 10 *sah warþ du haubida waihstins* οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας.

С двойным винительным здесь встречаются глаголы *taujan* ‘делать’; *gataujan* ‘сделать’; *briggan*, букв. ‘приносить’ в значении ‘приводить в состояние, делать’; *gasatjan* ‘посадить, поставить <кем>’; *gatewjan* ‘назначить’; *ustainjan* ‘назначить’; *galagjan*, букв. ‘положить’ в значении ‘сделать’; *aigan* ‘иметь <в качестве кого>’; *ustiuhan* ‘вести <в качестве кого>’; *letan* ‘пускать, заставить <быть>’; *giban* ‘дать’; *gasaljan* ‘приносить в жертву’; *saihan* ‘видеть’; *kunnan* ‘знать’; *qiþan* ‘говорить, называть’; *haitan* ‘называть’; *anahaitan, andhaitan* ‘объявить’.

В сравнении с древнеисландским здесь отсутствует группа глаголов со значениями ‘считать, мнить, полагать’, зато новым является глагол чувственного восприятия *saihan* ‘видеть’.

При глаголах *taujan* и *gataujan* ‘сделать’ встречается сочетание с предлогом *du*. Отклонение от двойной конструкции наблюдается также при глаголах называния, где предикативный винительный может заменяться, как в греческом, именительным, ср. J. 13, 13 *jus wopeid mik: laisareis jah frauja* ὑμεῖς φωνεῖτέ με ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος.

В древненемецком картина довольно пестрая. С двойным именительным падежом встречаются глаголы в значении *namnjan* ‘наименовать’, ‘быть’, ‘становиться’, ‘называться’, ‘являться’, ‘казаться’ и др. Ср.: Ludwl. *Kind warth her fatherlos* ‘ребенком он лишился отца’; Ludwl. *heizsit er Hluduig* ‘он зовется Людвиг’; *swer niht wohl gereden kan, der swige und dunke ein wiser man* ‘кто не умеет красиво говорить, пусть молчит и кажется умным человеком’ и т. д.

Помимо этих глаголов в той же функции встречаются и конкретные глаголы, отсутствовавшие в готск.: ‘ходить’, ‘приходить’, ‘бегать’, ‘сидеть’, ‘носить’ и др., ср.: O. *thû bist herasun queman druhtines sun* ‘ты явился сюда <как> сын владыки’; *diu gêt noch magedin* ‘она идет еще девой’; Jw. *der lief nu harte balde ein tôre in dem walde* ‘безумный, он бежал очень быстро в лесу’; *daz ich in ritter solde tragen* ‘чтобы я носил его <щит> в качестве рыцаря’; *des starb er mensche und starb niht got* ‘deshalb starb er <als> Mensch und nicht <als> Gott’.

В сочетании с винительным падежом круг таких глаголов значительно уже. Редко выступают уже в древневерхненемецком глаголы *tuon* и *machen*, ср. T. *duost thih selbon got* ‘самого себя делаешь богом’. Обычно в этой роли встречается предлог *zi*. Столь же редко встречается *lazen*: O. *ni lazû ih iwih weison* ‘не покину я вас сиротами’. Под влиянием латинского, однако, такие глаголы удерживаются и даже увеличиваются в числе. Так, в соответствии с латинским источником, встречаем у Тациана в этой функции глаголы знания и понимания *wizzan, forstantan*. В средне-

верхненемецком появляются еще *vinden, erkennen, bekennen, halten* и др. Ранний новонемецкий широко пользуется такими глаголами, но затем это употребление окончательно изживается, переживая в застывших формулах и в языке поэзии.

Предикативное употребление существительных, таким образом, наиболее полно представлено в древнеисландском. Готский и древненемецкий тоже сохраняют ряд особенностей древнего употребления, но в значительной части оно здесь уже устранено. Правда, о живом употреблении в этих языках трудно судить, поскольку литература на них является переводной и находится под влиянием латинского и греческого языков. Это влияние, как мы видели, обусловило в ряде случаев не только устранение, но и искусственное насаждение старого оборота. Разложение старых отношений в немецком особенно ярко проявляется в винительном падеже. Впрочем, мы имеем пока возможность лишь весьма односторонне судить об исторических тенденциях. Ниже будет показано, что прогресс измеряется здесь не только количественным ограничением числа входящих в такие сочетания глаголов.

2. Прилагательное в роли предикативного атрибута

В сочетаниях с именами прилагательными мы в позиции двойного именительного падежа находим в древнеисландском, кроме встречавшихся нам раньше глаголов, ряд новых. Вместе со старыми они образуют следующий перечень:

vera 'быть': НН. 53, 1–6 *Ey var Helgi, | Hundings bani, | fyrstr i fólki, | þar er firar þorðoz, | æstr á imo, | alltrauðr flugar* 'вечно был Хельги, умертвитель Хундинга, первым в рати, где мужи сражались, передовым в битве, несклонным к бегству'; Skm. 5, 4–5 *þviat ungir saman | vórom i árdaga* 'ибо юными мы были некогда вместе' и т. д.

verða 'становиться' (с существительными этот глагол требует предложного сочетания): Háv.: 129, 7–8 *gialti glikir | verða gumna synir* 'подобными вопреку становятся сыны человеческие <в битве >'; 53, 4–5 *þviat allir menn | urðot iafnspakir* 'ибо не все люди становятся <т. е. являются> одинаково разумными'; Sk. 49 *þá varð sær saltr* 'тогда море стало соленым'; Gg. 26 *epli þau, er goðin skulu á bita, þá er þau eldast ok verða þá allir ungir* 'яблоки те, что боги вкушают, когда они стареют, и становятся тогда все <от этого> молодыми'; Gunnl.: 13, 81–82 *Illugi varð feginn Gunnlaugi syni sínum* 'Иллуги обрадовался Гунляугу, своему сыну', букв. 'стал радостный'; 16, 24–25 *ok lauk svá þeira viðskipti, at kann drap þá báða, enn hann varð ekki sárr* 'и кончилась тем их стычка, что он убил их

обоих, а сам не был <букв. стал> ранен'; Þorv. þ. 2, 10 *allr varð vátr steinninn* 'весь камень стал влажным'.

skulu 'долженствовать': Nj. 74, 6 *En ef Gunnar færi eigi útan ok mætti hann komaz, þá skyldi hann dræpr fyrir frændom ens vegna* 'и если Гуннар не выедет из страны или окажется доставленным, то подлежит он убийству <букв. должен (стать) подлежащим убийству со стороны родичей убитого'.

Чрезвычайно многочисленны сочетания с конкретными глаголами движения и состояния. Приведу сначала примеры из Эдды:

koma 'приходить': Vm. 8, 2–3 *nu emk af gongo kominn | þyrstr til þinna sala* 'я пришел жаждущий издалека в твои хоромы' (аналогично Ls. 6, 1–3); Háv. 156, 6–8 *heilir hildar til, | heilir hildi frá, | koma þeir heilir hvaðan* 'невредимыми на битву, невредимыми с битвы, невредимыми отовсюду приходят'; Vm. 4, 1–2 *Heill þú farir! | Heill þú aptir komir!* 'по здорову <букв. здоровый> ты едешь, по здорову вернешься'.

fara 'путешествовать, ехать': Háv. 47, 1–2 *Ungr var ek forðom | för ek einn saman* 'был я некогда юн, был в пути я один'; Ls. 31, 6 *hryggr muntu heim fara* 'печальный уйдешь ты домой'; Háv. 114, 6 *ferr þú sorgafullr at sofa* 'спать ты пойдешь озабоченный'.

renna 'бежать': НН. II, 4, 5–8 *sem fyr ulfi | óðar rynni | geitr af fialli, | geiska fullar* 'как от волка неистовые мчатся козы с горы, полные страха'.

risa 'подниматься, вставать': Нум. 31, 1–2 *Harðr reis á kné | hafra drottin* 'твердо <букв. твердый> привстал на колено повелитель козлов <т. е. Тор, — чтобы метнуть>'; Vdr. 4, 7 *unz nauðig reis* 'пока она не встала по принуждению <букв. принужденная>';

hniga 'наклониться': Gðr. I, 15, 1–2 *þá hné Guðrún | holl við bólstri* 'тогда склонилась Гудрун круто <букв. крутая> на подушку'.

fylgja 'следовать за': НН. II, 4, 5–8 *ef hanom Sigrlinn | sæfr á armi | ok ónauðig | iðfri fylgir* 'если спать будет Сигрлин в его объятьях и добровольно <букв. непринужденная> за князем последует'.

hverfaz 'обернуться, отвернуться': Sg. 46, 1–2 *Hvarf sér óhróðugr | andspilli frá* 'удалился подавленный прочь от беседы'.

vakna 'пробудиться': Vkv. 11, 3–4 *ok hann vaknaði | vilia lauss* 'и проснулся он безрадостный'.

sitja 'сидеть': Vkv. 6, 1–4 *þat spyrr Niðuðr, | Niára dróttin, | at einn Völundr | sat í Úlfadöllum* 'О том узнал Нидуд, повелитель Ньяров, что Волунд один сидит в У.'; Vkv. 38, 3–4 *en ókátr Niðuðr | sat þá eptir* 'а Нидуд остался сидеть невеселый'; Нут. 2, 1–2 *Sat bergbúi | barnteitr* 'сидел житель гор по-детски веселый'; Нм. 10, 5–7 *okkr skaltu ok, Guðrún, | gráta báða, | er hér sitiom feigir á mörum* 'нас ты будешь оплакивать обоих, Гудрун, нас сидящих здесь на конях в чаянии смерти' (или 'близких к смерти').

liggja 'лежать': Grp. 11, 1–4 *Mundu einn vega | orm inn frána, | þann er gráðugr liggur | á Gnítaheiði* 'ты один сразишь сверкающего змея, что лежит голодный <жадный, хищный> в Г.'; Нум. 37, 1–4 *Fórot lengi, | áðr liggja nam | hafr Hlórriða | hálf dauðr fyrir* 'не успел далеко отъехать, как свалился козел Громовержца полумертвый'.

lifa 'жить': Fm. 8, 6 *þú fannt, at ek lauss lifi* 'ты нашел, что я живу свободный'.

Примеры из прозы:

koma 'приходить': Nj.: 115, 4 *ef hann riði þrjú sumur til þings ok kvæmi heill heim* 'если он три лета будет ехать на тинг и возвращаться невредимым'; 82, 13 *Gunnar var bróðurson Þráins ok hafði komtt til hans ungr* 'Туннар был сыном брата Т. и пришел к нему молодой'; 34, 7 *þeir Hǫskuldr ok Hrótr kómu til bóðsins fjölmennir* 'Хоскульд и Хрут прибыли со множеством народа', букв. 'многолюдные'; Eg.: 56, 4 *ok munda ek vilja, at þú kæmir þadan eigi heil í brot* 'и полагаю я, что ты не выберешься отсюда здоровым'; 51, 5 *en Aðalsteinn kom ungr til ríkis* 'А. взошел молодым на престол'; Eb. 29 *Björn var blóðugr heim kominn* 'Б. вернулся домой окровавленный'.

ganga 'ходить': Nj. 51, 12 *Gizurr hvíti gekk fyrstr* 'Г. шел первый'; Нв. 18, 10 *hann gekk opt berfættr um nætr í snjóum ok frostum* 'он ходил босиком <букв. 'босой> по ночам в снег и морозы'.

falla 'падать': Eg. 44, 12 *fell hann dauðr niðr* 'он свалился мертвый, пал за смерть' (аналогично Gg. 50 и часто); Кт. 9, 15 *ek læt fallaz berr á saxodd* 'я брошусь голый на острие ножа'.

fara 'ехать, путешествовать': Nj. 59, 20 *ok far þú fjölmennr jafnan* 'и езжай постоянно с многочисленной свитой', букв. 'многолюдный'; Eg. 61, 3 *Egill skal fara frá minum fundi heill ok ósakaðr* 'Эгиль уедет после встречи со мной цел и невредим'.

riða 'ехать <верхом>': Nj. 97, 12 *ok riðu menn heim af þingi ósáttir* 'и уехали люди с тинга непримиренными'.

renna 'бежать': Nj. 53, 3 *en annar rann hjá lauss* 'а другой <конь> бежал рядом без седока', букв. 'свободный'.

liggja 'лежать': Nj. 51, 8 *Hann liggur sjúkr heima at búð* 'он лежит больной в своей палатке' (аналогично Nj. 51, 9 и часто); Eg.: 84, 9 *ok sonr Steinars lá þar hjá honum dauðr* 'и сын С. лежал рядом с ним мертвый'; 44, 13 *Ólvir lá þarvitleauss* 'О. лежал там без сознания', букв. 'потерявший сознание'.

hlaupa 'бежать': Nj. 84, 12 *Kári hleypr yfir slá eina, er lá um þvert skipit, aprt ofugr* 'Кари бежит по бревну, лежавшему поперек корабля, задом наперед', букв. 'повернутый назад'.

skiljaz 'расставаться': Eg. 13, 11 *ok skilduz sáttir* 'и расстались они с миром, примирившиеся'.

spretta 'прыгаты': Nj. 138, 28 *Eyjólfr spratt upp reiðr* 'Э. вскочил разгневанный'.

В прозе, как мы видим, весьма часты связанные обороты вроде *liggja sjúkr, liggja dauðr, koma heill, falla dauðr, ganga berfætr, hlaupa aprt ofugr*.

Глаголы мнения и кажимости, иначе «идеального возникновения» ('казаться', 'считаться' 'являться' и т. п.):

þykkja 'казаться': | НН. 46, 1–2; НН. II, 24, 1–2 *þikkiat mér gódir | Granmars synir* 'не кажутся мне добрыми сыновья Гранмара'; ННv. 1, 5–7 *þó hagligar | Hiqrvarz konor | gumnom þikkia* 'все же людям кажутся милыми жены Хьорварда'; Sk. 43 *spakr þótti mér | spillir bauga* 'умным сдается мне ломатель колеп <князь>'; Qos. 1, 17 *qllum þótti hann góðr* 'всем казался он добрым', 'все считали его добрым'; Nj. 1, 2 *Hann var... svá mikill lagamaðr, at engir þóttu Iqgligr dómar, nema hann væri við* 'он был таким большим правоведом, что суды не считались законными, если он отсутствовал'; Gg. 50 *sá pótti mér ungr at krefja eiðsins* 'тот показался мне <слишком> молодым, чтобы потребовать с него клятвы'.

sýnaz 'казаться': Gunnl. 1, 46 *vaskligr sýndisk mér hann* 'он казался мне мужественным'; Kг. 3, 4 *þeim sýndiz qll kirkjan elds full* 'вся церковь казалась им полной огня'; Nj. 75. 10 *Fqgr er hliðinn, svá at mér hefir hon aldri jafnfqgr sýnz* 'прекрасен лесистый склон, никогда он мне не казался таким прекрасным'; Sk. 41 *enn er hann sá bauginn, þá syndist honum fagr* 'и когда он увидел кольцо, то показалось оно ему прекрасным'.

litaz 'приглянуться, понравиться': Eg. 7, 5 *leiz honum mærin fqgr* 'дева показала ему красивой'.

Пассивные глаголы, образованные от активных, управляющих двойным винительным падежом:

gørast, vera gorr 'сделаться': Br. 2 *Enn Æsir urðu illa við hvarf Iðunnar ok gerðust þeir brátt harir ok gamlir* 'и асы стали плохо жить с исчезновением Идун, и стали они вскоре седыми и старыми'; Eg. 1, 8 *En dag hvern er at kveldi leið, þá gerðiz hann styggr* 'и каждый день к вечеру он делался угрюмый'; Þogv. þ. 8, 2 *nú eru vér gqrvir rækir ok reknir sem skæðir vargar* 'вот сделались мы гонимыми и затравленными как хищные <вредные> волки'.

vera borinn 'родиться': Nj. 98, 5 *hann hafði blindr verit borinn* 'он родился слепой'.

vera gefin 'быть выданной замуж': Nj. 129, 17 *Ek var ung gefin Njáli* 'я была рано <букв. молодая> выдана замуж за Ньяла'.

vera dreginn 'быть вытасканным': Þogv. þ. 3 *þeir váru þaðan dauðir dregnir* 'они были оттуда извлечены мертвыми'.

látask ‘пуститься, решиться’: Am. 75, 7–8 *samr létsk ok Atli | at sína gørva* ‘охотно <букв. ‘довольный, радостный’> решил Атли для своих это сделать’.

vera heitinn ‘называться’: Háv. 63, 3 *sá er vill heitinn horskr* ‘тот, кто хочет слыть разумным’; Am. 61, 8 *lǫskr mun hann æ heitinn* ‘негодным будет он слыть в веках’.

vera taliðr ‘считаться’: Grp. 21, 5–7 *rétt emka ek | rádspakr taliðr* ‘не по праву считаюсь я мудрым’.

Перейдем к глаголам, которые управляют двойным винительным. Из числа глаголов д е л а н и я (*verba faciendi*) и т. п. в сочетаниях с прилагательными находим:

gøra ‘делать’: Háv. 123, 4–6 *en góðr maðr | mun þik gørva mega | liknfastan at lofi* ‘хороший человек может похвалой сделать тебя крепким’; НН. 41, 9 *gørðir þik frægjan* ‘ты сделал себя знаменитым, прославил себя’; Нлр. 5, 5–8 *hvé gørdo mik | Giúka arfar | ástlausa | ok eiðrofa* ‘как меня сделали наследники Гьюки лишенной любви и клятвопреступницей’; Sk. 16 *þá vildi hann launa Gró lækningina ok gera hana fagna* ‘тогда пожелала она вознаградить лечею Гро и обрадовать ее’, букв. ‘сделать ее радостную’; Еб. 37, 5 *ef þér gerið mik varan við* ‘если вы меня поставите в известность об этом’, букв. ‘сделаете сведущего’; Vqls. 38, 18 *Gerir hon sik nú bliða í orðum* ‘она прикидывается <букв. делает себя> веселой в разговоре’; Ег.: 11, 7 *Konungr tók þá vel orðum Þórólfs ok gerði sik þá bliðan ok katan* ‘конунг принял хорошо слова Торольфа и сделался приятным и веселым’; 36, 20 *ok gera máttu... hann svá kærán þér, sem þu vilt* ‘и можешь сделать его настолько близким себе, насколько ты того пожелаешь’.

láta ‘пускать’: Am. 93, 2 *léto stórráða* ‘говорят, что ты горделива’, букв. ‘<тебя> пускают <быть> горделивой’, ‘man lässt dich die stolze sein’; Vols. 38, 69–70 *ok létum þann ríkan, er svá vildi* ‘мы делали <букв. пускали> того могучим, кто этого желал’; весьма часто *láta lausan* ‘пустить свободным, т. е. на свободу, освободить’: Nj. 157, 21 *þá létu djöflar hann lausan* ‘тогда черти отпустили его на свободу’; Ег.: 40, 15 *Skallagrímr lét þá lausan Egil*, ср. еще 22, 34; Kr. 5, 7; Þorv. þ. 1, 4.

setja ‘садить’: Am. 99, 7–8 *settom þann sælan, | er sér ne áttit* ‘мы сделали того счастливым, кто ничего не имел’.

hafa ‘иметь’: Gðr. II, 34, 1–4 *þann mun ek kíósa | af konungom, | ok þó af niðiom | nauðig hafa* ‘его я выберу из конунгов и все же буду иметь его, принужденная <к тому> сородичами’.

bera ‘нести’: Нум. 29, 7–8 *báro þó heilan | fyr Hymi síðan* ‘все же принесли его <т. е. кубок> Химиру целым <неразбитым>’.

senda ‘посылать’: Þorv. þ. 1, 12 *litlu áðr hefði hann hertekna sonu þessa sama hertoga leyst ok sent heim frjálsa til fjoður síns* ‘незадолго до этого он

отпустил на волю полоненных сыновей этого воеводы и послал свободными домой к их отцу’.

kaupa ‘купить’: Háv. 83, 3–4 (*skal*) *magran mar kaupa, | en mæki saurgan* ‘лошадь нужно покупать тощей, а меч заржавленным’.

sýna ‘показывать’: Nj. 61, 9 *þessi hönd skal þer syna Gunnar dauðan í kveld* ‘эта рука укажет тебе вечером Гуннара мертвым’.

Глаголы знания, понимания, мнения и т. д.:

vita ‘знать’: Gðr. I, 4, 3–4 *Mik veit ek á moldo | munar lausasta* ‘себя знаю я <как> несчастнейшую на свете’ (букв. ‘как лишенную любви’); Akv. 7,

5–7 *Minn veit ek mar betstan, | en mæki hvassastan, | hiálm ok skiöld hvítastan* ‘я знаю, что мой конь лучше всех, меч острее всех, а шлем и щит блестящее

всех других’, букв. ‘я знаю моего коня <в качестве> лучшего’ и т. д., ср.: Vqls. 33, 47–48 *veit ek minn hestinn beztan ok sverðit hvassast, gullit ágætast* ‘я знаю, что мой конь лучше всех и меч самый острый и золото самое прославленное’; Sd. 21, 1–2 *Munka ek flæia, | þótt mik feigan vitir* ‘не побегу я, даже если бы ты знала, что я близок к смерти’ (букв. ‘меня близкого к смерти’); Nj. 62, 10 *Eigi vil ek þat... þótt ek vita vísan bana minn* ‘не хочу я этого, хоть и знаю, что смерть моя неминуема’, букв. ‘знаю верную мою смерть’; Gg. 6 *svá heitir sá maðr, er vér vitum mestan ok ágæztan* ‘так зовется человек, которого мы знаем <как> величайшего и мудрейшего’.

kunna ‘знать’: IB. 1, 1 *þess mannz, er ek kunna spakastan* ‘человек, которого я знал <как> умнейшего’.

vilia ‘хотеть’: Am. 99, 5–6 *vógom ór skógi, | þannz vilom syknan* ‘мы убийством освобождали из леса <т. е. изгнания> того, кого хотели <видеть, знать> невинным’; Nj. 154, 11 *hon vildi hann gjarna feigan* ‘она желала весьма <знать видеть> его умирающего’, т. е. ‘желала ему смерти’; Nj. 59, 17 *kvaz heldr vilja Gunnar dauðan fyrir höggit* ‘сказал, что предпочитает <букв. хочет>, чтобы Гуннар был убит за удар’.

reyna ‘испытать, узнать’: Þorv. þ. 2, 17 *ek hefi reynt þik flærðarfullan ok mjök ómeginn* ‘я познал тебя <как> очень коварного и немощего’.

spyrja ‘услышать, узнать’: Eg. 52, 11 *þingharðan spyrk þengil þann* ‘я знаю князя <как> храброго’; Sg. 40, 5–8 *Allt mun þat Atli | eptir finna, | er hann mína spyrr | morðfyr gorrva* ‘все это Атли тогда откроет, когда услышит о свершившемся убийстве’.

fregna ‘узнать’: Eg. 52, 11 *þingharðan frá ek þengil þann* ‘я слышал о князе, что он отважен’.

trúa ‘верить’: Þorv. þ. 2, 8 *ef þú trúir hann þér góðan ok nauðsynligan* ‘если ты считаешь его хорошим по отношению к тебе и полезным’.

ætla ‘мнить’: Vqls. 27, 79 *Heilluð ertu, ef þú ætlar grimman minn hug við þik* ‘ты околдована, если думаешь, что сердце мое враждебно тебе’.

vænta 'надеяться,' ждaть': *væntir ek þik mér ok þeim altraustan* 'я надеюсь, что ты чрезвычайно верен мне и им' (Lund).

Глаголы выскaзывaния и именовaния (*verba dicendi et nominandi*):

telja 'расскaзывать': *telja hana fullmjök diarfa ok úvitra* 'говорят, что она чрезвычайно смелa и безрассуднa', букв. 'говорят ее слишком смелую и безрассудную' (Lund).

kveða 'сказывать, называть': Fm. 12, 2; 14, 2; Vm. 26, 2; 28, 2 *allz þik fróðan kveða* 'ведь тебя называют <считают> разумным'; Vm. 24, 2; 30, 2 и др. *allz þik svinnan kveða* 'ведь тебя называют мудрым <быстрым разумом>; Нум. 28, 5–8 *kvaðat mann ramman, | þótt róa kynni, | kropturligan, | nema kálk bryti* 'сказал, что тот хотя и умеет грести, но не является могучим и сильным, если не разобьет кубок'; Nj. 121, 2 *þik kveð ek at þessu fyrstan* 'тебя я называю первым'.

segja 'говорить': Nj. 12, 5 *Dauðan segir þú þá Þorvald* 'ты говоришь, следовательно, что Торвальд мертв', букв. 'его мертвого'; Eg. 44, 7 *ok aldregi drakk svá at eigi sagði hann sik þyrstan* 'и никогда не напивался так, чтобы не утверждать, что он жаждет'.

kalla 'называть': Þrk. 17, 3–4 *Mik muno æsir | argan kalla* 'меня асы назовут негодным'; Þogv. þ. 5, 4 *þeir kolluðu okkr raga* 'они назвали нас негодными'; Nj. 133, 4 *Hann kallaði fyrstan Grim enn rauða* 'он назвал первым Грима Красного'; Кг. 13, 3 *ok kalla þeir hann helgan* 'и назвали они его святым'; Еб. 31, 8 *þviat ek kalla þik heraðhofðingja ok skyldan at rétta þeira manna hlut, er áðr eru vanhlyta* 'потому что называю тебя хофдингом и обязанным упорядочить дела тех людей, которые потерпели ущерб'.

nefna 'называть, именовать': Nj. 122, 10 *nefni ek fyrstan Hall mág minn* 'первым называю я Халя, моего родственника'.

Глаголы внешнего восприятия и нахождения:

sjá 'видеть': Rm. 24, 4–6 *tálar dísir | standa þér, á tvær hliðar | ok vilja þik sáran síá* 'коварные дисы стоят по обе стороны от тебя и хотят видеть тебя раненым'; НН. II, 27, 5–6 *þann sá ek gylfa | grimmuðgastan* 'я узнал <букв. увидел> его, <как> наиболее злоумышленного из князей'; Gðr. III, 10, 3–4 *er hann heilar sá | hendr Guðrúnar* «когда он увидел руки Гудрун невредимыми»; Vqls. 32, 12–13 *mikinn gny gerði Grani, þá er hann sá sáran sinn lánardróttin* 'великий шум поднял тогда Грани, когда он увидел раненым своего господина'; Gunnl. 5, 24 *ok sá opit útibur sitt* 'и увидел свои сени открытыми'.

finna 'находить': Vkv. 4, 4 *sali fundu auða* 'они нашли покои пустыми'; ННv. 36, 7–8 *ef hon vill finna | fylki kvikvan* 'если она хочет найти князя живого', т. е. 'в живых'; Vols. 29, 71–72 *Sigurðr gekk út ok fann opinn salinn* 'Сигурд вышел и нашел покой открытым'; Еб. 37, 21 *ok fundu*

Arnkel, bónda sinn, dauðan 'и нашли Арнкеля своего хозяина мертвым'; аналогично Eb. 32, 10; Nj. 98, 18.

hitta 'встретить': Sk. 49 *Engi maðr grandaði föðrum, þótt hann hitti fyrir sér föðurbana eða bróðurbana lausan eða bundinn* 'никто не наносил вреда никому, даже если б встретил кто убийцу отца или убийцу брата своего свободным или связанным'.

В косвенных падежах и здесь двойная конструкция встречается редко, но все же чаще, чем с существительным в предикативной форме. Род. пад.: Gg. 53 *kyks né dauðs | nautk-a ek karls sonar* 'нет мне проку в нем ни в живом, ни в мертвом'; дат. пад.: Sk. 51 *lét Atli konungr skera hjarta ór Högna kykvum* 'конунг Áтли приказал вырезать сердце у Хогни живьем'; Sk. 51 *þá tók Aðils konungr af honum dauðum hjálminn Hildsvln* 'тут конунг А. снял с него мертвого шлем'; Nj. 116, 14 *at þú hefmir allra sára, sem hann hafði á sér dauðum* 'чтобы ты отомстил за все раны, которые он, будучи мертв, имел на себе'; Nj. 145, 6 *Þórhallr kastaði honum dauðum af spjótinu* 'Торхаль сбросил его мертвым с копья'; Eb. 26, 9 *þeir kómu at þeim Vigfúsi óvörum* 'они пришли к В. и его людям ничего не ожидавшим', т. е. 'неожиданно', но ср. предложное сочетание Nj. 62, 11 *Ekki kemr mér þat at óvörum*.

Сопоставляя употребление имен прилагательных в предикативном втором падеже с параллельным употреблением существительных, находим, что круг первых шире. В сочетаниях с прилагательными встретились не только отдельные глаголы, как *verða*, не сочетающиеся в древнеисландском языке с двойным именительным существительного, но и целые новые разряды глаголов, как глаголы чувственного восприятия и нахождения. То же отмечает Вильманс относительно готского и немецкого: «Прилагательные и причастия чаще всего употребляются предикативно»...¹⁸⁸ «Реже, чем прилагательное, употребляется предикативно существительное».¹⁸⁹ И здесь речь идет не только о количестве примеров, но и о круге управляющих двойным падежом глаголов. Кроме упомянутых ранее в готском, например, находим еще глаголы мнения: *rahnjan* 'считать', *munan* 'полагать,, думать', *domjan* 'судить, считать', глаголы нахождения: *bigitan* 'находить' и др.

Эту закономерность вскрыл впервые Потевня на материалах русского языка. Относительно двойного именительного он писал: «... круг глаголов в обоих случаях не один и тот же. Именно с именительным существительного уже в древнем языке о б ы к н о в е н н о сочетаются кроме *быти*, только глаголы вещественного и идеального возникновения

¹⁸⁸ Wilmanns. III. С. 666.

¹⁸⁹ Там же. С. 669.

(*мьньтися, явитися, творитися, чинитися, наречися, зватися* и т. п., и страдательные сочетания *явленъ, сътворенъ, избъранъ, нареченъ* и т. п.) и гораздо реже глаголы, как: *ити, роста, жити, ... умерети* и т. п.).¹⁹⁰ Аналогично и в вин. пад.: «Большая предикативность прилагательного... сказывается в употреблении его во втором винительном не только при глаголах, с коими сочетается существительное (*cognoscendi, nominandi, faciendi*), но и при глаголах движения, как: *яти (схватить), вести, нести, сълати, веречи* и других, как *ясти, жьрти*, коих общее значение трудно определить точнее».¹⁹¹

Ограничиваясь пока простой констатацией разницы между существительными и прилагательными в функции предикативного атрибута, мы отметим здесь лишь то, что разряды глаголов, отсутствующие в сочетаниях с существительными, в разных языках различны: в русском отсутствуют конкретные глаголы движения, в древнеисландском же эта категория представлена довольно полно, но зато отсутствуют глаголы чувственного восприятия и нахождения. Древнеисландский отражает здесь сравнительно с древнерусским типологически более древнее состояние, когда существительное еще сравнительно широко употреблялось в роли предикативного атрибута.

3. Причастие в роли предикативного атрибута

Обратимся прежде всего к причастиям настоящего времени. В сочетаниях с именительным встречаются следующие глаголы:

vera ‘быть’: Ам. 4, 3 *fárs var hann flýtandi*, букв. ‘он был осуществляющий злое намерение’; Нáv. 18, 6 *sá er vitandi er vits* ‘тот, кто в своем уме’, букв. ‘тот, кто есть разумеющий разумом своим’; Ls. 23, 4–6 *átta vetr | vartu fyr iqrð neðan | kýr mólkandi ok kona* ‘восемь лет был ты внизу на земле доителем коров и женщиной’; в прозе: Þogv. р. 2, 17 *Ek hefí þik dyrkat svá sem nytsamligan ok styrkan guð, meðan ek var óvitandi ens sanna* ‘тебя я почитал как благодетельного и сильного бога, пока я не знал истины’, букв. ‘пока я был несведущий <относительно> истины’; Nj. 36, 28 *Ert þú nokkurs ráðandi hér* ‘распоряжаешься ли ты здесь в какой-либо степени, являешься ли хозяйкой’, букв. ‘есть ли ты распоряжающаяся чем-либо?’; Nj. 8, 6 *Mæli ek svá fyrir, at þeir sé allir heyrandi váttar, er hjá eru at Lqgbergi, at ek skora þér á hólmi* ‘провоолашаю я так, чтобы все слышали <были слышашие> свидетели, которые стоят у законодательной горы, что я вызываю тебя на поединок’. Реже

¹⁹⁰ ИЗРГ. I–II. С. 178.

¹⁹¹ Там же. С. 309.

встречаются в таких сочетаниях причастия от интранзитивных глаголов. Как отмечает Нюгорд (Norr. Synt. § 231, § 236), последние употребляются главным образом в поздних произведениях так наз. «ученого стиля», ср. *svá var fólkit rasanda* ‘так неистовствовала дружина’, букв. ‘так она была неистовствующей’.

Что в таких сочетаниях мы имеем дело не с описательной глагольной формой (типа англ. *he was going*), видно из того, что транзитивные причастия имеют при себе дополнение в родительном падеже. Тем самым как бы подчеркивается именной характер причастия и его независимость от связки. В приведенном выше примере Ls. 23 причастие *mólkandi* и существительное *kona* стоят параллельно, *mólkandi* здесь приближается по своей функции к *nomem actionis*, это как бы существительное — ‘доярка’. Отмечая подобное сходство функций, Потевня вместе с тем подчеркивал, что «это сходство не простирается до тождества». «Когда, — писал он, — для объяснения сочетаний с причастиями ставим на место сих последних существительные, то этим увеличивается расстояние сочетаний с причастием от простого глагола, т. е., утрируя особенность этих сочетаний, делаем ее более осязательною».¹⁹² Отсюда вытекает, что древние сочетания с причастиями занимают промежуточное положение между описательной глагольной формой и сочетаниями связки с существительными в новых языках. С сочетаниями последнего рода их сближает тот момент, что на древней ступени такое сочетание есть не одна форма, а соединение двух слов; отличает же их — способность превратиться в единую глагольную форму, не свойственная оборотам с существительными.

В сочетании с *vera* встречаются еще причастия наст. вр. в пассивном значении. В таких случаях причастие осложняется дополнительными значениями, выражая необходимость, возможность, способность и т. д. Ср. (примеры из Нюгорда): *at leita, ef þaðan væri byggjanda landit* ‘исследовать, может ли страна быть оттуда заселена, годится ли она для заселения’; *skal ek þik gipta nokkurum þeim höfðingja, er mér sé eigandi vinátta við* ‘выдам я тебя за одного из тех хофдингов, дружба с которым мне выгодна, удобна’; *er yðr þá eigi segjandi saga til* ‘вам не следует говорить об этом’, букв. ‘это не сказуемо вам’; *er þat þolanda* ‘это терпимо’ и т. д. Это употребление расширяется в более поздних сочинениях. Пассивное значение, мало свойственное причастиям наст. вр. в атрибутивной функции, способствует изоляции и обособлению этих оборотов.

Кроме *vera*, с причастиями наст. вр. сочетаются еще глаголы д в и ж е н и я. Здесь выделим сначала случаи, когда причастие само не образовано от глаголов движения:

¹⁹² ИЗРГ. I—II. С. 138.

ganga ‘ходить’; Gðr. II, 5, 1–2 *Gekk ek grátandi* | *við Grana ræda* ‘плача <букв. плачущая> пошла я с Грани беседовать’; Vkv. 29, 5–8 *Hlæjandi Vǫlundr* | *hófz at lopti*, | *grátandi Bǫðvildr* | *gekk ór eyju* ‘со смехом поднялся Волунд в небо, а Бодвильд с плачем пошла с острова’; Nj. 54, 9 *nú munu þeir reyna, hvárt hann gengr grátandi undan þeim* ‘теперь они узнают, как <говорить, что> он ушел с плачем от них’ (если в первых примерах глагол сохраняет полностью свое самостоятельное значение, то в последнем глагол как бы сливается с причастием в одно понятие ‘уходить с плачем’⁵ = ‘заплакать’); Nj. 116, 13 *hon gekk þegjandi at Flosa* ‘она молча подошла к Флоси’.

hverfa ‘повернуться’: Ghv. 7, 12 *Hlæiandi Guðrún* | *hvarf til skemmo* ‘со смехом Гудрун пошла в горницу’.

renna ‘бежать’: Hdl. 47, 1–2 *Rannt at Óði* | *ey þreyiandi* ‘вечно тоскуя, бежала ты к Оду’.

fara ‘передвигаться, ехать’: Nj. 133, 3 *hann fór kallandi* ‘он шел, называя <людей по имени>’.

Когда причастие образовано от глаголов движения, оно теснее примыкает к глаголу. Ср. примеры из Эдды: Vsp. 66, 1–2 *þar komr inn dimi* | *dreki fliúgandi* ‘тут прилетает темный дракон’, точнее, ‘приближается летая’; Od. 32, 1–3 *þá kom in arma* | *út skævandi* | *móðir Atla* ‘тогда приползла злосчастливая мать Атли’, букв. ‘пришла ползая’; Grt. 12, 3–4 *svá at fold fyrir* | *fór skialfandi* ‘так что земля содрогнулась, раскалываясь’. Ср. еще Vkv. 8, 5–8 *Kom þar af veiði* | *veðr-eygr skyti* | *Vǫlundr, líðandi* | *um langan veg* ‘пришел туда с охоты ветроглазый(?) стрелок Волунд, пройдя большой путь’. Примеры из прозы (с одним лишь глаголом *koma*) приводит Нюгорд (Norr. Synt. § 229): *kom hann þá hlaupandi sem skjótast* ‘прибежал он туда как можно скорее’; *þeir kómu farandi* ‘они приехали’; *kómu þar fliúgandi hrafnar tveir* ‘прилетели туда два ворона’.

В косвенных падежах причастие наст. вр. в произведениях «народного стиля» в функции предикативного атрибута почти не встречается. Очень редки такие случаи, как в прозаическом послесловии к Вг. *sumir segja svá, at þeir dræpi hann inni í rekkju sinni sofanda, en þat seggja allir einnig, at þeir vágu at honum liggjanda ok úbúnum* ‘некоторые говорят, что они убили его спящим в кровати, и все сходятся на том, что убили его лежащим и безоружным’.

Под латинским влиянием в произведениях «ученого стиля» позднее возникает употребление причастия в качестве второго винительного, ср.: *lýðr minn heyri mik mælanda við þik* ‘люди мои слышали, как я говорил с тобой’, букв. ‘меня говорящего с тобой’; *þeir sjá fjöllin skinandi af mikilli birti* ‘и видят они, как гора сияет <букв. гору сияющую> в большом блеске’ и т. д. (Norr. Synt. § 229, 1). Однако, как будет показано позже в связи с разбором сочетаний типа *accusativus cum infinitivo*, такое упот-

ребление причастий не может быть поставлено в ряд с древним употреблением.

В готском языке причастия наст. вр. встречаются в роли предикативного атрибута несравненно чаще, чем в древнеисландском.¹⁹³

В соединении с *wisan* причастия иногда соответствуют греческим глаголам; например Cor. I, 11, 2 *Gamunandans sijuf* μέμνησθε. Обычно же такие сочетания соответствуют греческой описательной форме, имеющей дуративное значение, ср.: Mt. 7, 29 *was auk laisjands ins* ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοῦς; Mc. 2, 18 *wesun siponjos Johannis jah Fareisaieis fastandans* ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοτες и т. д. Глагол *wairþan* ‘становиться’ в таких сочетаниях передает греческие описательные обороты с γίγεσθαι, ср. L. 6, 16 *warþ galew-jands ina* ἐγένετο προδότης. Реже такое сочетание употребляется для передачи будущего времени: Mc. 13, 25 *stairnons himinis wairþand driusandeins* οἱ ἀστέρεις... ἔσονται πίπτοντες.

Глаголы *wisan* и *wairþan* в таких оборотах нередко сохраняют полностью свое знаменательное значение, и тогда трудно определить, имеет ли причастие аппозитивное или предикативное значение, ср. Mc. 1, 4 *was Johannes dauþjands in auþidai jah merjands dauþein* ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα.

Кроме того, в именительном падеже причастный предикативный атрибут в готском сочетается с пассивными глаголами, управляющими в активном залоге вторым винительным причастия. Сюда относятся глаголы внешнего восприятия, нахождения и познания: *saihan* ‘видеть’, *hausjan* ‘слышать’, *ufkunnan* ‘узнать’, *witan* ‘знать’, *gamunan* ‘помнить’, *bigitan* ‘находить’ и некоторые другие, ср. Mt. 6, 17 *salbo haubeiþ þein ei ni gasaihwazau mannam fastands* ἀλειψαί σου τὴν κεφαλὴν ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων. Примеры сочетаний с винительным падежом: Mt. 8, 14 *gasah swaihron ligandein in heitom* εἶδεν τὴν πενθερὰν βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν; Mc. 5, 30 *ufkunþa Jesus þo us sis maht usgag-gandeitl* ἐπιγνούς τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν; Mc. 12, 28 *gahausjands ins samana sokjandans* ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων и др.

С двойным винительным далее сочетаются здесь глаголы в ы с к а з ы в а н и я и ф а к т и т и в н ы е, как *kannjan* ‘извещать’, *insakan* ‘указывать’, *ustaiknjan* ‘выражать, обозначать’ и др. Наконец, в этом сочетании выступают другие, еще не встречавшиеся нам до сих пор глаголы окончания действия и пребывания: *usfulljan*, *gaandjan* ‘кончить, завершить’ и *hweilan* ‘пребывать’, ср.: Mt. 11, 1 *usfullida Jesus anabiudands þaim twalif siponjam* ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς; L. 5, 4 *gaandida rodjands* ἐπαύσατο λαλῶν; Col. 1, 9 *ni hweilaidedum faur izwis bidjandans jah aihtron-dans* οὐ παύομεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι

¹⁹³ Zs. f. d. Phil., V. C. 423 слл.

καὶ αἰτούμενοι. Глаголы *н а ч и н а н и я*, в греческом имеющие аналогичную конструкцию, в готском сочетаются не с причастием, а с инфинитивом. Таким образом, здесь двойной винительный оказывается замененным винительным с инфинитивом. В других случаях конструкция *accusativus cum infinitivo* стоит рядом с двойным падежом. Так, при глаголах *чувственного восприятия и знания* встречаются как обороты типа Mt. 6, 14 *gasahv swaihron ligandein*, так и тип J. 6, 62 *gasaihviþ sunu mans ussteigan* θεωρεῖτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα. К этому параллелизму форм нам еще придется вернуться.

Древненемецкий язык в отношении употребления причастия наст. вр. напоминает готский. Здесь причастие наст. вр. сочетается не только с глаголом бытия и становления, но и с глаголами движения, познания, чувственного восприятия и фактивными.

Переходим к употреблению причастия прош. вр. В древнеисландском употребление этого причастия в роли предикативного атрибута гораздо более распространено, чем употребление причастия наст. вр.

vera 'быть'. Из многочисленных примеров сочетаний с этим глаголом приведу лишь некоторые: Gðr. II, 2, 1–4 *Svá var Sigurðr | ofsonom Giúka, | sem væri grænn laukr | ór grasi vaxinn* 'так возвышался <букв. был> Сигурд над сынами Гьюки, словно зеленый порей, из травы поросший'; здесь *vaxinn* может быть понято как предикативное и как аппозитивное причастие, ср. еще Sk. 51 *váru þá gervir eldar stórir fyrir þeim* 'были там разведены большие костры перед ними' или 'были там большие костры, разведенные перед ними'.

verða 'становиться': Sd. 8, 5–6 *þér verðr aldri | mein blandinn miqðr* 'никогда у тебя не будет <букв. станет> мед смешанный с злыми чарами' или 'никогда не будет смешан'; Sk. 46 *ok urðu þeir handteknir* 'и были взяты в полон' или 'они оказались плененными'.

Глаголы движения:

fara 'передвигаться, ехать': Am. 92, 5 *Beiddr fór ek heitman* 'по принуждению ехал я из дому', букв. 'принужденный'.

riða 'ехать, ехать верхом': Háv. 61, 1–2 *þveginn ok mettr | riðr maðr þingi at* 'умытым и одетым пусть едет каждый на тинг'.

skriða 'скользить': НН. 36, 11–12 *hefr í hreysi | hvarleiðr skriðit* 'ты полз в горах всем ненавистный'.

ganga 'ходить': Gg. 19 *enn þú gangir lengr duliðr þess, er skylt er at vita* 'чем если бы ты долго ходил лишенным того, что следует знать'.

sækja 'преследовать, вести дело': Nj. 135, 6 *ok sæk nú óhræddr* 'и веди дело безбоязненно', букв. 'безбоязненный'.

Глаголы *ф а к т и в н ы е* и глаголы *о б л а д а н и я*, сочетающиеся с двойным винительным:

láta ‘оставить’: Háv. 110, 4–6 *Suttung svikinn | hann lét sumbli frá | ok grætta Gunnlōðu* ‘он оставил Сутунга обманутым насчет напитка, а Гунлод в слезах’; Am. 20, 7 *lokitt því léto* ‘они оставили это завершённым’, т. е. ‘покончили с этим’.

reyna ‘испытать’: в пассиве с двойным именительным Eg. 8, 8 *ef mér reyniz Þórólfr jafnvel mannaðr, sem hann er sýnum fulldregiligr* ‘если Торольф покажет мне себя столь же благовоспитанным, насколько он мужественный с виду’.

hafa ‘иметь’: Sd. 19, 5–7 *hveim er þær kná óviltar | ok óspiltar | sér at heillom hafa* ‘тот, кто ими < рунами > может владеть, не путая и не искажая их’. Здесь глагол *hafa* полностью сохраняет свое знаменательное значение. В других случаях он обнаруживает склонность к служебной функции, ср. Gunnl. 1 *Nú hefi ek þyddan draum þin* ‘вот я истолковал твой сон’, букв. ‘вот я имею твой сон <как> истолкованный’. Формальное значение глагола в прозе настолько окрепло, что сплошь и рядом нарушается согласование причастия с первым винительным, и оно ставится в форме средн. р., чем подчеркивается связь причастия с глаголом.

eiga ‘иметь’: Akv. 30, 2–3 *sem þú við Gunnar áttir | eida opt um svarða* ‘как ты имел <здесь в смысле ‘сдержал’> клятвы, данные Гунару’; *eiga* ‘иметь, обладать’ выявляет здесь свое материальное значение так интенсивно, что в переводе на новый язык требуется глагол более конкретный ‘ты держишь, сохраняешь, выполняешь клятвы’. Ср. еще НН. 39, 1–3 *Nío áttu vit | á nesi Sago | ulfa alna* ‘девять мы там вдвоем возрастили волков’, букв. ‘имели взращенных’.

fá ‘получить’: Sd. 9, 1–3 *Biargrúnar skaltu nema, | ef þú vilt borgit fá | ok leysa kind frá kono* ‘предохраняющие руны ты возьми, если хочешь невредимым принять и вызволить дитя из чрева матери’. В прозе сочетание *fá* с причастием среднего рода принимает характер описательной формы с модальным значением, ср. Gg. 35 *at þeir mundi eigi fá bundit ulfinn* ‘что они не смогут связать волка’.

Глаголы чувственного восприятия, знания и высказывания:

sjá ‘видеть’: Þorv. þ. 2, 5 *En er hann... sá biskup vegligum skrúða skrýddan ok alla þá, er honum þjónudu, klædda hvítum klæðum* ‘и когда он увидел епископа, наряженного в роскошный наряд, и прислуживавших ему людей, одетых в белые одежды’.

vita ‘знать, увидеть’: Vkv. 11, 3–4 *ok hann vaknaði | vilia lauss: | vissi sér á hǫndom | hǫfgar nauðir, | en á fótom | fiqtur um spentan* ‘и проснулся он лишенный радости: увидел на руках у себя тяжелые оковы и на ногах — натянутую цепь’ или ‘увидел, что натянута цепь’; Grm. 53, 3 *þitt veit ek líf um liðit* ‘я знаю, что твоя жизнь завершилась, прошла’, букв. ‘я знаю твою прошедшую жизнь’.

hyggja ‘думать, представлять’: Gðr. 40, 1–4 *Hugða ek hér í túni | teina fallna, | þá er ek vildak | vaxna láta* ‘я видела, что в саду срезаны ростки, которые я бы хотела оставить расти’, букв. ‘я видела срезанные ростки’; Am. 17, 1 *Biðrn hugða ek her inn kominn* ‘мнилось мне, что сюда вошел медведь’.

kveða ‘говорить’: Nj. 65, 8 *Hann kvaz þess alþúinn* ‘он сказал, что он к тому готов’ (здесь двойной именительный, как всегда в случаях возвратной формы).

Глаголы чувственного восприятия, знания и высказывания, а также *láta* допускают при себе параллельные сочетания винительного с инфинитивом. В текстах двойной винительный и оборот с инфинитивом могут встречаться рядом, ср. Gðr. 40, 1–2 *Hugða ek hér í túni | teina fallna* и Gðr. 41, 1–2 *Hugða ek mér af hendi | hauka fliuga* ‘я видела, будто у меня с руки полетели соколы’; Am.: 17, 1 *Biðrn hugða ek hér inn kominn* и, с другой стороны, 19, 1 *Qrn hugða ek hér inn fliuga* ‘мнилось мне, будто сюда влетел орел’; еще несколько раз следует причастие: 22, 1 *Gorvan hugða ek þér galga* ‘я видела, будто готова для тебя виселица’; 24, 1–2 *Blóðgann hugða ek mæki | borinn ór serk þínom* ‘я видела, будто вытаскен из твоей кольчуги окровавленный меч’, затем снова следуют обороты с инфинитивом: Am. 24, 5–6; 26, 1–2; 28, 1–2. Но такие случаи не дают еще основания полагать, как то делает Нюгорд, что в оборотах с причастием опущен глагол *vera* (Norr. Synt., § 245). С этой точки зрения одна конструкция отличается от другой, как полный вариант от сокращенного. В действительности, как увидим, постановка в оборотах с предикативным причастием глаголов *vera, verða* исторически и типологически явление более позднее, чем отсутствие их.

На положении дел в готском мы долго задерживаться не будем. Причастие прош. вр. здесь встречается во всех тех случаях, когда встречается причастие наст, вр., и, сверх этого, при глаголах движения как *gaggan* ‘ходить’, *insandfan* ‘посылать’. В древненемецком, насколько я могу судить, употребление причастий прош. вр. в предикате по объему совпадает с соответствующим употреблением причастий наст. вр.

Мы можем теперь подытожить результаты обследования причастий. Употребление причастий в качестве предикативных атрибутов в целом шире аналогичного употребления существительных и близко подходит к нормам употребления прилагательных. Однако поведение различных причастий в германских языках в этом смысле неодинаково: исландский, а частично и готский материал показывают, что причастия настоящего времени уступают причастиям прошедшего времени по широте употребления и в некоторой степени приближаются к предикативным существительным.

4. Разложение древнего предикативного атрибута

Категория предикативного атрибута, в той или другой мере присущая всем древним индоевропейским языкам, в процессе дальнейшего развития подвергается значительным ограничениям и заменяется новыми формами. Эти новые формы в разных языках различны, но повсюду можно отметить некоторые сходные тенденции. Рассмотрим прежде всего замены существительного в роли предикативного атрибута.

Если сопоставить современный норвежский (риксмол) с древнеисландским или, что то же, древненорвежским, то получится разительный контраст. Так, например, двойной винительный в новом языке возможен лишь в некоторых застывших оборотах, вроде *han tror sig en gud* 'он мнит себя богом', *hun følte sig moder* (немецк. *sie fühlte sich Mutter*) и при глаголе *kalde* 'называть'. Так, др.-исл. *borgin kolluðu þeir Ásgarð* 'они назвали город Асгард' может быть переведено на современный норвежский с сохранением старой конструкции: *borgen kaldte de Asgard*, но возможна и новая конструкция с предлогом *kaldte de for Asgard*. В других случаях старый оборот уточняется при помощи *som* 'как, в качестве', например *de satte ham som vogter over broen* 'они поставили его стражем моста'; *han vista sig som en dygtig mand* 'он проявил себя в качестве деловитого человека' (Falk-Torp, Syni, § 68).

Аналогичное положение имеем и в немецком. Двойной именительный сохраняется здесь при глаголах *sein*, *bleiben*, *heissen*, *scheinen*; в других случаях выступают сочетания с *zu*, *für* или *als*, например, *er wurde zum Vorsitzenden gewählt* 'он был избран председателем', *er wird für einen weisen Mann gehalten* 'он считается умным человеком', *er wird als Held betrachtet* 'его считают героем' и т. д.

На русском материале эти процессы чрезвычайно тщательно и подробно обследованы Потемной.¹⁹⁴ Он рисует картину постепенного ограничения существительного в роли атрибута в сказуемом и замены его преимущественно предикативным творительным. Так, др.-русск. *Онъ же нынѣ ворогъ ми ся учинилъ* соответствует совр. *он сделался мне врагом*; архаическому обороту в фольклоре *Не огонь иду, не обожгу, не змея плыву, не ѓклюю* соответствует в фольклоре же другой более обычный способ сочетания: *Подходила тут скорая смерѣтушка, она крадчи шла злодейка душегубица, по крылечку ли она молодой женой, по новым ли шла сеням да красной девишкой* и т. д. В косвенных падежах древние выражения, как: *уже не называю вас, рабов* или *я брал тебя жену себе по разуму* заменяются другими: *не называю вас рабами, я брал тебя в жены*.

¹⁹⁴ ИЗРГ. I—II. С. 493 слл.

Замены предикативного существительного, таким образом, весьма многообразны, и приведенные иллюстрации, разумеется, не исчерпывающе всего многообразия возможных приемов. Так, некоторые иные пути использует классический латинский язык, устраняющий многие архаические черты «старой» латыни. Классическая латынь устраняет прежнее состояние отчасти путем ограничения количества глаголов, управляющих двойным падежом, отчасти путем грамматизации сравнительных частиц *tamquam, quasi*, отчасти же путем приравнения оборотов типа *volo te consulem* к конструкции винительного с инфинитивом *volo te consulem esse* (Stolz-Schmalz; стр. 383 слл.). Последнее составляет специфическое средство, не встречавшееся нам ранее при рассмотрении новых языков. Это было достаточно действенное средство, поскольку, как увидим, подобным уравниванием функций достигалось ограничение старых расплывчатых форм.

Прилагательное и причастие в роли предикативного атрибута также подвергаются изменению. Так, в немецком языке они теряют флексию и подчас осложняются предлогами, ср.: *krank liegen, offen stehen, zufrieden stellen, gefangen nehmen, sich verlassen sehen, sich sicher glauben, einen glücklich preisen; für glücklich halten, für falsch erklären* и т. д. Ограничение согласования имеет место и в скандинавских языках, ср. новонорв.: *jeg ved mig uskyldig, tro sig sikker, prise en lykkelig, føle sig syg, slaa sig løs* и т. д. В русском такие прилагательные в именительном падеже при одних глаголах («глаголах вещественного движения и пребывания в состоянии», по Потебне) остаются неизменными, ср.: *он пришел пьяный, я уехал недовольный сам собой, она вернулась вся побледневшая*, при других глаголах заменяются творительным падежом: *город показался мне многолюдным, обращение его стало дружеским, он сделался веселым* и т. д. (у классиков здесь обычно нечленная форма прилагательного, ср.: Пушкин. *дом стал для меня постыл*; Лермонтов. *он сделался бледен как полотно*; Крылов. *от того прибыток вышел мал*).

В чем же смысл всех этих замен?

Исследователи формалистического толка либо вовсе не ставят этого вопроса, либо дают на него поверхностный и неубедительный ответ. Бехагель, например, видит причину исчезновения двойного винительного в том, что старый оборот был недостаточно определенным: *consulem elegerunt legatum* могло, де, означать и ‘консула избрали легатом’ и ‘легата избрали консулом’.¹⁹⁵ Такое объяснение выхватывает случайный и единичный пример и делает этот пример ответственным за серьезный переворот в строе языка. Легко увидеть, что, например, область

¹⁹⁵ Dt. Synt. I. С. 701.

предикативных прилагательных и причастий таким объяснением совершенно не затрагивается. Да и в сочетаниях с существительными это искусственно подобранный случай. Впрочем, при отсутствии представления о закономерных сменах синтаксических отношений, такой «метод» объяснения оказывается весьма распространенным.

Столь же мало состоятельной была предпринятая Паулем попытка объяснить возникновение предикативного винительного.¹⁹⁶ Пауль указывал, что в современном языке при фактитивном глаголе *machen* возможна двоякая конструкция *ich mache ihn zum Narren* и *ich mache einen Narren aus ihm*. Из контаминации таких оборотов по аналогии с *er wird Ritter* возникло, согласно Паулю, средневерхненемецкое *ich mache in ritter*. В этом объяснении есть и «контаминация» и «аналогия», т. е. все то, что составляет неизменный арсенал «психологических» приемов младограмматиков, но нет желания считаться с реальными фактами истории языка. Каким чувством пренебрежения к содержанию языковых процессов нужно было обладать, чтобы допустить такое чудовищное *hysteron proteron*, при котором позднейшая дифференциация членов предложения рассматривается как источник их первоначальной однородности.

Если подобные формалистические взгляды не заслуживают особого рассмотрения, то теория вопроса, разработанная Потебней, во многом сохраняет свое значение для нас и поныне. Потебня правильно характеризует синтаксические особенности предикативного падежа в древнем языке, определяя эту форму как предикативный атрибут или атрибут в сказуемом. Это определение вскрывает двойственные связи второго падежа, его одновременное тяготение к первому падежу и к глагольному сказуемому. В этом двойном аспекте А. Потебня исследует категорию, не выпуская из поля зрения ни одной из форм ее проявления. Порывая с флективно-морфологическим принципом исследования в грамматике, этот вдумчивый исследователь не ограничивается прослеживанием дальнейших судеб второго падежа, а специально привлекает к рассмотрению все «замены» старой формы в новом языке, независимо от того, в какой морфологической области они лежат. Все это придает большую ценность наблюдениям Потебни, хотя Потебня, увлеченный порочной философией языка, не сумел до конца извлечь правильных выводов из своих наблюдений.

Как же Потебня характеризует значение процесса разложения предикативного атрибута? «На месте двух одинаковых косвенных падежей, ставших друг к другу в отношение, отличное от простой атрибутивности, — пишет он в конце второго тома своего исследования, — с течени-

¹⁹⁶ Raul H. Prinzipien der Sprachgeschichte. 4 Aufl., § 207.

ем времени становится винительный с творительным, родительный с творительным, дательный с творительным. На месте предикативного атрибута, согласуемого с подлежащим, лишь во многих, но не во всех случаях ставится творительный, причем два прежние именительные..., где они остались, получают новый смысл. Перед нами здесь разложение бывших прежде однородными функций членов предложения. Если в области внешней органической природы разграничение органов есть усложнение и в этом смысле усовершенствование жизни, то и здесь мы должны видеть усложнение душевной жизни и усовершенствование языка». ¹⁹⁷ Потепня, таким образом, видит содержание процесса развития в том, что ранее однородные формы с течением времени подвергаются разграничению.

Но о какой первоначальной «однородности» идет в данном случае речь?

Если имеется в виду однородность первого и второго падежей, то эти категории, как неоднократно отмечал сам Потепня, по своей функции уже в древнем языке не совпадают и, следовательно, однородными в древнем языке они были лишь в формальном и чисто внешнем отношении. С этой точки зрения изменение коснулось лишь средств выражения, но ничего существенно нового в семантику грамматических форм не внесло. Потепня, впрочем, тут же уточняет свою мысль. В разложении предикативного атрибута он видит ограничение принципа согласования, в древнем языке играющего большую роль, чем в нынешнем. Рост несогласуемых форм за счет согласуемых выражает, по его мнению, прогрессирующее усиление роли личного глагола в предложении. Предикативный атрибут в итоге развития как бы теряет непосредственные связи с первым падежом и относится к нему в новом языке через глагол. Глагол-де, становится средоточием предложения, и его предикативная сила увеличивается за счет предикативности имени и причастия. В этом мнимом росте глагольной «силы» за счет имени и заключается, по мнению Потепни, квинтэссенция грамматического развития.

В своих рассуждениях Потепня опирается на тот несомненный факт, что второй предикативный падеж в дальнейшей эволюции отрывается от определяемого и попадает в формальную зависимость от личного глагола. Но можно ли рассматривать этот факт как самостоятельный и видеть в нем основу основ всего развития? — Никоим образом: за этим внешним фактом, который Потепня переоценивал в силу предвзятой идеи об общей тенденции развития предложения «от имени к глаголу» скрываются более глубокие и важные для истории языка процессы.

¹⁹⁷ ИЗРГ. I—II. С. 534 слл.

Категория предикативного атрибута существенно меняется в своем содержании при переходе на новую ступень. Потебня определяет предикативный атрибут, противопоставляя это понятие простому атрибуту и приложению. Различие значений он иллюстрирует следующим примером: выражение *босая девица вышла на мороз* грамматически отличается от выражений *девица, босая, вышла на мороз* и *девица вышла босая на мороз*. В первом примере *босая* — атрибут, во втором — приложение, в третьем — предикативный атрибут. Приложение, отмечает Потебня, в зародыше содержит в себе отношения противительное и уступительное: ‘босая, а вышла’, ‘хотя босая, но вышла’, чего нет в собственном определении. Несмотря на это расхождение функций, определение и приложение стоят, согласно Потебне, друг к другу ближе, чем к предикативному атрибуту. «Определение и приложение, — пишет он, — означают признаки, уже данные в определяемом прежде, чем возникает действие; атрибут в сказуемом есть признак, возникающий вместе с действием или посредством его».¹⁹⁸ Это различие значений Потебня находит готовым в древнем языке. Для двойного именительного он приводит в качестве примера: *Царь <определение> Кирь избранъ бысть... Кирь, царь Персьскъ <приложение>, избранъ быть... и Кирь избранъ бысть царь* (предикативный атрибут), соответственно для винительного падежа: *избраша царя Кира, избраша Кира, царя Персьска и избраша Кира царя*. Анализ этих значений у Потебни представляется недостаточно полным, а отнесение их к древнему этапу не подкреплено фактами.

«Скрытая семантика» приложения не исчерпывается противительным и уступительным значением. Приложение содержит в себе также зачатки причинности и условности, ср.: *а он, мятежный, просит бури*, т. е. ‘будучи мятежным’, ‘оттого, что он мятежный’ и т. д.; *больной, он не станет этого делать*, т. е. ‘когда он болен’ или ‘если он болен, или еще ‘потому что он болен’ и т. д. Общей основой всех этих значений является о д н о в р е м е н н о с т ь состояния или признака, выраженного приложением, и действия, выраженного личным глаголом. Потебня прав, утверждая, что аппозитивный признак возникает в определяемом независимо от глагольного действия, но при этом им оставляется без внимания другая сторона приложения — его свойство выражать признак, в известной мере п а р а л л е л ь н ы й глагольному действию и с о п р о в о ж д а ю щ и й последнее. Это отдаляет приложение от определения, которое выражает признак не столько «данный в определяемом прежде, чем возникает глагольное действие» (Потебня), сколько абсолютный и независимый от глагола, ср.: *поэт А. родился в таком-то году*, где определение *поэт* не зависит ни от материального содержания глагола ни от

¹⁹⁸ ИЗРГ. I—II. С. 117.

его временного значения. Таким образом, если мы вслед за Потемней будем исходить из отношения атрибута к глаголу при характеристике различных разрядов определения, то приложение мы должны будем объединить не с простым определением, а с предикативным атрибутом, который также тяготеет к глаголу, хотя и не в том смысле, как приложение.

Ошибка Потемни в этом частном вопросе заключается, следовательно, в том, что, определяя грамматическую природу такой промежуточной категории, как приложение, он находит возможным сближать приложение с простым определением и их вместе противопоставлять предикативному определению. И простой атрибут и приложение, говорит Потемня, выражают готовые признаки предмета, данные до глагольного действия, и, следовательно, оба они могут быть противопоставлены предикативному атрибуту, как выражению признака, вновь возникающего в результате глагольного действия. Но это лишь одна и, к тому же, наименее важная сторона дела. Гораздо важнее то, что приложение, так же как и предикативный атрибут, является определением, **о г р а н и ч е н н ы м** в о в р е м е н и, чего нельзя сказать о простом атрибуте. Эта ограниченность во времени выражается их формальной связью с глаголом. В этом отношении как приложение, так и предикативный атрибут противостоят простому определению, как определению абсолютному и не уточненному в отношении времени.

Потемня, далее, некритически переносит все эти различия в древний язык. Имеются ли в древнем языке явления, которые можно однозначно подвести под понятие приложения? Несомненно. Ср., например, др.-исл. *ННv. Pr. Heðinn strengði heit til Svávo, Eylimu dóttur, unnustu Helga bróður sins* ‘Хедин дал обет Сваве, дочери Эулими, возлюбленной Хельги, его брата’, или др.-русск. *Киафа, архиереи сы льту тому, рече им* и т. д. Но это еще не дает права делать вывод о существовании в древнем языке различия между аппозитивным и предикативными атрибутом. В этих примерах предикативное значение заранее исключается и невозможно. Между тем спор о том, различал ли древний язык указанные категории, может быть решен лишь на таких примерах, где в принципе возможно как одно, так и другое истолкование формы.

Рассматривая с этой точки зрения приведенный выше материал, мы находим, что древний язык грамматически не разделяет эти значения. Лишь контекст помогает в некоторых случаях выбрать один из возможных оттенков. Ср.: *Vkv. er vér heil hú | heima vórom* ‘когда мы, счастливая чета, были дома’, либо еще ‘когда мы дома были счастливой четой’; *Am. leyfð vartu ekkia* ‘ты была прославленной вдовой’, либо еще, ‘будучи вдовой, ты была прославлена’; *Fm. ek gengit hefð | inn móðurlausi mögr* ‘я был <букв. ‘ходил’> сиротой, ребенком без матери’, но могло бы значить и ‘будучи сиротой, я ходил’, как в *Vm. sú skal riða |... móður brautir |*

mær ‘девою она будет бродить по тропам матери’; *viljum vér þik einn konung hafa* ‘хотим мы тебя иметь в качестве единого конунга’, либо еще ‘хотим мы иметь тебя, единого конунга’; *þik virði ek mann góðan* ‘тебя, человека доброго, я ценю’ и ‘тебя я почитаю в качестве доброго человека’; *heimta þingsfarar kaup at hánum hálfan eyri* ‘потребовать с него пол-эйры, штраф за неявку на тинг’ или ‘потребовать с него пол-эйры в качестве штрафа за неявку на тинг’ и т. д.

Та же нерасчлененность значений наблюдается в области предикативного употребления прилагательных и причастий:

Skm. *ungir saman* | *vórom í árdaga* ‘<будучи> юными, мы некогда были вместе’; без *saman* могло бы еще значить: ‘некогда мы были юными’; Eg. *leiz honum mærin fagr* ‘дева показалась ему красивой’, ‘дева, будучи красивой, приглянулась, понравилась ему’; Vm. *nú emk af gongo kominn* | *þyrstr til þinna sala* ‘я пришел в твои хоромы из дальнего пути жаждущий’ и ‘испытывая жажду, я пришел в твои хоромы’; Háv. *ferr þú sorgfullr at sofa* ‘озабоченный, ты пойдешь спать’ и ‘ты пойдешь спать озабоченный’; Ls. *hryggr muntu heim fara* ‘опечаленный, ты уедешь домой’ или ‘ты уедешь домой опечаленный’; Ls. *en mik bráðan kveða goð öll ok gumar* ‘меня называют разумным боги все и люди’, ‘все боги и люди говорят обо мне, разумном’; Gðr. *er hann heilar sá* | *hendr Guðrúnar* ‘когда он увидел руки Гудрун, бывшие невредимыми’, ‘когда он увидел, что руки Гудрун невредимы’; Vðs. *er hann sá sáran sinn lánardróttin* ‘когда он увидел своего раненого господина’, ‘когда он увидел, что его господин ранен’ и т. п.

Hdl. *Rannt at Óði* | *ey þreyiandi* ‘вечно тоскуя, бежала ты к Оду’ или ‘ты, вечно тоскующая, бежала к Оду’; Vkv. *grátandi Þoðvildr* | *gekk ór túni* ‘Бодвильд ушла с острова с плачем’, ‘плача, Бодвильд удалилась с острова’; Háv. *Suttung svikinn* | *hann lét sumbli frá* ‘он оставил Сутунга, обманутого относительно напитка’, ‘он оставил его обманутым, обманул его’; Þoqv. *þ. sá biskup vegligum skríða skryddan* ‘увидел епископа, наряженного в роскошный наряд’, ‘увидел, что он наряжен в роскошный наряд’ и т. д.

Двойственность конструкции с предикативным причастием уже отмечалась в свое время применительно к готскому языку: «Ныне эта конструкция совершенно исчезла: теперь вместо причастия употребляют либо причастие с простым инфинитивом (без *zu*) или придаточное предложение с *dass*; вместо *gasahv ija ligandein* теперь говорят *ich sah sie liegen*, или *ich sah, dass sie lag*. Конструкция с инфинитивом встречается уже в готском, где она два раза замещает греческое причастие: Mc. 13, 29 *þan gasaihviþ þata wairþan* ὅταν ταῦτα ἴδῃτε γινόμενα и J. 6, 62 *gasaihviþ sunu mans ussteigan* θεωρήτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα. Равным образом встречается уже конструкция с *þatei*, но только там, где в греческом стояло ὅτι... Впрочем, иногда трудно решить, предикативно или

атрибутивно (следовало бы сказать: аппозитивно, — С. К.) употреблено причастие. В последнем случае оно замещает новонемецкое относительное предложение. Если причастие стоит предикативно, то восприятие направлено главным образом на действие, исходящее от лица, если же оно стоит атрибутивно, то само лицо служит объектом восприятия, а причастие выступает рядом для более точного определения лица. Описательные выражения нового языка делают это различие более явственным: *ich sah, dass ein Mensch fiel* и *ich sah einen Menschen, welcher fiel*. В готском оба значения сливаются (im Gotischen läuft beides zusammen), и мы должны устанавливать смысл на основании контекста. Многие из приведенных выше примеров сомнительны; Mt. 9, 9 *gasahu mannan sitandan at motai* в равной мере хорошо передается как посредством *er sah einen Mann, der am Zoll sass*, так и *er sah, dass ein Mann am Zoll sass*. И пример Cor. II, 12, 2 *wait mannan frawul-wanana* можно бы перевести *ich kenne einen Mann, welcher entrückt wurde*, если бы позднее не стояла описательная конструкция с *þatei*: *wait þatei frawulwans warþ*, из чего следует, что основной интерес рассказчика сосредоточен на действии, а не на самом субъекте действия». ¹⁹⁹

На широком материале истории славянских языков впервые эту нерасчлененность функций сочетаний с предикативным причастием отметил А. Потехня. Винительный причастия, замечает он, в примерах одного рода «есть с точки зрения позднейшего языка, очевидно, второй, или предикативный винительный; в других он может быть принят за простое определение или приложение, но отделение одних примеров от других затруднительно, так как древний язык не дает для этого никаких оснований». ²⁰⁰ Потехня ссылается при этом на такие примеры: Ип. *Видь Петра ѷдуца и поругася ему* ('увидел Петра, ехавшего' или 'увидел, что Петр едет'); Лавр. *Услышав же Всеволод полонену жену и съ детми и имтьнье взято, печалень бысть велми*; Ип. *Половци видьвьше стада своя взята... вобрьдоша во Днѣпръ*. В ряде случаев можно отдать явное предпочтение одному из значений, так, в примере Лавр. *Заутра же видьъша людье князя бѣжавша и възвратишася Кыеву* причастие имеет несомненно предикативное значение ('увидели, что князь бежал'), в то время как в О. Ев. *Видьъша юношѣ съдѣлиць... одѣтъ в одеждѣ бѣлѣ* оно выступает как приложение. Но выбор значения в таких примерах обусловлен общим контекстом, грамматически же он и здесь ничем не ограничен. Что до третьего, простого атрибутивного значения, то оно в этих примерах невозможно, если под простым определением понимать атри-

¹⁹⁹ Gering. Über den synt. Gebrauch der Partizipia im Gotischen. Zs. f. d. Phil. V. С. 428.

²⁰⁰ ИЗРГ. I-II. С. 312 сл.

будт никак не связанный с глаголом. В выражении *видѣша стада взята*, согласно Потепне, скрыты два значения ‘увидали, что стада взяты’ и ‘увидали взятые стада’.²⁰¹ Но во втором из них причастие имеет аппозитивное значение. Полисемантизм древней формы лучше передается сложными оборотами: ‘увидали, что стада взяты’ и ‘увидали стада, которые были взяты’. В обоих случаях выражается временный характер причастного признака и его связь со сказуемым. Только содержание этой связи остается в древнем языке нераскрытым. Древний язык не уточняет, в о з н и к а е т ли признак, обозначенный причастием, вместе с глагольным действием или же, зародившись независимо от глагола, он лишь п р о я в л я е т с я одновременно с глагольным действием. Связь причастия со сказуемым подчеркивается именной формой причастия. Это значение именной формы в древнем языке было хорошо известно Потепне.²⁰²

Можно показать, что нерасчлененность аппозитивной и предикативной функции была свойственна не только причастному второму падежу. Примеры с прилагательным О. Ев. *Когда же та видѣхомъ страньна... или нага... больна; Иже створи мя цѣла* и некоторые другие можно поставить в один ряд с приведенными выше причастными оборотами. И здесь форма допускает двоякое толкование: ‘видел, что ты болен’ и ‘видел тебя, когда ты был болен’. Если, однако, в древнерусском случае подобной неясности в сочетаниях с прилагательными встречаются сравнительно редко, а в сочетаниях с существительными еще реже, то это показывает лишь, что древнерусский язык успел в большей мере изжить нормы архаической речи, чем древнеисландский.

Потепня не придавал должного значения древней диффузности аппозитивного и предикативного атрибута, которую он отметил как бы мимоходом. В целом Потепня придерживался взгляда, согласно которому второй падеж в древнем языке выражал предикативность в отличие от простой атрибутивности и аппозитивности. «Причина, по которой второй винительный не смешивается с простым определением или приложением, — писал он, — заключена в вещественном значении действительных глаголов *cognoscendi, sentiendi, declarandi, faciendi*, от которых он косвенно зависит. Если бы *nona* в *постави мя nona* имело значение простого атрибута (*мя nona постави*), то речь была бы не кончена, возбуждала бы ожидание (чем поставил?), не удовлетворяя его; между тем общий смысл речи в каждом отдельном случае удостоверяет, что так быть не может, но что второй винительный дает предложению полный смысл. Это выражается и тоном речи, отчасти и порядком слов».²⁰³

²⁰¹ Там же. С. 303 сл.

²⁰² Там же. С. 181 сл.

²⁰³ ИЗРГ. I-II. С. 305.

Но, как мы видели, как раз после глаголов восприятия, знания и речи (*Видь Петра ѣдуща; Ип. Изяславъ не слыша Гюргя пришедша; Новг. Фрази же увѣдавъше ята Исако-виця воеваша волость около города; Ип. Тогда бо глаголахуть тму бывшую в Галичи*) причастие может быть истолковано и как предикативный атрибут, и как приложение ('видел, что Петр едет', и 'видел едущего Петра').

Потебня, отстаивая иной взгляд на вещи, ссылается на «неполное» значение глаголов, обязательно требующих наличия предикативного определения и не дающих законченного смысла предложению при отсутствии такого определения, а также на порядок слов и интонацию. Что касается интонации, то судить о ней в древнем языке мы не можем за отсутствием данных. Можно лишь полагать, что интонация как средство разграничения приложения и предикативного атрибута могла выработаться не раньше других средств разграничения этих категорий и, во всяком случае, не раньше, чем сами эти категории оказались разграниченными в сознании. Порядок слов в таких сочетаниях действительно препятствует смешению предикативного определения с простым, но не является достаточным средством разграничения предикативного определения и приложения. Решающей является ссылка на «неполное» значение глаголов, что Потебня и выдвигает на передний план. Но откуда известно, что глаголы, представляющиеся нам с точки зрения современных языковых норм «неполными», действительно были «неполными» уже в древнем языке?

Здесь мы подошли к новой стороне дела, к вопросу о развитии значения глаголов, сочетающихся с предикативным определением. Однако прежде чем сосредоточиться на этом вопросе, мы разберем еще некоторые древние обороты, близкие по своей функции к обороту с «двойным падежом».

Пока же ограничимся выводом, что предикативное определение в древнем языке первоначально во всех случаях (а не только в случаях с причастиями, как думал Потебня) могло совмещать в себе функции приложения и собственно-предикативную, строго отграниченные друг от друга в современном языке.

5. Оборот винительного с инфинитивом в роли предикативного определения

Предшествующее изложение показало, что рядом с двойным падежом в древнем языке часто стоит оборот винительного с инфинитивом (*accusativus cum infinitivo*). Рассмотрим подробнее взаимоотношения этих форм.

Сначала приведу материалы по инфинитивному обороту из стихотворной Эдды.

Глаголы з н а н и я: *vita*: Vsp. 19, 1–2 *Ask veit ek standa*, | *heitir Yggdrasil* ‘я знаю ясень стоячий, зовется он Игдрасиль’, или ‘я знаю, что стоит ясень по имени Игдрасиль’; Grm. 12, 4–6 *á því landi*, | *er ek liggia veit* | *fæsta feiknstafti* ‘в стране, о которой я знаю, что в ней меньше всего лежат руны зла’; Þrk. 13, 7–10 *Mik veitstu verða* | *vergiarnasta*, | *ef ek ek með þér* | *í iotunheima* ‘ты узнаешь, что я стала похотливой <или: ты узнаешь меня, как похотливую>, если я поеду с тобой в мир йотунов’; *hyggia*: Vm. 2, 4–6 *þviat engi iotun* | *ek hugða iafnframman* | *sem Vafþrúðni vera* ‘ибо я ни об одном йотуне не думаю, чтобы был он таким же искусным, как Вафтруднир’, или ‘ибо я не думаю, чтобы был <нашелся> йотун столь же искусный, как В.’; Háv. 24, 1–3 *Ósnotr maðr* | *hyggr sér alla vera* | *viðhlæiendr vini* ‘неразумный человек полагает, что все улыбающиеся ему являются его друзьями’; Hrbl. 20, 4–5 *hardan iotun* | *ek hugða Hlébard vera* ‘я счел, что Хлебарт отважный йотун’.

Глаголы восприятия: *sjá*: Vsp. 39. 1–4 *Sá hon þar vaða* | *þunga strauma* | *menn meinsvara* | *ok morðvarga* ‘она видела грозные потоки, которые несли <или: как они несли> людей вероломных и убийц’, и еще: ‘она видела, что грозные потоки’ и т. д.; Vsp. 35, 1–4 *Hapt sá hon liggia* | *und hvera lundi* ‘она видела пленника, лежавшего у леса’, или ‘она видела, что пленник лежит у леса’; Vsp. 38, 1–3 *Sal sá hon standa* | *sólo fiarri*, | *Náströnd á* ‘она видела чертог, стоящий вдали от солнца на побережье мертвых’; Vsp. 59, 1–4 *Sér hon upp koma* | *oðro sinni* | *iord ór ægi*, | *idia-græna* ‘видит она землю, что во второй раз поднимается из моря, вновь зеленая’, или ‘видит, что земля’ и т. д.; Vsp. 64, 1–4 *Sal sér hon standa*, | *sólo fegra*, | *gulli þakþan*, | *á Gimlei* ‘видит она чертог, стоящий на Гимле, прекраснее солнца, крытый золотом’; Háv. 70, 4–5 *eld sá ek upp brenna* | *auðgom manni fyrir* ‘я видел, как горел огонь перед богатым мужем’; Háv. 118, 1–3 *Ofarla bíta* | *ek sá einom hal* | *orð illrar kono* ‘я видел мужа, которого погубили слова злой женщины’, или ‘я видел, как мужа погубили’ и т. д.; Háv. 150, 1–3 *þat kann ek it fimta*: | *ef ek sé af fáriskotinn* | *flein i fólk váða* ‘я знаю пятое <магическое слово> на случай, если вижу, что из вражьего стана <собств. из вражьей злобы, из злого намерения врагов> летит копьё, брошенное в полк’, или ‘коль вижу копьё, летящее’ и т. д.; Háv. 155, 1–3 *þat kann ek it tiunda*: | *ef ek sé túnriðor* | *leika lopti á* ‘я знаю десятое слово, коль вижу ведьм, играющих в небе’; Háv. 157, 1–3 *þat kann ek it tólpta*: | *ef ek sé á tré uppi* | *váfa virgílná* ‘я знаю двенадцатое: коль вижу висельника, качающегося на дереве’; Grm. 4, 1–4 *Land er heilakt*, | *er ek liggia sé* | *ásom ok álfom nær* ‘священна страна, что я вижу лежащей близко от асов и альфов’; Нум. 35, 5–8 *sá hann ór hreysom* | *með Hymi austan* | *fólkdrótt fara*, | *fiolhögðaða* ‘увидел он, что с Востока из-за

скал выезжает с Химиром многоголовая рать', или 'увидал многоголовую рать, едущую с востока' и т. д.; Skm. 6, 1–3 *Gymis gǫrðum | ek sá ganga | mér tíða mey* 'я видел, как шла во дворе Гимира дева, приятная мне'; Fm. 30, 4–6 *þviat hvatan mann | ek sé harliga vega | með slævo sverði sigr* 'ибо видел я, что смелый муж добывает и тупым мечом победу'; *heyra*: Rm. 22, 2–3 *ef þu þjóta heyrir | ulfund askutum* 'если слышишь, как воет волк под ветками ясеня'; Gdr. II, 8, 3–8 *þá heyrir þú | hrafna gialla | þrno gialla, | ætsli fegna, | varga þjóta | um veri þinum* 'ты услышишь как <или: что вороны кричат, орлы кричат, радуясь наживе, как волки воют над твоим мужем>'; *finna*: Háv. 97, 1–3 *Billings mey | ek fann beðiom á, | sólhvita sofa* 'деву Билинга я нашел, яркую как солнце, спящей на ложе'.

Глаголы речи: *kveða*: Vm. 33, 1–3 *Und hendi vaxa | kvóðu hrimþursi | mey ok mǫg saman* 'говорят, что у Турса подмышкой народились вместе сын и дочь'; Gm. 13, 1–3 *Himinbiörg ero in átto, | en þar Heimdall | kveða valda véom* 'Химинбьёрг — место восьмое и сказывают, что Хеймдаль там владеет святилищами', или 'говорят о Хеймдале, что он' и т. д.; Rþ. 1, 1–6 *Ar kóðu ganga | grænar brautir | oflgan ok aldinn, | ás kunnigan | ramman ok rǫskvan, | Ríg stíganda* 'говорят, что некогда шел путями зелеными могучий и старый, мудрый, стремительный и мощный ас, Риг пешеход', или 'говорят об асе Риге, что он некогда' и т. д.; *biðja*: Háv. 131, 5–6 *Varan bið ek þik vera, | ok eigi ofvaran* 'прошу <советую, желаю> я, чтобы ты был осторожным, но не слишком осторожным'; Gm. 3, 2–3 *allz þik heilan biðr | Veratýr vera* 'ведь тебе желает здоровья <букв. просит тебя быть здоровым> властитель людей'.

Глаголы воздействия: *láta*: Vsp. 55, 7–5 *lætr hann megi Hveðrungs | mund um standa | hiǫr til hiarta* 'рукою приставит он меч к сердцу сородича Хведрунга', букв. 'оставит или заставит меч стоять, оставит меч стоящим'; Háv. 105, 4–7 *ill iðgiǫld | lét ek hana eptir hafa | síns ins heila hugar, | síns ins svára sefa* 'я оставил ее имеющей плохое вознаграждение, т. е. злом оплатил ей за добрый нрав, за заботливое сердце'; Háv. 106, 1–3 *Rata munn | létomk rúms um fá | ok um griót gnaga* 'зубы бурава я заставлю добыть мне путь и вгрызаться в камень'; Háv. 117, 5–7 *illan mann | láttu aldregi | ohopp at þér vita* 'не оставляй никогда этого человека знающим о твоём несчастье', т. е. 'не уведомляй'.

Следует, наконец, упомянуть стоящий семантически особняком глагол *vilja*: Sg. 44, 3–4 *seggi vil ek alla | í sal ganga* 'я хочу, чтобы все витязи пошли в зал'.

Уже один перечень глаголов показывает, что конструкция с инфинитивом стоит в ряду с рассмотренными выше сочетаниями. Но и в другом отношении они проявляют несомненное сходство. Ньюгорд²⁰⁴ утвержда-

²⁰⁴ Norr. Synt., § 248.

ет, что инфинитивный оборот в древнеисландском выступает в значении, сходном с объектным придаточным предложением (*har samme betydning som en subsiantivisk at-sætning*). В том смысле, как это хотелось Нюгорду, такое утверждение неверно. Как показывает приведенный здесь материал, в ряде примеров исключено как раз указываемое Нюгордом значение: *ek fann Billings mey sofa* означает не 'я нашел, что дева Билинга спит', а 'я нашел деву Билинга спящей', т. е. 'в то время, когда она спала', или 'которая в то время спала'. Правда, имеются случаи, когда предполагается значение, выражаемое в новых языках относительным придаточным предложением, ср. *hardan iqtun ek hugða Hlébarð vera* 'я полагал, что Хлебард отважный йотун'. Но такой односторонний перевод всякий раз определяется контекстом; в целом же старая конструкция допускает двоякое толкование. Особенно наглядно это свойство выявляют глаголы знания и чувственного восприятия, менее ясно другие глаголы. Некоторые глаголы нам представляются однозначными, поскольку мы склонны переводить их постоянно при помощи сходных глаголов новых языков. Так, *láta standa* мы воспринимаем как каузативное образование 'stehen lassen', 'заставить стоять', 'приставить', но в древнем языке, как будет показано ниже, это еще не слившиеся в одно понятие слова, и *láta hiqr standa* могло тогда еще значить не только 'приставить меч', но и 'оставить меч стоять', 'оставить меч стоящим' и т. п. Оставаясь материально сходными, глаголы этого рода подверглись в новых языках смысловому ограничению, и это обстоятельство мы не должны упускать из виду при переводе древних оборотов на новые языки. Нерасчлененность аппозитивного и предикативного атрибута была свойственна, таким образом, и древнейшим оборотам винительного с инфинитивом, что обуславливает возможность перевода таких оборотов на новые языки то при помощи относительных, то при помощи объектных придаточных предложений.

Параллелизм инфинитивной конструкции и оборота с «двойным падежом» уже давно отметил А. Потевня. Возражая Гримму, который отделял в древневерхненемецком оборот *ih pat in queman* 'rogavi eum ut veniret' от «настоящих» конструкций винительного с инфинитивом типа *ih weiz in waltan* 'scio eum regnare', Потевня писал: «Спрашивается, откуда известна эта разница? Оба выражения построены совершенно одинаково. В обоих *in* есть столько же непосредственное дополнение глагола, сколько указание на подлежащее неопределенного наклонения». И далее, ссылаясь на замечание Гримма, что немецк. *ich sehe dich brennen* может значить лишь 'я вижу, как ты горишь' 'video te flagrantem', но не 'я вижу, что ты горишь' 'video te ilagraré', а немецк. *ich höre dich ein Haus bauen* в отличие от лат. *audio te domum exstruere* может быть вложено лишь в уста того, кто слышит шум производимой постройки, Потевня продолжает: «Отсюда видно, что в нынешнем верхненемецком произошло

такое же ограничение смысла винительного, как и в нынешнем русском, в коем древнее *видѣша стада взята* могло бы иметь только одно значение 'увидали взятые стада', причем 'взятые стада' — предмет непосредственного восприятия, между тем как содержание более сложного умозаключения было бы выражено зависимым предложением: *увидали, что стада взяты*.²⁰⁵

Потебня при этом ограничивает сравнение рамками винительного падежа. «В новонемецком *ich höre dich ein Haus bauen*, — утверждает он, — заметным образом изменилась не вся конструкция, а только один винительный», в то время как новорусское *увидали взятие стада* предполагает еще изменение значения причастия, ослабление его былой предикативности.

Потебня здесь явно сузил значение сделанных им чрезвычайно важных наблюдений. В конструкции винительного с инфинитивом в новых западноевропейских языках в действительности изменился не один винительный, а весь смысл конструкции в целом. Древняя конструкция совмещала в себе различные значения, из которых одно ('я вижу, что ты горишь') соответствует собственно предикативному значению, а другое ('я вижу, как ты горишь') — приложению. Второе значение содержит в себе указание на одновременность признака и глагольного действия ('ты горишь, в то время как я это вижу'). Первое же значение содержит в себе нечто большее, чем указание на простую одновременность являющегося признака и действия. Оно оттеняет момент возникновения понятия о данном признаке ('я тебя вижу, быть может, уже давно, но только сейчас я заметил, что ты горишь'). Глагол 'вижу' имеет здесь особый смысл, он выражает не столько с м о т р е н и е, сколько у с м о т р е н и е, не простое восприятие, а умозаключение на основе данного восприятия; 'вижу' значит здесь почти то же, что 'замечаю', 'начинаю понимать'. Внимание говорящего устремлено в этом случае не на объект, а на его признак, представление о котором только возникает в данный момент в уме воспринимающего. Древняя конструкция совмещает здесь два значения, которые сливались и в оборотах типа *видѣша стада взята*. И в русском обороте с причастием совмещались, как отмечает Потебня, значение «непосредственного восприятия» и базирующееся на нем «более сложное умозаключение». Значение простой одновременности признака, выраженного причастием, с глагольным действием и значение возникновения понятия о данном признаке в результате глагольного действия не были разграничены. Если в ходе дальнейшего развития русского языка наблюдается ограничение значения древней причастной конструкции и в немецком — аналогичный процесс уточнения инфинитивной конструкции, то содержание этих

²⁰⁵ ИЗРГ. I—II. С. 303 сл.

процессов следует видеть не в развитии винительного падежа, а в расщеплении и поляризации древнего предикативного определения.

Древнее предикативное определение, как уже выяснено выше, отличалось от нынешнего тем, что оно совмещало в себе функции приложения и современного предикативного определения. Приложение, как известно, выражает признак, данный в предмете заранее, т. е. до глагольного действия, и необходимо проявляющийся в обозначенный глаголом момент времени. В отличие от приложения предикативное определение в современном языке выражает не заранее данный признак, а признак новый, возникающий в предмете в результате действия, выраженного глаголом, либо еще признак, о котором в данный момент впервые возникает понятие в голове у субъекта глагольного действия. В древнем предикативном определении все эти значения еще сливались. Именно в этом вся суть.

Древний язык еще не обладал средствами для разграничения старых признаков предмета, являющихся в данный момент, и новых, лишь теперь возникающих. Позднее, когда в сознании под воздействием растущей общественной практики вырабатываются эти категории, двойственность значений старого предикативного определения изживается и в языке появляются специальные средства для их выражения. При этом старые конструкции винительного с инфинитивом или причастием либо вовсе устраняются, либо же ограничиваются в своем значении и дополняются новыми конструкциями. Так, в классической латыни, возвышающейся над архаической латынью древнейших памятников, разграничение функций в известной мере достигалось при помощи взаимного ограничения старой инфинитивной конструкции *video eum advenire*, и старой причастной *video eum advenieuntem*. Если прежде эти конструкции были параллельными, то в результате развития они оказались противопоставленными и дополняющими друг друга.оборот с инфинитивом закрепился в функции собственно предикативной, а оборот с причастием — в функции приложения. В немецком и ряде других языков ограничение инфинитивной конструкции пошло по другой линии. Здесь за конструкцией с инфинитивом сохранилось значение, соответствующее приложению, а для функции собственно предикативной мобилизованы придаточные предложения с объектным *dass*. В позднейшем русском языке старая конструкция с причастием встречается лишь изредка, ср. Крыл. *Ласточку свою он видит на снегу замерзшую*; Пушкин. *Я нашел его окруженного нашими офицерами*, но и в этих случаях старая конструкция ограничена в своем значении функцией приложения. Ряд других сочетаний выступает в позднейшем русском языке в уточненной функции приложения и собственно предикативного определения.

Мы видим, как повсюду развитие совершается в сходном направлении. При всем многообразии путей и средств выражения, используемых от-

дельными языками, оно повсюду движется в сторону устранения многозначности древнего предикативного определения и выделения из него полярных категорий приложения и собственно-предикативного определения. Внешняя сторона этого движения — различие путей в разных языках — нами еще далеко не исчерпана. Прежде чем перейти к анализу внутреннего содержания этого процесса, мы остановимся еще на некоторых других внешних его проявлениях.

6. Другие формы словосочетания в роли предикативного определения

Выше приводилось мнение Нюгорда, будто оборот винительного с инфинитивом имеет в древнеисландском языке то же значение, что и объектное придаточное предложение с союзом (*at-sætning*). Мы сочли это мнение ошибочным, так как оборот с инфинитивом не всегда соответствует такому придаточному предложению, имеющему значение уточненного предикативного определения, а не приложения. Но не противоречит ли самый факт существования подобных уточненных форм в древнейших текстах всему тому, что было сказано выше о нерасчлененности функций древнего предикативного определения? В самом деле, как можно говорить о слитности приложения и собственно предикативного определения в древнем языке, если уже в древнейших текстах мы находим формы, выражающие уточненную категорию предикативного определения, как она дана в современных языках? — Но в том то и дело, что объектное придаточное предложение в древнем языке далеко не однозначно. Оно вовсе не свободно от той многозначности, которой страдают другие обороты древнего языка. Только в этом смысле можно говорить о близости оборота с инфинитивом и придаточных предложений указанного типа. Эти формы обнаруживают ряд сходных черт. Но не в том смысле, как это думал Нюгорд, — не в смысле их равенства однозначным формам позднейшей речи. Как в одной, так и в другой форме обнаруживаются черты древней нерасчлененной категории, о которых не подозревал Нюгорд.

Оборот с союзом *at* типа *ek veit, at hann er allra manna framast* 'я знаю, что он превосходит всех людей' восходит к паратактической конструкции *ek veit þat: hann er allra manna framast* 'я знаю это: он превосходит всех людей'. Иногда, однако, оборот с *at* восходит к конструкции с двойным падежом, и тогда он выявляет все особенности, свойственные предикативному атрибуту. Ср. *Háv. 77, 4–6 ek veit einn, | at aldri deyr: | dómr um dauðan hvern* 'я знаю нечто <букв. одно>, что никогда не умирает: слава об умершем', или же что больше соответствует контексту: 'я знаю, что

одно никогда не умирает: слава об умершем'. Мы видим, что в древнем придаточном предложении сливаются два оттенка значений, которые при переводе на современный русский язык заставляют нас в одном случае предпочесть относительное, а в другом — объектное придаточное предложение. В первом случае мы воспринимаем 'одно' как непосредственное определение объекта нашего знания: я знаю нечто, одно, что никогда не умирает'; во втором 'одно' выступает в более сложной и опосредствованной связи с объектом: 'я знаю, что то, что никогда не умирает, есть лишь одно, что ничего другого в этом роде не существует'. Только во втором предложении центр тяжести сообщения лежит на самом определении 'одно', оно предполагается здесь неизвестным слушателям, в то время как в первом предложении этот признак мыслится как уже знакомый говорящему. Мы сталкиваемся здесь с весьма специфическим проявлением установленного выше различия приложения и собственно предикативного определения. Здесь также выступает различие признака актуального, но данного независимо от глагольного действия и признака вновь возникающего, — с той лишь разницей, что возникновение признака должно пониматься здесь в идеальном смысле, как возникновение представления о данном признаке в голове у слушателей. В предложении 'я знаю, что одно лишь не умирает', определение 'одно' предикативно в том смысле, что этот признак особо оттенен, что именно в нем заключается новизна сообщения для слушателей.

Не разграничивая этих оттенков мысли, древний язык здесь снова обнаруживает перед нами те особенности древнего предикативного определения, о которых говорилось выше. Эта слитность функций древнего придаточного предложения хорошо согласуется с фактом происхождения такого придаточного предложения из конструкции с двойным падежом. В роли второго падежа здесь стоит союз *at*, первоначально местоименные *þat*: *ek veit einn þat*. С точки зрения «более позднего языка в такой фразе удивляет не только относительное значение придаточного предложения, но и так называемый «пролепсис» винительного падежа, т. е. выдвигание его из придаточного предложения в главное. Шероховатость древнего оборота позднее сглаживается двояким путем. Позднее говорят либо: *ek veit einn, er aldri deyr*, либо же: *ek veit, at einn aldri deyr*. Ср. еще: Eg. str. 20 *sun minn, |... þanns ek veit | at varnaði | vamma vanr | við namæli* 'сын мой, о котором <букв. которого> я знаю, что он беспорочный, не знал упрека'; ННv. рг. *Helgi ok Svava er sagt, at væri endrborin* 'говорят, будто Хельги и Свава родились вновь' (обычный оборот: *svá er sagt, at Helgi ok Svava væri endrborin*).

Безразличие предикативной и аппозитивной функции свойственно и другим сложноподчиненным предложениям в древнем языке: Grm. рг. *Sér þu Agnar, fósttra þinn, hvar hann elr þorn við gýgi i hellinom?* 'видишь

ли Агнара, твоего питомца, как <букв. где> он растит детей в пещере с великаншей'; Háv. 138, 7–9 *á þeim meidi, | er manngi veit, | hvers hann af rotom renn* 'на дереве том, о котором <или еще: которое> никто не знает, из каких оно растет корней'.

Такого рода пролептические конструкции встречаются не только в древнеисландском, но и в других древних индоевропейских языках. Ср.: греч., из Ксенофонта: *Ἐξήγγειλε τοῖς φίλοις τὴν κρίσιν τοῦ Ὁρόντα, ὡς ἐγένετο* 'он сообщил своим друзьям, как происходил суд над О'; из Гомера: *ἤδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεόν, ὡς ἐπονεῖτο* 'знал он в душе своего брата, как тот занят'; лат., из Теренция *scis me, in quibus sim gaudiis*; из Цицерона *nosti Marcellum, quamtardus sit*; др.-русск. Лавр. *Половцы же услышавше Русь, оже пришли на нихъ, ради быша* и т. д. Имея в виду такие обороты, Потебня писал: «Кажется ошибочным видеть здесь аттракцию, т. е. считать оборот с союзом (оборот типа *услышавше, оже Русь пришли*. — С. К.) исходною точкою. Напротив, винительный в первом обороте может быть остатком такого оборота, в котором главное предложение вмещало в себе все придаточное в виде составного дополнения».²⁰⁶ Вспомним, что составным дополнением Потебня называл второй (т. е. предикативный) винительный. Остановливаясь на примере из Крылова: *хотя я и не пророк, но видя мотылька, что он вокруг свечи вьется, пророчество всегда мне удаётся*, Потебня отмечает, что обороты с пролептическим винительным «возможны в русском до последнего времени с тем ограничением, что винительный в них может значить лишь непосредственный объект».²⁰⁷

В древнеисландском существует еще один тип сложноподчиненного предложения, отражающий своеобразие древнего предикативного атрибута. Формально он противоположен пролептическому. Если там в главном предложении как бы предвосхищается член придаточного, то здесь в придаточном предложении мы находим то, что привыкли видеть в главном. Особенно часты примеры с превосходной степенью прилагательных в такой, с нашей точки зрения, неожиданной постановке: Ср. Gðr. 1, 3, 5–8 *hver sagði þeira | sinn ofstrega, | þann er bitrastan | um beðit hafði* 'каждая из них рассказала об острейшей боли, которую ей довелось некогда испытать', букв. 'которую ей довелось испытать <как> острейшую'; Eb. 13, 4 *Þorleifr keypti þann hest, er hann fekk bestan* Торлейф купил лучшего коня, какого только мог достать' букв. 'коня, которого он достал наилучшего'; IB. 1, 1 *þess mannz, es ek kunna spakastan* 'от умнейшего человека, которого я знаю', букв. 'которого я знаю <в качестве> умнейшего'. Другие примеры из Dett., прим. к Vsp. 1, 7–8: *þann*

²⁰⁶ ИЗРГ. I–II. С. 322 сл.

²⁰⁷ Там же. С. 324.

gölt, er mestan fekk ‘крупнейшего кабана, которого он нашел’; *þann vetr, sem Laurentius biskup var fyrstan á Hólum* ‘первую зиму, которую Лаврентий провел там’, букв. ‘зиму, которую он провел там первую’; *Guðingar fasta nú þann dag, er þeir kómu fyrstan í Masphat* ‘отмечают тот день, когда они впервые прибыли в М.’

Мы различаем ‘лучший корабль из тех, которые они получили’, и ‘корабль, который они получили в качестве лучшего’, учитывая, что масштаб сравнения в обоих случаях не один и тот же. Хотя превосходная степень ограничивается каждый раз глаголом ‘получить’, но это ограничение носит различный характер. В одном случае признак только сопутствует глаголу, возникая независимо от последнего: ‘они получили корабли, из которых один был лучше всех остальных’; в другом — признак как бы впервые производится глаголом: ‘они получили корабль, как лучший’. Первый оттенок соответствует приложению, второй — позднейшему предикативному определению. Древний язык, допуская выражение типа *skip þat, er þeir fengu bezt*, букв. ‘корабль, который они получили лучший’, не разграничивает указанные оттенки.

Кроме превосходной степени, в таких сочетаниях встречаются и простые прилагательные: Grp. 12, 1–4 *Auðr mun ærinn, | ef ek eflík svá | víg með virðom, | sem þú víst segir* ‘богатство будет велико, если я действительно выдержу с достоинством бой, как ты это говоришь’, букв. ‘как ты это действительно говоришь’; Grm. 24, 4–5 *ranna þeira, | er ek rept vita | míns veit ek mest magar* ‘из всех мне известных крытых жилищ’ <букв. ‘из всех жилищ, которые я знаю как крытые’> просторнейшее у моего сына’; наречие вместо прилагательного: Od. 12, 1–2 *Man ek, hvat þú | mæltir enn um aptan* ‘еще я помню, что ты говорила вечером’, букв. ‘что ты еще говорила вечером’ (Финнур Йонсон исправляет текст: *Mann ek enn, hvat* и т. д.).

Наконец, сюда же относятся примеры с аналогичной постановкой существительных: Fm. 37, 1–4 *Miðk er ósviðr | ef hann enn sparir | fiánda inn folkská, | þar er Reginn liggir* ‘будет весьма неразумно, если он пощадит лютого врага, Регина, который там лежит’, букв. ‘который там Регин лежит’; Gg. 49 *finna þeir í helli nokkorom, hvar gygr sat* ‘они нашли великаншу в какой-то пещере, где она сидела’, букв. ‘они нашли в какой-то пещере, где великанша сидела’.

Таким образом, древний язык допускает при глаголах «неполного высказывания» разнообразные перемещения членов предложения из главного предложения в подчиненное и наоборот, которые в новых языках невозможны. Эта свобода в порядке слов отражает особенности древнего строя, вскрытые ранее при анализе второго (предикативного) падежа. Тем самым сложноподчиненные предложения выявляют свою причастность к общим нормам архаической формации речи.

7. Глаголы «неполного высказывания» и их смысловая структура в древнем языке

Теперь мы можем обратиться к анализу глаголов, сочетающихся с древним предикативным атрибутом и параллельными ему формами. Круг глаголов, как можно было убедиться из предшествующего изложения, в общем довольно однотипен. Присоединив к германскому материалу данные латинского, греческого и древнерусского языков, можно наметить следующие семантические разряды глаголов «неполного высказывания».

Со вторым именительным падежом сочетаются, прежде всего, глаголы бытия и становления вместе с примыкающими к ним глаголами покоя и движения. Сюда относятся глаголы в значении 'быть', 'становиться', 'казаться', 'оказываться', 'являться', 'выступать', 'ходить', 'сидеть', 'лежать', 'жить', 'оставаться' и т. д. Далее сюда относится встречающаяся в готском, греческом и древнерусском группа глаголов начала, продления и завершения действия ('начинать', 'продолжать', 'кончать' и т. д.). Затем следуют отсутствующие в германских языках, но достаточно полно проявляющиеся в греческом и древнерусском глаголы внутренних переживаний 'радоваться', 'жалеть', 'быть довольным' и т. д. (ср. др.-русс. Ип. *Данило... сожались отславь сына*, т. е. пожалел, что отослал сына'; Лавр. *Неубояшася князя два имуще* 'не испугались того, что у них было два князя'). Наконец, сюда же относится ряд глаголов пассивных, которые в активном залоге управляют винительным падежом 'называться', 'быть сделанным', 'быть избранным', 'родиться' и мн. др.

Со вторым винительным (и шире: косвенным) падежом сочетаются глаголы владения: 'иметь', 'брать', 'держать в качестве кого или чего'; глаголы делания: 'сделать чем', 'посадить', 'поставить', 'избрать', 'назначить' и т. д.; глаголы речи и названия: 'говорить', 'петь', 'рассказывать', 'именовать' и т. д.; глаголы полагания и знания: 'полагать', 'мнить', 'думать', 'сочинять', 'знать' и т. д.; глаголы чувственного восприятия и нахождения: 'видеть', 'слышать', 'находить', 'встречать' и т. д.

Если в древнем языке круг таких глаголов более или менее постоянен, то по мере продвижения от древней, чувственно-сущностной речи к речи позднейших эпох он претерпевает ряд последовательных ограничений. В непосредственной связи с этим процессом находится выделение связочных глаголов во главе с «чистой» связкой *есть*.

Несмотря на полную очевидность этого процесса, в языкознании встречаются противоречивые взгляды не только относительно содержания, но и по вопросу о самом направлении процесса. Необходима полная потеря реальной исторической перспективы, чтобы решиться на такую произвольную схему развития, какую дает автор синтаксической части небезызвестного «свода» сравнительной грамматики индоевро-

пейских языков, Б. Дельбрюк. «Конструкция, — писал он, — развивавшаяся при глаголе 'быть',... получила распространение, вероятно, уже в эпоху праязыка (in der Urzeit). Сперва круг глаголов расширился от 'быть' к 'становиться', 'казаться' и т. д. Позднее имел место переход в сферу объектных отношений, и рядом с 'делать', 'называть', 'считать чем' стал второй, предикативный винительный».²⁰⁸ Реальная историческая картина извращена здесь до неузнаваемости.

Несравненно более глубокое понимание действительности обнаружил А. Потевня, который подчеркивал диаметрально противоположный характер исторического процесса выделения связки. «Вначале, — писал он, — мы видим обширный круг глаголов, служащих предикативными связками, и полное синтаксическое безразличие между этими глаголами. Было много связок, но формально обособленной копулы не было. Из всего этого круга выделяется значительная часть глаголов, которые вовсе лишаются способности быть связками; остальные сохраняют эту способность лишь в некоторых случаях, преимущественно, где им в этом помогает атрибутивность прилагательного; из этих, в свою очередь, выделяются личные формы глагола существительного»...²⁰⁹

Замена отвлеченного праязыкового схематизма конкретным исследованием истории русского и близких ему языков, и подчинение морфологических моментов синтаксису — этой сфере реального и живого бытования грамматических форм — позволили Потевне правильно сформулировать динамику развития глаголов «неполного высказывания». Если, однако, Потевня совершенно прав в определении основного направления развития грамматических форм в интересующей нас области, то, с другой стороны, в изложении Потевни содержится и много такого, что нуждается в уточнениях и исправлении. Потевня настаивает на том, что все встречающиеся в древнем языке в сочетании с предикативным атрибутом глаголы следует отнести к разряду связочных. «Для древнего периода индоевропейских языков, — утверждает он, — так называемые *verba der unvollständigen Aussage*, не вполне предикативные, т. е. допускающие или требующие предикативного именительного (*manere, nasci* и т. п.) суть не "как бы связки" или "связки в обширном смысле" (между тем как *esse* связка в тесном), а просто связки без всякого ограничения».²¹⁰

С этим определением Потевни нельзя согласиться по двум причинам.

Прежде всего, невозможно согласиться с полным приравнением глаголов, сочетающихся с древним предикативным определением, к связке.

²⁰⁸ Vgl. Synt. V. С. 22.

²⁰⁹ ИЗРГ. I—II. С. 535.

²¹⁰ Там же. С. 112.

По этой причине мы в дальнейшем изложении не будем применять термина *с в я з о ч н ы е* (или *к о п у л я т и в н ы е*) глаголы в том широком смысле, какой придает этому термину Потебня. Такое употребление явилось бы, с нашей точки зрения (обоснование которой будет дано несколько дальше), грубым анахронизмом.

Нельзя, во-вторых, согласиться с Потебней в его стремлении ограничить круг глаголов «неполного высказывания» только глаголами, сочетающимися с предикативным определением в именительном падеже. Понимая под предикативным атрибутом лишь второй именительный, Потебня произвольно ограничивает круг глаголов «неполного высказывания». В самом деле, почему пассивные глаголы ‘сделаться’, ‘быть названным’, ‘родиться’ и т. д., требующие второго именительного падежа, рассматриваются им как глаголы «неполного высказывания», а соответствующие им активные глаголы, сочетающиеся со вторым винительным, исключаются из этого числа? Ведь грамматический параллелизм этих форм очевиден и лежит, так сказать, на поверхности.

Потебня пытается провести некую принципиальную грань между вторым именительным и вторым винительным. Первую форму он относит к сказуемому и объединяет ее с личным глаголом под общим названием «составного сказуемого», вторую же он соотносит с первым винительным, обозначая конструкцию в целом как «составное дополнение».

Но почему бы с такой точки зрения не объединить второй именительный с первым и не назвать их вместе «составным подлежащим»?

Потебня обосновывает свои взгляды следующим образом: «Выше мы назвали именительный в сказуемом предикативным, т. е. входящим в состав грамматического предиката; но приложить это название ко второму падежу составного дополнения нельзя, так как это дополнение вовсе не заключает в себе сказуемого. Тем менее можно согласиться с Курциусом, который, назвавши именительный в сказуемом — именным предикатом, второй винительный в Πέρσαι τὸν Κύρον εἶλοντο βασιλέα зовет «зависимым предикатом»... «Кажется, наиболее удобным выразить сходство между предикативным атрибутом и соответственными ему косвенными падежами, назвавши их все, в отличие от подлежащего и ближайшего дополнения с их определениями и приложениями, в т о р ы м и а т р и б у т и в н ы м и, или с о г л а с у е м ы м и п а д е ж а м и простого предложения. Подлежащее со своими определениями, а равно и ближайшие объекты с своими, будут при этом считаться первыми; они несогласуемы, притом, кроме случаев инверсии, они занимают первое место в порядке слов».²¹¹

Удобство обозначения не может, однако, служить доказательством необходимости такого разграничения, и обоснование в целом сводится

²¹¹ Там же. С. 117.

к ряду тавтологий. Конечно, и второй именительный и второй винительный суть «вторые» или согласуемые падежи. Но ведь задача состоит в том, чтобы выяснить синтаксические особенности «вторых» падежей. Потебня готов назвать все эти падежи «вторыми атрибутивными», но название «предикативный» он приберегает для одного только второго именительного падежа, который, таким образом, оказывается и атрибутивным и предикативным. Потебня не считается здесь с тем, что и второй винительный тяготеет синтаксически не только к своему определяемому, но и к глаголу. Если бы такого тяготения не было, то к чему было бы рассматривать второй винительный в связи с глаголами «неполного высказывания», как делает Потебня? Да и вообще, откуда известно, что «дополнение вовсе не заключает в себе предиката», или, точнее говоря, предикативного атрибута? — «Чистая» связка в новых языках выделилась из глаголов, соединяющихся со вторым именительным падежом. Все это — так. Но это не дает нам права отвергать несомненное функциональное сходство глаголов «неполного высказывания», сочетающихся со вторым именительным, с глаголами «неполного высказывания», сочетающимися со вторым винительным в древнем языке.

Не будучи склонными отождествлять связку и глаголы «неполного высказывания», мы не считаем возможным на том единственном основании, что среди глаголов «неполного высказывания» лишь одна группа глаголов имеет более тесное касательство к процессу выделения связки, разбивать целостность и единство глаголов «неполного высказывания». Кстати, как будет показано в дальнейшем, сами глаголы «неполного высказывания», сочетающиеся со вторым именительным, далеко не в одинаковой мере послужили базой для выделения связки, и с этой точки зрения сама эта группа глаголов не может считаться совсем однородной.

Распространив термин «предикативный атрибут» на все «вторые» падежи, в которых это явление реально встречается, мы могли бы определить глаголы «неполного высказывания» как глаголы, сочетающиеся с предикативным атрибутом. Но такое определение было бы недостаточным. С предикативным определением сочетаются в древнем языке не только так называемые глаголы «неполного высказывания», и многие другие. Ср. Vsp. 32, 7–8 *sá nam Óðins sonr | einnætr vega* ‘тогда начал сын Одина однонощный <т. е. в возрасте одной ночи> сражаться’; Háv. 139, 4–5 *nam ek upp rúnar, | æpandi nam* ‘собирал я руны, собирал стеная’, букв. ‘вопящий’; Sk. 41 *ok við forsinn var otr einn, ok hafði tekít lax ór forsinum, ok at blundandi* ‘а у водопада была некая выдра, взяла она лосося из стремнины и ела, зажмутив глаза’, букв. ‘зажмуривающая глаза’ и т. д. Глаголы *skialfa* ‘дрожать, содрогаться’, *vega* ‘сражаться’, *neta* ‘собирать, брать’, *eta* ‘есть’ не являются глаголами «неполного

высказывания». На каком основании? — Древний язык сам по себе не дает достаточных оснований для отделения одних примеров от других. Лишь с точки зрения позднейшего языка можно провести разграничение типов. Как, пользуясь глубоким замечанием К. Маркса,²¹² буржуазная экономия дает ключ к античной, а анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны, так и язык архаической формации может быть раскрыт в своих важнейших чертах только при сравнении с языком более позднего строя.

С точки зрения «замен» древнего предикативного определения в языках более поздней формации можно все предикативные определения древнего языка разделить на два типа. Предикативные определения первого типа вытесняются в позднейших языках либо приложениями, либо собственно-предикативными определениями. Этот тип встречается только при глаголах «неполного высказывания». Предикативные определения второго типа замещаются в более поздних языках либо приложениями, либо наречиями, деепричастиями и обстоятельственными словами. Этот тип предикативного определения встречается не только при глаголах «неполного высказывания», но и при всех остальных. К этому (обстоятельному) типу предикативных определений относятся определения в только что рассмотренных примерах из древнеисландского. Ср. еще *hon kvað nauðig* 'она сказала по принуждению', букв. 'принужденная', *liggja sem kyrrastr* 'лежать как можно тише', букв. 'тишайший'. Аналогичные примеры из других древних языков: лат. *noctuabundus venit, transversus ambulabit, miser (felix) vivo, libens fecero, quietus dormiebat* и т. д.; греч. *τριτῆροι ἀφίκοντο* 'они пришли на третий день', букв. 'трехдневные'; *χθιζός ἔβη* 'он шел вчера', букв. 'вчерашний'; *ἡμέρας* 'дневной', т. е. 'днем'; *ἀφνίδιος* 'неожиданно', букв. 'неожиданный'; др.-слав. *въста тридньевнь, ста простъ, падоша ници* и т. д. По своей семантике эти признаки выражают пространственные, временные и количественные соотношения либо душевное состояние. Это — признаки непостоянные, текучие, зависящие от обстоятельств. В настоящей главе нас интересуют только определения первого, необстоятельного характера. Именно в зависимости от последних можно дать более точное определение глаголов «неполного высказывания», характеризуя их как глаголы, с которыми в древнем языке сочетается необстоятельное предикативное определение, т. е. такое предикативное определение, которое в дальнейшем росте языка замещается приложением либо собственно-предикативным определением.

Определив таким образом круг глаголов «неполного высказывания», мы должны еще сделать оговорку насчет самого термина. Термин «не-

²¹² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. XII. 1. С. 195 сл.

полное высказывание» основывается на том чувстве, которое определенные глаголы производят на нас в современном языке, когда за ними не следует собственно-предикативное определение. Словосочетания типа *он сделался, его назначили* необходимо производят на нас впечатление неполноты, пока в них отсутствует предикативное определение. Так обстоит дело в современных языках, где произошло размежевание приложения и собственно-предикативного определения. Но можно ли считать, что уже в древности, пока такого размежевания еще не было, глаголы «неполного высказывания» являлись действительно «неполными»?

Рассмотрим с этой стороны данные древнеисландского языка.

vera 'быть'. Нас здесь интересует не доистория этого глагола, как он пришел к абстрактному значению бытия, которое выступает уже в древнейших памятниках. Нас занимает лишь то, является ли *vera* «полным» глаголом в древнем языке или нет? — Факты показывают, что наличие предикативного атрибута при этом глаголе вовсе не обязательно, ср.: Gm. 4, 4–6 *en í Þrudheimi | skal Þórr vera, | unz um riúfaz regin* 'а в Трудхейме Тор будет вечно жить <букв. быть, пребывать> пока не погибнут боги'. Здесь и в других случаях др.-исл. *vera* переводится полными глаголами 'находиться', 'пребывать', 'жить', 'обитать'. Это наводит на мысль, что и в сочетаниях с предикативным атрибутом, вроде *badmr er ausinn auri* 'дерево окроплено росой', глагол *vera* мог иметь «полное» значение. Во всяком случае ясно, что, чем дальше мы опускаемся в древность, тем больше такое сочетание приближается к значению 'дерево стоит <есть, существует>, окропленное росой'.

verda 'становиться'. И здесь речь идет не об этимологии глагола и его связях с лат. *verto* и русским *вертеть*, а об актуальном для древнеисландского языка значении. Как и *vera*, этот глагол сохраняет в древнем языке во многих случаях самостоятельность и «полноту». Ср.: Vm. 16, 6 *verðrat íss á á* 'на реке не образуется <букв. становится> лед'; НН. 2, 1 *hótt vard í bæ* 'ночь настала в селении'; Нм. 23, 1 *Styrr varð í ranni* 'шум поднялся в доме'; Ам. 25, 3–4 *opt verðr glaumr hunda | fyr geira flaugon* 'собаки часто поднимают шум <букв. часто становится возня> перед битвой <полетом копий>'; НН. 27, 1–2 *Varð ára ymr | ok iarna glymr* 'поднялся клекот орлов и лязг железа'; Eg. 25, 4 *fóru... til vats þess, er þar verðr* 'ехали до того озера, которое там берет свое начало', букв. 'которое там становится'.

sýnaz 'казаться', но в Эдде это не столько 'казаться' сколько 'показаться, открыться взорам'. Ср.: Vsp. 32, 1–3 *Varð af þeim meiði, er mér sýndiz, | harmflaug hættlig* 'от того дерева, которое мне показалось <т. е. открылось моим взорам>, возникла большая беда'; Vkv. 21, 5–8 *Fiqlð var þar menia, | er þeim mögum sýndiz, | at væri gull rautt | ok gørsimar* 'много

было там сокровищ, которые открылись взорам ребят в виде красного золота и драгоценностей’.

На конкретных глаголах движения *ganga* ‘ходить’, *fara* ‘передвигаться, ехать’, *riða* ‘ехать’ и т. д. и пребывания *lifa* ‘жить’, *sitja* ‘сидеть’, *liggja* ‘лежать’ можно в этой связи не останавливаться, так как эти глаголы сохраняются как «полные» вплоть до последнего времени. Среди глаголов «неполного высказывания», управляющих винительным падежом, не нуждаются в особом доказательстве глаголы чувственного восприятия *sjá* ‘видеть’, *heyrá* ‘слышать’, *finna* ‘находить’ и т. д., а также глаголы владения и физического превращения *eiga* ‘иметь’, *göra* ‘сделать’, *senda* ‘послать’, *setja* ‘посадить’ и т. д. И эти глаголы в новых языках могут встречаться без предикативного атрибута. Остаются, следовательно, глаголы знания, полагания, высказывания, называния и некоторые другие:

vita ‘знать’, но в древнем языке не только ‘wissen, dass’, но и ‘kennen’; употребляется также и как глагол восприятия ‘видеть’, ср.: Vkv. 11, 5–6 *vissi sér a hǫndom | hǫfgar nauðir* ‘увидел у себя на руках тяжелые цепи’; НН. II, 43, 4–5 *Óðins haukar, | er val vito* ‘соколы Одина, что чувствуют <видят, знают> добычу’; Dr. 9 *Gudrún vissi vélar* ‘Гудрун знала <т. е. владела> искусствами’.

segja ‘сказать’, в приложении к объекту не только глагол «неполного высказывания» ‘сказать о ком-либо или о чем-либо, что’, но и «полный» глагол, ср.: Skm. 23, 4–5 *hofuð hoggva | ek mun þér halsi af, | nema þú mér sætt segir* ‘голову я отрублю тебе с плеч, если ты не согласишься’, букв. ‘скажешь согласие’; Sd. 25, 4 *sonno sagðr* ‘справедливо обвиненный’ букв ‘сказанный’ и т. д.

telja ‘рассказывать, считать’. Как «полный» глагол в следующих примерах: Gðr. II, 29, 1–4 *Máka ek, Grimildr, | glaumi bella | ne vigrisins | vánir telia* ‘не могу я, Grimхильд, ободрять себя и лелеять надежды о приходе отважного’, аналогично Am. 90, 8; Нут. 20, 5–8 *en sá iqtunn | sína talði | litla fýsi | at róa lengra* ‘йотун объявил об отсутствии у него желаний <букв. рассказал свое небольшое желание> грести дальше’.

kveða ‘говорить’, ‘сказать’, ‘петь’. Примеры «полного» употребления: Sg. 29, 3–8 *svá sló hon svárar | sinni hendi, | at kvóðo við | kálkar í vá | ok gullo við | gæss í túni* ‘так всплеснула она руками, что в ответ задрезжали <букв. заговорили, зазвенели> кубки в углу и закричали на дворе гуси’; Bdr. 4, 5–6 *nam hann vitugri | valgaldr kveða* ‘вещей стал он петь волшебные песни’; Háv. 164, 1 *Nú ero Háva mál kveðin* ‘вот уже пропеты речения Высокого’; Háv. 164, 5 *sá er kvað* ‘кто спел’.

dæma ‘осудить, приговорить к чему’, но и ‘оправдать’. В «полном» значении также ‘судить <и рядить>’: Grm. 29, 5–6 *er hann dæma ferr | at aski Yggdrasils* ‘когда он отправляется судить у ясеня Игдрасиль’; Ls. 2,

1–3 *of vápn sín dæma* | *ok um vígrisni sína* | *sigtíva synir* ‘об оружии толкуют и о сражениях сыны победных богов’.

ætla ‘мнить, полагать’, как глагол «полного» высказывания в Gr. 25, 7–8 *dægr eitt er þér* | *dauði ætlaðr* ‘день уже положен твоей смерти’.

hyggja ‘мнить, думать, видеть во сне, быть в настроении’. Как глагол «полного» высказывания встречается часто. Ghv. 3, 1–4 *Urðoa it glikir* | *þeim Gunnari*, | *né in heldr hugðir*, | *sem var Høgni* ‘вы не подобны Гунару с братом, а также не мужественны, как Хогни’; Am. 12, 2 *mákat ek enn hyggja* ‘не могу я больше думать’; NH. 48, 7–8 *hugði hann íoreid* | *ættar sinnar* ‘представлял себе, видел он приближение своего рода’ и т. д.

kalla ‘называть’ в качестве «полного» глагола ‘звать, призывать, кричать’.

nefna ‘называть, именовать’, — как «полный» глагол ‘произносить’: Akv. 30, 3–4 *eíða opt um svarða* | *ok ár of nefnda* ‘клятвы, часто дававшиеся и давно произнесенные’; Hdl. 44, 1–4 *þá kœmr annar*, | *enn mátkari*, | *þó þori ek eigi* | *þann at nefna* ‘тогда придет другой, того сильнее, я не решаюсь все же его назвать <по имени>’.

lata часто употребляется в «полном» значении ‘оставлять, покидать’: Нут. 15, 1–2 *hvern léto þeir* | *höfði skemra* ‘каждого они оставили короче на голову’, т. е. ‘отрубили каждому голову’; Dr. *ok hafði þar látit flesta alla menn sína* ‘и потерял там почти всех своих людей’; Gg. 35 *hann lét hönd sína* ‘он оставил свою руку <в пасти волка>’.

В результате обзора мы можем прийти к выводу, что подавляющее большинство глаголов «неполного высказывания» в древнем языке еще мало чем отличается от глаголов «полного» высказывания. Таким образом, та неудовлетворенность, которая возникает в нас от предложений типа ‘город, многолюдный, казался...’, ‘человека, отважного, сочли...’ и т. д. в древнем языке еще не ощущалась. Мы приходим к весьма важному заключению: глаголы «неполного высказывания» становятся таковыми лишь в языке позднейшего строя; в древнем же языке они еще были «полными».

Что же означает процесс разложения ранее «полных» глаголов на «полные» и «неполные»?

Согласно отстаиваемому здесь взгляду, этот процесс следует рассматривать на общем фоне разложения древнего предикативного определения. Процесс разложения древних отношений шел двояким путем. Разграничение приложения и собственно-предикативного определения находило отражение как в морфологическом облике предикативных имен, так и в соответствующем разграничении глагольных значений.

Со стороны предикативного имени этот процесс заключался в размежевании приложения и собственно-предикативного определения путем сохранения согласования с определяемым в приложении и устранения его в собственно-предикативной позиции. О заменах этого типа уже упоми-

налось выше. Само устранение согласования позднейшего предикативного определения с определяемым могло при этом совершаться по-разному. В одних случаях устранение согласования пошло, главным образом, по линии замены второго согласуемого падежа особым (несогласуемым) предикативным падежом; в других случаях предикативность имени, уточненная в процессе развития, стала выражаться сочетаниями с предлогами; наконец, для выражения предикативности могли также быть использованы старые краткие (т. е. несогласуемые или менее согласуемые) формы прилагательных и причастий.

Со стороны глагола этот процесс выразился в тенденции к обособлению особой категории глаголов, необходимо требующих предикативного атрибута. Там, где эта тенденция проложила себе путь, старый глагол раскололся надвое: содержащийся в нем семантический оттенок, допускавший присоединение предикативного имени, теперь выделяется в самостоятельный глагол. Так, в русском языке отделяется — *казаться* от *показаться*, *являться* от *появиться* и т. д. В немецком отделяется *sein* от *dasein* и *vorhanden sein*, *scheinen* от *erscheinen* (ср. Ег. *doch er wider in schine ein berc* и *obwohl er ihm gegenüber als ein Berg erschien*), *nennen* от *rufen*, *wissen* от *kennen*. Чем резче обозначается такое разграничение, тем более надежной опорой становится самый глагол, и развитие может ограничиться лишь сдвигами в глагольной лексике. Вот почему в ряде случаев двойной падеж сохраняется, ср. в немецком *er schien ein Fremder* 'он казался чужим'; *ich nannte ihn meinen Bruder* 'я назвал его своим братом' и т. п.

Разные языки в разной степени использовали эти пути. Русский язык перенес центр тяжести на имя, создав новый предикативный падеж. Кроме того, на службу новой дифференциации здесь были поставлены порядок слов и интонация, ср. *он, больной, ходит* и *он ходит больной*. В глаголе поэтому сдвиги оказались здесь менее заметными, ср. *он показался на минуту* и *он показался мне стариком, полотно делается изолна* и *он делается невыносимым* и т. д.²¹³ Глаголы *показаться*, *делаться* и т. д. выступают здесь как омонимы. Язык широко допускает такие омонимические формы в глаголе, только потому, что древний полисемантизм решительно устранен по линии предикативного имени.

Глаголы «неполного высказывания» являются, таким образом, не исходным пунктом в процессе разложения древней языковой формации, а конечным результатом этого процесса. Это одна из сторон развития атрибутивных отношений. В глаголе отражается здесь факт поляризации древнего предикативного атрибута и выделения из него приложения и собственно-предикативного определения.

²¹³ См.: *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. С. 213 слл.

В итоге мы пришли к выводам, отличающимся в ряде моментов от выводов Потебни.

Согласно Потебне, сущность развития глаголов «неполного высказывания» состоит в создании формального глагола 'быть'. Потебня говорит о существовании многих связочных, глаголов в древнем языке, из которых впоследствии выделяется формальная связка. Во всем этом процессе он видит «такое же стремление сосредоточить предикативность в глаголе на счет предикативности имени и причастия», какое он усматривает и в ряде других языковых процессов.

Согласно развиваемым здесь взглядам, сущность развития глаголов «неполного высказывания» заключается в разграничении приложения и позднейшего предикативного определения. Пока эти категории оставались слитыми и неразграниченными в старом предикативном определении, до тех пор не было и глаголов «неполного высказывания» в подлинном значении этого термина, т. е. до тех пор эти глаголы отличались синтаксической «полнотой». Никакого ослабления предикативности имени и усиления глагола в этом процессе нет. Скорее наоборот, предикативность имени уточняется и усиливается благодаря такому развитию, поскольку на место старой расплывчатой категории предикативного определения становятся новые, более точные именные категории,

Остается еще особый вопрос о специально связочных глаголах, которые мы не склонны отождествлять с глаголами «неполного высказывания». Каково соотношение подлинно связочных глаголов с глаголами «неполного высказывания»? Что сближает эти глаголы между собой и что их различает? Какова познавательная сущность процесса выделения связки?

Посильный ответ на эти вопросы дается в следующем разделе настоящей главы.

8. Выводы. Смысловое содержание процесса разложения древнего предикативного определения и образования связки

В предшествующих разделах неоднократно отмечалась основная тенденция процесса развития атрибутивных отношений при переходе от высшей ступени чувственно-сущностной речи к позднейшей понятийной речи. Эта тенденция выражается в раздвоении древнего предикативного определения и выделении из него приложения и собственно-предикативного определения. В древнем языке предикативное определение было противопоставлено простому определению. В языке позднейшего строя оно противопоставлено не только простому определению, но еще и приложению. Иначе говоря, на место двоякой

атрибутивности древнего языка с течением времени возникает атрибутивность тroyакого рода. Каково же внутреннее смысловое содержание этих изменений?

Вспомним прежде всего то, что уже говорилось о различии между простым и предикативным определением. Простое определение выражает качество или свойство предмета вне каких-либо временных границ. Оно может выражать не только актуально данный и проявляющийся в данный момент признак предмета, но и признак, уже исчезнувший либо еще не проявившийся. В словосочетании *умный мальчик* определение *умный* остается без уточнения во времени, само по себе оно ничего не говорит о том, проявляется ли указанное качество в данный момент или нет. Оно характеризует мальчика в общем, безотносительно к той ситуации, о которой идет речь. Таковы особенности простого определения как в древнем языке, так и новом.

Что касается предикативного определения, то оно обнаруживает существенные расхождения в языках старой и новой формации. Поэтому необходимо раздельно охарактеризовать эту категорию применительно к указанным историческим эпохам.

В древнем языке предикативное определение противостоит простому как определению, ограниченное во времени, — определению абсолютному и во времени не уточненному. Предикативное определение выражает в древнем языке качество или свойство предмета в его проявлении. Оно предполагает каждый раз актуальность признака, его обнаружение в данный момент времени.

Формально эта особенность предикативного определения выражена в древнеисландском тем, что предикативное определение оказывается связанным с личным глаголом. Само по себе такое определение не имеет никаких временных отметок, но время, обозначенное личным глаголом, оказывается действительным и для него. Этот факт можно выразить еще и иначе. Можно сказать, что предикативное определение обладает категорией времени, поскольку оно выражает *п р о я в л е н и е* признака *о д н о в р е м е н н о* с глагольным действием. В древнем языке это временное значение предикативного определения выступает ярче и резче, нежели в языке позднейшего строя. Если в позднейшем языке прилагательное и причастие в позиции предикативного определения получают временную характеристику лишь при условии наличия глагола в данном предложении или в данной относительно самостоятельной части сложного предложения, то в древнем языке существуют более свободные отношения. Предикативное определение имеет в древнем языке временное значение и тогда, когда глагол находится в другой части сложного предложения, в силу чего предикативное определение приобретало значение второстепенного сказуемого в предложении. Ср. Ghv. 9, 1–4 *Guðrún gratandi*, |

Giúka dóttir, | gekk hon tregliga | á tái sitia, где древнеисландское причастие мы вынуждены перевести посредством глагола ‘Гудрун расплакалась <букв. плачущая> дочь Гьюки, пошла она скорбно сидеть на посадке’; Нум. 25, 1–2 *Óteitr iqtunn, | er þeir aptr rero* ‘невесел <был> Йотун, когда они гребли обратно’; Nj. 75, 10 *fögr er hliðin, svá at mér hefir hon aldri jafnfögr sýnz, bleikir akrar, en slegin tún* ‘прекрасен лесистый склон так, что никогда он мне не казался таким прекрасным, желты посевы и скошен луг’; Vqls. 11, 1 *Eylimí hefir konungr heitit, ríkr ok agætr* ‘Эйлими назывался некий конунг, <он был> богат и доблестен’. В таких оборотах сравнительная грамматика склонна была усматривать эллипсу (опущение) связки. Однако учет реальной истории языка не мог не привести к пересмотру этого взгляда.

Предикативная сила атрибута, его способность конкурировать с личным глаголом сказывается также в специфических оборотах, где между предикативным атрибутом и личным глаголом стоит союз. Ср.: Нум. 1, 1–4 *Ár valtívar | veidar namo | ok sumblsamir, | áðr saðir yrði* ‘некогда боги поохотились и пожелали еще пировать <в оригинале прилагательное>, не насытившись вдоволь’; Eb. 44, 4 *hann hafði fagran skjöld ok hjalm ok gyrðr sverði* ‘он имел прекрасный щит и шлем и <был> опоясан мечом’; Gunnl. 13, 50–51 *En Hrafn reið til með sex tigu manna ok hjó strengina ok rak skipit upp á leirur ok búit við skipbroti* ‘а Храфн приехал с людьми, разрубил канат, вытащил судно на глинистый берег, и едва не совершилось <в оригинале причастие без связки> кораблекрушение’.²¹⁴

Рассматривая аналогичные сочетания в древнерусском языке, Потебня писал: «...можно думать, что в древ. *вставь и рече* присутствие союза делает лишь более явственным свойство оборота, существовавшее и без союза, именно то, что в предложении — два п о ч т и равносильные центра; что к первому из них, подлежащему, тянет приложение; что предложение, чуть сдерживая свое единство, еще как бы распадается надвое, что однако же, не тождественно с полным его раздвоением».²¹⁵ Прогресс в развитии строя, согласно этому суждению Потебни, заключается в том, что двоецентрие впоследствии заменяется централизацией предложения. Глагол отвоевывает у имени ряд позиций, и в итоге создается перевес глагольного начала над именным, вследствие чего речь приобретает более компактный характер. В этом объяснении Потебни ярко проявляется метафизическое противопоставление имени глаголу, свойственное общей философии языка Потебни.

²¹⁴ Данные других германских языков см. в моей работе «К генезису номинативного предложения». 1936. С. 54, — работе, уже устаревшей по ряду высказанных в ней положений.

²¹⁵ ИЗРГ. I–II. С. 187.

Если в дальнейшем развитии речи намечается тенденция к ограничению предикативной силы прилагательного или причастия и к большему формальному подчинению предикативного определения глаголу (тенденция, которую, впрочем, не следует переоценивать, ибо в ряде языков, как в русском, до сих пор глагол в определенных случаях не только не нужен, но даже невозможен, ср. *луг скошен, посевы желты* и т. п.), то дело здесь не в мистической борьбе между глагольными и именным началом в языке, не в стремлении глагольного начала утвердиться и получить монопольное преобладание за счет именного, а в морфологических процессах, сопровождающих разложение древнего предикативного определения.²¹⁶

Совершающееся в ходе развития речи замещение древнего предикативного определения более точными категориями тесно связано с уточнением отношений приложения и собственно-предикативного определения к личному глаголу. Древнее предикативное определение выражало актуальный признак предмета, проявляющийся в обозначенный глаголом момент времени. При этом оставались, однако, неясными некоторые детали, без которых немыслима позднейшая, более развитая речь. Древнее предикативное определение могло выступать и как обозначение признака, данного независимо от глагольного действия, но проявляющегося одновременно с ним, и как обозначение признака, возникающего в прямой связи с глагольным действием. Так, в предложении *его, воеводу, поставили во главе войска* определение *воевода* выражает признак, которым данное лицо обладало еще до получения нового назначения. Признак этот, хотя и является актуальным для данного лица в данный момент, но присущ ему независимо от нового назначения. Другое дело предложение *его поставили воеводой во главе войска*. Здесь определение выражает признак, который только еще н а р о ж д а е т с я в данный момент, в итоге обозначенного глаголом действия. Первый случай — это случай приложения.

²¹⁶ А. А. Шахматов выступал против преувеличения силы глагола у Потебни. Характеризуя процесс развития составного или, как он выражался, двойного сказуемого, Шахматов писал: «Между обоими сказуемыми при самом возникновении таких предложений завязывалась борьба; одно из них старалось оттеснить другое на задний план, ослабить его значение, свести его реальное значение на формальное, наконец, подчинить его себе грамматически... Результатом такой борьбы являлся переход глаголов с реальным значением во втором сказуемом в глаголы вспомогательные и даже в простые связки. В этом результате видим побежденную глагольную форму... Но в исходе борьбы в некоторых случаях могло пострадать и название пассивного признака, т. е. существительное или прилагательное» (Синтаксис русского языка. 1941. С. 182). Шахматов не соглашается с Потебней в оценке процесса: там, где Потебня усматривал непрерывную цепь глагольных «побед», там Шахматов видит и «поражения» наряду с «победами». Нужно ли добавлять, что, возражая Потебне, Шахматов не сумел преодолеть его теории мистической борьбы глагольного и именного начала в языке.

Связь приложения с глаголом выражает только одновременность, про я в л е н и е известного признака в момент глагольного действия. Во втором случае перед нами — собственно предикативное определение. Оно выражает в н о в ь в о з н и к а ю щ и й признак. Связь собственно-предикативного определения с глаголом выражает нечто большее, чем простую одновременность признака и действия. Глагол уточняет здесь не время проявления признака, а время п о я в л е н и я его у данного предмета в п е р в ы е, время его в о з н и к н о в е н и я.

То обстоятельство, что приложение и собственно-предикативное определение еще не различались в древнюю эпоху, означает, что в то время не было еще четкого сознания противоречивости и разнородности изменений, протекающих в предметах природы. Наблюдая изменчивость вещей и отмечая появление и исчезновение отдельных свойств и признаков вещей, люди той эпохи еще не научились должным образом отличать свойства и качества, уже проявлявшиеся много раз в данных предметах и теперь проявляющиеся вновь, от свойств и качеств, лишь теперь возникающих в них. Изменения второго рода, впервые затрагивающие предмет, свидетельствуют о глубоких переменах, протекающих в самой его сущности. В языке древней эпохи имелись средства для выражения разницы между скрытыми и являющимися признаками вещей, но не было еще средств для того, чтобы в среде являющихся признаков должным образом отграничить старые, вновь проявляющиеся качества от новых, впервые возникающих.

С этой особенностью чувственно-сущностного мышления нам еще придется столкнуться в дальнейшем при рассмотрении предикативных отношений в древнем языке. Понадобится значительное расширение и развитие общественной практической деятельности людей и их знакомства с природой для того, чтобы ограниченность такого воззрения была преодолена.

Рассматривая глаголы «неполного высказывания» в связи с возникновением собственно-предикативного определения, необходимо разделить их на две большие группы: глаголы с т а н о в л е н и я (или превращения) и глаголы с о с т о я н и я. К глаголам первого рода относятся переходные глаголы: 'сделать', 'поставить', 'назначить' и многие другие, а также непереходные глаголы типа: 'становиться', 'делаться', 'превратиться', 'родиться'. К глаголам второго рода относятся такие переходные глаголы, как: 'оставить', 'иметь', 'знать', 'найти' и непереходные: 'быть', 'жить', 'ходить', 'сидеть' и т. д. Наличие такой рубрики, как глаголы становления, хорошо согласуется со всем тем, что было сказано о глаголах «неполного высказывания» и их неразрывной связи с понятием о внутренних изменениях вещей. Но как быть с глаголами состояния, значение которых находится, казалось бы, в вопиющем противоречии с идеей изменения и превращения? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо

сначала подробнее разобраться в глаголах «неполного высказывания», относящихся к первому разряду.

Многочисленные глаголы **с т а н о в л е н и я** являются по своему составу неоднородными и при ближайшем их рассмотрении распадаются на дальнейшие рубрики. Из среды этих глаголов нужно, прежде всего, выделить глаголы **ф и з и ч е с к о г о п р е в р а щ е н и я** и **с т а н о в л е н и я** типа: 'сделать', 'превратить', 'родить', 'сделаться', 'стать' и т. д. Эти глаголы наиболее ясно и четко выражают идею изменения предмета, возникновения в нем новых качеств и свойств. К этим глаголам примыкает ряд других, выражающих становление и возникновение атрибутов социального характера. К последним относятся такие глаголы, как: 'назначить', 'избрать', 'послать <кем>' и т. д. Сюда же, пожалуй, следует отнести и глаголы **и м е н о в а н и я**: 'называть', 'именовать' и т. д.

Глаголы **ф и з и ч е с к о г о** и **с о ц и а л ь н о г о** становления можно объединить в одну общую группу глаголов **о б ь е к т и в н о г о** становления. Им противостоит другая группа, которая может быть выделена под названием глаголов **с у б ь е к т и в н о г о** или **и д е а л ь н о г о** становления. «Субъективные» глаголы выражают изменения, протекающие не в сфере объекта, не в предмете, о котором идет речь, а в сфере субъекта познания, в понятиях, представлениях и переживаниях человека, познающего данный предмет. Они сигнализируют зарождение представлений о признаке, который, быть может, в самом предмете возник уж давно, но оставался незамеченным, и лишь теперь, в обозначенный глаголом момент времени, нашел отражение в сознании. К глаголам этого типа относятся прежде всего глаголы **ч у в с т в е н н о г о** **в о с п р и я т и я**: 'видеть', 'слышать', 'почувствовать' и т. д.

Древнее сочетание *увидели горящий дом* могло означать не только то, что оно означает в современном языке, но также еще 'увидели, что дом горит'. Позднейшая речь разграничила эти значения. Сочетание *увидели, что дом горит* отмечает, что в обозначенный глаголом момент в уме наблюдателей зародилось представление о пожаре. Это предложение оставляет нас в неведении относительно того, когда был замечен дом и когда он загорелся. Все это могло предшествовать в **ы в о д у** о пожаре; второе предложение фиксирует лишь момент, когда в сознании впервые **с л о ж и л с я** этот вывод, когда к восприятию дома присоединилось в **н о в ь** **в о з н и к ш е е** представление о происходящем пожаре. Момент возникновения относится здесь к представлению о предмете, к понятию о нем.

К глаголам идеального становления относятся также глаголы **м н е н и я** и **к а ж и м о с т и**: 'считать', 'думать', 'показаться' и т. д. Ср. *вдали показался залитый огнями город* и *город показался мне залитым огнями*. Субъективный характер высказывания во втором примере прояв-

ляется особенно ярко. В нем подчеркивается не только то, что представление о признаке возникло в сознании в определенный момент, но и то, что это представление следует в большей степени отнести за счет самого субъекта, чем за счет предмета восприятия.

Пока конструкции типа *увидели горящий дом и увидели, что дом горит, вдали показался залитый огнями город и город показался мне залитым огнями* не были разграничены в языке, до тех пор в сознании смешивались признаки, про я в л я ю щ и е с я в данный момент в предметах природы, с признаками, представление о которых в о з н и к а е т в данный момент в сознании. Разграничение аппозитивного и собственно-предикативного определения в таких сочетаниях означает огромный рост самосознания людей, скачок в понимании ими внутренних процессов, протекающих в уме человека и в окружающей действительности.

К глаголам чувственного восприятия и мнения приближается по своему смысловому содержанию группа глаголов в н у т р е н н и х п е р е ж и в а н и й: 'радоваться', 'печалиться' и т. п. Древней конструкции типа *я пожалел его уезжавшего* в языке позднейшего строя соответствуют как аппозитивное сочетание *я пожалел его, когда он уезжал*, так и собственно предикативное сочетание *я пожалел, что он уезжает*. В древних предложениях оставалось неуточненным, обусловлено ли переживание воздействием предмета в целом или же оно имеет место под влиянием вновь возникшего в данный момент признака этого предмета. Значит ли *я пожалел его уезжавшего* только лишь то, что я пожалел его в момент его отъезда, или же это означает нечто большее, а именно, появление чувства жалости под влиянием отъезда. В первом случае предложение выражает лишь факт одновременного сосуществования двух признаков — жалости и отъезда, во втором случае оно дополнительно указывает на наличие особой, причинной, связи между переживанием и фактом отъезда. Как и другие глаголы идеального становления, глаголы переживания выражают то обстоятельство, что изменение признака совершается в сфере субъекта.

К глаголам субъективного становления относятся также глаголы н а х о ж д е н и я: 'найти', 'обнаружить' и т. д. Древнее сочетание *они нашли его спящего* могло означать 'они нашли его спящим', т. е. 'когда он спал', и 'они нашли, что он спит'. И в этой области не проводилась важная грань между простой одновременностью признаков ('они нашли его в тот момент, когда он спал') и возникновением представления о признаке в сознании ('они открыли, что он спит'). Первое толкование предполагает, что объектом нахождения является предмет в целом, второе — что этим объектом является признак данного предмета (в нашем примере — сон). Любопытно отметить, что русский оборот с творительным пре-

дикативным *они нашли его спящим* в примерах этого типа соответствует не собственно-предикативному значению, как в большинстве случаев, а аппозитивному.

Глаголы субъективного становления как бы перебрасывают мост от глаголов физического (и социального) превращения к глаголам состояния и покоя. В число глаголов «неполного высказывания», относящихся к последней рубрике, входят глаголы *знания, речи, вещественного движения и бытия*.

Сочетания с глаголами знания не выражают факта реального или идеального возникновения признака, и если в ходе истории глаголы этого рода вовлекаются в общий поток глаголов «неполного высказывания», то это имеет место по основаниям особого рода. Древнему сочетанию типа *я знаю его больного* в новом языке соответствуют сочетания *я знаю его, этого больного и я знаю, что он — больной*. В отличие от глаголов чувственного восприятия и нахождения, выражающих в таких случаях момент возникновения представления («я увидел или узнал, что он болен»), глагол знания выражает простое наличие готовых представлений в уме. Тем не менее разница, существующая между предложениями типа *я знаю этого больного и я знаю, что этот человек больной*, во многом сближает глаголы знания с ранее рассмотренными разрядами глаголов.

Распад словосочетаний с древним предикативным определением совершается, как мы видели, по мере осознания людьми того, в высшей степени важного, факта, что в ходе событий меняется не только внешний облик, но и внутренняя сущность вещей. Среди переменных признаков предмета ум человека приучается теперь отличать изменчивые признаки одного рода, свидетельствующие о внешних переменах в предмете, от изменчивых признаков другого рода, позволяющих судить об изменениях и превращениях, протекающих в самой сущности предмета. Это разграничение внешних и внутренних изменений связано с новым, более глубоким пониманием вещей.

Как было показано в предшествующей главе, в итоге общественного развития в эпоху варварства, на высшей ступени этой эпохи, люди пришли к вычленению предикативных атрибутов как атрибутов, выражающих существенные признаки вещей и позволяющих выделить отдельный предмет из множества других предметов того же рода. Теперь, на новой, более высокой ступени общественного развития, категория существенных признаков подвергается уточнению. Среди существенных признаков проводится теперь разграничение признаков, существенных в плане выделения данного предмета из рода, и признаков, существенных в ином, более глубоком смысле — в плане характеристики внутреннего состояния предмета в отличие от прежних состояний его изменчивой сущности. В предложении *я знаю человека, который болен* признак «больной» служит

лишь целям выделения данного человека из числа других людей. Не то в предложении *я знаю, что этот человек больной*. Здесь признак 'больной' приводится как важная характеристика лица с точки зрения в н у т р е н н и х и з м е н е н и й, протекающих в нем самом, в его организме. Признак 'больной' имеет здесь не индивидуализирующее значение, а более глубокое; это — определение внутреннего состояния предмета.

Собственно-предикативные сочетания с глаголами знания свидетельствуют о том, что говорящие уже научились считаться с фактами внутренней изменчивости предметов, возможностью возникновения у предметов новых, ранее не существовавших свойств и качеств. Теперь говорящие уже хорошо улавливают разницу между временными признаками, существенными в плане выделения индивида из рода, и вновь возникшими переменными признаками, сигнализирующими о внутренних превращениях данного предмета. В разложении древних сочетаний с глаголами знания, как и в сочетаниях с другими глаголами «неполного высказывания», проявляются, следовательно, первые проблески идеи в н у т р е н н е г о р а з в и т и я вещей.

Глаголы речи ('сказать', 'воспеть', 'сообщить' и т. п.), как и глаголы знания, оттеняют признаки, важные в плане характеристики внутренней сущности предмета. В древних языках оборот *сказали воина смелого* мог одинаково употребляться как в смысле 'сказали о воине, который был смелым', так и в смысле 'сказали, что этот воин был смел'. Второе высказывание подчеркивает, что признак смелости важен в данном случае уже не сам по себе, а как признак, характеризующий поведение воина в определенный момент, причем само поведение мыслится как развивающееся и подверженное изменениям.

Мы подошли теперь к глаголам *вещественного движения* и *бытия*, из которых с течением времени выделяется *связка*, наделавшая с т о л ь к о шума в школьных руководствах по формальной логике и ориентированной на нее логической грамматике. Сочетание *он идет радостный* могло в древнем языке обозначать как 'он, радостный, идет', так и 'он идет радостный', т. е. 'он — радостный'. После того что было сказано о глаголах знания и речи, разница между двумя оттенками значений, сливавшимися в древних сочетаниях с глаголами 'ходить', 'бродить', 'сидеть', 'стоять', 'быть' и т. д., очевидна. В предложении типа *он, радостный, идет* речь идет о признаке, сопровождающем действие, выраженное глаголом. В предложении второго типа *он идет радостный* глагольное действие отступает на задний план, а на передний план выдвигается обозначенный прилагательным признак как признак, характеризующий лицо по его внутреннему состоянию в данный момент. Говорящий теперь уже как бы заранее считается с тем, что предмет, будучи таким, каким он является сейчас, мог бы быть и иным, что предмет изменчив в самой

своей сущности. В высказывании второго рода подчеркивается особое отношение признака к сущности предмета.

Предикация с помощью связки заслуживает специального рассмотрения в силу того места, которое она занимает в формальной логике. Нередко она истолковывается как чисто формальная и субъективная фигура речи. Вундт, например, следующим образом определял значение копулы: «Когда на место простого атрибутивного членения *красная роза* (*die Rose rot*) стало предикативное *роза красна* (*die Rose ist rot*), то при этом, разумеется, не возникло никакого нового объективного мыслительного содержания (*Gedankeninhalt*); все же установилось изменение в субъективном восприятии содержания, поскольку связка (*das 'ist'*) выявляет это содержание как найденное говорящим субъектом и в такой форме с субъективным усилением передаваемое слушателю. Поэтому объективное мыслительное содержание осталось само по себе атрибутивным, но высказывание о нем из атрибутивного превратилось в предикативное».²¹⁷

Вундт отказывается видеть в предикации отражение реальных связей объективной природы, что с головой выдает философа-идеалиста, он отрицает за ней всякий объективный смысл. Суждение при помощи связки придает, по мнению Вундта, лишь субъективную подчеркнутость представлению и не имеет объективного значения. Это грубейшее извращение действительности. На самом деле возникновение собственно-предикативного определения и связки знаменует появление в уме человека категории, отражающей определенные объективные отношения материального мира.

Предикация с помощью связки знаменует открытие новых сторон в объективной связи мира. Сочетания типа *эта роза красная* или с более общим значением *роза красна* возникают в позднейшей понятийной речи, приходящей на смену чувственно-сущностной речи, как отражение громадного сдвига в сознании людей, совершающегося под воздействием общественной практики в период образования классового общества. Говоря о связке, мы имеем здесь в виду мыслительную категорию, которая выражается по-разному в разных языках или в одном и том же языке. Глагольная связка *есть* (*собака есть животное*) для нас здесь лишь один из возможных способов выражения связки наряду с местоименной связкой *это* (*собака — это животное*) и «нулевой» связкой (*собака — животное; роза красна*).

Образование связки непосредственно связано с рассмотренными выше процессами развития глаголов «неполного высказывания» и разложения древнего предикативного определения. В основе всех этих процессов лежит, как мы видели, более глубокое проникновение в действительность, позво-

²¹⁷ Wundt W. Völkerpsychologie. 2 Aufl. II. 2. С. 327.

ляющее подмечать возникновение у предметов новых качеств и свойств, проследивать изменения, проявляющиеся у данного предмета впервые и затрагивающие его сущность, а также останавливать внимание на изменении наших представлений и понятий о вещах. Выработка связки является одним из необходимых звеньев в цепи всех этих процессов.

Связка была бы невозможна без выработки нового, более глубокого понятия о сущности предметов. На предшествующей ступени общественного развития люди еще недостаточно глубоко разбирались в изменениях, совершающихся в предметах природы. Впервые возникающие у данного предмета свойства в качества, свидетельствующие о глубоких изменениях в самой сущности предмета, недостаточно выделялись из числа качеств и свойств, которые и прежде наблюдались у данного предмета, а теперь проявляются в нем опять. Другими словами, в древнем сознании недостаточно разграничивались резкие перемены, меняющие отношение предмета к другим предметам и к его роду, и менее значительные изменения, обычные в пределах данного рода и не затрагивающие родовой сущности предмета. На следующей ступени развития с развитием общественной практики люди уже начинают сознавать, что отношение предмета к роду является изменчивым и многообразным. Снег и лед — это не только снег и лед, но и в о д а. В известном смысле можно назвать в о д о й даже плод растения или влажную почву и сырой воздух. Можно, например, о дровах сказать, что это *сплошная вода* в том смысле, что дрова — чрезвычайно сырые. Существенными для каждого предмета могут быть не только те связи, которые объединяют его с другими предметами в особый род, но и все другие бесконечные реальные нити и связи, которыми разнородные предметы объединяются в разнообразные обширные классы. Меняющиеся обстоятельства могут выдвинуть на передний план связь предмета с разными классами предметов. Чтобы определить внутреннюю сущность предмета, теперь уже недостаточно сослаться на его род; необходимо уточнять каждый раз тот класс предметов, к которому этот предмет при данных изменившихся обстоятельствах имеет ближайшее касательство.

Определение, присоединяемое при помощи связки, выражает род или класс, к которому относится данный предмет, либо еще свойство, выводящее предмет за узкие пределы его рода и сближающее его с огромным классом других, инородных предметов. Когда мы говорим *роза красна*, то этим мы подчеркиваем, что роза обладает качеством, которое роднит ее с огромным классом посторонних предметов, обладающих данным цветом. Что такое толкование определения при связке — верно, доказывается рядом дополнительных обстоятельств.

Присвязочное определение выражает либо тождество предмета с самим собой, либо, чаще всего, отношение единичного к общему и рода к

классу. Этим объясняется тот факт, что далеко не все существительные могут стоять в позиции присвязочного определения. Можно, например, сказать: *человек есть человек* в тавтологическом смысле (человек это не больше или не меньше чем человек), можно, далее, сказать *человек — животное*, определяя общий класс, к которому относится весь данный род предметов в целом, указывая на отношение вида к роду, но никак нельзя поставить в роли предикативного атрибута имя существительное, не имеющее тавтологического или общего значения. Любопытно также, что в позиции присвязочного определения не может стоять причастие. Пока в древнем языке глагол бытия оставался глаголом «полного высказывания», до тех пор причастие часто выступало в роли предикативного определения. Такие сочетания, как *он есть бегущий*, не редкость в древней речи. Но в языке позднейшего строя такое сочетание больше невозможно (если только причастие не приобрело общего значения и не перестало быть причастием, как в сочетании *это животное млекопитающее*). Позднейшее развитие решительно исключает причастия из сочетаний со связкой, поскольку причастие выражает не общий признак, а признак временный и случайный. Когда старая логическая грамматика, стремившаяся свести любое предложение к логическому суждению, толковала предложение с глагольным сказуемым типа *он бежит* как суждение *он есть бегущий*, то она допускала двойную погрешность против истины; ибо пока причастие могло встречаться в таких сочетаниях, глагол в них еще не был связкой, а с тех пор как *есть* превратилось в связку, причастие в этой позиции уже больше встречаться не может.

Если, однако, причастия полностью исключены из разряда присвязочных определений, а существительные допускаются к этой функции лишь поскольку они повторяют подлежащее или же выражают отношение общего к частному или единичному, то это позволяет считать, что имена прилагательные возможны в этой функции только потому, что они определяют предмет по его принадлежности к обширному классу предметов, обладающих известным свойством.

В целом сочетание со связкой обусловлено выработкой понятий о классах предметов и их взаимоотношениях. Поэтому более подробное рассмотрение связки должно быть отложено до исследования истории этих понятий по данным языка. Здесь же мы коснулись вопроса о связке только мельком, поскольку он смыкается с историей глаголов «неполного высказывания» и предикативного определения.

Возвращаясь к глаголам «неполного высказывания» и к истории предикативного определения, мы снова подчеркнем высказанные раньше положения. Глаголы «неполного высказывания» в эпоху чувственно-сущностной речи были еще «полными». Если в ходе дальнейшего развития эти глаголы обнаруживают стремление распастись на глаголы

«полные» и «неполные», то это расслоение связано с разложением древнего предикативного атрибута, с выделением из него приложения и собственно-предикативного определения. Перед нами здесь две стороны одного и того же процесса развития атрибутивных отношений, которые и подлежат рассмотрению в их совокупности. Развитие «неполных» глаголов есть лишь обратная сторона процесса поляризации древнего предикативного определения. Чем лучше морфологически и синтаксически выделились приложение и собственно-предикативное определение в языке позднейшего строя, тем меньше нужды было в последовательном разграничении глаголов «неполного высказывания» и наоборот. Вот почему мы в одних языках, как, например, в русском, находим более резкое разграничение в области определения (особая форма предикативного и аппозитивного творительного, резко выраженная интонация приложения и т. д.), а в других языках обнаруживаем большую последовательность в размежевании глаголов «неполного высказывания».

Отсюда следует чрезвычайно важный вывод для датировки процесса разложения древнего предикативного атрибута. Когда акад. В. В. Виноградов отмечает, что ни в одном из славянских языков широкое распространение творительного предикативного не может быть отнесено ко времени более раннему, чем XIV–XV вв.,²¹⁸ то это лишь хронология появления той или иной «замены», но не хронология процесса разложения древнего предикативного определения в целом. Для того чтобы дать хронологию этого процесса, необходимо засечь его начало. Первоначально процесс перестройки речи идет как бы ощупью в разных морфологических направлениях, соединяя попытки расчленить глаголы на «полные» и «неполные» с выработкой специальных предикативных форм имени. Окончательное возобладание определенных морфологических приемов и стандартизация их может при этом относиться к гораздо более поздней эпохе, чем начало процесса. Во всяком случае, никакие суждения о хронологии этого процесса невозможны, пока процесс разложения предикативного определения берется односторонне, только со стороны глагола или только со стороны имени.

Что касается смыслового содержания этого процесса, то оно было определено выше как рост и углубление понимания взаимоотношений предметов и их свойств и качеств под влиянием общественной практики в эпоху возникновения классового общества. Разложение древнего предикативного определения означало вытеснение древних понятий об изменениях предметных признаков новыми, более сложными понятиями, основанными на учете вновь возникающих свойств и качеств предметов.

²¹⁸ Виноградов В. В. Учение А. А. Потебни о стадильности развития синтаксического строя в славянских языках // Вест. Московск. унив. 1946. 3–4. С. 14.

Среди изменчивых свойств и качеств предмета люди научились отличать свойства, проявляющиеся в данный момент, от свойств и качеств, вновь возникающих, свидетельствующих о глубоких изменениях в самой сущности предмета. Если процесс разложения древнего предикативного определения начинается, как было выше замечено (стр. 300), прежде всего с имен существительных, то это объясняется тем, что существительные выражают более устойчивые и продолжительные признаки предметов и внутренняя изменчивость лиц и вещей резче ощущается в сочетаниях с именами существительными, чем в сочетаниях с именами прилагательными и причастиями (ср. *они стали друзьями* и *они стали печальные*).

9. Смысловая структура прилагательных в древнем языке

История предикативного определения выявляет особенности понятий о предметах на стадии чувственно-сущностной речи. Отмечая изменения предметов, люди той эпохи еще не знали, что изменения бывают разных типов, что одни изменения не затрагивают принадлежности данного предмета к роду, в то время как другие свидетельствуют об изменении родовой сущности предмета. Точка зрения внутреннего изменения и развития вещи вырабатывается много позднее, и семантическая история таких глаголов, как русск. *превращаться*, немецк. *werden* и т. д. прекрасно иллюстрирует разницу в понимании. *Превращаться, werden* (ср. русск. *вертеть*, лат. *verto, vector*) раньше означало 'повернуться'. Превращение мыслилось в древности как сверхъестественный акт, как явление, противоречащее природе вещей. Если лицо резко изменилось, то такое изменение приписывается фантастической «способности» некоторых лиц «повернуться» таким образом, чтобы «обернуться» иными. Вера в оборотней вырастает на основе ограниченности архаического мышления, которое еще недостаточно разбиралось в многообразии изменчивых свойств предметов и четко не выделяло глубоких внутренних изменений, связанных с изменением родовой принадлежности предмета.

Отношение качеств к другим качествам внутри данной вещи и их отношение к качествам других вещей не выделяются в эту эпоху с достаточной четкостью. Все сложные отношения качеств сливаются на древней ступени и сводятся к одностороннему отношению признака и вещи. Отсюда странные для нашего современного языкового чутья обороты древнего языка. Ср. др.-русск. *Володимерь язвень-трудень въхъа в городъ свой*, т. е. 'тяжело раненый', букв. с обратным порядком слов 'тяжелый раненый'; пережиточно в фольклоре: *грузна больна белая лебедушка*;

стоит чара золота полна меду налита;²¹⁹ Ср. также др.-исл. Sg. 57 3–4 þá er mik sára | svikna hofðoð ‘которые меня больно <букв. ‘больную, раненую’, в усилительном смысле> обманули’, дословно ‘имели обманутую’. Из такого употребления прилагательного возникло, видимо, немецк. *sehr* ‘очень’, ранее ‘больно’, ср. *unversehrt*. Сюда же относится пример из древнегерманского: О. *gisah einan man, blintan giboranan* ‘видел человека слепорожденного’, букв. ‘слепого рожденного’, и т. д. В этих примерах признак, характеризующий прилагательное, непосредственно соотносится с определяемым. Мы сталкиваемся здесь с характерной для чувственно-сущностной речи тенденцией относить всякий признак непосредственно к определяемому.

Ограниченность чувственно-сущностного мышления и узость понимания атрибутивных отношений на древней ступени резко проявляется в смысловой структуре особого класса прилагательных, выражающих соотносительные и необратимые свойства вещей. Древние могли, к примеру, употреблять прилагательное ‘больной’ не только в приложении к больному человеку, но и в приложении к траве, которая исцеляет. ‘Опасным’ они называли не только нечто страшное и вызывающее опасения, но и человека, испытывающего чувство страха, как мы бы сейчас сказали: опасливого и робкого. Мы имеем здесь дело с особым разрядом свойств, охватывающих различные классы предметов таким образом, что определенным свойствам одного класса предметов необходимо соответствуют вполне определенные другие свойства другого класса предметов. Свойство цел е б н о й травы исцелять определенные болезни неразрывно связано со свойством б о л ь н о г о исцеляться при помощи этой травы. Свойство определенных лиц, вещей или явлений н а в о д и т ь на людей с т р а х неразрывно связано со свойством робких или робеющих людей и с п ы т ы в а т ь с т р а х. В каждом отдельном случае мы сталкиваемся здесь с парными сцеплениями активных и пассивных свойств, необходимо предполагающими друг друга. Характерной особенностью древней речи является совмещение противоположных свойств в одном прилагательном.

Древнеисландский язык дает немало примеров такого архаического совмещения значений.

afkarr ‘могучий, воинственный, обладающий невероятной силой’ (ср. Акв. 38, 2 *afkarr songr* ‘песня невероятной силы’), одновременно означает, как отмечает Lex. poet., еще ‘взволнованный, недовольный’. Второе значение может быть представлено как результат первого: проявление силы и дерзости на одном полюсе вызывает на противоположном полюсе волнение и недовольство.

²¹⁹ ИЗРГ. I–II. С. 120, 168.

ámáttligr, ámáttigr, ámátttr ‘могучий, дерзкий’ и ‘неприятный, страшный, опасный’. В значении ‘могучий, дерзкий’ встречается в Эдде как постоянный эпитет йотунов. Для второго значения ср. Ed. min. *allt er úti | ámátt firum* ‘все здесь опасно людям’. В новоисландском прилагательное сохраняет многозначность, оно употребляется в значениях ‘страшный, неприятный’; ‘удивительный, странный’; ‘глупый, назойливый’ и др. Легко заметить, что, несмотря на сохранность многих значений, структура старого полисемантизма здесь нарушена. Решающую роль при этом сыграло устранение оттенков ‘могучий, дерзкий’.

andvígr ‘враждебный, нападающий’ и ‘вредный’. Новонорв. *andvig* удерживает лишь первое, активное значение. В новоисландском, наряду с этим, существует еще значение ‘неблагоприятный’ в сочетании *andvigar kringumstæður* ‘неблагоприятные обстоятельства’. Поскольку пассивное значение здесь ограничилось и не может быть приложено к людям, постольку можно и здесь отметить выход за пределы древнего полисемантизма.

armr ‘бедный, несчастный, жалкий’. Lex. poet. указывает, что слово часто употребляется как ругательство. Соответственно этому в одном из словарей к Эдде: *elend, fluchwürdig (einer, den man elend zu sehen wünscht)*. Более решительно расхождение значений оттеняет Möb.: *elend, unglücklich; schlecht, verächtlich*. Таким образом, значениям ‘бедный, несчастный, жалкий’ здесь противостоят значения ‘злой, приносящий несчастье, злополучный’. Значения второго рода обычно отождествляются с современным употреблением слова *несчастный* в презрительных выражениях типа *несчастный лгунишка*. Но в древнеисландском они достаточно обособлены и не имеют еще позднейшего привкуса морального осуждения, ср. Þrk. 29, 1–2 *Inn kom in arma | iqtina systir* ‘вошла злополучная сестра йотуна’; Eg. 71, 24 (*allir mæltu*), *at Egill skuldi fara allra manna armastr, ok hann væri enn verstí maðr af þessi verki* ‘все говорили, что Эгиль поступил как злейший человек и что он хуже всех после такого поступка’.

aumligr имеет те же значения, что *armr*. Активное значение ‘злой, злосчастный’ выступает в Rm. 2, 4 *aumligr norn* ‘злокозненная норна’. Dett. в примечании к данному месту указывают, что норна в древнеисландском никогда не имеет абстрактного значения судьбы и, следовательно, выражение не может быть передано словами ‘жалкая доля’. Lex. poet. хотя и переводит ‘*ussel norne*’ (‘несчастливая норна’), но при этом добавляет: «*sákaldt på grund af den af hende tildelte elendighet*».

aumr употребляется в тех же значениях, что *armr* и *aumligr*.

ballr ‘сильный, могучий’ и ‘грозный, опасный’. Новоисл. *ballur* ‘смелый, неукротимый, отважный’ устраняет пассивные оттенки, ср. также датск. *bold* ‘смелый, отважный, бравый, красивый’.

bitr 'резкий <собств. режущий>, острый'; о людях: 'смелый'. Пассивно (о боли или ране): 'жгучий, острый'. В новоисландском *bitur* выявляет значения 'острый', например *biturt sverð* 'острый меч' и 'горький' (ср. нем. *bitter*). Таким образом, расстояние между полярными значениями здесь увеличилось, хотя непосредственной опасности смешения значений здесь не было, поскольку они относятся к разным семантическим сферам: 'острый нож' и 'острая боль'. Другие скандинавские языки, как и немецкий, оставили за словом одно лишь значение 'горький'.

blíðr 'ясный, светлый, дружественный, благосклонный' и 'благоприятный, удобный'. В активном значении один из эпитетов асов в Эдде *blíð regin* 'благосклонные властители'. Пассивно в НН. II, 22, 7 *þat er þér blíðara* 'это тебе удобнее, приятнее'. Новоисл. *blíður* сохраняет лишь первую группу значений, аналогично *blíð* в датском, норвежском и шведском.

bráðr 'пылкий, горячий, быстрый, нетерпеливый' и, с другой стороны, 'неожиданный, внезапный', ср. Ls. 45, 2–3 *mik bráðan kveða | goð öll ok gumar* 'все люди и боги говорят, что я вспылчив, горяч', и Od. 5,4 *bráðar sóttir* 'внезапные болезни'. Реальной опасности полисемантизма здесь нет, так как первая группа значений приложима к людям, вторая — к явлениям и событиям. Новоисл. *bráður* могло поэтому сохранить оба значения, ср. датск. *brad* 'крутой, обрывистый, внезапный', шведск. *bråd* 'спешный, срочный'.

bærr акт. 'способный, достойный', первоначально 'носящий, приносящий', пасс. 'носимый, терпимый', ср. *bærr ert at heyra hróðr* 'ты достоин выслушать похвалу' и *vara bært* 'было невыносимо <трудно>'. Этимологически и семантически прилагательному соответствует агс. *bære*, дрвн. *bari* (новонемецк. *-bar*).

dáligr 'враждебный, злой, вредный' и 'несчастный'. Новоисл. *dálegur* в значении 'несчастный, бедный' Вл. приводит как архаизм. Другие скандинавские языки сохраняют за словом лишь одно из значений, ср. датск. *daarlig* 'плохой, незначительный', норв. *dåleg* 'жалкий, несчастный, недостаточный', шведск. *dålig* 'плохой, недобрый'.

dapr 'печальный, грустный' и акт. 'вызывающий печаль и грусть', ср. *þjóð er dapr* 'люди печальные' и *dapr dagr* 'печальный день', *daprar minjar* 'вызывающие печаль памятники, знак печальных событий'. Полисемантизм этого рода сохраняется безболезненно во всех новых языках, так как сферы приложения значений здесь разграничены.

dauftr 'глухой', т. е. о людях: 'неслышащие', о звуках: 'невнятные, неясные'. Разграничение семантических областей и здесь способствует переживанию старых отношений.

dyggligr, dyggr (от глагола *duga* 'быть годным, годиться'). Прилагательное первоначально выражает идеальные с точки зрения родовой зна-

ти отношения между предводителем войска и дружиной: (о князьях и богах) 'правый, справедливый', (о дружине и воинах) 'надежный, верный'. В первом значении Lex. poet. приводит *aldyggr* 'tetscaffen (gud, konger)'. Второе выступает в Vsp. 64, 5–6 *dyggvar dróttir* 'верные дружины', Rm. 20, 4–6 *Dyggva fylgjo | hygg ek ins dökkva vera | ... hrafns* 'я полагаю, что черный ворон является надежным спутником <для воина>'. Новоисл. *dyggur* сохраняет лишь значения второго рода: 'верный, надежный'.

færr, как и *bærr*, отглагольное прилагательное (Verbaladjektiv), акт. 'движущийся, способный к движению, проворный, энергичный', пасс. 'движимый', о пути: 'проходимый', о погоде: 'позволяющая ехать'.

glæðr 'веселый, радостный' и 'доставляющий радость, приятный'. Семантически параллельно рассмотренному выше прил. *dapr*.

glöggr 'жадный, скаредный, бережливый' и 'аккуратный, точный, четкий, ясный', ср. Háv. 48, 6 *sýtir æ glöggr við gjöfom* 'жадный человек постоянно дрожит над дарами', т. е. 'боится дарить', и Akv. рг. *Enn segir glöggra í Atlamáloin inom grænlenzkom* 'подробнее, точнее говорится об этом в гренландской песне об Атли'. Новоисл. *glöggur* сохраняет оба значения, которые с точки зрения современного сознания не представляются более связанными между собой.

grimmr 'жестокий, суровый, враждебный' и 'опасный, страшный', ср.: НН. 18, 1–4 *Hefir minn faðir | meyo sinni | grimmom heitit | Granmars syni* 'отец мой обещался выдать свою дочь суровому сыну Гранмара'; Sg. 5, 8 *grimmar urðir* 'жестокие норны'; Вг. 16, 1–2 *Hugða ek mér Gunnar, | grimt í svefni* 'снилось мне, Гуннар, страшное во сне'; Ггр. 51, 1–2 *þa er Guðrúno | grimt um hiarta* 'тогда будет ей тоскливо на душе'. Такую же связь значений обнаруживает в этимологическом плане при л. *gramr* 'злой, враждебный', ср.: кемецк. *Gram* 'печаль' и др.-саксонск. *gram* 'злой, опечаленный'. Новоисл. *grimmur* сохраняет лишь первую группу значений.

gæfr, отглагольное прилагательное (Verbaladj.), акт. 'дающий, щедрый, благосклонный, добрый', пасс. 'данный'.

görr, отгл. прил., акт. 'собирающийся что-либо делать, готовый', пасс. 'сделанный, совершенный'.

heilráðr акт. 'дающий хорошие советы'. Lex. poet. добавляет к этому пассивное значение 'принимающий добрые советы, поступающий согласно таким советам'. Вл. отмечает в новоисландском лишь активное значение.

hljóðr, о звуке: 'тихий, приглушенный, еле уловимый'; о людях: 'насторожившийся, притихший, молчаливый, замкнутый'. Этот полисемантизм сохраняет и новоисландское прилагательное. Различие сфер приложения значения делает такой полисемантизм безопасным.

hollr, о богах и повелителях: 'благодетельный, милостивый'; о слугах: 'верный, надежный', ср.: *hollr gramr* 'благодетельный князь', *holl*

regin ‘милостивые владыки’ и *hollr húskarl* ‘неверный слуга’, *hollir menn* ‘верные люди’. В новых скандинавских языках слово сохраняет значение ‘приятный, благожелательный, добрый’ (норв. *holl*, датск. и шведск. *huld*, ср. нем. *hold*). Новоисл. *hollur* сохраняет второе значение лишь в известных сочетаниях, вроде *hollur húsbónda sínum* ‘верный своему хозяину’.

hryggr, о людях: ‘печальный’, о неодушевленных предметах: ‘вызывающий печаль’, ср. *dapr*.

kunnr или *kuðr* ‘сведущий, мудрый’ и ‘известный’, ср.: Akv. 1, 1–3 *Atli sendi | ár til Gunnars | kunnan segg at ríða* ‘Атли послал некогда к Гунару мудрого витязя’, и Háv. 57, 4–5 *maðr af manni | verðr at máli kuðr* ‘человек человеку становится в беседе известен’. Новоисл. *kunnur* имеет лишь пассивное значение.

kærr, глагольное прилагательное, акт.: ‘любящий’, пасс. ‘любимый, милый’, ср. *hann var mjök kærr at hestum* ‘он был большой любитель лошадей’ и *leikr sá var kær mǫnnum* ‘игра эта была приятна людям’, *minn hinn kæri sunr* ‘мой любимый сын’ (Möb.). Новоисл. *kærr*, как отмечает Zoega, имеет лишь пассивные значения ‘dear, beloved’, аналогично, датск. *kjær* ‘lieb, wert, teuer’, но *være kjær i* ‘влюбиться в кого’.

lofligr, о людях и делах: ‘достойный похвалы’, о словах: ‘хвалебный’. Аналогично в новоисландском. Многозначность прилагательного нейтрализована уже в древнем языке разделением семантических сфер.

móðigr ‘неистовый, дикий, воинственный, отважный’ и ‘опечаленный, грустный’ (ср. *grimmr*). Новоисландский сохраняет в этом случае пассивные значения ‘опечаленный, грустный’. В датск. *mudig* ‘отважный, смелый’ древний полисемантизм устранен путем сохранения активной семантики, как в нем. *mutig*.

næmr, отгл. прил., ‘воспринимающий, способный воспринять’, пасс. ‘воспринимаемый, взятый’ ср. *bærr*. Новоисландское прилагательное выявляет активное значение ‘способный, чувствительный’, но в специальном употреблении пассивное значение сохранилось в *næmir sjúkdómar* ‘заразительные болезни’, т. е. ‘легко воспринимаемые’, как мы говорим о человеке, что он в о с п р и и м ч и в к болезням.

skyggn ‘остроглазый, человек с острым зрением’, пасс. ‘прозрачный, ясный’ (о стекле). В новоисландском сохранилось активное значение ‘зоркий, пронизательный, дальновидный, ясновидящий’; ср. норв. *skyggen*.

skýrr, о людях: ‘понятливый, умный’, о понятиях: ‘ясный, отчетливый’. Разграничение семантических сфер способствует переживанию обоих значений в новом языке.

sýndr, ‘зрячий’ и ‘видимый’, одинаково *syniligr* ‘зоркий, зрячий’ (ср. *skammasýniligr* ‘близорукий’) и ‘зримый’. В новоисландском произошло

разграничение значений и синонимов: *sýndur* фиксировалось в активном значении, *sýnilegr* в пассивном, ср. еще норв. *synt*, шведск., датск. *synlig* 'sichibar, sichtbar'.

viss 'мудрый' и 'известный, определенный', ср. *kunnr*; в новоисландском только второе, пассивное значение, в норвежском различаются *vis* 'мудрый' и *viss* 'определенный, верный'.

ør-uggr 'бесстрашный, отважный' и 'верный, надежный'.

ør-vænn 'не ожидающий, лишенный надежд, перспектив' и 'невозможный, то, чего нельзя ожидать'.

Прежде чем перейти к выводам, укажу на параллельные явления в других языках. Материалы из готского и немецкого языков приводит Бехагель (Dt. Synt., § 94), из собрания которого я заимствую следующие примеры:

Готск. *þarbs* 'нуждающийся, необходимый'; дрвн. *forhtlich* 'страшный, боязливый'; *betrogen* 'обманный, обманутый'; *gewis* 'знающий, известный'; срвн. *angestlich* 'ужасный, боязливый'; *begirlich* 'желающий, желательный'; *vroelih* 'радостный, вызывающий радость'; *vreislich* 'страшный, трусливый'; *kündec* 'сведущий, известный'; *willec* 'желающий, желанный'; *gehoerig* 'слушающий, слышимый' и др.

Примеры из латинского языка.²²⁰ *caecus* 'слепой, невидящий, незримый, невидимый'; *formidulosus* 'полный страха, опасаящийся' и 'вызывающий страх'; *luctuosus* 'приносящий печаль' и 'находящийся в печали'; *plagosus* 'покрытый ударами' и 'любящий наносить удары'; *infestus* 'враждебный, жестокий' и 'подверженный нападениям'; *molestus* 'обременительный, тягостный, докучливый' и 'принужденный, неестественный, изысканный'; *cautus* 'осторожный, осмотрительный' и 'обеспеченный, надежный'; *anxius* 'полный беспокойства' и 'приносящий беспокойство'. Такое употребление прилагательных в латинском языке уже весьма ограничено.

Как отмечает М. М. Покровский,²²¹ семантические области применения активных и пассивных значений четко разграничены. М. М. Покровский склонен думать, что «здесь замешаны... общие условия употребления прилагательных». С нашей точки зрения, в латыни имела место редукция ранее более широкого употребления, а поэтический язык, который свободнее обращается с такими прилагательными,²²² тем самым донес до нас отголосок архаической эпохи.

²²⁰ Покровский М. М. Материалы для исторической грамматики латинского языка. С. 30 слл. Здесь же приводятся данные греческого, старофранцузского, немецкого и других языков.

²²¹ Там же. С. 58.

²²² Там же. С. 59.

Греческие примеры: *ἄχθεινός* 'причиняющий досаду' и 'испытывающий ее'; *δύσστηνος*; 'несчастный, бедный' и 'злополучный'; *τλήμων* 'стойкий, смелый, предприимчивый, дерзкий' и 'несчастный, жалкий'; *τάλας* 'отважный, дерзкий' и 'горемычный, бедный, несчастный'; *πονηρός* 'приносящий вред, неприятный' и 'испытывающий страдания'. Примеры такого употребления встречаются преимущественно у Гомера и трагиков.

Русские примеры: *завистный* в современном народном *завистливый*, в старом языке также 'возбуждающий зависть'; *вредный* теперь 'приносящий вред', ранее и 'испытывающий его', ср. *врѣдъныя, хромья и слѣпныя*; *нужный* теперь 'вызывающий нужду, необходимый' в старом языке еще 'испытывающий нужду, бедный'; *верный* 'заслуживающий доверия', раньше еще 'верующий'; *надежный* в старом языке кроме значения 'возбуждающий или оправдывающий надежду' еще 'надеющийся' (последнее значение сохранилось в застывшем обороте *будьте надежны*); *страшный* теперь 'наводящий страх', некогда еще 'испытывающий страх'; *грозный* 'наводящий ужас', но в старом языке еще 'робкий'; *опасный* 'тот, кого следует опасаться', но в ряде выражений уцелело и другое значение 'тот, кто опасается', например *опасная дичь*, 'опасливая, сторожка'; *хмельной* 'опьяневший' и 'опьяняющий', ср. *хмельное зелье* (аналогично *пьяный* в *пьяный мед*) и т. д.

Приведенные материалы показывают, что черты древнего полисемантизма в той или иной степени прослеживаются в разных языках. Если в языках позднейшего строя и даже в современных языках можно найти обильные следы древних отношений, то это объясняется тем, что имеются случаи, когда древний полисемантизм не столь опасен. Разграничение значений было строго необходимо далеко не везде. В таких случаях, где контекст легко устраняет многозначность прилагательного (ср. *сонный человек* и *сонное зелье*, *печальный юноша* и *печальное событие*), полисемантизм безболезненно удерживается вплоть до наших дней. Но он, безусловно, устраняется в тех случаях, когда оба значения могут быть в одинаковой степени приписаны определяемому (например др.-исл. *hollr* 'благосклонный' и 'верный, надежный', др.-русс. *грозный* 'грозный' и 'робкий').

На этом мы заканчиваем рассмотрение имен прилагательных.

Список сокращений

Периодические издания

- ИАН СССР, ОЛЯ — Известия Академии Наук СССР, Отделение языка и литературы.
ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и литературы Российской Академии Наук.
Anz. — Anzeiger für deutsches Altertum und Literaturgeschichte.
IF — Indogermanische Forschungen.
KZ — Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, begr. von Ad. Kuhn.
MSL — Mémoires de la Société de linguistique de Paris.
PBB — Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, begr. von Paul und Braune.
Zs. f. d. Alt. — Zeitschrift für deutsches Altertum und Literaturgeschichte.
Zs. f. d. Phil. — Zeitschrift für deutsche Philologie.

Исследования и сводные работы

- ИЗРГ — *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике: В 2 т. Харьков, 1888.
ИЗТС — *Потебня А. А.* Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
ИР — *Март Н. Я.* Избранные работы: В 5 т. М.; Л., 1933–1937.
Bl. — *Blöndal S.* Islensk-dönsk orðabok. 1920–1924.
Dett. — Saemundar Edda II (Kommentarband) / Hrsg. F. Dettler, R. Heinzel. Leipzig, 1903.
Dt. Synt. — *Behaghel O.* Deutsche Syntax. Bd. 1–4. Heidelberg, 1923–1932.
Falk-Torp, Synt. — *Falk Hj., Torp A.* Dansk-norskens Syn tax i historisk Fremstilling. Kristiania, 1900.
Germ. Synt. — *Delbrück B.* Germanische Syntax III. Der altisländische Artikel. Abhandlungen der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Phil.-hist. Kl. XXXIII, 1.
Grimm — *Grimm J.* Deutsche Grammatik. IV. Göttingen, 1837.
Got. Eb. — *Streitberg W.* Gotisches Elementarbuch. Heidelberg, 1920.
Heusler — *Heusler A.* Altisländisches Elementarbuch. 3. Auflage. Heidelberg, 1932.
Idg. Grm. — *Hirt H.* Indogermanische Grammatik. Heidelberg, 1921–1937.
Kurze vgl. Grm. — *Brugmann K.* Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1904.
Lex. poet — *Johnsson F.* Lexicon poeticum antiquae linguae septentrionalis. Kopenhagen, 1913.
Lund — *Lund G.* Oldnordisk ordföjningslære. København, 1862.
Mikkelsen — *Mikkelsen Kr.* Dansk ordföjningslære. København, 1911.
Möb — *Möbius T.* Analecta Norræna. 2. Auflage. Leipzig, 1877.
Norr. Synt. — *Nygaard M.* Norrøn Syntax. Kristiania, 1905.
Stolz-Schmalz. — *Stolz-Schmalz.* Lateinische Grammatik, in fünfter Auflage völlig neu bearbeitet von M. Leumann und J. B. Hofmann. München, 1928.

- Vgl. Synt. — *Brugmann K., Delbrück B.* Grundriss der vergleichenden Grammatik des indogermanischen Sprachen: In 2 vols. 2nd ed. Strassburg, 1897–1916.
- Vondrak. — *Vondrak V.* Vergleichende slavische Grammatik. Bd. 1–2. 2. Auflage. Göttingen, 1924–1928.
- Wilmanns. — *Wilmanns W.* Deutsche Grammatik. Strassburg.
- Zoëga. — *Zoëga G. T.* A concise dictionary of old Icelandic. Oxford, 1910.

Источники

- Akv. — *Atlakviða* in grœnlenzka (Edda).
- Alv. — *Alifssmál* (Edda).
- Am. — *Atlamál* in grœnlenzko (Edda).
- Ar. — *Spencer B., Gillen F. J.* The Arunta: A study of a stone age people. London, 1927.
- Bdr. — *Baldrs draumar* (Edda).
- Beow. — *Beowulf*, hrsg. von M. Heyne, Paderborn, 1898.
- Br. — *Brot* (Edda).
- Caes. Gall. — *C. Tullii Caesaris Commentarii de bello Gallico*.
- Dr. — *Drap Niflunga* (Edda).
- Eb. — *Eyrbyggja saga*, hrsg. von H. Gering, 1897 (Altnordische Saga-Bibliothek, Heft 6).
- Edda — hrsg. von G. Neckel. 1914.
- Ed. min. — *Eddica minora*, hrsg. von Heusler und Ranisch.
- Eg. — *Egils saga*. 1894 (Altnordische Saga-Bibliothek)
- Fi. — *Fiqisvinnzmál* (Edda).
- Fm. — *Fáfnismál* (Edda).
- Gör I — *Guðrúnarkviða I* (Edda).
- Gör II — *Guðrúnarkviða II* (Edda).
- Gör III — *Guðrúnarkviða III* (Edda).
- Gg. — *Gylfaginning* (составная часть SE.).
- Ghv. — *Guðrúnarhvot* (Edda).
- Gr. — *Grógaldr* (Edda).
- Grm. — *Grimnismál* (Edda).
- Grp. — *Grípisspá* (Edda).
- Grt. — *Grottasöngr* (Edda).
- Gs. — *Gisla saga Surssonar*, hrsg. von F. Jonsson, 1903 (Altnordische Saga-Bibliothek, Heft 10).
- Gunnl. — *Gunnlaugssaga Ormstungu*, ed. from d. Small, 1925.
- Háv. — *Hávamál* (Edda).
- Hdl. — *Hyndlolióð* (Edda).
- Hel. — *Heliand*.
- HH. — *Helgakviða Hundingsbana I* (Edda).
- HH. II — *Helgakviða Hundingsbana II* (Edda).
- HHv. — *Helgakviða Hiqrvarzsonar* (Edda).
- Hlr. — *Helreið Brynhildar* (Edda).
- Hm. — *Hamðismál* (Edda).
- Hrbl. — *Hárbarðlióð* (Edda).
- Hv. — (приложение к Kr.).

- Hym. — Hymiskviða (Edda).
 IB. — Ares Isländerbuch, hrsg. von W. Golther, 1892. (Altnordische Saga-Bibliothek, Heft 1).
 Isid. — Der althochdeutsche Isidor.
 Iw. — Iwein.
 Kr. — Kristnisaga, hrsg. von W. Golther (Altnordische Saga-Bibliothek, Heft 17).
 Ls. — Lokasenna (Edda).
 Ludwl. — Ludwigslied.
 Nib. — Nibelungenlied.
 Nj. — Njala brennu-saga, hrsg. von F. Jonsson, 1908 (Altnordische Saga-Bibliothek, Heft 16).
 O. — Otfried.
 Od. — Oddrunargratr (Edda).
 Parz. — Parzival.
 Rm. — Reginsmál (Edda).
 Rþ. — Rígsþula (Edda).
 SE. — Edda Snorra, København, 1882.
 Sd. — Sigdrífomál (Edda).
 Sf. — Frá dauða Sinfíotla (Edda).
 Sg. — Sigurðarkviða in skamma (Edda).
 Sk. — Skáldskaparmál (составная часть SE.).
 Skm. — Fyr Skírnis (Edda).
 Str. — C. Strehlow. Die Aranda- und Lortja-Stämme in Zentral-Australien. Veröffentlichungen aus dem Städtischen Völker-Museum, Frankfurt am Main.
 T. — Tatian.
 Virg. Aen. — P. Vergili Maronis Aeneis.
 Vm. — Vafþrúðnismál (Edda).
 Vsp. — Vǫlospá (Edda).
 Vkv. — Vǫlundarkviða (Edda).
 Vǫls. — Die Vǫlsungasaga, hrsg. von W. Ranisch, 1891.
 Qos. — Qrvar-Odds saga (Altisländische Saga-Bibliothek, Heft 2, Halle, 1892).
 Þorv. þ. — Þorvalds þáttur (приложение к Kr.).
 Þrk. — Þrymskviða (Edda).

ЯЗЫКИ

- агс. — англосаксонский
 дрвн. — древневерхненемецкий
 др.-сл. — древнеславянский
 дрс. — древнесаксонский
 скр. — санскрит
 срвн. — средневерхненемецкий

Внутренний строй языка¹

I. Порочность старых понятий о строе языка

Слова «строй», «система» обычно употребляются как синонимические обозначения для одного и того же понятия взаимосвязи и органического единства всех составных частей языка. Было бы неверно видеть в понятии системы или строя как таковом нечто «ультрасовременное», «последнее слово» «социологической» лингвистики структурализма. Напротив того, это понятие столь же старо, как и учение о типологии языка вообще. Поскольку, однако, существуют различные типологии языка, постольку и понятие о «строе», «системе», или «лингвистическом типе» не едино и распадается на ряд резко отличающихся друг от друга понятий. Это обычно упускают из виду те, кто слепо следует «модным» веяниям в науке и любит щеголять словечком «строй языка», не отдавая себе отчета в том, что существуют различные непримиримые толкования этого понятия

В буржуазном языкознании можно выделить два понимания строя языка, — романтическое и сосюррианское.

Романтическое понятие о строе речи связано с общими романтическими воззрениями на язык, о которых уже говорилось. У Гумбольдта это понятие выступает под именем «внутренней формы языка».

Строй, или «внутренняя форма», языка — это, в понимании романтиков, надисторическая и неразвивающаяся категория. Определенная внутренняя организация каждого языка обусловлена, согласно романтикам, его происхождением. Сложившись в «доисторическое» время, этот внутренний строй в дальнейшем развитии будто бы не меняется существенным образом. Реальные изменения в строе языка, совершающиеся на глазах истории, романтики расценивают либо как простое продолжение процессов, начавшихся в доисторическую эпоху, либо же как ре-

¹ Монография 1949 года представляет собой первый том большого труда, так и не напечатанного. Сохранились лишь гранки частей пространного теоретического введения ко всему сочинению. Этот текст существенно отличается от введения к «Историко-грамматическим исследованиям». Особый интерес представляет отсутствующая в книге глава «Внутренний строй языка», в которой систематически излагаются принципы грамматической концепции С. Д. Кацнельсона. Полагаем, что эта глава вполне может рассматриваться как своего рода авторский комментарий к включенным в данный том работам.

Материал был любезно предоставлен вдовой С. Д. Кацнельсона Людмилой Юльевой Брауде.

зультат «деградации форм», возможной будто бы с того момента, как данный строй окончательно «созрел».

Отдельные строевые типы выделялись романтиками чаще всего в связи с флективно-морфологической классификацией языков. Какой-либо язык причислялся романтиками к лику флективных языков не на основании анализа его реальных морфологических особенностей, а исходя из генеалогических соображений. Происхождение от флективного языка имело в глазах романтиков особую ценность. Как далеко бы ни зашел какой-либо язык в устранении флексии, для романтика он не переставал быть флективным. Романтики склонны были считать, что и после такой «деградации» флективное происхождение продолжает сказываться в языке и делает его непохожим на другие нефлективные языки. С тезисом о принципиальной неизменности языкового строя теснейшим образом связан односторонне-генетический метод романтического языкознания. Представители этого реакционного направления видят в типах языкового строя незыблемое наследие прошлого, мистическую ценность, завещанную последующим эпохам с мифических времен «подлинного речетворчества». Романтикам постоянно мерещится, что для объяснения типов языкового строя необходимо обратиться к «идеальной старине», когда языки будто бы еще были свободны от всяких «неорганических» примесей и «порчи». Понятие о строе языка всегда обращено у романтиков в прошлое.

И еще одна отличительная особенность романтического понятия о строе речи. Все единичные факты речи рассматриваются романтиками как непосредственное проявление мышления, которое выступает здесь в мистифицированной форме «этнического гения». Романтики убеждены, что мышление в равной степени пронизывает все формы языка. Дальше общих декларативных заявлений романтики в этом вопросе не идут, и поэтому увязка строя речи с мышлением носит у них абстрактный, туманный и априористический характер. Романтики любят много и напыщенно декламировать на тему о том, что все формы и значения в языке составляют органическую целостность, что язык отражает мирозерцание народа, что за всеми фактами данного языка скрывается особый способ мышления и т. д. Но реальных представлений о связи языка с мышлением у них нет, и конкретный анализ мыслительных категорий отсутствует.

В тех случаях, когда романтики пытаются точнее определить мыслительное содержание языка, они обычно переносят формальную характеристику языка на мышление. Так, у романтиков (Гумбольдта, Штейнталя, Шлейхера и многих других, вплоть до эпигонов романтизма в наши дни) можно встретить попытки расценить флективный или, что то же, «синтетический» строй как проявление особого «синтетического» мыш-

ления, трактовать аналитический строй как отражение «аналитического» мышления, флективную аморфность как «аморфность» мышления и т. д. Это — детская игра в пустые определения далеко не безобидна. Как правило, она становится в руках буржуазного лингвиста орудием шовинистической апологетики одних народов и оголтелой травли других.

Соссюрианское понятие о строе, или системе языка резко отличается от романтического.

Если в понимании романтиков строй языка есть нечто неподвижное и неизменное, то согласно де-Соссюру и его последователям ни о каком постоянстве языкового строя говорить нельзя. В историческом развитии языков Соссюр и его сторонники видят сплошной поток единичных, друг с другом не связанных изменений, не дающих будто бы никакой опоры для выделения сколько-нибудь устойчивых строевых типов. Каждый язык в каждый данный момент времени — это, согласно такому мнению, неустойчивая система случайно существующих и взаимно уравновешенных фактов, а история языка — бесконечная смена таких «систем». В итоге понятие строя языка, или системы, приобретает у де-Соссюра специфические черты «кратиловой диалектики», где все настолько «течет» и мелькает, что проходит мимо рук исследователя. Вот почему соссюрианцы, при всей их привязанности к словечку «система», не сумели внести что-либо существенно новое в классификацию языков и выделить новые типы языкового строя хотя бы по чисто внешним и формальным признакам.

Видя в развитии языка сплошное мелькание единичных фактов, де-Соссюр и его последователи ищут проявлений системы не в истории языка, а в стороне от нее — в оторванной от истории «синхронии». «Синхроническое» описание строя языка, которым так увлечены соссюрианцы, — это описание строя языка без всякой оглядки на его происхождение, без всякой попытки выяснить, какие тенденции борются внутри этого строя и каковы дальнейшие перспективы его развития. Это явно метафизическая попытка «остановить время», разбить движение на отдельные покоящиеся «состояния», наподобие того, как в известной апории Зенона полет стрелы мысленно разлагается на ряд мгновений, в течение которых стрела будто бы покоится.

Что касается отношений данной системы языковых форм к мышлению, то в отличие от романтиков соссюрианцы принципиально отказываются от исследования связей языка с мышлением. Вследствие формалистического подхода язык в исследованиях де-Соссюра и его сторонников теряет свою целостность и распадается на множество частных систем и системок, лишенных внутренней связи. Каждая частная область языка легко превращается у соссюрианцев в «самодовлеющее» и «автономное» царство. Это относится не только к традиционным разделам

языкознания — словарю, морфологии и синтаксису, реальные связи между которыми остаются книгой за семью печатями для соссюрианцев, но и ко множеству мелких «системок». Так, например, последователи Соссюра говорят о системе падежей, предлогов, залогов как о замкнутых системах, обрывая при этом те нити, которые ведут от падежей к предлогам и от падежей и предлогов вместе взятых, к залогам. В результате синхроническая система языка становится в «социологическом» языкознании чем-то вроде случайной коллекции многих «автономных» систем большего или меньшего охвата. Если романтики видели в строе языка совокупность единичных фактов, одинаково необходимо увязанных с «этническим гением», то для де-Соссюра и его последователей строй языка — это простое стечение фактов, в равной степени случайных и внешних для мысли.

В рамках буржуазного языкознания существуют, таким образом, два различных и противоречивых понимания строя языка, каждое из которых по-своему отражает органические пороки старой, отжившей свой век науки. Обе концепции строя речи выросли на базе идеалистического отрыва языка от общества и непонимания сложной диалектики формы и содержания в языке. Реальная связь истории речи с историей общества остается нераскрытой как в одной, так и в другой теории вопроса. Формалистическое искажение языка имеет место в обеих концепциях, — один раз под флагом отождествления языка и мышления, другой раз в виде отрыва языка от мышления.

Буржуазное языкознание не сумело дать реальной исторической картины развития отдельных языков, так как оно оказалось неспособным проникнуть в сложную диалектику формы и содержания языка. В отношениях между языковой формой и ее мыслительным содержанием буржуазное языкознание видело либо простое гармоническое соответствие, либо отсутствие всякого соответствия и внутренней связи.

Романтики представляли себе строй языка как результат гармонического развертывания языковых форм в соответствии с раз навсегда данным и неизменным типом мышления. В каждой форме языка они видели одинаково важное и существенное проявление данного типа мысли. Они не видели внутренних противоречий в строе языка, возможности отставания языковой формы от мыслительного содержания и возникновения в строе речи вторичных напластований, в которых новое содержание мысли отражается не прямо и непосредственно, а через посредство старых форм, с той или иной примесью старых значений.

Развивая новое, диалектическое понимание проблемы строя речи взамен отживших свой век положений буржуазной науки, советское языкознание руководствуется методом марксистской диалектики. Как указывает И. В. Сталин, «диалектический метод считает, что процесс

развития от низшего к высшему протекает не в порядке гармонического развертывания явлений, а в порядке раскрытия противоречий, свойственных предметам, явлениям, в порядке “борьбы” противоположных тенденций, действующих на основе этих противоречий»².

Новое диалектическое понимание строя речи в корне враждебно не только метафизике романтического типа с ее тезисом о гармоническом соответствии языка и мышления, но и метафизике соссюрковского толка, с характерным для нее отрывом языка от мышления. Согласно де-Соссюру и его последователям, строй языка — это система взаимно уравновешенных и лишь внешним образом увязанных друг с другом языковых фактов, одинаково несущественных и безразличных для мышления, одинаково случайных для него. Метафизическое языкознание соссюрковского толка изображает язык так, как если бы он был лишен внутренних противоречий, как если бы в нем не было разлада между старыми формами и новым содержанием, мертвое не цеплялось за живое. «В противоположность метафизике диалектика, — учит товарищ И. В. Сталин, — исходит из того, что предметам природы, явлениям природы свойственны внутренние противоречия, ибо все они имеют свою отрицательную и положительную сторону, свое прошлое и будущее, свое отживающее и развивающееся, что борьба этих противоположностей, борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, составляет внутреннее содержание процесса развития, внутреннее содержание превращения количественных изменений в качественные»³.

Разработанное Н. Я. Марром новое понимание строя речи требует учета качественных сдвигов, переходов в развитии речи от одной стадии к другой. Новое материалистическое учение о языке под строем речи понимает «... новое образование... общего типа, с новым оформлением или переоформлением прежних видов, соответствующее новой технике производства, новой структуре¹ общественного строя и новой системе мышления»⁴. Так как понятие лингвистической стадии тесно связано с понятием о стадийном развитии мышления и так как не все языковые формы одинаково прямо и непосредственно отражают процесс развития мысли, то выявление стадий предполагает сложный анализ всей морфологии языка, всего многообразия языковых форм с целью обнаружения тех элементов языкового строя, которые являются единственно значимыми в плане характеристики уровня умственного развития народа, говорящего в данное время на данном языке.

² Сталин И. В. О диалектическом и историческом материализме // Вопросы ленинизма. 11-е изд. С. 539.

³ Там же.

⁴ Марр Н. Я. Избранные работы. Т. III. С. 70.

Задачей стадиального анализа является выделение стадиальнозначимых, или существенных, речевых категорий в отличие от категорий формальных и несущественных в плане стадиальной характеристики языка. Стадиальная типология языка, или периодизация важнейших исторических типов строя речи, может быть построена только на базе стадиальнозначимых, или существенных категорий.

Трудность стадиального анализа проистекает из того факта, что звуковая форма и мыслительное содержание даны в языке в сложном и противоречивом единстве. Ведущей и определяющей стороной языкового развития, наиболее непосредственно отражающей развитие общества, является мыслительное содержание. Однако, вследствие взаимопроникновения формы и содержания в язык и обратного воздействия формы на содержание само мыслительное содержание речи оказывается двойственным и распадается на существенные и формальные элементы. В каждом языке, в противоречивом процессе его становления, на основные понятия и категории мысли наслаиваются дополнительные оттенки значений, придающие индивидуальную окраску формам и содержанию мысли и затрудняющие разграничение первичных (основных, или стадиальнозначимых) и вторичных (или формальных, несущественных для стадиальной характеристики языка) категорий. Раскрыть диалектику формы и содержания в языке значит проследить переходы, ведущие от значений слов к понятиям и от грамматических категорий к категориям мысли. Буржуазное языкознание оказалось бессильно вскрыть эти переходы. Поэтому оно не сумело спуститься от языка и мышления к реальной исторической жизни, порождающей явления речи.

2. Морфология языка. Различие флективной и синтаксической морфологии

В ходячих определениях морфологии смешиваются два или даже целых три принципа, противоречивость и несовместимость которых начинает сознаваться лишь в самое последнее время. Морфологию то определяют как учение о грамматических формах, в отличие от синтаксиса как учения о содержании грамматических форм — о синтаксических функциях. То ее определяют как учение о формах слова в противовес синтаксису как учению о формах словосочетания. То еще морфологию определяют как грамматическое учение о слове, противопоставляя ей синтаксис как учение о словосочетании в предложении и о самом предложении. Одни исследователи, без видимых оснований, отдают предпочтение одной формулировке, другие — другой, наконец, у третьих, как,

например, у датского структуралиста В. Брэндаля, можно найти все три определения зараз, которые он приводит как синонимические⁵. В таких

определениях нет ничего странного и противоречивого, пока понятие грамматической формы отождествляется и смешивается с понятием формы слова и с понятием слова как такового, его лексического значения. Но в том и дело, что современное состояние науки полностью исключает такую путаницу понятий. Отвлечемся пока от смешения формы слова и самого слова и сосредоточимся на другой стороне дела, на смешении формы слова и грамматической формы вообще.

Отождествление грамматической формы вообще с формой отдельного слова было, как известно, типично для сравнительно-исторического языкознания первой половины XIX в. Форма отдельного слова, или, проще говоря, флективная форма, принималась тогда за единственно правомерное и истинное проявление грамматической формы вообще. В соответствии с этим оформленными и подлинно грамматическими считали тогда только такие языки, в которых богато представлена флексия. Там же, где не находили флективных форм, усматривали полнейшую грамматическую бесформенность (или аморфность). Так могло случиться, что такой высокоразвитый литературный язык с богатой письменной традицией, как китайский, мог фигурировать в то время как классический образец аморфной речи.

Этот своеобразный подход к грамматической форме, основанный на недопустимой фетишизации флексии, со времен младограмматиков начинает сходить со сцены, уступая место новому пониманию. Устранив неоправданное возвеличение флексии, младограмматики высказались за принципиальную равноценность разных приемов выражения грамматической мысли. Этим был открыт путь для все более полного и систематического описания технических средств, употребляемых в разных языках для выражения грамматических значений. После того как были учтены важнейшие типы грамматической техники, ни одно общее руководство по грамматике уже не обходится больше без того, чтобы не предпослать специальным разделам общий обзор приемов грамматической «технологии». Флексия внешняя и внутренняя, служебные слова, словопорядок, синтаксическое словосложение или инкорпорация, ударение и интонация и т. д. приводятся в таких обзорах как равноправные средства выражения грамматических значений. Однако последовательные выводы из этих наблюдений младограмматиками сделаны не были.

Расширение понятия о формальных средствах языка, включение в это понятие ряда новых типов грамматического оформления в дополнение к флексии, естественно, не могло не сказаться на понятии морфологии в

⁵ *Bzændal V. Essai de linguistique générale. Copenhague, 1943. P. 8, 10, 33.*

целом. Если раньше морфологическая категория определялась как форма отдельного слова, т. е. в непосредственной зависимости от флективной техники оформления, то теперь, с отпадением теории исключительности флексии, понятие морфологической категории должно было измениться кардинальным образом. Продолжать теперь настаивать на старом определении морфологической категории как формы слова значило бы возвращаться к старым, давно отвергнутым наукой воззрениям на природу грамматической формы. Но именно так поступает подавляющее большинство языковедов старой школы, проявляя крайнюю непоследовательность в этом вопросе. Признавая в разделе о грамматической технике принципиальную равнозначность различных приемов грамматического оформления, они как ни в чем не бывало продолжают отстаивать старое понимание морфологии и морфологической категории, построенное на презумпции об особенностях и исключительности флексии.

Уже в этом начальном и вместе с тем очень важном пункте русская теоретическая мысль в области грамматики обнаруживает заметное превосходство над господствующими в зарубежном языкознании теориями. Такой тонкий и проницательный исследователь, как А. М. Пешковский, уже давно указывал на необходимость «расширить понятие формальной категории», понимая под формальной категорией то, что я здесь называю морфологической категорией. Рассматривая морфологическую категорию как единство грамматического значения и формы его обнаружения, этот выдающийся грамматик призывал не смущаться пестротой формального строя языка. Все дело, подчеркивал он в согласии с учением А. А. Потемни, в значении морфологической категории, а не в формах ее обнаружения. «Чем важнее для языка, — указывал он, — какое-нибудь формальное значение, тем более многообразными и тем более многочисленными способами обозначается оно в звуковой стороне речи, как будто язык всеми доступными ему средствами стремится к поставленной себе цели выразить данное значение, и на обязанности исследователя-языковеда лежит не только вскрыть данное значение на каком-нибудь одном факте, но и найти все факты языка, обнаруживающие его, как бы они ни были разнообразны»⁶. Не только форма слова, но и форма словосочетания, и служебное слово, и интонация могут выступать как носители морфологических категорий. Новое, расширенное понятие морфологической категории должно, по Пешковскому, строиться с учетом всех возможностей выявления грамматических значений.

Такое расширенное понятие морфологической категории необходимо влечет за собой новое, расширенное понимание морфологии. Пока грам-

⁶ Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. 6-е изд. М., 1938. С. 74.

матическая форма и флективная форма слова употреблялись как более или менее равнозначные понятия, можно было безразлично определять морфологию либо как учение о грамматических формах, либо как учение о формах отдельных слов. Теперь же, с разграничением расширенного понятия морфологической категории и старого, узко-флективного понятия, понятие грамматической формы больше не совпадает уже с понятием формы отдельного слова. Определяя морфологию как учение о грамматических формах и понимая под грамматической формой всякое звуковое обнаружение грамматического значения, мы необходимо приходим к расширенному понятию морфологии как учению о всех, безразлично, флективных ли или не флективных, грамматических формах. Такое расширенное понятие морфологии применимо не только в общем языкознании, где речь идет о сравнительном изучении разноструктурных языков, но и в грамматике отдельно взятого языка, поскольку нет ни одного языка, формальный строй которого не строился бы на комбинированном использовании разных приемов грамматического оформления. Старая морфологическая классификация языков была ошибочна не только потому, что формально-грамматические категории переносились ею в плоскость стадильно-исторической периодизации языка, но еще и потому, что она строилась на основе предвзятой идеи о существовании чистых в строевом отношении языковых типов. Морфологическая классификация основывалась на иллюзии, будто существуют чистые флективные, агглютинативные и т. д. языки. Но в действительности таких языков нет. В действительности каждый язык в своем морфологическом строе всегда комбинирует различные приемы грамматической техники, вследствие чего понятие расширенной, или, если угодно, общей морфологии, приложимо к каждому отдельно взятому языку.

Первый шаг к преодолению традиционного формализма в грамматике состоит, таким образом, в том, чтобы отказаться от узкого понимания морфологии как исключительно флективной морфологии и приступить к систематической проработке всех других частных морфологических систем, наличных в данном языке. Достаточно хотя бы бегло ознакомиться с грамматиками конкретных языков, чтобы убедиться в том, что частные морфологические системы проработаны в каждом отдельном случае неравномерно, а во многих случаях вообще с недостаточной полнотой. Даже в индоевропейских языках, на изучение которых было затрачено всего больше сил и трудов, дела обстоят далеко не столь блестяще, как естественно было бы ожидать. В наиболее выгодном положении окажется здесь флективная морфология, разработанная подробнее всех остальных. Что же касается других частных областей морфологии, то все они проработаны несравненно хуже, проявляя в свою очередь различную степень изученности. Так, например, морфология порядка

слов неплохо изучена применительно к языкам с т. н. аналитическим строем, как английский, где эта морфология господствует в области важнейших грамматических категорий. Но гораздо хуже, чтобы не сказать из рук вон плохо, эта частная область морфологии проработана в языках с т. н. «свободным» порядком слов, где «свобода» словоупотребления отнюдь не так безгранична, как это иногда воображают себе люди, введенные в заблуждение принятой в науке терминологией. На деле все отличие этих языков от языков с твердым порядком слов заключается нередко лишь в том, что в первых при помощи словоупотребления выражаются менее общие и поэтому не столь резко бросающиеся в глаза грамматические оттенки значений.

Любопытное состояние обнаруживает морфология служебных слов. Еще античная грамматика выделила такие важные категории служебных слов, как предлоги, союзы и артикль. Тем не менее общие итоги изучения служебных слов к настоящему времени нельзя признать удовлетворительными. Многие разновидности служебных частиц до сих пор еще растворены в общей массе знаменательных слов. Лишь в последнее время в грамматике русского языка была сделана интересная попытка выделить т. н. «модальные слова» в качестве особого разряда служебных слов. Заслуживает внимания в этом отношении и стремление Балли рассматривать «глаголы высказывания» ('сказать', 'утверждать', 'спросить' и т. д.) в определенном употреблении как служебные глаголы с модальной функцией. Другие разновидности служебных слов, как, например, видовые слова 'еще', 'уже', 'совсем', 'вдруг', 'неожиданно', 'мгновенно', 'именно', 'как раз', или еще 'начать', 'прервать', 'удаваться' и т. п., систематически никем не выделялись, как и залоговые служебные слова типа 'нарочно', 'невольное', 'сам по себе' или 'заставить', 'побудить', 'заниматься', и т. д. Недостаточная изученность служебных слов проявляется, однако, не только в том, что многие разряды таких слов до сих пор еще не выделены или выделены недостаточно четко. Даже там, где такой разряд служебных слов уже давным-давно установлен, отставание этой области морфологии от других бросается в глаза. Достаточно в этом отношении сопоставить такие параллельные области морфологии, как системы падежного и предложного склонения. Системы падежей в изученных флективных языках установлены со множеством частных деталей, в то время как изучение отношений в системе предлогов начинается лишь в наши дни.

Чтобы не затягивать изложения, не стану перебирать здесь другие частные области морфологии, которые проработаны в науке в еще меньшей степени, чем морфология словоупотребления и служебных слов. Не буду также останавливаться на выяснении причин такой неравномерной проработки различных отраслей морфологии. Укажу лишь, что, помимо причин об-

шего порядка, значительное влияние оказали в этом пункте и особенности самого объекта изучения. Служебное слово гораздо труднее поддается выделению и систематическому изучению, чем флективная форма.

Сравнительная легкость изучения флективных форм связана с тем, что флексия предполагает ряд добавочных формальных технических надстроек в виде сложных систем парадигматических рядов и соотношений между ними. Это создает дополнительные трудности для тех, кто стремится практически овладеть чужим языком, но это же обстоятельство облегчает труд исследователя при описании строя языка. В случае служебного слова перед исследователем всегда встанет трудная задача отличить служебное слово от знаменательного. Формальные различия здесь не столь резко бросаются в глаза, как при флективном оформлении. Требуется значительная зрелость научной грамматической мысли, чтобы во фразе «он лежит больной» разглядеть в глаголе элемент служебности, разновидность копулятивных глаголов. Форма слова сама по себе в таких случаях ничего не подсказывает, и исследователь должен пуститься в то опасное плавание, которого больше всего страшится формалистическая мысль в языкознании, — в анализ и сопоставление самих значений.

Не то флексия. Здесь благодаря особого рода парадигматическим связям, форма как бы сама дается в руки исследователю. Сплошь и рядом сначала устанавливается само наличие флективной категории в языке, а значение ее открывается позднее. Во всяком случае, здесь перед исследователем никогда не маячит проклятый вопрос, что есть грамматическое значение и в чем его отличие от лексического. Уже одно флективное оформление само по себе служит здесь достаточной гарантией грамматической «благонадежности» данной формы и избавляет от головолomных рассуждений. Я уже не говорю о том, что в плане истории языка флексия, как самый пассивный и консервативный тип технического оформления, дает исследователю счастливую возможность восстановить в путях сравнительно-грамматического исследования такие детали исторического процесса, которые почти бесследно исчезают при господстве иных способов оформления грамматических категорий. Все эти особенности флексии несомненно сыграли значительную роль в том, что область флективной морфологии сказала к сегодняшнему дню наиболее изученной.

Таким образом, уже первый шаг на пути к преодолению старой формалистической грамматики, предполагающий разработку ряда дополнительных морфологических разделов, связан со значительными трудностями, поскольку исследование специфических отраслей нефлективной морфологии требует от исследователя сплошь и рядом гораздо более внимательного и тонкого отношения, чем флективная морфология. Старая методика выявления морфологических категорий на основе парадигматических рядов должна быть обогащена теперь новыми приемами

изыскания и обнаружения морфологических категорий применительно к более сложной технике нефлективной морфологии.

Переход к новому, более широкому пониманию морфологии позволяет внести ясность во многие вопросы, о которых сейчас спорят иногда весьма бесплодно. Таков, например, вопрос о морфологии китайского языка. Можно ли сказать, что морфология этого языка крайне бедна, что она исчерпывается немногими показателями вроде показателя перфективности *-la*? Все зависит от того, что понимается под морфологией и морфологическими показателями. Если к числу морфологических показателей отнести не только аффиксы и прилепы, но и интонационно-мелодические моменты, и служебные слова, и словопорядок, и словосложение и т. д., если морфологию понимать как учение о грамматических формах вообще, а не только как флективную морфологию, то китайский язык окажется отнюдь не бесформенным языком, а наоборот, языком с чрезвычайно богатой и сложной морфологией, хотя и нефлективного типа.

Другой пример. Можно вести нескончаемые споры на тему о том, существуют или не существуют в тюркских и некоторых других языках имена прилагательные как особая морфологическая категория, если предварительно не будет проведено необходимое разграничение между флективной и другими частными областями морфологии. Легко убедиться, что когда говорят об отсутствии морфологических признаков у прилагательных в таких языках, то имеют в виду специально флективные морфологические признаки. Вместо того, следовательно, чтобы отрицать наличие имен прилагательных как обособленной морфологической категории в этих языках, следовало бы говорить о несомненном наличии ее, но только не в виде флективной категории, а в качестве категории морфологии порядка слов и т. д.

В ходе изложения мы пришли к разграничению понятий частной и общей морфологической категории. Морфологическая категория — это грамматическая категория, как она непосредственно обнаруживается в формальном строе языка, в прямой связи с ее звуковым обнаружением. Поскольку средства формального обнаружения варьируют в разных языках, как и в пределах одного и того же языка, постольку морфологическая категория предстает перед нами каждый раз в разном оформлении, как категория той или иной частной морфологии. Практически, следовательно, мы сталкиваемся каждый с теми или иными частными разновидностями морфологической категории, выступающей то в виде категории флективной морфологии, то в виде категории словопорядка, то как категория морфологии служебных слов и т. д. В дальнейшем ходе грамматического исследования эти частные морфологические категории должны быть обобщены и сведены воедино. Такое «сведение» и обоб-

щение в принципе возможно, потому что в конечном счете все частные области морфологии дублируют и дополняют одна другую, и то, что в одном языке выражено средствами морфологии одного типа, может быть выражено в другом средствами иной морфологии. Тем не менее практически такое «обобщение» не есть простая и механически протекающая операция. Если бы все различие между отдельными частными областями морфологии заключалось только в разнице внешнего оформления, то выявление общего содержания разных форм и сведение их к общим морфологическим категориям не составило бы значительного труда. В реальности, однако, дело вовсе не обстоит таким образом, что любой категории одной частной морфологии во всех других однозначно противостоят какие-то другие эквивалентные категории. Своеобразие отдельных частно-морфологических систем выражается не только в особенностях техники, но сплошь и рядом в особенностях категориального содержания. Грамматическая техника отнюдь не внешним образом сочетается с грамматической категорией. Способ оформления остается не без влияния на само содержание, которое в связи с данным способом оформления может получить особую чеканку. На основе грамматической техники в языке иной раз вырастают всякого рода вторичные категории, которые не находят себе полной аналогии в морфологии другого склада.

В этом смысле в рамках общей морфологии можно противопоставить флективную морфологию всем прочим отраслям морфологии. Эти последние, в отличие от флективной морфологии, основанной на форме слова, объединяются нами под наименованием морфологии словосочетания или, иначе, синтаксической морфологии. На основе формы отдельного слова в морфологии флективного типа вырастает ряд специфических категорий, которые либо вовсе не находят себе аналогии в синтаксической морфологии, либо, если и находят аналогию, то весьма приближительную и неполную.

Одной из специфических особенностей флективной морфологии является, например, категория грамматического рода или класса. Эта категория характерна для языков с богатыми элементами флексии, как многие индоевропейские «языки, семитические, некоторые яфетические языки Кавказа и языки банту, и используется во всех этих языках преимущественно в целях согласования. Классификация имен существительных в морфологии нефлективного типа, например, в китайском языке, обладает совершенно иной функцией и не может быть сопоставлена с флективной категорией рода или класса⁷.

⁷ Драгунов А. А. Китайский язык // Китай. Изд. АН СССР, 1940. С. 347; см. также работу чешского ученого: *Skalicka V. Sur la typologie de la langue chinoise parlée* // Archiv Orientalni. 1946. 15. С. 3–4. С. 398–399.

Категория грамматического рода являет нам пример максимально технизированной и формализованной категории, когда ясно, что мы имеем дело с категориями, иррелевантными для стадияльной характеристики. Отношения здесь настолько прозрачны, что осуждающий приговор этой категории в плане мыслительной характеристики языка был вынесен еще рационалистической универсальной грамматикой XVII–XVIII вв. Несколько сложнее обстоит дело с такими категориями, как число и артикль, которые также используются как формальные средства согласования и замыкания, но которые имеют и прямую семантико-грамматическую нагрузку, в виде функции «актуализации». Эта функция «актуализации», или индивидуализации, предмета в контексте не может отсутствовать и в языках с нефлективной морфологией, но характерно, что там, где число и артикль не используются как средства согласования или замыкания и т. д., они могут вовсе отсутствовать в строе языка как обособленные морфологические категории.

Хотя категория падежа не принадлежит к числу формализованных категорий, тем не менее и в этом случае мы имеем дело с явлением, типичным для флективной морфологии. До некоторой степени позволительно, конечно, пользоваться расширенным понятием падежа или именного склонения. Когда, например, в наших новейших работах по грамматике приходится читать о падежном склонении в отличие от предложного, то в основе такого словоупотребления лежит реальный параллелизм предлогов и падежей в ряде функций.

Но, выделяя таким образом расширенное понимание падежа или склонения, приходится задумываться над тем, в какой степени такое расширенное понятие приложимо ко всем языкам. Без лишних доказательств ясно, что расширенное понятие падежа находит себе приблизительный эквивалент в т. н. предложном и агглютинативном (последложном) склонении. Но в какой мере правомерно переносить это понятие в китайский язык, где отношение глагола к объекту конкретизируется не при помощи предлогов, а путем служебного использования глагола: например, для выражения дательности — глагола *kei* 'давать', для выражения направительности — глагола *tao* 'прибывать', для выражения сопровождения — глагола *ken* 'следовать' и т. д.? В какой мере расширенное понятие падежа приложимо к особой технике синтетического согласования в черкесских языках, где эта техника сочетается с ограниченным числом подлинных флективных падежей?

При ближайшем рассмотрении оказывается, что флективное склонение объединяет в себе различные типы грамматических связей. Падежи выражают и субъективные отношения, т. е. отношение имени существительного к глаголу, и объективные отношения, т. е. отношение глагольного предиката к имени существительному, и атрибутивные отно-

шения, т. е. отношение имени к имени существительному, и обстоятельственные отношения, т. е. особые определительные отношения имени и наречия к глаголу. Все эти линии, объединенные в одной формальной категории падежа в одних языках, в других могут оказаться разобщенными и распределенными между разными областями частной морфологии. Субъектные отношения могут оказаться выраженными при помощи морфологии порядка слов, объектные отношения при помощи служебных слов (предлогов, послелогов, служебных глаголов), атрибутивные отношения еще как-нибудь иначе, и т. д. В результате единое морфологическое понятие падежа распадается на составные элементы, и перенести его в нетронутым виде в общую морфологию больше не представляется возможным.

Не приходится, таким образом, отрицать, что для выделения и обозначения флективной морфологии в традиционной грамматике имелись некоторые, притом не только технические, но и в некотором роде семантико-грамматические основания. В языках со значительными элементами флексии, скопившимися в центральных узлах грамматического строя и образовавшими специфические парадигматические нагромождения в виде сложных систем склонения и спряжения, действительно наличествуют своеобразные и неповторимые морфологические категории, не встречающиеся за пределами флективной морфологии. Но своеобразие этих категорий заключается вовсе не в том, что флексия будто бы является носителем каких-то особенно сложных оттенков мысли, которые никак не передаются средствами морфологии иного типа, или что она будто бы полнее и лучше передает грамматические идеи, доставляя в этом отношении ряд преимуществ обладателю флективной речи, сравнительно с говорящими на нефлективных языках, — как то думали компаративисты первого призыва. Морфология флективного типа тем отличается от всякой иной, что она использует некоторые технизованные категории, «выветрившиеся» в процессе развития и получившие здесь вторичное, формальное назначение, (вроде категории грамматического рода) наряду с другими категориями, которые, как категория падежа, хотя и не могут рассматриваться как формальные, но являются своеобразными в том смысле, что особым образом комбинируют и группируют грамматические функции, которые в морфологии иного типа выступают раздельно и вне обязательной связи друг с другом.

Современная структуралистическая лингвистика на Западе воскрешает давным давно изжитые взгляды на флексию, отстаивая самобытность и независимость флективной морфологии. «Не только недопустимо, — писал один из виднейших представителей этого модного на Западе направления, Р. Якобсон, — разъединять то, что с точки зрения языка является единым, но так же недопустимо искусственно объединять

то, что с точки зрения языка разъединено»; «Форма слова и форма словосочетания — это два различных плана языковых ценностей»⁸.

Еще резче формулировал эти взгляды В. Брэндаль, выступивший с тезисом о «великой независимости синтаксического и морфологического начала в языке» и о «необходимости уважать чистоту и автономию» флективной морфологии. Отрывая морфологию от синтаксиса, или, точнее, флективную морфологию от синтаксической, структуралисты остаются верными антидиалектической методе де-Соссюра, согласно которому язык распадается на ряд несвязных между собой частных «систем». Здесь сразу видно, что фраза о «целостном» подходе к языку является в устах структуралистов чем-то напускным и несерьезным, поскольку это течение на деле разрывает отдельные взаимосвязанные стороны языка на «чистые» и друг от друга «независимые автономные области».

В практике речевого общения переход от формы слова к форме словосочетания необходимо совершается каждый раз при помощи давно известных в науке синтактико-морфологических приемов согласования, управления и примыкания. Практическая сводимость флективной морфологии к синтаксической лучше всяких абстрактных доводов опровергает вздорные разговоры о самостоятельности и исключительности флективной формы как формы отдельного слова. Все своеобразие флективной морфологии проявляется, собственно говоря, лишь в том, что она нуждается в некоей предварительной работе по сведению формы слова к форме словосочетания, в то время как в синтаксической морфологии формы словосочетания даны непосредственно и прямо. Специфические категории флективной морфологии приводятся в результате такой операции к общему знаменателю с категориями синтаксической морфологии, которые приблизительно совпадают с категориями общей морфологии. Эти последние предстают перед нами в традиционной грамматике в двойном виде — как члены предложения и как части речи.

3. Части речи и члены предложения.

Понятие о «скрытой» морфологии

Флективная морфология создает иллюзию полной самостоятельности форм отдельных слов и их независимости от синтаксического целого, от предложений. В действительности, однако, формы отдельных слов широким потоком вливаются — по каналам подчинения, согласования и примыкания — в живую целостность речи, сплетаясь и соединяясь здесь в формы словосочетания. Если, таким образом, нет никаких оснований

⁸ Travaux du cercle linguistique de Prague. VI. P. 240.

говорить, как это делают структуралисты, о какой-то автономности формы слова, то в определенных, чрезвычайно ограниченных пределах рассмотрение отдельно взятых форм слов является необходимым. Пока исследование движется в узких пределах флективной морфологии, оно опирается на традиционное деление слов на части речи. С переходом же от флективной морфологии к синтаксической, анализ слов по частям речи хотя и не теряет своего значения, но необходимо осложняется и дополняется рассмотрением роли слов в предложении в качестве членов предложения. Что же представляют собой части речи, являющиеся основой для выделения категорий в специфической области флективной морфологии, и члены предложения, присоединяющиеся к частям речи в синтаксической морфологии и составляющие вместе с ними костяк этой высшей области морфологии?

Каждому ясно, что говоря о частях речи, мы имеем в виду какую-то классификацию слов, какие-то лексические группы или разряды. На основании каких же признаков выделяются эти лексические разряды? В зависимости от ответа на этот вопрос можно выделить два разных направления в понимании природы и сущности этого грамматического явления.

В старой грамматике господствовало мнение, что части речи должны выявляться в связи с присущими им формальными признаками и специфическими категориями, которые еще античная грамматика выделила под названием акциденций. Это означает, другими словами, что части речи узнаются по присущим им флективным формам и специфическим категориям рода, падежа, лица и т. д., вырастающим на основе флективной морфологии. В таком понимании части речи оказываются исключительной принадлежностью сравнительно небольшого количества флективных языков и не могут причисляться к категориям общей морфологии. С такой точки зрения позволительно, например, сомневаться, существуют ли части речи в китайском языке.

Именно на взглядах такого рода держится обычная трактовка частей речи как морфологических категорий. Коль скоро морфология определена как учение о формах слова, а части речи не мыслятся без форм слова и связанных с ними категорий флективной морфологии, то нет ничего естественнее, чем отнести части речи к числу морфологических (т. е. флективно-морфологических) категорий.

Против такого формального понимания частей речи в последнее время стала выдвигаться новая, более глубокая точка зрения. Эту новую точку зрения отчетливо сформулировал акад. Л. В. Щерба в статье «О частях речи в русском языке». Отмечая, что в отдельных случаях части речи могут выступать в русском языке и без надлежащих формальных признаков (как, например, существительное *какаду*, которое не склоня-

ется и, следовательно, не имеет формальных показателей, присущих категории существительных в русском языке), Л. В. Щерба приходит к чрезвычайно важным выводам общелингвистического значения. «Если, — замечает он, — в языковой системе какая-либо категория нашла себе полное выражение, то уже один смысл заставляет нас подводить то или иное слово под данную категорию: если мы знаем, что *какаду* название птицы, мы не ищем формальных признаков для того, чтобы узнать в этом слове существительное»⁹.

В новом понимании частей речи уже не формальные флективные показатели, а лексическое значение становится определяющим моментом при отнесении слова к той или иной категории. В самих значениях слов, независимо от того, оформлены ли они флективно или по нормам иной морфологии, существуют некие опорные пункты, позволяющие говорить о предметах, действиях, качествах и т. д. В таком понимании уже недопустимо считать части речи монопольной чертой флективных языков. «Общий принцип деления частей речи везде остается тем же самым, но основания для их выделения далеко не тождественны», — говорит акад. И. И. Мещанинов¹⁰.

При такой постановке вопроса части речи теряют свою исключительную связь с морфологией флективного типа и становятся составной частью общей морфологии речи. Здесь мы снова возвращаемся к вопросу о разграничении грамматических дисциплин и об определении морфологии, которого мы уже касались частично раньше.

Как отмечалось выше, существенным недостатком старого понимания морфологии было смешение и отождествление понятий флективной формы и грамматической формы вообще. Теперь мы можем остановиться на еще одном крупном недочете старого понимания морфологии. В традиционной грамматике наряду с приведенными ранее определениями встречалось еще определение морфологии как учения о слове или о частях речи. Это было вполне естественно в ту пору, когда под морфологией понимали исключительно флективную морфологию, а части речи рассматривали как категории флективных языков. Форма слова и слово, флексия и части речи считались в ту пору соотносительными и взаимообусловленными понятиями. Но с того момента, когда обнаружилось, что нет никаких оснований связывать части речи с одной только техникой флективного оформления, старое определение морфологии как учения о слове и частях речи потеряло всякую силу. Флективная морфология не может теперь больше отождествляться с учением о частях речи, раз доказано, что части речи распространены широко за пре-

⁹ Русская речь. II. 1928. С. 8.

¹⁰ Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. М.; Л., 1945. С. 307.

делами флективных языков и являются категориями общего значения. Что же касается морфологии в новом, расширенном понимании, то и ее невозможно определять только как учение о частях речи, поскольку со стороны своего содержания она характеризуется не только частями речи, но в равной мере и членами предложения.

Правильнее будет поэтому сказать, что части речи образуют лишь одну из сторон общей морфологии, а именно ту ее сторону, которая касается классификации слов по их наиболее общим грамматическим значениям, в то время как члены предложения составляют другую сторону общей морфологии, охватывающую функционирование слов в конкретном речевом контексте.

Универсальное распространение частей речи, как и членов предложения, отмечалось и некоторыми зарубежными лингвистами. Так, например, Сэпир, переименовавший части речи в «основные понятия», а члены предложения в «чисто реляционные понятия», характеризовал те и другие как общеобязательные понятия, присущие всем видам человеческой речи. Однако в советском языкознании это положение имеет принципиально иное значение. Совпадение взглядов является здесь только кажущимся.

Когда Сэпир, Брёндаль и другие зарубежные лингвисты подчеркивают универсальность членов предложения или частей речи (или *и тех и других* категорий), то это служит для них только поводом для утверждения метафизики и антиисторизма в науке о языке. Так, например, определяя члены предложения, Брёндаль писал, что в них «проявляется внутренняя сущность предложения, которая всегда и всюду остается равной себе, универсальной и неизменной, как присущая универсальному и неизменному человеческому мышлению»¹¹. Буржуазное языкознание, обнаружив ряд категорий, общих разным языкам, останавливается на этом и не идет дальше, считая конечную цель грамматического исследования достигнутой и расценивая скудный минимум из немногим более десятка общих лексико-грамматических и реляционных категорий как весь тот запас, которым полностью исчерпывается общее в мыслительном содержании всех языков человечества. Советское же языкознание сознает, что с выделением этих общих категорий только еще начинается подлинное исследование. Общие лексико-грамматические и реляционные категории являются в понимании советского языкознания лишь трамплином для дальнейшего проникновения в сущность языковых явлений и для последовательного раскрытия всей полноты конкретных мыслительных категорий, характеризующих развитие каждого языка и обнаруживающихся в живых формах речи отдельных народов. Различие во взглядах касается не только понимания роли и значения самих общих

¹¹ Brøndal V. Essai de Linguistique générale. P. 14.

категорий морфологии языка, оно касается также понимания сущности этих категорий. Конкретное содержание этих категорий и их отношение к другим подчиненным категориям выявляется теперь в новом свете.

В пределах частей речи и членов предложения конкретное грамматическое исследование уже давно выделило ряд частных категорий (акциденций), образующих разнообразие форм внутри этих общих категорий и по-разному дополняющих и уточняющих эти общие категории в разных языках. Что же касается членов предложения, то хотя в грамматиках можно встретить более дробные категории (в виде субъекта инертного и активного, субъекта предикатов покоя, движения, действия, состояния, внутреннего переживания и т. д. или объекта внешнего воздействия, результата действия, постороннего источника и причины действия орудия и т. д.), но систематического исследования таких понятий не предпринималось и общепринятого наименования для них нет. Прежде чем условиться относительно их наименования, обратимся к несколько более подробному рассмотрению учения об акциденциях.

Античная грамматика, выделяя акциденции внутри частей речи, подвела под это понятие как словоизменяемые, так и словообразовательные категории. Так, например, говоря об акциденциях имени, Дионисий Фракийский насчитывает их пять: роды, виды, образы, числа и падежи¹².

Под видом и образом имени при этом преимущественно подразумевались словообразовательные разряды — производность от других частей речи, а также деление имен на имена собственные и нарицательные, родовые, видовые, этнические обозначения и собирательные имена, имена действующих лиц и т. д. В конце XIX в., с решительным разграничением словообразования и словоизменения, наметилась тенденция ограничить акциденции областью категорий словоизменения. Теперь, когда говорят об акциденциях или основных грамматических категориях той или иной части речи, то, как правило, имеют в виду словоизменяемые категории. Так, при определении имени существительного в русском языке ссылаются обычно на акциденции рода, числа и падежа. Иногда при этом, правда, добавляют, что категории числа и рода в имени существительном не являются словоизменяемыми (или, как выражается А. М. Пешковский, синтаксическими) категориями, что таковыми они являются только в прилагательных и глаголах, а в именах существительных это категории несинтаксические или, иначе, словообразовательные¹³.

¹² Античные теории языка и стиля: хрестоматия под общей ред. О. М. Фрейденберг. М.; Л., 1936. С. 119 сл.

¹³ Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. С. 59. Аналогично: Виноградов В. В. Русский язык. М., 1947. С. 57.

Если таким указанием хотят подчеркнуть, что в согласовании прилагательных и глаголов с существительными в роде и числе имена существительные являются главными и определяющими членами соотношения, а другие части речи подчиненными, то против такого замечания возражать не приходится. Верно также и то, что в имени существительном эти акциденции несут еще иногда некоторые дополнительные функции, связанные с функцией согласования (например, функцию индивидуализации и актуализации предметов в случае категории числа). Но относить на таком основании число и род в именах существительных к категориям словообразовательным, а в прилагательных и глаголах — к словоизменительным категориям, как то делает Пешковский, значит поступать так же, как если бы мы стали признавать человека абонентом телефонной сети лишь тогда, когда он отвечает на чужой вызов, а в других случаях отказались бы видеть в нем абонента только потому, что его вызов может и не состояться. Ясно, что заложенная в флективном имени существительном потенция согласования не всегда реализуется, что для реализации ее необходимо присутствие прилагательного или глагола во фразе. Но сама эта потенция есть синтаксическая, а не словообразовательная функция, и поэтому нет оснований отрывать, подобно Пешковскому, существительные в этой функции от согласующихся с ними частей речи.

Считая все акциденции, участвующие в согласовании и подчинении, синтаксическими, безотносительно к тому, обнаруживаются ли они в ведущем члене соотношения или подчиненном, я считаю более оправданным в определении частей речи исходить не из этих синтаксических акциденций, связанных с словосочетанием, а из словообразовательных категорий, лежащих в основе лексических значений. Это, однако, не должно означать, что само понятие словообразовательных категорий принимается здесь в том расплывчатом виде, в каком оно существует в традиционной грамматике. Напротив того, понятие словообразовательных категорий нуждается в известном анализе и расчленении.

Выделяя словообразовательные категории, традиционная грамматика руководствовалась главным образом наличием в слове флективных показателей деривации. Так, например, категория деятеля в отглагольных именах существительных выделяется в русском языке в связи с суффиксами *-ец, -чик, -щик, -тель, и т. д.* (ср. *купец* от *купить*, *возчик* от *возить*, *спорщик* от *спорить* и т. д.), или суффиксами *-ак, -ник* и др. в образованных от существительных словах (типа *рыбак, печник*) и др. Но при таком узко флективном подходе к вопросам словопроизводства неизбежна некоторая путаница и смешение точек зрения.

По-видимому, далеко не все, что выделяется по признаку флективной деривации в качестве словообразовательных категорий, может быть в

одинаковой степени отнесено к числу таких категорий. Прежде всего, в этом плане нужно вычленилть всякого рода экспрессивные оттенки уничижительности, пренебрежительности, ласкательности и т. п., нередко выражаемые особыми аффиксами в языке, но в целом выполняющие иную функцию, чем собственно грамматические словообразовательные категории, вроде имени деятеля, действия, результата действия и т. д. Экспрессивные категории не входят в область грамматики как таковой, они относятся к области общего учения о словах (лексикологии), но не к специальной области грамматического учения о слове, так же, как к области лексикологии относится рассмотрение вульгаризмов, эфемизмов, слов высокого стиля и т. д.

Если экспрессивные оттенки значений сравнительно легко отграничить от собственно грамматических словообразовательных категорий, то во многих случаях гораздо труднее отделить эти последние от вещественных словообразовательных категорий. Сопоставляя такие слова, как *запись*, *опись*, *перепись* и *пропись* или *ход*, *вход*, *заход* и *обход*, мы открываем в каждом из сопоставляемых слов элемент флективной деривации, но речь в таких случаях явным образом идет о деривации вещественной, а не грамматической. Как в случае грамматической деривации, так и здесь, корневому элементу сообщается некая надбавка значения, но эта надбавка носит здесь иной характер.

Пусть не возражают, что разница создается здесь нерегулярностью аффиксов, их неповторяемостью, непостоянством присущего им значения. Достаточно например сопоставить слово *писать* и *написать*, *делать* и *сделать*, *просить* и *попросить*, *ваять* и *изваять*, *топить* и *утопить* и др., чтобы убедиться в нерегулярности и непостоянстве приставок как средства выражения видового оттенка совершенности в глаголе. Между тем ни у кого до сих пор не возникало сомнения в том, что мы имеем здесь дело со словообразовательной категорией грамматического порядка. С другой стороны, в химической терминологии мы встретим весьма устойчивое употребление суффиксов *-ат* (*гидрат*, *сульфат*, *нитрат*, *карбонат*, *манганат*), *-ит* (*сульфит*, *боксит*), *-ид* (*гидрид*, *нитрид*, *хлорид*) и т. д. Такая унификация научной терминологии может быть проведена весьма последовательно, но, как бы последовательно и закономерно она ни проводилась, понятия о большей или меньшей степени кислотности или о полном отсутствии кислорода в кислотах и производных от них солях не становятся еще от этого грамматическими категориями. Дело, следовательно не в регулярности аффиксального элемента, выражающего данное понятие, а в семантической природе словообразовательного значения.

Отличить грамматические словообразовательные категории от вещественных не всегда легко. Куда, например, отнести категорию уменьши-

тельности или увеличительности, — к собственно грамматическим словообразовательным категориям или же к категориям вещественным? А как в глагольных приставках русского языка отграничить видовые, т. е. собственно грамматические значения этих приставок, от вещественных? Как справедливо подчеркивает акад. В. В. Виноградов, «задача грамматики состоит именно в отграничении, в отделении формальных видовых значений от реальных значений и оттенков, привносимых в категорию вида приставками»¹⁴. Это задача весьма трудная, так как сами глагольные приставки своим внешним видом не дают никаких оснований для отделения одних значений от других. Нужен глубокий анализ самих оттенков значений, самих понятий, для того чтобы успешно справиться с этой задачей.

Что внешние флективные элементы в слове являются ненадежным проводником в работе по выделению собственно грамматических словообразовательных категорий, доказывается еще существованием в языке особой «скрытой», или «невидимой», деривации, внешне никак не обозначенной.

Не только в таких парах, как *ловить* и *поймать* или *брать* и *взять*, можно рассматривать одно из слов как семантико-грамматический дериват другого (что в русском языке непосредственно обнаруживается на фоне парадигматических рядов несовершенных и совершенных глаголов) но и в таких парах, как *бежать* (за кем-либо) и *догонять*, *отправляться* (в путь-дорогу) и *ходить*, *путешествовать*, *лечить* и *исцелять*, и т. д. для которых в русском языке отсутствуют соответствующие парадигматические ряды, мы вправе видеть образцы лексической деривации в области категорий вида. Аналогично в парах *работать* и *делать*, *ронять* и *кидать*, *ехать* и *возить*, *уходить* и *прогонять*, *двигаться* и *толкать* перед нами образцы «скрытой» лексической деривации по линии залоговых категорий. Задача выявления собственно грамматических словообразовательных категорий предполагает, таким образом, не только и даже не столько флективно-морфологический анализ слова, сколько анализ самого лексического значения с целью обнаружения скрытых в нем грамматических оттенков.

Собственно грамматические словообразовательные категории, в отличие от экспрессивно-стилистических и вещественных, я буду в дальнейшем называть лексико-грамматическими категориями. Скрытые в значении отдельного слова лексико-грамматические категории определяют его семантическую структуру, или, если угодно, его грамматическую внутреннюю форму. Группа слов, объединенных единством лексико-грамматической категории, образует особый лексико-грамматический разряд. В таком понимании части речи — это наиболее общие

¹⁴ Виноградов В. В. Русский язык. С. 494.

лексико-грамматические разряды, включающие в свой состав сложную иерархию других, более дробных разрядов.

Переходя теперь от словообразовательных к синтаксическим категориям, необходимо и в этой области провести соответствующее разграничение. Прежде всего необходимо выделить из этого круга флективно-морфологические категории, подобно числу и грамматическому роду выполняющие техническую функцию в службе согласования и подчинения. Как низведенные в ходе исторического развития до уровня простых сигнализаторов синтаксических отношений, эти категории не являются синтаксическими категориями в подлинном смысле этого слова и сами по себе еще не дают никакого представления о содержании выражаемого ими синтаксического отношения. Согласованием в роде и числе выражается иное в случае сочетания с глаголом, и иное в сочетании с прилагательным, а в пределах самого сочетания с прилагательным оно может иметь разное значение в зависимости от того, имеем ли мы дело с атрибутивным, аппозитивным или предикативным прилагательным.

Служащие задачам согласования и подчинения флективно-морфологические категории не могут, следовательно, рассматриваться как синтаксические категории, если под синтаксическими категориями понимаются сами синтаксические отношения, а не формальные средства выражения этих отношений. Акад. И. И. Мещанинов с полным основанием включает основанные на флективно-морфологических категориях приемы согласования и подчинения в число способов выражения синтаксических отношений наряду с такими техническими приемами, как порядок слов, ритмико-интонационные моменты и т. д.¹⁵

В данный момент нас интересуют не формы выражения синтаксических отношений, а то, что составляет грамматическое содержание этих форм, — синтаксические категории или, иначе, синтаксические отношения. Определение этого содержания невозможно, конечно, без учета его оформления, и если традиционная грамматика не слишком преуспела в выделении конкретных синтаксических категорий, то не потому, что формалистически ориентированная старая грамматика слишком увлеклась формой и в погоне за формальным в языке пренебрегла содержанием. Упрек в формализме, который мы бросаем старому языкознанию, заключается в том, что, выделив разные средства выражения синтаксических отношений, оно не сумело с достаточной полнотой выявить многообразие формальных связей в языке, в силу чего конкретные грамматические категории, как правило, ускользали от внимания исследователей.

¹⁵ Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи: Гл. I. Способы выражения синтаксических отношений.

Такие способы выражения, как подчинение, согласование, примыкание, порядок слов, ритмико-мелодические элементы речи и т. д., являются внешне наиболее приметными показателями синтаксических отношений. Однако учета этих формальных средств не всегда достаточно для выявления конкретных синтаксических категорий. Помимо таких явных приемов формального обнаружения синтаксического содержания существуют еще более тонкие и сложные приемы «невидимой» сигнализации, анализ которой требует проникновения в мыслительное содержание слов и форм языка. Выше говорилось о «скрытой», или «невидимой», деривации, предполагающей анализ структуры словесного значения. Теперь мы сталкиваемся с «невидимой» морфологией словосочетания, отличающейся от обычной синтаксической морфологии.

Сопоставляя такие словосочетания, как *писать пером* и *написано автором*, мы легко устанавливаем, что различие синтаксического содержания опирается здесь на различие глагольных форм (действительный залог глагола в сочетании с объектом орудия и страдательный залог в сочетании с объектом действующего лица). На чем же, однако, держится в формальном отношении глубокое синтаксическое различие между словосочетаниями *написано пером* и *написано автором*, различие, которое подсказывается нам живым ощущением речи? Формы отдельных слов, входящих в состав словосочетания, внешне ничем друг от друга не отличаются. Но значит ли это, что в данном случае отсутствует всякое формальное выявление разницы? — Нет, конечно. Оно существует, но не в виде явной морфологии формы слов, а в виде «скрытой» морфологии словосочетания

Живое ощущение речи основывается здесь на лексико-грамматических категориях слов, из которых образованы данные словосочетания. Слова *перо* и *автор* относятся к разным и даже противоположным лексико-грамматическим разрядам. В одном случае перед нами обозначение вещи, в другом — лица, и это различие определяет разницу в синтаксическом содержании словосочетаний. Иначе говоря, лексико-грамматические категории сами по себе могут в определенных случаях служить средством формального выявления синтаксических категорий. Сигнализируемое лексико-грамматическими категориями различие синтаксических отношений более резко проявляется при сопоставлении каждого из данных словосочетаний с другими. В таком сопоставлении выступают различные формальные связи таких словосочетаний, делающие одно из них непохожим на другое. Уже, например, одно то обстоятельство, что страдательное словосочетание *написано пером* может быть обращено в действительное *написал пером*, а *написано автором* — нет наглядно демонстрирует различную синтаксическую природу этих внешне схожих словосочетаний.

Мы видим, что принадлежность слова к определенному лексико-грамматическому разряду или, иначе, его (слова) внутренняя грамматическая форма определяет возможности сочетания данной формы с другими словами в речевом потоке. Это свойство формы сочетаться с другими словами в контакте речи можно назвать синтаксической валентностью или сочетаемостью данной формы. Внешне *пером* совпадает с *автором*, но *пером* сочетается с *писать*, *написал* и т. д., а *автором* — нет. Поскольку и *пером* и *автором* одинаково сочетаются с *написано*, мы можем говорить о частичном перекрещении и совпадении их валентности, но синтаксическое содержание словосочетания определяется не такими частичными совпадениями, а общей валентностью формы в целом, а эта общая валентность вытекает из свойств лексико-грамматического разряда, к которому относится данное слово.

Выявление синтаксической валентности формы и лежащей в ее основе лексико-грамматической категории несравненно более сложная операция, чем выявление внешней формы. Сочетания *я сижу* и *я иду* совпадают с точки зрения внешней формы словосочетания, но синтаксическая валентность каждого из приведенных здесь глаголов не одинакова, что находит себе выражение в возможности вопросов «куда?» или «откуда?» только после *иду*, но не после *сижу*. Сочетание *я сижу*, не допускающее таких вопросов, обладает вследствие этого большей завершенностью, чем *я иду*. Эта степень завершенности, связанная с синтаксической валентностью, различна не только в *я иду* сравнительно с *я сижу*, но также в *я иду* сравнительно с *я даю*. После *я даю* уместны вопросы «кому?», «что?», которые совершенно неуместны после *я иду*. Эта различная валентность фигурирующих в наших примерах глаголов связана с их принадлежностью к разным лексико-грамматическим разрядам, — глаголов покоя, перемещения и «дательных». Различная валентность таких глаголов постоянно учитывается каждым в живом общении, в практическом владении речью, но, к сожалению, не в теоретической работе по грамматике, где далеко не всякий лингвист согласится выделить лексико-грамматические категории наподобие названных. Формальная лингвистика нуждается для выделения подобных категорий в свидетельстве внешней формы. «Скрытые» лексико-грамматические категории остаются для нее книгой за семью печатями. Но вместе с ними остаются ей неизвестными или только наполовину раскрытыми многие опирающиеся на эти лексико-грамматические категории синтаксические отношения.

Неумение выделить «скрытые» лексико-грамматические и синтаксические категории является одним из главных источников тех затруднений, которые испытывает ныне формалистическая теоретическая грамматика. Еще более опасным источником злоключений этой науки является, по-

жалуй, ее неумение отличить живые синтаксические связи от окаменевших. Окаменевшие синтаксические сочетания в отличие от живых мы будем называть оборотами или конструкциями. Синтаксическое содержание такого оборота не только не вытекает из формы слов, входящих в его состав, но даже может им противоречить. Так, например, *махать руками* внешне построено так же, как *ударить кулаком*. Однако невозможность поставить прямой объект после *махать руками* показывает, что здесь перед нами не творительный падеж орудия. О творительном образа действия или причины и т. д. здесь по вполне очевидным синтаксическим соображениям также говорить не приходится. А. М. Пешковский несомненно прав, утверждая, что логически в этих случаях «был бы более уместен винительный прямого объекта»¹⁶. Немногие сочетания типа *махать руками*, *качать головой* или *брызгать водой* и т. д. следует выделить в особый тип «оборотов», в которых окаменевший творительный падеж стоит на уровне винительного падежа прямого объекта. Окаменелость такого сочетания явствует из того, что круг слов, входящих в такое сочетание, сравнительно ограничен, а существование особого творительного падежа в функции, аналогичной винительному прямого объекта, в современном языке не может быть обосновано иначе, как ссылкой на традицию (ср. *откинуть голову*, *отвернуть глаза* и *шевелинуть пальцем*, *качать головой*; ср. также *качать головой*; и *качать ребенка*).

Окаменевшие обороты всегда легко принять за выражение живых синтаксических отношений, в то время как в действительности речь идет о переживании старины, о былых синтаксических отношениях, давно утративших свое самостоятельное значение. Легко, например, предположить в таких оборотах, как *качать головой* и *брызгать водой*, какие-то особые синтаксические категории в виде, скажем, «обстоятельного объекта» при «непереходных» глаголах *качать* и *брызгать* или что-нибудь в этом роде. Так обычно и поступают формалисты, всегда готовые принять формальные различия за существенные. Но поступать так значит игнорировать реальные отношения в языке и принимать реликтовые формы за живые категории. Совершенно ясно, что без отделения живых и актуальных связей от окаменевших никакое подлинно историческое исследование в области синтаксического строя невозможно. Учет всех формальных связей, не только внешних и явных, но и «скрытых», равно как и отделение живых синтаксических сочетаний от окаменевших оборотов, позволяет восстановить картину конкретных синтаксических категорий, определяющих собой синтаксический строй языка. Старая грамматика давно уже оперирует некоторыми категориями этого рода, как, например, категория прямого объекта лица или вещи,

¹⁶ Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. С. 282.

категория объекта орудия или результата действия и т. д. Но, во-первых, такие конкретные синтаксические категории выделялись старой грамматикой не в чистом, а в морфологически затемненном виде (т. е. в ней говорилось не столько об объекте: лица, вещи, орудия и т. д., сколько о винительном падеже лица или вещи, творительном падеже орудия и т. д.). И, во-вторых, даже эти морфологически затемненные категории выделялись ею недостаточно последовательно и систематично.

Задача заключается теперь в том, чтобы сделать конкретные синтаксические категории объектом специального исследования. Члены предложения, как их знает традиционная грамматика, относятся к этим конкретным синтаксическим категориям так же, как части речи относятся к лексико-грамматическим категориям. Это лишь наиболее общие и всеобъемлющие синтаксические категории, подлежащие дальнейшей конкретизации в ходе исследования.

Старая грамматика потому не замечала движения воды и принимала мыслительное содержание языка за неизменное, что в своем грамматическом анализе она не шла дальше самых общих лексико-грамматических и синтаксических категорий — частей речи и членов предложения. Если ей и случилось выделять более конкретные и частные категории, то делала она это стихийно и наощупь, не отдавая себе отчета в значении того, что случайно найдено. Между тем, только частные лексико-грамматические и синтаксические категории и дают нам возможность проследить развитие грамматического строя.

Буржуазная универсальная грамматика страдает, в сущности, теми же органическими пороками, что и буржуазная политическая экономия, недостатки которой с необычайной глубиной вскрыты были К. Марксом.

Домарксистская политэкономия блуждала, как известно, в «трех сонах» общих экономических категорий производства, распределения, потребления и т. д., которые принимались ею за внеисторические вечные общественные категории. Разбивая подобные антинаучные взгляды, великий Маркс писал: «... это всеобщее или выделенное путем сравнения общее само есть нечто, многократно расчлененное, и выражается в различных определениях. Кое-что из этого принадлежит всем эпохам, другое — обще лишь некоторым. Некоторые определения общи как для современной, так и для древнейшей эпохи. Без них невозможно никакое производство, однако, — добавляет Маркс, — уже непосредственно переходя в сферу прямых интересов языковеда, — хотя наиболее развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, но именно отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие. Определения, которые действительны для производства вообще, должны быть выделены именно для того, чтобы из-за единства, которое вытекает уже из того, что субъект — человекест-

во — и объект — природа — одни и те же, не было забыто существенное различие. В забвении этого заключается, например, вся мудрость современных экономистов, которые доказывают вечность и гармонию существующих социальных отношений»¹⁷.

Эти слова К. Маркса применимы полностью и к лингвистике, в которой должен быть осуществлен переход от абстрактных членов предложения и частей речи к более конкретным лексико-грамматическим и синтаксическим категориям.

¹⁷ Маркс К. К критике политической экономии. С. 11.

Оглавление

| | |
|---|-----|
| Предисловие научного редактора | 3 |
| К ГЕНЕЗИСУ НОМИНАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ | |
| Предисловие | 15 |
| I. Супплетивность падежей личных местоимений в германских языках | 20 |
| II. Безличные глаголы и генезис номинативного предложения | 33 |
| III. Номинативное предложение и залогов | 47 |
| IV. Эргативная конструкция | 64 |
| V. Объективное и субъективное в первобытном сознании (Экскурс в область истории сознания) | 89 |
| VI. Следы эргативного прошлого в германских языках | 102 |
| Zur entstehung des nominativischen satzes. Zusammenfassung | 113 |
| Список сокращений | 120 |
| ИСТОРИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Часть I. Из истории атрибутивных отношений | 123 |
| Предисловие | 123 |
| Введение | 124 |
| Глава I. Партитивное определение | 173 |
| Глава II. Происхождение имен прилагательных | 220 |
| Глава III. Предикативный атрибут | 316 |
| Список сокращений | 389 |
| Приложение. Внутренний строй языка | 392 |

Научное издание

Кацнельсон Соломон Давидович
ИСТОРИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Выпускающий редактор *Е. П. Чебучева*
Корректоры *К. В. Белецкая, Е. П. Васильева*
Верстка *С. В. Кузнецова*
Художественное оформление *С. В. Лебединского*

Лицензия ЛП № 000156 от 27.04.99. Подписано в печать 28.10.2010.
Формат 60х90^{1/16}. Усл. печ. л. 25. Тираж 800 (300 – РГНФ) экз. Заказ № 3576.

Петербургское лингвистическое общество.
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9-11, лит. В.

Отпечатано в типографии
ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Искусство России»»
198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 38/2.